А. Любарский

СЛОВО ДРУЖБЫ



1 XIII / A·1784 IV | Любарский, А.В.

Слово дружбы.

Eelmiste laenutuste arv: 1/103542

20.III 3414 b 1969 2691

777 a

1910 a

22

209

Trükikoda „Ühiselu“,

XIII
-1784
IV

А. Любарский

СЛОВО ДРУЖБЫ

Исторические очерки, материалы

ЭСТОНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТАЛЛИН 1956

Tartu Riiklik Ülikool
Raamatukogu
103542

Рука в руке — так, братья, мы сильны.
Так пронесли тягчайшее мы бремя.
Нам даль близка. Нам грозы не страшны.
Над братством нашим ты не властно, время!

Март Рауд

ОТ АВТОРА

Эта книга посвящена выдающимся деятелям русской культуры, на протяжении десятилетий боровшимся за счастье, свободу, независимость эстонского народа. Она посвящена и тем русским людям, которые еще в прошлом веке способствовали формированию эстонской демократической культуры. Она посвящена поборникам великой дружбы русского и эстонского народов.

Собранные в книге очерки и материалы не претендуют, разумеется, на исчерпывающее освещение всех вопросов русско-эстонских культурных и общественно-политических отношений, т. к. решение подобной задачи под силу только большому коллективу. Автор стремился отразить лишь несколько славных страниц истории, к тому же истории преимущественно одного столетия, подтверждающих глубину и давность братских чувств, связывающих русский и эстонский народы.

Свободолюбивый и гневный стих великого Пушкина, даже в черную пору самодержавного режима проникавший в эстонские города и села... Смелые голоса первых русских революционеров — декабристов, поднятые в защиту закабаленных прибалтийских крестьян... Некрасовский «Современник» и герценовский «Колокол», обличавшие остзейских плантаторов и последовательно отстаивавшие интересы народа Эстонии... Неведомые русские друзья, прорывавшие цензурные кордоны и в анонимных публицистических сочинениях рассказывавшие горькую правду о чудовищных муках «свободного» эстонского крестьянства... Творения Белинского и Герцена, Гоголя и Лермонтова, Салтыкова-Щедрина и Льва Толстого, Чехова и Горького, сыгравшие выдающуюся роль в духовном развитии лучших сынов народов Прибалтики...

Об этом и расскажет книга, в основу которой положены материалы, извлеченные автором из фондов Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде, Центрального государственного исторического архива Эстонской ССР, Центрального государственного архива военно-морского флота СССР, архива Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), архива Географического общества СССР, Исторического архива Ленинградской области, Государственного исторического музея в Москве, Этнографического музея Академии наук Эстонской ССР,

Музея театра и музыки Эстонской ССР, Музея истории Таллина, Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве, Центральной военно-морской библиотеки Министерства обороны СССР, рукописных отделов Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и фундаментальной библиотеки Тартуского государственного университета. Помимо впервые публикуемых архивных документов, в книге использованы также многие издания, давно уже ставшие библиографической редкостью, периодическая печать XIX — начала XX веков, исследовательские труды прошлого и наших дней, художественные и публицистические произведения, письма, дневники и воспоминания деятелей русской и эстонской культур.

Автор глубоко признателен сотрудникам указанных выше архивов, музеев и библиотек за оказанное ему содействие в сборе материалов по истории русско-эстонских культурных отношений. Он выражает искреннюю благодарность редактору книги академику Академии наук Эстонской ССР И. М. Саату, а также доктору исторических наук А. В. Предтеченскому, заведующему сектором Института истории Академии наук Эстонской ССР А. К. Вассару и кандидату исторических наук Ю. Кахку за их ценные замечания при подготовке рукописи к печати.

ПОБОРНИКИ ВЕЛИКОЙ ДРУЖБЫ

(вступление)

Эстония у русского народа
Набрала сил для битв и для труда.

Из приветствия эстонского народа трудящимся Москвы в день ее 800-летия.

В хмурый сентябрьский полдень 1947 года площадь Победы в Таллине[1] была запружена тысячами людей. Над бурлящим морем голов колыхались алые стяги, и начертанные на кумаче буквы славили прожившую восемь долгих столетий Москву.

Это было в канун юбилея нашей великой столицы. Труженики молодой советской республики отправляли к друзьям — москвичам своих лучших людей. Здесь, на центральной площади города, им вручали написанное на белой коже письмо. Сколько теплоты и сердечности было в строках, с которыми обращался в те дни к родной Москве эстонский народ!

Он говорил о многовековой своей дружбе с русским народом; о дружбе, выдержавшей суровые испытания; о дружбе, давшей ему силы в борьбе за свободу, за счастье.

Он вспоминал девятнадцатый год, когда буржуазные националисты при помощи интервентов задушили в Эстонии советскую власть, и ночная мгла на два десятилетия повисла над исстрадавшимся краем.

Он вспоминал и 1940 год — то лето, когда

Эстония пришла к истоку счастья,
Сбылись её народные мечты,
И сам народ встал у кормила власти . . .

Свергнув фашистскую клику Пятса, эстонский труженик вернулся в родную ему советскую семью.

. . . И в грозный час,
Москва, как братьев, встретила ты нас,
Когда весь мир стоял, грозой одетый,
И это был единственно-надежный
Для нашего народа путь побед.
В борьбе на жизнь и насмерть невозможно
Избрать иного, да его и нет, —[2]

писали москвичам трудящиеся-эстонцы.

То были проникновенные строки!

Но что до них господам-фальсификаторам, одержимым преступной манией выдать добровольное вступление Латвии, Литвы и Эстонии в Советский Союз за ... «агрессивный акт коммунистов»?! В их необузданном воображении свободные народы Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик только, якобы, и мечтают, что о возвращении под власть капитала. Незадачливым «доброжелателям» по душе было бы вновь увидеть прибалтийскую землю в ярме капиталистического рабства. Подтасовывая исторические факты и прикидываясь наивными простачками, они называют народы молодых советских республик «плотью и кровью» капиталистического Запада! При этом продажные борзописцы с беспримерным цинизмом отрицают ту нерушимую, благородную дружбу, которая всегда связывала русский народ с народами Прибалтики[3]. Но неумолимые факты истории уличают этих господ во лжи и клевете ...

I. В ДРУЖБЕ — СИЛА

> Только в дружбе с русскими мы можем достигнуть целей, к которым стремятся лучшие люди нашего народа.
>
> *К. Якобсон, 1870.*

Полтора столетия назад на одной из окраинных улиц Тарту[4] находилось обычное для Прибалтики коммерческое предприятие. Оно занималось куплей и продажей ... эстонских крестьян. Со всех концов губернии сгонялись туда мужчины, женщины, дети. «Здесь люди не так дороги, как в американских колониях», — хвастливо писал о постыдном торге местный пастор[5].

Голод и розги были уделом эстонского крестьянства. Между тем, и в ту пору, и в последующие десятилетия остзейские дворяне стремились представить созданный ими ад — земным раем, а себя — благодетелями, наставниками угнетенного народа. Скрывая истинное состояние прибалтийских губерний, они трубили на все лады о мифическом благополучии закабаленных людей, о вымышленной баронами любви крестьянина к своему помещику.

Эту постыдную ложь уже в давние времена решительно отвергали многие деятели передовой русской культуры — верные, последовательные друзья эстонского народа. Еще в 1784 году, проезжая по Прибалтике, один из самых выдающихся сатириков и крупнейший русский драматург XVIII века Д. И. Фонвизин указывал на стремление крестьянских масс стряхнуть с



Д. И. Фонвизин.
Портрет работы худ. Ж. Каррафа.

себя рабские узы. Он был свидетелем волнений, охвативших значительную часть эстонских деревень, свидетелем жестокого подавления помещиками стихийных бунтов, отчаянного сопротивления мужиков. «В Лифляндии и Эстляндии мужики взбунтовались против своих помещиков, — писал Фонвизин родным . . . — Что после нас будет не знаю: но мужики крепко воинским командам сопротивляются, и, желая свергнуть с себя рабство, смерть ставят ни во что. Многих из них перестреляли, а раненые не дают перевязывать ран своих, решаясь лучше умереть, нежели возвратиться в рабство. Словом, мы сию землю оставляем в жестоком положении. Мужики против господ и господа против них так остервенились, что ищут погибели друг друга»[6].

Фонвизин был одним из первых, но далеко не единственным русским писателем, с глубочайшим сочувствием отозвавшимся о жестоком положении прибалтийских крестьян. В течение девятнадцатого и начала двадцатого столетий в защиту эстонского народа выступали многие представители нашей отечественной культуры. Виднейшие деятели декабристского движения — Пестель, А. Бестужев, Н. Тургенев и другие, будучи врагами крепостного права, мечтали о подлинной свободе и эстонского народа. Невыносимое положение прибалтийских

крестьян глубоко возмущало революционных демократов Герцена, Огарёва и Чернышевского, боровшихся против пережитков крепостничества в Латвии и Эстонии. В настоящих очерках мы осветим эту борьбу, приведем документальные материалы, свидетельствующие о том, как страстно и непримиримо лучшие люди русского народа отстаивали жизненные интересы народов Прибалтики.

Эта дружба, корни которой ведут в седую даль веков, всегда высоко ценилась и оберегалась передовыми деятелями прибалтийской общественно-политической мысли. Они сознавали, что судьба эстонского крестьянства была неразрывно связана с судьбами великого соседа — русского народа; что только с помощью бескорыстно преданных русских друзей угнетенный эстонский народ мог избавиться от феодального рабства.

Вышедшая в 1802 году книга публициста-просветителя Иогана Петри «Эстляндия и эстонцы» клеймила остзейских дворян — «всемогущее сборище кровопийц», которые «за богато убранным столом откармливали себя мясом, потом и кровью крестьян». Она справедливо утверждала, что крепостное право «ни в одной стране не является таким тяжким и не сопряжено с таким угнетением и мучениями, как в Эстляндии»[7]. И, выступая против изнуряющего труда на баронской усадьбе, против жесточайших порок на господской конюшне, против иезуитских издевательств остзейского помещика, Петри уже тогда отмечал величайшее значение исторических связей эстонского и русского народов.

Иоган Петри не мог не знать ходившие по Эстонии волшебные сказки и героические предания, отражавшие выкованное в борьбе братство двух народов. Огромной популярностью пользовались в ту пору чудесные сказания о воине и труженике Калевипоэге, о Чудском озере, по которому сыны и дочери Эстонии много веков назад получали помощь и поддержку русских людей. Неувядаемый эстонский фольклор таил в себе сокровенную мысль, высказанную впоследствии художником-демократом И. Кёлером: «Уже тысячу лет тому назад, — писал он, — предки эстонцев правильно поняли, что жизнь эстонцев связана навечно с русским государством»[8].

Дружба с русскими и надежды на избавление от опостылевшего баронского ига — эти переплетающиеся лейтмотивы многих народных песен и сказаний — звучали в выступлениях крупнейших деятелей прогрессивной эстонской культуры. Подвергая беспощадной критике окружавшую их феодальную действительность, они связывали освобождение родного народа с той неоценимой помощью, которую оказывали ему русские люди.



Эстонский просветитель-демократ Фр. Р. Фельман.

Портрет работы худ. А. Пецольда. Масло.

«Эстонец знает, — писал выдающийся ученый и фольклорист Фр. Р. Фельман, — что грабителями его свободы и счастья являются немецкие бароны, и гнев отцов против своих угнетателей унаследовали также их сыновья»[9]. Фельман и, в еще большей степени, основоположник эстонской демократической литературы Фр. Р. Крейцвальд выступали против узаконенного в Прибалтике «особого порядка», сохранявшего многие отвратительнейшие пережитки средневековья. Используя любую возможность, Крейцвальд стремился пресечь также «духовное оболванивание народа» лютеранскими пасторами — этой «шайкой дармоедов в чёрных хламидах»[10].

Выдающийся писатель-обличитель Фр. Р. Крейцвальд видел, что враги эстонского народа ввозили в прибалтийские губернии идеологию человеконенавистничества, религиозного мракобесия. И он настойчиво предупреждал сородичей, что не от них следовало им ожидать бескорыстной поддержки в борьбе против угнетателей. Эта помощь, заявлял Крейцвальд, придет из России, от честных русских людей.



Основоположник эстонской национальной литературы, просветитель-демократ Фр. Р. Крейцвальд.

Портрет работы худ. Губера, 1844.

Войдя в начале XVIII века в состав Российского государства, Эстония, утверждал великий писатель, обеспечила себе на долгие времена мир, обезопасила себя от варварских вторжений.

В «Калевипоэге» — этом бессмертном эпическом произведении Крейцвальд нарисовал широчайшую картину горя народа, страдавшего от грабительских войн и иноземного владычества. И там же он заявил:

Таково былое эстов
До времён, когда Россия
Под крылом своим могучим
От врагов нас защитила![11]

Прогрессивное значение освобождения Эстонии от чужеземного ига, ее присоединения к Российскому государству, когда эстонский народ встал под защиту «закаленных русских братьев», отмечалось Крейцвальдом в его поэме «Война». Этому же посвящены были и строки стихотворного приветствия Крейцвальда Тартускому университету:

От ран былых и от мученья
Мы русской мощью спасены,

Она повергла в заточенье
Болезни, голод, гром войны,
Чтоб мир и счастье осеняли
Эстонский край, его поля,
Чтобы цветы благоухали . . .

В дружбе с русскими, вновь и вновь подчеркивал писатель, эстонский народ обретет и своё счастье, претворит свою извечную мечту о свободе, ибо «ни одна нация, — заявлял он, — не может сравниться с русской в отношении готовности оказать услугу»[12].

«Вам, как и мне, хорошо известно, — писал Крейцвальд эстонскому просветителю и педагогу К. Р. Якобсону, — что чем сильнее у нашего народа будет проявляться подлинная любовь к России, тем меньше вреда нам смогут причинить почтовые рожки и те, кто в них трубит»[13]. Почтовыми рожками, о которых с таким презрением отзывался писатель, Крейцвальд называл реакционную газету «Ээсти Постимеэс», теми же, кто в них трубил, были её редактор, клерикальный и националистический идеолог эстонской буржуазии И. Яннсен и его сторонники. Как бы перекликаясь с Крейцвальдом, выдающийся представитель демократического направления в эстонском национальном движении XIX века К. Р. Якобсон уверенно заявлял впоследствии, что Солнце, о котором так страстно мечтали его соотечественники, взойдет только с Востока.

Эта надежда на избавление с помощью русского народа от кромешного ада владела и эстонским крестьянином. В 60-х годах, покидая родные края и в поисках неведомого счастья устремляясь в глубь России, он вновь убедился в том, как тепло и задушевно относился к его горестям русский человек.

«Отзывчивость и сердечность русских людей, — рассказывал много лет спустя Эд. Вильде, — эстонские переселенцы познали в полной мере. В каждом доме, где хоть что-нибудь имели, щедрой рукой давали путникам что могли, и не за деньги, а из милосердия. Русский видел перед собой несчастных, которые вынуждены были покинуть родные места и брести пешком далеко на чужбину. Таким горемыкам надо помочь, их нужно поддержать. Как дети, выбегали люди в деревнях навстречу обозу, осеняли себя крестным знамением, окружали чужеземцев и допытывались, откуда и куда они идут и что заставило их покинуть землю отцов. Узнав от одного-двух человек, владеющих русским языком, что принудило эту толпу людей бежать из родных мест, они посматривали на имения своих господ, понимающе качали головами и спешили вынести из своих лачуг всё, чем были богаты»[14].



Выдающийся эстонский просветитель и педагог К. Р. Якобсон.

Искренность тех чувств, которые проявляли к эстонскому народу русские люди, всегда волновала замечательного художника Иохана Кёлера. Родившись в бедной крестьянской семье и хорошо зная цену нужде, он с огромным трудом, благодаря выдающимся способностям, пробился в Академию художеств. В Петербурге, общаясь со многими прогрессивными деятелями русской культуры, Кёлер пришел к заключению, что «если бы эстонцы в древние времена лучше держались за союз с русскими, им не пришлось бы 700 лет терпеть адские мучения»[15] в кабале чужеземных захватчиков. И. Кёлер, также как и К. Р. Якобсон, поэт и филолог М. Веске, поэт А. Рейнвальд, журналист Я. Ярв, выступал за дальнейшее развитие братских связей русского и эстонского народов.

Представители демократического лагеря в эстонском общественном движении с надеждой прислушивались к выступлениям передовых деятелей России, разделявших мысли своих

прибалтийских друзей о ликвидации остзейского «особого порядка». С каким восторгом отзывался К. Р. Якобсон о прочитанной им книге Н. Флеровского (В. В. Берви) «Положение рабочего класса в России»! В своем фундаментальном труде русский публицист не мог обойти молчанием и остзейский край, «где, — по его словам, — бедствия сельского пролетария и в высшей степени невыгодное положение земледелия обратили на себя внимание всего света»[16]. Эстонский просветитель-демократ приветствовал распространяемые русским публицистом идеи равноправия и дружбы народов, полностью поддерживал высказанные Н. Флеровским положения о полезности для эстонцев тесного союза с русским народом. «Я всё более и более познаю, — писал он, — что только в дружбе с русскими мы можем достигнуть целей, к которым стремятся лучшие люди нашего народа»[17].

Глашатаем этой великой дружбы знали Якобсона и родной ему эстонский народ, и русские люди, среди которых он провёл много лет своей кипучей жизни.

... Родному он народу
Борьбу до сил последних завещал;
Пятивековую[18] сломить невзгоду;
Примкнуть к России крепче призывал:
«Спасенье в ней — не поступитесь, други,
Взойдет, взойдет желанная заря! ..»[19]—

писал о Якобсоне русский профессор П. Висковатов.

Эта заря, о которой мечтали Фр. Р. Фельман, Фр. Р. Крейцвальд, И. Кёлер, М. Веске, К. Р. Якобсон, а вместе с ними и русские друзья эстонского народа, взошла над Прибалтикой в наши советские дни.

II. СВЕТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мы любим горячо русский народ. От всего сердца хочу, чтобы великие художественные произведения русского народа стали понятными и близкими эстонскому народу ...

Я. Тамм, 1884

«Эти строки я шлю вам из шумной сутолоки столичной жизни. Из них вы узнаете, насколько здесь живее интерес к эстонскому языку и литературе, чем у нас в провинции ... Здесь ежедневно строят различные планы, как продолжить

выпуск нашего «Калевипоэга», причём вербуются подписчики и изыскиваются другие пути, которые облегчили бы Учёному эстонскому обществу расходы по изданию... Я здесь уже почти три недели и не знаю, куда ушло время; дни летят, как часы...»[20]

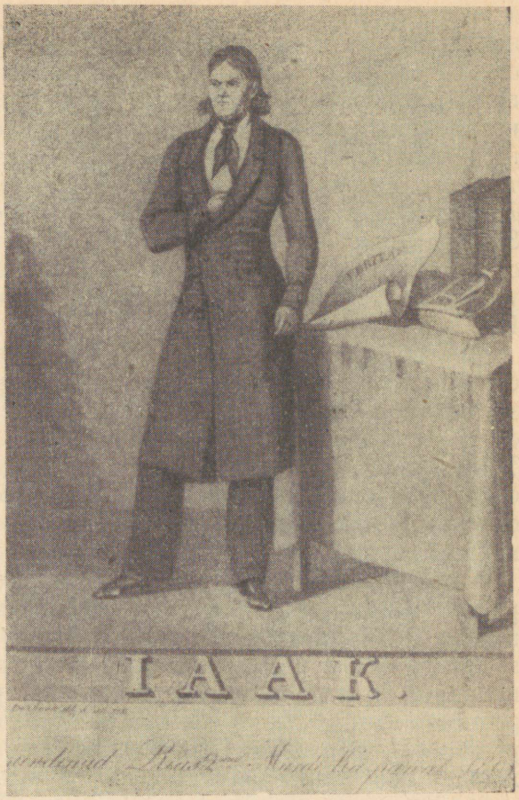
Строка за строкой выливалась из-под тонко отточенного пера. Фр. Р. Крейцвальд, приехавший летом 1859 года в Петербург, сообщал на родину о тёплом приеме, оказанном ему русскими учеными, об их живом интересе к эстонской культуре, к собранному Крейцвальдом замечательному эпосу «Калевипоэг». Только благодаря помощи петербургских ученых, признавших первое выдающееся эпическое произведение эстонской литературы «полным прекрасного богатства житейской мудрости эстонцев», и удалось завершить издание этого бессмертного творения...

Подобные факты, свидетельствующие о плодотворности русско-эстонских культурных отношений, не были по душе ни остзейским историкам, ни буржуазным националистам, утверждавшим, что эстонская культура, будто бы, развивалась исключительно под влиянием Запада. Не по душе эти бесспорные факты и современным реакционнейшим «исследователям», охотно повторяющим захиревшую уже легенду о «просветительской миссии» баронов в Прибалтике.

Но историю не подкупить!

Фр. Р. Крейцвальд, Фр. Р. Фельман, К. Р. Якобсон, М. Веске и другие представители эстонской демократической культуры решительно опровергали мнимое «культуртрегерство» прибалтийско-немецкого дворянства. Они неустанно разоблачали местных помещиков и пасторов, насильственно удерживавших крестьянство в темноте и невежестве. Стремясь вырвать свой народ из-под тлетворного влияния религии, по словам Крейцвальда, — самого опасного врага человеческого общества; стараясь разрушить те преграды к подлинным знаниям, которые воздвигнуты были остзейскими баронами перед эстонским народом, выдающиеся общественные деятели, писатели, художники призывали, в то же время, к укреплению русско-эстонских культурных отношений.

«Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре, — писал в «Критических заметках по национальному вопросу» В. И. Ленин. — Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова»[21]. Представители эстонской демократической культуры сумели разглядеть непроходимую пропасть, лежавшую между официальной царской Россией, ее культурой — с одной сто-



Выдающийся эстонский поэт начала XIX в. Кр. Я. Петерсон.

Портрет работы худ. Ф. Дёрбек. Акватинта, 1822.

роны, и Россией народной, культурой великорусской демократии и социал-демократии — с другой. Они высоко ценили наследие Радищева, декабристов, Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, ненавидевших самодержавный строй, выступавших в защиту угнетенных народов. Но, вместе с тем, они решительно отвергали реакционную культуру Погодина и Каткова, Булгарина и Победоносцева, являвшуюся опорой монархии, отражавшую интересы господствовавших классов Российской империи.

На культуру Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Герцена, Добролюбова и Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Льва Толстого, Чехова и Горького — на культуру прогрессивную ориентировались лучшие силы эстонского народа. Уже на заре XIX столетия рано умерший поэт-крестьянин Кристьян Яак Петерсон, обращавшийся со своими стихами непосредственно

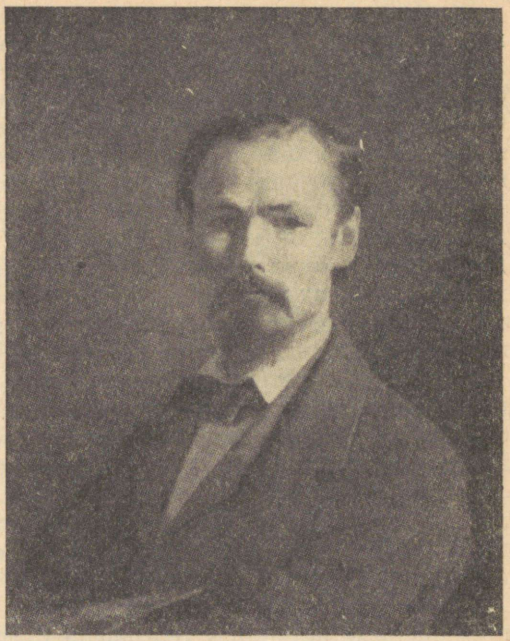
к угнетённому народу, знал и любил русский язык. Выдающийся просветитель-демократ Фр. Р. Крейцвальд, будучи еще студентом Тартуского университета, впервые познакомился с вольнолюбивыми творениями Пушкина и Грибоедова. Под несомненным влиянием пламенных некрасовских стихов создавали свои лучшие, обличительные произведения такие замечательные эстонские поэты, как Якоб Тамм, Юхан Лийв, Юхан Лилиенбах[22]. Основоположник эстонской исторической прозы Эдуард Борнхёэ встречался с Л. Толстым[23]. Выдающийся представитель критического реализма Эдуард Вильде учился у Гоголя, Тургенева, Толстого, с восторгом отзывался о Горьком.

Многочисленные переводы бессмертных произведений русских поэтов и прозаиков, сделанные крупнейшими деятелями эстонской культуры, пробуждали в царские годы национальное самосознание эстонцев. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Тургенев, Л. Толстой, Горький в переводах на эстонский язык с каждым годом всё шире и глубже раскрывали перед эстонским народом богатейшую и неисчерпаемую культурную сокровищницу друзей.

Эстонские прогрессивные деятели высоко ценили передовую русскую культуру, так как она воспитывала народные массы в духе борьбы за прогресс, свободу и счастье. Великая русская культура несла в Эстонию благороднейшие идеи гуманизма и ненависть к поработителю, вселяла в трудового человека уверенность в победе, в грядущем дне торжества над силами реакции и произвола. Прогрессивная русская культура поддерживала освободительную борьбу тружеников Прибалтики, способствовала демократизации эстонской национальной культуры. Это глубоко сознавали и Фр. Р. Крейцвальд, и К. Р. Якобсон, и И. Кёлер, и М. Веске и другие замечательные сыны эстонского народа.

Демократическое направление в национальном движении стояло в данном вопросе, также как и во всех иных, на противоположном полюсе от клерикалов. Прихлебатели остзейских баронов, идейными вождями которых были редактор «Пэрно Постимеэс» И. В. Яннсен и пастор Я. Хурт, стремились отгородить эстонский народ от прогрессивной русской культуры, разрушить его многовековую дружбу с великим русским народом. Но их попытки не давали каких-либо ощутимых результатов.

Видя в русском народе своих друзей и защитников, эстонские труженики, несмотря на противодействие остзейских дворян и националистической буржуазии, тянулись к русской культуре. Об этом говорит множество неопровержимых документов. Мы



Основоположник эстонского национального реалистического искусства художник И. Кёлер.

Автопортрет, 1859.

видели письмо сааремаских крестьян, еще в 1869 году заявлявших «о непременном своем расположении учить детей русскому языку»[24]. Мы видели и прошение пярнуских жителей об учреждении в 1872 году русской библиотеки, «которая предоставляла бы возможность следить за русскою литературою и публицистикою»[25]. В одном из благодарственных писем, обращенных к русскому народу, эстонские крестьяне писали: «Вы принесли великую пользу и притом влили новую силу в развитие нашего народа, основав в Юрьеве для эстонского населения учительскую семинарию, в которой ежегодно 100 эстов могут быть подготовлены на должность учителя и основательно научиться русскому языку. Учредив это учебное заведение, — заявляли они, — вы исполнили желание народа и принесли ему неизмеримую пользу»[26].

Посетив в 1862 г. Дерптский учебный округ, министр просвещения признал: «Я был удивлен успехами учеников, в особенности в Дерпте, не только в изучении русской грамматики, но даже в свободе речи и правильности произношения. Это самое замечание относится и до уездных и элементарных училищ»[27] — т. е. тех училищ, где учились дети эстонских крестьян.

Выдающиеся представители демократической мысли в Эстонии многое сделали для того, чтобы помочь своим соотечественникам приобщиться к русской культуре, ибо это, по их мнению, было в интересах самого эстонского народа. «Русский язык, — писал Фр. Р. Крейцвальд, — необходим нашим детям, как хлеб насущный»[28]. Узнав об основании одним из эстонских обществ школы для изучения русского языка, он с удовлетворением отмечал: «Мои собратья в Вирумаа усмотрели из знамений времени, что путь, ведущий их к лучшему, направлен к востоку»[29]. И Фр. Р. Крейцвальд, и К. Р. Якобсон, и И. Кёлер требовали ввести в школах наряду с эстонским языком преподавание русского языка. В составленных Якобсоном учебниках широко популяризировались история России, ее богатейшая литература.

К. Р. Якобсон стремился к тому, чтобы эстонская интеллигенция воспитывалась на лучших образцах русской культуры. По его предложению в Устав общества эстонских литераторов был включен специальный пункт о том, «чтобы за свой счёт посылать в различные местности России способных людей, если исследование в области географии, истории, языкознания или других наук необходимо провести на месте»[30]. Популярная в народных массах газета Якобсона, по его собственному признанию, публиковала научные статьи, в значительной степени посвященные истории и географии России [31].

Дружеские культурные связи с русским народом, на которые возлагали такие огромные надежды Фр. Р. Крейцвальд, К. Р. Якобсон, И. Кёлер, М. Веске, сыграли серьезную роль в подготовке многих деятелей прогрессивной эстонской культуры. В Петербургской академии художеств учились основоположник реалистической традиции в эстонском изобразительном искусстве И. Кёлер и первый эстонский скульптор А. Вейценберг. Петербургскую консерваторию окончили видные эстонские композиторы И. Каппель, М. Хярма, К. Тюрнпу. В Петербурге жили и работали К. Якобсон и Эд. Борнхёэ. Общаясь с передовыми русскими учеными, литераторами, педагогами, художниками, музыкантами, лучшие люди эстонской культуры овладевали духовными богатствами великого русского народа.

Но, одержимые стремлением во что бы то ни стало отстоять фальсификаторскую концепцию «культурной» миссии прибалтийских дворян, враги эстонского народа отрицают его давнюю любовь к великой русской культуре. Они пропагандируют тенденциозные измышления остзейских идеологов о мнимой руководящей роли, которую, якобы, играли в XIX веке в жизни старейшего научного центра Прибалтики — Тартуского университета прибалтийские помещики [32]. Однако и эти антиисториче-

ские концепции также могут ввести в заблуждение лишь недалеких простачков.

Великая русская культура с первого же периода существования университета определила его облик, пути формирования и развития ряда научных школ [33]. В Тарту выдающийся русский электротехник Б. С. Якоби предпринял блестящие опыты по гальванопластике, сделав открытие, приравненное по своему значению к изобретению книгопечатания. В здании Тартуской обсерватории свыше четверти века изучал вселенную русский ученый В. Я. Струве, создавший знаменитую тартускую астрономическую школу. В Тарту прошли молодые годы Н. И. Пирогова — там великий хирург впервые превратил анатомические опыты в основу хирургической науки. Благодаря В. М. Севергину, уже в начале XIX столетия этот небольшой университетский городок стал одним из центров русской минералогической науки. Тартуская химическая школа воспитала крупных специалистов, по праву называвших себя учениками Д. И. Менделеева [34]. Тартуские студенты слушали лекции одного из крупнейших морфологов и теоретиков эволюционного учения XX века А. Н. Северцова. На медицинском факультете университета защищал свою диссертацию основоположник учения о витаминах Н. И. Лунин. Во главе Тартуского ботанического сада стоял крупнейший русский систематик и ботанико-географ Н. И. Кузнецов, а кафедру физики занимал создатель новой науки — сейсмологии — академик Б. Б. Голицын [35]. В университетской клинике, следуя традициям Пирогова, работал выдающийся ученый, хирург и педагог Н. Н. Бурденко.

Перечень этих славных имен, всегда с благодарностью вспоминаемых эстонским народом, можно значительно продолжить. Но разве и без того не ясно, что, замалчивая их, отрицая решающее значение русской культуры в развитии одного из старейших высших учебных заведений нашей страны, буржуазные историки грубо фальсифицируют его прошлое! Прибегая к явным подтасовкам, они без стыда превозносят то «ученое болото», в которое тянул Тартуский университет ряд высмеянных в свое время Герценом реакционных зарубежных «ученых».

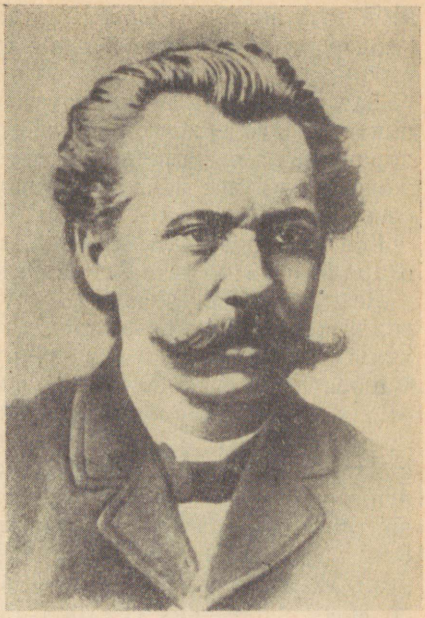
К чему же было остзейским историкам и публицистам, буржуазным националистам, а ныне — некоторым их зарубежным коллегам искажать историческую правду? А ларчик открывается очень просто. Ведь согласившись с тем, что Тартуский университет всегда был рассадником передовых идей русской культуры, пришлось бы согласиться и с неприятной для фальсификаторов истиной об ее влиянии на воспитывавшуюся в университете прогрессивную эстонскую интеллигенцию! Между тем, именно на это указывают исторические факты.

В Тартуском университете, находясь под влиянием прогрессивной русской культуры, воспитывались лучшие представители эстонской демократической интеллигенции. В Тартуском университете, не без воздействия передовой русской литературы, создали свои первые произведения Кр. Я. Петерсон и Фр. Р. Крейцвальд. Знаток русского языка и литературы преподаватель-эстонец Н. Мюльберг говорил о бесценной помощи, которую могли ожидать его сородичи от русского народа, чтобы покончить с баронским произволом. Другой университетский преподаватель М. Веске едва ли не первым познакомил эстонского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева и других корифеев великой русской литературы. В Тартуском университете многие представители демократической эстонской интеллигенции впервые испытали на себе благотворное влияние русской революционной мысли. Став на путь честного и правдивого освещения исторического прошлого, нельзя было бы умолчать и о том, что на протяжении всего XIX и начала XX веков лучи великой русской культуры проникали из Тарту во все уголки угнетенной Прибалтики! И тогда исторические факты еще раз подтвердили бы настойчиво отрицаемые реакционными «учеными» благородство, бескорыстие русско-эстонских дружеских связей.

III. В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ

> Русский и эстонский народы издавна связаны узами крепкой дружбы... Дружба наших народов крепла в общей борьбе за счастливую жизнь.
>
> *И. Варес (Барбарус).*

Первые шаги революционного движения в Эстонии также были связаны с Россией. Борьба русских рабочих разбудила сознание эстонских тружеников. В 1872 году вспыхнула знаменитая Кренгольмская стачка — это было совместное выступление и русских, и эстонских ткачей[36]. Спустя три года на Кренгольме, по инициативе петербургского революционера Луки Иванова, возник кружок, в котором читалась доставляемая туда из Петербурга нелегальная литература. В 80-х годах в Эстонии распространялись издания группы «Освобождение труда». Тартуские студенты изучали марксистскую литературу. В Нарве в 1895 году возник нелегальный рабочий кружок, связанный с ленинским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». Питерский металлист Михаил Калинин заложил в Таллине основы местной социал-демократической организа-



Пролетарский поэт и публицист Ю. Лилиенбах.

ции, принес эстонским и латышским рабочим бессмертные идеи ленинской «Искры». А в Петербурге, в стенах университета, начал свою революционную деятельность руководитель эстонского рабочего класса Виктор Кингисепп[37]; в Петербурге, среди русских рабочих, формировались неутомимые борцы против эстонской буржуазии Ян Анвельт и Ян Креукс.

Так, в тесном единении с верными русскими друзьями, складывалось революционное мировоззрение трудящихся Эстонии, крепли их силы в борьбе за свободу, за счастье. На это указывал в романе «Республика» Ю. Мадарик (Иоханнес Лауристин) — один из виднейших эстонских пролетарских писателей, погибший в самом начале Великой Отечественной войны. Об этом еще в предоктябрьские годы писал Юхан Лилиенбах — поэт, издатель и публицист.

Мы в рабстве родились,
На руках и ногах у нас цепи.
Но мы не рабы,
А борцы за свободу, —[38]

заявлял он в своих пламенных стихах. Только в союзе с русским пролетариатом видел Лилиенбах неизбежность торжества

этой титанической борьбы против жандармского гнета, против произвола помещиков и капиталистов, против самодержавного строя.

Эстонские труженики и русские рабочие оставались соратниками и в годы жесточайшей столыпинской реакции, и в последовавший за ними период нового подъема революционного движения, и в годы первой мировой войны, и в дни подготовки и свершения Великого Октября.

Все эти годы идеи Ленина, идеи Коммунистической партии озаряли путь борьбы эстонского народа.

Все эти годы в сознании трудящихся Эстонии по-прежнему сияли освободительные идеи великой русской демократической культуры. Подчеркивая в ту пору ее огромное значение в формировании передовой украинской культуры, В. И. Ленин писал: «Если большинство украинских рабочих находится под влиянием великорусской культуры, то мы знаем твёрдо, что наряду с идеями великорусской поповской и буржуазной культуры действуют тут и идеи великорусской демократии и социал-демократии. Борясь с первого рода «культурой», украинский м а р к с и с т всегда выделит вторую культуру и скажет своим рабочим: «всякую возможность общения с великорусским сознательным рабочим, с его литературой, с его кругом идей обязательно всеми силами ловить, использовать, закреплять, этого требуют коренные интересы и украинского и великорусского рабочего движения»[39].

Этого же требовали коренные интересы и э с т о н с к и х трудящихся — э с т о н с к и х рабочих и крестьян, под руководством социал-демократических организаций боровшихся против пережитков феодального ига, капиталистической эксплуатации, самодержавного строя. Не случайно, что за семнадцать предоктябрьских лет в Эстонии на эстонском языке вышло 92 рассказа и очерка Горького! Уже в 1903 году Эд. Вильде с огромным уважением отзывался о великом русском писателе. Творения Горького вселяли в эстонского труженика волю к борьбе. Они были могучей поддержкой для передовых эстонских писателей, выступавших против тлетворного влияния реакционной декадентской литературы.

Буржуазные националисты, с помощью интервентов задушившие в 1919 году в Эстонии Советскую власть, стремились предать забвению эту многовековую дружбу русского и эстонского народов. Стараясь изолировать эстонских трудящихся от прогрессивных идей, они, в частности, усиленно ввозили продукцию растленной буржуазной культуры, уровень которой заставлял, по словам писателя-демократа А. Таммсааре, «призадуматься, покачать головой»[40].



Выдающийся представитель критического реализма в Эстонии А. Х. Таммсааре.

В годы фашистской диктатуры Пятса в Эстонию, по существу, был закрыт доступ передовой русской литературе. Из школьных программ исключались любимые эстонским народом творения великих русских писателей. Их книги тщательно скрывались от юношества, снимались с библиотечных полок.

Пропагандируя западноевропейскую и американскую реакционную литературу, эстонские буржуазные мракобесы прилагали одновременно все силы к тому, чтобы заглушить звонкую лиру Пушкина, изгнать с эстонских театральных подмостков комедии Гоголя, исказить гневное слово Горького. Но даже в фашистских тисках не могла угаснуть народная любовь к русской культуре. В Таллине, при содействии прогрессивных театральных деятелей, шел гоголевский «Ревизор»; И. Варес, с трудом получив от буржуазного правительства разрешение, выехал в Москву, на столетний юбилей Л. Толстого; среди таллинской и тартуской молодежи распространялась горьковская «Мать», и Эд. Вильде в одном из интервью смело назвал Горького непревзойденным мастером пролетарской литературы . . .

Хотя буржуазно-националистическое правительство, по справедливому определению чешского писателя Ярослава Гашека, и огородило Эстонию со всех сторон колючей проволокой, ее

лучшие люди по-прежнему верили в светлый гений русского народа, видели в русской культуре самую передовую, самую демократическую культуру. «У русских есть умы, — писал в 1936 году А. Таммсааре, — которые в течение полувека влияли если не на весь мир, то, по крайней мере, на всю Европу. Если Европе, перед которой мы постоянно пресмыкаемся, было чему поучиться у русских, то почему бы и нам этого не делать?» [41] Писатель-гуманист призывал смелее учиться русскому языку, «чтобы найти себя и освободиться от того, что побито молью и давно уже обветшало» [42].

Двадцать лет эстонский труженик томился в капиталистическом рабстве. И все эти годы он мечтал о той счастливой жизни, которую построили в своей стране советские люди. Открытую в Таллине в январе 1940 года — за несколько месяцев до свержения фашистского режима — выставку советской литературы посещало в течение дня до 3000 человек! «Убийственный для переплётов книг, но крайне благотворный для культурного общения принцип — каждый посетитель мог брать книгу в руки и знакомиться с её содержанием — принёс свои плоды, — сообщал один из корреспондентов. — Выставка превратилась в своего рода читальню . . .»[43]. Ведь правдивые книги рассказывали о новостройках и колхозах, о молодости старых и рождении новых городов, о радости созидательного труда — обо всём том, к чему неудержимо стремился и эстонский народ!

Лето 1940 года было концом «трясинной республики», как метко назвал буржуазную Эстонию поэт Юхан Смуул. Эстонский народ сверг ненавистную ему фашистскую клику. Он вернулся в родную советскую семью, и Солнце Свободы озарило поля и нивы Прибалтики.

Мне Советская власть открыла пути,
те, что были закрыты прежде,
и, как всем молодым, сказала: — Иди
прямо к светлой мечте, к надежде, —

пишет Юхан Смуул, —

Мне для жизни и счастья она дала
новый взгляд, внимательный, ясный,
и сознанье, что ни один из нас
не родился на свет напрасно,
что у всех есть хлеб и у всех есть труд,
всем открыта к знанью дорога,
что народу я многое должен дать
и от жизни требовать много [44].

В мирном творческом труде и в огне сражений старая немеркнущая дружба засверкала всеми красками цветущей молодости. Новые, небывалые ранее, формы приняли ныне чувства, навеки связавшие эстонских тружеников со всеми советскими людьми. И с тем большей признательностью произносят сегодня в Эстонии имена выдающихся деятелей русской передовой общественно-демократической мысли и прогрессивной литературы, на протяжении многих десятилетий крепивших эту чудесную дружбу.

...И слово русское, как музыка звучит
В моей стране так радостно и звонко!..
И томик Пушкина раскрыт
В руках счастливого эстонского ребёнка.

Март Рауд

1. СЛОВО ПУШКИНА

Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин; ничья слава не распространялась так быстро... Его имя уже имело в себе что-то электрическое...

Н. Гоголь

«Я сделал ещё приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Царском селе. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности... Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастёт. Ему надобно непременно учиться и учиться не так, как мы учились!»...[1]

Эти строки написаны были 19 сентября 1815 года Василием Андреевичем Жуковским. Три месяца спустя он уехал в Эстонию, увозя в своей памяти вдохновенные строфы лирических стихов гениального лицеиста. За несколько сот верст от Петербурга, в гостиной тартуского профессора И. Ф. Мойера, Жуковский вспоминал о недавних встречах с молодым поэтом, в котором уже тогда увидел будущего титана русской культуры[2].

Так, едва ли не впервые, в Эстонии произнесено было имя Александра Сергеевича Пушкина. И понадобилось всего лишь несколько лет, чтобы это имя узнали уже в разных уголках прибалтийского края; чтобы произведения Пушкина и там взволновали честные сердца, пробуждая у многих благородные, светлые чувства.

Разными путями стало попадать в Эстонию всё, что принадлежало перу поэта. Вильгельм Кюхельбекер, проезжая в 1820 году через Нарву и Тарту, встречаясь там с друзьями и знакомыми, имел при себе «Руслана и Людмилу»...[3] Вяземский, отправляясь в Таллин, захватил для друзей вторую главу «Евгения Онегина» и «Оду гр. Д. И. Хвостову»...[4] А. Воейкова не



А. С. Пушкин. Портрет работы худ. В. Тропинина, 1827.

Третьяковская галерея.

расставалась в Тарту с альбомами, в которых и ее рукою, и рукою брата поэта переписаны были пушкинские строки; [5] с альбомами, хорошо знакомыми всем, кто бывал в ее гостиной... Александр Бестужев, будучи в Прибалтике, получал из Петербурга томики журналов с новыми стихами Пушкина... [6] В рукописных списках творения поэта доставлялись тартускому студенту Николаю Языкову... [7] Их привозил с собой в Эстонию Жуковский... [8] Стихи или вести о поэте доходили туда через его лицейских друзей, петербургских и московских приятелей, многочисленных почитателей. И несомненно, что среди этих друзей и почитателей, ставших связующим звеном между поэтом и Прибалтикой, были приезжавшие в Таллин поэт Дельвиг [9] и баснописец Крылов [10], студент Тартуского университета, а впоследствие выдающийся деятель русской языковедческой культуры Даль [11], жившие в разное время то в Таллине, то в Тарту сыновья историографа Карамзина [12], только еще всту-

павший на литературную стезю тартуский студент Соллогуб . . .[13].

Таков длинный, но конечно не исчерпывающий, перечень лиц, несших в Эстонию пушкинское слово. А ведь у каждого из этих замечательных русских людей, искренно любивших великого поэта, были в Прибалтике друзья, приятели, знакомые, которые, познакомившись с тем или иным произведением Пушкина, сами способствовали его дальнейшему распространению.

Итак, идя по России, слава Пушкина не миновала и край феодального господства остзейских баронов. Дышавшее пламенной любовью к вольности, его слово начало проникать туда в пору, когда эстонские крестьяне успели полностью вкусить «блага» пресловутой «реформы» 1816 года. Формально освобожденные от крепостного права, они по-прежнему влачили тяжелую рабскую долю, как и прежде подвергались телесным наказаниям, а голод, как и ранее, был постоянным спутником в их безрадостной жизни. И чем чудовищнее становилось угнетение прибалтийских народов, с тем большей остротой воспринимались в Эстонии приходившие туда стихи Пушкина. Казалось, что это о жалком положении эстонских крестьян писал русский поэт, клеймя «барство дикое», с негодованием обрушиваясь на крепостников, присваивавших себе «и труд, и собственность, и время земледельца».

«Буйные, одетые прелестию поэзии мысли» Пушкина оказывали, по словам Жуковского, сильное влияние на «зреющее поколение». В Эстонии первой половины XIX столетия этому благотворному влиянию подвержена была в значительной степени та лучшая часть тартуского студенчества, которая не только воспитывалась на русской культуре, на ее гуманистических традициях, но и пропагандировала эту культуру, боролась за нее . . . Боролась, выдерживая нападки реакционнейших профессоров и невежественных, но многочисленных баронских сынков, ощущая со стороны остзейского дворянства подчас явную, но чаще скрытую, вражду ко всему подлинно русскому.

Пожелтевшие за десятилетия архивные дела дают возможность представить себе сложившуюся в Тартуском университете в те далекие годы напряженную обстановку. Захватив в еще молодом учебном заведении ряд командных высот, консервативная часть немецких ученых охотно насаждала тогда среди молодежи лишь реакционную литературу. Надежную поддержку находила она в этом со стороны профессуры теологического факультета — центра духовного оболванивания не одного только тартуского студенчества, но и народов Прибалтики. Не случайно живший одно время в Эстонии мракобес Магниц-

кий признавал с такой уверенностью за этим факультетом первостепенную роль в борьбе монархии против вольнолюбивой «крамолы»!

В небольшой, всего лишь в несколько страниц, книжке, приуроченной к одной из годовщин Московского университета, тартуский профессор русского языка М. П. Розберг с горечью сообщал, насколько сложно было поборникам русской культуры преодолевать в Тарту воздвигаемые на ее пути препоны. Иному, заявлял ученый, трудно будет поверить, что это происходило неподалеку «от северной столицы . . ., где действовал Ломоносов, где рокотала лира Державина, где золотым потоком струилась проза Карамзина, где пел Жуковский, где расцвел дивный Пушкин!»[14].

Препоны, о которых писал Розберг, надо было преодолеть и тем, кто нес в Эстонию вольнолюбивое пушкинское слово, кто, живя там, изучая в Тарту науки, в той или иной степени пропагандировал творения русского поэта. При этом, преодолевая сопротивление реакционеров, они находили могучую поддержку в самом же университетском городке, у той профессуры, которая искренне любила Россию, высоко ценила русскую культуру.

Старые книги и архивные документы рассказывают нам и о таких, прогрессивных, тартуских ученых. Мы узнаем из них о ректоре — русском академике Е. И. Парроте, за свои прогрессивные взгляды на воспитание молодежи ненавидимом местным дворянством. Со старинного портрета на нас устремил умный, проницательный взгляд К. С. Моргенштерн — директор университетской библиотеки, почетный член Петербургской академии наук, связанный с передовыми слоями русской интеллигенции[15]. Это благодаря Моргенштерну тартуские студенты имели возможность знакомиться в библиотеке с лучшими московскими и петербургскими периодическими изданиями, с выдающимися образцами русской литературы[16]. Из свидетельств современников мы извлекаем множество сведений о замечательном человеке и ученом — профессоре астрономии В. Я. Струве, основавшем в 30-х годах знаменитую Пулковскую обсерваторию. Архивное дело профессора Эверса, воспоминания знавших его лиц говорят о стремлении ученого к дальнейшему обогащению университетской библиотеки русской литературой, о его мечте создать в Тарту один из российских центров изучения славянских языков и истории. Из дали многих десятилетий мы извлекаем и такие давно позабытые имена, как К. Петерсон[17] и М. Асмус[18], — имена скромных сотрудников университета, поддерживавших тесные связи с русскими писателями.

Этот перечень можно значительно продолжить. Но мы огра-



Профессор Тартуского университета И. Ф. Мойер. Литография Гельбаха, 1827.

ничимся еще лишь одним славным именем, которое с одинаковым уважением произносили и хирург Пирогов, и поэт Жуковский, и языковед Даль, и декабрист А. Бестужев. Иван Филиппович Мойер, о котором идет сейчас речь, был, по определению его современников, личностью замечательной и высокоталантливой. Лекции этого ученого, вспоминал Пирогов, «отличались простотою, ясностью и пластичною наглядностью изложения. Талант к музыке был у Мойера необыкновенный; его игру на фортепиано — и особливо пьес Бетховена — можно было слушать целые часы с наслаждением» [19]. Коллеги и ученики блестящего хирурга обязаны были ему не только своим профессиональным мастерством. В его доме, где пользовались гостеприимством многие выдающиеся деятели прогрессивной культуры России — В. А. Жуковский, А. А. Бестужев, В. И. Даль, Н. М. Языков и другие, они черпали также знания из области русской литературы. Гостиная Мойера была, по существу, одним из прибалтийских центров, где новые творения многих русских писателей читались еще в рукописных списках, куда они приходили задолго до их публикации.

Проявляя искренний интерес к русской литературе, музыке, живописи и науке, видные тартуские ученые, многие студенты

университета знали, ценили, любили и Александра Сергеевича Пушкина.

Весной 1820 года почта доставила в Тарту томики «Сына Отечества». В них были отрывки из «Руслана и Людмилы». И тотчас журнал пошел по рукам. «Сего дня с Воейковым читал отрывок из поэмы Александра Сергеевича, — сообщал своему другу В. Кюхельбекеру студент Иван Вилламов. — Не нужно говорить, понравился ли он!» [20] Новое произведение Пушкина горячо обсуждалось в гостиной Мойера, и хозяйка дома в письме к сестре с неодобрением отзывалась об одном из появившихся в ту пору критических откликов на поэму [21].

Подобный отзвук находила в Тарту едва ли не каждая поступавшая туда строка Пушкина. А поступало в этот тихий университетский городок почти всё, что создавалось русским поэтом; приходило и в журналах, и отдельными книжками, и рукописными списками; приходило самыми разными, но, как правило, весьма короткими путями.

30 ноября 1822 года цензор Бируков подписал к печати «Полярную Звезду» с четырьмя стихотворениями Пушкина. И понадобилось всего лишь двадцать дней, чтобы декабристский альманах попал в Тарту, чтобы Языков, а по всей вероятности и некоторые другие студенты, прочли его в доме Мойера[22]. Пушкин только еще задумывался над тем, как провести сквозь цензуру «Бахчисарайский фонтан», а в Тарту уже поступили переписанные кем-то отрывки[23]. В московской типографии подготовляли набор для первого издания поэмы, а тартуские студенты обладали уже её полными рукописными списками[24].

Вести о новых сочинениях поэта, о его замыслах приходили, подчас, даже раньше самих произведений. «... Каков будет его роман в стихах Евгений Онегин?»[25] — спрашивал 2 марта 1824 года в одном из тартуских писем Языков. «Слышно, что Пушкин прислал в Петербург 1 часть своей поэмы в роде Шильд-гарольда и Дон-Жуана — Онегина, что оная заключает описание Крыма и Бессарабии»[26], — писал он брату спустя ещё два с половиной месяца. На глазах другого тартуского студента Алексея Вульфа создавался почти весь роман: «Многие из мыслей, — вспоминал он, — прежде чем я прочёл их в Онегине, были часто в беседах глаз на глаз с Пушкиным в Михайловском пересуждаемы между нами, а после я встречал их, как старых знакомых»[27].

Вслед за вестями, подобными тем, которые получал об «Онегине» Николай Языков, обязательно следовали и сами произведения. 21 февраля 1825 года, на другой же день после появления в «Санктпетербургских Ведомостях» извещения о продаже отдельной книжкой первой главы романа, она была уже

послана в Эстонию[28]. Минуло еще три месяца, и в Тарту пришел рукописный список второй главы[29], а за нею и все последующие. Изданная же в Петербурге шестая глава попала в Эстонию при прямом содействии автора: поэт в ноябре 1828 года переслал её туда через брата Языкова[30]. Так, благодаря Языкову, Вульфу, отчасти и самому Пушкину, его роман в стихах стал известен в Тарту значительно раньше, чем он был завершен и полностью издан.

Это заключение можно в равной степени отнести и к большинству других произведений великого поэта. Из писем Языкова известно, например, что библиограф и библиофил С. А. Соболевский первый привез с собой в Тарту известие о «Полтаве». «Он обрадовал мою совершенно пустую, бесталанную жизнь теперешнюю, — сообщал тартуский студент своим братьям, — что Пушкин написал новую прекрасную, все его прежние превосходящую, поэму Мазепа, множество баллад, песен, сказок и т. д.; что Северные Цветы на 1829 будут исполнены его стихами»[31]. «Радуюсь сердечно, — писал он тогда же покинувшему Тарту товарищу, — что наконец Пётр, Мазепа и Полтава нашли себе достойного воспевателя. Желаю Пушкину долготерпения для этого труда божественного: больше желать ему нечего; его виктория на Парнасе так верна, как на небе луна»[32].

Оба письма датированы началом ноября 1828 года. Сама же эпическая поэма, о которой уже так много говорили в Тарту, написана была всего лишь за две-три недели до того, и знали тогда о ней только самые близкие Пушкину люди.

Переписка Языкова — этот достовернейший источник сведений о знакомстве тартуского студенчества 20-х годов с творчеством Пушкина — раскрывает перед нами и другие небезынтересные факты. Мы узнаем из нее о чтении в Тарту, спустя несколько дней после опубликования, главы из «Арапа Петра Великого»[33]. Одно из писем Языкова 1827 года подтверждает, что он знал в ту пору о работе поэта над петровской историей[34]. В ряде тартуских посланий студент благодарит за присланные пушкинские стихи, просит отправить ему новые сочинения поэта: «Не забудь прислать Руслана. . .», «Пришли мне Братьев-разбойников», «Что ты мне ничего не написал о Цыганах? . .», «Благодарю за стихи Пушкина; они для меня новость»[35].

Пушкинские творения составляли неотъемлемую и драгоценнейшую часть весьма солидной библиотеки Языкова, широко открытой для всех его, довольно многочисленных тартуских друзей. «. . . Он получал русские журналы, альманахи, вообще всё новое и замечательное в русской литературе; — вспоминал

о студенческих годах Языкова его однокашник по Тартускому университету А. Н. Татаринов, — некоторые из нас, в том числе и я, многим обязаны ему в этом отношении»[36].

Этим «новым и замечательным в русской литературе» были, прежде всего, сочинения Пушкина. От Языкова они попадали к его университетским друзьям — поэту А. Тютчеву, художнику А. Хрипкову, литератору В. Княжевичу, будущему историку и филологу Ф. Бруни, знакомому Пушкина Н. Киселёву, лектору русского языка А. Тихвинскому и многим другим. От Языкова тартуский переводчик Карл Борг получил «Руслана и Людмилу» и «Кавказского пленника»[37]. Изданная в 1823 году в Тарту вторая часть книги Борга «Поэтические произведения русских» содержала не только перевод большого отрывка из поэмы Пушкина, но и биографию поэта, хвалебную характеристику его сочинений. «Пушкин написал много лирических стихотворений, посланий и пр., — извещал своих читателей Карл Борг. — Но наиболее значительными его произведениями являются две поэмы — романтическая поэма «Руслан и Людмила» в шести песнях, вышедшая в Петербурге в 1820 году, и «Кавказский пленник», Петербург, 1822. Обе поэмы, особенно вторая, отличаются живостью изображения, восхитительными описаниями и звучным стихом. Эти поэмы выдвинули Пушкина, несмотря на его молодость, в число лучших поэтов России»[38].

Позднее стихи Пушкина поступали в Эстонию и через В. А. Соллогуба, в 1829 году ставшего студентом Тартуского университета. Одна из его поездок на каникулы в Петербург ознаменована была встречей с Александром Сергеевичем, волшебное имя которого, по признанию Соллогуба, являлось тогда «чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей»[39]. К этим молодым почитателям Пушкина относились и тартуские товарищи Соллогуба — Пирогов, Иноземцев, братья Карамзины. Им, в первую очередь, он и поведал, по всей вероятности, о взволновавшем его личном знакомстве с поэтом.

Страстным пропагандистом пушкинского творчества в последний год жизни поэта был в стенах Тартуского университета М. П. Розберг — этот тонкий ценитель поэзии, блестящий знаток русской литературы. Еще задолго до переезда в 1836 году в Тарту, он встречался с Пушкиным, переписывался с ним, восторженно отзывался о его произведениях, «молнийным блеском озаривших нашу словесность и оставивших, — как утверждал Розберг, — в живых сердцах следы глубокие»[40].

Можно с большими или меньшими подробностями рассказать о проникновении при жизни поэта в Эстонию, в том числе

и в Тарту, многих его произведений. Но достаточно остановиться на истории знакомства там с «Борисом Годуновым», чтобы еще лучше представить себе, как хорошо знали тогда в Прибалтике Пушкина.

Начало этой истории — в одном из тартуских писем Языкова: «Сюда приехал из Пскова студент здешнего университета, приятель Пушкина; говорит, что Пушкин уже написал два действия своей трагедии Годунов, что она будет прекраснее всего им доселе писанного...»[41] — сообщал он 19 августа 1825 года. Несомненно, что «приятель Пушкина», а им был Алексей Вульф, поделился этой новостью не с одним только Языковым, что она тогда же стала известна многим.

Почти два с половиной месяца спустя — 7 ноября — Пушкин завершил работу над трагедией. Зимней ночью, в конце 1825 или самом начале 1826 г., он прочел ее приехавшему в Михайловское Вульфу[42]. К тому времени никто более из тартуских почитателей Пушкина не мог еще познакомиться с новым произведением. Но вести о трагедии уже шли отовсюду, и в Тарту составилось определенное представление о «Борисе Годунове». 17 марта 1826 года Языков писал брату в Симбирск, что все его тартуские знакомые единодушно хвалят трагедию Пушкина[43].

8 сентября того же 1826 года Пушкин, после долгих лет отсутствия, приехал в Москву. В доме Д. Веневитинова, в узком кругу друзей, он прочел свою пьесу. И хотя в Тарту ее по-прежнему еще не имели, адресованное тартускому профессору В. Перевощикову письмо А. Воейкова (ноябрь 1826 г.) подтверждало, что «Борис Годунов» — «это чудо, это образец силы, ужаса, высокого и великого... Прочтите сии строки поэту Языкову, — просил Воейков, — он затрепещет от восторга и соревнования...»[44].

Но эти строки не содержали для Языкова столь ошеломляющего, неожиданного известия, ибо и он, и его тартуские друзья многое уже знали о созданной Пушкиным трагедии. А месяц спустя — 29 декабря — Языков сообщал брату, что творец «Бориса Годунова» прочел и ему свою пьесу; что она действительно превзошла всё, что вышло к тому времени из-под пера поэта[45].

Пять с лишним лет «Борис Годунов» держался под строжайшим запретом. Однако в Тарту, как мы видим, знали о существовании трагедии, и не только знали, а даже читали ее по полному рукописному экземпляру значительно раньше, чем она увидела свет. «Я живо помню, — вспоминал Пирогов, — как однажды Жуковский привёз манускрипт Пушкина «Борис Годунов» и читал его Екат. Афанасьевне (Протасовой — теще Мойера. — А. Л.); помню также хорошо, что у меня пробежала

дрожь по спине при словах Годунова: «и мальчики кровавые в глазах»»[46].

Из этой короткой заметки мы узнаем о двух слушателя «Бориса Годунова» — Протасовой и Пирогове. Но вряд ли, конечно, привезя с собой в Тарту список трагедии, Жуковский ограничился столь скромной аудиторией. Будучи в близких отношениях со многими профессорами, знакомый с рядом студентов, он не мог, разумеется, скрыть от них приводившее его в восхищение новое произведение Пушкина.

Сам факт знакомства в Эстонии с трагедией до её официального выхода в свет говорит о многом. Слушатели, с трепетом сердечным воспринимавшие каждую строку монументального творения, должны были задуматься и о причинах, по которым немилосердная цензура препятствовала его опубликованию. А поскольку в Эстонии хорошо знали, как терниста была жизнь поэта, не возникало сомнений и в том, кто являлся истинным гонителем русского гения. С другой стороны, интерес к «Борису Годунову» ещё в ту пору, когда он не мог увидеть свет, свидетельствует (и мы вновь подчеркиваем это) о необычайной популярности в Тарту всего пушкинского творчества. Тот же Языков сообщал, что в студенческой среде сочинения Пушкина не только читались, но и (например, «Полтава») горячо обсуждались.

Всё это имело, впрочем, место не в одном только Тарту. Так было и в некоторых других прибалтийских городах, куда произведения Пушкина проникали столь же разными, сколь и многочисленными путями. Чтобы убедиться в этом, вновь вернемся к «Борису Годунову».

Трагедия была напечатана впервые в канун 1831 года. И знаменательно, что всего лишь шесть месяцев спустя она уже вышла в Таллине в предназначенной для немецкого читателя «Русской библиотеке» Карла Кнорринга. «Спешу представить немецкой публике, — сообщал переводчик, — сочинение А. Пушкина, давно ожиданное и принятое современниками с величайшим вниманием. Вместе с литературою, в России возникает и критика: многие периодические листы, одни перед другими, стараются обращать внимание публики на всё, достойное замечания, и все они согласны в том, что Борис Годунов заслуживает величайшую признательность»[47].

Перевод Кнорринга был высоко оценен современниками. «Московский Телеграф» Николая Полевого, признанный В. Г. Белинским лучшим журналом в России, горячо приветствовал таллинское издание «Бориса Годунова». Автор анонимного обзора, по всей вероятности, брат издателя — Ксенофонт Полевой с удовлетворением отмечал, что Пушкин нашел себе в

Эстонии хорошего переводчика и что Кнорринг верно передал художественные достоинства гениальной трагедии[48].

Вряд ли, конечно, предпринятое в Таллине издание «Бориса Годунова» привело в восторг остзейских «просветителей». Но тяга в Эстонии к русской культуре, интерес к творениям Пушкина были настолько велики, что идеологи прибалтийского дворянства, при всем своем желании, не в силах были пресечь распространение трагедии. В 1833 году в «Дорпатском ежегоднике литературы, статистики и искусства, преимущественно России» («Dorpater jahrbücher für Literatur, Statistik und Kunst, besonders Russlands») появилась даже обширнейшая рецензия Е. Ф. Розена[49]. С разрешения Пушкина, она впервые знакомила читателя с исключенной из первого и не вошедшей в последующие издания трагедии сценой — «Ограда монастырская».

Факты убеждают нас, таким образом, в том, что еще при жизни поэта в Эстонии знали Пушкина, что там было в ту пору немало искренних почитателей русского гения.

ПЕРЕПИСКА И ВСТРЕЧИ

Тебя любят, тебе верять, тебе подражают...

К. Рылеев — А. Пушкину.

В 1824 году Пушкина сослали в Михайловское. Эта весть глубоко потрясла его друзей, в том числе и тех, кто жил в Эстонии или связан был с ней самыми тесными, многолетними узами. «Кто творец этого бесчеловечного убийства... — с возмущением писал П. А. Вяземский. — Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина!»[50].

В то знойное лето, в глухой псковской деревушке, поэт встретил студента юридического факультета Тартуского университета Алексея Вульфа. «Бешенство скуки» ускорило сближение ссыльного Пушкина с девятнадцатилетним юношей. Знакомство быстро вылилось в дружбу. «Я часто виделся с одним дерптским студентом... — вспоминал позднее об этих встречах поэт. — Он много знал, чему научаются в университетах...»[51]. В часы долгих бесед Вульф вспоминал о Тарту, об университетских товарищах, с которыми расстался на каникулы, о Языкове...

С той поры, мечтая покинуть тяготившую его михайловскую ссылку, Пушкин всё чаще обращался к своим эстонским друзьям. Велико было желание уйти от строжайшего надзора и



А. Н. Вульф.

Копия карандашом с портрета, сделанного в 1828 г.

из тоскливой глуши покатить в Тарту — к Языкову, к Вульфу, к другим близким ему людям. И он писал:

Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой,
И возвратился б оживленный
Картиной беззаботных дней,
Беседой вольно-вдохновенной
И звучной лирою твоей.

Это послание пришло к Языкову в Тарту в конце сентября 1824 года. Оно не могло остаться неизвестным тем тартуским студентам, которые были близки Языкову. И нет сомнений, что и он, и его друзья с сердечной болью повторяли полные горечи строки:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь. —
Всегда гоним, теперь в изгнаньи
Влачу закованные дни[52].

Лучшая часть тартуской молодежи услышала в этих строках страстный протест против деспотизма русского самодержца, злобно игравшего счастьем поэта, сославшего его в псковскую деревню, установившего за ним полицейский надзор.

Переписка между михайловским узником и его эстонскими друзьями становилась всё оживленнее. Находясь под «бдительным и попечительным наблюдением», Пушкин вынужден был ее тщательно скрывать. Одно из писем в Тарту, к Андрею Вульфу, поэт послал через сестру своего приятеля. Таким же путем должен был прийти и ответ. «... Милый, жду тебя с отверстыми объятиями ... — писал Пушкин Вульфу. — Уговори Языкова, да отдай ему мое письмо; так как я под строгим присмотром, то если вам обоим заблагорассудится мне отвечать, пришли письма под двойным конвертом на имя сестры твоей ...»[53].

Не без участия тартуских приятелей, летом 1825 года родилась мысль избавить Пушкина от ссылки. Объявив его серьезно больным, они начали ходатайствовать о поездке поэта в Тарту[54], к знаменитому Мойеру. У почтенного хирурга друзья должны были получить фиктивное свидетельство о необходимости неотложного лечения Пушкина за границей. Это могло избавить поэта от михайловского уединения. Однако на поданное царю прошение последовала высочайшая «милость»: разрешить поэту выезжать ... в Псков.

Отказ в разрешении на поездку к Мойеру огорошил и участников заговора, и тех, кого на самом деле встревожила вымышленная болезнь. Жуковский, не ведая о замышлявшемся побеге и обеспокоенный состоянием молодого друга, быстро склонил профессора самому отправиться в Михайловское. «Когда он (Мойер. — А. Л.) услышал, что у тебя аневризм, — писал 5 августа 1825 года Пушкину Плетнёв, — то сказал: я готов всем пожертвовать, чтобы спасти первого для России поэта»[55]. Ученый тотчас же списался с попечителем учебного округа и получил у него официальное разрешение на отъезд в Михайловское[56].

Пушкин оказался в затруднительном положении. Мог ли он позволить, чтобы всеми уважаемый ученый, не ведавший о роли, которая ему предназначалась, но которую ему не суждено было сыграть, ездил к нему за много верст, в деревню! «Друзья мои и родители, — писал Александр Сергеевич в конце августа 1825 г. в Тарту, к Вульфу, — вечно со мною проказят. Теперь послали мою коляску к Мойеру с тем, чтоб он в ней ко мне приехал и опять уехал и опять отослал назад эту бедную коляску. — Вразумите его. — Дайте ему от меня честное слово, что я не хочу этой операции, хотя бы и очень рад

был с ним познакомиться . . .»[57] И в следующем письме: «Милый Алексей Николаевич, чувствительно благодарю Вас за дружеское исполнение моих препоручений и проч. Почтенного Мойера благодарю от сердца, вполне чувствую и ценю его благосклонность и намерение мне помочь — но повторяю решительно: ни во Пскове, ни в моей глуши лечиться я не намерен . . .»[58]

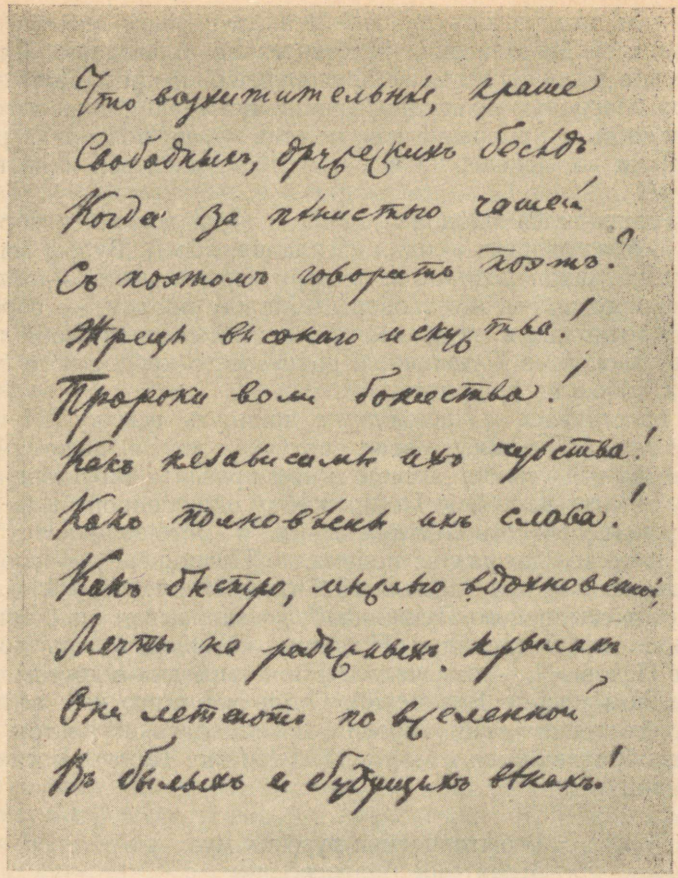
Так провалился один из планов побега михайловского узника . . . Мы говорим — один из планов, ибо А. Вульф вспоминал, что Пушкин носился в ту пору с различными проектами быстрейшего получения свободы. «Между прочим, — сообщал он, — предложил я ему такой проект: я выхлопочу себе заграничный паспорт и Пушкина, в роли своего крепостного слуги, увезу с собою за границу . . .»[59]

Не расставаясь с надеждами покинуть ссылку, Пушкин, между тем, по-прежнему звал тартуских друзей посетить «изгнанья темный уголок», вместе с ним прогнать тяготившую его «скуку зимних вечеров». По-прежнему оживленной была переписка между селом Михайловским и Эстонией. «Нет дня, чтобы я несколько раз не подумал о Пушкине»[60], — сообщал в письме из Таллина 22 июля 1825 года Вяземский. «Я получил письмо от ссылочного Пушкина»[61], — записывал он 1 августа. «Писал . . . к Александру Пушкину, который теперь должен быть в Пскове»[62], — отмечал спустя четыре дня в другом своем таллинском письме Вяземский. Столь же часто имя великого поэта, его гениальные творения упоминались студентом Языковым, обратившимся в марте 1825 года из Тарту с посланием к Пушкину:

В бытописаньи русских муз
Меня твое благоволенье
Предаст в другое поколенье,
И сталь плешивого косца,
Всему ужасная, не скосит
Тобой хранимого певца [63].

Летом 1826 года, будучи в Тригорском и Михайловском, Николай Языков встретился с Пушкиным. С каким восторгом вспоминал он позднее о восхитительных беседах с творцом «Руслана и Людмилы», о «достохвальных краях», где слагались бессмертные пушкинские строфы, о той «године золотой», когда «два первенца полночных муз постановили своенравно» свой поэтический союз![64]

Вернувшись после встречи с Пушкиным в Тарту, Языков написал ряд стихотворных и прозаических посланий. «Я во-



Автограф написанного Н. М. Языковым в Тарту стихотворения «Тригорское» (отрывок). Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

прошал совесть мою, — заявлял он, — и не нахожу во всей моей жизни ничего подобного, красотою нравственною и физическою, ничего приятнейшего и достойнейшего сиять золотыми буквами на доске памяти моего сердца, нежели лето 1826 года»[65].

Осенью того же года Пушкин покинул, наконец, михайловскую ссылку. Но, хоть и был он отделен теперь от Эстонии бо́льшим числом верст, его связи с прибалтийским краем не

прервались. Великому поэту по-прежнему писали из Таллина и Тарту, его стихи и письма, как и до тех пор, получались Языковым. Решив принять участие в издании нового журнала «Московский Вестник», Пушкин тотчас же сообщил об этом своему тартускому другу: «Адресуйте же ваши стихи... Рады ли вы журналу?»[66]

Переписка Пушкина с жившими в Таллине и Тарту друзьями, личные встречи с ними сыграли значительную роль в распространении по Эстонии наиболее точных и достоверных сведений о поэте. Однако значимость переписки и встреч не исчерпывается только этим: и то и другое способствовало также заочному знакомству Пушкина с Эстонией. О ней ему рассказывали, конечно, при встречах жившие длительное время в Тарту Н. Языков и А. Вульф. Об эстонской природе Пушкину писал из Таллина Вяземский. В посланных в село Михайловское стихах он воспевал Нарвский водопад — «бурный властелин», господствующий «над тишиной окрестной»[67]. О Прибалтике многое могли рассказать Пушкину и Вильгельм Кюхельбекер, проведший там всё свое детство; и Александр Бестужев, не раз бывавший в Эстонии, хорошо знавший ее историю, знакомый с бытом прибалтийских крестьян; и братья Тургеневы, также посещавшие эстонские города; и Жуковский, связанный крепчайшими узами с Тарту; и многие другие друзья и знакомые Александра Сергеевича. О Прибалтике — такой, какой она была в его дни и в давно минувшие времена, — Пушкин узнавал и из современной ему литературы. В личной библиотеке поэта лежал томик «Мнемозины» с эстонской повестью Кюхельбекера «Адо»[68], а одна из принадлежавших Пушкину книжек собрания сочинений Бестужева дошла до нас разрезанной в той ее части, которую занимает «Поездка в Ревель»[69].

Под влиянием ли писем и рассказов друзей или благодаря прочитанной о Прибалтике литературе, но Пушкиным и в последующие годы владело желание посетить Эстонию, вырвавшись, хоть на время, из «неволи невских берегов». «Теперь мы в Ревеле, всякий день с милым семейством Пушкина любуемся самыми романтическими видами, — писал 14 июня 1827 года П. А. Осиповой поэт А. А. Дельвиг, — наслаждаемся погодою и здоровьем, и только чувствуем один недостаток: хотели бы разделить наше счастье с вами и Александром (Пушкиным. — А. Л.) ... Ждём его сюда, пока ещё сомневаемся, сдержит ли он обещание, и это сомнение умножит нашу радость, когда он сдержит слово...»[70]

Опасения Дельвига были не лишены оснований. Постоянные материальные трудности приковывали поэта к Петербургу. С



А. А. Дельвиг (неоднократно приезжал в Эстонию).
Рисунок В. Лангера, 1830.

грустью сообщал он в Тарту Языкову, что «гербовые заботы» вынуждают его и на сей раз не двигаться с места.

Не удалось Пушкину посетить Эстонию и несколько лет спустя, когда он предпринял поездку в юго-восточную Россию. В 1833 г. из канцелярии шефа жандармов Бенкендорфа ему дано было разрешение на посещение тех мест, где разворачивался сюжет задуманной им «Капитанской дочки». Пушкин хотел отклониться от предначертанного ему маршрута и навестить жившую тогда в Тарту семью историографа Н. М. Карамзина. Однако и на сей раз его планы не осуществились. «Софье Николаевне (дочери историографа. — А. Л.) объясни, — писал Пушкин жене, — что если я не был к ним в Дерпт, то это единственно по недостатку прогонов, которых не хватило на лишних 500 верст. А не писал им, полагая всё приехать»[71].

Так и не довелось Пушкину за свою короткую жизнь ступить на прибалтийскую землю. Но, подобно крылатой вестнице, туда дошло вольное, могучее слово поэта. И, когда 29 января 1837 года Пушкина не стало, эта страшная новость потрясла в Эстонии немало преданных ему сердец. В Таллине и Тарту с глубоким волнением читались скорбные строки написанного В. Ф. Одоевским некролога:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!! Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое рус-

ское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава! . .»[72]

III. ЖИВОТВОРНЫЙ ИСТОЧНИК

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык.
А. Пушкин

Летом 1895 года одна из прибалтийских газет опубликовала письмо побывавшего в Тарту инженера Мих. А—на. Оно привлекло всеобщее внимание.

«Осматривая город, — сообщал Мих. А—н, — я совершенно случайно, благодаря любезности одного лица, имел возможность осмотреть университетскую библиотеку . . . Совершенно неожиданно, я нашёл нечто такое, что кажется нигде нет: в одной из маленьких комнат в 3 или 4-м этаже, совершенно вдали от всех и всего, на чёрном столике, под стеклянным колпаком лежит маска. И чья же? Нашего великого Пушкина»[73].

О бесценной находке заговорили в самом Тарту, Таллине, Риге. Ей посвятили специальные корреспонденции московские и петербургские периодические издания. В газетах и журналах началось оживленное обсуждение истории маски.

Какими путями слепок оказался в Тарту? — этот вопрос занимал многих, но получал в те дни самые противоречивые ответы.

В пылу полемики вспоминались полузабытые, однако, вполне достоверные факты. В. А. Жуковский, присутствовавший при кончине поэта, первый вспомнил о необходимости увековечить дорогие черты. С лица Пушкина сняли маску, но, по всей вероятности, не одну, и она одновременно попала в несколько рук.

Из чьих же рук маска перешла в библиотеку?

Одни указывали на Н. И. Пирогова. Другие отдавали предпочтение другу В. А. Жуковского — тартускому врачу К. К. Зейдлицу. Высказывались предположения о принадлежности маски филологу и нумизмату профессору К. С. Моргенштерну.

Когда страсти особенно разгорелись, стало, однако, известно, что дарителем был не Пирогов, не Зейдлиц и не Моргенштерн, а Михаил Петрович Розберг. В июле 1856 года тартуский профессор русской литературы побывал на могиле А. С. Пушкина. Заехав на обратном пути из Святогорского монастыря в Тригорское, он получил от П. А. Осиповой подарок — посмертную



Посмертная маска А. С. Пушкина, 1837, гипс.

Хранится в фундаментальной библиотеке Тартуского государственного университета.

маску поэта. Тщательно упаковав ее в вату, Розберг доставил реликвию в Тарту, а вскоре передал университетской библиотеке[74].

Этот редчайший слепок и по сей день лежит там на темно-вишневом плюше, под стеклянным колпаком. А в соседних залах, на подымающихся к потолку полках, хранятся свидетельства кровной близости Пушкина эстонскому народу — многочисленные переводы бессмертных творений великого русского поэта.

... Имя Пушкина и его сочинения были известны прогрессивным деятелям эстонской культуры задолго до первых

переводов на эстонский язык пушкинской поэзии и прозы. В конце 10-х — начале 20-х годов XIX столетия владевший русским языком поэт Кристьян Яак Петерсон слышал, по всей вероятности, в Тарту лицейские стихи молодого русского гения. Творения Пушкина знал Фридрих Рейнгольд Крейцвальд. Основатель эстонской демократической литературы учился в Тартуском университете в одно время с Николаем Языковым, многое сделавшим для распространения среди студенчества произведений Пушкина. Он встречался на лекциях с Николаем Пироговым, Владимиром Далем, Алексеем Филомафитским и другими студентами университета и воспитанниками профессорского института[75], чтившими свободолюбивую пушкинскую лиру. Призывая соотечественников к изучению русского языка, Крейцвальд хотел, чтобы богатейшая поэтическая сокровищница Пушкина стала достоянием и угнетенного эстонского народа.

Книги Пушкина были дорогими спутниками и в жизни многих других представителей эстонской демократической культуры. Они помогли Карлу Роберту Якобсону — замечательному педагогу и выдающемуся просветителю — оценить по достоинству русскую литературу. Творческий гений Пушкина восхитил Иохана Кёлера — основоположника эстонской реалистической живописи, познакомившегося с произведениями поэта во время учебы в Петербурге.

В 1879 году слово Пушкина зазвучало и на эстонском языке. Эта замечательная в истории прибалтийской культуры дата совпала с открытием в Москве памятника русскому поэту. Со всех концов России на торжество съехались многочисленные делегации, ученые, писатели. Прибывший из Тарту профессор П. Висковатов привез с собой переведенную и изданную на эстонском языке «Капитанскую дочку».

Вслед за романом, овеянным дыханием крестьянских волнений, на эстонском языке вышел «Дубровский». Подобная последовательность не была, разумеется, случайной. Из обширного наследия Пушкина переводчики взяли два произведения, наиболее созвучные тем грозным событиям, которые потрясали тогда Эстонию.

Рубеж двух десятилетий — 70-х и 80-х гг. — ознаменовался новым подъемом освободительной борьбы, ростом революционного движения. Даже в самых глухих, медвежьих уголках Эстонии всё настойчивее раздавались голоса обездоленных крестьян, требовавших раздела помещичьих и кулацких земель. В деревнях вспыхивали бунты, на промышленных предприятиях разрасталось рабочее движение и всё более популярными становились социалистические идеи.

В этой нараставшей борьбе эстонские труженики черпали силы у великого русского народа. И остзейское дворянство, так же как и националистическая буржуазия, пыталось прервать всё более крепнувшие связи соседей и друзей. Ненавидя прогрессивную русскую культуру, прославлявшую свободу, отстаивавшую интересы народа, клеймившую деспотизм, оно стремилось любыми мерами закрыть ей доступ в Эстонию. Так, в 1875 г. эстляндским губернатором, не без воздействия местного дворянства, были запрещены объявленные в Таллине публичные лекции по русской народной словесности. Из газетных полос изымались статьи и заметки о дружбе с русскими.

«Известен тот факт, — писали в ноябре 1882 г. министру внутренних дел редакторы двух эстонских газет, — что национальная печать содействовала и ныне содействует сближению эстов с русскими. Существующие в нашем крае... общества работают в том же смысле». Однако, заявляли они, цензура запретила нам выражать свои симпатии к русскому народу [76]. Понадобились, разумеется, величайшие усилия, чтобы в этой обстановке провести сквозь цензурные рогатки «Капитанскую дочку» и «Дубровского».

Обращение переводчиков именно к этим двум, отразившим крестьянское движение, пушкинским творениям становится еще более понятным при знакомстве с современной для той поры прогрессивной эстонской литературой. В 1880 году — в одно время с «Дубровским» — была издана историческая повесть Эд. Борнхёэ «Мститель»: она воскрешала события памятной ночи под Юрьев день 1343 года, когда эстонские крестьяне восстали против немецких феодалов. Поэт Я. Тамм выступил с блестящим реалистическим произведением «Дешевые рабы», о содержании которого недвусмысленно говорило уже само название. Педагог И. Кундер написал в 80-х годах пьесу «Служивый», изобразив в ней деревенского кулака, беспощадно угнетавшего своих односельчан — бедняков.

События, описанные Пушкиным, происходили за много сотен и даже тысяч верст от Эстонии. Но не расстоянием и дальностью лет, как мы видим, определялась для нее злободневность великих художественных творений! «Капитанскую дочку» и «Дубровского» читали и перечитывали в эстонской деревне, где жил бунтарский, «пугачевский дух», еще в 50-х годах напугавший одного из либеральных корреспондентов «Колокола». И для эстонского читателя романы Пушкина являлись, в какой-то степени, отражением его собственных дум, отражением его собственной борьбы.

Так было с «Капитанской дочкой». Немало страниц романа посвятил Пушкин «пугачевщине», много подобных же страниц

осталось в его черновых бумагах. Во избежание цензурного запрета поэтом опущена была, например, целая глава, рассказывавшая о восстании крестьян в поместье Гринёва.

О событиях же, на фоне которых разворачивался сюжет «Капитанской дочки», в Эстонии знали за много десятилетий до написания Пушкиным этого произведения. Еще в 1775 г., более чем за сто лет до выхода романа на эстонском языке, в Пальдиски (Балтийский порт)[77], на вечную каторгу, сослали пугачёвского генерала — вождя башкирского народа Салавата Юлаева, его земляка Газанфара Усаева и члена военной коллегии Пугачёва — Ивана Почиталина. В неимоверно тяжелых условиях работали они на постройке мола. Но, как ни строг был надзор, пугачёвцы находили пути для общения с эстонскими крестьянами. Исследователи жизни Салавата Юлаева приводят свидетельство поручика А. Т. Болотова, подтверждающее, что узники, благодаря «великим выдумкам, хитростям и пронырствам», убегали из-под стражи. Историк Балтийского порта сообщает о продаже каторжанами своих изделий на том же городском рынке, куда приезжали и крестьяне. Хранящиеся в Центральном государственном историческом архиве Эстонской ССР документы дают основание утверждать, что Салават Юлаев, Газанфар Усаев и Иван Почиталин находились в Эстонии не менее четверти века и, по всей вероятности, там и закончили свою жизнь.

Но не только эти вечные каторжники способствовали проникновению в эстонскую деревню сведений о Пугачёве. В том же 1775 году, когда в прибалтийский край доставили Салавата Юлаева и его друзей, на о. Сааремаа и в Пярну сослали участников пугачёвского движения Василия Коновалова, Козьму Кочурова, Якова Почиталина, Козьму Фофанова, Фёдора Чумакова, Петра Пустобаева, Ивана Творогова, Ивана Федулева. Из прошений поселенцев известно, что они постоянно соприкасались с эстонскими крестьянами и жили такой же, как и они, тяжелой жизнью. «... Казаки, будучи в ссылке, — писал остзейскому губернатору его оренбургский коллега генерал-поручик Рейнсдорп, — о том злодее (Пугачеве. — А. Л.) помышляют и он из памяти их не исчез и чрез то подали причину сумневаться, дабы они ... не сделали вновь в войске возмущения и обществу вреда. Сего ради я вашего сиятельства покорнейше прошу помянутого города Пернова (Пярну — А. Л.) начальству предложить, чтобы за ними казаками, яко известными злодеями и изменниками, чинено было неослабное смотрение, дабы они ни на какие худые поступки, а паче на непристойное разглашение ... отваживаться и тем нового возбуждения сделать не могли»[78].

Когда Я. Кырв переводил «Капитанскую дочку», в Эстонии хорошо, конечно, помнили о возглавленной Пугачёвым крестьянской войне. Народная молва сохранила, по всей вероятности, и некоторые сведения о живших у берегов Балтики участниках движения. Всё это, повторяем, делало эстонскому читателю творение Пушкина еще более близким, еще более понятным.

Не меньшее значение имел в ту пору и «Дубровский». Он вышел в 1880 году приложением к одной из эстонских газет и быстро попал в большое число рук. Если удаленные вглубь многих десятилетий события «Капитанской дочки» перекликались с волнениями 80-х годов, то «Дубровский» уже рассматривался как произведение, чуть ли не непосредственно отражавшее тревожные настроения последней четверти столетия.

Пушкинский кузнец Архип, «убивающий суд», становился для эстонского крестьянина символом карающей мести. Смелый русский мужик не мог не вызвать симпатии у эстонского бедняка, готового точно также поступить и с ненавистным ему остзейским «правосудием». Почти одновременно с переводом «Дубровского» эстонская газета опубликовала корреспонденцию, обвинявшую мелких адвокатов в нежелании вести крестьянские дела против помещиков. «Большинство даже не посмеет это сделать, — утверждала газета, — потому что общественные судебные должности все большею частью в руках помещиков . . .»[79]

Пушкин все более входил в жизнь эстонского народа. Без знания его творчества не мыслилось овладение богатейшей сокровищницей великой русской культуры. Составляя, например, в 1879 году сборник «Русские стихотворения для разбора и заучивания наизусть эстонским детям», учитель общества «Калевипоэг» М. Линзенберг в первую очередь обратился к пушкинской поэзии.

Одно за другим на эстонский язык переводились крупнейшие произведения Пушкина. К концу XIX столетия эстонец уже имел на родном языке, помимо «Капитанской дочки» и «Дубровского», — «Пиковую даму», «Кирджали», «Барышню-крестьянку», «Станционного смотрителя», «Выстрел», «Метель», «Медного всадника», «Полтаву», «Кавказского пленника», «Анджело», «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», отрывки из «Бориса Годунова», баллады и множество лирических стихов поэта. Его вольнолюбивые произведения — «Вольность», «Деревня», «Послание в Сибирь», «Анчар», «Арион», «Чаадаеву», «Кинжал» и другие не могли увидеть тогда свет в эстонском переводе [80].

Творческое наследие русского гения в переводах эстонских писателей Я. Тамма, Я. Бергмана, И. Кундера, Я. Кырва,

А. Гренцштейна, имело величайшее прогрессивное значение. Оно способствовало развитию демократической культуры эстонского народа, формированию мировоззрения ее лучших деятелей.

На одной из всесоюзных пушкинских конференций справедливо отмечалось стремление ряда переводчиков подчеркнуть специфическое для Эстонии звучание отдельных произведений Пушкина. Некоторые поэмы сопровождались короткими предисловиями, обращавшими внимание читателя на историю русско-эстонских отношений. Публикуя в своем переводе «Полтаву», Якоб Тамм напоминал, что победа русских войск над шведами, последовавшее за ней присоединение Эстонии к могучему Российскому государству избавили эстонский народ от разорительных войн. Небольшая историческая справка, приложенная переводчиком к «Медному всаднику», говорила о значении Петербурга в экономическом и культурном развитии Эстонии.

В 80—90-х годах почти все переводы Пушкина появлялись в журналах или газетах, в литературных сборниках или календарях, сразу же проникая даже в самые дальние уголки Эстонии. Популярность русского поэта в эстонском народе была настолько велика, что отдельные его произведения на протяжении короткого периода выходили в нескольких различных переводах. Поэзия Пушкина, до той поры знакомая прогрессивной интеллигенции Прибалтики лишь по русским изданиям, теперь включалась даже в программы эстонских школ. «Медный всадник» в переводе Якоба Тамма вошел в самую популярную среди молодежи книгу для чтения К. Р. Якобсона. Делались уже и первые попытки публичного исполнения сочинений Пушкина на эстонском языке.

Еще при жизни поэта его произведения можно было услышать и в Таллине, и в Тарту. Мы уже упоминали о чтении В. А. Жуковским в доме И. Ф. Мойера «Бориса Годунова». В кругу таллинских друзей, в те же 20-е годы, дочь партизана Дорохова исполняла «Молдавскую песнь». Значительно больше подобных же примеров падает на вторую половину столетия. В 1853 г. в Хаапсалу группой петербуржцев ставились отрывки из «Скупого рыцаря»[81]. В 1893 г. артисты столичных театров организовали в Тарту два пушкинских вечера, имевших у студентов и профессуры огромный успех. В 1895 г. тартуские зрители видели отрывки из «Бориса Годунова», в 1896 — полностью «Скупого рыцаря»[82].

Все эти спектакли шли, разумеется, на русском языке. Сложнее было поставить произведения Пушкина на эстонской сцене. Здесь трудно преодолимым препятствием была беспощадная

Въ саду общества „Ванемуйне“ гор. Юрьевъ.

Въ воскресенье, 30 Мая 1899 г.

Пушкинскій праздникъ,

соединенный съ дѣтскимъ праздникомъ.



Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ.

Памятникъ.

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный;
Къ нему не заростетъ народная тропа;
Вознесся выше онъ главою непокорной
Александрійскаго столпа.

Нѣтъ! весь я не умру! Душа въ заѣтной лирѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ,
И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хотъ одинъ пиитъ.

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей
Руси великой
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней
языкъ;
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и
нынѣ дикій
Тунгузъ, и другъ степей калмыкъ.

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ
я свободу,
И милость къ падшимъ призывалъ.

Вѣщій Божію, о муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя вѣнца,
Хвалу и клевету пріемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Программа:

1. **Народный гимнъ.** Исполн. хоры и публика съ аккомпаниментомъ военнаго оркестра.
2. **Рѣчь** о Пушкинѣ (на Русскомъ языкѣ.)
3. **Краткое объясненіе юбилея** (на Эстскомъ языкѣ).
4. **„Славa“** вѣнчаетъ бюстъ поэта вѣнкомъ, а народности украшаютъ постаментъ цвѣтами. — Оркестръ играетъ.
5. **Соединенные мужскіе хоры** Гимнъ Пушкину. Слова Goldbeck . . . . . В. И. Гладкова.
6. **Посадка „Пушкинскаго дуба.“** — Оркестръ играетъ „Торжественный маршъ“ Ф. фонъ Дадге

7. **Дѣтскій хоръ:** а) Кантата „Я памятникъ себѣ воздвигъ“ . . . . . Балакина.
   б) Надъ Невою рѣкою плачетъ. — . . . . . Зайцева.
   в) Птичка Божія не знаетъ . . . . . Цимзе.
8. **Декламація** сочиненій Пушкина:
   а) „Пророкъ“ }
   б) „Поэтъ“ } на Русскомъ и Эстскомъ языкахъ.
   в) „Памятникъ“ }
   г) „Полтава“ на Эстскомъ языкѣ.
   д) Отрывки изъ „Скупого Рыцаря“ на Русск. языкѣ.
9. **Соединенные мужскіе хоры:** а) Янъ любилъ Бѣлеб . . . . . Г. Абтъ
   б) „Что смолкнулъ“ . . . Слова Пушкина . . . . . Н. Брянскаго.
10. **Театральное представленіе „Скупой Рыцарь“** въ двухъ дѣйствіяхъ. Переводъ по Пушкину.

Дѣйствующія лица:

Герцогъ	. . . . . Г-нъ Генкеръ.
Баронъ	. . . . . Г-нъ Штейнертъ.
Альберъ, сынъ барона	. . . . Г-нъ Зутеръ.
Иванъ, слуга Альберта	. . . . Г-нъ Питтенъ.
Жидъ	. . . . . Г-нъ Либертъ.

11. **Торжественная процессія дѣтей** подъ звуки марша изъ оперы „Руслань и Людмила“ . . . . . Глинки.
12. **Дѣтскій хоръ** (на сценѣ оркестра):
    а) Rotabel meines . . . . . 6) Jlamaa pillama pinnale
    б) Kuhu ja, tõga. . . . . 7) Minge ilesi magebelle.

Въ антрактѣ дѣтская игры; оркестръ играетъ попурри изъ оперы „Евгеній Онѣгинъ“ — Чайковскаго.

13. **Ліанозскій смѣшанный хоръ:** а) Elelõu laululõhn . . . . . И. Каппель.
    б) Jlamaa . . . . . Л. Кондула.
    в) Reisile, priidi (хоръ) . . . . . Дм. К. А. Германа.
14. **Шесть картинъ** изъ „Сказки о Рыбакѣ и Рыбкѣ“ — соч. Пушкина. — Во время представленія играетъ оркестръ.
15. **Мужской хоръ:** а) Pele tõld. . . . . Г. Ветерлинга.
    б) Reerlich, meerlich were laarre . . . . . К. Лите.
    в) Jwil nada torm . . . . . К. Гённа.
16. **Соединенные мужскіе хоры:** а) Rotabe sõ . . . . . К. Крейцера.
    б) Õõjalatte mutsi . . . . . М. Германъ.
17. **Техельферско-Кардласкій мужской хоръ:** а) Rohuõhtõ . . . . . Дм. К. А. Германа.
    б) Rongel . . . . . А. Лите.
    в) Rõõm . . . . . К. Неммелехта.
    И. т. д.

Въ антрактахъ оркестръ 95 цѣхов. Красноярскаго полка.

Программы по 5 коп. у кассы.

Начало въ 2 часа пополудни.

Цѣны билетамъ (включит. благотв. сборы): **I мѣсто 60 коп., II м. 40 коп., III м. 30 к., IV м. 20 к.**
За входъ въ садъ 10 коп. Дѣти съ сопровожденіемъ взрослыхъ платятъ половину.

Билеты можно получить въ день праздника съ 9 час. утра въ обществѣ „Ванемуйне“.

Комитетъ по устр. Пушкинскаго праздника.

Афиша пушкинского праздника в Тарту, 1899.

Фундаментальная библиотека Тартуского государственного университета.

цензура, ограждавшая народные умы от пушкинского «вольнодумства».

В январе 1901 года из Вирумаа к ревельскому отдельному цензору по иностранной цензуре был доставлен переведенный на эстонский язык «Каменный гость». В ходатайстве испрашивалось разрешение на постановку пьесы в народном театре. Однако цензор ответил категорическим отказом, признав ее «неудобною к исполнению на сцене». Сообщая об этом в главное управление по делам печати, он «обосновывал» свое решение: «Изображая на сцене участие монаха в молитве и убийстве со стороны соблазнителя и не доставляя простолюдину ни удовольствия, ни назидания, эта пьеса подлежала бы запрещению»[83].

Подобные же препятствия чинились и другим прогрессивным начинаниям эстонской демократической интеллигенции. Но строжайшие цензурные запреты не могли ослабить то глубочайшее чувство любви, которое испытывал к Пушкину народ Эстонии. Это вынуждена была признать даже консервативно-клерикальная газета «Ээсти Постимеэс», писавшая в 1880 г., что «Пушкин велик не только в одной стране и для одного народа, но для каждого народа»[84].

Несмотря на огромные трудности, эстонским обществам удавалось всё же время от времени получать разрешения на публичные исполнения некоторых произведений Пушкина. В конце прошлого века любительскими драматическими кружками ставились на эстонском языке «Скупой рыцарь» и отрывки из «Бориса Годунова». К 100-летию же со дня рождения поэта в Тарту состоялся пушкинский праздник, явившийся подлинной демонстрацией горячей любви эстонского народа к русскому гению.

Это было в мае 1899 года. Сад «Ванемуйне» принял необычайно праздничный вид. У всех, кто собрался в тот вечер на пушкинский юбилей, была в руках небольшая программка. На ней начертаны были прозорливые строки:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык...

И как бы в подтверждение сбывавшейся мечты поэта, с трибуны на эстонском языке произнесена была вдохновенная речь о жизненном пути Пушкина, о его творчестве, о его бессмертии. На эстонском же языке звучали «Полтава», «Памятник», «Пророк» и «Поэт», мужской хор нескольких окрестных мыз исполнял «Гимн Пушкину»[85].

В 1905 году в Таллине огромным для той поры тиражом 10 000 экземпляров вышла «Сказка о рыбаке и рыбке». В

школьных изданиях на эстонском языке впервые появились — «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Но в первые десятилетия XX века этим, собственно, и ограничились новые эстонские переводы Пушкина. И тут в значительной степени сказалась тлетворная деятельность декадентов, стремившихся направить развитие эстонской национальной культуры по реакционному пути.

Однако виднейшие деятели эстонской демократической литературы и тогда продолжали ориентироваться в своём творчестве на великую русскую культуру, одним из гениальнейших представителей которой является Пушкин. Неувядаемое наследие русского поэта оказало несомненное влияние на формирование, как поэта-демократа, плодовитейшего переводчика Пушкина — Якоба Тамма. Юхан Лийв, добиваясь и в стихах, и в прозе глубочайшей правдивости, стремясь к реализму даже в мрачную эпоху разнузданного террора, учился этому у Пушкина. Эд. Вильде, создавая свои монументальные исторические произведения о страданиях и борьбе эстонского народа, также многому учился у великого Пушкина.

Пушкин олицетворял для эстонского труженика свет, разум, всепоглощающую ненависть к угнетателям, стремление к свободе. И если в результате деятельности клерикал-реакционеров и декадентов произведения великого поэта реже стали переводиться на эстонский язык, то возросло число тех, кто уже знал русский язык и мог прочесть Пушкина в оригинале.

Одним из прибалтийских центров изучения и распространения пушкинских творений был тогда, как и в прежние годы, Тартуский университет. К началу XX столетия в этом старейшем высшем учебном заведении России работали многие выдающиеся ученые, являвшиеся последовательными пропагандистами гуманистических традиций русской культуры. Лучшая часть студенчества воспитывалась на творчестве Пушкина и других корифеев отечественной литературы. Показательно, что в течение двух лет для конкурсного сочинения по историко-филологическому факультету выставлялась обширнейшая тема: «Политические и общественные идеалы и литературно-критические воззрения А. С. Пушкина»[86] — тема, требовавшая глубочайшего знания русской литературы.

Многое для популяризации произведений Пушкина сделало также основанное в 1897 году при Тартуском университете Учено-литературное общество. В его сборниках публиковались статьи о воспитательном значении поэзии Пушкина, об отношениях между великим поэтом и Гоголем, о влиянии Пушкина на творчество гениального автора «Мертвых душ» и «Ревизора», о взглядах Пушкина на литературу и критику[87].

IV. ЗАВЕТНАЯ ЛИРА

Стремясь к борьбе, ища свободы,
Живёт поэзия навек...

Ю. Сютисте «Читая Пушкина»

Два десятилетия страданий Эстонии под пятой буржуазно-националистической клики Пятса-Лайдонера были годами, когда эстонскому народу пытались привить ненависть к русской культуре. За двадцать лет произведения Пушкина вышли в буржуазной Эстонии только трижды: в 1924 г. — «Пиковая дама», спустя семь лет — «Капитанская дочка» и в 1936 г. — стихотворения. Составитель последнего сборника — буржуазный националист А. Орас полностью исключил из него политическую лирику великого поэта [88].

«Долгое время, — рассказывает поэтесса Д. Вааранди, — творчество Пушкина было недоступно эстонской молодежи. Хозяева буржуазной Эстонии воздвигали стену между нами и передовой русской литературой.

Я училась на филологическом факультете Тартуского университета, но не помню, чтобы на лекциях упоминалось имя Пушкина. Однако буржуазные мракобесы не смогли скрыть от нас огромного значения творчества гениального русского поэта в развитии мировой культуры ... Для того, чтобы прочесть Пушкина в оригинале, поглубже ознакомиться с его замечательными произведениями, я изучила русский язык.

Пушкин стал моим любимым поэтом. В моей последующей творческой литературной работе всегда оказывало мне помощь творчество гениального Пушкина. Он стал моим лучшим другом, моим учителем»[89].

Восстановленная в 1940 году в Эстонии советская власть вернула Пушкина эстонскому народу. В новых переводах большими тиражами вышли его поэмы и сказки, лирика и проза. За один только юбилейный 1949 год, когда исполнилось 150 лет со дня рождения Пушкина, в советской прибалтийской республике было издано больше произведений великого поэта, чем за двадцать лет господства националистической буржуазии. Многое для перевода на эстонский язык творений Пушкина сделали Ян Кярнер, Оскар Ургарт, Феликс Котта.

Поэзия русского гения стала настольной книгой сааремаского рыбака и пярнуского хлебороба, кохтлаярвеского шахтера и тартуского студента. «Пушкина русские люди всегда горячо любили. Его любят сейчас все народы Советского Союза, гордясь своим гениальным поэтом. Нет такого народа в Советском

Союзе, который не знал бы и не уважал бы Пушкина», — пишет учащийся одной из таллинских школ.

В нескольких строках юноша выразил думы всей эстонской молодежи. Когда группе школьников Таллина предложили рассказать о значении наследия Пушкина для современности, они сделали в своих тетрадях такие патриотические записи:

«В творчестве Пушкина с безграничной ясностью и чистотой отражается русский характер, глубокая любовь к русскому народу и к России. Поэтому Пушкин стал любимым поэтом молодежи всех народов нашей страны»;

«Пушкин своими творениями навсегда утвердил свое имя на вершине мировой литературы. «Наш Пушкин», — говорят о нем с любовью и казахи, и грузины, и эстонцы. «Наш Пушкин», — говорит о нем с великой гордостью и любовью весь советский народ. Осуществилось пророчество свободолюбивого поэта — «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой . . .»;

«Великие творения Пушкина бессмертны в сердцах народов нашей великой Родины. Пушкин своими произведениями обращался ко всем народам нашей страны, всех он вдохновлял на борьбу за свободу»;

«Все народы Советского Союза любят Пушкина потому, что его творчество отражает характерные черты русских людей, русскую природу и душу».

В любом уголке Эстонии звучит сегодня заветная лира Пушкина. Это ли не ярчайшее свидетельство нерушимости дружбы русского и эстонского народов! В проникновенных строках воспевает ее советский поэт:

. . . . . .

Эстония моя! Твоя судьба
Теперь навеки связана с Россией!

Язык её священен для меня,
И дух поэта жив в моём народе —
Заря коммунистического дня
Над памятником Пушкину восходит [90].

ГЛАШАТАИ ВОЛЬНОСТИ

> ...Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало...
>
> *В. И. Ленин*

На протяжении десятилетий образы декабристов — глашатаев русской вольности — неотступно стояли перед глазами борцов за свободу. Их патриотические стремления и пламенная ненависть к самодержавно-крепостническому строю служили примером для поколения деятелей передовой русской культуры и русского революционного движения. «Несмотря на роковую косу, разом подрезавшую их, — писал о декабристах Герцен, — их влияние, как Волгу в море, можно далеко проследить в печальной николаевской России».

Высокие, благородные заветы декабристов жили и в Эстонии. Множество уз связывало ее с этими пламенными патриотами земли русской. Эстония была свидетельницей формирования их мировоззрения. Эстония видела их в годы существования тайных декабристских обществ. В Эстонию раньше чем на какую-либо другую окраину России донеслись отзвуки исторических событий 1825 года. Эстония сохраняла связи с декабристами и после чудовищной расправы, учиненной над ними царизмом...

Но Эстония была связана с декабристским движением не только потому, что ее города и села посещались деятелями тайных обществ, хотя и этот факт представляет значительный интерес. В период интенсивного развития антикрепостнических настроений прибалтийские губернии с их «освобождённым» крестьянством привлекали особенное внимание декабристов. Изучая послереформенную Эстонию, они всё более и более убеждались в несостоятельности утверждений крепостников о благоденствии прибалтийского края.

Декабристы первыми в русской историографии выступили также против остзейских антиисторических концепций прошлого Эстонии. Они, говоря словами А. Бестужева, показали в своих произведениях ливонских рыцарей не сквозь цветные стёкла их замков, не сквозь туман старины и поэзии, а грабителями, угнетателями, палачами народов Прибалтики.

Разоблачая ливонское рыцарство и прибалтийское дворянство, участники декабристских обществ наносили в то же время

ощутительные удары и по тем остзейским баронам, которые прибрали к своим рукам важнейшие государственные посты в Петербурге, стали надежным оплотом самодержавного строя. Подвергая критике пресловутые прибалтийские «реформы», декабристы выступали тем самым за подлинное, а не мифическое, освобождение российского крестьянства.

Глубочайшие связи с Эстонией многих участников восстания на Сенатской площади, их искренний интерес к положению эстонского народа, к его трагическому прошлому должны занять, таким образом, свое место в истории декабристского движения.

I. В ЗАРНИЦАХ ПОБЕДЫ

Мы были дети 1812 года...

Декабрист М. Муравьёв-Апостол.

Приказом по российской армии оповещалось, что «побежденный неприятель простер руки к примирению». Это было концом войны, в которой русское воинство не только отстояло Россию, но и принесло свободу порабощенным Наполеоном народам Европы.

Увенчанная лаврами армия возвращалась на родину. Майским утром 1814 года Париж покидали гвардейцы-семеновцы. Из Шербурга шли корабли с преображенцами. Через Восточную Пруссию на Тильзит, Митаву и Ригу в С.-Петербург двигались гвардейская кавалерия и гренадерские дивизии. Кого не волновала близость встречи с родными и друзьями; встреча с Отечеством, оставленным еще в памятные дни преследования наполеоновских полчищ!

Свободомыслие царило в среде возвращавшегося из заграничного похода русского офицерства. Высокая и вечно священная любовь к Отечеству, еще недавно звавшая на ратные подвиги, теперь уже выражалась в сыновней тревоге за дальнейшую судьбу родины. Лучшие представители дворянской интеллигенции в грозные военные годы особенно глубоко осознали, каким тормозом был крепостнический строй на пути исторического развития России. Они познали всё величие русского человека, обратившего, по словам Н. Тургенева, вспять разъяренное море чужеземного нашествия, увидели неисчерпаемые силы томившегося в рабстве русского народа, его энергию, его одарённость.

И. Якушкин писал, что никакие усилия правительства изгнать вторгшегося в Россию врага не были бы достаточны, если

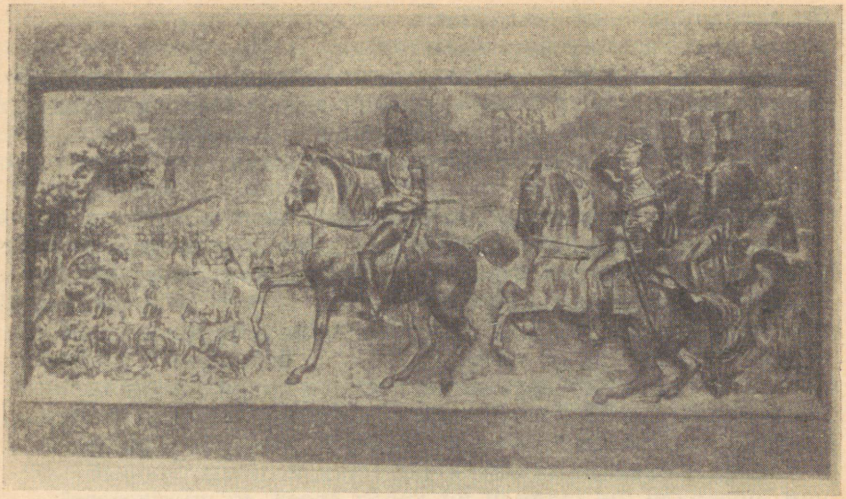
бы народ оставался в оцепенении. О жертвах, принесенных народом на алтарь своей родины, говорил П. Каховский. Русским крестьянином, любящим отчизну, гордился С. Волконский. В боях за Смоленск, на Бородинском поле, под Малоярославцем, Вязьмой и Красным будущие участники декабристского движения стали свидетелями массового героизма и доблести русского воинства.

Освобождая от врага родную землю, солдаты и ратники надеялись увидеть в зарницах победы свою долгожданную свободу. «В 1812 году, — писал К. Маркс, — когда крестьян призывали записываться в ополчение, им, хотя и неофициально, но с молчаливого согласия императора, было обещано освобождение, как награда за патриотизм»[1]. К борьбе за с в о б о д у призывал сражаться первый же царский приказ, доставленный июньским утром 1812 года фельдъегерями в российскую армию. Слово — с в о б о д а — многократно склонялось в воззваниях и манифестах военных лет. «Нас манили, и мы, добрые сердцем, поверили, не щадили ни крови своей, ни имуществ»[2], — заявлял декабрист Каховский.

Однако еще до окончания войны, возвращаясь в деревню, ратники уже убедились в том, что никто не собирался освобождать их от крепостного ига. По свидетельству А. Бестужева, закалившиеся в боях люди первыми возроптали тогда на чудовищную несправедливость. «Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа»[3].

Обнародованный 30 августа 1814 года манифест, даруя в связи с одержанной победой ряд милостей, обошел крестьянство. «Крестьяне, верный наш народ, — цинично возвещал Александр I, — да получит мзду свою от бога». Надежды на избавление от крепостнического рабства развеивались так же быстро, как и миф о «добром» и «справедливом» царе-«освободителе».» Война кончена благополучно . . . — писал уже после декабрьского восстания заточенный в крепостные казематы Каховский, — но народ, давший возможность к славе, получил ли какую льготу? Нет! . .»[4]

Первые же шаги по родной земле после перехода российской границы столкнули русских офицеров с картинами страшной нищеты и дикого произвола. Историк Отечественной войны 1812 года сообщал, что огромное пространство от берегов Клязьмы до берегов Немана превратилось в результате военных действий в пустыню, что даже граничавшие с ними губернии были истощены до крайности. Брат основателя Союза Спасения и руководителя Союза Благоденствия Н. Муравьёв-Карский, вспоминая увиденные в те дни разоренные литовские



В. И. Демут-Малиновский. Вступление русских войск в Париж в 1814 году. Рельеф на надгробном памятнике фельдмаршалу Барклаю де Толли в Йыгевесте (Эстонская ССР).

деревни, рассказывал о чудовищной бедности прибалтийских крестьян.

На пути армейских частей, направлявшихся в Петербург походным порядком, лежала Эстония. По ее пыльным дорогам шли кавалергарды, двигались обозы с армейским имуществом. Из донесения дерптского полицмейстера лифляндскому гражданскому губернатору следует, что в Тарту квартировали гренадеры, а в его окрестностях стояли лейб-гвардии конный полк и лейб-гвардии конная артиллерия. В Валкском уезде находились егерские полки. Это были части со славными традициями, части, с которыми связали свою жизнь многие будущие борцы против самодержавного строя. В этом отношении особенно примечателен кавалергардский полк. М. В. Нечкина указывает на два с лишним десятка декабристов, в разные годы служивших в полку. То были вождь Южного общества П. И. Пестель, Н. А. Крюков, А. М. Муравьёв, М. С. Лунин, С. Г. Волконский, М. Ф. Орлов, П. П. Лопухин, А. З. Муравьёв, В. П. Ивашев, И. Ю. Поливанов, Ф. Ф. Вадковский, А. Л. Кологривов, Л. П. Витгенштейн, З. Г. Чернышев, И. А. Анненков, П. П. Свиньин, А. С. Горожанский, Н. А. Васильчиков, Н. Н. Депрерадович, А. Н. Вяземский, Д. А. Арцыбашев, Ф. Ф. Гагарин, П. Н. Свистунов, С. Н. Бегичев.

Эстония, куда донеслись лишь отзвуки боев, находилась в

более благоприятном положении, нежели губернии, где непосредственно развивались военные действия. Однако и там положение народных масс было плачевным. Проезжая в 1813 году по Эстонии, Н. Тургенев с грустью отметил тяжелую жизнь местных земледельцев, по его искреннему убеждению «всех более имевших право на счастье»[5]. Будущий декабрист не мог не увидеть коварство остзейских дворян, стремившихся использовать патриотизм эстонского народа для дальнейшего усиления крепостного гнета, для ограбления и без того нищего крестьянства.

В грозовые дни двенадцатого года прибалтийский просветитель Гарлиб Меркель обратился с воззванием «К жителям остзейских провинций России». Оно было переведено выдающимся русским поэтом, предшественником А. С. Пушкина — Гаврилой Романовичем Державиным и тогда же опубликовано в журнале «Вестник Европы». «Мы Русские! — восклицал Меркель, — все мы Русские, и иными быть не желаем! Что в прошедшее столетие возмогло рассийское воинство в чуждых пределах? а кто вступает в их собственные, тот входит в вертепы львины. Позорное бегство ему только к спасению остается. Мы Русские и готовы как на пепелище нашем, так на поле брани ко всякой жертве, ко всякому усилию, и даже к самой смерти . . . за спасение дражайшего Отечества»[6]. Меркель призывал жителей прибалтийских губерний ничего не жалеть ради блага России, ради победы над чужеземными полчищами.

Но остзейские дворяне предпочли не откликнуться на патриотический зов. Тяжелая военная пора показала, как лицемерны были их уверения в преданности России. Еще весной 1811 года немало остзейских помещиков втайне возликовало, прослышав о том, что заключая с Наполеоном военный договор о походе на Россию, прусский король Фридрих Вильгельм III потребовал уступить ему Эстляндию, Курляндию и Лифляндию. Эстляндское дворянство, боясь дать крестьянам в руки оружие, решительно отказалось сформировать народное ополчение.

Не менее гнусно поступили лифляндские помещики. Насильно удержав у себя физически здоровых крестьян, они отпустили в формировавшийся полк лишь больных и стариков. Латышские ратники, как явствует из документов, были «весьма худо одеты, в одних летних исподниках, в круглых шляпах крестьянских, без галстуков, без чулок и даже без пастулей (латышских башмаков)»[7]. Всю зиму ополченцы не имели шинелей, полушубков, перчаток, чулок, рубах и многие, так и не сразившись с неприятелем, умерли в госпитале. Заседавшая в Тарту ландратская коллегия, выражая мнение всего «благородного рыцарства», отказалась снабдить ратников теплой одеждой, отвергла

Къ жителямъ Остзейскихъ провинцій Россіи (*).

Поработитель западной Европы стоитъ уже на границахъ нашихъ. — Онъ влечетъ за собою толпы могущихъ носить оружіе недавно покоренныхъ имъ десяти народовъ, дабы повергнуть оное на насъ. — И мы должны быть игралищемъ честолюбивыхъ его замысловъ, чтобы содѣлавшись узниками его и служа ему, подавить еще другія Царства.

Такъ, минута настоящаго времени сильно угрожаетъ намъ; но она недолжна устрашать насъ. — Учинимъ, что мужамъ достойно въ приближеніи опасности, испытаемъ съ спокойнымъ духомъ, чего бояться и чего надѣяться можно. — Разсудимъ, что мы, мы — единственно суть тѣ, которые, чтобы спасти себя, помочь себѣ можемъ. — Если только въ томъ утвердимся, то да несодрогнемся идти съ непоколебимою твердостію на высочайшія жертвы за тронъ АЛЕКСАНДРА, за славу утвержденную вѣками Россіи, за личную честь нашу, за женъ, дѣтей и имущество наше!

Велико вражеское ополченіе, и болѣе можетъ быть, чѣмъ чрезъ нѣсколько тысячь лѣтъ когда либо проходило нашу часть свѣта; но оно составлено изъ скопища другъ другу чуждыхъ и другъ другу непріятствующихъ; изъ полчища, которое оружіе свое подниметъ скорѣе само на себя, нежели на насъ;

(*) Сія статья доставлена вмѣстѣ съ предыдущею и переведена самимъ Гавріиломъ Романовичемъ Державинымъ. *Изд.*

Страница из журнала «Вестник Европы» за 1812 год с обращением Г. Меркеля «К жителям остзейских провинций России» в переводе Г. Р. Державина.

многочисленные требования о замене выставленных помещиками негодных лошадей, об отпуске ополченцам провианта и фуража.

Остзейские бароны, у которых закрома ломились от хлеба, а на лугах паслись откормленные кони, всячески уклонялись от военных поставок. А в то же время крестьянские семьи отправляли в русскую армию сыновей, братьев, отцов. В одном только 1812 году из эстонских деревень ушло в солдаты 3570 человек[8]. Сражаясь бок о бок с русскими воинами, они вместе с ними отстаивали независимость родины.

Не на баронов, а на крестьянские плечи, легла вся тяжесть военных лет. В годовых отчетах эстляндского губернатора перечислены особенно возросшие в то время земские повинности: содержание дорог, мостов и перевозов, строение конюшен, поставка дров для войсковых частей, почтовая повинность, а также «те повинности, которые земские обыватели обязаны нести натурою и кои состоят отчасти в поставках продуктов и материалов»[9]. И все это — помимо повседневного отбывания каторжной барщины.

Как и в центральных губерниях России, все надежды прибалтийских крестьян на лучшую жизнь связывались тогда с получением свободы. В деревне обострялась классовая борьба. В течение одного только 1815 года полицейскими управлениями Эстляндской губернии рассмотрено было свыше 16 тысяч дел! Есть все основания предполагать, что значительная часть их касалась крестьянского сословия.

Усиливавшееся в Эстонии недовольство крепостническими порядками не могло остаться незамеченным лучшей частью русского офицерства. Нельзя игнорировать тот факт, что гвардейские эскадроны часто останавливались на привал непосредственно в деревнях и их пребывание среди эстонских крестьян растягивалось, подчас, на несколько дней. Именно тогда (и это несомненно) некоторые из будущих декабристов и познакомились впервые с прибалтийским феодальным порядком. Тяжелое впечатление от горестной жизни угнетенного эстонского народа отразилось на формировании их мировоззрения, усилило в них антикрепостнические настроения.

В 1814 году, когда по Эстонии проходили части русской армии, эстляндские помещики усиленно обсуждали дополнения к принятому за десять лет до того крестьянскому закону. Разумеется, не гуманные чувства, а угроза новых волнений вынуждала баронов согласиться на эту «реформу». Личная свобода, предоставляемая закрепощенному крестьянству, должна была обмануть народные массы, у которых готовились экспроприировать все земельные участки.

В гостиных помещичьих усадеб, на всем пути через Эстонию в Петербург, русские офицеры слышали, конечно, о подготовлявшейся «реформе». Но более чем вероятно, что перед гостями местные дворяне щеголяли лишь предполагаемым сомнительным освобождением, а не теми принципами, на которых должен был основываться новый закон. Вот почему вплоть до опубликования Положения ожидаемая эстляндская «реформа» многим из будущих декабристов казалась значительнейшим событием.

II. УЗНИК ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ

В искоренении этих зол — цель моей жизни...

Т. Бок

Разработанный самими остзейскими помещиками закон был утвержден Александром I 23 мая 1816 года. Если многим передовым русским офицерам довелось увидеть Эстонию в период подготовки реформы, когда темным и забитым эстонским крестьянством владели еще иллюзорные надежды на новое Положение, то один из ветеранов Отечественной войны, Тимофей Бок, вернулся к себе на родину — в Прибалтику почти одновременно с принятием этой реформы.

Тимофей Бок прошел тот же путь идейного развития, что и будущие участники конспиративных организаций. Его общественно-политические взгляды во многом совпадали со взглядами первых русских революционеров начального периода декабристского движения. Именно поэтому, касаясь исторических связей декабристов с Прибалтикой, нельзя обойти молчанием жизнь и деятельность их замечательного современника.

Он родился в Эстонии, здесь же провел детские и юношеские годы и уже в ту пору, на рубеже XVIII и XIX столетий, видел, как беспощадно угнетались баронами латышский и эстонский народы. Его биограф высказывает справедливое предположение, что еще на заре своей трагической жизни Бок знал о многочисленных волнениях прибалтийских крестьян, в частности, о восстании 1802 года в Вольмарском уезде (сев. Латвия). Увиденное и услышанное в юные годы не могло изгладиться из его памяти и сыграло впоследствии серьёзную роль в отношении Бока к крепостному праву.

Начав военную службу юнкером гусарского полка, Бок завершил ее боевым и заслуженным полковником. Он участвовал в русско-турецкой войне, с 1807 года сражался против францу-



Первый выпуск вышедшего в 1818 году в Москве стихотворного сборника «Для немногих». Обложка с автографом-посвящением В. А. Жуковского: «Другу Боку. 1818. Генваря 29».
Из архива В. А. Жуковского.

Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

зов, а затем вновь — против турок. В августе 1812 года Тимофей Бок вступил в действующую армию, воевавшую с Наполеоном, и вместе с ней дошел до Парижа. Современники отмечали необычайную храбрость и мужество Бока, участвовавшего, по его собственным словам, в 60 сражениях. В Бородинском бою он, как свидетельствует адъютант М. Б. Барклая де Толли, сумел в самую напряженную и тяжелую минуту боя предложить полководцу свою помощь. В майском сражении 1813 года под Бауценом Бок развозил в наиболее опасные места приказания начальника отряда. Вскоре после Лейпцигской битвы, будучи в Веймаре, он с несколькими казаками прогнал неожиданно появившихся французских всадников[10].

Но Бок был смел не только на поле боя. А. В. Предтеченский приводит «Записку» этого отважного офицера «с предложением своих услуг для заключения мира с Турцией», в которой 23-летний и не обремененный большими чинами молодой человек излагает самому Александру свои взгляды на войну. Будучи всего лишь корнетом, он находит в себе смелость обрушиться на главнокомандующего российской армией гр. Н. М. Каменского, обвиняя его в том, что тот «хотел быть выше Суворова, . . . хотел быть вторым Румянцевым и не стал ни тем, ни другим, так как ему, — утверждал Бок, — недостаёт великого искусства, которое только и создаёт государственных деятелей: искусства видеть людей и управлять ими»[11].

Эта «Записка» была написана в августе 1810 года. А спустя три года её автор с каким-то, по всей вероятности важным, поручением был послан в Англию. Отчёт о своей поездке Бок представил гр. П. Х. Витгенштейну. И вновь он поднял вопрос государственной важности, предлагая устранить от дел не более ни менее, как всесильного Аракчеева. В другой записке того же 1813 года, поданной уже гр. М. Б. Барклаю де Толли, Бок по существу выступал против Александра, против его «полководческих» замашек, мешавших ходу военных действий.

Таким — храбрым воином и бесстрашным вольнодумцем, покинув в 1816 году армию, Тимофей Бок и возвратился в Эстонию. Причина его добровольной отставки становится ясна, когда знакомишься с запиской неведомому «лицу высоко стоявшему», в которой Бок признает, что события последних лет «возбудили во многих чувства высокой нравственности», указали им на социальные несправедливости — на то, что «правый часто угнетён, невинный часто преследуется». «В искоренении этих зол, — писал Бок, — цель моей жизни»[12].

Отставной полковник поселился в той самой мызе Выйзику, в Вильяндимаа, где провел и детство, и юность. «Реформа», столь превозносимая самими баронами, не могла скрыть от

него истинного состояния прибалтийского крестьянства. Он увидел родной свой край по-прежнему стонавшим в тисках феодального рабства. Бок услышал нараставший ропот народных масс, выступавших против своих угнетателей.

Уже первый год пребывания Бока в родных краях ознаменовался событием, о котором повествуют извлеченные нами из архива документы. 64 листа обширного дела рассказывают о «буйстве крестьян Эстляндской губернии мызы Педдис, принадлежащих помещику Эссену». Это волнение произошло в сентябре 1816 года и не могло остаться незамеченным таким пытливым и наблюдательным человеком, каким являлся Тимофей Бок.

Сейчас, сообщал петербургскому главнокомандующему эстляндский гражданский губернатор барон Икскуль, получен рапорт от гакенрихтера Штрандвирляндского дистрикта. В этом донесении гакенрихтер писал, что в связи с «оказанной крестьянами мызы Педдис упорности в исправлении повинностей», помещик срочно вызвал его для восстановления «порядка». Прибыв на мызу, гакенрихтер потребовал от крестьян деревни Копль немедленно явиться на помещичий двор. Но те отказались выполнить его приказ, и гакенрихтер в сопровождении трех солдат, вынужден был отправиться к непокорным. «Не прежде как спустя час по приходе туда (в деревню. — А. Л.) гакенрихтера, — рассказывают документы, — явились вдруг все крестьяне с жёнами и детьми, из коих на спрос гакенрихтера о причине неявки их на помещичий двор, один по имени Нулли Ян отвечал: им там нечего делать, кому нужно с ними говорить может придти в деревню. После сего гакенрихтер, положа руку на плечо его Яна, увещевал его быть послушными. Но он схватил его за грудь и кричал другим на помощь. И на сей крик многие крестьяне явились с копьями и оглоблями, угрожая, что ни в коем случае не допустят, чтобы оной Нулли Ян был наказан. Но, не взирая на то, гакенрихтеру удалось схватить его посредством солдат и, хотя крестьяне нападали на сих последних, однако при помощи обнажённой гакенрихтером шпаги он был уведён, а других прикосновенных тут крестьян изловить не можно было по неимению исправных солдат...»[13]

Таковы были обстоятельства педдиского бунта. В Петербурге тревожная весть о неповиновении эстонских крестьян привлекла внимание министерства полиции, военного командования и даже комитета министров. Донесение губернатора свидетельствовало о том, что прибалтийские губернии не оказались оторванными от прокатившейся по всей России в послевоенные годы новой волны крестьянского движения. Заведен-

ное департаментом полиции исполнительной дело о «непослушании» в эстонской деревне лежало рядом со многими подобными же делами о волнениях в других уголках империи[14].

Из Таллина в Петербург летели донесения губернатора; из российской столицы в резиденцию барона Икскуля шли указания о принятии наистрожайших мер для усмирения непокорных; командиру Гродненского гусарского полка барону Розену фельдъегерь вез приказ об откомандировании эскадрона на подавление бунта. «При таковом оказываемом со стороны военного начальства пособии, — писал эстляндскому губернатору главнокомандующий в С.-Петербурге генерал от инфантерии Вязмитинов, — ваше превосходительство в состоянии будете удержать крестьян в должном послушании, вместе с тем проучить зачинщиков буйства и предать их суду для поступления с ними по всей строгости законов»[15].

К тому времени, когда гусарский эскадрон прибыл в Эстонию, Икскуль уже утвердил приговор. Нулли Ян осужден был к 40 парам прутьев и ссылке на каторжные работы в Сибирь, а также к «клеймению с вырыванием ноздрей». О той тревоге, которую этот бунт вызвал у царского правительства, говорит специальное указание комитета министров о посылке в Эстонию «заплечных дел мастера».

Однако заточенный в тюремное помещение Нулли Ян, сделав ко дню приезда палача подкоп, бежал из-под стражи. В течение недели, днем и ночью, конвойная команда и гусарский эскадрон искали беглеца. И то обстоятельство, что поиски велись одновременно и в Лифляндии, и даже в С.-Петербургской губернии, что на ноги были подняты сотни людей и о крестьянском вожаке говорили по всей Прибалтике, лишь укрепляет нашу уверенность в знакомстве Тимофея Бока с подробностями педдиского бунта.

29 декабря Нулли Ян был пойман, а спустя два дня «заплечных дел мастер» свершил над ним свое черное дело. Но даже столь суровая расправа не могла окончательно пресечь крестьянские волнения. Весьма показательна просьба, с которой Икскуль обратился в Петербург: оставить гусаров в Эстонии на сколь можно более длительный срок, «дабы в случае какого-либо подобного покушения крестьян к неповиновению и на других мызах можно было отвратить оное удобнейшим образом»[16].

Опасения эстляндского губернатора в отношении новых волнений оправдались быстрее, чем он даже мог ожидать. Летом 1817 года он донес петербургскому военному генерал-губернатору о «непослушании» крестьян одновременно в четырех мызах. Положение стало особенно тревожным, и Икскуль

поспешил лично выехать на место событий. Однако безвинность крестьян была настолько очевидна, что палач эстонского народа вынужден был признать: «Недоразумения, равно разные справедливые жалобы, побудили их к сему законопротивному покушению»[17].

1817 год — второй год после возвращения Бока на родину — завершился в Эстонии волнениями на мызе Састама. Крестьяне этой мызы отказались выполнять повинности и гакенрихтер не мог их к тому принудить. Против непокорных бросили воинскую силу. «Государь император по всеподданейшему представлению управляющего министерством полиции о непослушании оказанном крестьянами Эстляндской губернии на мызе Састама, высочайше повелеть соизволил: — предписывалось начальнику Главного штаба, — один из полков 25-й пехотной дивизии расположить в городах Везенберг (Раквере. — А. Л.), Вейсенштейн (Пайде. — А. Л.) и Гапсаль (Хаапсалу. — А. Л.) по батальону в каждом и откомандировать в ту губернию 200 человек казаков с пограничной цепи . . . с тем, чтобы командиры полковой и казачьего отряда исполняли требования эстляндского гражданского губернатора . . ., прямо к ним посылаемые в случае надобности действовать на приведение к послушанию означенных крестьян . . .»[18] При помощи солдат и казаков бунт на мызе Састама был подавлен.

Стремясь отвратить угнетенное крестьянство от подобных «законопротивных покушений», бароны и пасторы еще настойчивее насаждали в народе мистицизм и суеверия. Одним из рассадников религиозного дурмана стало к тому времени созданное князем А. Голицыным «Библейское общество». Не случайно, именно в 1816 году — в пору крестьянских волнений — Эстонию посетили секретарь этого общества Попов и один из его активнейших членов — пастор Патерсон. Из Тарту они доносили Голицыну об отпечатанных там местным отделением пяти тысячах экземпляров «Нового завета»; о намеченной к распространению среди эстонских крестьян еще одной огромной партии «священного писания»; о предстоявшем создании в городе специального библейского книгохранилища; об учреждении непосредственно в сельских приходах вспомогательных библейских обществ. В Пярну Попов и Патерсон оставили пасторам подробнейшие инструкции. С острова Сааремаа они сообщали Голицыну о «просветительской» деятельности среди крестьян членов аренсбургского отделения. В Таллине Попов сделал первые шаги к созданию там библейского книгохранилища[19].

Только дворянской ограниченностью мировоззрения Бока, выразившейся, в частности, в идеализации им религиозных дог-

матов, можно объяснить, что этот замечательный современник декабристов не осознал всю гибельность и тлетворность духовной пропаганды. Бок был искренно убежден в том, что библейское общество являлось чуть ли не «Ж.-Ж. Руссо в духовном облачении»[20], что деятельность общества была, якобы, даже ... революционной.

Но, несмотря на эти заблуждения, Тимофей Бок относился отрицательно к стремлению подавлявшего большинства остзейских дворян с помощью розог, воинской силы и обмана удерживать в повиновении угнетённых ими людей. После утверждения в 1816 году для Эстляндии нового крестьянского закона лифляндские помещики готовились совершить у себя подобный же грабительский акт. И Бок видел, на каких бесчеловечных принципах должна была родиться еще одна «реформа». Он знал, конечно, о вышедших в 1817 году брошюрах Генриха фон Гегемейстера и Карла Будберга, по существу отражавших один и тот же тезис: дать крестьянам свободу, но право на землю сохранить только за помещиком. Он не мог не обратить внимание и на характер полемики, которую развернул с августа 1817 года в своей дерптской газете «Neue Inländische Blätter» местный профессор Рамбах. Эта полемика сводилась лишь к тому, чтобы установить, следует ли сохранить за крестьянами право наследования земли, предусмотренное положением 1804 года [21].

В то время, когда газета Рамбаха вела довольно оживленную дискуссию по крестьянскому вопросу, Бок писал: «Дело заключается не в том, чтобы вскружить крестьянину голову словом «свобода», а в том, чтобы прочно утвердить благосостояние всей нации — с тем, чтобы и земледелец не потерял своего места»[22]. Этот тезис явно направлен был против пропаганды лифляндскими помещиками безземельного освобождения крестьян.

Все более обострявшаяся классовая борьба, рост антикрепостнического движения, сыгравшие серьёзную роль в формировании мировоззрения передовой дворянской интеллигенции, оказали огромное влияние и на идеологию Бока. Крестьянские бунты против помещиков-крепостников, в том числе и волнения в самой Эстонии, убеждали этого замечательного человека в необходимости серьёзных социальных преобразований. Без них Бок не представлял себе дальнейшего развития России, и он много думал о подлинном освобождении крестьян, о реформах в области суда, просвещения, экономики.

Чуждый остзейскому дворянству, Бок с глубокой симпатией относился к прибалтийским народам. Каждый эстонец, писал он, мой соотечественник. Твердо придерживаясь прогрессив-

ных взглядов на народ, Бок и женился на эстонской крестьянке. «Словоохотливость людей давно донесла, конечно, и до тебя весть о том, что я женился, — писал Бок своему другу. — Пока не скажу об этом ни слова, так как одно время покажет, будет ли счастливо моё супружество. Но чтобы утешить тебя, замечу только, что я женился на женщине, которую нельзя не уважать. Недостаточность её рождения не вредит мне в глазах государя. Я выбрал себе подругу не по внушению слепой страсти, а согласно плану, который составил себе для жизни, не обращая внимания на то, что скажет свет. Вера и самостоятельность — тяжёлый лозунг, коему я посвятил всю жизнь . . .»[23]

Сопоставляя свои светлые идеалы с окружавшей его в Прибалтике действительностью, со свирепствовавшей в России реакцией, Бок решил вновь обратиться к Александру. Он составил для царя обширную записку и 7 апреля 1818 года отправил ее через того же петербургского генерал-губернатора, который посылал незадолго до этого в Эстонию гусаров и палача.

Ответ пришел необычайно быстро, но не Боку, а остзейскому генерал-губернатору маркизу Ф. О. Паулуччи. Повелением Александра губернатору следовало немедленно арестовать автора письма, «наполненного, — по словам взбешенного царя, — ложью, нелепостями, противоречиями, особливо же непозволительной дерзостью»[24].

22 мая 1818 года Бок был доставлен в Шлиссельбург. Еще до прибытия важного «государственного преступника», комендант получил приказ установить за новым узником «строжайший надзор, чтобы он ни с кем не имел никакого сообщения . . ., не давать ему бумаги, перьев, чернил и карандашей, дабы не мог он ничего писать».

Только шести человекам дозволено было знать о месте заточения Тимофея Бока. Родные писали ему, не ведая о том, в какой из крепостей будут прочитаны их письма. Врач лечил его заочно, не будучи допущенным к больному. Так продолжалось девять долгих лет. Только в 1827 году, по «милости» Николая I, больному, но всё еще опасному, «преступнику» разрешили вернуться в свое поместье. Местным властям дано было указание установить за ним строжайшее наблюдение и ни в коем случае не дозволять отлучаться из Выйзику.

Но крепостные казематы уже сломили здоровье Тимофея Бока. Он страдал тяжелым психическим расстройством вплоть до дня загадочной смерти: 11 апреля 1836 года родные нашли его мертвым, лежавшим с раздробленным черепом на полу своей комнаты.

Что же заключала в себе «Записка», за которую так тяжело поплатился ее автор?

Предназначенная к прочтению в лифляндском ландтаге, она отражала политические взгляды значительной части прогрессивной дворянской интеллигенции, философское мировоззрение самого Бока, его отношение к существовавшему в России социально-политическому строю и крестьянскому вопросу, содержала конституционные предложения Бока.

Это было искреннее письмо патриота, сочетавшего ненависть к рабству с глубокой и пламенной любовью к родине. «Если бы Наполеон победил и Лифляндия, — восклицал он, — была бы формально отделена от России, — разве я изменил бы отечеству и стал бы слугой Бонапарта?»[25] Тем более тяжело сознавать, утверждал всей своей запиской Бок, что твоя отчизна по-прежнему страдает в оковах крепостничества. «Ведь не ради этих символов рабства, — с негодованием заявлял он, — я встречался со смертью в 60 сражениях»[26].

Размышления о судьбе томившихся в рабстве крестьян привели Тимофея Бока к твердому убеждению, что былые надежды многих русских людей на царские реформы так и не оправдались. Он увидел, как вынужденный «либерализм» Александра сменился политикой беспросветной реакции, разнузданным аракчеевским режимом. И Бок, со свойственной ему смелостью, потребовал от Александра принятия мер, которые «поставили бы предел правительственным злоупотреблениям и обеспечили бы 40 миллионам людей такое положение, при котором им не угрожали бы всевозможные несчастья»[27].

Выступая против рабства, Бок отстаивал интересы народа, которому, по его глубокому убеждению, Россия обязана была победой над Наполеоном. Эта высокая оценка роли народа в Отечественной войне роднит его с декабристами.

Бок осознал величайшее значение 1812 года в пробуждении народного самосознания. Он писал о том, что «народ, освещённый заревом Москвы, — это уже не тот народ, которого курляндский конюх Бирон таскал за волосы в течение десяти лет»[28], и в этом также перекликаясь с участниками зарождавшегося декабристского движения.

С каким презрением Бок отзывался об Александре — лицемере, трусе и обманщике, окружившем себя мошенниками, сводниками и шутами! А. В. Предтеченский справедливо утверждает, что во всей декабристской литературе мало найдется произведений, в которых бы с такой поразительной силой, как в «Записке» Бока, обличалась деспотическая власть русского императора.

«Первый принцип деятельности его величества, — писал об Александре Тимофей Бок, — заключается в том, чтобы предаваться собственным капризам и страстям и оправдывать величайшие безобразия. Он не ведает ни долга по отношению к своему народу, ни силы, перед которой должен был бы отчитываться, и считает себя святым, когда с помощью угодливого духовника он, как говорит Тартюф, сговаривается с небом. Его страсти почти никогда не бывают достойными. Тщеславие, ничтожество и произвол — его божество, которому он приносит в жертву страну. С этой точки зрения следует рассматривать всё его царствование»[29].

Бок напомнил о смехотворном приезде Александра в остзейские губернии, о его пребывании в Риге, ограничившемся тем, что император «пожурил губернатора за тряску, которую он испытал на дороге, переночевал в замке, затем изругал целую дивизию, отдал приказ, выставивший его в смешном свете перед всей Европой, сказал несколько слов, одинаково незначительных для заслуженных людей и разбойников с большой дороги, глупцов и ученых, обедал, узнал за жарким, что новый тариф лишен здравого смысла, пил чай, танцовал, сел в карету со своим лакеем, загнал несколько дюжин почтовых лошадей и написал маркизу Паулуччи, что он нашел Лифляндию в цветущем состоянии. Бедные лошади!»[30]

Трудно было в одной фразе лучше выразить свое отношение к Александру, одинаково ненавистному как Боку, так и будущим декабристам. Не эта Россия — презренного деспота и столь же презренных царских холуев — была близка автору пламенной записки. Годы, проведенные в Петербурге, в среде передового русского офицерства, открыли ему и иную Россию — родину величайших мореплавателей, первыми прошедших под парусами вокруг света; страну, давшую литературе Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева, В. А. Озерова, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского; развернувшую на театральных подмостках поразительные дарования Я. Е. Шушерина, Я. Г. Брянского, Е. С. Семеновой и М. И. Даниловой; родившую монументальный памятник Минину и Пожарскому, гравюры Н. И. Уткина, полотна А. Е. Егорова, работы медальера Ф. П. Толстого, произведения Н. М. Карамзина.

Эти славные имена Бок привел в записке для того, чтобы еще раз подчеркнуть свое глубокое уважение к великой русской нации, свою духовную близость с ней, ибо сам он был, по своему искреннему убеждению, «закоренелым русским». Бок с похвалой отзывался о русской армии, которой отдал лучшие годы жизни, и всё, что было в ней плохого, считал следствием преступной деятельности бездарного императора. Он говорил и о

русских государственных людях, способных решать важнейшие европейские проблемы, не относя, разумеется, к этому разряду ни А. А. Аракчеева, ни кн. А. Н. Голицына, ни О. П. Козодавлева, ни кн. П. В. Лопухина — никого из презираемого им царского окружения.

Признавая себя далеким лифляндскому дворянству, Бок всегда указывал на свою близость русским людям. Это не могло расположить к нему местных помещиков, готовых по любому поводу изъявлять верноподданические чувства царю, но ненавидевших русский народ, ненавидевших страну, в которой они жили. Бароны, наставлявшие в ту пору дерптскую профессуру «сделать учеников своих совершенно чуждыми России»[31], вряд ли питали добрые чувства к человеку из их же дворянской среды, с такой гордостью называвшему Россию любимым отечеством. Если бы Боку и представилась возможность огласить «Записку» в лифляндском ландтаге, его страстный призыв к укреплению связей с русскими встретил бы у подавляющего большинства слушателей в лучшем случае холодное равнодушие.

Но как ни далек был Бок от прибалтийского дворянства, он не мог все же окончательно вытравить в себе националистические чувства предков и сородичей. Бок склонен был видеть в рыцарях носителей высокой культурной миссии в Прибалтике. Он считал, что остзейское дворянство, отличавшееся, по его убеждению, «особыми свойствами», должно было сохранить за собой и особые привилегии.

«Записка» Бока содержала 52 пункта разработанной им конституции. Точнее — то был проект конституции, которую должно было принять специальное «общее собрание выборных».

Конституционные предложения Бока отразили всю противоречивость его мировоззрения. Он выступал защитником церкви и святости религии, сторонником ограниченных монархических принципов (на раннем этапе и декабристское движение не было одушевлено республиканскими идеями). Однако одновременно с этим Бок предусматривал, чтобы все «пользовались одинаковым покровительством законов и одинаковой гражданской свободой». Он считал, что всякий должен был стать «хозяином своего дома и своей земли», имея, по всей вероятности, в виду наделение земельными участками многомиллионного крестьянства. Бок говорил о необходимости свободы слова и печати, но ограничивал ее определенными рамками. «Пока чернь принимает на веру всякое печатное слово, — утверждал он, — цензура необходима». Бок уделял серьезное внимание условиям, при которых могли бы развиваться наука и искус-

ство. В его проекте отразились вопросы правосудия, организации армии, внешней политики.

Сравнивая обширную, охватившую множество актуальнейших проблем, «Записку» с той программой, которой придерживались в 1816—18 гг. первые декабристы, мы видим, как много общего было с ними у Тимофея Бока. Его роднили с декабристами ненависть к крепостному игу и деспотическому правлению, пламенная и далеко не пассивная любовь к Родине, признание величайшей роли народа в историческом процессе, сознание необходимости всеобщего политического и юридического равенства[32].

Личность Бока и его горькая судьба не могли остаться неизвестными участникам декабристского движения. Правда, пока это не подтверждается документальными свидетельствами. Для доказательства недостаточна, разумеется, приведенная А. В. Предтеченским двухстрочная запись А. М. Муравьёва: «Совершались неслыханные несправедливости... Полковник Бок, поддерживавший в течение долгого времени переписку с Александром, был заключен в Шлиссельбургскую крепость (где умер безумным) за то, что в одном письме напомнил, что царь отрекся от своих первоначальных настроений»[33]. Нельзя пренебрегать тем, что эта запись сделана была спустя четверть века после восстания и А. М. Муравьев мог узнать о трагическом событии и в 30-е, и в 40-е годы.

Однако бесспорно, что исчезновение на целых девять лет такой незаурядной личности, каким был Тимофей Бок, привлекло внимание его современников. Слухи об аресте владельца мызы Выйзику — потомка одной из родовитейших в Лифляндии фамилий — должны были, конечно, распространиться среди местного дворянства. И хотя Александр окружил это дело непроницаемой тайной, не исключена возможность, что кто-либо из соседей Бока знал даже о роковой записке. Ведь мог же Бок, предназначая свой труд к прочтению в ландтаге, проверить предварительно его воздействие на одном, двух или нескольких относительно близких ему помещиках! От них-то декабристы, так часто наезжавшие в Прибалтику, и могли узнать о посланной царю записке, об аресте Бока.

Но это — не единственно возможный путь для проникновения слухов о Боке в декабристскую среду. Мы знаем, как близко связан он был с крупными деятелями русской культуры. Многочисленные сражения скрепили его дружбу и с офицерами-однополчанами. Он был хорошо знаком с А. А. Воейковой, которую посещали декабристы. В ее гостиной, без сомнения, не раз произносилось имя шлиссельбургского узника. Близким другом Бока являлся В. А. Жуковский, имевший благодаря

своей придворной службе, все возможности для выяснения обстоятельств таинственного ареста. Мало вероятно, что поэт проявил равнодушие и к судьбе жены заключённого, от которой он уж во всяком случае мог узнать некоторые подробности. Немыслимо представить также, чтобы декабристы, прослышав об аресте боевого и заслуженного ветерана Отечественной войны, не попытались докопаться, какое же «преступление» привело его в крепостные казематы.

Так или иначе, но трагическая участь замечательного современника декабристов, ставшего жертвой ненавистного ему тирана, не могла не быть известна членам тайных обществ, и известна до исторического восстания на Сенатской площади.

III. РОДИНА ПОЭТА-ДЕКАБРИСТА

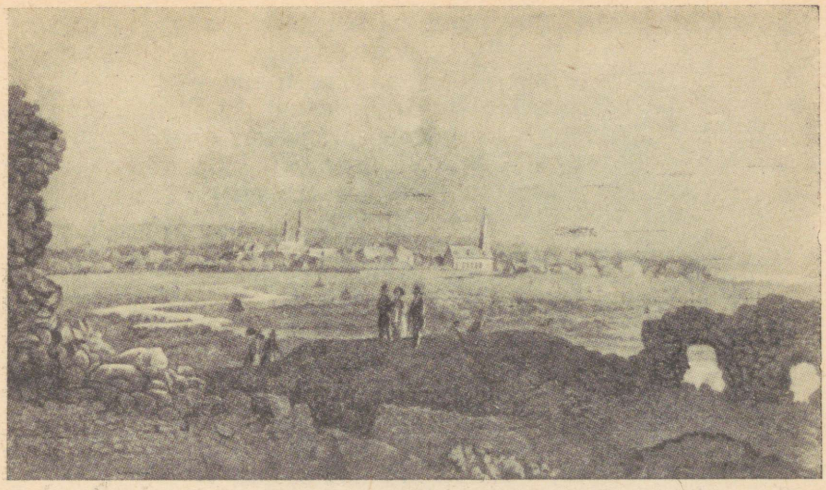
В лесах моей Эстонии родной
Впервые жадно вдаль простер я взоры,
Мятежной мучимый тоской ...

Декабрист В. Кюхельбекер

В 1808 году, когда Тимофей Бок со своим полком уже сражался против Наполеона, в частный пансион при Выруском уездном училище зачислили нового воспитанника. Это был Вильгельм Кюхельбекер. Если трагическая судьба вольнодумного гусарского полковника помешала ему стать участником декабристского движения, то этому юноше суждено было войти в историю и как талантливому поэту, и как другу великого Пушкина, и как активному деятелю тайного Северного общества.

Детство будущего декабриста прошло неподалеку от Тарту, в живописном имении Авинорм (Авинурме). Его отец — уроженец Саксонии Карл Иванович Кюхельбекер был весьма образованным человеком. В Лейпцигском университете он изучал право и там же сблизился с Гёте.

Как и многие немцы, Карл Кюхельбекер приехал в Россию в надежде найти там счастье. Но, не в пример большинству своих соплеменников, он не принес совесть в жертву корыстным интересам, не сделал новое отечество источником бесчестного обогащения. Сперва Карл Иванович управлял Каменным островом в Петербурге, затем стал первым директором Павловска. Единственное состояние — имение в Эстляндии — было даровано ему за многолетнюю службу. В 1809 году, после смерти этого неподкупно честного человека, его семья осталась почти без средств к существованию.



Город Выру в Эстонии, где учился В. Кюхельбекер.
Литография Ф. Шигерна, 1838.

В то время как для большинства прибалтийско-немецких дворян Россия всегда оставалась чужой и ненавистной им страной, для Карла Кюхельбекера она быстро стала второй родиной[34]. Его сын Вильгельм, будучи уже в ссылке, писал Николаю Глинке: «Я по отцу и матери немец, но не по языку: до шести лет я не знал ни слова по-немецки; природный мой язык — русский; первыми наставниками в русской словесности были — моя кормилица Марина, да няньки мои — Кириловна и Татьяна»[35].

До нас дошло немного сведений о детстве будущего декабриста. В большинстве — это более поздние стихи самого Кюхельбекера. Уже в зрелые годы поэт с любовью вспоминал Эстонию, от которой его (увы!) так рано «отторгнул рок ревнивый»[36]. Вильгельм писал брату Михаилу — лейтенанту гвардейского экипажа и тоже участнику декабристского движения — о роскошно свежих равнинах и лесах Прибалтики, о родном им обоим крае, «где дышит все прохладой по мшистым холмам, на водах...». Из-под пера поэта лились вдохновенные строки о лесах и реках Эстонии, о чудесных местах, исхоженных им на заре его жизни:

Здесь часто я лежал усталый,
Срывал венки брусники алой,

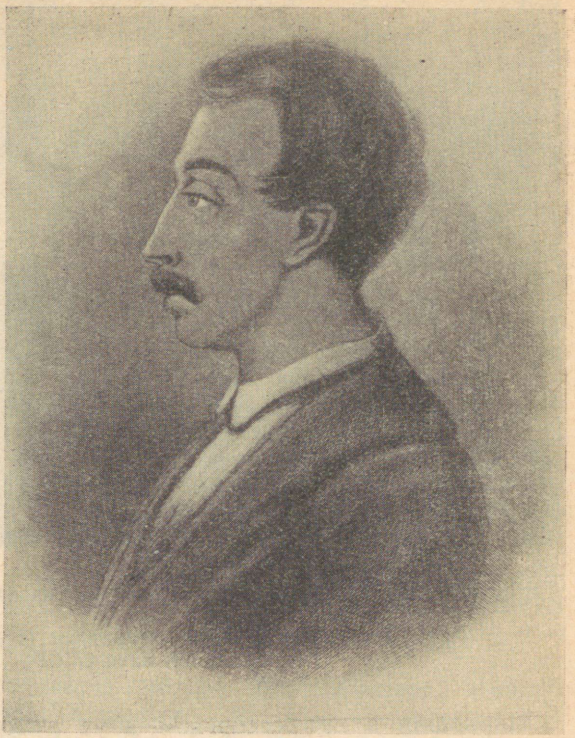
И усыплялся в свежей тьме.
Знакомый сад, поля родные,
Наш светлый домик на холме —
Места прелестные, святые!
Здесь мы свободно возросли;
Здесь недра матери-земли
От нас (так рано, без замены!)
Сокрыли друга и отца,
Мы здесь надежд своих конца,
Мы смутной жизни перемены
И не предвидели в дали —
Здесь тихо наши дни текли! —
И мы — вовек их не забудем!
И мы средь жизненных сует
Всегда и всюду видеть будем
Тебя, родного неба свет!
Тебя, пленивший наши взоры, —
Манивший далеко наш дух —
Ручей прекрасной Авиноры![37]

Дымка романтики, овевавшая детские впечатления Кюхельбекера, во многом ослабила его восприятие иных, отнюдь не поэтических, картин: крестьянского горя, нищеты и бесправия, окружавших и Авинорм, и Выру. «Не могу с точностью сказать, когда и как родился во мне свободный образ мыслей, — говорил он уже после ареста. — Я развился очень поздно: до лицея я был ребенком и едва ли думал о предметах политических»[38].

В этом ответе Кюхельбекера на вопрос следственной комиссии — немалая доля истины. Вряд ли, конечно, в эстонскую пору жизни задумывался он о «предметах политических» в том смысле, какой придавали слову — политика — декабристы. Нельзя забывать, что четырнадцатилетним юношей Вильгельм уже покинул Прибалтику и стал лицеистом.

Но впечатления детских лет не могли все же пройти бесследно при формировании мировоззрения Кюхельбекера. Одно из немногих сохранившихся писем его отца, содержащее характеристику Вильгельма, рассказывает о том, как в Тарту истощенная женщина бросилась со своим ребенком перед окнами на колени, говоря, что уже третий день ничего не ела[39]. Этот случай, свидетелем которого был Кюхельбекер, потряс десятилетнего мальчика.

Бродя помногу часов вокруг Авинормы, а затем и в окрестностях Выру, Вильгельм, естественно, встречался и беседовал с эстонскими крестьянами. Во время прогулок он посещал

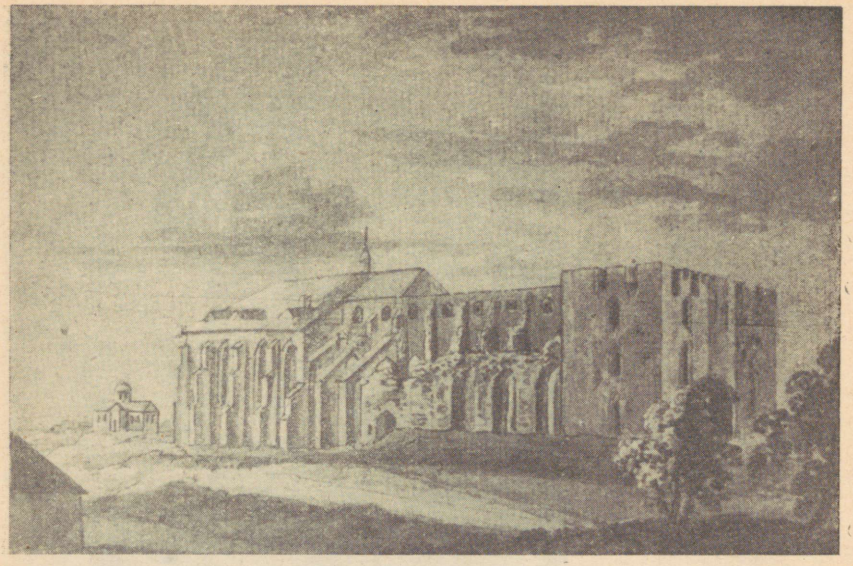


В. К. Кюхельбекер. Гравюра на дереве И. Матюшина, 1888.

Государственный литературный музей, Москва.

близлежащие деревни, где из почерневших хижин настойчиво выглядывали ничем не прикрытая нужда и горе народное. Эти ранние столкновения с действительностью и породили много лет спустя признание Кюхельбекера, что именно в Эстонии он впервые жадно вдаль простер свои взоры, «мятежной мучимый тоской».

После смерти отца большое место в жизни и воспитании Вильгельма заняла его старшая сестра — Юстина Карловна. Ее муж — Григорий Андреевич Глинка с 1803 года был профессором русского языка и русской словесности Тартуского университета. Сам факт педагогической деятельности дворянина был в начале прошлого столетия настолько необычен, что историк Н. М. Карамзин откликнулся на него специальной заметкой «Дворянин — профессор в России»[40]. В Тарту Глинка учил студенчество русскому языку, а в 1805 году издал даже «Учебную книгу российского языка для употребления в эстляндских, лифляндских и курляндских школах».

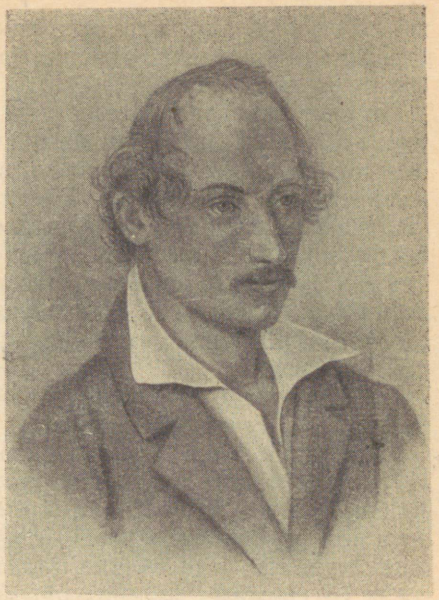


Тарту. Университетская библиотека. Рисунок из альбома А. А. Воейковой, 1824.
Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР

Царившая в профессорском доме атмосфера пробудила в Вильгельме первые ростки его огромной любви к литературе. Он часто углублялся в рощи Авинормы, громко и восторженно импровизируя там сложные сказки, стихи, поэмы. «Вильгельм Карлович в зрелом возрасте вполне проявил то, что обещало его детство, — писала дочь Кюхельбекера. — Если его поэтические стремления и бывали часто причиною тяжких неудач и самых горьких разочарований, то они же и помогли ему перенести, без уныния и без утраты умственных способностей, весь ужас десятилетнего одиночного заточения . . .»[41]

В Тарту, в семье сестры, Вильгельм впервые услышал имена будущих декабристов, участников патриотического Союза благоденствия В. А. и Ф. Н. Глинки. Первый из них был родным, а второй — двоюродным братом тартуского профессора. По всей вероятности, именно там произошло и личное с ними знакомство Кюхельбекера.

На третьем году пребывания Вильгельма в Выруском пансионе Бринкмана стало известно о создании в Царском селе лицея. Попасть в новое учебное заведение было нелегко. Но с помощью военного министра Барклая де Толли, жена которого



М. К. Кюхельбекер.
С рисунка Н. Бестужева.

приходилась родственницею матери Кюхельбекера, юношу внесли в список первых лицеистов.

Вильгельм, так же как и его брат Михаил, расстались с Эстонией,

Где, вместе начиная жить,
Брат брату молча обещали,
Деля и радость и печали,
По самый гроб друзьями быть[42].

Они не нарушили этой клятвы. Два брата стали впоследствии членами Северного общества. Оба в холодное декабрьское утро 1825 года вышли на Сенатскую площадь, и оба стояли в боевом каре у памятника Петру I.

Поселившись сперва в Царском селе, а затем — в Петербурге, став вскоре родным братом Пушкина «по музе, по судьбам», Вильгельм Кюхельбекер не забывал об Эстонии. Он переписывался с находившимися в родных ему местах друзьями и особенно хорошо был осведомлен о жизни молодого Тартуского университета.

В этом высшем учебном заведении, не ослабевая, шла борьба между реакционнейшей частью немецкой профессуры и учеными, посвятившими всю свою деятельность России. Так

же как и в первые годы существования университета, «просвещенные» трубадуры остзейских баронов стремились изолировать его от русской науки.

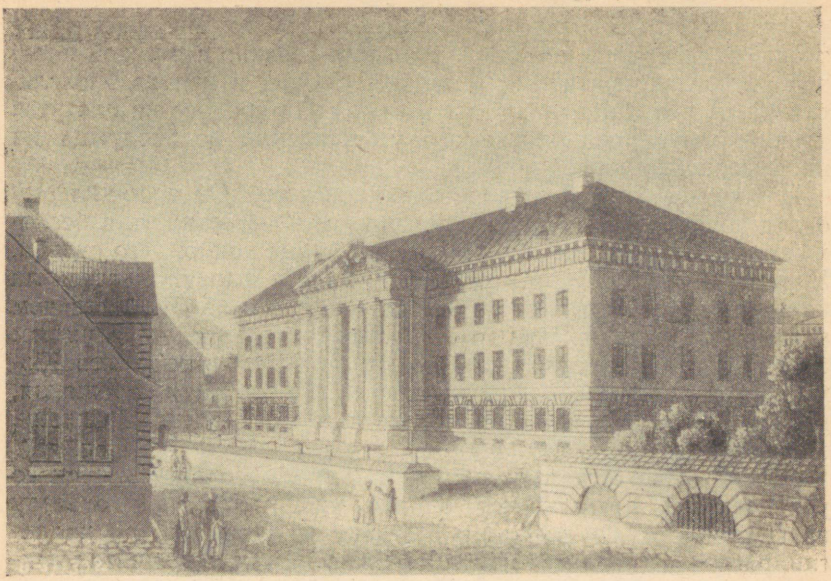
Но свет передовой отечественной культуры все сильнее озарял аудитории этого высшего учебного заведения. Воспитанный на традициях Ломоносова, в ту пору начинал свою астрономическую деятельность Василий Струве... Студенты слушали лекции одного из учителей великого Лобачевского — профессора И. Бартельса... Из Тарту начинал свои экспедиции по России крупнейший русский систематик прошлого столетия И. Ледебур... Там изучали науки участники замечательных, прославивших наше Отечество, кругосветных плаваний О. Коцебу...

Прибалтийско-немецкое дворянство не в силах было вытравить из Тарту всепобеждавший дух русской культуры. И об этом хорошо знал Кюхельбекер. В одном из полученных в августе 1819 года писем, тартуский студент Иван Вилламов сообщал ему о доме Ивана Филипповича Мойера, где собиралось «отборное общество»[43] — лучшая часть профессуры, лучшие студенты, где можно было встретить и петербургского гостя со свежими литературными вестями, и перелистать новый томик русского журнала, и услышать стихи вдохновенного Пушкина. В другом письме, в январе 1820 года[44], Вилламов писал, что встретив в профессорском доме Василия Андреевича Жуковского, он передал ему привет от Кюхельбекера. В гостиной профессорского дома, наряду с именами Пушкина, Языкова, Жуковского, Вяземского, произнесено было, таким образом, имя еще одного талантливого русского поэта.

Вильгельм Кюхельбекер не был тогда членом тайного общества, но был тесно связан со многими декабристами. Так же как и Пушкин, они были его самыми преданными, самыми близкими друзьями. Критическое отношение поэта к самодержавно-крепостническому строю уже в ту пору становилось декабристской основой творчества этого пламенного патриота России.

В начале лета 1820 года на одном из заседаний возглавляемого Ф. Глинкой Вольного общества любителей российской словесности Кюхельбекер прочел стихотворение «Поэты». В нем он обрушился на «злодеев и глупцов», подвергших гонению Пушкина. Обращаясь к опальному поэту, Кюхельбекер восклицал:

... наш юный Корифей, —
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана? —



Тарту. Главное здание университета.
Рисунок худ. А. Хагена. Акватинта, 1827.

Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времен[45].

На автора этих и многих других гневных строк 4 июня 1820 года был подан донос. Кюхельбекера ожидала горькая участь уже сосланного на юг Пушкина. Друзья настоятельно советовали ему немедленно покинуть Петербург. Поэтому начатые Жуковским хлопоты о предоставлении Кюхельбекеру освободившейся в Тартуском университете кафедры русского языка и словесности были вполне своевременны. По совету друга Кюхельбекер написал 6 июля ректору письмо. Говоря о своей любви к отечественной, русской, литературе, он просил сообщить ему, какой путь следует избрать, чтобы «согласно форме ходатайствовать об упомянутом месте».

О том, что Кюхельбекер дал согласие занять место уходившего в отставку профессора Воейкова, узнали тартуские друзья поэта. Но утвердят ли его кандидатуру в Петербурге? «Что ваша профессура? Есть ли надежда?»[46] — с тревогой запрашивал Кюхельбекера Вилламов.

Тревогу друзей разделял и сам поэт. Неприязнь части тартуской профессуры ко всему, что было связано с русской культурой, могла обратиться, в данном случае, и против Кюхельбекера. А где гарантии, что и в самом Петербурге не плетутся козни вокруг предполагаемого утверждения вольнодумца на профессорскую кафедру?

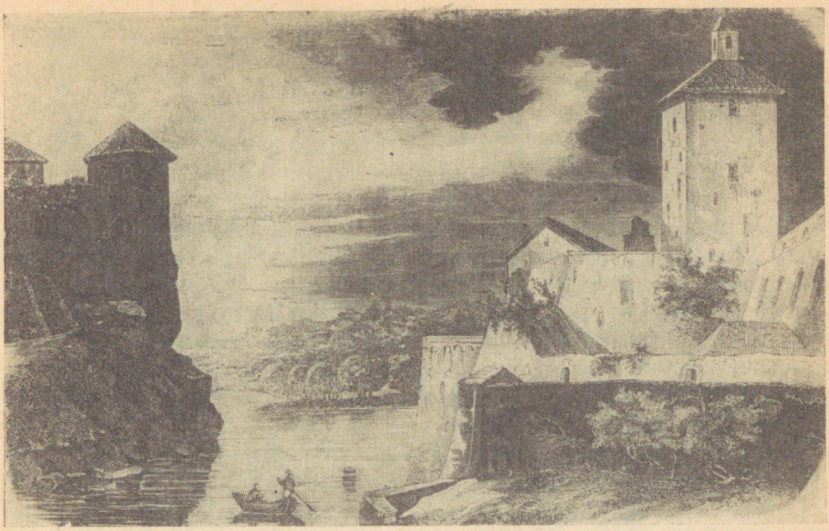
И Кюхельбекер обратился к Жуковскому. Он сообщил ему о том волнении, в котором держали его неизвестность и беспокойство, незнание, как же решится, в конце концов, его судьба. Удастся ли ему оставить за собой место в Тарту? Удастся ли покинуть Петербург, где угроза царской немилости более чем реальна, а перспектива отправиться в ссылку — слишком близка? «...На каждом шагу, — с грустью признавался Кюхельбекер, — встречаю неприятности и огорчения. Утешения, которые я до сих пор ещё встречал в моей здешней жизни, оставили меня»[47].

Не зная еще, будет ли он избран профессором Тартуского университета, Кюхельбекер, однако, уже готовился к отъезду из Петербурга. Он вышел в отставку из Иностранной коллегии, расстался с Благородным пансионом, в котором читал лекции по русской литературе. Но дальше все сложилось совсем не так, как предполагал Кюхельбекер. Неожиданно, по рекомендации Дельвига, ему предложили место секретаря при отправлявшемся за границу вельможе Нарышкине. Отказаться? Ждать профессорскую кафедру, которая может достаться другим претендентам? Нет, скорей, скорей из душного Петербурга, где все напоминает ему о неминуемой ссылке! И Кюхельбекер дает согласие на поездку за границу.

«Из газет узнал я, любезный Вильгельм Карлович, — писал ему 25 августа 1820 г. из Тарту И. Вилламов, — что вы намерены нас оставить и отправляетесь в чужие края. Итак надежда видеть вас профессором в Дерпте совершенно должна рушиться? Очень, очень жаль!... Я надеюсь, что вы, проезжая чрез Дерпт, посетите мою светлицу...»[48]

8 сентября 1820 г. Кюхельбекер выехал из Петербурга. В тот день в его дорожном дневнике появилась первая короткая запись: «Дорога от С.-Петербурга до Нарвы довольно однообразна. Но прекрасная, вечерняя заря меня очаровывала; картины из моего будущего, из моего прошедшего мелькали перед моими глазами...»[49]

Отрывки из этого дневника были опубликованы в очередной книжке «Собрания новых русских сочинений и переводов в прозе». Она была одобрена к печати 22 июня 1826 года — всего лишь за несколько дней до оглашения приговора над участниками декабристского движения. Мог ли знать петер-



Вид двух крепостей в Нарве.
Гравюра К. Клодта по рисунку П. Фурмана, 1845.

бургский цензор А. Бируков, что под стоявшей в конце путевых заметок мало что говорившей подписью — буквой «К», издатель скрыл имя одного из осужденных «государственных преступников» — Вильгельма Кюхельбекера!

В опубликованных дневниковых записях есть страничка о посещении Нарвы. Кюхельбекер ходил по древним улицам города, осматривал дом Петра I, любовался величественным и бурным водопадом. «Я наслаждался и его вечным шумом, — писал он, — и бездною его жемчуга, и лесистыми островками, разделяющими его на несколько рукавов»[50].

Не менее красочно описал Кюхельбекер свою ночную поездку от Нарвы до Тарту: «Ветер не свистел, а завывал; сердитое озеро кипело у ног наших и с минуты на минуту приближалось... Наши кони взвезли нас на пригорок и коляска медленно двинулась по песку. Никогда я не видывал лучшего подобия хаосу: берег и озеро, суша и вода, казалось, смешались и беспрестанно уступали друг другу. Перед тем, вечером, мы видели море: оно было спокойно, величественно, необозримо; последний свет зари, отражаясь, рассекал его на несколько разноцветных слоев, и небо, столь же спокойное, отдалялось от него ясною чертою»[51].

После одиннадцатилетней разлуки Кюхельбекер вновь увидел

Эстонию. И поэт с волнением обратился к дорогим его сердцу местам:

О колыбель моих первоначальных дней:
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой попрежнему всегдашний буду житель?[52]

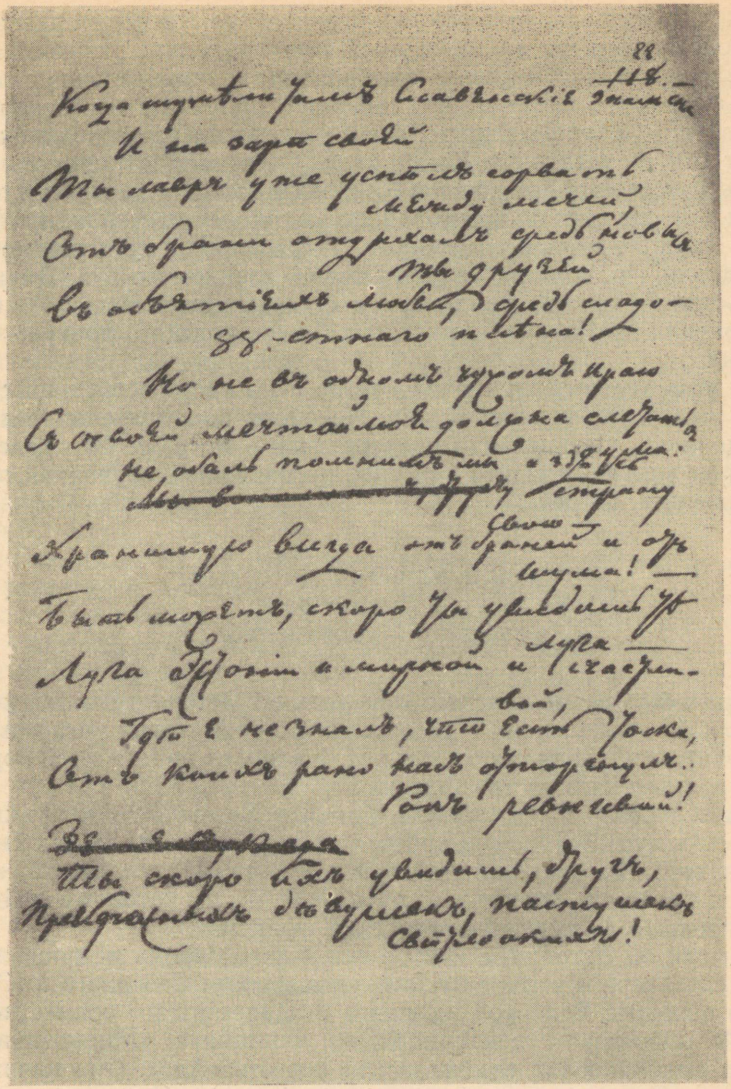
Эти чувства навеяны были и долгожданной встречей с родным ему краем, и несбывшейся надеждой стать тартуским профессором. С неподдельной радостью остановился он в университетском городке. «Сколько воспоминаний, сколько милых картин ясных и сумрачных из моего минувшего времени!»[53] — записывал в дневнике Кюхельбекер. Он пробыл в Тарту недолго, однако, успел все же встретиться с знакомыми ему профессорами, посетить своих друзей.

Около года провел Кюхельбекер за границей. Сопровождая Нарышкина, он побывал в Германии, Италии, во Франции. В Париже, в Академическом обществе наук и искусств, Кюхельбекер выступил с лекциями о славянских языках и русской литературе. Эти лекции, по всей вероятности, не ограничивались одними лишь историческими экскурсами, а касались также новейших произведений. Они, как предполагал Ю. Тынянов, не исчерпывались характеристикой «вольности» древней, новгородской, а обращали внимание слушателей на «вольность» современную, которой не было в александровской России.

Спустя два десятилетия сам Кюхельбекер отмечал необыкновенный успех парижских лекций. Но этот шумный успех определил и дальнейшую судьбу поэта. «Чёрт его дернул забраться в политику и либеральные идеи, на коих он рехнулся, запорол чепуху, так что Нарышкин его от себя прогнал, а наш посланник запретил читать и наконец выслал его из Парижа»,[54] — писал 27 июня 1821 года директор лицея Е. А. Энгельгардт.

И Кюхельбекер вновь в Петербурге. Его приезд совпадает с оглашением приговора над «бунтовщиками» из Семеновского полка. Атмосфера в российской столице становится настолько тревожной, что длительное пребывание Кюхельбекера в Петербурге может принести ему серьезные неприятности. И снова на помощь приходят друзья. При их содействии поэта определяют на Кавказ, к знаменитому генералу А. П. Ермолову.

На пути к месту назначения Кюхельбекер встречает своего земляка барона Михаила Карловича Розена — родственника декабриста А. Е. Розена. В то время этому отважному офицеру было всего лишь 25 лет, но он уже успел отличиться во многих сражениях — при Дрездене, под Кульмом и Лейпцигом, при Фершампенаузе и взятии Парижа. Вскоре после возвра-



Автограф стихотворения В. К. Кюхельбекера «К барону Розену», в котором поэт вспоминает родную ему Эстонию.

Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

щения из заграничного похода увенчанного боевыми орденами молодого офицера за неведомый нам проступок разжаловали в рядовые. Единственное сохранившееся документальное свидетельство более чем туманно говорит о причине столь сурового наказания. «Корнет барон Розен, — доносил во всеподданнейшем отчете цесаревич Константин, — осмелился против начальника своего, полковника Уварова 2-го, быть дерзким и грубым и за сие хотя он арестован, но за таковой поступок, противный службе, генерал-лейтенант Депрерадович представляет о предании его, корнета барона Розена, военному суду». Вмешательство Аракчеева повлияло на степень наказания, и Розена отправили на Кавказ — рядовым Нижегородского драгунского полка[55].

К моменту встречи Кюхельбекера с Розеном последний вернул уже себе офицерский чин. Но обоих роднили еще те преследования, которым они подвергались в России. Это родство поэт не мог не отразить в стихах, посвященных случайной, «на мгновенье», встрече:

Одной подвластны мы судьбе:
Ко мне она была сурова,
Не слишком ласкова к тебе . . .

Он рад был возможности поговорить об Эстонии с человеком, который также провел там свои детские годы; вспомнить «страну свою, хранимую всегда от брани и от шума» с той поры, как вошла она в состав России.

Кюхельбекер предсказывал Михаилу Розену, что тот увидит вскоре и луга Эстонии, и «прекрасных девушек, пастушек светлооких»[56]. Но будущий декабрист не мог предположить, как далек будет его жизненный путь от пути, по которому пойдет усмиренный Аракчеевым гусарский офицер.

Мысли об Эстонии, о судьбе эстонского народа не покидали Кюхельбекера и в годы бурной деятельности Северного и Южного обществ. В первой же книге издаваемого им совместно с В. Ф. Одоевским декабристского альманаха «Мнемозина»[57] была опубликована его эстонская повесть «Адо». Она начиналась такими страстными строками:

«Воскресните в моей памяти леса дикие, угрюмые! Вы, ели до небес восходящие, сосны темнозеленые, вековые дщери Эстонии; тундры, блата непроходные — ныне вспоминаю вас! Тебя, мрачное Ульви; тебя, холм Авинормский, препоясанный извилистым ручьем; тебя, песчаный Неналь, тебя, Чудское бурное озеро!

С берегов Невы, из пышных стен Петрополя, пренесенный младенцем на брега Пейпуса, во веки не забуду градищ твоих, земля моих предков! Твоего первобытного племени, обычаев, нравов, преданий твоих! Ни Рейн и скаты его, покрытые развалинами замков рыцарских, виноградниками, многолюдными градами и селениями; ни Кавказ, превосходящий Альпы высотою, убеленный вечными снегами, простирающий на юг Арагвский водопад и на север водопад Терекский; ни сладостный Гурджистан; ни Провансстоль же сладостный — не могли изгладить из моего воображения картин, поразивших меня в те лета, когда начинаешь чувствовать, но еще не понимаешь ни себя, ни мира тебя окружающего»[58].

Эти строки, посвященные краю, где протекла юность Кюхельбекера, перекликались со многими его стихами. Они сразу же уведомляли читателя, что воскрешаемые в повести далекие события были необычайно близки и дороги ее автору; что он выступал перед читающей публикой не бесстрастным летописцем, а певцом героического прошлого эстонского народа, судьей его врагов.

Шесть веков, отделявших Кюхельбекера от событий короткой повести, не помешали ему и в историческом произведении широко использовать личные наблюдения. В повествование о том, как русский и эстонский народы, соединенные «узами приязни еще до времен Рюрика», вели совместную борьбу против немецких захватчиков, он ввел «простые напевы дев Эстонии», услышанные им в Авинорме или Выру:

Волк за хатой завывает:
Но я волка не боюсь!
Мне ужасен барский голос,
Голос твой — железный муж!

Мадли, дней моих подруга,
В Майцме — вместе мы росли:
Ах! убит жених твой, Мадли;
Ты ж убийц его раба!

Ты для немца ложе стелешь,
На него прядешь и ткешь!
Что ж еще ты, Мадли, дышешь?
Мадли, я бы умерла![59]

Введя в историческую повесть современную ему горестную народную песнь, Кюхельбекер, тем самым, как бы утверждал: борьба, которую столетия назад вели эстонские крестьяне, не

прекратилась; эстонцы, как и ранее, «прядут и ткут» на немецких баронов; они по-прежнему мечтают о свободе, по-прежнему «гнев и отчаяние обуревают их сердца»[60].

В этом отношении характерна и вторая песнь. Ее поет эстонский юноша Ной, с грустью покидающий порабощенную родину:

В даль плыву по Пейпусу,
Горестный изгнанник;
Воспою Отечество:
Слушай, слушай странник!

Наши нивы тучныя
Кони немцев топчут;
Под бичом мучителя
Старцы тщетно ропчут;

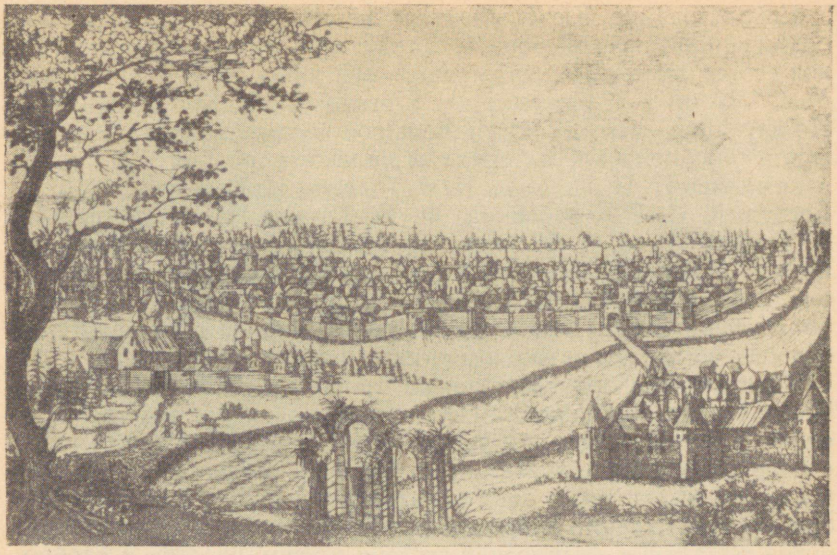
Девы обезславлены,
Юноши в неволе,
Кости наших витязей
Тлеют в чистом поле![61]

Каким контрастом этим горестным думам была пронесшаяся над волнами разудалая песнь русских корабельщиков, плывших «к Новугороду, к Новугороду, ко великому»! Они, молвил про себя Ной, возвращались на родину, в свое отечество сильное и могучее, а он — покидал отчизну порабощенную.

Поэт-декабрист знал и ценил народное творчество Эстонии. Отсутствие каких-либо достоверных свидетельств не дает, к сожалению, возможности документально установить, кто именно познакомил Кюхельбекера с эстонскими песнями и легендами. Но мы глубоко убеждены в том, что эти песни и легенды услышаны были им еще в юные годы, в пору постоянного общения с авинормскими крестьянами.

Значительное место, отведенное в повести озеру Пейпус (Чудскому озеру), свидетельствовало о необычайной чуткости и бережливости Кюхельбекера к бытовавшим в эстонской деревне сказам и легендам. Пейпус всегда был особенно дорог угнетенному народу, ибо по его водам прибалтийские крестьяне издавна получали помощь от великого русского народа.

Кюхельбекер провел читателей за каменную ограду воспетого реакционными писаками замка средневекового феодала. Не для прославления рыцарских «доблестей» обратился он к этой «непогрешимой» в глазах современных ему остзейских историков фигуре. Иным предстал барон со страниц его повести. Плаха и топор посреди огромного двора были символами «гу-



Древнее изображение Новгорода (по Олеарию).

манности», проявленной завоевателями к угнетенному эстонскому народу. «Каждый помещик, — сообщал Кюхельбекер, — не относясь ни к кому, мог без всякого суда предавать смерти любого своего подданного, навлекшего на себя его негодование»[62]. Кровь непокорных эстонских крестьян вспоила тогда землю у роскошного замка. Головы бунтовщиков, водруженные на колья, были выставлены перед въездом в селение; на деревьях в лесу авинормском, где так часто бродил Кюхельбекер, висели в былые годы десятки безвинных людей...

А рядом с этим горем народным беспробудно царствовало разнузданное веселье. В замке, о котором писал с омерзением Кюхельбекер, лились рекой вино, мед и пиво. Рыцари состязались в храбрости, получая награды за смелость и ловкость. И гости знали — впереди их ждет главное развлечение: суд и казнь эстонского вождя Адо, прибереженные хозяином для завершения роскошного пиршества.

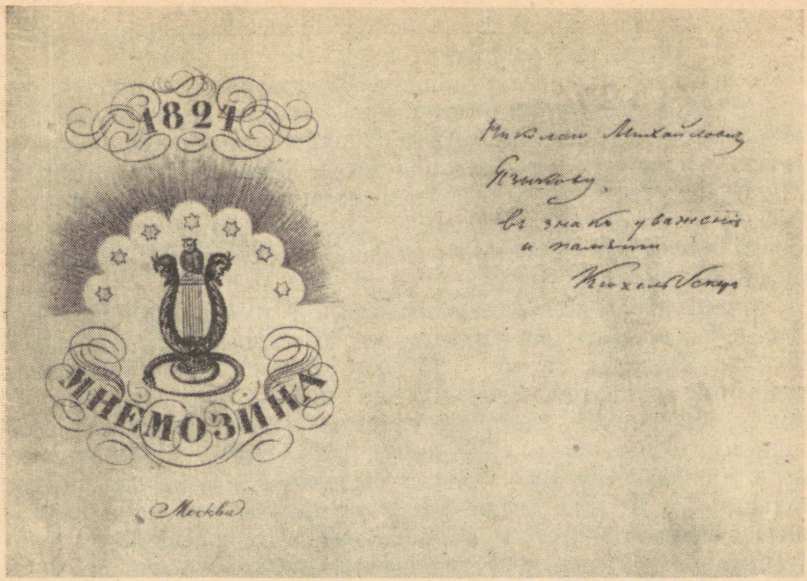
В этом аду кромешном — в покоренной рыцарями Эстонии дочь Адо услышала страстный призыв: «Ищи друзей и покровителей в России!»[63] Он стал лейтмотивом повести, пронизанной глубочайшей любовью к эстонскому народу, искренним сочувствием к его горестям и бедам.

Использование Кюхельбекером исторического сюжета как орудия политической борьбы характерно для многих участников декабристского движения. «История... — признавал М. С. Лунин, — путеводит нас в высокой области политики»[64]. Не случайно поэтому столь большое число членов тайных обществ обращалось к материалам далекого прошлого. Историей занимались П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, Н. И. Тургенев, А. А. Бестужев, С. П. Трубецкой, Ф. Н. Глинка, Н. М. Муравьёв, П. Г. Каховский, А. И. Одоевский и многие другие. Выступая против дворянской историографии, воспевавшей царей и героев, они стремились создать историю, которая принадлежала бы народу, отражала бы решающее значение народа в исторических судьбах родины, в ее экономическом развитии.

Историческое произведение из прошлого эстонского народа Кюхельбекер опубликовал спустя три года после выхода «Поездки в Ревель» Александра Бестужева, почти одновременно с некоторыми бестужевскими повестями. В дальнейшем мы убедимся в том, что у двух писателей-декабристов было много общего в отношении к прошлому эстонского народа; к пресловутой романтике «рыцарской эпохи»; к «гуманности» и «добропорядочности» чужеземных завоевателей Эстонии и Латвии; к разглагольствованию самих баронов о сохранении за ними на долгие времена феодальных привилегий.

Значение повести Кюхельбекера для той поры, когда она увидела свет, становится особенно ощутимым при сопоставлении «Адо» с некоторыми современными ей историческими исследованиями. Мы имеем в виду, в частности, многочисленные труды обер-пастора и обер-суперинтенданта Карла Зонтага (1765—1827), подчинившего всю свою довольно кипучую деятельность не освещению истории рабства прибалтийских крестьян, а «истории свободы и благосостояния наших националов», т. е. несуществовавшей свободы и не существовавшего при завоевателях благосостояния эстонских и латышских земледельцев. Манипулируя архивными документами, обер-пастор отрицал в своих далеких предках и черствость души, и холодный эгоизм — то, что увидел и отразил в повести Кюхельбекер. Зонтаг освобождал от всех смертных грехов и духовенство, хотя по словам героя «Адо» — Нора, пасторы и в давние времена терзали и проливали кровь безвинных эстонских крестьян[65].

Экземпляр «Мнемозины» со своим произведением автор отправил в Тарту. На оборотной стороне переплета он начертал: «Николаю Михайловичу Языкову в знак уважения и памяти — Кюхельбекер»[66]. Мало вероятно, чтобы пришедшая из Петербурга новая книжка, к тому же и нового альманаха,



Экземпляр альманаха «Мнемозина» на 1824 г. с дарственной надписью В. К. Кюхельбекера Н. М. Языкову, присланный поэтом-декабристом в Тарту. Лицевая и оборотная стороны переплета. Собрание Н. П. Смирнова-Сокольского, Москва.

долго оставалась у одного только поэта. Судя по тому, как переходили из рук в руки другие присылаемые ему издания, подобная же участь должна была, конечно, постигнуть и «Мнемозину». И вряд ли окружавшей Языкова в Тарту молодежи не бросилось в глаза, что повесть небезызвестного им Кюхельбекера шла в разрез с лекциями о рыцарском праве Эстляндии, читавшимися в университете молодым тогда Фридрихом Георгом фон Бунге.

Подобно Зонтагу, Бунге всячески затушевывал теневые стороны ливонской истории, видя в прошлом лишь достойные, якобы, похвалы «героические» подвиги рыцарей, их «славные» дела по преобразованию края. Издаваемый им в 30—40 гг. еженедельник «Инланд», оправдывая существование особых привилегий остзейского дворянства, ссылался при этом на былые «заслуги» рыцарства. «Как можно, — восклицал автор одной из опубликованных Бунге статей, — проглядеть быстрые темпы развития городов и их граждан благодаря покровительству, оказываемому торговле и промышленности епископами и

орденом, которые содействовали росту благосостояния и подъему культуры во всей стране»[67].

Против этих, не соответствовавших исторической правде, утверждений и выступали декабристы, в том числе — Вильгельм Кюхельбекер. Его повесть «Адо» разрушала бытовавшую тогда версию о мифическом благородстве и бескорыстии рыцарей. Не о благосостоянии, не о подъеме культуры говорила каждая строка страстного произведения Кюхельбекера, а о горе угнетенного эстонского народа, о его борьбе, о его вере в истинных друзей — друзей из России.

С пристальным вниманием следили в Эстонии за творчеством Кюхельбекера. Его имя особенно часто упоминалось в письмах Николая Языкова. Летом 1825 года, при встрече с тартуским студентом и поэтом, Кюхельбекер прочел ему отрывок из драмы «Ижорский», анонимно изданной по ходатайству друзей лишь десять лет спустя. 14 ноября 1825 года — в том месяце, когда Кюхельбекер был принят Рылеевым в Северное тайное общество — Языков писал брату о хорах из трагедии «Аргивяне», опубликованных в «Соревнователе просвещения и благотворения». «В них, — утверждал Языков, — места достопочтенные»[68]. Через Языкова и его друзей — лектора русского языка А. В. Тихвинского, художника А. Д. Хрипкова, литератора В. М. Княжевича произведения декабристского поэта попадали ко многим прогрессивно мыслившим студентам Тартуского университета.

... Повесть «Адо» Вильгельм Кюхельбекер завершил патетическими строками:

«Увижу ли тебя еще раз в жизни, Чудское озеро? Удастся ли мне бродить по песчаному твоему брегу? В восторженных мечтаниях голос духов, обитателей вод — услышу ли над зеркалом Пейпуса?»[69]

Нет, не суждено уже было поэту увидеть ни колыхавшихся волн озера Чудского, ни воспетых им лесов и нив Эстонии, ни эстонского земледельца. Иное предстало перед ним много лет спустя — в последнюю встречу с родными ему местами. Из окна арестантского каземата на таллинском Вышгороде он видел лишь клочок голубого эстонского неба.

IV. «ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ — В КАКОМ ОНИ ПОЛОЖЕНИИ!..»

> Вы хотите дать свободу крепостному человеку. Итак дайте ему свободу; но свободу настоящую ...
>
> *Декабрист Н. Тургенев*

Вильгельм Кюхельбекер провел в Эстонии почти все детство и немало юношеских лет. Эстония стала по существу второй родиной этого декабриста. Совсем иными были связи с Эстонией у Николая Тургенева.

Мы помним пушкинские строки:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал,
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Эти строки из «Евгения Онегина» посвящены были Николаю Тургеневу — одному из виднейших членов декабристского «Союза благоденствия».

Его первая встреча с Эстонией состоялась в 1808 году. Тургеневу было тогда лишь девятнадцать лет, но он уже критически воспринимал все, что окружало его в жизни. В дневнике будущего декабриста мы встречаем и презрительную фразу о московском генерал-губернаторе Тутолмине, и резкие высказывания об Аракчееве, и заметки о жалкой роли российского сената, и гневные строки о варварстве дворянства.

Тургенев задумывался и об участи народа, заточенного в тягостные цепи крепостного рабства. Раскроем одну из его тетрадей. Она датирована маем 1808 года. Незадолго до проезда через прибалтийские губернии, юноша выписал в заветную тетрадь из прочитанной книги сведения о греческих невольниках: «... когда с ними поступают жестоко ..., они требуют перейти в услужение к другому господину, менее жестокому, и иногда им удается избавиться от ига тиранства, которое во зло употребляло их слабость». Выписав, задумался и тут же, в скобках, дописал: «У нас и этого нет!» Продолжая свои заметки, Тургенев обратил внимание на строжайший запрет у греков, «под опасением очень великих наказаний, бить чужих невольников». И вновь добавил от себя: «Также и этого у нас нет»[70].



Н. И. Тургенев.
Литография с карандашного рисунка, 1820-е гг.

Государственный литературный музей, Москва.

С подобными, тревожившими его, мыслями Тургенев и отправился в Геттинген. Он уезжал в числе двенадцати студентов педагогического института — Кайданова, Галича, Куницына, Бутырского, Чижова, Воронковского и других, — посланных в заграничные университеты. Путь в дальние края лежал через Эстляндию и Лифляндию — окраинные губернии Российской империи, о которых Тургеневу довелось уже немало слышать, но с которыми знакомился он впервые.

«Дорожная белая книга», открытая при выезде из Петербурга, рассказывает о прибалтийских впечатлениях Тургенева. Он видел нищету эстонских крестьян, их продымленные лачуги, где под одной кровлей со свиньями ютились бедняцкие семьи. В корчме, по пути из Нарвы в Тарту, Тургенев встретил умиравших с голоду людей. «Им есть совершенно нечего, — возмущенно записывал он. — Хозяин говорил мне, что хлеб их состоит весь почти из травы, и что вообще они едят хуже лошадей... Какая жалость!.. — восклицал Тургенев. — Многие из них ушли в Россию для прокормления себя, но их господин послал за ними и возвратил многих из них. Есть в свете добро,

есть и зло, но видя т а к о е з л о и воображая еще большее, часто случающееся, вряд ли можно думать, чтобы добра было на свете более нежели зла»[71].

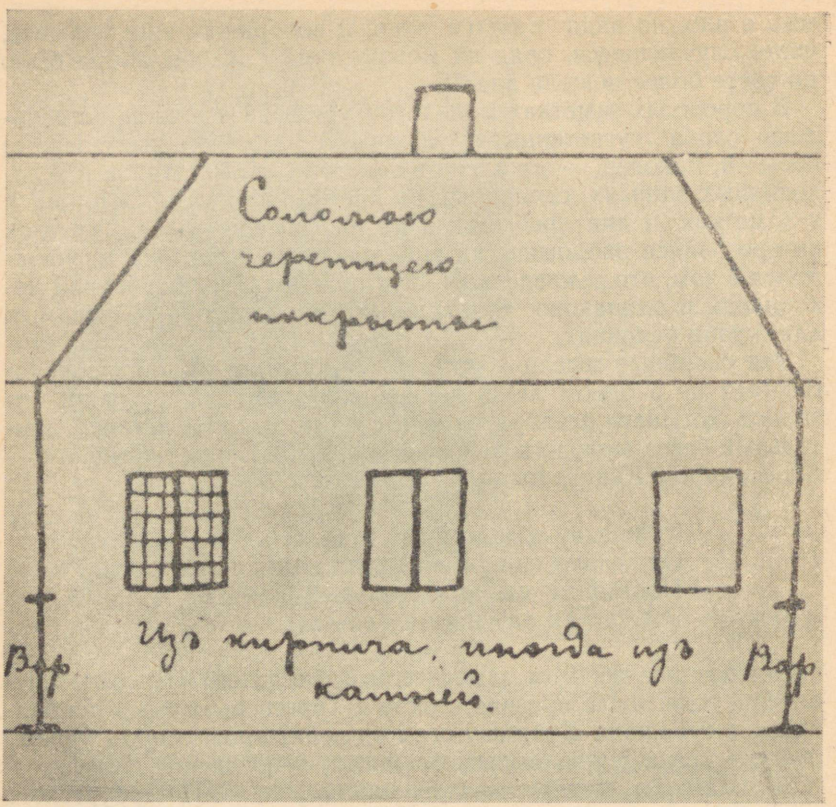
В дорожных заметках молодого Тургенева все чаще встречались слова «угнетенные», «бедные», «дурно выстроенные избы» и, наконец, — «р а б с т в о». Эти слова пестрели и в лаконичных записях, сделанных во время проезда по Эстонии, и в заметках в дни пребывания на латышской земле. Тургенев интересовался экономическим положением крестьян и убеждался в том, что земледельцы двух прибалтийских губерний находились в одинаково чудовищных, одинаково невыносимых для жизни условиях.

Эти скорбные мысли и пламенные чувства выливались Тургеневым не в одном лишь дневнике. Более чем вероятно, что записи будущего декабриста об Эстонии были следствием длительных бесед молодого человека с его 25-летним спутником — Александром Куницыным.

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш племень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена . . . —

писал позднее об этом замечательном человеке Пушкин. Спустя три года после проезда вместе с Тургеневым через прибалтийские губернии, Куницын стал адъюнкт-профессором учрежденного тогда Царскосельского лицея, а позднее — профессором Главного педагогического института, С.-Петербургского университета и других учебных заведений. Его блестящие лекции по нравственной философии, общему и уголовному праву слушали Пушкин, а также И. Пущин, Кюхельбекер, Поджио, Бурцов, Оболенский и другие декабристы. Эти лекции и вышедший в 1818—20 гг. труд Куницына «Право естественное» были проникнуты глубоко прогрессивными идеями и сыграли значительную роль в формировании мировоззрения многих участников декабристского движения.

Для характеристики свободолюбивых просветительских взглядов Куницына достаточно указать хотя бы на его утверждения, что «права первоначальные принадлежат всем людям, ибо все люди предполагаются существами разумными»; что «никто не может лишить другого права личности»; что «люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты»; что «употребление власти общественной без всякого ограничения есть т и р а н с т в о, и кто оное производит, тот есть тиран»[72].



«Дорожная белая книга» Николая Тургенева, 1808. План крестьянского дома. Занесен в путевой дневник 29 июня при переезде из Нарвы в Ригу. Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

В ту пору, когда слава Куницына всходила всё выше на общественном и литературном горизонте Петербурга, его имя было уже известно и в Эстонии. Н. Языков писал в 1822 г. брату, что живший в Тарту поэт и переводчик русских писателей Борг давно уже знал о Куницыне и говорил о нем с огромным уважением.

Враг произвола, насилия и тирании, каким был Александр Куницын, разумеется, хорошо понимал и разделял негодование своего более молодого спутника — Николая Тургенева против царивших в остзейских губерниях рабовладельческих порядков.

Шли годы. Тургенев окончил Геттингенский университет, объездил Германию, Францию, Швейцарию, Италию и Австрию, увидел десятки больших и малых городов Европы, многому научился, на многое пересмотрел свои взгляды и стал еще более непримиримым врагом крепостного рабства.

Возвращение в начале 1812 года на родину вновь столкнуло Тургенева с безрадостной российской действительностью. Рабство и грубость заставляли, по его признанию, сердце обливаться кровью. С этими мыслями и горестными чувствами он принял в следующем же году назначение быть русским комиссаром в Центральном административном департаменте, учрежденном союзными государствами для управления освобожденными германскими землями.

И снова перед нами его дневник. Первая запись сделана в Тарту. Тургенев приехал туда 27 октября 1813 года. Гнетущее впечатление произвела на него встреча с местным бароном, презрительно отзывавшемся о простом эстонском народе — о тех самых эстонских мужиках, которые сражались тогда в одних рядах с русскими солдатами.

Из катившего по дороге экипажа на пути из Тарту в Ригу Тургенев видел одетые в осенний наряд леса. Он не позабыл упомянуть в дневнике и поразивший его «дружелюбный» дуб, росший подле самого дома, соединивший с ним свою судьбу и как бы охранявший покой человека. Но как ни поэтичны были картины природы, они не могли скрыть от Тургенева феодальное бесправие прибалтийского крестьянства. «Неодушевленные предметы, — записывал он на другой день после отъезда из Тарту, — часто придают много прелести другим предметам в воображении нашем. Не потому ли это отчасти, что они — неодушевленные, что зла от них ожидать нельзя так, как от людей? Мрачная мысль! — признается Тургенев и следующей же строкой указывает на источник столь грустных размышлений: — Что за люди живут в этой стороне, которую я проезжаю? Те, кои всех более имеют право на счастье — земледельцы — в каком они положении!»[73]

Думы об эстонском крестьянстве, по всей вероятности, не покидали Тургенева и в последующие годы. Под влиянием Отечественной войны 1812 года, оказавшей решающее значение на формирование социально-политических и философских воззрений лучшей части дворянской интеллигенции, он все чаще задумывался о преобразованиях в России. Прощаясь с 1816 годом, Тургенев мечтал увидеть свою родину в новом году озаренной счастьем, а русский народ — благоденствующим; число истинных сынов отечества — умножившимся, а слепцов и эгоистов — в значительно меньшем количестве. Однако, склоняясь

к конституционному строю, он считал все же необходимым сохранить ограниченное самодержавие; набрасывая план 25-летних реформ, он заранее отстранял народ от участия в важных преобразованиях. И даже освобождение крестьян предусматривалось им растянутым на целых полтора десятилетия.

Эта умеренность взглядов Тургенева, отразившаяся в его дневниках 1815—16 гг., сказалась и на отношении будущего руководителя «Союза благоденствия» к решению крестьянского вопроса в остзейских провинциях. Первая же весть о «реформе» 1816 года вызвала у него чувство ликования. Он еще не знал во всех деталях содержания нового закона, но уже сам факт, что крестьяне получали по этому закону свободу, был для Тургенева событием радостным, из ряда вон выходящим. «Как обрадовался я вчера, прочтя в гамбургских газетах, — писал он, находясь тогда за границей, — что министр внутренних дел сообщил сенату подтверждение или узаконение, что рабство в Эстляндской губернии уничтожено... Я давно знал уже об этом распоряжении, но в первый раз читал... Не знаю, что во мне происходило, но я всем хотел читать эту статью... Что будут теперь говорить наши журналы об этом происшествии? Сожалею, что меня нет теперь в России»[74].

Царский указ казался молодому Тургеневу той долгожданной реформой, о которой мечтали лучшие люди России. Он горячо приветствовал освобождение эстонского крестьянства, преисполненный к нему самых теплых, самых искренних чувств. Тургенев надеялся, что новый закон устранит представшую перед ним в остзейских губерниях нищету земледельцев.

Но минуло всего лишь семнадцать дней после столь восторженной реакции, и даже умеренный в своих взглядах Тургенев призадумался: «Важный вопрос при освобождении крестьян собственность земли. Почему она более принадлежит помещику, нежели крестьянам?»[75] Этот вопрос, разумеется, возник в процессе внимательного изучения нового крестьянского закона. Тургенев, как справедливо отмечает его биограф, стал догадываться, что остзейские бароны, при покровительстве Александра, освободили эстонцев, но от земли, а не от рабства.

Нет, не такая свобода могла воскресить к жизни угнетенных людей! Тургенев считал, что крестьяне, избавленные от крепостного ига, должны были получить в вечное владение земельные участки, право и возможность покупать новые земли.

Осень 1816 года застает Николая Тургенева на пути в Петербург. «Он возвратился сюда в цветущем состоянии здоровья и с либеральными идеями, которые желал бы немедленно употребить в пользу Отечества, — писал его брат Александр, — но над бедным Отечеством столько уже было операций всякого

рода, особливо в последнее время, что новому оператору надобно быть еще осторожнее, ибо одно уже прикосновение к больному месту весьма чувствительно. К тому же надобно не только знать, где и что болит, но и иметь верное средство к облегчению или совершенному излечению болезни . . .»[76]

Николай Тургенев не в силах был указать правильное «средство к облегчению или совершенному излечению болезни». Но он глубоко сознавал «где и что болит» в любимом им Отечестве.

В сентябре 1817 года в письме из Петербурга брату Сергею Тургенев вскользь упоминал об оживленном обсуждении в российской столице эстляндского Положения. В прогрессивных кругах дворянской интеллигенции, мечтавшей об отмене крепостного права, о предоставлении свободы многомиллионной крестьянской массе, стремились трезво оценить новый закон. Мог ли он стать образцом для общероссийской реформы? В пылу споров, наряду с речами искренне заблуждавшихся людей, не разобравшихся еще в подлинном содержании Положения, уже давалась порой и справедливая оценка пресловутого «освобождения». Оно свершилось, признавал один из основателей «Союза спасения» И. Д. Якушкин, на таких условиях, которые сделали положение крестьян несравненно хуже прежнего[77].

К тому времени в Петербурге возникло первое тайное общество декабристов — «Союз спасения» или «Общество истинных и верных сынов отечества». В него входили Александр Муравьев, князь Сергей Трубецкой, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Никита Муравьев, Михаил Лунин, Павел Пестель, Иван Пущин и еще два десятка молодых гвардейских офицеров. Спасти русский народ от крепостного ига, ввести в России представительное правление и конституционную монархию — такова была общая цель, объединившая этих патриотов. Весьма показательно, что одной из задач тайной организации дворянских революционеров стало «отстранение иноземцев от влияния в государстве»[78] — т. е. удаление из правительственного аппарата остзейских помещиков, прибравших к своим рукам и царский двор, и министерства.

Все планы «Союза спасения» связывались с моментом смены на престоле императора. Именно тогда, считали члены общества, удобнее всего принудить правительство заменить самодержавие конституционной монархией.

Но когда настанет долгожданный день? Не ускорить ли развязку убийством царя? В жарких спорах обсуждалась целесообразность этого акта. Можно ли было ожидать, что новый император добровольно согласится дать крестьянам волю и

народу — конституцию? Гарантии, разумеется, не было. Но тогда что же делать?

Видя свое бессилие, члены тайного общества решили ликвидировать организацию. На смену «Союзу спасения» пришел тоже конспиративный «Союз благоденствия». Эта декабристская организация, насчитывавшая уже свыше двухсот человек, ставила сперва перед собой задачу 20-летней подготовки общественного мнения к революции. Но позднее эта умеренная программа была пересмотрена. Русская революционная организация впервые признала, что не конституционно-монархическое правление, а республиканская Россия, — конечная цель ее борьбы.

Одним из виднейших членов и руководителей «Союза благоденствия» стал Николай Тургенев. Вполне возможно, что его наблюдения над состоянием прибалтийских губерний, его размышления над долей эстонского крестьянства явились предметом страстных бесед в близких ему кругах заговорщиков.

Вскоре же после возвращения из-за границы в Петербург Тургенев встретился с виднейшим деятелем первого периода декабристского движения Федором Глинкой. Интересуясь всем, что касалось Прибалтики, Тургенев не мог обойти молчанием недавнюю поездку своего собеседника по Эстонии. К моменту их встречи в Петербурге вышла книга Глинки «Письма к другу...»[79], содержавшая немало заметок о прибалтийской истории, о Нарве и Тарту. Глинка высоко отзывался о мастерстве эстонских умельцев, возводивших из камней огромные строения, обладавшие, по его словам, способностью стоять веками. Он писал о битвах, которыми полна была история эстонского народа, о приносимых войнами опустошениях и о великом, прогрессивном значении присоединения Эстонии к могучему Российскому государству[80].

Всего лишь несколько дней провел Глинка в Прибалтике. Но и за этот весьма короткий срок многое он там увидел, о многом узнал, со многими завязал знакомства. Поиски старинных книг привели его к «учёному профессору Бр.». Старый исследователь, чуть ли не всю свою жизнь проведший в гамбургском, любекском, данцигском, кенигсбергском, митавском и рижском архивах, «развернул п р о ш е д ш е е, как книгу, — писал Глинка, — и ярким лучом наблюдений своих прояснил для нас глубокий мрак шести веков. Древние страны Кур, Лиф, Эст — и Финляндия открылись предо мною со всеми любопытными чертами своей первобытности. Я видел их природу, жителей, образ правления...»[81]

«Ученым профессором Бр.», о котором с таким почтением отзывался Глинка, являлся, как нам удалось установить, про-



Ф. Н. Глинка.

Литография А. Мюнстера с гравированного портрета К. Афанасьева, 1825.

фессор рижской гимназии Иоанн Христофор Броце. После смерти в 1823 году этого крупного собирателя прибалтийской старины стали известны многие, хранившиеся в его личном архиве, «чудеса древности», еще ранее приведшие в восторг Федора Глинку[82].

В 1819 году Н. Тургенев по предложению Глинки составил обширную записку «Нечто о крепостном состоянии в России», переданную через петербургского генерал-губернатора графа М. А. Милорадовича самому Александру I. Эта записка, написанная с учетом того адресата, которому она предназначалась, не выразила, конечно, всей глубины возмущения ее автора усилением в России реакционного курса. Сдерживая, однако, свои истинные чувства, Тургенев не скрыл разочарования политикой царя, обманувшего крестьянство и не наградившего его обещанной во время войны свободой. Даже в Прибалтике, где, якобы, ликвидировано крепостное право, утверждал декабрист, народы по-прежнему находятся в оковах рабства. «В некоторых губерниях остзейских . . . было узаконено, что помещик не может дать виновному крестьянину более 15-ти ударов палочных, — писал Тургенев. — Известно, как поступали некоторые бессовестные помещики в сем случае: они давали не более 15-ти ударов, но повторяли сие несколько раз в течение краткого времени»[83].

ные звуки, которыхъ правильное слія-
ніе составляетъ, прелестную для уха,
поющую мелодію. — Сія *мелодика*
такъ искусно подражаетъ всѣмъ ду-
ховымъ инструментамъ, что не ви-
дя, можно принять ее за цѣлой ор-
кестръ вмѣстѣ. —

Ученый Профессоръ Бр.... къ кото-
рому любезной К. В. завелъ меня по-
знакомству, показалъ намъ чудеса дре-
вности. Онъ развернулъ *прошедшее*,
какъ книгу, и яркимъ лучомъ наблю-
деній своихъ прояснилъ для насъ глу-
бокой мракъ шести вѣковъ. — Древнія
страны *Курв*, *Лифв*, *Эст - и Финлян-
діи* открылись предо мною со всѣми
любопытними чертами своей перво-
бытности. Я видѣлъ ихъ природу, жи-
телей, образъ правленія, видѣлъ *Епи-
скоповъ*, *Рыцарей Креста*, *Кавалеровъ
меча* и братьевъ *черноголовыхъ*. Каж-
дое лицо представлялось въ своемъ
видѣ, въ своей одеждѣ, со всѣми прили-
чіями, свойственными его времени. —
Особливо любопытно было смотрѣть
на богатырей или рыцарей древнихъ

«Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторического повествования: Зинобей Богдан Хмельницкой или Освобождённая Малороссия. Федора Глинки. Сочин. писем Русского офицера», ч. 1, СПб, 1816. Страница из книги, рассказывающая о знакомстве писателя-декабриста с историческим прошлым Прибалтики.

Многое о положении в прибалтийских губерниях Н. Тургенев черпал из писем своего приятеля — курляндского немца Шмелинга, знакомство с которым он завязал еще в Геттингенском университете. Шмелинг резко осуждал изданное в 1817 году «Учреждение о курляндских крестьянах», преследовавшее те же цели, что и знакомое Тургеневу эстляндское Положение. Он писал своему другу о грабительской инвентарии, по которой все содержимое хозяйства крестьянина, являвшееся до той поры его собственностью, заносилось в так называемую инвентарную опись двора. Вместе с двором оно поступало в собственность казны или помещика. «Чувствуется злостная ирония, когда доказывают, что крестьянин приемом усадебных описей ничего не теряет, так как он при переходе в другую усадьбу находит там свой оставленный инвентарь, — писал в связи с этим Н. Тургеневу Шмелинг. — Однако, невзирая на то, что инвентарные имущества составляют собственность наследственного владельца ... (§ 127 крестьянского устава), и последний, по окончании переходного состояния, может делать с ними что угодно, даже может (по § 126 крестьянского устава о переходном состоянии) еще во время этого самого переходного состояния отчуждить, — будет все-таки налицо большое различие при этих усадебных описях. Ведь всякий помещик может назначить количество инвентарного имущества по своему желанию»[84].

Незадолго до составления записки «Нечто о крепостном состоянии в России» Тургенев и Куницын задумали издавать литературно-публицистический журнал, главная цель которого должна была состоять в распространении «здравых идей политических». Составными частями журнала, сообщал в январе 1819 года Тургенев брату Сергею, станут: «Политика. Политическая экономия. Финансы. Юриспруденция. История. Философия ... По возможности мы будем писать против рабства ...» К сотрудничеству в журнале намечено было привлечь членов «Союза благоденствия» Н. М. Муравьева, Ф. Н. Глинку, И. Г. Бурцова и П. И. Калошина, а также А. С. Пушкина, А. А. Шаховского, В. А. Жуковского и других. Перечисляя своих предполагаемых помощников, Николай Тургенев не без оснований заявлял: «Я много надеюсь на корреспондентов, в особенности на князя Вяземского»[85]. К подобному заключению можно было, разумеется, прийти лишь будучи глубоко убежденным в том, что взгляды прогрессивно настроенного в те годы поэта на основные проблемы современной жизни совпадали с его собственными взглядами. У Тургенева же не было в этом сомнений.

Через брата Николая Ивановича — Александра, находивше-

гося в интенсивной переписке с Вяземским, или непосредственно от поэта, с которым он был дружен, Н. Тургенев знал, в частности, о его поездках по Прибалтике. Еще в 1818 году Вяземский писал о том, что в прибалтийских губерниях «ужасно страждут крестьяне», что там «на них смотрят, как на лимон, который попался к вам на минуту в руки», что «всякий старается выжать из него (т. е. из крестьянина. — А. Л.) весь сок»[86]. Подобная оценка полностью подтверждалась тем, что довелось увидеть самому Тургеневу и в Эстонии, и в Латвии.

Вопрос, доминировавший в те годы над всеми остальными, сводился по убеждению Николая Тургенева к отмене рабства. Рассказывая о своем вступлении в «Союз благоденствия», он дважды подчеркивал: «Я сейчас же составил план обратить внимание общества на вопрос о рабстве. Я объявил об этом немедленно моему собеседнику (кн. Трубецкому. — А. Л.), и, убежденный его словами, что он был так же, как и его друзья, одушевлен лучшими намерениями относительно бедных русских крестьян, я ощутил в душе моей сладкую надежду на то, что постоянный предмет моих занятий подвинется вперед»[87].

«Постоянный предмет занятий» Николая Тургенева имел непосредственное отношение не только к русским крепостным, но и к прибалтийским «свободным» земледельцам. Видному деятелю декабристского движения знакомы были, например, труды Гарлиба Меркеля, имевшие большое прогрессивное значение для разоблачения остзейских феодально-крепостнических отношений. Речь, в данном случае, идет о первом крупном произведении Меркеля «Латыши, особливо в Ливонии в исходе философского столетия», доставившем его автору огромную известность.

Знакомясь в 1821 году с обличительными книгами прибалтийского просветителя, Тургенев делал выписки из его трудов, характеризующие состояние земледельцев остзейских губерний. Он отмечал, что рецензент одной из работ Меркеля не одобрял последних крестьянских законов, ибо, благодаря этим «реформам», крестьяне «лишились того, чем пользовались если не по праву, то на самом деле»[88], т. е. вовсе потеряли земельные участки.

Однако Тургенев склонен был все же расценивать остзейские законы, как некоторое приближение к решению крестьянской проблемы. Только много лет спустя, он сумел понять всю грабительскую сущность этих «реформ», предпринятых прибалтийскими дворянами ради их собственного блага.

V. «ПОЕЗДКА В РЕВЕЛЬ»

Любовью к истине святой
В тебе, я знаю, сердце бьется,
И, верно, отзыв в нем найдется
На неподкупный голос мой.

К. Рылеев декабристу А. Бестужеву.

16 октября 1820 года в Петербурге восстал гвардейский Семеновский полк.

В тот день, говорится в следственном материале военно-судного дела, проходили ученья. Увидев приближавшегося командира полка Шварца, ротный поспешно скомандовал — «Смирно!» При этом, солдат Бойченко, став во фронт, не успел застегнуть мундир. Подбежав к нему, изувер Шварц плюнул в глаза «провинившемуся» солдату и, проведя его вдоль застывшей шеренги, приказал всем поочередно повторить то же самое. Не ограничившись и этим, Шварц наказал тесаками заслуженных, награжденных боевыми орденами, солдат[89].

Так излагает сущность семеновского «дела» официальный документ.

Чаша солдатского терпения переполнилась, и в тот же вечер одна из рот через своего командира передала на Шварца жалобу. «Смутьянов» вызвали в штаб корпуса. Там их ожидала ловушка: непокорную роту, хоть и была она «ротой его величества», под строжайшей охраной препроводили в Петропавловскую крепость.

Весть об аресте товарищей возмутила семеновцев. На ноги был поднят весь полк. Солдаты требовали немедленного освобождения ни в чем неповинной «государевой роты». Это уже было подлинным бунтом, на подавление которого бросили войска. Петербург, писал Рылеев, объят был тревогой. По улицам то и дело проходили полки, везли пушки, скакали адъютанты, всюду толпился народ. В каждом доме опасались дальнейшего развития грозных событий.

Несмотря на поддержку однополчан, рота, первая открыто возмутившаяся против бесчинств Шварца, из-под стражи не была освобождена. Более того, в Петропавловскую крепость доставили вскоре и остальных солдат Семеновского полка. В военном совете решили, сообщал 20 октября 1820 г. поэту Вяземскому Александр Тургенев, отправить «бунтовщиков» в Свеаборгскую и Кексгольмскую крепости, оставив в Петербурге лишь первый батальон.

25 октября три вооруженных фрегата — «Патрикий», «Филадельфия» и «Иоанна-Шарлотта», — на борту которых были «опаснейшие и злейшие бунтовщики», снялись с якоря. Позд-



Таллин. Рисунок пером М. Воробьёва, 1838.
Третьяковская галерея.

нее осеннее время, рассказывает историограф Семеновского полка, давало мало надежды на благополучное окончание плавания. Солдаты и офицеры, назначенные на один транспорт, не без опасений расставались с друзьями, отправлявшимися на другом фрегате.

Их опасения подтвердились. «Патрикий» прибыл в Свеаборг лишь после пяти дней трудного плавания. Другие же суда, разъединенные сильной бурей, были отброшены к Таллину.

В течение нескольких дней в Петербурге ничего не знали об участи внезапно пропавших рот. Носились даже слухи об их гибели. Но, неделю спустя после отплытия фрегатов, пришло, наконец, известие. Старший на потерпевших бедствие судах — поручик Писемский доносил: «1) что, отброшенные бурею к южному берегу залива, они прибыли в Ревель, на рейде которого ждут приказаний или попутного ветра, чтобы идти к Свеаборгу; 2) что в обеих ротах больных нет ни одного . . .» и что под его начальством находится 497 нижних чинов, пять офицеров и лекарь[90].

Когда в Петербурге стало известно местонахождение пропавших «бунтовщиков», в Таллин срочно откомандировали полковника М. М. Нарышкина и капитана С. И. Муравьева-Апостола[91]. Могли ли знать в Главном штабе, как «неблагонадежны» были



С. И. Муравьёв-Апостол.
Литография А. Скино
с портрета работы
Н. Уткина, 1819.

уже тогда эти офицеры! Нарышкин с 1818 года состоял в «Союзе благоденствия» и его поездка в Эстонию совпадала с возникновением особого Измайловского общества, инициатива создания которого принадлежала ему и Е. П. Оболенскому. Спутник Нарышкина — Сергей Муравьев-Апостол был одним из основателей Союзов спасения и благоденствия. Этот выдающийся деятель декабристского движения, поднявший вскоре восстание в Черниговском полку, уже в 1820 году был, наряду с Пестелем, сторонником республиканского строя. Выражая взгляды наиболее решительных участников тайных обществ, Муравьев-Апостол видел в семеновской истории знаменательный толчок к быстрейшему преобразованию России.

Пребывание в течение двенадцати дней[92] в Таллине полутысячи участников семеновского восстания, так же как и приезд Нарышкина и Муравьева-Апостола, не могли пройти незамеченными для жителей города. Вряд ли немецким бюргерам и баронам, и без того встревоженным волнениями эстонского крестьянства, улыбалось неожиданное появление в Таллине нескольких сот «бунтовщиков». Возможность соприкосновения солдатской массы с местным населением беспокоила и петербургское начальство, и эстляндского губернатора.

В те годы в Эстонии усилилось массовое движение крестьян, отказывавшихся от дополнительной барщины, не подчиняв-

шихся помещичьей воле. Мы знаем, что эта борьба принимала такие широкие размеры, что местные власти все чаще обращались к содействию воинской силы.

Вести о семеновском бунте (а они могли проникнуть в эстонскую деревню и от приезжавших на побывку солдат-односельчан, и от крестьян, бывавших на городском рынке, и многими другими путями) способны были привести лишь к новым осложнениям. Это и явилось, очевидно, одной из причин, побудивших, как можно быстрее убрать семеновцев из прибалтийского края.

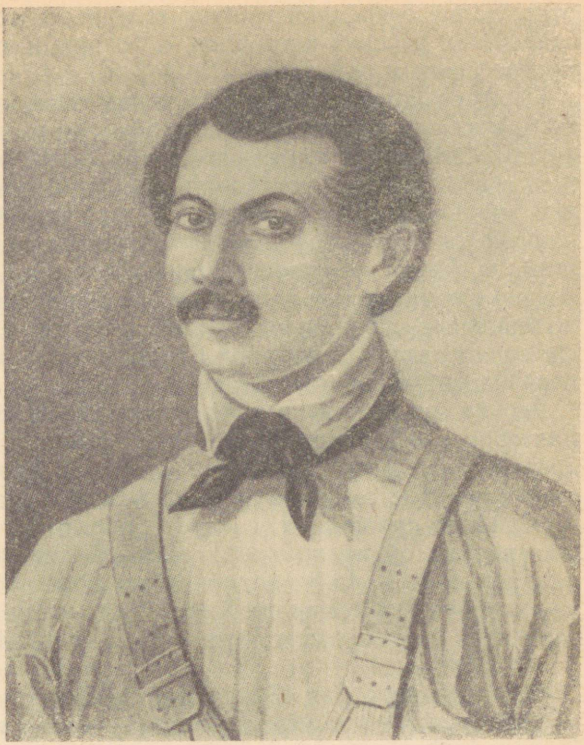
Александр Бестужев приехал в Таллин вскоре же после их отъезда. Если учесть, что еще в середине октября, перед отправкой «бунтовщиков» в Свеаборг, он лично посетил восставший полк, то станет особенно ясно, как глубоко его заинтересовали рассказы о коротком пребывании в том же городе солдат-семеновцев.

Бестужев, не принадлежавший еще к тайным союзам, был, однако, близок со многими деятелями декабристского движения. Он встречался с Александром Пушкиным, его частыми собеседниками были Николай Тургенев, Никита Муравьёв, Сергей Муравьёв-Апостол. Молодой поручик лейб-гвардии драгунского полка, так же как и вся передовая часть дворянской интеллигенции, глубоко переживал царившую повсюду реакцию. С неподдельным восторгом, незадолго до поездки в Таллин, читал он смелые строки, в которых не так уж трудно было увидеть всесильного и ненавистного Аракчеева:

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесённый в важный сан пронырствами злодей!
. . . . . .
Тиран, вострепещи! Родиться может он!
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
. . . . . .
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Все трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!

Поэт, бросивший вызов самому Аракчееву — Кондратий Рылеев — стал вскоре другом и соратником Бестужева, его идейным наставником в борьбе против самодержавно-крепостнического строя.

О политическом облике будущего декабриста мы можем судить и по знаменательному событию, происшедшему всего



А. А. Бестужев (Марлинский).

Миниатюра худ. Б. Вильчинского.

лишь за полтора месяца до его поездки в Таллин. 15 ноября 1820 года он был принят в члены Вольного общества любителей российской словесности, сыгравшего выдающуюся роль в жизни Бестужева, а также в подготовке ряда других деятелей декабристского движения[93].

И еще одно обстоятельство заслуживает особого внимания: отправляясь в путешествие, Бестужев в какой-то степени знал историю прибалтийского края, быт эстонского народа, его нравы и обычаи. В 1818 году, когда во всех слоях петербургского общества оживленно обсуждалась эстляндская «реформа», он перевел небольшой отрывок из только что вышедшей книги баварского посланника при российском дворе графа де Брея «Опыт критической истории Лифляндии с картиною нынешнего состояния сей области». Этим отрывком, носившим многозначительный заголовок — «О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян»[94],

открывался очередной выпуск «Сына отечества» — одного из старейших русских журналов, в то время стоявшего еще на прогрессивных позициях.

Не имея возможности, в силу цензурных условий, познакомить русского читателя с работами таких непримиримых критиков остзейского феодализма, как Меркель и Петри, Бестужев вынужден был остановить свой выбор на значительно более умеренной книге де Брея. И на первый взгляд опубликованный им в русском переводе отрывок кажется не выходящим за рамки обычного этнографического очерка. Но стоит только внимательнее вчитаться в эти четырнадцать небольших журнальных страничек, и станет ясно: не один лишь этнографический материал побудил Бестужева сделать и опубликовать перевод именно этого отрывка.

Весьма показательно начало очерка: «Жители сих стран характером вообще спокойны и миролюбивы». Далее говорится о деятельности и трудолюбии эстонцев. А спустя десяток строк, явным контрастом к тому, что уже успел узнать читатель о прибалтийских крестьянах, следует брошенное как бы вскользь упоминание об их жилищах, «показывающих всю бедность и разрушение». Вряд ли подобная вопиющая несправедливость к трудолюбивому и миролюбивому эстонскому народу могла не заставить призадуматься тех, для кого предназначал свой перевод Бестужев.

«Жители сих стран (Эстонии и Латвии. — А. Л.) характером вообще спокойны и миролюбивы», — сообщал русский журнал. Что же побуждало тогда их выступать против помещиков, оказывать им неповиновение? Что порождало многочисленные бунты эстонских крестьян, слухи о которых проникали в Петербург и в 1816, и в 1817 годах? Эти вопросы не могли не возникнуть у Александра Бестужева. Они вставали, по всей вероятности, и перед пытливым читателем переведенного им отрывка. В обильном этнографическом материале опубликованного Бестужевым очерка многие читатели «Сына отечества» находили короткие, но недвусмысленные указания на экономическое положение земледельцев, «тяжелыми трудами покупавших скудное и почти безотрадное пропитание». «Неудивительно, — утверждал автор, а с ним соглашался и переводчик, — что лица их редко одушевляются выражениями радости и веселья!»

Знаменательно, что уже в 1818 году, со страниц русского журнала, Бестужев решительно опроверг «культуртрегерство» остзейских немцев в прибалтийских провинциях. Говоря о невежестве, в котором находились тогда эстонские крестьяне, он сообщал в переведенном им отрывке: «Всегдашние их сноше-

ния с немцами не истребили многочисленных предрассудков и суеверных обыкновений».

Открывок завершался обещанием издателя дать «продолжение впредь» — не о к о н ч а н и е, как это значится в ряде других публиковавшихся в журнале статей и очерков, а именно п р о д о л ж е н и е. По всей вероятности, Бестужев перевел для журнала сразу же несколько разделов из книги де Брея. Однако ни в одном из последующих выпусков «Сына отечества» мы уже не находим даже намека на это сочинение. Вряд ли другая причина, помимо цензурного запрета, могла помешать журналу продолжить знакомство своих читателей с «достоинствами и важностью сей любопытной книги»[95].

И в последующие годы «Сын отечества» — вплоть до декабрьского восстания наиболее влиятельный и передовой журнал, в котором, помимо А. Бестужева, сотрудничали А. Пушкин, К. Рылеев, Н. Гнедич, В. Кюхельбекер, Ф. Глинка, А. Куницын, В. Жуковский и многие другие, — проявлял интерес к остзейским губерниям. В двух книжках журнала за 1819 год[96] мы видим серьезную и обстоятельную статью «О древних эстонцах», являвшуюся отрывком из записок молодого путешественника. Она не могла ускользнуть от внимания А. Бестужева хотя бы потому, что половина этой статьи была опубликована в том же номере, где и нашумевший «Ответ на ответ противу замечаний на основания российского права» А. Куницына.

Автор, скрывшийся под инициалами Б. К., знакомился с прошлым Прибалтики по летописям[97] и хроникам, изучил изданную в 1695 г. в Таллине и освещавшую положение крестьянства «Лифляндскую историю» пастора Кельха, знал ряд других более современных ему сочинений об остзейских провинциях. В некоторых случаях он повторял грубейшие ошибки своих предшественников, однако, не идеализировал рыцарскую старину. Из статьи Б. К. Александр Бестужев узнал, как «шведы, датчане, немецкие рыцари... терзали несчастных эстонцев, воевали их землю, исторгали оную друг у друга, принуждали их гонением и насильствами принимать веру, проповедующую мир и человеколюбие». Безвестный молодой путешественник рассказал ему о свободолюбивом духе эстонцев, не сломленном ни бесчеловечными притеснениями, ни железным бременем деспотизма. Если они порой и повиновались чужеземным завоевателям, то «в сердце их долго таилась искра ненависти и омерзения к своим властелинам: самые народные песни того века, — указывал автор, — и различные обряды их богослужения обнаруживают сие тайное чувство, которое целые веки едва ли совершенно изгладили в их характере».

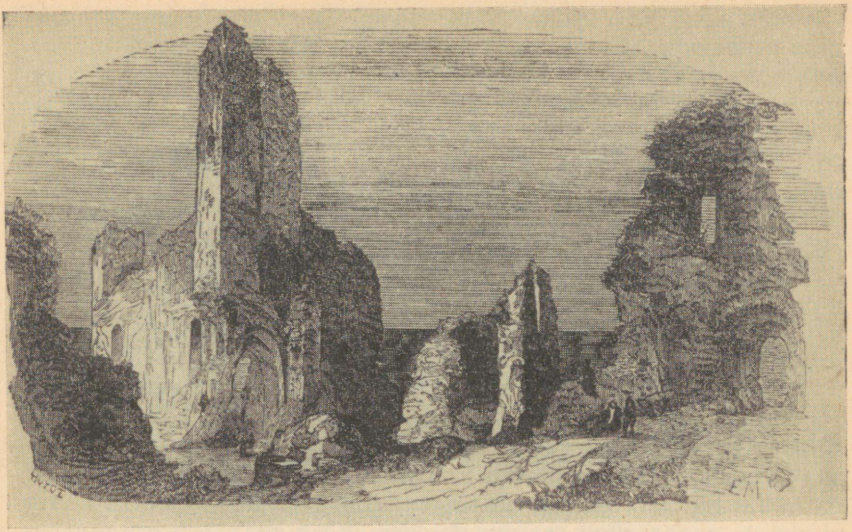
Таким образом, когда декабрьским вечером 1820 года шлаг-

баум Нарвской заставы опустился за пронесшейся по Петергофской дороге тройкой, сидевший в экипаже Александр Бестужев увозил с собой в Эстонию довольно обширный багаж знаний о прибалтийском крае. С тем большим нетерпением стремился он сопоставить историческое прошлое с современным ему состоянием остзейских губерний, чужие путевые заметки с собственными наблюдениями.

И вот Эстония предстала, наконец, перед Александром Бестужевым. Он сразу же убедился в том, что жизнь там простого человека была еще тяжелее, чем в других губерниях российской империи, стонавших под игом крепостного права! «Уже не видно богатых почтовых домов; — писал Бестужев, — лошади... малы; лес редеет по мере приближения к Ревелю, и дорога суживается постепенно. Плитные хижины обитателей, рассеянные между кустарниками, редко стоят деревнями. На каждых двух или трех верстах видны дымные корчмы, без полу, с огромным в углу камином. В них-то закопченые эстонцы... покоятся вместе с козами и телятами; в них пар ходит по низу, а дым по потолку. Входя туда, я думал каждый раз видеть себя в подземном плутоновом царстве, и, выходя на чистый воздух, всегда говорил, любуясь на черные лица и грязные стены эстонские: хороша природа, когда её вымоют»[98].

В этом свидетельстве самого Бестужева, помимо его документальной достоверности, важно также и указание на пути, по которым шло изучение писателем жизни эстонского народа. В противоположность некоторым своим современникам (например, князю Вяземскому), он не ограничился знакомством с краем из окна проносившегося по дорогам экипажа. Бестужев останавливался в деревнях, входил в «подземное плутоново царство» — в покосившиеся от ветхости хижины, беседовал с эстонскими крестьянами. Правда, не всегда эти беседы раскрывали перед Бестужевым истинное состояние вещей. Видя перед собой блестящего гвардейского офицера, крестьяне сплошь да рядом говорили ему совсем не то, что бы им хотелось поведать о своей тяжелой жизни. И, отчасти, именно поэтому Бестужев пришел к неожиданному заключению, что «состояние здешних крестьян в нравственном и физическом отношениях весьма улучшилось влиянием постепенной свободы»[99].

Дорога в Таллин проходила по местам, о которых повествовали хорошо знакомые Бестужеву исторические документы. Подъезжая к Раквере, он вспомнил разыгравшуюся там в 1268 году битву, в которой семь русских князей нанесли поражение немецко-датским объединенным войскам. Не из современных ему сочинений, извращенно описывавших это знаменитое сражение, а из древнейших русских летописей, почерпнул



Замок Везенберг (Раквере).
Гравюра на дереве по рисунку П. Фурмана, 1845.

Бестужев точные сведения о военном походе новгородцев и псковитян.

В Таллин писатель приехал перед новым 1821 годом. Радушно встретили там петербургского гостя. Он бывал у главного командира порта — боевого адмирала А. Г. Спиридова, у директора маяков Финского залива генерала Л. В. Спафарьева (по его приглашению Бестужев и приехал в Таллин). Гвардейский офицер нанес визит эстляндскому гражданскому губернатору.

Последнее посещение само по себе не представляло бы, пожалуй, особого интереса. Однако одно любопытное совпадение заставляет нас остановиться на этом, казалось бы, малозначащем факте. К тому времени, когда будущий декабрист посетил главного начальника губернии, тому представили собранные специальной комиссией обширные статистические сведения о Таллине. И вряд ли Бестужев, задавшийся целью описать полюбившийся ему город, не заинтересовался столь достоверными и свежими материалами. Скорее всего, что именно оттуда он почерпнул, например, приведенную в его книге «Поездка в Ревель» цифру о количестве населения города (12000 человек), почти совпадающую с данными отчета комиссии.

Собранные для губернатора материалы, всесторонне освещая городскую жизнь, дают нам возможность представить Таллин таким, каким он был при Александре Бестужеве. Мы узнаем, что почти половина жителей города состояла тогда из крестьян, что дворян там было лишь 775 человек, а эстонцев и русских — значительно больше, чем немцев. Отчет сообщал о низком уровне таллинской промышленности: о ситцевой фабрике, не выдержавшей конкуренции более сильных соперников; об уксусном фабриканте, не находившем рынка для сбыта продукции; о ряде других предприятий — мыловаренном, зеркальном, суконном — столь же мелких и столь же технически не оснащенных. Внешняя торговля через Таллин, достигавшая в былые времена внушительных размеров, в первые десятилетия XIX века, из-за отсутствия удобных путей сообщения, значительно сократилась. «Число прибывших в 1817, 1818 и 1819 годах из-за границы судов, — говорилось в отчете, — было незначительно и большинство их отправилось обратно без груза, только с балластом, что является ясным доказательством, что вывоз из ревельской гавани производился только в ограниченном размере».

Хотя по статистическим данным среди жителей города и значилось свыше 60 ученых, каких-либо ученых обществ в городе не было. Члены комиссии вынуждены были ограничиться упоминанием типографии Грюсселя, достигшей, по их словам, «высокой степени совершенства», и привилегированной городской типографии, выпускавшей в основном эстонские книги духовного содержания[100].

Если у Эстляндского гражданского губернатора Бестужев имел возможность познакомиться с точнейшими статистическими материалами о Таллине, то не в его доме, разумеется, нашел он то, что больше всего искал: «исторические истины», «народные предания», «басенные вымыслы». Время уже не позволяет установить весь круг таллинских знакомых молодого писателя. Бесспорно только, что среди них были и знатоки эстонской старины, помогавшие ему в его исторических изысканиях. На одного ученого старожила указывает, кстати, сам Бестужев. Это был некий Рикерс, с которым он «беседовал о всем, до Ревеля касавшемся»[101].

О Таллине писали и до Бестужева, писали и после выхода его книги «Поездка в Ревель». Однако многим путешественникам рассказ о пребывании в этом городе нужен был лишь как благовидный повод для восхваления «славных», «благородных», «непревзойденных» рыцарских времен. Вокруг старинных домов нагромождались легендарные небылицы, долженствующие по-



Таллин. Вид на Вируские ворота.
Худ. Т. Гельхаар. Акватинта, 1830.

казать, как честен, храбр и великодушен, якобы, был завоеватель прибалтийского края.

Бестужев не пошел по этому пути. Иными словами начал он свой рассказ о Таллине:

«Все улицы ревельские не прямы и так узки, что извозчики обязаны ездить с колокольчиками, дабы избежать встречи. Любопытная и словоохотная кумушка через них легко может видеть все в комнате своей соседки, счесть ее посуду и заметить даже, к кому из гостей она ласковее. Улицы кружатся, переплетаются, выходят друг из друга, но ни одна другой, ни одна самой себе не следует. Площадей только две, и те не велики, не правильны. Дома довольно высоки, с пирамидальными кровлями (крытыми цветно-муравленною черепицею), с разбросанными в шахмат окнами и дверьми. Окна на улицу, очевидно, пробиты недавно, ибо в военном городе, стесненном уже для меньшего объема боевых стен, опасно было в случае штурма подвергаться ярости осаждающих, открывая им дорогу в домы. Купеческая расчетливость докончила то, что начала воинская осторожность: жилые покои все обращены на дворы, а кладовые на лице домов, для удобности к складке товаров»[102].

Как не похожа эта будничная, спокойная, но поразительно точная зарисовка города на многие, появившиеся в первой половине XIX столетия, статьи и заметки о Таллине! Спустя всего

лишь три месяца после выхода бестужевских путевых заметок, издаваемые Павлом Свиньиным «Отечественные записки» поместили письмо из Таллина — «О достопамятностях оного города». От автора короткого письма укрылось все то, что сумел увидеть в Таллине Бестужев. Но он отдал, конечно, дань внимания и лютеранской церкви, и одеяниям древних рыцарей, и реликвиям черноголовых, и выставленному в дворянском собрании портрету Александра, от взгляда на который у него потекли «сладостные слезы»[103]. Недалеко ушел от своего корреспондента и сам Павел Свиньин, в ответ на сочинение Бестужева опубликовавший в 1828 году «И мою поездку в Ревель». Предназначенные, по его собственному признанию, лишь «для любителей романтического рыцарства»[104], путевые записки Свиньина почти целиком отвечали вкусам подобного круга читателей[105].

Мы будем не точны, если откажем Бестужеву в любознательности к памятникам прошлого, которыми и в наши дни столь богат Таллин. Напротив, автор «Поездки в Ревель» уделял им большое внимание. Но это был интерес не коллекционера анекдотических версий или свиньинского «любителя романтического рыцарства», а интерес вдумчивого историка и пытливого писателя. Рассказывая, например, о прошлом ревельской ратуши, где некогда заседали богатые ратсгеры, где судили горожан и толковали о делах могучей Ганзы, откуда отправляли за море товары новгородские, Бестужев предпочел привести не малоправдоподобную легенду, а дать полную беспощадного сарказма справку:

«Во всем округе ревельском ходят пергаментные, мелкие (не свыше рубля) марки, выпускаемые сею ратушею. На счет этих денег очень остро сказал некто ратсгеру, который хвалился, что клочки этой кожи, принося думе много пользы, не стоят ей почти ничего; — я в том уверен, отвечал он: вам стоит только содрать кожу с граждан, и деньги готовы»[106]. В этом переосмыслении значения средневековой реликвии — здания ревельской ратуши, в раскрытии творимых за ее толстыми стенами черных дел, в прямом указании на разнузданный, бесчеловечный грабеж ратушой народных масс — одна из отличительнейших особенностей описания Бестужевым достопримечательностей Таллина.

Мы помним, какие «сладостные слезы» вызвало у корреспондента «Отечественных записок» посещение дворянского собрания. Бестужев же, напротив, не нашел там «пищи любопытству». Но «Хроника» Руссова поведала ему о разыгравшейся много веков назад у этого дома занимательной истории, и будущий декабрист нашел ее весьма подходящей для ниспровер-

жения рыцарского культа. Эту историю он и привел в своей книге, а впоследствии положил в основу повести «Ревельский турнир».

На турнир, бывший в 1538 году[107], съехалось множество гостей. И в том бою таинственный незнакомец в блестящих латах, с опущенным наличником выбросил из седла самого ловкого и знатного человека Ливонии. «Оглушенный ударом неизвестного, — рассказывал Бестужев, — простерся на земле, покрытый стыдом и страхом» ревельский рыцарь. Как оскорблена была гордость рыцарства, узнавшего, что победителем турнира вышел . . . простой торговец! Приводя именно эту, извлеченную из «Хроники», историю, Бестужев сумел проявить свои симпатии к купеческому сословию, подчеркнуть социальный смысл одержанный над рыцарем победы.

У Бальтазара Руссова писатель узнал и о казни в 1535 году дворянина Иоанна Укселя фон Ризенберга. Об этом происшествии автор «Хроники» рассказывал так: «В 1535 г. в должности ливонского магистра следовал Герман фон Брюггеней, иначе называемый Газенкамп, во время которого магистра знатный дворянин, по имени Иоанн Уксель фон Ризенберг, был заключен в Ревеле в тюрьму за то, что убил до смерти своего собственного крестьянина. И когда друзья убитого крестьянина заперли в городе свиту этого дворянина, и он все-таки осмелился явиться в Ревель, тогда пошли к нему многие из его добрых друзей и граждан города, и предостерегали его и усердно уговаривали быть особенно осторожным, потому что ему предстоит большая опасность. Он пренебрег таким предостережением и совершенно не думал, чтобы его преследовали из-за его крестьянина, а еще менее того, чтобы его схватили и приговорили к смерти. Недолго спустя, приходит Бот Шредер, городской фохт, берет его под арест и ведет в тюрьму. И когда он увидел серьезность суда, то охотно желал бы видеть дело иначе; и хотя он и предлагал за себя довольно денег и добра, но ему это нисколько не помогло. Наконец, его казнили мечем между городскими воротами, 7 мая 1535 г., что причинило большое неудовольствие всему ливонскому дворянству, и казалось дворянам большим чудом, что такой богатый и знатный человек из дворян был осужден на смертную казнь из-за крестьянина. Этим было взволновано все дворянство, преимущественно в Гарриене и Вирланде»[108].

По-видимому и сам Бальтазар Руссов склонен был поражаться свершившимся «большим чудом». Но Бестужев, приведя этот рассказ в связи с описанием таллинских Новых ворот, увидел в казни знатного дворянина заслуженную кару, справедливый акт возмездия. «Во время феодальной власти рыца-

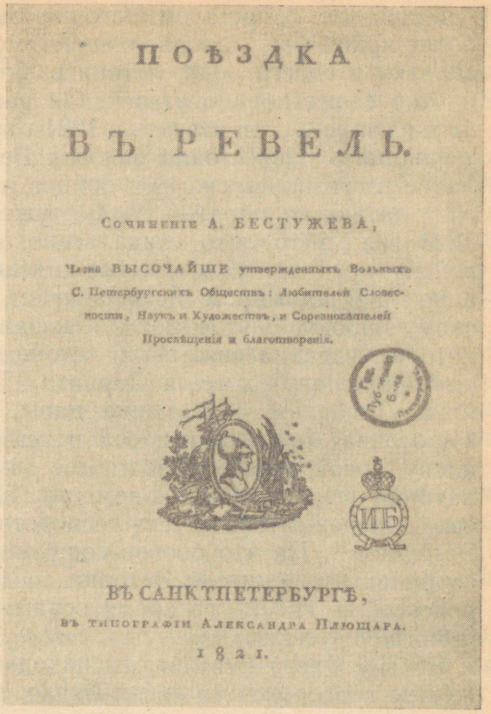
рей над Эстонией, — писал он, — жизнь и смерть подданных заключались в воле владельцев. Между сими последними Икскуль, владетель Рейзенберга, отличался жестокостью к вассалам своим. Не было границ его тиранству, но были они для терпения человеческого. Должно заметить, что Ревель, в силу законов, им сохраненных, имел право каждое убийство, на городской земле совершенное, отмщевать смертию убийцы. Икскуль не знал или не хотел знать этого, и в самих стенах города замучил на смерть одного из своих вассалов . . .»[109]

Уже в этих первых строках, по существу предшествовавших рассказу, Бестужев показал социальную значимость свершившейся казни. Он сразу же заявил о своем отвращении к феодальному бесправию, к икскулям, покорившим эстонский народ, превратившим прибалтийский край в свою вотчину. В то время, как Руссов с оттенком почтения назвал казненного или дворянином, или же «богатым и знатным человеком», Бестужев дал ему единственно справедливое имя преступника.

Описывая поездку по прибалтийским губерниям или свое пребывание в том или ином эстонском городе, современники Бестужева, как правило, охотно делали и экскурсы в далекое прошлое. Но, подобно тому как на каждом таллинском камне реакционные литераторы пытались увидеть прикосновение «доблестной» руки «благородного» рыцаря, так и прибалтийская история чудилась им цепью «славных», достойных подражания рыцарских подвигов.

«Скажите, неужели сердце у вас не шевелится, смотря на сии остатки рыцарских времен, на эти дома с гербами и железными украшениями, на эти резные двери, на эти крыльца?» — вопрошал автор опубликованных в 1826 г. в журнале «Благонамеренный» трех пространных «Писем из Ревеля». И удовлетворяя, будто бы, любознательность читателя, он «пришпоривал своего конька», рассказывая о «чести ордена меченосцев», о «благороднейших рыцарях», о богомолках монастыря св. Бригитты, о «почтенном гросмейстере» шестнадцатого или семнадцатого столетий, о «благородном мужестве и великодушии» шведского короля Густава-Адольфа[110].

Ничего подобного мы не находим в той исторической справке Таллина, которая вышла из-под пера Александра Бестужева. Она явилась результатом кропотливого изучения писателем многих доступных ему в ту пору источников. Бестужев знал, в частности, «Лифляндскую историю» Христиана Кельха (1657—1710), «Хронику Ливонии» Бальтазара Руссова (ок. 1542—1602). Оперируя извлеченными из этих трудов фактами и давая им собственную оценку, он отвергал измышления немецко-прибалтийских историков и шедших по их стопам реакционных


ПОѢЗДКА

ВЪ РЕВЕЛЬ.

Сочиненіе А. БЕСТУЖЕВА,

Члена ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ Вольныхъ С. Петербургскихъ Обществъ: Любителей Словесности, Наукъ и Художествъ, и Соревнователей Просвѣщенія и благотворенія.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

ВЪ ТИПОГРАФІИ АЛЕКСАНДРА ПЛЮЩАРА.

1821.

«Поездка в Ревель» А. Бестужева, 1821. Титульный лист.

русских публицистов, превозносивших «подвиги» и «доблести» меченосцев.

Правда, в начале исторической справки (письмо пятое), Бестужев допустил ошибку, приписав заслуги в основании Таллина датскому королю Вольдемару II, а время рождения города — 1219 год. Но вряд ли это можно счесть виной добросовестного и пытливого исследователя. «Хроника» Руссова[111] и другие труды, которыми пользовался Бестужев, указывали ему именно на эту версию происхождения Таллина, охотно распространяемую позднее и прибалтийско-немецкой, и эстонской буржуазной историографией.

Только советской исторической науке удалось восстановить подлинную дату возникновения Таллина. Собранный археологами обширный материал подтвердил, что еще в десятом столетии у подножия Вышгородского холма существовало древнее эстонское поселение, на самом же холме город возник еще раньше[112].

В письмах о прошлом Эстонии Бестужев сосредоточил наиболее яркие факты, позволившие ему превратить эту короткую справку в своего рода летопись борьбы угнетенного народа против своих поработителей. Он рассказал о героической попытке сааремасцев изгнать в 1221 году датчан из Таллина: «Четырнадцать дней стояли они под Ревелем, разводили огни великие и грозились сжечь и бойцов и бойницы», и лишь случай спас датчан от поражения. Бестужев не обошел молчанием и 1223 год: в то лето суздальские, новгородские и псковские войска, предводительствуемые князьями Ярославом Всеволодовичем и Владимиром Мстиславичем, пришли на помощь эстонскому народу. В этом походе сказались те дружеские чувства, которые издавна связывали эстонцев и русских. «И прислали ему (Ярославу) жители Дерпата (Тарту), — сообщает «Хроника Ливонии», — большие дары, передали в руки короля (Ярослава) братьев-рыцарей и тевтонов, которых держали в плену, коней, баллисты и многое другое, прося помощи против латинян (т. е. католиков-немцев). И поставил король в замке своих людей, чтобы иметь господство в Унгавнии и во всей Эстонии»[113]. На это боевое содружество указал и Бестужев, сообщив, что «жители Эстонии соединялись с ним (русским войском. — А. Л.) во время осады» Таллина «и ревностно... помогали русским»[114].

В «Поездке в Ревель» мы находим правдивые строки о мужестве новгородского князя Вячко, в 1224 году с горстью русских и эстонских воинов героически оборонявшего Тарту. С глубокой симпатией к порабощенному эстонскому народу Бестужев рассказал и о великом восстании 1343—1345 годов[115], охватившем значительную территорию Эстонии и направленном к уничтожению ненавистного ига.

Бесспорно, что об этом, начатом в Юрьеву ночь, восстании будущий декабрист узнал из «Хроники» Руссова. Тот же, описывая крестьянскую войну 1343 года, следовал, в свою очередь, «Новой рифмованной хронике» капеллана при магистре Ливонского ордена Варфоломея Гонеке (XIV в.). Однако взяв из «Хроники» лишь фактический материал, Бестужев пришел к выводам прямо противоположным тем, которые сделали и Гонеке, и Руссов, и позднейшие прибалтийско-немецкие историографы.

Вот, что мог вычитать Бестужев у идеолога ревельской буржуазии XVI века Руссова о восстании в Юрьеву ночь:

«... В 1343 году в ночь на св. Георгия гарриенские крестьяне в Ливонии совершили ужасное злодеяние, безжалостно умертвив и предав смерти всех дворян немцев, молодых и старых, женщин и девиц, детей дворянских и слуг, и всех, кто только

был немецкого происхождения. Тогда немцы находились в большой беде и опасности от мятежных крестьян в Гарриене и Вирланде, в Вике и на Эзеле и во всей Эстонии. В ту самую ночь, когда совершены убийства, несколько мужчин, женщин и девиц из дворян бежали без одежды и обуви через леса и болота в Виттенштейн, а некоторые в Ревель. Тогда не было дано пощады и монастырям, потому что в монастыре в Падисе также убито 28 монахов. После того крестьяне собрались в числе 10 000 человек, избрали из своей среды королей и князей и осадили город Ревель вместе с датским наместником в ревельском замке. Подобную же игру затеяли и викские крестьяне и осадили в Гапсале своего епископа со всеми канониками и многими дворянами. Кроме того эзельские крестьяне в то же лето на день св. Иакова убили на Эзеле всех немцев и осадили также орденского фохта вместе со всем конвентом в Пойде; и когда фохт со своим конвентом не мог долее держаться в Пойде, то он потребовал для себя и своих людей свободного пропуска, что ему крестьяне торжественно обещали, но не сдержали слова»[116] — и т. д. все в том же духе изображения народного восстания, как «ужасного злодеяния».

Бестужев, по существу, изложил те же факты, но это была уже яркая проповедь в защиту эстонского народа. В 1343 году, писал он, «эстонцы, раздраженные угнетениями новых своих владельцев, подняли знамя свободы и мстительное железо их обагрилось кровью немецкою. Около двух тысяч дворян рыцарей заплатили головами за жестокость свою. Замки пылали, осада грозила Ревелю, и датчане принуждены были просить помощи орденской. Гермейстер Бернгард фон Дрейлевен повел войско, сильное числом, местью и оружием, против инсургентов. Эстонцы решились умереть с мечом в руке — и легли все до одного неподалеку от Ревеля. Их было 10 000. Совершенное рабство всех ливонцев было следствием сего благородного поступка, достойного Спарты и Гельвеции» [117].

Остзейская историография многое сделала для того, чтобы исказить подлинное значение одного из выдающихся событий в истории эстонского народа. Тем более велика заслуга Бестужева, сумевшего увидеть тенденциозность ливонских «хроник», отличить в них все ложное и дать исторически верную оценку событиям давних лет. Не «ужасным злодеянием» было для Бестужева восстание в Юрьеву ночь, а подвигом, заслуживающим сравнения с героической борьбой за независимость жителей древней Спарты. Не чудовищной «игрой», как расценивал восстание Бальтазар Руссов, была для Бестужева борьба эстонского крестьянства. Она рассматривалась им, как событие огромной исторической важности, преследовавшее, по его мне-

нию, те же цели, что и восстание, вспыхнувшее в 1802 г. в Гельветической республике (нынешней Швейцарии).

Иными глазами, нежели творцы многих «Хроник», взглянул Бестужев и на Ливонскую войну, завершившуюся ликвидацией рыцарского ордена и феодальной раздробленности Ливонии, укрепившую экономические и культурные отношения русского и эстонского народов. Даже Бальтазар Руссов, своей критикой дворянских привилегий и крепостного права вызвавший в свое время гнев феодалов-крепостников, приводил несусветные вымыслы о «злодеяниях» и «опустошениях», чинимых будто бы в Ливонии русскими войсками.

Бестужев отверг лживые утверждения авторов прочитанных им трудов. Он понял, насколько велико было прогрессивное значение Ливонской войны для русского государства, а также для эстонского и латышского народов.

За десять лет до приезда Бестужева в Таллин, там праздновалось столетие присоединения Эстонии к России. О торжествах упоминал в одном из писем юноша Кюхельбекер[118]. Сколько лицемерных речей произнесено было в те дни остзейскими баронами, клявшимися в преданности России! Однако прибалтийские исследователи, верные идеологии дворянского класса, предпочли не касаться в своих трудах этого ненавистного им столетия. Бестужев сорвал заговор молчания, сказал то, что умышленно игнорировали прибалтийско-немецкие историографы: «С тех пор, — заявил он, имея в виду историческую победу в Северной войне и присоединение Эстонии к России, — Эстония наслаждается ненарушимым спокойствием, и Ревель не видал дыму вражеского на полях окружных»[119].

С современной ему прибалтийско-немецкой историографией писатель-декабрист расходился и в оценке пресловутых рыцарских традиций. Весьма показательно, что в том же 1821 году, когда в книжных лавках появилась беспощадно клеймившая угнетателей эстонского народа «Поездка в Ревель», барон Г. И. фон Будденброк опубликовал собрание лифляндских привилегий и законов, по существу, оправдывавших бесчинства его предков.

Сняв с рыцарей лакировку ливонских «Хроник», Александр Бестужев представил их читателю без обычных для той поры романтических одежд. На трех небольших страничках он показал всю неприглядную наготу ливонских крестоносцев. Блеск золотой парчи и сияние роскоши не прибавляли им ума. Они «погрязли в грубом невежестве», буйством встречали дни, в пьянстве проводили ночи. Ссылаясь на «Лифляндскую историю» Христиана Кельха, Бестужев упоминал о постном (!) обеде у ревельского епископа, состоявшем из 50 блюд!

«По роду жизни дворян и рыцарей, — заявлял автор «Поездки в Ревель», — можно судить о разврате их нравов. Безнаказанность преступления произвела торжество порока. Не стало уз священных, одни желания обратились в законы. Рыцари бросали жен своих и брали многих наложниц... Вечные праздники царствовали в городах и замках; вечные слезы в деревнях... Вся тягота налогов, работ и войны падала на бедных обитателей Эстонии, коих владельцы мучили из прихотей»[120].

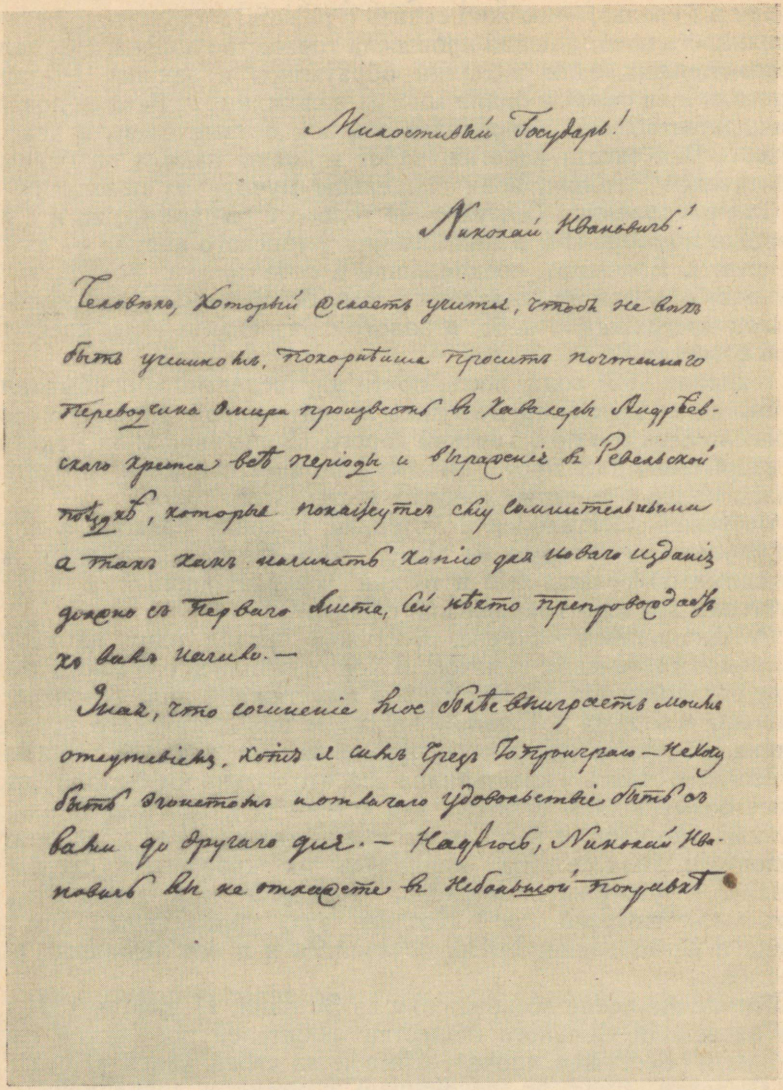
Так расправился Бестужев не только с рыцарями, но и с их верным помощником в закабалении эстонского народа — духовенством. Епископы, соединившие в себе власть воинскую и духовную, писал он, «владели умами безнравными, для земных выгод прегражда́ли небо, и золотом разрешали узлы преступной совести»[121].

7 января 1821 года, после почти двухнедельного пребывания в Таллине, Александр Бестужев покинул город. Лошади вновь понесли его сани по эстонской дороге. Снова увидел он Раквере и вторично отдал дань героизму соотечественников, столетия назад павших смертью храбрых у стен этого города.

Бестужев расставался с Эстонией, к концу подходила и та «прогулка», в которую он повел своих читателей. Какими же мыслями обуреваем был в те дни возвращавшийся к петербургским друзьям гвардейский офицер?

Остановившись в Нарве, Бестужев сделал одну из своих последних эстонских заметок. В ней отразились его многодневные размышления о современной ему тяжкой доле эстонского народа, его дума о горьком прошлом прибалтийского крестьянина. Бестужев писал о беспримерных жестокостях рыцарей, способных отнять у крестьянина все, что только им было угодно. Он с возмущением отмечал, что «стены рыцарей возвышались руками вассалов, а вассалы не имели хижин, куда преклонить голову, и поля господ орошались их кровавыми слезами. Война, — утверждал писатель, — палила нивы, голод и мор похищали жителей...»[122] Позднее эта, приводившая Бестужева в негодование, мысль отразилась и в его ливонских повестях.

Тотчас же после возвращения из Эстонии, 17 января 1821 г., на заседании Вольного общества любителей российской словесности Бестужев прочел отрывок из своей книги «Поездка в «Ревель». Судя по лаконичной пометке в сохранившемся «Реестре», он встретил у слушателей полное одобрение и на двух следующих заседаниях Бестужев продолжил чтение. Его «Поездка в Ревель» вошла в программу состоявшегося 28 февраля публичного собрания общества, на котором присутствовало около полусотни человек. Более того, книга Бестужева о



Милостивый Государь!

Николай Ивановичъ!

Человѣкъ, который желаетъ учится, чтобы не вѣкъ
быть ученикомъ, покорнѣйше проситъ почтеннаго
переводчика Омира произвесть въ кавалеры Андрѣев-
скаго креста всѣ періоды и выраженія въ Ревельской
поѣздкѣ, которые покажутся ему сомнительными
а такъ какъ начинать копію для новаго изданія
должно съ перваго листа, сей нѣкто препровождаетъ
къ вамъ начало.—

Зная, что сочиненіе мое болѣе выиграетъ моимъ
отсутствіемъ, хотя я симъ чрезъ то проиграю — не хочу
быть эгоистомъ и отлагаю удовольствіе быть съ
вами до другаго дня.— Надѣюсь, Николай Ива-
новичъ вы не откажете въ небольшой поправкѣ

Автограф-письма А. Бестужева Н. И. Гнедичу по поводу издания книги «Поездка в Ревель».
Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

его пребывании в Эстонии увидела впервые свет в «Соревнователе просвещения и благотворения» — печатном органе именно этого, Вольного, общества. Она появилась на страницах и примыкавшего к «Соревнователю» журнала «Невский зритель», издававшегося при содействии Пушкина, Рылеева, Н. Бестужева, Кюхельбекера, Баратынского[123].

Вслед за появлением «Поездки в Ревель» в двух журналах, Бестужев предпринял отдельное издание книги. В связи с этим, 26 марта 1821 года он отправил Н. И. Гнедичу короткое письмо:

«Человек, который желает учиться, чтобы не век быть учеником, покорнейше просит почтенного переводчика Омира произвесть в кавалеры андреевского креста все периоды в Ревельской поездке, которые покажутся ему сомнительными, а так как начинать копию для нового издания должно с первого листа, сей некто препровождает к вам начало.

Зная, что сочинение мое более выиграет моим отсутствием, хотя я сам чрез то проиграю — не хочу быть эгоистом и отлагаю удовольствие быть с вами до другого дня. — Надеюсь, Николай Иванович, вы не откажете в небольшой поправке или замечаниях истинно уважающему вас Александру Бестужеву»[124].

Замечательный поэт и переводчик был связан со многими декабристами. Его заслуги в пропаганде передовых идей декабристской эпохи необычайно велики[125]. Вот почему есть все основания предполагать, что Н. И. Гнедич не отказал Бестужеву в его просьбе.

«Поездка в Ревель» имела большой успех и у читателей, и у критики. «Сочинитель сих строк признается, — писал «Сын отечества», — что давно уже он не ощущал такого удовольствия, какое принесло ему чтение сей небольшой, приятной книжки... Благородный образ мыслей, возвышенные чувствования, любовь к истине и добродетели водят пером автора»[126].

VI. СНОВА В ЭСТОНИИ

> Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии. Теперь я отворю вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по-правде.
>
> *А. Бестужев.*

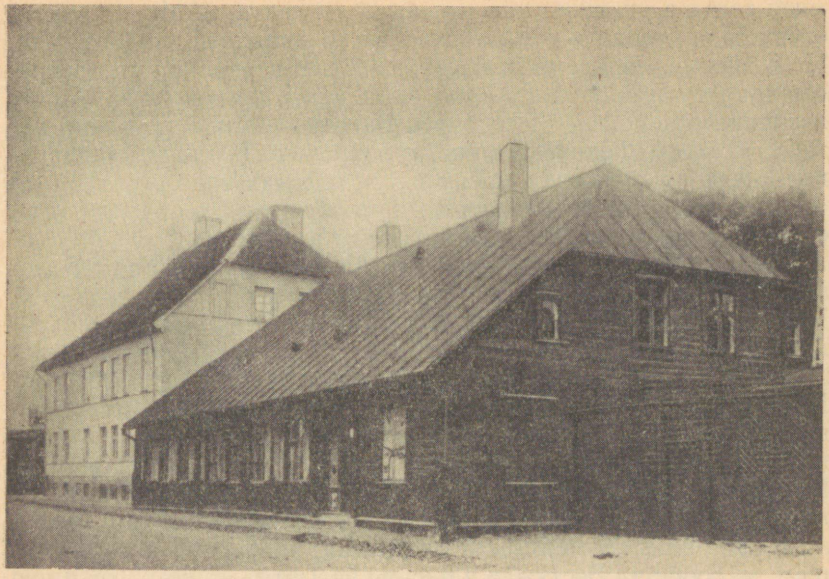
«Соревнователь просвещения и благотворения» — один из наиболее видных и влиятельных журналов 20-х годов — только еще знакомил петербуржцев с произведением молодого писа-

теля, в типографии Плюшара приступали к отдельному изданию книги Бестужева, а ее автор уже вновь собирался покинуть российскую столицу. Но на сей раз предстояла не прогулка, с таким блеском описанная будущим декабристом, а военный поход гвардейских частей в западные губернии России.

Этот поход был предпринят по приказу Александра I, после «семеновской истории», серьезно встревоженного положением в армии. Во многих полках усиливалось брожение солдат, в казармах преображенцев разбрасывались нелегальные листовки, генеральный штаб возбуждал дела «о вредном направлении умов военных людей и о мерах, принятых для отвращения в войсках духа вольнодумства». Созданная в 1821 г. тайная военная полиция следила за «крамольными» мыслями и «неблаговидными» поступками лучшей части офицеров и солдат.

Походом гвардии к западным границам Александр I стремился «проветрить либеральный дух» армии. Но его замысел был быстро разгадан. «Поход... — писал неизвестный автор записки о восстании семеновцев, — произвел желаемое действие, обратив ум к другому предмету... Вскоре однако ж заметили хитрость и увидели настоящую цель сего движения, цель, чтобы чем-нибудь занять войско. Открытие сего намерения умножило недоверчивость к правительству и произвело новые беспорядки. Солдаты..., видя одну перемену места, а совсем не своего положения,... роптали...»[127]

С гвардейскими частями, державшими путь на запад, шло большинство членов созданного незадолго до похода Северного общества. В Тарту и его окрестностях квартировал заново укомплектованный Семеновский полк, в котором находился двоюродный брат Рылеева прапорщик Константин Чернов. С лейб-гвардии конно-пионерским эскадроном в эстонских деревнях останавливался на привал декабрист Михаил Пущин. В Измайловском полку служили участники декабристского движения капитан Иван Богданович, поручик Петр Муханов и прапорщик Александр Гангеблов, а в лейб-гвардии Финляндском полку — подпоручик Андрей Розен[128]. В пути, по свидетельству И. Шипова, М. Лунина, И. Поджио, заговорщики продолжали свою конспиративную деятельность. Поход гвардии, рассказывал И. Якушкин, имел последствия совсем не те, которые ожидал император. Располагая бóльшим количеством свободного времени, чем в Петербурге, не подвергаясь в походе столь строгому надзору, как в столице, офицеры чаще общались друг с другом и в тайное общество вступило много новых членов[129]. Во время прохождении гвардии по Эстонии участники декабристского движения уже имели литографированные от-



Дом профессора И. Ф. Мойера в Тарту, где бывал декабрист А. Бестужев (разрушен в дни Великой Отечественной войны). Из альбома И. И. Змигродского. Этнографический музей Академии наук Эстонской ССР, Тарту.

тиски «Правил общества», выданные им перед самым походом Никитой Муравьёвым.

Вместе с другими тяготы походной жизни делил и поручик Александр Бестужев. В письмах родным и друзьям будущий декабрист оставил немало строк, рассказывающих о пребывании гвардии в Эстонии. «Все полки остановлены, исключая нашего, идущего до своей Опочки, — писал он 23 мая 1821 года из Торма. — Конные егеря остановлены в Дерпте, гусары в Веро, и так прочие в окрестностях; но пойдут ли назад? никто не знает. Как вы можете представить, дорога наша единообразием жизни очень скучна: переход и привал, поход и дневка, тоже и теже всегда — не радостно. Полк иногда стоит на 18 верстах и более; эскадроны ходят по 10 верст в сторону, чтоб найти ночлег в этой скудной Эстонии . . . Квартиры почти всегда весьма дурны — но более всего неприятна холодная и сырая погода»[130].

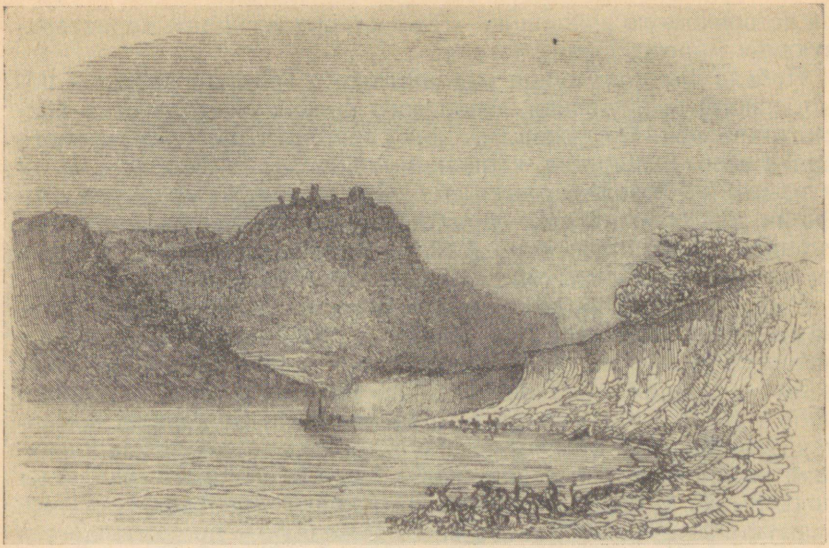
Воспользовавшись коротким привалом, Бестужев съездил в Тарту. В доме профессора Мойера он познакомился с учивши-

мися тогда в университете русскими студентами. Мы не знаем, о чем шла беседа в тот майский вечер двадцать первого года. Но в письме, написанном Бестужевым во время короткого пребывания у тартуского ученого, ощущались и тревога за судьбу изгнанного царем из Петербурга Баратынского, и глубокий интерес к делам Фёдора Глинки, к здоровью Гнедича. Написанное «наскоро в гостях», среди «студенческих восторгов»[131], это письмо, без сомнения, отразило круг вопросов, в той или иной степени затронутых в профессорской гостиной.

Накануне отъезда из Петербурга Бестужев получил от Вольного общества любителей российской словесности письмо[132]. В нем выражалась уверенность, что и в отсутствии он сохранит дружеское расположение к своим сочленам и будет доставлять в общество походные заметки или другие произведения. И Бестужев не прекращал творческую работу. Он просматривал выходившую отдельным изданием «Поездку в Ревель», вносил в нее коррективы, пересылая поправки в Петербург. Писатель собирал материал для новых произведений, записывал интересные факты и сюжеты, рассказываемые ему жителями Эстонии. «У меня есть листа два, набросано о пути нашем, — сообщал Бестужев в письме из Тарту, — но . . . не имею времени переписать . . .»[133] Бестужев обещал выдумать в дальнейшем «сказки две, три», используя то обилие интересного материала, которое дали ему тяжелые дни утомительного похода. И он сдержал свое слово. Ряд произведений Бестужева, опубликованных до декабрьского восстания и после событий на Сенатской площади, был результатом его знакомства с историческим прошлым эстонского народа.

Упомянутые в письме «листа два» наброски были первой из так называемых рыцарских повестей Бестужева — «Замком Венден». Автор называл ее «отрывком из дневника гвардейского офицера», подчеркивая тем самым достоверность описываемых событий, связанных с первым магистром меченосного ордена жестоким тираном Винно фон Рорбахом. Постоянно сталкиваясь в походе с нищим крестьянством, Бестужев вновь обратился к историческим материалам о многострадальном эстонском народе. Чудовищная действительность напоминала ему о далеких днях, когда «рыцари, воюя Лифляндию . . ., изобрели всё, что повторили после того испанцы в Новом Свете на муку безоружного человечества».

Бестужев, как и ранее, был далек от идеализации средневековых рыцарей. Он не признавал их носителями тех гуманных чувств, которые приписывались им остзейскими историографами. «Смерть грозила упорным, унизительное рабство служило наградой покорности . . . — писал он. — Кровь невинных лилась



Замок Венден (Цесис).
С гравюры на дереве 1840-х гг.

под мечом воинов и под бичами владельцев»[134]. Черными красками рисовал Бестужев и рядовых рыцарей, и их старшин, и самого магистра ордена Винно фон Рорбаха. Алчное своекорыстие и зверские прихоти, утверждал он, владели всеми их помыслами и поступками, а одна только жестокость давала им право на возвышение. В этом отношении характерно и примечание Бестужева к другой его рыцарской повести «Замок Нейгаузен». «Священный тайный суд» он называл «пугалищем средних веков», «скопищем разбойников, влекомых корыстью или мщением»[135]. И как бы дополняя Александра Бестужева, его брат-декабрист Николай сообщал тогда же в повести «Гуго фон Брахт», что «в развалинах многих замков, как-то: в Аренсбурге, Аррате и других, находили в стенах скелеты, памятники Тайного суда»[136] — останки заживо похороненных людей.

Развенчиванию рыцарского ореола посвящена, в сущности, и повесть «Ревельский турнир» О событии, легшем в ее основу, мы уже упоминали, касаясь «Поездки в Ревель». «Хроника» Руссова поведала Бестужеву об истинном происшествии и он развернул его в самостоятельное произведение. Не останавливаясь на художественных достоинствах и недостатках повести[137] (это не входит в задачи нашей работы), укажем лишь

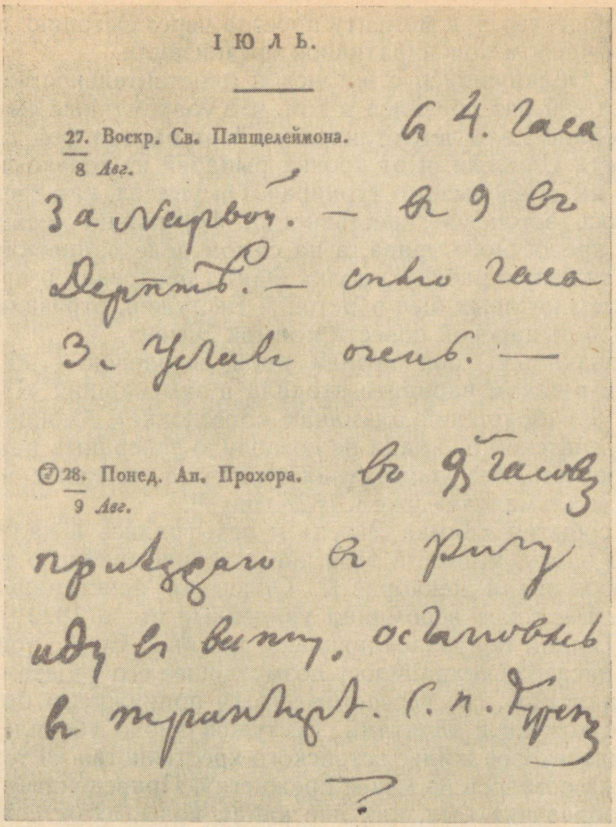
на историческую концепцию «Ревельского турнира», характеризующие мировоззрение автора.

Победа богатого купца над знатным и грозным рыцарем почти накануне крушения ливонского ордена символически рассматривалась Бестужевым, как приближение неминуемого краха всего рыцарства. «Ливония походила, — писал он, — на пустыню, но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед падением. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие»[138].

Рыцари представлены были в повести самодурами и тиранами. Таков неграмотный барон Бернгард фон Буртнек, на лице которого можно было прочесть одно только невежество. Таковы — продажный вицбешрейбер Рабенштраль, не отличавшийся умом дерптский фогт Цвибель, столь же глупый командор Везенберга (Раквере) Гарткнох, фрейгер Фрессер, заложивший ожерелье своей жены, чтобы сделать лошади серебряные подковы . . . С какой беспощадной иронией оценивал Бестужев «самую светлую голову изо всего Ревеля» — промотавшегося дворянина Люфта: «Он сочиняет нагробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей, — смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак . . .»[139] Рабенштраля, Цвибеля, Люфта и им подобных имел в виду Бестужев, предпослав повести знаменательный эпиграф: «Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стёкла их замков, сквозь туман старины и поэзии. Теперь я отворю вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по-правде»[140]. Эта правда расходилась с тем, что говорилось о «добром старом рыцарском времени, в художественных произведениях, и в исторических трактатах.

Закономерной сменой рыцарству было, по мнению Бестужева, всё более крепнувшее купечество. Он видел в нем «класс самый деятельный, честный и полезный из всех обитателей Ливонии» шестнадцатого столетия. При сопоставлении с немецким дворянством писатель отдавал предпочтение купечеству, и это было одним из проявлений его декабристской идеологии.

В «Ревельском турнире» нет людей из народа, несмотря на то, что действие повести и разворачивается в центре Таллина. Однако две брошенные автором реплики не оставляют сомнения в том, что думы об эстонском крестьянстве не покидали Бестужева и в пору работы над этой повестью. Говоря о разврате и самодурстве, в которых погрязло «благородное» рыцарство, писатель-декабрист не забыл упомянуть, что оно «разоряло вконец своих вассалов» — эстонских крестьян. В беседе фон Буртнека с гостившим у него врачом, автор заставил ба-



ІЮЛЬ.

27. Воскр. Св. Пантелеймона.
8 Авг.

28. Понед. Ап. Прохора.
9 Авг.

Страница с записью о прибытии в Тарту и Ригу
из памятной книжки А. Бестужева, 1824.
Архив Института русской литературы (Пушкинский дом)
Академии наук СССР.

рона вспомнить об участи Икскуля, казненного «за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала».

В августе 1824 года Бестужев еще раз посетил Эстонию. Молодой офицер проезжал Нарву, останавливался в Тарту... Многое изменилось в Бестужеве за те два года, которые прошли со времени его последнего пребывания в Прибалтике. Вместе с Рылеевым, он был уже одним из идейных руководителей Вольного общества любителей российской словесности, совместно с Рылеевым издавал «Полярную звезду» — литературный орган декабристского движения. Рылеевым же он был принят в Се-

верное общество и к моменту проезда через Эстонию стал деятельным членом конспиративной организации.

Вновь столкнувшись с эстонской действительностью, Бестужев и на сей раз убедился в том, что современные ему остзейские дворяне мало чем отличались и от барона фон Буртнека, и от фогта Цвибеля, и от прочих рыцарей из только что написанного им «Ревельского турнира». Он увидел, как беспощадно угнеталось эстонское крестьянство, формально «освобожденное» от крепостного права, а на самом деле по-прежнему влачившее тяжелую рабскую долю. Факты бесправия и произвола, свидетелем которых был в Эстонии Бестужев, отразились в его последней рыцарской повести «Замок Эйзен».

Первоначально она носила иной заголовок — «Кровь за кровь» и в таком варианте входила в заменивший «Полярную звезду» декабристский альманах «Звездочка». Однако восстание на Сенатской площади не позволило завершить новое издание, и повесть, без упоминания ее автора, впервые вышла в «Невском альманахе» уже в 1827 году[141].

Хотя события «Замка Эйзен» и разыгрались в далекую рыцарскую эпоху, многое в этой повести напоминало о той Эстонии, какую знали декабристы. Описывая пристанище старой эстонки, Бестужев вспоминал увиденные им в 1820 году, на пути в Таллин полуразвалившиеся хижины. Еще с той поры в памяти писателя сохранилось возмутившее его «подземное плутоново царство», где несчастные люди принуждены были жить вместе с козами и телятами. Бестужев лично убедился в том, что средневековое жилье эстонского крестьянства «и теперь для образчика осталось не менее прежнего». Приведенный им в повести «образчик» был, как две капли воды, схож с жилищем современного ему «свободного» земледельца: «Солнечные лучи, встречаясь в кровле с дымом, проходили внутрь, можно сказать, копченые. Две скважины, проеденные в стене мышами, служили вместо окон. В одном углу складена была без смазки каменка, от которой копоть зачернила все стены, как горн. Наконец, вместо всех мебелей, в углу лежала рогожка . . .»[142]

А разве мало было в современной Бестужеву Эстонии остзейских дворян, унаследовавших все свои «достоинства» у героя повести — разбойника с большой дороги борона фон Эйзена! Сколько эстляндских и лифляндских помещиков первых десятилетий XIX века могли бы увидеть себя в «подвигах» далекого предка:

«Завидел эстонца, — рассказывал о бесчинствах барона Александр Бестужев, — и скачет к нему с поднятым тесачищем. Читай верую во единого, бездельник! — а тот и обомлеет на коленях, ведь по немецки ни слова. — Эй мойста[143]. — Чи-

тай, говорю! — Эй мойста . . . — А! так ты упрямишься в своем язычестве, животное? . . Я же тебя окрещу! —Бац, и голова бедняги прыгала по земле кегельным шаром, а барон с хохотом скакал далее . . . Поправился конь у крестьянина: — Перголе! меняй свою лошадь на мою кривую собачку! — Батюшка, барин! Мое ли дело охотиться, а без коня куда я гожусь? — На виселицу, бездельник! Ты должен быть доволен тем, что я позволю тебе усыновить от нея щенков . . . — Зальется бедняга горючими, да и пойдет в холодную избу — за пустую чашку. Не то — еще бьют, да и плакать не велят»[144]

Для Бруно фон Эйзена, грабившего и убивавшего эстонских крестьян, не было ограничивавших его власть законов. Эстляндские же дворяне создали в 1816 году закон, оправдывавший и возводивший в правило массовый грабеж. Предоставив крестьянам личную свободу, они лишили их главного — земельных участков, сохранили за собой права, не простиравшиеся разве лишь на отсечение головы земледельца. «Если помещику приходило на ум отнять у крестьянина усадьбу и землю, — тот должен был идти куда глаза глядят, — писал позднее о положении в 20-х годах «свободного» эстонского земледельца Эдуард Вильде. — Таким образом, иногда сметались с лица земли целые деревни»[145]. Обо всем этом знал Бестужев, и именно поэтому воскрешенное в его повестях далекое средневековье не только опровергало фальсификаторские концепции прошлого Прибалтики, выдвигаемые немецкой историографией, но постоянно напоминало о гнусной действительности.

Знакомство с теми произведениями Бестужева, которые посвящены Прибалтике, убеждает, что обращение к историческому прошлому помогало писателю лучше реагировать на современные ему события. И в этом он не был одинок. Почти в одно время с ливонскими повестями Александра Бестужева вышла «Адо» Вильгельма Кюхельбекера. Она, так же как и «Поездка в Ревель», «Замок Венден», «Рыцарский турнир», выражала непримиримость декабристов к угнетателям эстонского народа. Тяжелое прошлое прибалтийского крестьянства и его безрадостная жизнь под гнетом остзейских баронов отразились и в выдающемся документе декабристской эпохи — «Русской Правде».

Павел Пестель, некоторое время живший в латвийском городке Елгаве, знал, как тяжка была доля прибалтийского крестьянина, обманутого в своих ожиданиях свободы. Он понимал, что эстляндская и лифляндская «реформы», по существу, сохранили крепостное право, не избавили народы остзейских губерний от чудовищного угнетения. При этом Пестель приходил к заключению, что еще «пришельцы суть немцы, за-

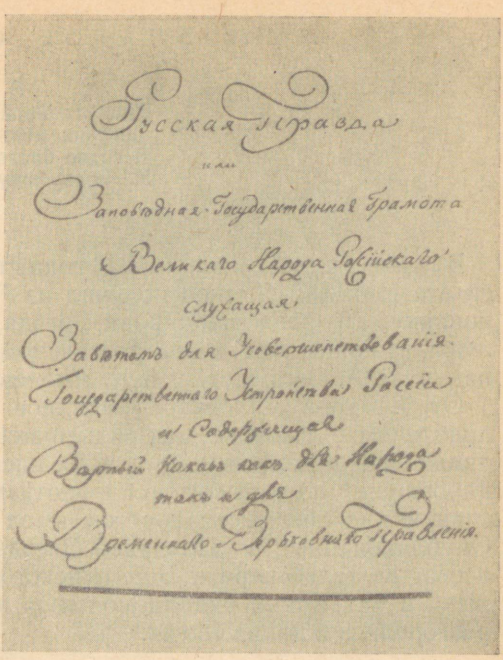


П. И. Пестель.

Портрет работы неизвестного художника, 1820-е гг.

воевавшие некогда сии страны (Прибалтику. — А. Л.)», разделили «между собою имущество и мызы народа, ими побежденного»[146]. И с тех далеких времен, утверждал он, эти тираны властвуют над закабаленным крестьянством, ради сохранения привилегий лицемерно признавая даже «Россию за свое отечество». Личное знакомство с положением прибалтийских народов убедило Пестеля в том, что «находятся они в состоянии, гораздо менее благоденственном, нежели крестьяне русские, несмотря на мнимую вольность, им дарованную».

В «Русской Правде», являвшейся наказом «как для народа, так и для временного верховного правления», Пестель требовал полной отмены крепостного права, слияния всего населения «в единое сословие гражданское». Устанавливая демократическую республику, «Русская Правда» провозглашала всеобщее и равное избирательное право, уничтожение какого бы то ни было имущественного ценза, учреждение русского парламента — Народного веча. Первая республиканская конституция, разработанная в нашей стране, была проникнута глубокой любовью к родине и народу, ее отличала высокая прогрессивность. И в «Русской Правде», содержавшей обширный перечень социально-политических преобразований будущего


Русская Правда
или
Заповѣдная Государственная Грамота
Великаго Народа Россійскаго
служащая
Завѣтомъ для Усовершенствованія
Государственнаго Устройства Россіи
и Содержащая
Вѣрный Показъ какъ для Народа
такъ и для
Временнаго Верховнаго Правленія.

«Русская Правда»
П. И. Пестеля.
Обложка рукописи.

временного правительства, один из вождей декабристского движения утверждал необходимость окончательного искоренения крепостничества и в прибалтийских губерниях России.

«. . . Обязывается временное Верховное Правление: — писал Пестель, — 1) большое обратить внимание, как на их положение, так и на то обстоятельство, что феодальная система, свирепствовавшая столь долгое время на западе Европы, даже и сюда гнилые свои корни пустила, и 2) все меры принять для совершенного окончательного искоренения остатков феодализма и для приведения положения латышей (Пестель, разумеется, имел в виду и эстонцев. — А. Л.) в согласие с коренными правилами, долженствующими служить основанием всякому благому устройству в государстве. А посему нынешнее политическое образование сих губерний имеет быть заменено тем новым порядком, который введен будет в целом государстве»[147]

VII. БЛАГОЕ СЕМЯ

...В то время
Шло стройной поступью бойцов
Могучих деятелей племя
И сеяло благое семя
На почву юную умов.

Н. Огарев

В первых числах января 1823 года студент Тартуского университета Николай Языков получил из Петербурга литературную новинку. То была «Полярная Звезда, карманная книжка для любительниц и любителей российской словесности на 1823 год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым».

От Языкова маленькое нарядное издание перешло к его приятелям. Альманах двух виднейших деятелей декабристского движения, объединивший лучших писателей России, пропагандировавший идеи высокого патриотизма, выражавший прогрессивную идеологию декабристов, имел в Тарту огромный успех. Опубликованные в «Полярной Звезде» стихи Пушкина и Рылеева, Кюхельбекера и Баратынского, произведения А. Бестужева и Ф. Глинки будили молодую мысль. Вокруг альманаха разгорелись жаркие споры.

Мы вместе, милый мой, о родине судили,
Царя и русское правительство бранили[148], —

писал в 1823 году в послании к другу по Тартускому университету Николай Языков.

Чтение «Полярной Звезды» в Тарту почти одновременно с ее появлением в петербургских книжных лавках говорило о необычайном интересе в Эстонии к прогрессивным явлениям русской общественной и литературной мысли. Мы знаем, как быстро проникала туда каждая новая строка Александра Пушкина. В Тарту и Таллине читались вольнолюбивые стихи Владимира Раевского, Фёдора Глинки, Вильгельма Кюхельбекера... Там знали и Кондратия Рылеева.

Неподалеку от Тарту жили приятели этого виднейшего деятеля Северного тайного общества — Ф. Р. и Г. Р. Унгерн-Штернберги. Поэт-декабрист сблизился с ними, служа в одной конно-артиллерийской роте. Молодые офицеры из родовитых остзейских дворян вращались в кругах передового русского офицерства и, поселившись в прибалтийском имении, не порывали связей со своим армейским другом[149].

Унгерн-Штернберги много времени проводили в Тарту, и не исключена возможность, что именно они первыми привезли



Альманах «Полярная звезда» на 1823-й год, издававшийся А. Бестужевым и К. Рылеевым. Обложка.

туда ранние поэтические творения Рылеева. Но если это можно лишь предполагать, то проникновение в Тартуский университет рылеевских стихов при посредстве Языкова — факт несомненный.

Давно уже опровергнута несостоятельная легенда, в силу которой тартуский певец в течение многих десятилетий изображался беззаботным ленивцем, студентом-пьяницей, прожигателем жизни. Еще в 1907 году, в очередном «Сборнике учено-литературного общества при Юрьевском университете», Е. Бобров привел многочисленные документальные материалы, доказавшие, что Языков был одним из образованнейших людей своего времени; что, живя в Тарту, он изучал и философию, и эстетику, и теоретическую физику, и историю живописи, и многие другие предметы. Письма поэта того же периода полны многочисленных высказываний о прочитанных книгах, просьб о присылке новой литературы.

Ф. Булгарин, упоминая в «Прогулке по Ливонии» о посещении тартуской квартиры Языкова, отметил, что застал у него любителей русской словесности. Это свидетельство, хотя оно и принадлежит столь бесчестному перу, соответствует действительности. Кружок Языкова был многочислен. В него в разные



К. Ф. Рылеев.

С рисунка О. Кипренского, 1823—1825 гг.

годы входили лектор русского языка А. Тихвинский; художник А. Хрипков; слушавшие у профессора В. Я. Струве геодезию А. Степанов и А. Очкин; историк и филолог, впоследствии — профессор Новороссийского университета Ф. Брун; студент П. Шепелев, собиравшийся в 1828 году, после сдачи экзаменов, ехать вместе с А. С. Грибоедовым в Тегеран; малоизвестный поэт А. Тютчев; литератор В. Княжевич; друг А. С. Пушкина — А. Вульф и другие.

Языков выписывал в Тарту множество книг. Немало журналов и альманахов присылали ему в дар его московские и петербургские друзья. Но он этим не ограничивался. Университетский библиотекарь Эмиль Андерс вспоминал[150], что Языков был организатором особого кружка любителей чтения, приобретавших книги в складчину. Созданная таким образом библиотека существовала даже после отъезда поэта из Тарту.

Одним из тех, кто присылал Языкову свои новые произведения, был Кондратий Рылеев. «Скажи Амплию, чтоб он поблагодарил от меня Рылеева за Думы и Войнаровского, — писал 18 марта 1825 года брату Александру поэт Языков, — последний точно стоит благодарности, есть места восхитительные»[151]. Почти одновременно с «Думами» и «Войнаровским» в

Тарту пришел очередной том «Полярной Звезды» с отрывками из рылеевского «Наливайко». Это было событием поистине замечательным!

«Читайте думу «Волынский», «Исповедь Наливайки», поэму «Войнаровский», — писал уроженец Эстонии декабрист Андрей Розен, — вы в них услышите и увидите самого Рылеева»[152]. И он был близок к истине. «Исповедь» отражала высокие патриотические чувства ее автора. В чудесном отрывке из поэмы, которую Рылееву так и не удалось завершить, был слышен грозный шум назревавшей бури:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю . . .
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю . . . [153]

Слова поэта-гражданина, предсказавшего горькую судьбу борцов против тирании, за свободу народную, нашли горячий отзвук не только у декабристов. Отрывки из поэмы Рылеева, чудом увидевшие свет, читались и прогрессивно настроенной частью тартуского студенчества, в первую очередь — в кружке Николая Языкова.

Между Рылеевым и Бестужевым, с одной стороны, и эстонскими читателями «Полярной Звезды» — с другой, установилась оживленная переписка. И по-прежнему одним из основных звеньев этой все более крепнувшей связи был Языков. В его письмах тех дней всё чаще упоминались декабристские издания, имена выдающихся деятелей тайных обществ, высказывания об их произведениях. 19 мая 1825 года Языков сообщал брату о новых стихах, отправленных им Бестужеву. К концу лета поэт писал о стихотворении, пересланном Рылееву. Это, рассказывал он, «отрывок из повести, которой канва еще недавно существует в голове моей; на ней вышит только сей отрывок. Не знаю, что будет дальше; т. е. кончится повесть или нет, а в ней предполагается описать . . . эстов»[154].

Из обширной переписки Языкова мы узнаем о том неподдельном восторге, с каким читал декабристский альманах тартуский студент Александр Степанов. Мы узнаем и о посланных Бестужеву стихотворениях изучавшего в Тарту камеральные

науки студента Тютчева, и о стремлении Языкова выяснить «причину непомещения их в «Полярной звезде»[155].

Так, через Языкова, проникали в Тарту декабристские идеи. В ту пору и творчество самого Языкова 20-х лет было пронизано в значительной степени свободолюбивыми мотивами. «Поп» и «государь» назывались в его стихах виновниками «позора чести русской», Александр I величался «политиком близоруким», а великосветская знать — «подлой и развратной». Поэт с презрением отзывался о тех, кто предпочитал

Ходить и действовать по звуку барабана,
И мыслить, как велит, рассудка не спросясь,
Иль невеликий царь или великий князь,
Которым у людей отеческого края
По сердцу лишь ружье и голова пустая . . . [156]

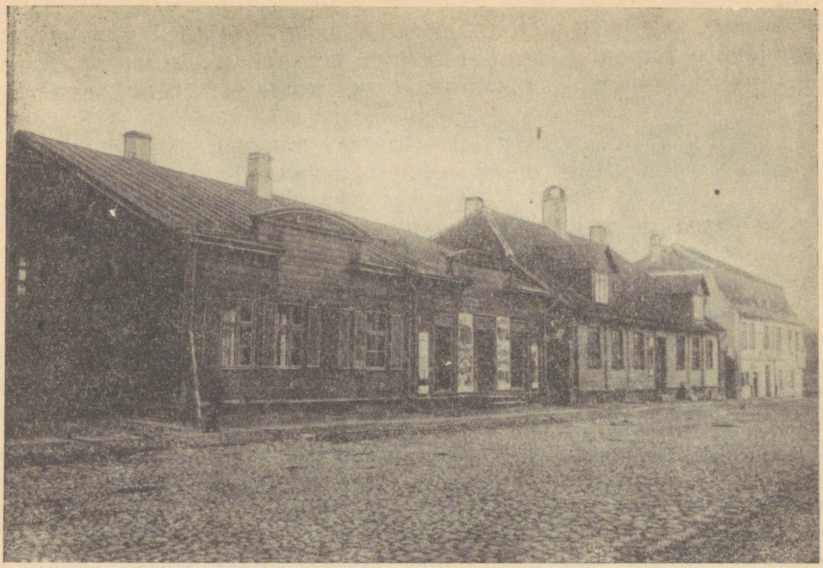
Не случайно поэзию Языкова так высоко ценил А. С. Пушкин. Певец первых русских революционеров тепло отзывался о тартуских стихах молодого поэта, дышавших горячей любовью к Родине, воспевавших «святые битвы за свободу», воскрешавших «шум народных мятежей». Обращаясь к прошлому своего народа, Языков не ставил задачу бесстрастного переложения древней истории, а стремился в поэтических образах воскресить героизм и храбрость русских людей. И в этом Языков перекликался со многими деятелями декабристского движения.

Пускай пугливого тиранства приговор
Готовит мне в удел изгнания позор
За смелые стихи, внушенные поэту
Делами низкими и вредными полсвету, —

писал еще в 1823 году, в Тарту, Языков, —

Я не унижуся нерабскою душой
Перед могущею, но глупою рукой.
Служитель алтарей богини вдохновенья
Умеет презирать неправые гоненья, —
И все усилия цензуры и попов
Не сильны истребить возвышенных стихов . . . [157]

Участники декабристского движения хорошо знали написанную в Эстонии 24 января 1824 года замечательную языковскую «Элегию». В течение многих лет она ходила в рукописных списках и лишь в 1859 году герценовская «Полярная звезда» сделала эти смелые строки, воспевавшие «свободы гордой вдохновенье», достоянием широкого круга читателей. По глубине отраженных в ней общественных мотивов, по своей революционной напряженности, тартуская «Элегия» Языкова



Дом (на фото первый слева), в котором жил во время пребывания в Тарту Н. М. Языков.
Из альбома И. И. Змигродского.
Этнографический музей Академии наук Эстонской ССР, Тарту.

была настолько сродни декабристским стихам, что ее длительное время приписывали Рылееву. Никто иной, как Рылеев, рекомендовал в декабре 1824 года тартуского студента в действительные члены Вольного общества любителей российской словесности.

Однако языковское вольнодумство уже тогда легко уживалось с реакционными концепциями, отвергаемыми передовыми деятелями тайных обществ[158]. Обратившись, подобно Александру Бестужеву, Вильгельму Кюхельбекеру и Николаю Бестужеву, к ливонской истории, Языков не пошел по пути, указанному ему декабристами. В его стихах и незавершенных поэмах слышны были и тихая грусть по рыцарской старине, когда «певались песни славы» и «гремела медь и сталь» («Чувствительное путешествие в Ревель»); и восторженные похвалы «высокому праву» меченосца Арана («Меченосец Аран») и храбрости старого рыцаря, якобы, питавшего «к добру и вольности любовь» («Ала»). Короткое стихотворение «Ливония» воспевало даже «тяжелый меч наследников Рорбаха» — жестокого и кровожадного предводителя ордена меченосцев в Ливонии.

Языков не сумел увидеть в рыцарях угнетателей и палачей эстонского народа, на протяжении нескольких столетий грабивших и разорявших прибалтийскую землю. Их дела, заявлял он,

... живут для музы песнопенья,
Для гордости поэтова чела[159].

Тем самым поэт вторил реакционнейшим кругам тартуской профессуры, превозносившим в лекциях «доброе старое время».

Языкову были знакомы ливонские хроники Иоганна Готфрида Арндта (1713—1767), работы лифляндского пастора Густава Бергмана. Он писал брату: «... Я сильно занимаюсь ливонскою историею: читаю, выписываю, справляюсь и, кажется, скоро буду в состоянии писать о меченосцах, как господин своего предмета»[160]. Но, в противоположность декабристам, поэт не понял, насколько тенденциозными были прочитанные им «хроники», изученные им труды остзейских историографов. А это в значительной степени и привело его к воспеванию рыцарства. Это вызвало и отрицательное отношение поэта к Гарлибу Меркелю, книги которого разрушали сложившиеся в представлении Языкова лучезарные картины прошлого остзейского края. В подобной идеализации исторического прошлого Прибалтики уже сказались неустойчивость, ограниченность идеологических позиций поэта, приведших его впоследствии к ренегатству.

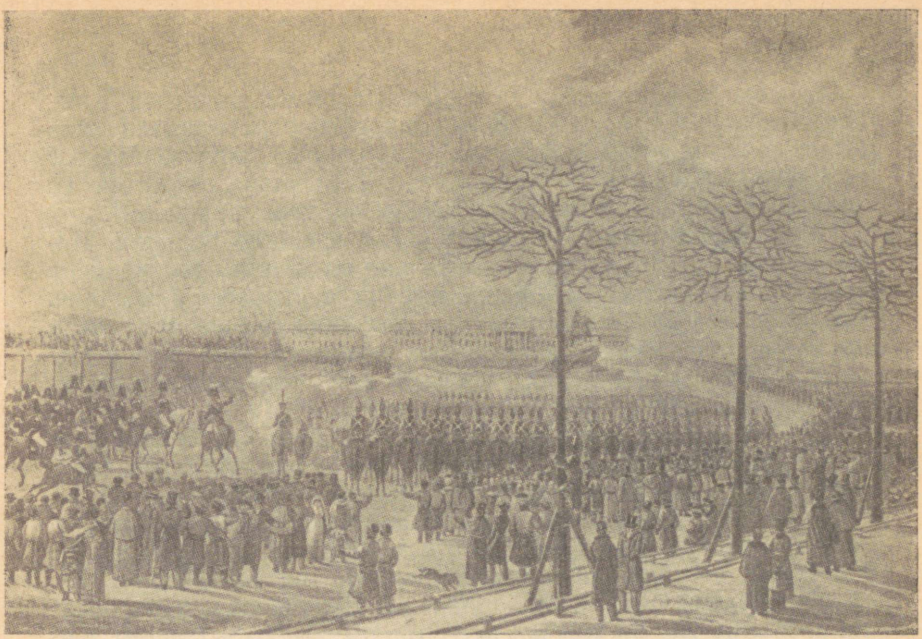
VIII. ВОССТАНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

> Россия должна считать эру своего гражданского развития с людей 14 декабря; их влияние не прекращалось ...
>
> *А. Герцен*

В ноябре 1825 года в Таганроге неожиданно скончался Александр I. Наследником должен был стать его старший брат — Константин. Но, когда всюду уже приносили присягу новому императору, стало известно, что Константин отказался от престола. Императорская власть переходила к Николаю. Предстояла вторая присяга.

Смерть Александра, затяжное междуцарствие требовали от членов тайного общества решительных действий. «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай», — писал Иван Пущин.

На 14 декабря назначена была новая присяга. Этим и решили воспользоваться заговорщики. В проекте разработанного



Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года.
Худ. К. Кольман. Акварель, 1830-е гг.
Исторический музей, Москва.

ими манифеста определялись задачи предстоящего восстания: уничтожение царского правления, учреждение временного правительства, ликвидация крепостного права, цензуры и рекрутчины, провозглашение свободы вероисповедывания, равенство сословий перед законом.

И вот настало сумрачное петербургское утро 14 декабря. Дул сильный ветер, кружила поземка ... В сторону сената двинулись роты лейб-гвардии Московского полка ... К ним присоединились гренадеры ... С барабанным боем и с распущенным знаменем прошли моряки гвардейского экипажа ... Пламенный Рылеев, спокойный Пущин, восторженный Кюхельбекер, братья Бестужевы носились по городу, поднимая армию на открытую схватку с самодержавием.

Против здания сената, около памятника Петру I, выведенные войска составили каре. Среди трех тысяч солдат и матросов, последовавших зову декабристов, были и уроженцы Эстонии. С гвардейским экипажем на площадь вышел эстонец Иоган Анатуин. 16 лет прослужил он на флоте, видел смерть своих товарищей-матросов, умиравших под ударами палок и розог, познал на самом себе бесчеловечную муштру, отвратительные издевательства офицеров-аракчеевцев.

Побывав незадолго до восстания у себя на родине, в Эстонии, Анатуин убедился в том, что положение соотечественников было не лучше его собственной каторжной жизни. Матрос гвардейского экипажа призвал тогда крестьян бороться со своими угнетателями, противиться бесчинствам баронов[161].

О «свободомыслии» Анатуина стало известно полиции. Немедленно началось следствие, и только вмешательство офицера гвардейского экипажа избавило моряка от сурового наказания. Мы не знаем фамилии спасителя Анатуина. Но не исключена возможность, что им был один из двадцати офицеров флотского экипажа, являвшихся членами или сочувствовавших целям тайного декабристского общества.

На Сенатскую площадь матрос-эстонец вышел по зову русских офицеров-патриотов. Так же, как и они, Анатуин стремился к избавлению крестьян от крепостного гнета.

14 декабря «Россия, — по определению В. И. Ленина, — впервые видела революционное движение против царизма»[162]. Но узкая, не опиравшаяся на народ, группа революционеров заранее была обречена на поражение. Декабристы не располагали, к тому же, ни хорошо продуманным, четким планом действий, ни достаточными для переворота вооруженными силами. Против выведенных на Сенатскую площадь трех тысяч человек царь выставил 9000 солдат, три тысячи кавалеристов, артиллерию.

«Мы были окружены со всех сторон . . . — вспоминал позднее Николай Бестужев. — Пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. День смеркался. Вдруг батарея артиллерии стала с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек. Пушка грянула. С первого выстрела семь человек около меня упали. Другой и третий повалили кучу солдат . . .»[163]

Беглый огонь революционных войск не мог приостановить артиллерийского обстрела. С каждым орудийным залпом все реже раздавались нестройные ружейные ответы. Преследуемые картечью, восставшие обратились в бегство.

Вскоре все кончилось. Сенатская площадь, набережная и прилегающие улицы были покрыты трупами. Их спускали в сделанные на Неве проруби. По распоряжению петербургского обер-полицмейстера шла кровавая ловля раненых «бунтовщиков».

Вместе со многими другими солдатами и матросами на Сенатской площади подобрали Иогана Анатуина. Его доставили в лазарет лейб-гвардии Финляндского полка. А спустя 12 дней во флотский экипаж поступило краткое сообщение о том, что «рядовой оного экипажа Иоган Анатуин, раненый 14-го декабря



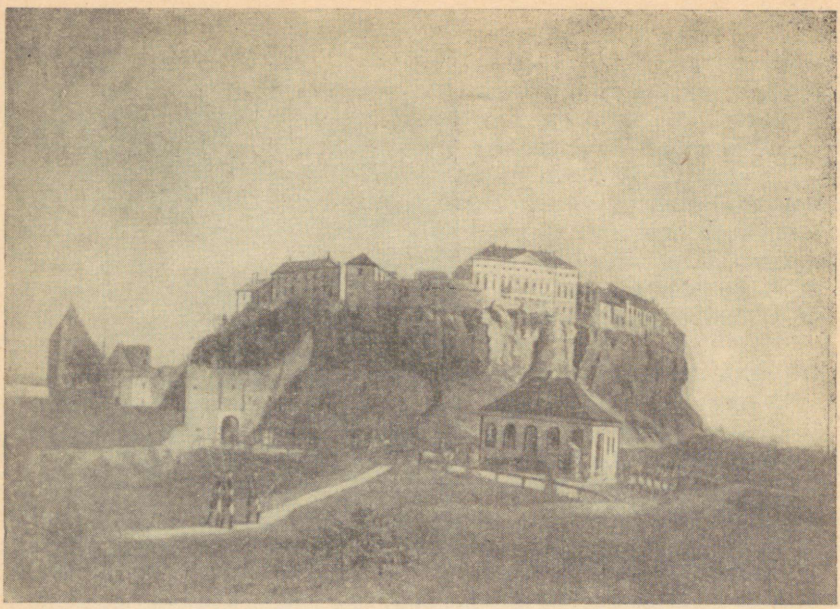
Декабрист А. М. Муравьёв, содержавшийся в заточении в Вышгородской крепости Таллина.

С рисунка Н. Бестужева.

картечью в грудь напролет с повреждением правого легкого, 26 числа текущего месяца умер»[164].

В те дни Зимний дворец, по словам очевидца, напоминал полицейский участок. Со всего Петербурга и из разных городов России свозили туда арестованных декабристов. Бежать удалось лишь Кюхельбекеру. Его искали всюду. Искали и в родной ему Эстонии, где у декабриста было немало друзей, почитателей его поэтического таланта, и где он мог, хоть на время, укрыться.

30 декабря С.-Петербургский военный генерал-губернатор сообщил Эстляндскому гражданскому губернатору, что «в числе людей, дерзнувших на происшествие . . . , находился и по словам очевидцев даже участвовал в произведенном мятеже коллежский асессор Кюхельбекер, который 14 декабря при наступлении ночи скрылся и по всем изысканиям местопребывание его в столице, равно как и в окрестных местах, не открыто». Эстляндскому губернатору предлагалось принять «деятельные меры» для отыскания Кюхельбекера. Подобное же приказание поступило в Нарвский магистрат[165]. В тот же день в разные концы Эстонии поскакали жандармы. В кармане у них лежал перечень отличительных примет «государственного преступника»: «росту высокого, сухощав, глаза на выкат, волоса коричневые, рот при разговоре кривится, бакенбарды не



Таллинская крепость (Вышгород).
Картина маслом неизвестного художника, 1800-е гг.
Исторический музей, Москва.

растут, борода мало зарастает, сутуловат и ходит немного искривившись, говорит протяжно, отроду ему около 30-ти лет»[166].

Но поиски Кюхельбекера в Эстонии не могли, разумеется, увенчаться успехом. Его путь лежал в стороне от Прибалтийских губерний, и 19 января 1826 г. он достиг Варшавы. Там-то Кюхельбекер и был арестован.

Из Зимнего дворца декабристов под строжайшей охраной доставляли в Петропавловскую крепость. Она не могла уже вместить всех участников восстания и, пока шло следствие, некоторых арестантов перевезли в ближайшие к Петербургу тюремные казематы. Ряд декабристов препроводили в Эстонию.

25 декабря, спустя шесть дней после ареста, из Петербурга в Таллин отправили члена Северного общества, корнета кавалергардского полка Александра Михайловича Муравьёва. Прибывший туда с фельдъегерем «бунтовщик» был младшим братом Никиты Муравьёва — организатора декабристского



Н. М. Языков.

Рисунок карандашом из альбома А. А. Воейковой.

«Союза спасения», одного из активнейших и руководящих деятелей «Союза благоденствия», члена Верховной думы тайного общества.

«Я пробыл в Ревельской крепости до первого мая, — вспоминал много лет спустя Александр Муравьёв. — Я обязан выполнить долг сердца по отношению к полковнику Шерману, который был плац-майором Ревельской крепости. Этот превосходный человек проявлял родительские заботы обо мне, давал мне книги, карандаши, словом не допускал меня нуждаться в чем-либо . . . 1 мая прибыл за мной фельдъегерь. Через 24 часа я был в Петропавловской крепости»[167].

После трехнедельного пребывания в Алексеевском равелине, в Таллин перевели также лейтенанта Бориса Бодиско. Его доставили в крепость 9 января 1826 года. Морского офицера, повинного в том, что он «лично действовал в мятеже бытностью на площади», надлежало содержать «под строгим арестом». Однако таллинская крепость, так же как петропавловские казематы, была переполнена. Вынужденный нарушить высочайшее предписание комендант посадил «государственного преступника» в караульный дом у Нарвских ворот. На допрос лейтенанта Бодиско возили в Петербург. Этот факт подтверж-

дается лаконичной отметкой о его пребывании 18 февраля в Петропавловской крепости. Затем он был возвращен в Эстонию и находился в Таллине еще три с половиной месяца.

Одновременно с Бодиско в Таллине «под строжайшим арестом», в крошечном помещении над Новыми воротами крепости, содержался лейтенант гвардейского экипажа Фёдор Вишневский. Являясь членом Северного общества, он был близок со многими участниками восстания и 14 декабря действовал как убежденный враг самодержавия.

Местом заточения «бунтовщиков» стала также Нарвская крепость. 25 декабря из Петербурга туда был отправлен член Северного общества корнет кавалергардского полка Дмитрий Арцыбашев. В середине февраля 1826 года в Нарву доставили привлеченного к делу декабристов лейтенанта Александра Цебрикова.

Пребывание арестованных декабристов в Эстонии не могло держаться длительное время в секрете от населения Таллина, Тарту, Нарвы. Какими только путями не распространялись в те дни вести обо всем, что имело хоть малейшее отношение к событиям на Сенатской площади! Во все концы Эстонии шли тогда письма от петербургских друзей, родных, знакомых... О подробностях восстания рассказывали приезжавшие туда свидетели исторического бунта.

Обстоятельные сведения о героях 14 декабря доставил, в частности, в Эстонию Николай Языков. Восстание застало его в Тарту. Но, узнав о событиях, в которых принимали участие многие из его друзей, поэт тотчас же выехал в Петербург. Письма Языкова конца 1825 и начала 1826 годов полны были намеков на бесчисленные аресты, на гнетущую атмосферу в петербургском обществе. Жесточайшая цензура не позволяла ему быть абсолютно откровенным: «примеры пожаров от искры, неизвестность последствий», писал он, принуждали к «излишней осторожности»[168].

Но то, что нельзя было доверить почте, можно было рассказать при встрече близким друзьям. Не трудно представить, с каким нетерпением ожидали те возвращения Языкова из Петербурга, сколько горьких новостей привез поэт с собою в Тартуский университет! Под свежим впечатлением декабрьских событий, будучи уже в Тарту, Языков сложил строфы «Второй присяги». Думая, по всей вероятности, о тех, кто смело и бесстрашно выступил против тирании самодержца, он писал студенту А. Н. Вульфу:

Мой друг, учи меня рубиться:
Быть может, некогда и мне,

Во славу Руси, пригодится
Рука, привычная к войне[169].

Подобно другим прогрессивно мыслившим студентам Тартуского университета, Языков прислушивался в те дни ко всем доходившим в Эстонию «новостям мира политического», проявлял жгучий интерес ко всему, что «касалось предметов государственных»[170]. Эти новости, разумеется, были связаны с декабристами, с их арестом, пребыванием в крепостных застенках, в том числе и в казематах Эстонии.

IX. ОТЗВУКИ В ТАЛЛИНЕ И ТАРТУ

Отделались от людей, но не отделаются от их идей.

Декабрист М. Лунин

В те дни в Таллин прислан был царский указ. Всем находившимся на службе и ушедшим в отставку чиновникам, а также не служившим дворянам, предписывалось дать клятвенное заверение в том, что они ни к каким тайным обществам никогда принадлежать не будут. А если кто-либо к ним когда бы то ни было и принадлежал, гласил указ, тому надлежало сообщить: под каким названием общество существовало, какие ставило оно цели, какими мерами предполагало добиться их осуществления[171].

Реакционеры всех мастей, напуганные событиями на Сенатской площади, поторопились представить новому царю убедительнейшие доказательства верноподданических чувств. Тартуский профессор И. В. Франке, в надежде на императорскую милость, отправил Николаю поздравительный мадригал[172]. Его не менее консервативный коллега В. М. Перевощиков, прошедший в свое время школу мракобеса Магницкого, выступил в университете с речью «О превосходстве самодержавного правления»[173]. Лифляндский гражданский губернатор спешил уверить высшее петербургское начальство, что присяга Николаю дана была «всеми сословиями губернии ... со всеми знаками верноподданической к монарху и престолу преданности б е з м а л е й ш е г о п о м е ш а т е л ь с т в а (подчеркнуто нами. — А. Л.)»[174]. А эстляндское дворянство ходатайствовало даже о «назначении во всей Эстляндской губернии и в городе Ревеле особенного дня для празднования счастливого сохранения императорского дома и избавления церкви от угрожавшей ей опасности».

Николай I не сомневался в «благонадежности» остзейских помещиков, но не питал подобного же доверия к другим, более многочисленным, слоям населения губернии. Он знал, как часто предшественнику его на престоле докладывали о волнениях эстонских крестьян. Для него не были тайной и распоряжения Александра о посылке в Эстонию воинских сил для расправы с непокорными. И Николай предпочел оставить просьбу чрезвычайного собрания эстляндского дворянства о «праздновании счастливого сохранения императорского дома» без «высочайшего соизволения»[175].

В 1826 году лагерь остзейских реакционеров пополнился еще одной мрачной фигурой. То был отъявленнейший душитель просвещения Магницкий, впавший у нового царя в немилость и сосланный им в Таллин.

Но, отрешив Магницкого за поспешную присягу Константину от должности попечителя Казанского учебного округа, Николай и не думал отказываться от его «весьма полезных» услуг. Положение ссыльного легко можно было использовать для негласного надзора за вольнодумными элементами. И Магницкий, поселившись в Таллине, не терял времени даром. Доносы опального мракобеса Николаю I указывают, в частности, на его стремление обнаружить в Эстонии влияние «мятежников 1825 года». Магницкого беспокоило, например, что декабристы хорошо знали «дух» Тартуского университета, и он предлагал усилить в этом высшем учебном заведении «надзор людей в сем предмете сведущих»[176], т. е. следить за теми, кому не были чужды вольнодумные идеи.

Живя в Эстонии и будучи, по существу, не у дел, Магницкий использовал, однако, любую возможность для продолжения своей тлетворной деятельности. С помощью подставного лица (им стал обрусевший немец, весьма посредственный преподаватель местной гимназии А. И. Бюргер) он приступил позднее, в 1832 году, к изданию русского журнала «Радуга». Это был остзейский прототип столь же реакционного петербургского «Маяка», ставший, по свидетельству современника, рупором вреднейшей религиозно-мистической пропаганды Магницкого. Характерно, что один из авторов «Радуги», в котором не так уж трудно было узнать самого фактического издателя, назвал журнал «заветом тишины после волнения умов, надеждой безопасности после всемирного потопа превратных и возмутительных учений»[177].

В то время как в Петербурге учинялась расправа над участниками восстания, в гостиных немецких бюргеров, в салонах баронов, на балах у эстляндского губернатора произносились напыщенные верноподданические речи, предавались анафеме



Крейцвальд в Петербурге в 1825 г. Работа худ. Э. Окас, 1953.

имена «крамольников». Эту лакейскую преданность остзейского дворянства с предельной выразительностью заклеймил тогда штабс-капитан Ситников. В 1831 году среди бумаг арестованного революционера обнаружено было послание «К самозванцу Голштейн-Готторпу, что бесстыдно Романовым себя называет», зло и беспощадно высмеивавшее окружавших Николая и чтивших его остзейских помещиков.

Однако лагерю черной реакции противостояло в Эстонии немало честных, прогрессивно мысливших людей. Николаевские гонения, жандармский сыск вынуждали их, конечно, быть предельно осторожными в проявлении малейших симпатий к декабристам. Но о существовании в прибалтийском крае «вольнодумных элементов», не без оснований, догадывался даже местный губернатор. В одном из донесений он откровенно признался о возникшем у него в связи с этим беспокойстве.

Среди тех, кто питал сочувствие к участникам восстания, был, по всей вероятности, и Фр. Р. Крейцвальд. Окончив в 1824 году уездное училище, будущий писатель уехал в Петербург. Работая там учителем, молодой эстонец стремился попасть в Медико-хирургическую академию. Но попытки сына крепостного стать слушателем одного из крупнейших в России высших учебных заведений были тщетны. Не попав в академию и находясь

еще под впечатлением недавних грозных событий, он добился в январе 1826 года зачисления в Тартуский университет. Поступавшие в Тарту вести о декабристах, об ожидавшей их суровой каре, не могли обойти стороной Фридриха Рейнгольда Крейцвальда.

В Эстонии быстро стало известно, что 30 мая 1826 года следственный комитет завершил свою работу. Спустя несколько дней в Таллин дошел текст царского манифеста о назначении верховного уголовного суда. Высокопоставленным сановникам и монахам доверено было разыграть тщательно подготовленную инсценировку «справедливого» суда, хотя для очень многих не было уже секретом, что приговор над «бунтовщиками» выйдет не из судейского зала, а из апартаментов самого царя. «Как здесь грустно и тошно и за себя, и за других, и за прошедшее, и за будущее»[178], — писал перед отъездом в Эстонию, в тот день, когда у подсудимых отбирались ответы на заранее подготовленные судом вопросы, П. А. Вяземский.

Поэт глубоко переживал арест многих близких друзей и знакомых, с которыми его сближало в ту пору и презрение к царской бюрократии, и возмущение бесчеловечным крепостническим гнетом, и отвращение к разнузданной реакции, последовавшей в России тотчас же после заграничных походов. Зная еще до восстания о существовании тайного общества, но не примкнув к нему, Вяземский, между тем, создал ряд произведений, проникнутых свободолюбивыми декабристскими мотивами. Наиболее популярным из этих политических стихов было «Негодование», дышавшее верой в светлый завтрашний день:

Он загорится день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни.
Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы!
Вам, притеснители! . . —

писал Вяземский. Но даже это стихотворение, являвшееся вершиной его вольнодумства, указывало на ограниченность политической программы поэта. Спустя десятилетие, в 30-е годы, он вовсе отказался от причинивших ему неприятности «грехов молодости», отступив в лагерь реакции.

Однако в 1826 году Вяземский еще симпатизировал декабристам, всем сердцем негодуя против самодержавного произвола. «Я сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей . . . — заявлял он Жуковскому. — Ограниченное число з а г о в о р щ и к о в ничего не дока-



П. А. Вяземский.

Акварель П. Соколова, 1821. Собрание А. Г. Миронова, Москва.

зывает, — единомышленников много, а в перспективе десяти или пятнадцати лет валит целое поколение к ним ... Вот что должно постигнуть и затвердить правительство ... Из-под земли, в коей оно теперь невидимо, но ощутительно зреет, пробьется грядущее поколение во всеоружии мнений и неминуемости, которое не будет подлежать Следственной комиссии Левашевых, Чернышевых и Татищевых. Тогда что сделает правительство, опереженное временем и заснувшее на старом календаре?»[179]

Это письмо отражало то гнетущее состояние, в котором находилась тогда лучшая часть русской интеллигенции. Жизнь в мрачном Петербурге, в одном городе с палачами, готовившими страшную расправу над многими близкими ему людьми, была Вяземскому невыносима. Вот почему, в разгар судебной комедии, 13 июня, он сел в экипаж и уехал в Эстонию. Поселившись в Таллине, Вяземский стал одним из вернейших источников информации об участниках восстания. Из Петербурга ему систематически, правда с учетом почтовой цензуры, сообщалось обо всем, что имело отношение к судьбе декабристов. Несомненно, что эти вести тотчас же передавались семье Карамзиных, родным Пушкина, сестре декабриста Волконского и

многим другим жившим тем летом в Эстонии представителям русского общества. Вольно или невольно, но исходившие от них сведения шли дальше, проникали в дома тех таллинцев, с которыми Вяземский, Карамзины, Пушкины и другие постоянно общались. Возможно также, что эти вести уходили даже за пределы города.

В Эстонии знали, что час неумолимой развязки близок. 15 июня из Главного штаба в Эстляндскую губернскую канцелярию поступило несколько экземпляров «Донесения следственной комиссии для изыскания о злоумышленных обществах» (позднее фельдъегерь доставил туда и «Роспись государственным преступникам, приговором Верховного Уголовного Суда осужденным к разным казням и наказаниям»)[180]. С оказией в Таллин пришли письма от А. И. Тургенева, намекавшие на ожидаемое суровое решение.

Не сомневаясь в том, что приговор над декабристами будет беспощаден, Вяземский сообщал жене 10 июля о назревавшем страшном событии, о том, что «на днях грянет гром». С тоскою писал он ей из Таллина: как «душно мыслить и чувствовать»![181] И гром действительно грянул: в то время, когда поэт писал эти строки, Николай I, укрывшись в Царском селе, одобрил им же самим подсказанную кару. Пять руководителей тайных обществ — полковник Пестель, подпоручик Рылеев, подполковник Сергей Муравьёв-Апостол, подпоручик Бестужев-Рюмин и поручик Каховский осуждались на казнь четвертованием. «Милостью» царя это средневековое наказание заменялось смертью на виселице. Свыше 120 декабристов ссылались на каторгу. Разжалованные в рядовые отправлялись на Кавказ.

Значительная часть осужденных декабристов в той или иной степени была связана с Эстонией. Смертная казнь ожидала одного из вождей Южного общества Сергея Муравьёва-Апостола, поднявшего и возглавившего восстание Черниговского полка, — он приезжал в Таллин после памятной «семеновской истории». К смерти, замененной двадцатилетней каторгой, приговорен был Вильгельм Кюхельбекер, на каторжные работы ссылался его брат Михаил — для них Эстония, по существу, была родиной. Признанного виновным по первому разряду Николая Тургенева от двадцатилетней каторги в сибирских рудниках спасло лишь его пребывание за границей. К пятнадцатилетней каторге осужден был Александр Бестужев. Оба они неоднократно бывали в Эстонии. В Сибирь отправлялись уроженец Эстонии Андрей Розен, а также бывавшие в Таллине до декабрьских событий Михаил Нарышкин и Александр Беляев, сидевший в Вышгородской крепости Александр Муравьёв. Рядовым на Кавказе предстояло служить Михаилу Пущину,

жившему накануне восстания в Таллине, Хаапсалу и Пальдиски. Борис Бодиско, содержавшийся в таллинском караульном доме у Нарвских ворот, лишен был прав и записан в матросы. Заключенный там же «бунтовщик» Фёдор Вишневский лишался чинов «с написанием в солдаты с выслугой»...

Едва ли не первым, кто узнал в Эстонии о страшной каре, был тот же Вяземский. «Благодарю бога, что меня нет в Петербурге, — писал он своим друзьям — братьям декабриста П. А. Муханова, — но жалуюсь ему что я в России. Хотя и ожидал я страха, но все не такого и удар имел для меня весь ужас нечаянности. Сделайте милость, — просил Вяземский, — скажите мне по первой почте что узнаете о Тургеневых... Постарайтесь также узнать и об участии бедных Муравьевых матери и жены Никиты»[182].

В ту пору, когда из Таллина отправлялось это письмо, жестокий приговор над пятью вождями декабристского движения был уже приведен в исполнение. В ночь на 13 июля 1826 года на плацу кронверка Петропавловской крепости, при свете костров, установили громоздкую виселицу. На рассвете по фронту войск провели осужденных на смерть Пестеля, Рылеева, Муравьёва-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Они в последний раз обнялись. А несколько часов спустя их тела были доставлены тайком на остров Голодай.

В Эстонии о казни вождей заговора узнали с прибытием первой же почты. Уже 16 июля Вяземский получил из Петербурга письма, которые, по его собственным словам, «кровью облили сердце». В них сообщалось об учиненной царем расправе.

Эстонию постигло тогда стихийное бедствие. Страшная, необычная жара вызвала множество пожаров. Огонь все шире охватывал нивы, леса, ветхие крестьянские лачуги. «Огненный океан! — восклицал по этому поводу Вяземский. — Столько грозных явлений одно к одному!» Он с ужасом смотрел на страшное зрелище, разыгравшееся у подступов к Таллину, а мысли его по-прежнему были обращены к казненным. И поэт невольно связывал обрушившуюся на Эстонию беду с потрясшей всю Россию расправой над декабристами. «Солнце почти ежедневно закатывается, как кровавый шар, и часто одна половина выглядывает из густого пара, — писал Вяземский из Таллина 20 июля. — Вчера от него отражался в море такого странного красного цвета столб! Солнце не солнце, месяц не месяц, а какое-то грозное явление, которое достойным заревом озаряет бедствия нашего времени... О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место»[183]. Прошло, правда, всего

лишь пять лет и Вяземский предпочел забыть об этих обуревавших его в Таллине гневных чувствах, примириться с «страшным лобным местом» — николаевской Россией.

В Эстонии был известен не только сам факт казни декабристов, но и подробности свершившегося в Петербурге чудовищного акта. Спустя неделю после смерти вождей декабристского движения Вяземский уже сообщал жене из Таллина «лютые подробности сей казни». Он рассказывал, как «трое из них: Рылеев, Муравьев и Каховский еще заживо упали с виселицы в ров, переломали себе кости, и их после этого возвели на вторую смерть». Он писал, как «барабан заглушил вопль человечества, и новая казнь совершилась»[184].

Таллинские заметки о декабристах заполнили и записную книжку поэта. Они были настолько резкими, страстными и враждебными Николаю I, что даже спустя пятьдесят восемь лет царский цензор был возмущен их появлением в отпечатанном тогда девятом томе «Полного собрания сочинений Вяземского».

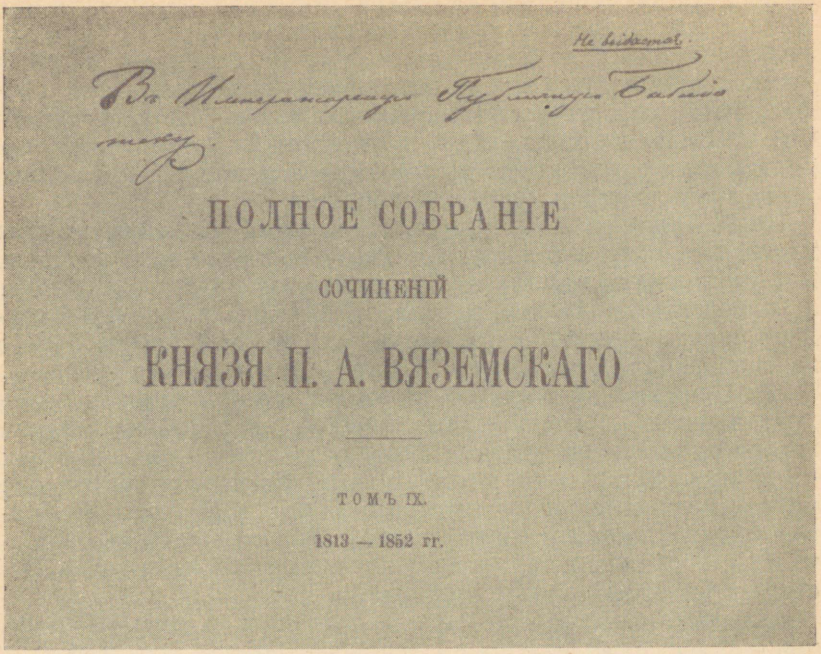
Экземпляр этого тома имеется в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сделанные Вяземским в Эстонии заметки о декабристах тщательно скрывались, и книга в течение многих лет в чтение не выдавалась. Возмутившие цензуру страницы таллинской записной книжки хранили заметки о доносчике Шервуде, вознесенном Николаем до положения «спасителя отечества»; о донесении следственной комиссии, о «нелепом и жестоком докладе суда»[185], подсказанном самим Николаем.

В Таллине Вяземский написал стихотворение «Море». Этот своеобразный отклик на казнь и ссылку декабристов ходил в списках по городу, напоминая многим о пролитой «крови братьев». За аллегорическими образами ясен был истинный злободневный смысл произведения.

«Вот тебе, моему барину на Парнасе, мой смиренный, ревельский оброк... — писал Вяземский А. С. Пушкину, посылая ему из Таллина это стихотворение. — Ты скажешь, надо быть одержимым дьяволом, чтобы в настоящее время сочинять стихи (в подлиннике по-французски. — А. Л.). Это и правда! Но я пою или визжу сгоряча, потому что на сердце тоска и смерть, частное и общее горе»[186].

Именно так воспринял стихотворение и А. С. Пушкин. Получив его в Михайловском, ссыльный поэт прислал Вяземскому пламенное письмо, в котором с сердечной болью обращался к другу:

Так море, древний душегубец
Воспламеняет гений твой?


Не выдается.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО

ТОМЪ IX.

1813 — 1852 гг.

Верхняя половина титульного листа тома девятого «Полного собрания сочинений князя П. А. Вяземского» (СПБ, 1884) с таллинскими заметками поэта о декабристах. В верхнем правом углу титульного листа — категорический запрет: «Не выдаётся».
Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник[187].

Пушкин горячо благодарил Вяземского за присланные ему стихи. Ведь «ныне, — писал он, — каждый порыв из вещественности — драгоценен для души»[188]. Поэт с грустью отмечал, что «повешенные повешены», а впереди еще один ужас — «каторга 120 друзей, братьев, товарищей . . .»[189]

К концу июля в Тарту приехал Александр Тургенев — брат выдающегося деятеля декабристского движения Н. И. Тургенева. Он посетил университетский городок вскоре же после

казни Рылеева, Пестеля, Муравьёва-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Хотя его пребывание в Тарту и было непродолжительно, но даже за столь короткое время он имел возможность встретиться с некоторыми знакомыми ему профессорами, со студентами Тартуского университета, в частности, со своим племянником — студентом А. Татариновым, поведать им и о повешении руководителей восстания, и о ссылке на каторгу десятков других декабристов.

Но А. Тургенев был, разумеется, далеко не единственным источником, откуда черпались в Тарту подробности о расправе над участниками восстания. Его приезд совпал с возвращением в университет Николая Языкова. Шесть недель тартуский студент прожил в селе Тригорском, у двоюродной сестры одного из виднейших декабристов Сергея Муравьёва-Апостола — П. А. Осиповой. В гостиной любезной хозяйки Языков видел переплетенный в черную кожу альбом, на одной из страниц которого прочел прозорливые слова казненного революционера: «Я тоже не боюсь и не желаю смерти. Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым. 16 мая 1816 года». В Тригорском и в соседнем Михайловском Языков ежедневно встречался с Пушкиным, по праву считавшимся третьим после Пестеля и Рылеева вождем декабризма.

Сладостно было это общение с опальным поэтом. Вспоминая о задушевных беседах с Пушкиным, Языков восклицал:

Что восхитительнее, краше
Свободных, дружеских бесед,
Когда за пенистою чашей
С поэтом говорит поэт?
Жрецы высокого искусства!
Пророки воли божества!
Как независимы их чувства,
Как полновесны их слова[190].

В те жаркие июньские и июльские дни 1826 года, когда Языков вместе с Пушкиным бродил по живописным окрестностям Тригорского и Михайловского, в центре помыслов томившегося в ссылке великого поэта был обрушившийся на декабристов страшный удар. «...Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков»[191], — признавался он 10 июля в одном из писем к Вяземскому в Таллин. Естественно, что в длительных беседах с Языковым Пушкин не мог, да и не старался, скрыть свою глубокую грусть, серьезные опасения за будущее «друзей, братьев, товарищей». Это горькое чувство нашло отзвук в сердце Языкова и вылилось в страстное надгробное семистишие Рылееву:

Не вы-ль убранство наших дней,
Свободы искры огневые —
Рылеев умер, как злодей! —
О вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовыя
На самовластие царей! [192]

Эти строки были написаны в Тарту 7 августа 1826 г. Языков посвятил их собрату по музам, за пламенным творчеством которого он с таким глубоким вниманием, с таким душевным сочувствием следил в течение всех последних лет. Семь страстных строк говорили о ненависти автора к тем, кто лишил Россию ее великого сына, кто отнял у нее поэта-гражданина, воплотившего в стихах пафос передовых идей своего времени, идей, воодушевлявших движение декабристов. Так, и после смерти Рылеева, его имя высоко чтилось в Эстонии. Благодаря Вяземскому, Языкову и другим деятелям передовой русской интеллигенции, жившим в то время в Прибалтике или проезжавшим через нее, сюда проникли все последние творения этого благородного, мужественного человека.

«Мне сказывали о письме прощальном Рылеева к жене, которое ходит по рукам в Петербурге, — писал 31 июля из Таллина Вяземский и, обращаясь к одному из братьев декабриста Муханова, спрашивал: — Нельзя ли доставить?»[193] Друзья выполнили его просьбу. Спустя несколько дней в Эстонии появилось замечательное предсмертное послание Рылеева. «Благодарю Вас, любезнейший, за вчерашнее доставление ... — сообщал 7 августа Вяземский. — Присланное письмо меня сердечно тронуло и так сказать порадовало. Хорошо готовиться к смерти ... с таким тихим, ясным расположением души. Жрецы могут поучиться у жертв. Все это ещё давит память, как страшное сновидение»[194].

Последнее письмо казненного революционера, необычайно спокойное и уверенное, письмо гражданина и борца, знавшего, за что он отдал короткую, но светлую жизнь, ходило в списках по Эстонии. О нем упоминает в своей переписке Языков. Предсмертное письмо Рылеева знали и с волнением перечитывали многие студенты Тартуского университета. Оно могло попасть и к Фр. Р. Крейцвальду.

«В сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткой, — обращался к жене Рылеев, — я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе ... Ради бога, не предавайся отчаянию ... Я хотел было просить свидания с тобою, но раздумал, чтоб не расстроить тебя ...

Прощай! Велят одеваться . . .»[195] Сколько мужества и душевной чистоты было в этих, написанных перед самой казнью, сердечных строках! Посылая жене из Таллина копию письма, Вяземский с изумлением восклицал: «Какое возвышенное спокойствие!»[196]

Помня о почтовой цензуре, находившиеся в Таллине и Тарту представители передовых слоев русской интеллигенции не могли, разумеется, в полной мере выразить ни скорби о погибших, ни своих чувств к угоняемым в глушь Сибири декабристам. В Эстонии знали, что созданное царем Третье отделение «собственной его величества канцелярии», «вникая в направление умов», установило тайный надзор за всей проходившей через почтовое ведомство корреспонденцией. «Пожалуй, ещё наши письма ходят и по рукам, пока не дойдут до наших рук. Чего доброго? — писал Вяземский из Таллина 21 августа, со злой иронией обращаясь к цензуре: — Я не прочь от этого, но прошу только вас, господа, на письменных заставах команду имеющие, недолго задерживать наши письма! Я знаю, что вы не очень грамотны и довольно тупы по своей природе и что легко не разбираете вы ни руки моей, ни смысла моего! Ищете, чего нет, и не находите то, что есть! Право, в моих письмах нет никакой тайны! Напрасно мучите вы свои зубы, чтобы разгрызть мои орехи: в них не доберетесь до ядра, потому что его нет! Мои орехи свистушки, в которые свищу, когда мне сделается очень тошно, глядя на вас и то, что вы делаете, и которыми освистываю вас и всех . . . дураков, какой породы бы они ни были! Вот вам моя исповедь. Верьте ей, она чистосердечна!»

Таллинское письмо к жене, в котором он так издевательски распек «почтовую инквизицию», Вяземский завершил обращением к якобы неведомому, а на самом деле — хорошо известному ему невежде: «Что бишь вы? — Превосходительство, или выше, или еще выше? право не знаю; но сами вставьте свои титла . . .»[197] «Высокопревосходительством», на которого так недвусмысленно намекал Вяземский, был, разумеется, любимец Николая — шеф жандармов граф Бенкендорф.

X. НЕРАСТОРЖИМЫЕ УЗЫ

> Цвет всего, что было образованного, истинно благородного в России, отправились закованные на каторгу, в почти необитаемый угол России . . .
>
> *А. Герцен*

Суровый, беспощадный приговор был произнесен. Закованных в кандалы декабристов отправляли на каторгу, в Сибирь.



А. Е. Розен.
С рисунка Н. Бестужева.

«Мы получили разрешение до времени нашего отъезда раз в неделю видеться, в течение часа, с нашими ближайшими родственниками, — вспоминал Андрей Розен. — Жена моя посещала меня каждую среду. Равно и братьям моим дозволялось иногда приходить ко мне; один из них только что приехал из Эстляндии»[198].

... Андрею Розену было тогда 26 лет. Он родился в Эстонии, в родовом имении Ментаке, в семье эстляндского ландрата. В 1812 году будущего декабриста поместили в Нарвское училище. Учился он там с детьми отнюдь не дворянского происхождения. Родители его ровесников, вспоминал позднее Розен, были «из всех сословий, цехов и гильдий». Совершая из Нарвы частые поездки в имение, юноша встречался на дороге с эстонскими крестьянами. И, не ведая еще о тяжести их жизни, не зная, что голод — частый гость в семьях его случайных попутчиков, он, между тем, задумывался: почему слово «хлеб» не сходит с крестьянских уст?

1815 год, когда русская армия вернулась из победоносного европейского похода, застал Розена в Петербурге. После двух лет учебы в кадетском корпусе его зачислили в лейб-гвардии Финляндский полк. Юный прапорщик сразу же попал в среду боевых офицеров, обстрелянных во многих боях, побывавших

за границей, преисполненных свободолюбивых мечтаний. Он познакомился с Карамзиным, Гнедичем, Дельвигом и Жуковским, а вскоре сблизился с Александром Бестужевым и Рылеевым.

В записках Розена сохранилось описание Семеновского бунта, воспоминания о котором не покидали его даже в преклонные годы. Он с омерзением рассказывал об отвратительных издевательствах полкового командира Шварца, о жестоком наказании непокорных. «Так кончил, — писал он, — старый знаменитый и лучший Семеновский полк, отличившийся во всех походах Петра Великого и стяжавший славу в битве под Кульмом»[199].

Семеновская история оказала заметное влияние на формирование мировоззрения Андрея Розена. Будучи отпрыском знатного баронского рода, из которого вышли отъявленнейшие враги эстонского народа, молодой офицер отошел от породившей его среды. Под благотворным влиянием русских друзей — в подавляющем большинстве из передовых кругов военной интеллигенции — он все чаще задумывался над социальными проблемами, о чинимом повсюду произволе, о растущем недовольстве солдатской массы, стонавшей в ярме аракчеевщины. «С 1822 года, по возвращении гвардии из похода в Литву, — вспоминал Розен, имея при этом в виду и самого себя, — заметно было, что между офицерами стали выказываться личности, занимавшиеся не одними только ученьями, картами и уставом воинским, но чтением научных книг. Беседы шумные, казарменные, о прелестях женских, о поединках, попойках и охоте становились реже и вместо них все чаще слышны были суждения о политической экономии, об истории, о народном образовании. Место неугасимой трубки заменили на несколько часов в день — книга и перо — и вместо билета в театр, стали брать билеты на получение книг из библиотек»[200].

К памятным дням 1825 года Розен уже был членом тайного общества. Он принимал участие в подготовке восстания, в разработке плана выступления, а 14 декабря с батальоном лейб-гвардии Финляндского егерского полка двинулся к Сенатской площади.

Утром следующего дня, когда повсюду шли уже аресты, Андрея Розена доставили на гауптвахту Зимнего дворца. Он стойко держался на допросах, не отрицал своего участия в тайном обществе и был отнесен в пятый разряд «государственных преступников».

Настал день, когда Андрей Розен, осужденный на десятилетнюю каторгу и вечную ссылку, должен был покинуть Петербург. Из Эстонии, чтобы проститься с отправлявшимся в даль-

ний путь декабристом, приехал его брат Отто — участник Отечественной войны, ветеран боев под Данцигом, Лейпцигом и штурма Парижа, всего лишь пять лет назад вышедший в отставку. В многочисленной семье эстляндского ландрата он был, пожалуй, единственным, кто не осуждал «вольнодумца» и «бунтовщика»[201]. Короткое свидание состоялось в комендантском доме Петропавловской крепости, в присутствии плац-адъютанта. «Брат . . . , — вспоминал А. Розен, — только сочувствовал мне, и против привычки своей в целый час беседы не сказал ни единого острого слова, ни одной шутки»[202].

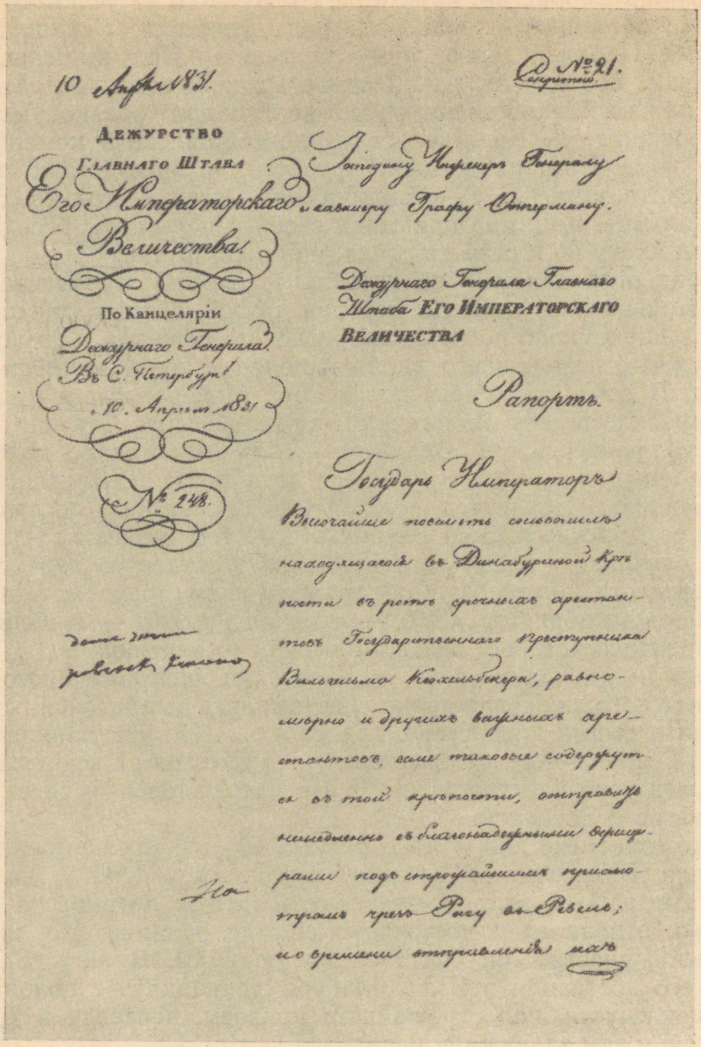
Среди отправляемых на каторжные работы декабристов не один только Розен имел в Эстонии друзей, родных, знакомых. В Таллине хорошо помнили гвардейского офицера Александра Бестужева, исходившего вдоль и поперек полюбившийся ему город. В доме тартуского профессора Мойера, как и прежде, произносилось имя Вильгельма Кюхельбекера. Студент Тартуского университета Владимир Даль вспоминал, конечно, друга юных лет морского офицера декабриста Д. Завалишина. Благородному подвигу, горестной участи ссыльных посвящены были таллинские письма Вяземского. О том же писал Языков. И не случайно к концу лета 1826 года у студентов Тартуского университета можно было обнаружить копии писем сосланных в Сибирь декабристов. «Это, — отмечал Языков, — любопытно и в политическом, и в психологическом отношении»[203].

Шли дни, текли месяцы . . . Участники разгромленного декабристского движения давно уже томились в сибирской глуши, сидели в сырых крепостных казематах . . . Но «их влияние, — писал Герцен, — не прекращалось . . . несмотря на всю тяжесть николаевского царствования»[204]. Не прерывались и связи декабристов с Эстонией.

В те горестные дни дума о родных ему местах по-прежнему владела Вильгельмом Кюхельбекером. Осужденный на каторжные работы этот замечательный поэт и патриот не был, однако, отправлен в восточно-сибирские рудники. По «высочайшей милости» он скитался по тюрьмам. В августе 1826 года его доставили в Шлиссельбург, тринадцать с половиной месяцев спустя, под строжайшим конвоем, перевели в Динабург, но и там задержали ненадолго.

«Я пишу вам только несколько слов — не потому, что у меня нет времени на большее, — сообщал Кюхельбекер матери 14 апреля 1831 года, — но потому, что слишком много чувств обуревает меня; я покидаю Динабург; меня переводят завтра в Ревель . . .»[205]

В то же утро коменданту Вышгородской крепости вручили секретный пакет. Из Петербурга извещали о переводе в Таллин



10 Апрѣля 1831. № 21. Секретный

Дежурство Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества.

По Канцеляріи Дежурнаго Генерала. Въ С. Петербургѣ 10. Апрѣля 1831

№ 248.

Господину Инженеръ Генералу и кавалеру Графу Оппермину.

Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества

Рапортъ.

Государь Императоръ

Высочайше повелѣть соизволилъ находящагося въ Динабургской крѣпости въ ротѣ срочныхъ арестантовъ Государственнаго Преступника Вильгельма Кюхельбекера, равномѣрно и другихъ важныхъ арестантовъ, если таковые содержутся въ той крѣпости, отправить немедленно съ благонадежными фельдъегерями подъ строжайшимъ присмотромъ чрезъ Ригу въ Ревель; и о времени отправленія ихъ

Секретный рапорт дежурного генерала Главного штаба с повелением Николая I о переводе В. К. Кюхельбекера из Динабургской крепости в Ревель (Таллин).

Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

«государственного преступника» Кюхельбекера, которого надлежало «содержать строжайшим образом», не допуская ни малейшего послабления сурового тюремного режима.

Прошло еще несколько дней, и поэта-декабриста доставили в Таллин. Наглухо закрытый экипаж вкатил в крепостные ворота. Новый арестант пересек тюремный двор, в темном коридоре звякнула щеколда, и узника ввели в мрачный, сырой каземат. Из Таллина в Петербург полетело срочное донесение о том, что важный «государственный преступник» «под присмотром динабургских арестантских рот подпоручика Черниловского-Сокола, одного унтер-офицера и одного рядового сего месяца 19 числа по полудни в 5 часов в . . . Ревельскую крепость доставлен и посажен за строжайшим присмотром в особый покой здешнего Вышгородского тюремного замка»[206].

Железная решетка и толстые стены отделяли теперь Кюхельбекера от родной ему Эстонии. Из окна темницы он видел лишь клочок голубеющего неба. А под этим небом стелились исхоженные им равнины и мшистые холмы, раскинулись поля родные, знакомый сад — священные места, где взошла заря его трагической жизни. Там, за стенами темной и крохотной камеры, на «воле», по-прежнему стонали истязаемые розгами эстонские крестьяне; как и в годы юности поэта девушки тайком пели грустные песни о бароне-палаче, о голоде и нищете, о ранней старости на помещичьей каторге.

Но эти песни не проникали в тюрьму. И узник мог лишь мысленно переноситься к берегам Авиноры, где ещё ребенком видел тяжкую жизнь закабаленного эстонского крестьянства . . . Ему чудились дома и улицы Выру — того самого городка, где впоследствии собирал народный эпос Фр. Крейцвальд . . . Он вспоминал Тартуский университет, в котором ему так и не привелось читать свои лекции . . .

В Вышгородской крепости Кюхельбекер начал вести дневник. «В Р . . . (евельском. — А. Л.) дневнике, — вспоминал он позднее, будучи уже в Свеаборге, — все мягче, живее, свежее, чем в нынешних . . . Тогда еще душа у меня не успела очерстветь от продолжительного заточения . . .»[207]

Тетради таллинского дневника — это бесценное свидетельство последнего пребывания Кюхельбекера в Эстонии — до сих пор, к сожалению, не обнаружены. Скудные же архивные документы позволяют восстановить лишь некоторые подробности вышгородского заточения декабриста.

Сидя до перевода в Таллин в Динабургской крепости, Кюхельбекер с огромнейшим трудом добился разрешения на литературную работу и переписку с ближайшими родственниками. Поэтому, попав в вышгородский каземат, он потребовал от ко-



Таллинская крепость на Вышгороде, где содержался в заточении В. К. Кюхельбекер.
Акварель А. Пецольда, 1846.
Из материалов первой научной экспедиции Русского географического общества в Эстонию.
Архив Географического общества СССР.

менданта предоставления ему тех же льгот, категорически отказался от крепостных работ. Комендант Паткуль пришел в смятение. Началась длительная переписка, завершившаяся, в конце концов, победой Кюхельбекера.

Лишь несколько его писем таллинского периода дошло до наших дней. Впрочем, и переписка эта была, по всей вероятности, весьма ограниченной. Так, известно, что Кюхельбекеру длительное время не разрешалось поддерживать непосредственную связь с находившимся в ссылке братом Михаилом. Предназначенные для Вильгельма письма поступали из Сибири не к нему, а к родным поэта, там с них снимали копии, которые в свою очередь, пересылались в Таллин.

Это глубоко огорчало вышгородского узника. Он писал младшей сестре, что многое бы отдал за простое письмо в прозе к жившему вдалеке Михаилу. Но преодолеть суровый запрет долго не представлялось возможным. И Кюхельбекер вынужден был ограничиваться стихотворными посланиями. Они проделывали тот же кружной путь, что и письма Михаила: через родных и уже оттуда — в Сибирь.

Находясь в Таллине, Кюхельбекер, по мере возможности, продолжал следить за развитием отечественной литературы. «Твое дружеское предложение посылать мне иногда книги, — писал он 10 августа 1831 г. сестре, — очень меня тронуло и я принимаю его без ложной деликатности с величайшей признательностью. Попрошу тебя, в частности, время от времени присылать мне новинки нашей литературы, что будет наиболее замечательно. Не надо Булгарина, но если Пушкин выпускает что-либо новое, это будет мне истинным наслаждением»[208].

Темницы Вышгорода также не были для поэта долгим пристанищем. Вскоре же после прибытия Кюхельбекера в Таллин, Николай приказал перевести его в Свеаборг. Коменданту ревельской крепости передали из военного министерства секретное распоряжение об отправке узника «под надежным присмотром» к новому месту заключения. 7 октября 1831 года Кюхельбекер на фрегате «Юнона» покинул Таллин. Последовавший в связи с этим рапорт командира отдельного финляндского корпуса генерал-адъютанта Закревского управляющему Главным штабом графу Чернышеву содержит упоминание о том, что у доставленного из Таллина Вильгельма Кюхельбекера было «найдено ... на разных диалектах 16 книг ..., письма от разных лиц и черновые бумаги его сочинения: дневный журнал, комедия и другие мелочные записки»[209], свидетельствовавшие о его напряженной творческой работе в Таллине.

С грустью покидал поэт, на сей раз уже навсегда, родную ему Эстонию. Это чувство наложило заметный отпечаток на его первые свеаборгские дневниковые записи. Оно отразилось и в стихах, написанных Кюхельбекером в новом месте заточения.

Перед окном камеры, в которой поместили декабриста, рос развесистый, «исполненный могучей красоты» клен. О многом дорогом напомнил Кюхельбекеру этот «кудрявый сын лесов священных» и он обратился к нему с сердечными, проникновенными строками:

... Здесь не с кем мне — поговорю с тобою
О милой сердцу стороне;

О времени, когда подобно птице,
Жилице вольной средь твоих ветвей,
Я песнь свободную певал деннице
И блеску западных лучей;

Тогда с брегов смиренной Авиноры,
В лесах моей Эстонии родной,
Впервые жадно в даль простер я взоры,
Мятежной мучимый тоской.

Твои всходящие до неба братья
Видали, как завешанную тьмой
Страну я звал, манил в свои объятья, —
И покачали головой . . .[210]

В Свеаборгской крепости Вильгельм Кюхельбекер получил, наконец, возможность переписываться с находившимся на каторге братом. За много тысяч верст, в заштатном сибирском городке Баргузине, Михаил Кюхельбекер читал его стихотворное послание, напоминавшее о детстве, о родном доме в далекой Эстонии:

. . . я на бреге Авиноры,
Над зеркалом реки моей родной . . .
Здесь за струей когда-то наши взоры
Бежали, жадные, в туман дали седой;
Мы здесь, мой брат, рука с рукой
Бродили, счастливые дети,
Глядели, как рыбак закидывает сети,
Или как челн скользит над светлой глубиной.

Но, как далеки те дни! — восклицал поэт. «Увы, давно цветы те отцвели, давно смешались с перстию земли . . .»[211] Тюремные казематы, сибирская каторга оторвали братьев от родного обоим края.

В Европейской России мало знали тогда о жизни декабристов на каторге, ибо правительство стремилось к полной изоляции «государственных преступников». «Писать к своим родственникам мы не смели; — вспоминал Андрей Розен, — некоторые из нас были совершенно отвергнуты своими родными и забыты; вероятно подобная участь постигла бы большинство, если бы не последовали за нами эти женщины (жены декабристов — Нарышкина, Муравьева, Трубецкая и др. — А. Л.), не вели бы с нашими родственниками корреспонденции и, поддерживая переписку, не поддерживали бы этим памяти о нас в цивилизованном мире»[212].

Несмотря на огромные трудности, сведения об изгнанниках постоянно проникали в Россию. Они доходили также и в Эстонию. Одним из источников этой ценной информации был тартуский астроном Василий Федоров.

Совершая в 1832 — 1837 гг. знаменитую сибирскую экспедицию, предпринятую Тартуским университетом в тесном контакте с Петербургской академией наук, талантливый ученый посетил Минусинский округ. На далекой и глухой окраине Российской империи поселена была тогда большая группа декабристов: А. Беляев, П. Беляев, Киреев, Краснокутский, Кривцов, А. Крю-

19. Октября 1831. секретно № 171.

41

Ревельского Коменданта
Свиты
Его Императорскаго
Величества
Генералъ Маіора
Паткуля.

№ 42.
4. Октября 1831.
Ревель.

Управляющему дѣлами Инспектора
Инженернаго Корпуса Господину Ге-
нералъ Адъютанту и кавалеру Герца.

Въ Слѣдствіе секретнаго пред-
писанія Исправлявшаго должность
Инспектора Инженернаго Корпуса
покойнаго Инженеръ Генерала Графа
Оппермана отъ 4. числа Маія сего
года за № 60, содержащійся здѣсь
въ Ревелѣ Крѣпостной арестантъ
Государственной Преступникъ Вильгельмъ Кюхельбекеръ, во исполненіе
Высочайшей воли, на назначенномъ
Командиромъ Здѣшняго Порта
Генералъ Лейтенантомъ Спафарье-
вымъ военномъ фрегатѣ Юнона
сего мѣсяца 7. числа отправленъ
отъ сюда къ Свеаборгскому Коменданту
Инженеръ Генералъ Маіору Гебекеру,
о чемъ Ваше Превосходительство
увѣдомить честь имѣю. —

по 20 ст. 71.

Ревельскій Комендантъ Генералъ Маіоръ Паткуль

Секретное донесение ревельского коменданта Паткуля об отправке В. К. Кюхельбекера на фрегате «Юнона» из Таллина в Свеаборгскую крепость.

Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

ков, Н. Крюков, Мозгалевский, Тютчев, Фаленберг и Фролов. Занимаясь астрономическими наблюдениями и тригонометрическими измерениями, устанавливая точное положение многих географических пунктов, Федоров оказался в тех местах, где жили эти ссыльные «бунтовщики».

Об одной такой встрече упомянул в своих воспоминаниях П. Беляев. С огромной теплотой отозвался он о тартуском ученом. «Это была чудная и симпатичная личность, какую редко можно встретить . . . — писал о Федорове Беляев. — Мы с братом (который, кстати, бывал в Эстонии. — А. Л.) просто влюблены были в этого чудного человека и с большим сердечным сожалением с ним расстались».

Тартуский астроном, по свидетельству того же Беляева, пробыл в Минусинске одну или две недели. Декабристы часто бывали у него, интересовались его исследованиями[213]. Участники декабрьского восстания, являвшиеся неутомимыми следопытами «страны изгнания» — Сибири, своими ценными советами и важными наблюдениями оказали Федорову огромную услугу. Но, описывая многолетнее путешествие, тартуский ученый не мог даже упомянуть об этой бескорыстной помощи, так как появление имен декабристов в печати категорически запрещалось.

Помимо Минусинского округа, Федоров посетил и другие места ссылки «бунтовщиков». Об этом говорят его письма из Сибири профессору В. Я. Струве[214], письма, о которых знали многие студенты и воспитанники профессорского института. Более чем вероятно, что эти письма были известны, в частности, талантливейшему ученику Струве — впоследствии профессору Петербургского университета и члену Академии наук — А. Н. Савичу[215], часто бывавшему у Струве будущему великому армянскому писателю — демократу Хачатуру Абовяну[216]. Несомненно также, что по возвращении в Эстонию Федоров рассказал тартуским друзьям о своих замечательных встречах.

Правдивые сведения о тяжелой жизни в Сибири участников восстания получала также таллинская жительница Мария Васильевна Малиновская. Находясь в близких родственных отношениях с Андреем Розеном (его жена была родной сестрой Малиновской), она поддерживала с ним постоянную переписку. Письма, по всей вероятности, шли через тех героических женщин, которые добровольно разделили судьбу своих мужей. В одном из этих писем Мария Васильевна просила рассказать о пребывании на каторге декабристов. Розен ей охотно ответил и 21 октября 1832 года отправил из Кургана в Таллин обширное послание.



Декабристы на работе в Чите: впереди стоит Трубецкой, роет Кюхельбекер, читает Розен.
С картины худ. А. Моравова.

В Эстонии у Малиновской — дочери первого директора царскосельского лицея — был довольно широкий круг знакомых. Поэтому полученное из далекой сибирской глуши письмо сразу же стало известно многим. В прогрессивно настроенных кругах таллинской интеллигенции с сочувствием к декабристам перечитывались страницы, повествовавшие о чудовищной каторге. «Летом и осенью до мороза, — сообщал Андрей Розен, — занимались мы земляною работою . . . ; копали сами фундамент к новому острогу, вырыли ров для частокола, подымали дорогу по главной улице и два лета сряду заваливали овраг глубокий, который был промыт стоком с гор снежной воды и дождя и уже прорезал дорогу через селение . . . Заступ, лопата, кирка и топор были нашими рабочими орудиями, а песок и землю возили мы в тачках или носили на носилках . . .»[217] Доставленное в Эстонию письмо рассказывало о смелом поступке жены Розена. Эта отважная женщина,

оставив в Таллине, у сестры, своего ребенка, последовала за мужем на каторгу.

Многие тысячи верст отделяли Эстонию от сибирских рудников. Но ни огромное расстояние, ни десятилетия каторги не истребили ту глубочайшую заинтересованность к положению эстонского народа, которую проявляло всегда первое поколение русских революционеров. Когда заключенные в Читинском остроге создали своеобразную «академию», одной из первых была прочитана лекция об экономическом состоянии крестьян Прибалтики. Ее слушали Н. М. Муравьев, Ф. Б. Вольф, П. С. Бобрищев-Пушкин, А. О. Корнилович, П. А. Муханов, А. И. Одоевский, К. П. Торсон и другие декабристы. Андрею Розену, по его собственным словам, пришлось «пояснять» свершившееся в 1816—19 гг. «личное освобождение крестьян Прибалтийских губерний из крепостной зависимости без всяких выкупных договоров . . .»[218]

XI. СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Орлы слетаются!

Декабрист Г. Батеньков

После десятилетнего пребывания в Сибири, Андрея Розена повелено было определить рядовым в Кавказский отдельный корпус. 10 ноября 1837 года он прибыл в Тифлис. Но недолго оставался Розен в Грузии. «Я просил об увольнении меня от службы по расстроенному здоровью и о позволении окончить дни мои на родине»[219], — рассказывал больной декабрист. В прошении он писал: «Я имел счастье родиться в Эстляндии . . .»[220]

В феврале 1839 года Розен уже праздновал отставку. Ему разрешалось «жить безвыездно на родине под надзором полиции»[221] и он в связи с этим возвращался в Эстонию.

В своих записках декабрист с мельчайшими подробностями рассказал о встрече с родиной. Он описал короткое пребывание в Нарве, беседу со старым учителем, знакомые по детским воспоминаниям места. «Все было родное, — писал он, — от неба до земли . . . Вайварские горы после сибирских и кавказских показались мне не исполинскими, но все же прелестными; море Балтийское или Варяжское видно было у Вайвары, Пейтгофа, Раустфера и Чудлей в различных переливах синего, серого и белого цвета»[222].

В пути Андрей Розен встретил эстонских крестьян — тех самых закабаленных крестьян, о тяжелом положении которых



Имение Солдино (близ Нарвы), где жил после возвращения в Эстонию декабрист А. Розен.
Рисунок 1854 г.
Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

он так часто и подробно рассказывал товарищам по ссылке. «Обрадовался встрече с работающими эстами»[223], — отмечал в записках Розен. Спустя неделю после возвращения в Эстонию, он уже ходил по улицам Таллина. «Я спешил воспользоваться правом путешественника, — говорил Розен, — потому что в указе моей отставки было сказано, чтобы я безвыездно находился в пределах места жительства»[224].

В течение многих лет Андрей Розен не расставался с Эстонией. Здесь он принимал друзей — декабристов М. М. Нарышкина и М. А. Назимова, с которыми «делил испытания жизни затворнической, изгнаннической, поселенческой в Сибири и солдатской на Кавказе»[225]. Здесь он встретил возвращенного в 1853 году на родину, в Нарву, члена Южного общества Василия Тизенгаузена. Несмотря на старость, писал о нем Розен, этот мужественный человек бодро переносил все лишения и весело понес первые носилки песку на каторжных работах в Чите.

Из Эстонии Розен вел переписку со многими декабристами. В архиве Института русской литературы Академии наук СССР хранятся его письма к Е. П. Оболенскому, свидетельствующие о том, что и вернувшись в родные края, он не прерывал с тем самую сердечную дружбу. «Благодарю тебя за приятное и милое письмо твоё, — писал Розен Оболенскому в апреле 1840 года, — я рад, что могу себе представить твою жизнь и ты



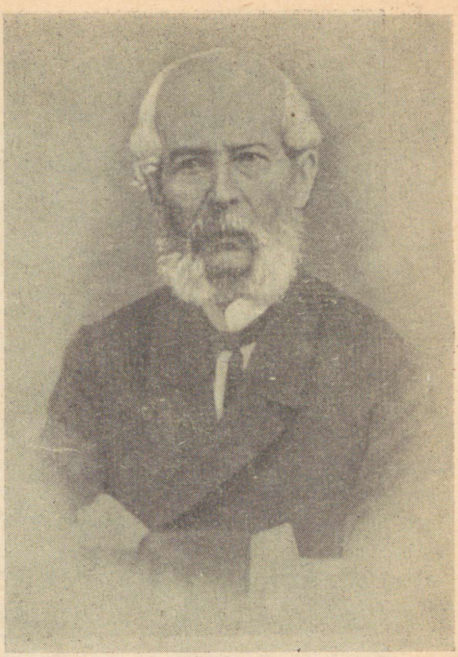
Декабрист М. А. Назимов, приезжавший в Эстонию к Андрею Розену.

С рисунка Н. Бестужева.

явно показываешь богатство любящей души, которая нигде не скучает и во всяком месте находит ближних и умеет быть им полезным»[226]. В том же письме он рассказывал томившемуся в ссылке другу о своей жизни на Кавказе и переезде в Эстонию; сообщал о кончине Одоевского и судьбе декабристов Чернышева, Кривцова, Окулова; рассказывал о полученном письме «от доброго Пущина». Спустя несколько месяцев, Розен передал Оболенскому вести, которые ему прислали сосланные на Кавказ декабристы. Оболенский же сообщил в ответ о забайкальских товарищах.

Сохранившиеся письма и другие материалы позволяют установить корреспондентов Андрея Розена. Среди тех, кто писал ему в Эстонию, помимо Е. Оболенского, были Н. Тургенев, И. Пущин, М. Кюхельбекер, М. Назимов, К. Торсон, А. Бригген и многие другие. Розен внимательно следил за их жизнью, подбадривал одних, помогал другим. К нему, в Эстонию, протягивались нити едва ли не от всех мест, где находились ссыльные декабристы.

Эстония, как и ранее, посещалась тогда многими деятелями декабристского движения. Мы упоминали уже о поездках туда

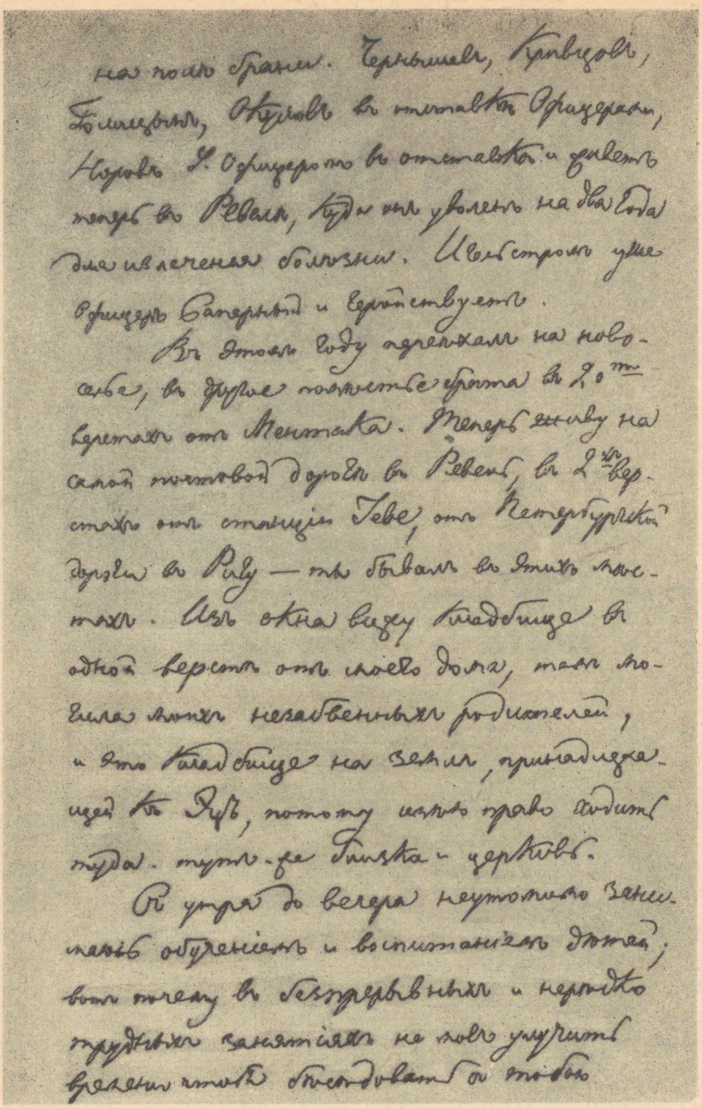


В. Тизенгаузен, член Южного общества, уроженец Эстонии. С рисунка Н. Бестужева.

М. Нарышкина и М. Назимова. В 1839 году, незадолго до смерти, в Таллине побывал член Южного общества Н. Булгари. В Хаапсалу жил и умер член Союза благоденствия Ф. Кальм.

После двухлетнего заключения в казематах Петропавловской и Свеаборгской крепостей, каторжных работ в Бобруйской крепости и службы рядовым на Кавказе, в Таллине, в 1839 году, поселился член Южного общества Василий Сергеевич Норов. «Приехал я сюда в добром здоровье 23 июня . . . — сообщал он родным. — Здесь в Ревеле я был очень хорошо принят всеми . . .»[227] В том же письме Норов просил подготовить ему «на случай б у р и» убежище в родовом имении отца, подразумевая под б у р е й возможность запрещения проживать в Эстонии.

В Таллине, восстанавливая разрушенное в тюрьмах здоровье, Норов провел лето 1839—40 гг. «Знай, милая сестра, — писал он ей в те дни, — что меня здесь любят почти так же, как ты любила меня, когда нас разделяли Эльбрус и Казбек. Наконец, я нашел уголок в Европейской России, где меня знают больше, чем вы, в ваших варварских болотах . . .»[228] Многозначительное — «меня знают» — относилось, по всей



Автограф письма, отправленного А. Розеном 12 апреля 1840 г. из Эстонии в ссылку — декабристу Е. Оболенскому (отрывок). В этом письме сообщается о судьбе многих участников декабрьского восстания.

Из архива Е. Оболенского.

Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

вероятности, не лично к Норову, а к участникам декабристского движения, представителем которого он являлся.

Но разрешение жить в Таллине дано было Норову лишь на летние месяцы. С первыми осенними днями декабрист уже покидал Эстонию. И вновь он попадал под надзор «алгвазилов» — так называл Норов агентов тайной полиции, — неотвязно следивших за каждой его прогулкой и поездкой.

Только в 1843 году Норову позволено было окончательно поселиться в Эстонии. До нас дошли два его письма, сохранивших некоторые подробности таллинской жизни декабриста. «Здесь летом морское купанье мне много помогает и разгоняет хандру; — рассказывал он в декабре 1851 г. — зимою порядочная опера и немецкая труппа, но немцам я мало симпатизирую... Всё фрейлины, флигель- и генерал-адъютанты, звезды, шифры, лесть, скука, болтовня про двор»[229].

Однообразие жизни Норова в Таллине нарушали лишь встречи с участниками Отечественной войны. Как радостно было увидеть ему тех, с кем сражался он при Тарутине, под Красным, Люценом, Бауценом, Кульмом! Беседы с ними были едва ли не единственной отрадой декабриста. «Эти воспоминания, — писал он сестре, — дороже для меня, чем гостиная и придворная болтовня»[230].

В конце 1853 года Норов тяжело заболел. Но и тогда царь категорически отклонил просьбу родных об их поездке к одинокому старику. Василий Сергеевич Норов умер 10 декабря. До последних минут декабриста окружали многие из его таллинских друзей.

Тесные связи декабристов с Эстонией, даже спустя много десятилетий после событий на Сенатской площади, не ограничивались одними лишь поездками их в Таллин или Тарту. И в 50—70 годах среди остававшихся в живых участников декабристского движения были и такие, которые по-прежнему проявляли искренний интерес к прибалтийским делам. Как и ранее, они выступали против средневековых привилегий остзейских баронов, за предоставление эстонским крестьянам подлинной свободы. От них не могло, разумеется, укрыться, что утвержденное царем в 1856 году положение о крестьянах Эстляндской губернии, так же как и все предшествовавшие ему «освободительные» акты, оставили, по существу, крестьянскую массу в крепостной зависимости.

В 1858 году, в одном из выпусков «Русского заграничного сборника», Н. Тургенев писал, что пресловутое безземельное «освобождение» эстонских земледельцев не дало им какого-либо облегчения. Если в молодости он склонен был колебаться в оценке «реформы» 1816 года, то теперь Тургенев уже кате-



Н. И. Тургенев.
С рисунка Н. Бестужева.

горически утверждал: «опыт был неблагоприятен для защитников личного освобождения»[231]. Он осуждал узаконенное в Прибалтике положение, предоставлявшее «помещику право наказывать телесно крестьян. Дать кому бы то ни было право сечь, по произволу, вольного человека, — заявлял Тургенев, — есть такая несообразность со всеми началами самой простой справедливости, которая не требует дальнейшего опровержения»[232].

Выступая в 1859 г. на страницах герценовского «Колокола», Н. Тургенев с возмущением писал, что в Эстонии помещики по-прежнему «видели в крепостном человеке вещь, а не лицо»[233]. Он сравнивал остзейских баронов с американскими плантаторами, а положение эстонских земледельцев — с кошмарными условиями, в которых и по сей день живут в США миллионы негров.

«Американские плантаторы, — утверждал Тургенев, отмечая общность их интересов с интересами прибалтийских помещиков, — в безумии своём ищут оправдания рабства в библии и, путаясь более и более в таких изысканиях, подкрепляемые синодальными приговорами их духовенства, дошли, наконец, до уродливого и непостижимого заключения, что не верить в

рабство значит не верить в бога и что противящиеся рабству — безбожники!»[234]

Анализируя в 1859 году многочисленные проекты «освобождения» русских крестьян, Тургенев с сожалением констатировал их родственную близость прибалтийским крестьянским «реформам». «Мы не можем здесь не заметить, — писал он, — что многое неловкое и недостойное в предположениях и проектах, и именно сиё предоставление помещику права наказывать вольных крестьян, очевидно, заимствовано из учреждений остзейских губерний. По нашему мнению нельзя избрать более печального, более пагубного примера, как сии учреждения... В составлении сих учреждений участвовали наиболее сами помещики». Тургенев признавал, что в Прибалтике «в водворении нового порядка» (т. е. «освобождения» крестьян) всё подчинилось «грубому, слепому чувству личных выгод, собственного интереса»[235] остзейского барона.

Этого не мог понять другой ветеран декабристского движения, хоть и связан он был с Эстонией значительно более крепкими узами, чем Н. Тургенев. Мы имеем в виду А. Розена, после ссылки проведшего много лет в родных местах и весной 1856 года переехавшего на Украину, в то самое село Каменку, где ранее собирались члены Южного общества, где бывали Пушкин, Пестель, Сергей Муравьёв-Апостол, Волконский...

На Украину к Розену доходили вести о массовых волнениях, охвативших значительную часть Эстонии; вести о том, что в поисках лучшей жизни эстонские крестьяне бежали в другие губернии. Это и побудило его, по всей вероятности, написать в январе 1869 года записку «Частное мнение эстляндского помещика по делу общественному»[236]. Однако уже в первых строках записки автор предусмотрительно оговорился, что не входит «ни в какие рассуждения о причинах беспокойств и передвижений крестьян»; что он излагает лишь «главные средства, с помощью коих власть имеющие могли бы приступить к безотлагательному устранению этих беспокойств». Одним из таких средств должен был, по мнению Розена, явиться выкуп эстонскими крестьянами части баронской земли с тем, чтобы «окончательно прекратилось всякое обязательное отношение между помещиками и крестьянами».

Признавая, что главное внимание следовало обратить на большинство населения Эстонии, на крестьян, Розен стремился, вместе с тем, оградить интересы остзейского дворянства — этой, по его определению «особой касты со времён древнейшего рыцарства». Что касается принадлежавших баронам привилегий, уверял он, то «несообразные с общею пользою государ-

ственною, не согласующиеся с духом времени, они исчезают сами собою . . .» Следовательно, и нечего с ними бороться!

Это ошибочное положение А. Розена в том же 1869 году было развито им в «Записках декабриста»[237]. В них отразилась классовая ограниченность мировоззрения мемуариста, мечтавшего, по существу, о сохранении в Прибалтике «особого порядка», стремившегося обелить остзейское дворянство, приписать ему такие высокие качества, как благородство, человеколюбие, патриотизм.

«Записки» в той их части, которая касалась Эстонии, вызвали резкое осуждение со стороны некоторых былых соратников Розена по декабристскому движению. «Во имя правды долгом считаю заявить, — писал в «Русском архиве» П. Н. Свистунов, руководивший в молодые годы петербургской ячейкой Южного общества, — что мнения и чувства, выраженные автором «Записок декабриста» во второй части его книги, принадлежат лично ему, и ответственность за них не должна падать на существовавший некогда тайный союз, хотя заглавие книги даёт повод предполагать, что этим мнениям и стремлениям сочувствовали декабристы»[238].

Статья со столь категорическим опровержением выразила, по заключению одного из исследователей[239], мнение ряда декабристов, ибо была, в какой-то степени, плодом коллективного труда. После выхода из печати книжки «Русского архива» с критикой мемуаров А. Розена цензор, признавшись в своей оплошности, сообщил по начальству об «опасном» содержании статьи Свистунова. Однако изъятие из продажи томов журнала могло только лишь усилить и без того немалый интерес к выступлению декабриста. Вот почему цензура и воздержалась от каких-либо репрессивных мер по отношению к автору и его издателю.

«Записки» Розена осуждены были и Владимиром Сергеевичем Толстым, в прошлом членом Южного общества. До нас дошел принадлежавший Толстому экземпляр книги с его многочисленными пометками, подвергающими уничтожающей критике позицию автора мемуаров в решении прибалтийских вопросов.

«В нашем веке эстляндские дворяне отличаются усердною службою государю и отечеству . . .» — так писал А. Розен. И Толстой отмечал на полях: «Только не русскому отечеству, а фатерланду или, ещё вернее, источнику личных видов, личного честолюбия, личных расчётов на обогащения и возвышения»[240]. Это было его первое касавшееся Прибалтики замечание, сразу же определившее верность Толстого декабристской оценке остзейского дворянства, как угнетателя эстонского

народа; верность оценке, данной еще в 20-х годах Александром Бестужевым, Вильгельмом Кюхельбекером, Павлом Пестелем, Николаем Тургеневым.

Толстой отвергал также утверждение Розена, что «латыши и эсты во всех отношениях, кроме языка своего, уже давно германизированы», ибо и это не соответствовало действительности. В прибалтийских губерниях, возражал он автору «Записок», «пасторов ненавидят за их надменность и постоянно оказываемое презрение к простолюдинам; баронов того ещё больше ненавидят; ни языка, ни обычаев, ни понятий немецких нет и признака у латышей и эстов».

Остзейские бароны, писал Толстой, — это «чужеедный наплыв», это «иностранные пришлецы», столетиями угнетавшие коренное население края. Толстой не склонен был, подобно Розену, рассматривать пресловутый «особый порядок», как «аристократическую» форму управления прибалтийскими губерниями. Не аристократическими, заявлял Толстой, а феодальными, можем мы назвать учреждения, с помощью которых Эстония и Латвия по-прежнему являются баронской вотчиной. Следует ли говорить о «значительном превосходстве» остзейского «самоуправления», если это «самоуправление» является ничем иным, как «самоуправством баронов», «тиранством над латышами и эстами».

Как и многие его современники, Толстой глубоко сознавал, что Россия — отечество великого народа и Россия — царская империя — совсем не одно и то же. И его не могли поэтому ввести в заблуждение уверения Розена, что прибалтийские дворяне отстаивали, будто бы, русские интересы; что они, якобы, отличались всегда своими патриотическими чувствами и действиями, своей преданностью России. Не о русских интересах заботились бароны, писал Толстой, а об интересах «императоров российских и царствующей династии»; не России были они преданы, а престолу; не патриотическим были воодушевлены они чувством, а царедворским. Ибо верность престолу, «придворный брудершафт» и обеспечивали по-прежнему остзейским дворянам гнуснейшее право держать эстонский народ в узде «ненавистного ему управления».

Избавить Прибалтику от ига баронов — это значит «предоставить им переселиться куда хотят», за пределы России, — такова была позиция, занятая в этом вопросе старым декабристом. «Относительно Прибалтийского края личные стяжания, шарлатанство затемняют истину, — писал Толстой. — Меченосцы и прочие рыцари насильственно, собственно для себя лично, силою и мечём поработили аборигенов, потомки их из своекорыстия продолжали это насилие и поныне, но теперь,

видя, что много обстоятельств изменилось, они непрошенно выдаются за представителей прибалтийских стран. Пускай сорвётся маска, и тогда страна окажется латышей и эстов, а горсть потомков рыцарей окажется инородными, иностранными пришлецами, и прибалтийская окраина станет действительно Россиею!»

Эти пламенные и гневные строки принадлежали перу русского человека, ратовавшего за избавление эстонского и латышского народов от многовекового ярма остзейских баронов. И был этим русским человеком декабрист Владимир Сергеевич Толстой, до конца жизни сохранивший свою преданность идеям далекой революционной молодости.

XII. ШТУРМАНЫ БУДУЩЕЙ БУРИ

> Мы по непременному закону оставляем в наследство идею для руководства новому поколению, и эта идея и растет и будет и должна расти, и никакие препятствия не сожмут её... и потому будущность наша светлая.
>
> *Декабрист В. Раевский*

В 1861 году из Петербурга в Тарту доставили потрепанный экземпляр «Полярной звезды». На обложке издававшегося Герценом вольного русского журнала запечатлены были упрямые и хмурые черты Пестеля, высокий лоб Рылеева, ясный профиль Муравьева-Апостола, мечтательный взгляд Бестужева-Рюмина, вдохновенное лицо Каховского...

Когда в комнате тартуского студента Манассеина собрались его друзья, хозяин извлек из потаенного места «Полярную звезду» и, приглушая голос, прочел пламенные строки о России, томившейся в оковах царизма, о Свободе, за которую вместе с русским народом боролся и угнетенный народ Эстонии.

Десятилетия отделяли молодых людей от сумрачного декабрьского утра 1825 года. Но бронзовая медаль с лицами казненных революционеров, огнедышащие строфы поэта-борца вернули их к тем далеким дням, когда декабристы — глашатаи русской вольности выступили с оружием в руках против самодержавия, против крепостного гнета. С какой надеждой повторяли они опубликованные в герценовском журнале страстные стихи Рылеева:

Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья[241].

Их дело не пропало — говорил о декабристах спустя много лет великий Ленин. Он отвел им почетное место в истории нашей Родины: «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря . . .»[242]

Декабристы были далеки от народных масс, ограничены были и их программные требования. Однако они положили начало революционному освобождению родины от самодержавия, от крепостного деспотизма. Посвятив свою жизнь борьбе за свободу, эта фаланга героев первой выступила и против эксплуатации эстонского крестьянства, против чудовищного произвола, чинимого в Прибалтике остзейскими баронами.

. . . Если вам доведется побывать в Эстонии, вспомните:

Тарту, где изучают сейчас науки сыны и дочери сааремаских рыбаков и кохтлаярвеских шахтеров, сохранил следы шагов Александра Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера;

на берегах бурной Нарвы, где ныне создана мощная ГЭС, стояли писатели-декабристы, посвятившие этой реке пламенные, вдохновенные строки;

в Таллине, где воздвигаются чудесные дома и разбиваются новые скверы, томились в заточении первые русские революционеры;

в живущей счастливой жизнью эстонской деревне Николай Тургенев и Александр Бестужев скорбели когда-то о горе и нищете народной.

Об этом никогда не забывают труженики Советской Эстонии. Они высоко чтут имена декабристов, сыгравших выдающуюся роль в укреплении многовековой дружбы русского и эстонского народов.

В ТИСКАХ ЦЕНЗУРЫ

И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали...

М. Салтыков-Щедрин

В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений.

Н. Огарёв

По меткому определению А. И. Герцена, Россия 40—50-х годов была «одним обширным острогом, к обмёрзшим дверям которого был привален Николай»[1]. Всё ощутимее становился кризис крепостнических отношений, препятствовавших развитию производительных сил страны. Стремление помещиков увеличить продуктивность своих хозяйств привело к еще более чудовищной, чем до той поры, эксплуатации многомиллионного крестьянства.

Усиление помещичьего гнета способствовало обострению классовой борьбы. Со всех концов николаевской империи доносились отзвуки разраставшегося крестьянского движения, шли вести о поджогах господских имений, о массовых побегах из крепостной неволи, об отказе крестьян обрабатывать помещичьи земли.

Под гнетом царского произвола передовая общественная мысль России, по словам В. И. Ленина, жадно искала в ту пору правильной революционной теории.[2] Идеи Белинского, Герцена, Чернышевского, Огарёва, Добролюбова стали тогда величайшей силой в борьбе против самодержавия, против крепостного права.

Но открытая пропаганда революционного мировоззрения, правдивое отражение в легальной печати жизни порабощенных народных масс, освещение хода освободительного движения пресекались жесточайшими законами полицейской цензуры. По свидетельству современника, уже в 40-х годах в России «начались цензурные оргии, рассказам о которых не поверят не пережившие это постыдное время»[3].

Цензура пыталась закрыть уста и тем прогрессивным деятелям России, которые выступали против остзейского дворянства, в защиту порабощенного баронами эстонского народа. Положение томившихся в рабстве прибалтийских крестьян, массовые волнения в эстонской деревне, разнузданный произвол баронов и пасторов скрывались завесой циничной лжи, клеветы, фальсификаций.

I. КЛЕВЕТНИКИ И ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

...Судить публично о таких предметах не было обычая.

Из официальных документов. 1841.

Сама жизнь — горькая и безрадостная — вложила в народные уста полные жуткой правды слова: «Эстония — рай для дворянства, небеса — для духовенства, золотые россыпи — для иностранцев и ад — для крестьян». Голод, эпидемии, неурожаи, помещичья кабала с каждым годом становились в Прибалтике всё более невыносимыми. Пресловутое «освобождение» 1816 г. способствовало дальнейшему обнищанию эстонского крестьянства. В значительном большинстве, не владея даже мизерным клочком земли, оно страдало под тяжестью отработочных повинностей. «Реформа» насильно привязала крестьянина к господскому имению. Всецело завися от помещичьей прихоти, от произвола баронских слуг, эстонский земледелец всё более разорялся. Сплошь да рядом он не имел ни собственного крова, ни постоянного куска хлеба, лишался и скота, и орудий труда.

В условиях жесточайшего угнетения самоубийство доведенного до отчаяния бедняка стало в 40-х годах обыденным явлением. В «Ведомостях о происшествиях», отправляемых в Петербург, эстляндский гражданский губернатор хладнокровно сообщал о крестьянине мызы Карроль Томасе Гутмане, найденном повесившимся под крышею хозяйского дома;[4] о самоубийстве крестьянина Карла Курьяма [5]. Эзельский орднунгсрихтер с неменьшим равнодушием доносил в те годы по начальству об умершем на мызе Магнусгоф от голода крестьянском ребенке Лене Нурк [6].

Посетивший в 1841 году Прибалтику русский чиновник с возмущением рассказывал, что, когда однажды врач спас умиравшего крестьянского парня, родители выразили свое искреннее неудовольствие. «Они полагали, — сообщал очевидец, — что гораздо лучше было бы их сыну умереть, чем вернуться к

жизни затем, чтобы вновь умирать медленной голодной смертью»[7].

Лишь незначительная часть крестьянства сумела извлечь выгоды из своего личного освобождения. Это были, в основном, владельцы мельниц и лесничии, корчмари и служащие помещика, скупщики и спекулянты. Шло расслоение эстонской деревни. Разорившиеся арендаторы теперь уже батрачили не только в имении, но и в крупных кулацких хозяйствах.

Снег ли с неба валится,
град ли с неба падает,
дождь ли льет как из ведра,
на работе будь с утра . . .
Всё равно, хоть надорвешься,
только ругани дождешься, — [8]

пели эстонские батраки и батрачки.

Усиление обнищания народных масс вызвало новую волну крестьянского движения. Ожесточенная классовая борьба, принявшая в 40-е годы во многих российских губерниях широкие размеры, охватила также Эстонию и Латвию. «Мысль о свободе крестьян тлеет между ними беспрерывно, — доносил в 1841 году царю в связи с событиями в Прибалтике шеф жандармов. — Эти темные идеи мужиков все более и более развиваются и сулят нечто нехорошее . . . Семена беспокойства брошены в умы и идея свободы . . . кружится в народе . . .»[9]

Мысль о свободе, но не о той, которая была ему дарована еще в 1816 году, а о свободе подлинной — с землей и без опостылевшего помещичьего ига, действительно владела эстонским крестьянином. Отчаявшись обрести ее в родных ему местах, он готов был уйти в далекие «теплые края», на юг России, где, по слухам, его бесплатно наделили бы клочком плодородной земли. Но на пути уверовавшего в легенду несчастного труженика стоял барон. Боясь потерять дешевые рабочие руки, помещик силой кнута и палки стремился удержать крестьянина в кабале, сломить разгоравшееся массовое движение.

В 1841 году далеко за пределы Прибалтики молва разнесла подробности о «войне в Пюхаярве». То была битва не на жизнь, а на смерть, битва «взбунтовавшейся» бедноты против брошенной на ее усмирение роты пехотинцев. Вооруженные лишь дубинами, крестьяне не могли противостоять солдатам, и «война» завершилась расправой над десятками безвинных людей.

Но каторга, ссылка в Сибирь, массовая экзекуция могли только лишь заглушить (причем, на короткое время!) движе-



Прибалтийские крестьяне. Акварель А. Пецольда, 1846. Из материалов первой научной экспедиции Русского географического общества в Прибалтику.
Архив Географического общества СССР.

ние эстонских земледельцев. Уже в 1842 году в «Нравственно-политическом отчете» III отделения вновь отмечалось усиление недовольства прибалтийских крестьян «до того, что волнение между ними приняло... оборот весьма опасный»[10]. В 1845 году шеф жандармов доносил о ненависти крестьян Эстонии и Латвии к своим помещикам, о ходатайстве дерптского уездного предводителя дворянства прислать войска «для сохранения спокойствия»[11].

В губернские канцелярии Таллина и Риги всё чаще приходили сообщения о неповиновении безземельных крестьян, отказывавшихся «отправлять на будущее время повинности». Эстляндскому губернатору сообщали о господствовавшем среди крестьян «духе сопротивления, угрожавшем общественному порядку и спокойствию». Помещики требовали принятия срочных мер для «немедленного и решительного прекращения явного восстания»[12].

Против вспыхнувшего с новой силой крестьянского движения были брошены войска. В начале 40-х годов в одной лишь Латвии находилось около 10.000 солдат. Значительное количество было их и в Эстонии. Для расправы с «непокорными» власти учредили три военных суда. Прибывшему в Эстонию казачьему дивизиону предписывалось быть в постоянной готовности к подавлению крестьянских беспорядков [13].

Однако рассказать в российской печати о положении в прибалтийских губерниях не представлялось возможным. С первыми же вестями о неповиновении эстонских и латышских крестьян, между III отделением «собственной его величества канцелярии» и министерством просвещения (которому подчинено было цензурное ведомство) завязалась оживленная переписка. Речь шла о дальнейшем усилении надзора за периодической печатью. В секретном отношении от 18 октября 1841 года шеф жандармов — остзейский помещик Бенкендорф ходатайствовал о передаче прибалтийскому генерал-губернатору права контроля за деятельностью местной цензуры. Это необходимо было, по мнению губернатора и Бенкендорфа, для того, чтобы статьи «об отвращении признанных неудобств в соотношениях крестьян к помещикам... не допускались к печати».

Одновременно с отношением III отделения, в министерство просвещения поступило письмо председателя дерптского цензурного комитета. Сановный чиновник, встревоженный развивавшимся в Эстонии и Латвии крестьянским движением, также предлагал «устранить от публики суждения о возникших между помещиками и крестьянами недоразумениях»[14].

В страхе перед событиями, потрясавшими прибалтийские губернии, министр просвещения и шеф жандармов потребовали от цензуры особенной бдительности. По указанию III отделения всей российской печати, «впредь до дальнейшего распоряжения», предписывалось не касаться положения эстонских и латышских земледельцев [15]. В Эстонию из Петербурга поступило секретное отношение министра просвещения Уварова, категорически запрещавшее пропускать «статьи подобного рода»[16] в местные газеты и журналы. И без того жесточайший цензурный режим отныне стал еще более невыносимым.

В главном управлении цензуры в октябре 1841 года задержали труд декана медицинского факультета Тартуского университета, председателя Ученого эстонского общества [17] Александра Гука. Хотя большая часть сочинения, по признанию дерптского цензора, и являлась очерком исторического развития «здешних отношений крестьян», авторские комментарии приближали далекое прошлое «к недавно минувшему вре-

мени». А это было уже достаточным основанием для категорического указания из III отделения «дабы оно не было одобряемо к изданию в свет»[18].

Так, волею царских чиновников, в архив сдавалось всё, что хоть в малейшей степени отражало истинное положение эстонского крестьянства.

А в феврале 1848 года, напуганный революционными событиями во Франции и волнениями в самой России, Николай I учредил особый цензурный комитет. Он состоял, по определению Герцена, «из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инженеров, артиллеристов, начальников штаба, свиты его величества офицеров, плац- и бауадъютантов, одного татарского князя и двух православных монахов, под председательством морского министра». Уже 17 марта на заседании дерптской цензуры оглашено было строжайшее распоряжение главы драконовского комитета: «за всякое дурное направление статей журналов, хотя бы оно выражалось в косвенных намёках, цензура сии статьи пропустившая, подвергнется строгой ответственности»[19]. Литература, и в частности литература об эстонских крестьянах, рассматривалась, как весьма «скользкое», опасное для самодержавия, «поприще». По словам официозного историка, цензура стала значительно усерднее выискивать междустрочный, скрытый автором, смысл каждого сочинения.

В те мартовские дни 1848 года в дерптский цензурный комитет поступила объемистая рукопись «О мерах к благосостоянию помещиков и крестьян остзейских губерний». В ней, судя по документам архивного дела, излагались материалы, не прикрашивавшие положение прибалтийских земледельцев. Возможно, что автор сочинения намекнул даже на брожение среди крестьян. Так или иначе, но рукопись, снабженная письмом дерптского цензора, немедленно была переслана в Петербург. Ее пристально изучали и в Главном управлении цензуры, и в III отделении «собственной его величества канцелярии», и даже сам шеф жандармов. После столь длительной проверки на сочинение, разумеется, наложили запрет. «Я, с своей стороны, полагал бы неудобным в настоящее время дозволять печатание как этой статьи, так и всех подобного рода сочинений»[20], — писал в министерство просвещения преемник Бенкендорфа — граф Орлов.

Цензурный террор в самих прибалтийских губерниях сводился, в значительной степени, и к тому, чтоб лишить эстонский народ возможности познать прогрессивную, подлинно гуманистическую русскую культуру; скрыть от него революционно-освободительное движение великого русского народа. С этой целью

в Эстонию поступали одна строже другой директивы. Цензору неофициальной части «Эстляндских губернских ведомостей» предписывалось, например, избегать печатание материалов, где упоминались имена Пугачева и Степана Разина, где говорилось о «смутных явлениях» российской истории [21]. Из канцелярии Дерптского учебного округа передали министерский запрет на цитирование в эстляндской печати изданной в Москве книги Н. А. Некрасова. Цензуре предлагалось беспощадно преследовать вольнолюбивые стихи великого русского поэта [22].

Этими и многими другими драконовскими мерами остзейские дворяне и царские сановники пытались воздвигнуть между передовыми слоями России и эстонским народом непроницаемую стену. Мы знаем уже, как тщетны были эти попытки.

Полицейские репрессии цензурного ведомства были, разумеется, на руку прибалтийским баронам, широко использовавшим предоставленную им возможность для клеветнических и фальсификаторских литературных упражнений. В пространных статьях и трактатах они по-прежнему выставляли себя «добрыми отцами», «благодетелями», «покровителями» порабощенных ими же крестьян. Вышедшие в те годы книги Р. Самсона фон Гиммельстьерна, тартуского профессора Ф. Г. Бунге, А. фон Рихтера и других немецких ученых [23]; издававшиеся в Прибалтике реакционные газеты и журналы, целиком отражавшие идеологию остзейских помещиков, идеализировали «героическую эпоху» завоевания немцами Эстонии, расписывали «бессмертные подвиги» рыцарства, отстаивали необходимость сохранения за баронами средневековых привилегий.

«Обосновывая» свои колонизаторские «права», остзейцы беззастенчиво клеветали на эстонский народ, с презрением называя его «чёрной, приниженной и презренной нацией». Выступая на страницах тартуского журнала «Инланд», некий Э. Мейер призывал не проявлять к эстонцам «глупейшую сентиментальность». Мейер и ему подобные «доказывали», что просвещение эстонского народа, якобы, противно здравому смыслу и может лишь вызвать в нем «пагубное» стремление к изменению существующих порядков.

Не ограничиваясь немецкой прибалтийской прессой, бароны и их идеологи, подстрекаемые классовым инстинктом самосохранения, широко использовали также и реакционную печать России. Спекулируя на усиливавшемся интересе к Прибалтике со стороны разных слоев русского общества, они публиковали обстоятельнейшие исторические обзоры, статьи об экономике Эстонии, в которых прославляли неведомые «благодеяния» прибалтийского дворянства, извращали истинное положение

эстонских и латышских крестьян. «Балтийский помещик, — писал позднее Эд. Вильде, — всегда стремился как можно тщательнее скрыть от государственной власти и от всего внешнего мира подлинное положение крестьян, живших на его землях. Он всюду изображал условия крестьянской жизни как самые лучшие, чуть ли не идеальные, стараясь представить их постороннему наблюдателю — верховной власти, русским чиновникам и иностранцам — в самом розовом свете, чтобы иметь основание похвастаться: все это, мол, создал я, носитель высокой культуры! Вместе с тем, этим путем лучше всего удавалось достигнуть того, чтобы государственная власть не вмешивалась во внутренние дела Прибалтики и предоставила этим примерным попечителям местного края право издавать свои законы. Если верить описаниям помещиков, крестьянин, живя под их крылышком и опекой, должен был считать себя счастливейшим человеком на свете, или, как говорили бароны, мужик как сыр в масле катался»[24]. Подобные фальсификации не противоречили, разумеется, интересам правительства, не без оснований видевшем в остзейских помещиках проводников своей реакционной политики, верных слуг царского трона.

Не случайно славословие остзейским помещикам не сходило со страниц едва ли не самого монархического издания — «Северной пчелы». Озабоченный тем, что в России, будто бы, отсутствует «настоящее понятие о лифляндском дворянстве», владелец этого полуофициозного органа — агент III отделения Фаддей Булгарин рьяно утверждал, что бароны «всегда идут в челе по пути усовершений и просвещения», что это «сословие, в полной мере достойное всякого уважения»[25].

В «Северной пчеле» печатались путевые заметки, в которых эстонские крестьяне изображались богатыми, счастливыми и довольными своей жизнью, благословлявшими, якобы, имена тех, кто «благотворным своим управлением и неусыпными нежными заботами» распространял, по словам автора, «благоденствие и счастье»[26]. Булгарин охотно публиковал статистические и социально-экономические очерки, выдававшие относительно обеспеченную жизнь небольшой крестьянской верхушки за положение, в котором, будто бы, находилась вся масса эстонских земледельцев [27].

«Северная пчела», так же как и некоторые другие периодические издания, не жалея красок, расписывала верноподданнические «заслуги» прибалтийского дворянства. С каким восторгом курляндский барон Ф. Дершау превозносил созданное для борьбы «противу взбунтовавшейся черни» братство черноголовых — организацию, поддерживавшуюся и финансировавшуюся русскими царями!

Подобной лакировке подвергались также и факты истории. На страницах реакционнейшей периодической печати далекое прошлое прибалтийского края изображалось только лишь в угодном остзейцам духе. Достойнейшим образчиком этой тенденциозной публицистики явились «Хозяйственные очерки остзейского края», принадлежавшие перу сотрудника «Журнала министерства государственных имуществ» К. Веселовского. В его трактовке вторжение меченосцев в Прибалтику выглядело уже не грабительским актом, принесшим неисчислимые бедствия эстонскому и латышскому народам, а вполне закономерным и даже... гуманнейшим шагом. Поддерживая фальсификаторские концепции наиболее консервативных прибалтийских историографов, К. Веселовский, захлебываясь от восторга, писал: «Это не есть просто побирание слабейшего сильнейшим, со всеми последствиями физического покорения; в основании этого завоевания лежало более высокое стремление, постигаемое более сердцем, нежели расчётом разума...»[28]

40-е годы породили немало других, столь же пространных, сколь и лживых, статей и книг, посвященных Прибалтике. Но как далека была эта, сплошь и рядом лакирующая действительность, литература от того, что на самом деле происходило в Эстонии, от ее истории, от подлинного экономического состояния эстонского народа. В ту пору, когда прибалтийский край охвачен был крестьянскими волнениями, реакционнейший «Маяк, журнал современного просвещения, искусства и образованности в духе народности русской»[29] ограничился опубликованием безмятежных заметок... об археологических древностях остзейских губерний. Вышедшая в 1840 году в Петербурге книга анонимного автора о его поездке в Таллин[30], по словам «Отечественных записок», не говорила ничего такого, что было бы неизвестно даже и тому, кто никогда не бывал в этом городе[31]. Путевые записки, как правило, заполнялись подробнейшими описаниями церквей и средневековых построек, идиллическими любовными историями из рыцарских времен и дифирамбами «хозяевам» края — остзейским баронам.

Слово правды застревало в цензурных тисках. И свет видело лишь то, что совпадало с мировоззрением прибалтийско-немецкого дворянства, с идеологией царизма. В 1845 г. в Петербурге вышли два первых тома «Свода местных узаконений губерний остзейских»[32]. Вслед за ними появились написанные бароном А. фон Раденом и графом Э. Сиверсом «Исторические сведения об основаниях и ходе местного законодательства губерний остзейских». В 1846 г. II отделение «его императорского величества канцелярии» выпустило «Обозрение начал и постепенного развития местных в остзейском крае учреждений» и

«Обозрение постепенного установления прав и состояний в остзейском крае». Эстонии посвящен был и один из очередных томов «Военно-статистического обозрения Российской империи». Всё это в той или иной степени идеализировало, отстаивало и закрепляло феодальное «право» помещика-остзейца господствовать над жизнью «свободного» эстонского земледельца.

Однако положение эстонского народа было настолько чудовищно, что даже в самых «благонамеренных» и «верноподданнических» изданиях, против желания издателя и автора, невольно всплывали тщательно скрываемые подробности «счастливой» жизни прибалтийского крестьянства. И несколько правдивых строк сводили на нет все ухищрения автора воспеть баронскую власть, представить остзейских дворян носителями гуманнейших идей, отцами, благодетелями эстонского народа.

Фаддей Булгарин, с умилением превозносивший прибалтийских помещиков, как-то обмолвился, что условия, в которых живут их крестьяне, более чем ужасны. «Что означает это огромное, четвероугольное, деревянное здание, прикрытое полусгнившею соломою, с закоптелыми отверстиями, вместо окон? — спрашивал он в очерке «Прогулка по Ливонии» и тут же отвечал: — Это жилище эстонского поселянина; не дом, а сарай, где целое семейство помещается...»[33] Две случайно вышедшие из-под его пера строки, независимо от Булгарина, перечеркивали всю его многостраничную болтовню о мифическом «рае», якобы, увиденном им в Прибалтике. А уж Булгарина никак не заподозрить в добрых чувствах к эстонскому народу!

Другой столь же реакционный журналист — Д. Мацкевич, побывав в Эстонии дважды — в 1846 и 1848 гг., — ограничился восторженными описаниями «тучных лугов, пажитей и долин», «красивых мыз, окружённых густою зеленью садов»; он не поскупился на дифирамбы отжившей старине «благословенной» рыцарской эпохи. Как далек был Мацкевич от намерения познать жизнь народа! Но и в его безмятежно спокойных очерках промелькнула скорбная фигура угнетенного эстонского крестьянина: «рождённый под сенью своей курной хижины, он вечно молчалив, печален, уныл; никогда спокойное, неподвижное лицо его не оживляется радостью, никогда огонь не горит в его безжизненных очах»[34].

Почти в одно время с Мацкевичем, Прибалтику посетил сын иркутского пастора В. Беккер. С умилением отмечал он всё, что напоминало ему там «славных рыцарей»[35]. Опубликованные вскоре Беккером путевые очерки подверглись беспощадной критике в прогрессивной русской печати. Эта книга, сооб-

щали «Отечественные записки», излагает «неособенно важные статистические и топографические заметки»[36]. Она, заявлял некрасовский «Современник», дала «много такого, что вовсе не шло к делу»[37], но, подобно другим такого же рода изданиям, обошла вопросы, глубоко интересовавшие передовые слои русского общества. И все же одна, с презрением сказанная Беккером фраза, также обнажила краешек подлинной жизни эстонского крестьянина. Она показала его нищенскую лачугу с разложенным посреди очагом, дым от которого, стелясь под низким потолком, медленно проходил в раскрытую настежь дверь.

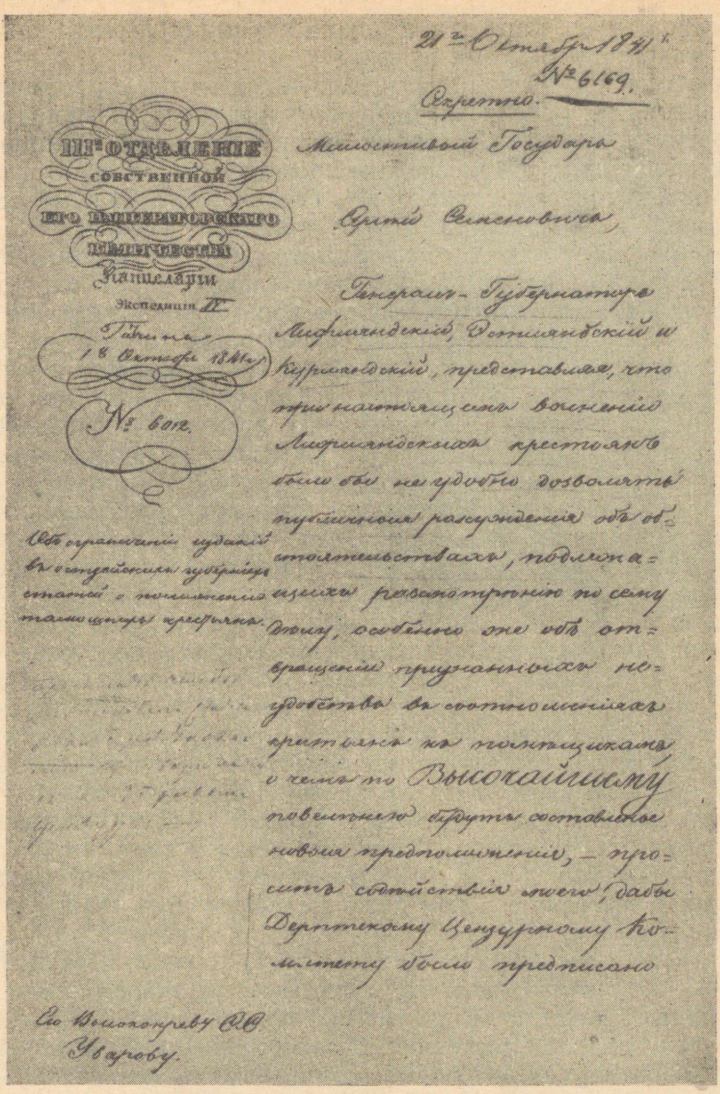
Как же кошмарно должно было быть положение эстонского крестьянства, если это сознавали порой даже такие отъявленнейшие реакционеры, всегда и во всем стоявшие на страже интересов прибалтийских землевладельцев?!

II. «КРАМОЛА» И «ВОЛЬНОДУМСТВО»

> Внутри совершалась великая работа, — работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная: всюду росло недовольство . . .
>
> *А. Герцен*

Остзейские историографы стремились представить прибалтийские губернии середины прошлого столетия стоящими в стороне от революционных событий 1848—1849 годов, отгороженными от могучего влияния российского освободительного движения. И если судить по подцензурной печати, Эстония действительно была вполне «благонамеренной» окраиной обширной царской империи. Ни в одной из многочисленных статей и заметок о Прибалтике, датированных сороковыми годами, не было даже намека на проникновение в Таллин, Тарту или другие города свободолюбивых идей, на возможность какого-либо противодействия со стороны лучших людей остзейских губерний политике самодержавного строя. Поддержание подобной верноподданнической репутации было в интересах и местного дворянства, и самого царского правительства. «В остзейских губерниях, — доносил министру просвещения попечитель Дерптского учебного округа, — все основания решительно консервативны и это слава богу в настоящее время общего стремления к безотчётным улучшениям общественных отношений . . .»[38]

Но раскроем дела министерских архивов, извлечем документы с грифами — «Секретно», «Конфиденциально», «Весьма



21го Октября 1841 г.
№ 6169.
Секретно.

III-е Отдѣленіе
Собственной
Его Императорскаго
Величества
Канцеляріи
Экспедиція IV
Гатчина
18 Октября 1841 г.
№ 6012.

Милостивый Государь

Сергѣй Семеновичъ,

Генералъ-Губернаторъ Лифляндскій, Эстляндскій и Курляндскій, представляя, что при настоящемъ волненіи Лифляндскихъ крестьянъ было бы не удобно дозволять публичныя разсужденія объ обстоятельствахъ, подлежащихъ разсмотрѣнію по сему дѣлу, особенно же объ отвращеніи признанныхъ неудобствъ въ соотношеніяхъ крестьянъ къ помѣщикамъ, о чемъ по Высочайшему повелѣнію будутъ составлены новыя предположенія, — проситъ содѣйствія моего, дабы Дерптскому Цензурному Комитету было предписано

Объ ограниченіи изданій въ остзейскихъ губерніяхъ статей о положеніи тамошнихъ крестьянъ.

Его Высокопревосх. С.С.
Уварову.

Предписание шефа жандармов Бенкендорфа министру просвещения Уварову о недопущении в печать статей, посвященных положению прибалтийских крестьян, без особого на то разрешения остзейского генерал-губернатора, 1841.

Из фондов канцелярии министра просвещения по главному управлению цензуры.

Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

секретно», и созданная в цензурных рамках легенда лопнет мгновенно, как мыльный пузырь.

Не из периодической печати тех лет, а из писем, мемуаров, дневников, из переписки царских чиновников, официальных рапортов и отношений, старых фондов библиотек Таллина и Тарту узнаем мы, что в середине прошлого столетия в Эстонию доносились голоса Белинского [39], Герцена, Огарёва, молодого Щедрина [40]. В Таллин в 1846 г. приезжал Некрасов [41], а в аудиториях Тартуского университета звучали вдохновенные строфы Лермонтова [42]. Среди значительной части тартуской молодежи огромной популярностью пользовались творения Гоголя [43]. Некоторые из студентов знакомились тогда с привлекшими, по словам Белинского, всеобщее внимание герценовскими «Записками одного человека». В Таллин и Тарту приходил самый прогрессивный журнал того времени — издаваемый Некрасовым «Современник». В книжных магазинах можно было достать из-под полы изъятую цензурой литературу, и министр внутренних дел предписал генерал-губернатору оповестить тартуских книгопродавцов, что если в дальнейшем «будет обнаружена у них продажа запрещённых книг, то с виновными в сём поступлено будет по всей строгости законов»[44].

Таков далеко не полный перечень точек соприкосновения с русской демократической мыслью, в частности, тартуских студентов. Прибалтийское дворянство и лютеранское духовенство, стремившиеся превратить университет в оплот царского трона и рассадник религиозного мракобесия, умышленно скрывали от общественного мнения России истинное состояние умов прогрессивных слоев молодежи. Безустали твердя о порядке и спокойствии, будто бы царивших за стенами учебного заведения, они прилагали тщетные усилия к тому, чтобы подчинить себе университет, отгородить его от великой русской культуры, вытравить в нем даже малейшее семя «бунтарского вольнодумства».

А это семя, несмотря ни на что, давало хорошие всходы. Еще в 1833 году в университете существовало тайное общество, состоявшее, как гласят документы, из «молодых людей среднего или низшего состояния, детей городских жителей, а не помещиков, студентов бедных, сомнительного поведения . . .»[45] Когда его участники предстали перед судебной властью, всем им задан был особенно тревоживший охранителей монархического строя вопрос: «Не давали ли они обещаний, не согласных с уважением к правительству и не обнаруживали ли неудовольствия к существующему в государстве законному порядку? . .»[46]

277 листов обширного архивного дела повествуют о беспощадной расправе с молодыми конспираторами. По повелению



Н. А. Некрасов.

Акварель М. Захарова, 1840-е гг. — время посещения поэтом Таллина.
Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Николая I восемнадцать активнейших участников общества были навсегда исключены из университета и взяты под строжайший полицейский надзор. Шеф жандармов и министр просвещения предложили отобрать от всех тартуских студентов, а в дальнейшем и от всех поступающих в университет, подписку в том, что они ни к какому тайному обществу или запрещенному товариществу не принадлежат и принадлежать не будут.

Подписка, разумеется, была взята. Но ни жандармский запрет, ни повеление министра не дали ожидаемого результата. Уже в 1840 году из Тарту вновь поступили секретные сообщения о существовании в университете еще одного демократического общества. Оно объединяло несколько десятков человек. Трудно определить сейчас, насколько широка была деятельность этой конспиративной организации, в какие формы она выливалась. Показательно лишь, что то же лаконичное донесение указывало и на другое весьма примечательное явление — на демократический образ мыслей учившихся в Тарту русских студентов[47]. Более чем вероятно, что и недозволенное общество, и передовые русские студенты не были чужды друг другу.

Нарастание освободительной борьбы в России и революционных событий в Западной Европе не прошло, как хотелось

бы остзейскому дворянству, незамеченным в Тартуском университете. Правда, поступавшие туда «Русский инвалид» и «Северная пчела» содержали тщательно отобранную, однобокую политическую хронику. Допускаемая в пределы России иностранная периодическая печать также была в основном консервативной. Однако немало тартуских студентов умело читать тогда и между строк, в спорах вокруг газетных сообщений искало и находило зерно истины. Бурным летом 1848 года попечитель Дерптского учебного округа сообщал в Петербург, что в Тарту на каждом перекрестке оживленно обсуждались интересовавшие всех журнальные и газетные новости [48]. В другом письме он с прискорбием отмечал, что «события на западе, которыми наполнены все повремённые газеты и ведомости, и которые везде читаются последовательно с большим или меньшим любопытством, не сокрыты и от студентов»[49].

Газеты и журналы — российские и иностранные — были, конечно, не единственным источником информации о революции на Западе. Обращаясь к лифляндскому гражданскому губернатору с конфиденциальным письмом, попечитель просил его установить строжайший надзор за всеми прибывавшими в Тарту из других губерний лицами, распространением демократических идей «легко могущих встревожить самые спокойные умы»[50].

Не меньшее значение имела и заграничная переписка. В 1848 году три прибалтийские губернии получили около 23 с половиной тысяч иностранных отправлений, в значительном большинстве из стран, охваченных волнениями. Не приходится сомневаться, что эта обширная корреспонденция в какой-то степени поступала и в Тарту.

Лучшая часть университетской молодежи не осталась равнодушной к революционным событиям. О ее «свободомыслии» петербургское начальство, подчас, узнавало из самых неожиданных для себя источников. В Вильно, при расследовании одного из многочисленных в ту пору политических дел, обнаружилась, например, переписка «в возмутительном духе» между Тарту и революционным Парижем. Из Петербурга в Эстонию немедленно полетело строжайшее повеление: «Принять меры!» Однако сие оказалось не под силу ни университетскому начальству, ни местным агентам полиции. Открыть переписку, в растерянности сообщал попечитель округа, весьма затруднительно. Все надежды, восклицал он, возлагаю на бдительность почтового управления! [51]

Пока велись эти усиленные розыски, в министерские канцелярии пришло новое донесение. В нем речь шла уже о распространявшемся в Тарту воззвании с «сочувствием к делам поли-

тическим и общественному быту»[52]. Другой документ известил тогда же шефа жандармов о «проступке» студента, обратившегося к своим товарищам с «возмутительным» призывом: «Да здравствует республика!»

В условиях напряженного внутреннего положения, когда преследованию подвергалось даже малейшее проявление вольнодумных настроений, трудно было ожидать, чтобы столь явные восхваления республиканского строя остались без серьезных последствий. И «правосудие» свершилось! Цензор, разрешивший к печати «крамольное» воззвание, был подвергнут строжайшему взысканию. Еще более серьезное наказание обрушилось на произнесшего «кощунственный» возглас студента. По указанию III отделения «собственной его величества канцелярии», дерптский попечитель принял решение: «в предостережение учащихся от подобных легкомысленных поступков, в пример другим», исключить его из университета, передать полиции для высылки из Тарту, сообщить генерал-губернатору остзейских провинций о принятии мер для полицейского надзора за исключенным студентом по месту его жительства[53].

Этот документ датирован июлем 1848 года. С грифом — «Секретно» он был похоронен в министерском архиве. А реакционнейший журналист Д. Мацкевич, идя наперекор фактам, известил, между тем, читателей (в то же лето 1848 года!), что тартуские студенты «ведут себя тихо и скромно»[54], умолчав, таким образом, о настроении тех тартуских студентов, которые с сочувствием относились к освободительному движению.

С помощью подобных фальсификаций (а их было немало), опираясь на всесильных при царском дворе остзейцев, прибалтийские бароны и создавали «общественное мнение» о беспримерной «благонадежности» Тартуского университета.

Нельзя сказать, чтобы подцензурная печать 40—50-х гг. обходила молчанием одно из старейших высших учебных заведений России. В середине столетия о нем в большей или меньшей степени писали почти все петербургские и московские газеты и журналы. Но большинство статей и корреспонденций ограничивалось лишь красочными, причем не всегда верными, описаниями Тоомемяги с высящимся на нем белокаменным зданием обсерватории; упоминанием о достопримечательностях университетского корпуса; беглым рассказом о книжных богатствах библиотеки. В лучшем случае, главным образом в научных изданиях, говорилось и об исследованиях тартуских ученых. Все эти сообщения не носили и следа той напряженной борьбы, которая шла тогда в университете, — борьбы демократической идеологии против реакционного мировоззрения.

Именно в те годы, когда министерство просвещения заводило одно за другим секретные дела о вольнодумстве лучшей части тартуского студенчества, реакционная российская печать стремилась представить его единой массой, чуждой политических страстей, душой и телом преданной полицейско-самодержавному режиму. Не жалея красок, она расписывала тлетворные нравы корпораций, восторгалась бесшабашными кутежами и причудами баронских сынков, их балами, пикниками, поединками. И лишь однажды, по всей вероятности из-за недосмотра цензуры, в печать проскочил очень туманный намек на те события 40-х годов, о которых рассказывали нам извлеченные из архивов документы. Выступая с обширной статьей «Об условиях университетского образования», Н. Варадинов вскользь упомянул своих товарищей по студенческой поре, навсегда изгнанных из Тартуского университета. «Последнего рода исключение, — вспоминал он, — соединялось иногда, при слишком предосудительных поступках студента, с объявлением об этом исключении всем тем университетам, с которыми Дерптский находился в близких сношениях, и такому студенту затворялись двери всех этих учебных заведений»[55].

Несколькими, более чем поверхностными, строками и исчерпываются печатные материалы середины столетия, да пожалуй и последующих десятилетий, о преследовании лучшей, прогрессивной части тартуского студенчества, о гонениях, которым подвергалась демократически мыслившая профессура.

Опубликованная «Журналом министерства просвещения» в 1848—49 годах официальная информация содержала лишь немногословные сообщения о перемещениях в личном составе университета, о создании или ликвидации кафедр, об утверждении «Плана учения для студентов медицины» и «Положения о фармацевтическом при Дерптском университете институте», о производстве ректора в действительные статские советники и сочинениях тартуских ученых... Журнал предал гласности только то, что не вызывало, да и не могло вызвать, каких-либо цензурных осложнений. Но он хранил абсолютное молчание о тех репрессиях, которым подвергалось в университете «крамольное» мировоззрение.

И вновь мы обращаемся к документам, пролежавшим столетие в архивных фондах. Перед нами — секретное предписание министра просвещения графа Уварова, справедливо названного Белинским министром погашения и помрачения просвещения в России. Уваров предлагал попечителю Дерптского учебного округа быть особенно бдительным и устранять малейшие лазейки для проникновения в университет «пагубных мудрований преступных нововводителей». Надежнейшим средством ог-



На берегу Эмбаха.
Гравюра на дереве по картине худ. Ю. Клевера, 1880-е гг.

раждения юношества «от заразы вольнодумства» министр признавал, «во-первых, отчётливое преподавание закона божия . . .; во-вторых, недопущение, при преподавании прочих учебных предметов, ничего такого, чтобы могло . . . поколебать веру или уменьшить убеждение в необходимости и пользе основных учреждений» самодержавно-крепостнического строя. Уваров требовал, чтобы за всеми не внушавшими доверия студентами был установлен надзор «без огласки и, так сказать, невидимо для тех, на коих он обращается»[56].

Вслед за этим документом, в ноябре 1849 года на имя ректора Тартуского университета пришло высочайше одобренное секретное наставление. «Особенное и самобдительное внимание» по-прежнему предлагалось обращать на характер преподавания студентам философии, международного права, политической экономии, науки о финансах и ряда других дисциплин, «возможность злоупотребления коих не подлежала, — по мнению министра, — ни малейшему сомнению». Тартуским профессорам запрещалось выражать в лекциях сожаление о тяжелом положении крестьян, осуждать злоупотребления помещичьей властью. От них лишь требовалось «в настоящее смутное время, более нежели когда-либо, ограждать университетское юношество от чуждых . . . понятий о мнимом превосходстве республиканского или конституционного правления, об ограничении монархической самодержавной власти, о равенстве всех состояний и тому подобном»[57].

В стремлении очистить Тартуский университет от неблагонадежной молодежи, Николай I — этот, по определению

Ф. Энгельса, царь с кругозором ротного командира — распорядился сократить число обучавшихся в нем студентов. Новая полицейская мера не касалась лишь богословского факультета — проводника реакционнейшей идеологии. Более того, предписанием из Петербурга преподавание значительно урезанного курса философии отныне передавалось профессору-богослову.

Напуганные ростом самосознания тартуского студенчества, николаевские чиновники готовы были удовлетворить давние стремления прибалтийского дворянства и лютеранского духовенства и передать университет в их полное, безраздельное управление. Сменивший Уварова Ширинский-Шихматов, объявив, по словам современников, шах и мат русскому просвещению, договорился даже до того, что предложил вовсе оторвать это высшее учебное заведение от великой русской культуры. «Правительству нет особенной причины желать, — писал он в июне 1850 года, — чтобы коренное русское юношество обращалось для высшего образования в Дерптский университет, напротив, небесполезно было бы, под благовидным предлогом, затруднить ему вступление в оный»[58].

Обо всех этих и многих других чрезвычайных мерах почти всегда умалчивал даже не скупившийся на информацию о Тартуском университете «Журнал министерства просвещения». Не в силах были нарушить заговор молчания и другие российские подцензурные газеты и журналы. Если в печать и попадало, порой, короткое, бесстрастное официальное сообщение о волновавших Тарту событиях, оно, как правило, мало что говорило неосведомленному читателю.

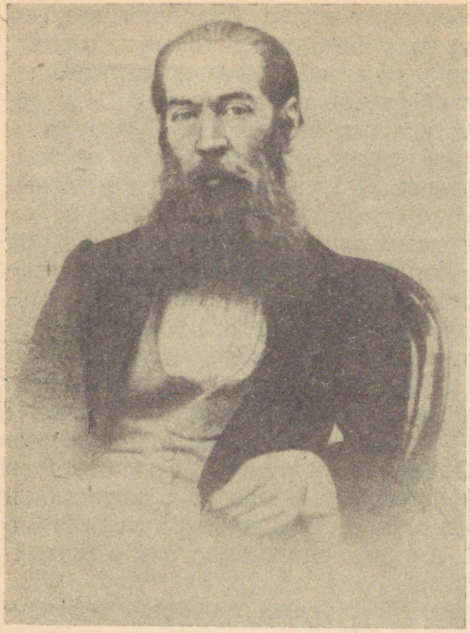
Декабрьская книжка «Журнала министерства просвещения» за 1851 год уведомляла, например, об увольнении тартуских профессоров Озенбрюггена и Гена. Этому сообщению были уделены лишь две строки. Причина немилости, в которую попали ученые, так и осталась для всех глубокой тайной. Она была скрыта в секретных делах, носивших недвусмысленные названия: «Об арестовании лектора немецкого языка в Дерптском университете Виктора Гена»[59] и «О доставлении генерал-адъютанту графу Орлову (шефу жандармов. — А. Л.) сведений о поведении и образе мыслей профессора Дерптского университета Озенбрюггена, а также об увольнении его от службы»[60].

Пожелтевшие за столетие документы проливают свет на маловразумительное журнальное сообщение. В одном из архивных дел лежит датированное 21 июня 1851 г. донесение министру просвещения Ширинскому-Шихматову. Попечитель Дерптского учебного округа сообщал в Петербург о тайном обыске

в квартире профессора уголовного права Озенбрюггена, об опечатании всех обнаруженных у него недозволенных бумаг. Спустя несколько дней, по предписанию шефа жандармов, неблагонадежный ученый был арестован и доставлен в III отделение. Расследование «преступных» связей Озенбрюггена с демократическими элементами продолжалось более месяца. 31 июля, по приказу Николая, он был уволен от службы и выслан за границу.

О столь же драматической истории повествуют материалы из дела Виктора Гена. Он окончил Тартуский университет, там же получил диплом домашнего наставника, затем служил учителем в Могилеве, Житомире, Вильно, Пярну. 1851 год застал его в Тарту, лектором немецкого языка. Здесь молодой ученый был арестован и в сопровождении жандармского подполковника препровожден в Петербург. Но только в середине августа III отделение решило судьбу Гена: «вследствие обнаружения вредного образа его мыслей и предосудительной с некоторыми лицами переписки, — заключить на три месяца в крепость и потом отправить на службу в одну из внутренних губерний, но отнюдь не по учебной части, и с учреждением за ним строжайшего надзора»[61].

Но может быть Тарту и его университет являлись «печальными» исключениями, и «крамольный дух» нигде более в Эстонии не находил в ту пору благодарной почвы? Отнюдь, нет! Факты говорят о том, что передовое русское общественно-демократическое мировоззрение, всё настойчивее проникавшее в Эстонию, оказывало влияние и на прогрессивные круги Таллина. В 1848 году внук известного русского мореплавателя Шелехова — отставной морской офицер петрашевец К. И. Тимковский организовал там два конспиративных кружка. Страстно ненавидя монархический строй, он, по свидетельству участников кружка М. В. Буташевича-Петрашевского, настоятельно советовал изучать современные ему социалистические учения и «извлекать из них всё, что может служить для России»[62]. В один из кратковременных приездов из Таллина в Петербург, Тимковский читал своим единомышленникам «тетрадь о пропаганде фурьеризма, о составлении кружков, которые бы всюду растолковывали систему Фурье»[63]. Две его речи на «пятницах» Петрашевского «высказывали желание возмущения»[64], «предлагали действовать»[56] и впоследствии неоднократно упоминались в бумагах специальной следственной комиссии. «Тимковский высказал, кажется, в течение своей речи, — сообщал после ареста петрашевец Толь, — что все старания истинных поборников прогресса должны быть обращены на ускорение возмущения, что ранее или позже оно должно произойти,



Петрашевец
К. И. Тимковский.
С редкой фотографии.

Музей Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

но что он желал бы видеть осуществление этого ещё до отъезда своего в Ревель, что он готов выйти на площадь, и если нужно будет, принесёт себя в очистительную жертву святому делу свободы . . .»[66] Сохранилось письмо, присланное Петрашевским в Таллин — Тимковскому, в котором замечательный патриот-демократ подчеркивал важность терпеливой, настойчивой революционной пропаганды.

Подцензурная российская печать молчала, разумеется, обо всём этом даже после ареста петрашевцев, когда многим стало, по всей вероятности, известно, что «заговорщики» действовали и в «благопристойном» Таллине. В посвященных ему статьях и очерках по-прежнему уделялось внимание только лишь памятникам старины и быту немецких бюргеров, описывались богатства баронов, нажитые ими на подневольном труде эстонских крестьян.

Страшась проникновения в Эстонию прогрессивной русской идеологии и не ограничиваясь цензурным террором, III отделение установило в Прибалтике строжайшее наблюдение за образом мыслей «неблагонадёжных элементов». Великий русский хирург Н. И. Пирогов вспоминал как-то встреченного им

еще ранее в Таллине жандармского осведомителя — графа Гуровского. Этот «пресмыкавшийся» ренегат, принимавший участие в польском восстании 1830—1831 годов, к моменту появления в Прибалтике уже круто переменил свои взгляды. Выдавая себя за политического ссыльного, он на самом деле выполнял в Таллине секретные поручения Бенкендорфа.

Те же функции, которые выполнял в Таллине граф Гуровский, лежали и на другом агенте III отделения — Ф. Булгарине. Живя в окрестностях Тарту, ненавидимый многими жителями города [67], он исправно доносил в жандармерию о всех происшествиях, которые должны были, по его мнению, привлечь внимание тайной полиции. Булгарин передавал в Петербург «распространяемые слухи об избиении помещиков мужиками», писал о «ненависти мужиков к помещикам в остзейских губерниях»[68].

Некоторые из эстляндских доносов Булгарина датированы 1848—49 гг., когда, наряду с общеевропейским революционным движением, нарастало брожение и внутри царской России, когда обострился кризис крепостнических отношений и ширилась борьба за освобождение крестьянства. В те грозные для самодержавия годы усиления классовых противоречий, в донесениях тайного агента III отделения особенно часто подчеркивалась ненависть эстонского народа к баронам-поработителям.

Борьба прибалтийских крестьян против помещичьего ига приняла тогда огромные размеры. Значительную роль сыграли в этом дошедшие в Эстонию слухи о революционных волнениях в Западной Европе, о движении в центральных губерниях России — наиболее грозном за весь период царствования Николая. Посылая в III отделение очередное донесение, остзейский генерал-губернатор признавал, что «в отдельных уездах, например, Якобштадском и Верроском, латыши и эсты . . . , знали о современных происшествиях и толковали о них»[69].

Хотя в очередном «Нравственно-политическом отчёте» главный начальник III отделения и уверял царя, что дух прибалтийского крестьянства, якобы, самый благоприятный для правительства, факты решительно опровергали его преднамеренно спокойное заявление. В том же 1848 году, когда писался этот отчет, жандармский подполковник Щербачёв доносил из Тарту об угрозе крестьянского восстания: «Дворянство здешнее объято каким-то паническим страхом, опасаясь за возмущение крестьян своих, зная, что они к ним не только не расположены, но даже питают вражду вековую, и потому при малейшем восстании они, господа помещики, будут первыми жертвами, не имея никаких средств к своей защите, ибо и дворовая прислуга едва ли примет их сторону. Господа владельцы говорят, что

нужно лишь в одном имении вспыхнуть восстанию, то это, как электричество, передастся по всей губернии»[70].

На протяжении всего 1848 года в канцелярию остзейского генерал-губернатора в изобилии поступали тревожные сообщения. Гражданский губернатор Эстляндии Гринвальд ставил в известность высшее начальство об обнаруженном между крестьянами Гапсальского уезда духе недовольства и строптивости[71]. Из Таллина доносили о «преступных деяниях» крестьянского вожака, отказавшегося повиноваться мызному управлению и земской полиции[72]. Помещики требовали срочной присылки воинской силы. Напуганный брожением народных масс, генерал-губернатор приказывал лучше использовать местных полицейских, посылая их туда, где более всего можно было опасаться «нарушения порядка»[73].

Между тем, ни одна строка о нараставшем волнении эстонского крестьянства, о страхе и панике, царивших в среде остзейского дворянства, как и следовало ожидать, в печать не проникла. Вместо правдивого освещения состояния Прибалтики, вышедшая в начале 1848 года, последняя за минувший год, книжка бесцветного «Финского вестника» стремилась убедить читателя, что Положение 1816 года являлось ... «одним из лучших памятников человеколюбивого царствования Александра». Автор, конечно, знал, как тяжело было положение эстонских земледельцев, но не им выражал он свое сочувствие, а баронам, «обремененным многотрудными обязанностями» ... полицейского суда и беспощадной расправы над крестьянами[74]. В очередном «Обозрении» «Журнал министерства просвещения»[75] поспешил, разумеется, дать подробнейшее изложение этого опуса.

III. СКВОЗЬ ЗАВЕСУ ЛЖИ

Везде шептались. Тетради
Ходили в списках по рукам ...

Н. Огарев

«Лет тридцать тому назад в Петербурге мне рассказали, как курьёз, о глупости цензуры, которая в одном сборнике стихов немецких классиков всюду вычеркнула слова «любовь» и «поцелуй», — писал в 1854 г. своему другу Эмилю Саксендалю Фр. Р. Крейцвальд. — Кто бы мог подумать, что тридцать лет спустя в университетском городе Тарту найдется еще бóльшая скотина»[76].

То, что писал о цензуре Крейцвальд, в полной мере относилось к сороковым — пятидесятым и многим последующим годам. Но несмотря на цензурный террор, выдающиеся представители эстонской демократической культуры, лучшие сыны русского народа изыскивали любую возможность для защиты интересов обездоленного прибалтийского крестьянства. Одним, пользуясь эзоповским языком, удавалось использовать в этих целях легальную печать. Другие оставили после себя так и не увидевшие свет обличительные произведения.

Чтобы понять, как сложно было открыто выступить против остзейского дворянства, достаточно добавить к уже сказанному, что эти, по определению К. Маркса, «**канальи**, отличавшиеся издавна ревностной службой в русской дипломатии, армии и полиции, охотно продавшие . . . свою национальность за признание за ними законного права на эксплуатацию крестьян . . .»,[77] находились под особой опекой и цензуры, и жандармерии. Проявление малейшего неуважения к господствовавшему классу прибалтийских губерний грозило и автору, и его издателю серьезными неприятностями. Когда даже такой махровый реакционер, как Греч, вместе с Булгариным издававший печально-известную «Северную пчелу», осмелился усомниться в искренней преданности остзейского дворянства Российской империи, ему было сделано строжайшее внушение. И в страхе перед жандармским гневом, этот «раб, потерявший всякое уважение к человеческому достоинству»[78], тотчас же настрочил покаянное письмо.

Однако искренних защитников народных интересов, врагов прибалтийского дворянства не могли устрашить ни цензурные репрессии, ни угрозы со стороны баронства. Мы убеждаемся в этом, знакомясь с жизнью и деятельностью такого выдающегося демократа-просветителя, каким был Фр. Р. Крейцвальд.

Крейцвальд не понимал, что только революционный путь являлся единственно реальным путем подлинного освобождения народов. Но, подобно другим просветителям 40—60-х годов, он искренне верил, что последствием ликвидации крепостного права и его остатков должно было явиться общее благоденствие [79].

Фридрих Рейнгольд Крейцвальд был сыном крепостного. Его детство прошло на мызе Йыэпере, близ Раквере. Там будущий писатель впервые увидел, как жестоко эксплуатировалось эстонское крестьянство, сколько горя приносили бедняку помещик и пастор.

Юношей Крейцвальд страстно возненавидел крепостниче-

ство и церковь. Эта ненависть росла у него и на школьной скамье, и в Петербурге, где он работал домашним учителем, и в Тартуском университете. В одно время с ним в этом высшем учебном заведении учились такие замечательные деятели отечественной культуры, как поэт Н. Языков, составитель «Толкового словаря» В. Даль, великий хирург Н. Пирогов, физиологи А. Филомафитский и А. Загорский, один из первых русских дарвинистов С. Куторга, врач Ф. Иноземцев, юрист и педагог — школьный товарищ Н. В. Гоголя — П. Редкин и многие другие. В общении с ними, в знакомстве с освободительными идеями передовой русской литературы, в постоянном соприкосновении с безрадостной жизнью эстонской деревни и формировалось общественно-политическое мировоззрение Крейцвальда.

В студенческие годы будущий писатель-демократ вошел в кружок Фельмана, Нокса, Юргенсона и других представителей эстонской интеллигенции, для которых облегчение участи закабаленного народа было превыше всего. В прибалтийских периодических изданиях он публиковал беспощадно урезываемые цензурой статьи, рассказывавшие о положении эстонских земледельцев, призывавшие к просвещению угнетенных и одурманенных крестьян.

Эта страстная и неутомимая деятельность «отца песен», как любовно называли позднее в народе Крейцвальда, с его переездом из Тарту в выруское захолустье не прервалась, а напротив — усилилась. Поселившись в 1833 году неподалеку от озера Тамула и занимаясь врачебной деятельностью, основоположник эстонской национальной литературы выступал в то же время против феодальных привилегий остзейского дворянства, против духовной пропаганды лютеранской церкви.

Много сил отдал Крейцвальд, чтобы вырвать своих соотечественников из-под влияния попов и проповедников, стремившихся, по его глубокому убеждению, «к тому, чтобы превратить человека в скотину, чтобы эстонский народ, словно заведённая ими машина, работал только для их выгоды, создавал бы для них изобилие благ . . .»[80] Он опровергал распространявшуюся дворянством лживую версию о неспособности эстонского народа быть творцом своей собственной культуры. Стоит народу, утверждал Крейцвальд, избавиться от религиозного дурмана, и исчезнут «все порожденные суеверием, пропитанные темнотой, взращенные лукавством и глупостью чудеса»[81], станет ясна вся смехотворность церковных суеверий.

Скольких трудов стоило Крейцвальду донести собранные им сказки, написанные им стихи, рассказы и статьи, созданный им,

наконец, бессмертный эпос «Калевипоэг» до своего читателя — эстонского народа. Одним из препятствий на пути просветителя-демократа была цензура. Когда в 1850 году в записках Ученого эстонского общества выходила сказка Крейцвальда «Благодарный королевич», цензор потребовал убрать из заголовка королевского сына, т. к. подобная «вольность» подрывала, дескать, авторитет «помазанника божьего». Позднее, в 1860—1865 гг., при издании собранных писателем «Старинных сказок и старых песен эстонского народа», цензура не пропустила в печать ряд сказок, усмотрев в них «опасное подстрекательство».

Бароны и пасторы стремились оторвать Крейцвальда от эстонского народа. По его собственным словам, они «несколько раз настоятельно рекомендовали бросить подобные писания, потому что гнев дворян, якобы, настолько велик, что они сделают всё для того, чтобы изгнать его на восток и тем самым обезвредить»[82].

Но угрозы не устрашили просветителя-демократа. Не устрашили они позднее и такого страстного борца за народные интересы, как К. Р. Якобсон. Подобно Крейцвальду, этот замечательный публицист и педагог хорошо познал все «прелести» цензурного террора. Живя длительное время в Петербурге, он добивался создания прогрессивного печатного органа, в котором можно было бы вести борьбу против остзейского дворянства, за улучшение состояния эстонских крестьян. И хотя его неоднократные прошения получали в течение ряда лет неизменный отказ [83], Якобсон стал всё же впоследствии редактором получившей широкое распространение газеты «Сакала».

Цензура, жандармерия, остзейские бароны и местные власти не могли заставить молчать таких деятелей демократической эстонской культуры, как Фельман, Крейцвальд, Якобсон. Их голоса постоянно перекликались с голосами русских друзей, так же как и они выступавших в защиту прибалтийского крестьянства.

Архивные фонды сохранили письма из Эстонии, дневниковые записи, оставшиеся в рукописях статьи, сурово и беспощадно осуждавшие поддерживаемый остзейцами рабовладельческий порядок. Бесспорно, что авторы многих обличительных документов в близких им прогрессивных кругах русского общества подвергали критике укоренившиеся баронские привилегии, выступали против сложившихся в Прибалтике аграрных отношений. Они опровергали распространяемые остзейскими историографами и реакционными журналистами измышления об эстонском народе, рассказывали о чудовищном стремлении местных помещиков использовать любую возможность

для ухудшения и без того невыносимого существования порабощенных людей.

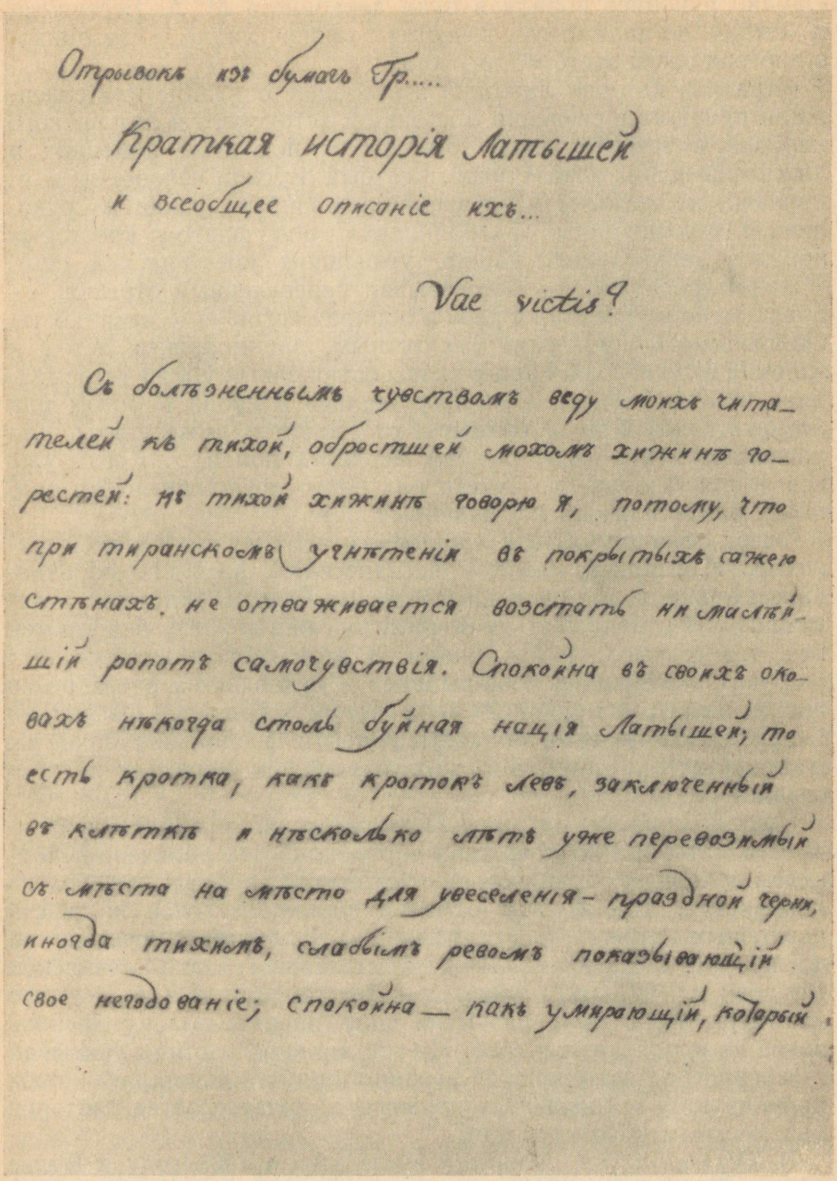
В бумагах М. А. Бестужева можно познакомиться с рукописью «Краткой истории латышей и всеобщего описания их». Трудно установить, какими путями и когда попала она к ссыльному декабристу, но сама рукопись, по всей вероятности, относится к 40-м годам [84]. Из цензурных соображений на ее заглавном листе было проставлено — «Отрывок из бумаг Гр . . .», а в конце — соответствовавшее истине — «С немецкого VIII * I * — ».

Указание на таинственного «Гр . . .» должно было лишь ввести в заблуждение цензора и отвлечь его внимание от еще здравствовавшего тогда автора страстного обличительного произведения. Но, поскольку отрывок так и не увидел свет (а на нем имеются карандашные пометки, свидетельствующие о том, что он подготовлялся к печати), можно предположить, что цензура задержала все же этот очерк.

Ссылка на немецкий оригинал, принадлежавший неведомому «Гр . . .», обманула, к сожалению, В. Базанова. «Возможно, — заявляет он в не так давно вышедших «Очерках декабристской литературы», — что этот отрывок написан самим Бестужевым[85] и предназначался для «Сына отечества» . . . Если даже «Отрывок из бумаг Гр . . .», — продолжает он, — есть перевод неизвестного нам исторического труда, а не сочинение самого Бестужева, в котором действительный автор огородился ссылкой на неизвестный источник, то и тогда эта статья характеризует Бестужева, его отношение к латышскому крестьянству . . .»[86]

В том, что «Отрывок» не был написан Бестужевым, сомневаться не приходится, т. к. он является . . . главой из широко известной книги прибалтийского просветителя Гарлиба Меркеля «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия. Дополнение к народоведению и человекознанию». Это замечательное произведение, разоблачавшее феодально-крепостнические отношения, впервые вышло в Лейпциге в 1797 году и сразу же принесло автору огромную известность. Спустя три года, появилось уже второе издание книги. Вся реакционная печать прибалтийских губерний с остервенением набросилась на Меркеля. Книгу подвергали запрету, ее публично сжигали, а сам автор вынужден был даже покинуть на время Латвию.

Безумно было думать об издании в 40-х годах, к тому же на русском языке, обличительного произведения Гарлиба Меркеля [87]. Но попытка, по всей вероятности, была всё же сделана. Как и следовало ожидать, она не увенчалась успехом.



Отрывокъ изъ бумагъ Гр....

Краткая исторія латышей

и всеобщее описаніе ихъ...

Vae victis?

Съ болѣзненнымъ чувствомъ веду моихъ читателей въ тихой, обросшей мохомъ хижинѣ горестей: въ тихой хижинѣ говорю я, потому, что при тиранскомъ угнетеніи въ покрытыхъ сажею стѣнахъ, не отваживается возстать ни малѣйшій ропотъ самочувствія. Спокойна въ своихъ оковахъ никогда столь буйная нація Латышей; то есть кротка, какъ кроткій левъ, заключенный въ клѣткѣ и нѣсколько лѣтъ уже перевозимый съ мѣста на мѣсто для увеселенія – праздной черни, иногда тихимъ, слабымъ ревомъ показывающій свое негодованіе; спокойна — какъ умирающій, который

«Отрывок из бумаг Гр... Краткая история латышей и всеобщее описание их». Первый лист рукописного списка из архива бр. Бестужевых. Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Однако рукопись попала в руки декабриста М. А. Бестужева и была, по-видимому, известна также лицам, связанным с переводчиком этого «Отрывка».

«Краткая история латышей и всеобщее описание их» содержали правдивые сведения о прошлом эстонского и латышского народов, в течение веков томившихся под игом немецких и датско-шведских захватчиков. Честный русский человек не мог, конечно, не воспылать справедливым гневом, узнав из рукописи о «кровожадных разбойниках», под флагом крестовых походов выжигавших пашни, угонявших крестьянский скот. «Слепой фанатизм, — рассказывал переведенный отрывок, — обращая бешеный взор к небу и попирая ногою вью невинности, проповедывал проклятие несчастным, защищавшим детей и жилища отцов своих. Целые толпы освященных убийц устремлялись на Лифляндию. Они погружались в крови и потóм или возвращались будучи очищены от грехов и даже святы, или располагались в убийственных вертепах попов... Когда уже вся земля лежала без чувств под благословляющими их дланями, разделили они побежденных...»

Очерк обличал «лукавых попов» — этих носителей, по выражению К. Маркса, «язвы христианства»[88], насильно обративших в новую веру покоренные народы. Обещая эстонцам и латышам рай в будущем, заявлял автор, они взяли у них взамен всё, что те имели в настоящем. В этом обличении кровавых «подвигов» немецких псов-рыцарей и духовенства очерк резко расходился с популярной в то время «Хроникой Ливонии» Генриха Латышского, оправдывавшей и феодальные захваты, и принуждение прибалтийских народов к переходу в христианство.

Накопившийся к началу XIX столетия обширнейший фактический материал подтверждал справедливость обличения Меркелем духовных союзников ливонского рыцарства и остзейского дворянства. Еще Руссов отмечал корыстолюбие и жадность церковных служителей, стремившихся лишить крестьянина последнего куска хлеба. Даже отъявленный мракобес епископ Раудбек в 1627 году вынужден был согласиться с тем, что «пастыри очень мало разумели язык народа, почему церковь вовсе не привлекала эстов». На это же впоследствии указывал и историограф лютеранской церкви в прибалтийских губерниях, приводивший потрясающие примеры надругательства пасторов над местным крестьянством.

В XVII столетии, сообщает вышедшая в 1905 году в Валке книга «Церковные сборы и повинности в Лифляндской губернии», «святое место» было местом пыток и наказаний ни в чем не повинных людей. По указанию пастора из деревень вызы-

вались крестьяне, их жены и дети для проверки знания молитв. Того, кто не мог угодить духовному «отцу», заключали на несколько часов в ручные и ножные колодки. При повторном незнании молитвы продолжительность этого наказания увеличивалась вдвое. Детям вместо колодок предназначалась солидная порция розог. За некоторые, подчас самые невинные, проступки церковный суд, состоявший из пастора и церковного попечителя, присуждал крестьянина к наказанию на столбе. «Столб этот, высокий, чёрный, с двумя поставленными крестообразно пучками розог на кругловатой, головообразной верхушке, — рассказывал историк, — стоял неподалёку от входа в церковь; при столбе были большие кольца и цепи для поднятия наказываемых, которых иногда придерживали церковные форминдеры»[89].

Множество подобных фактов, которыми располагал, конечно, Гарлиб Меркель, и давали ему основание для его резкого выступления.

Несколько десятилетий, прошедших со дня выхода книги «Латыши, особливо в Ливонии...» до перевода на русский язык одной из ее глав, не улучшили положение эстонских и латышских крестьян. Не о далеком прошлом прибалтийских народов, а, по существу, о современных анонимному переводчику днях, повествовали эти страстные и гневные строки:

«Люди, которые составляют богатство и силу земли, приобретениями коих обжираются дворянство и духовенство, сии люди должны л е т о м, запустив собственные свои пашни, обрабатывать поля своих тиранов; о с е н ь ю платить им тяжелые подати; з и м о ю делать без удовлетворения частые поездки от 70 до 300 верст для развозу господского доходу; а в е с н о ю испрашивать тщетно взаймы хлеба от тех, которых они питают, чтоб в первую жатву заплатить каждое зернышко с лихвою. Скот их, подобно им изнуренный голодом, отказывает им в молоке и часто утучняет поля их своими трупами. Они или не имеют времени для собрания корму скотине, или принуждены бывают отдать его за бесценок для удовлетворения других сильнейших нужд.

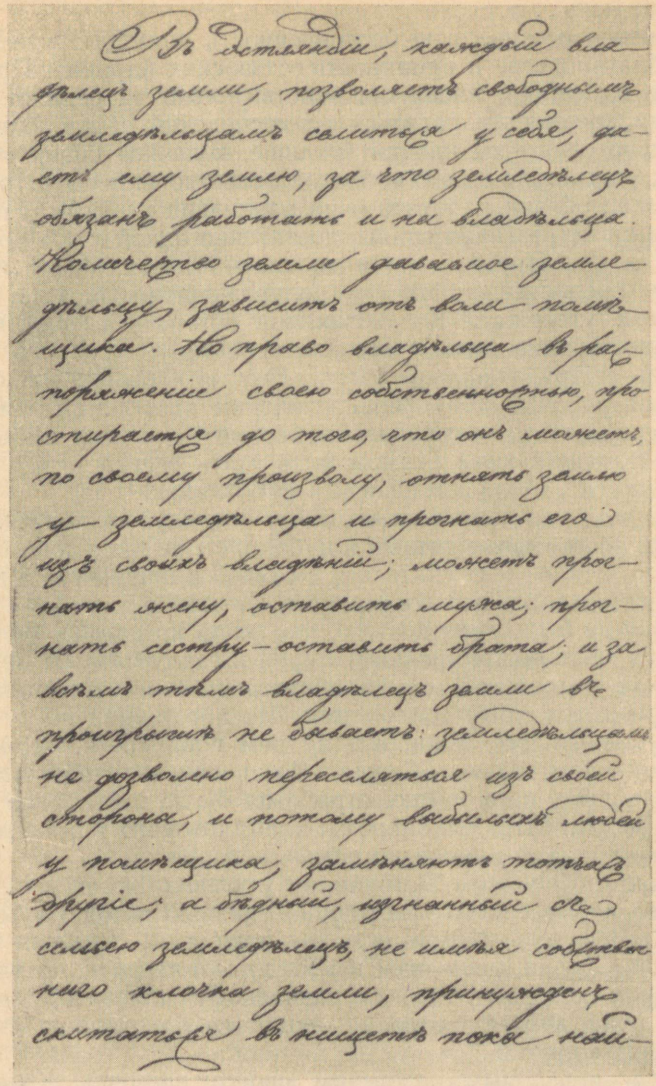
Присовокупи к сим бедствиям и то, что они состоят совершенно под деспотическою властию, которая предписывает или переменяет даже домашние их учреждения, обхождение с женою и детьми и хозяйственные промыслы, определяет им все роды наказаний; присовокупи, что всякое другое состояние взирает на них с презрением, что нет никакого способа, даже при высочайшей честности, искусства и деятельности, не только переменить судьбу свою или достигнуть другого, высшего

состояния, но ниже́ уменьшить угнетение или хотя один только день быть уверену во владении своею хижиною . . .»[90]

Примерно в то время, когда, по всей вероятности, осуществлялся или уже был сделан перевод «Отрывка», в 1846 году, Эстонию посетил молодой русский ученый-гидрограф П. В. Козакевич[91]. Эта поездка по прибалтийской губернии развеяла в прах его былое представление (созданное, конечно, под влиянием реакционной прессы) о гуманности остзейского дворянства. В правдивой публицистической «Заметке об экономическом состоянии крестьян в Эстляндской губеринии» — в заметке, которая так и осталась в рукописи! — ученый показал, какова была, на самом деле, «забота» остзейцев о порабощенном ими народе.

Эстонские крестьяне, сообщал Козакевич, громко жалуются на свое горькое состояние. «И это происходит в той стране, — с негодованием писал ученый, — которую ставили нам за образец прекрасного устройства! Какая же причина такому ропоту? Неужели те, кто предложил основать новый быт эстляндских крестьян, так жестоко ошиблись? Напротив, действие было рассчитано с немецкою точностью, и только теперь принесло плоды. Дело в том, что эстляндские помещики, давши полную свободу своим крестьянам, не дали им никакой собственности и тем подчинили их свободную волю полному своему на нее влиянию»[92].

Автор пламенной записки, поистине написанной кровью возмущенного сердца, не мог, да и не хотел, таить в себе безмерный гнев к угнетателям, страшную боль за безвинно страждущих людей. Дикие контрасты, потрясшие в свое время в Эстонии Александра Бестужева, возмутили и Павла Козакевича. Рядом с роскошными мызами эстляндских помещиков он увидел жалкие, похожие более на скотные дворы, лачуги земледельцев; тучные поля и баронские луга чередовались с крестьянскими участками, где едва пробивалась тощая растительность. И Козакевич возмущенно восклицал: «Где то свободное состояние людей, так громко прославляемое эстляндскими филантропами!?» Он призывал читателя перенестись мысленно в хижину эстонского земледельца. Там, обещал ученый, вас поразит нищета, достигшая своего полного развития. «Лица, истомлённые вечным, безвозмездным трудом . . . , — писал Козакевич, — достаточно свидетельствуют о состоянии духа несчастных обитателей этих гадких полуразрушенных хижин. Да и может ли он быть весел и покоен; может ли его лицо выражать довольствие, когда он не только в вечной нищете, но когда не уверен даже в домашней своей собствен-



Страница рукописного списка статьи П. В. Козакевича «Заметка об экономическом состоянии крестьян в Эстляндской губернии».
Архив Географического общества СССР.

ности; не уверен, что утро застанет его на той же земле, где он проводит ночь . . .».

Козакевич осознал всю беспочвенность циничных утверждений о благородстве и гуманности остзейских баронов. Прибалтийские помещики, писал он, действительно разрешают «свободным» крестьянам селиться на господской земле, они действительно сдают им клочки (худшие, конечно) своих обширнейших угодий. Но за это «облагодетельствованный» эстонский земледелец обязан работать и на владельца усадьбы. Хотя он и трудится не разгибая спины, достаточно одной лишь прихоти барона и крестьянин, вместе со своей семьей, будет изгнан даже из предоставленного ему полуразрушенного дома.

Остзеец, утверждал Козакевич, мог оставить в своих владениях крестьянина, отказавшись предоставить кров его жене; прогнать сестру, удержав брата. Ему не грозила опасность лишиться рабочей силы. Ведь эстонским крестьянам запрещалось переселяться за пределы губернии и, взамен выбывших людей, помещик имел возможность взять всегда любое количество других, столь же дешевых работников.

А что же было делать несчастному бедняку? Изгнанный земледелец, рассказывал ученый и публицист, не имея собственной земли, вынужден был скитаться с семьей в нищенстве и искать нового приюта, где всё повторилось бы заново.

Барону не было дела до того, как жили крестьяне. Ведь они являлись «вольными» людьми! Барон не задумывался над тем, где и как земледелец мог заработать на свое существование. Барон не хотел считаться и с тем, что крестьянин не в силах был выполнить все лежавшие на нем повинности. «Помещик хлопочет о том только, — писал Козакевич, — чтобы земледелец, взявший у него землю, отработал бы за неё полное число дней и собрал бы в его закромы хлеб, которого у земледельца никогда не хватает даже до зимы».

В каком бы уголке Эстонии ни побывал Козакевич, везде он видел истомленного безотрадной жизнью голодного крестьянина. «Всё, что у него есть — чужое; — отмечал автор «Заметки», — да и сам он, с в о б о д н ы й человек, по капризу помещика, которому как американскому плантатору нужны только руки, может завтра же лишиться пристанища и место его заменит другой . . .».

Будучи передовым человеком своего времени, Козакевич сумел распознать миф о будто бы существовавшей в Соединенных Штатах Америки свободе. Показное благополучие заатлантической республики не скрыло от него царивших там горя, нищеты, позорного рабства [93]. Познакомившись же с положением эстонского крестьянина, русский ученый пришел к

справедливому выводу, что оно мало чем отличалось от состояния американского негра. На негра, писал он, действуют палочными ударами, а для эстонского «свободного» земледельца бароны придумали другой бич — голод.

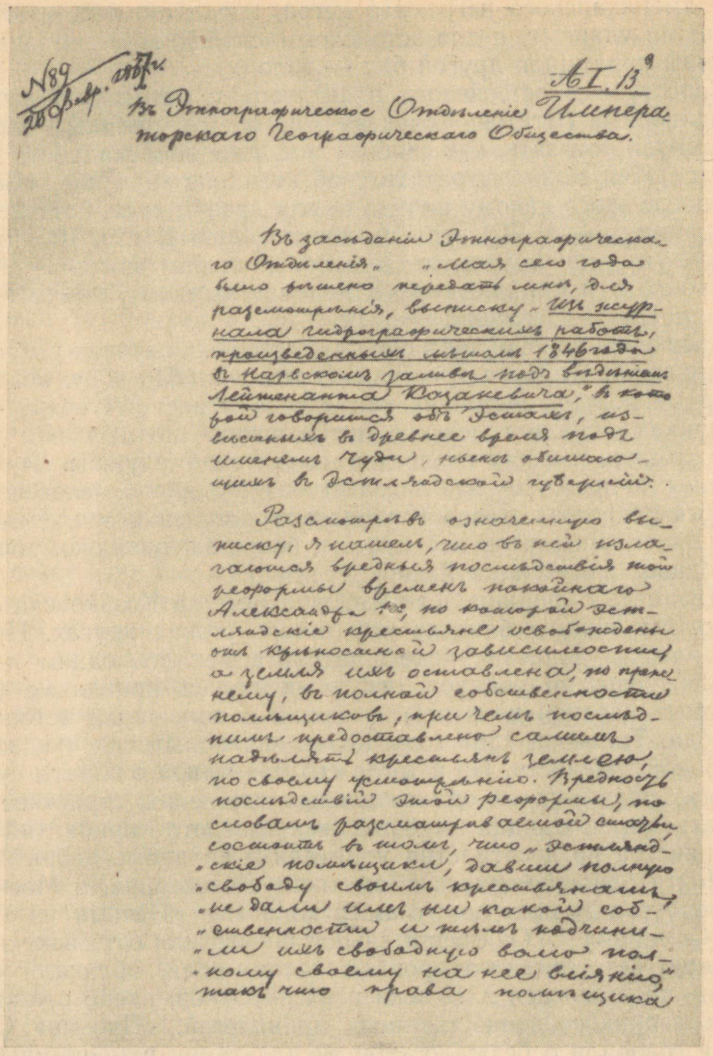
Сопоставляя остзейского плантатора с рабовладельцем из Соединенных Штатов, Козакевич, по его собственным словам, стремился показать, как свобода под влиянием жадности и корыстолюбия может утратить своё истинное значение. «Верьте же после этого какому нибудь немцу (разумеется, остзейскому дворянину. — А. Л.), что он, проглотивши Канта, Шлегеля и Фихте и всю немецкую мудрость, понял значение слова с в о б о д а и применил его к подвластным ему людям!» — с возмущением восклицал ученый.

Козакевич хорошо знал о многочисленных случаях неповиновения прибалтийских крестьян. В том же 1846 году, когда он впервые посетил Эстонию, там заседали военные суды, «бунтовщикам» брили головы и «непокорных» по пыльным дорогам угоняли к месту их долгой солдатской службы. И, хотя бароны по-прежнему разглагольствовали о правах человечества, о преимуществах жизни «свободных» эстонских земледельцев, эти лицемерные речи всё более и более заглушались ропотом голодных, измученных людей.

Двадцать с лишним лет эстонские заметки Козакевича были известны лишь в близких ему петербургских кругах. Публицистические записки ученого-патриота явились одним из тех бесцензурных источников, откуда черпались правдивые (а не угодные царской цензуре!) сведения о положении эстонского народа. Только в 1867 году Козакевич попытался предать их широкой гласности. Но и тогда его «Заметку» ожидала судьба многих подобных же обличительных сочинений: страстное свидетельство очевидца чудовищных зверств прибалтийского дворянства на десятилетия упрятали в архивные дебри [94].

Почти одновременно с «Заметкой» Козакевича, в Москве и Петербурге ходили по рукам рукописные «Письма из Риги» Ю. Самарина [95]. Они решительно опровергали остзейскую концепцию исторического прошлого этого края, обличали «подвиги» крестоносцев XIII века и их потомков, рьяно отстаивавших неприкосновенность своих привилегий. «Письма» Самарина говорили о безжалостной эксплуатации немецкими баронами эстонских и латышских крестьян, об отсутствии в остзейских губерниях «строгой законности в ходе судопроизводства и управления» [96], в волне крестьянского движения и о войсках, призванных баронами для подавления «беспорядков».

В своей критике Самарин, ставший одним из идеологов славянофильства, исходил, разумеется, с позиций русских поме-



№ 89
20 Февр. 1867 г.

А I. 13

Въ Этнографическое Отдѣленіе Императорскаго Географическаго Общества.

Въ засѣданіи Этнографическаго Отдѣленія „Мая сего года было рѣшено передать мнѣ, для разсмотрѣнія, выписку „Изъ журнала гидрографическихъ работъ, произведенныхъ мѣсяцемъ 1846 года въ Нарвскомъ заливѣ подъ вѣдѣніемъ Лейтенанта Козакевича,“ въ которой говорится объ Эстахъ, извѣстныхъ въ древнее время подъ именемъ Чуди, нынѣ обитающихъ въ Эстляндской губерніи.

Разсмотрѣвъ означенную выписку, я нашелъ, что въ ней излагаются вредныя послѣдствія той реформы временъ покойнаго Александра II-го, по которой эстляндскіе крестьяне освобождены отъ крѣпостной зависимости, а земля ихъ оставлена, по прежнему, въ полной собственности помѣщиковъ, причемъ послѣднимъ предоставлено самимъ надѣлять крестьянъ землею, по своему усмотрѣнію. Вредность послѣдствій этой реформы, по словамъ разсматриваемой статьи, состоитъ въ томъ, что „эстляндскіе помѣщики, давши полную „свободу своимъ крестьянамъ, „не дали имъ ни какой собственности и тѣмъ подчинили ихъ свободную волю полному своему на нее вліянію,“ такъ что права помѣщика

Отзыв о статье П. В. Козакевича «Заметка об экономическом состоянии крестьян в Эстляндской губернии», представленный в этнографическое отделение Русского географического общества, 1867.
Архив Географического общества СССР.

щиков. Однако остзейская партия в Петербурге или, как выразился один из современников, — «самообразовавшееся в центре самого правительства особое министерство остзейских дел», — усмотрев в его письмах опаснейшие для себя тенденции, объявило ему открытую войну. Прибалтийский генерал-губернатор А. А. Суворов, полностью разделявший интересы местного дворянства [97], обратился с жалобой к царю. Самарин был арестован и даже заключен на короткое время в Шлиссельбургскую крепость.

То, о чем рассказывали «Заметка» Казакевича и, в значительно меньшей степени, «Письма» Самарина, волновало лучших людей русской культуры. О тяжелой доле прибалтийского крестьянства говорили и передовые писатели, и ученые. Бесспорно, архивные поиски принесут еще немало ценных находок — публицистических произведений и научных трактатов, правдиво освещавших жизнь эстонского народа и именно поэтому не укладывавшихся в рамки цензурных законов [98].

Дальнейшее изучение архивных фондов Москвы, Ленинграда и самой Эстонии позволит извлечь также иного рода материалы: личные дневники, переписку, официальные бумаги реакционных деятелей, при всем своем тенденциозно-классовом характере содержащие ценный фактический материал о беспощадном угнетении баронами эстонского народа.

О том, как важны и подобные розыски, можно судить хотя бы по страничкам «Из дневника русского чиновника» графа Д. Толстого-Знаменского. Они были написаны в 1845—46 гг., пролежали в сейфе 35 лет и увидели свет только благодаря тому, что их автор стал обер-прокурором святейшего синода, членом государственного совета и перед вступлением в должность шефа жандармов мог позволить себе щегольнуть давними и, на его взгляд, выдающимися «заслугами». А сколько подобных же документальных материалов до сих пор еще погребено в личных архивах, в фондах царских департаментов и министерств! [99]

В 1845—46 гг. Толстой-Знаменский возглавлял секретную канцелярию прибалтийского генерал-губернатора. Ему были хорошо известны мельчайшие подробности подавляемых не без его участия крестьянских волнений. В дневнике этого поборника «сильной власти» сохранились такие откровенные признания:

1845 г., 16 ноября. Крестьяне ненавидят помещиков. Убеждение, что они пришельцы и утеснители коренных жителей, развито как нельзя сильнее...

1846 г., 30 марта. Недостаток в продовольствии крайне ощутителен... Были примеры (и нередкие), что умирали с

голоду, и по вскрытии трупов в желудке находили сено! И всё это остается без взыскания, потому что здешние помещики — немцы и люди их — не крепостные, а вольные; а угнетение во имя свободы считается законным.

2 мая. Перновский орднунгсрихтер Штааль пишет, что он получил донесение помещика действительного статского советника Ренненкампфа, что крестьяне ему не повинуются и что Штааль велел им явиться для объяснений в орднунгсгерихт через три дня. К этому он присовокупляет, что вероятно они не явятся и просит прислать ему подкрепление. Уведомив об этом происшествии министров военного и внутренних дел, генерал (генерал-губернатор — А. Л.) послал в Пернов два эскадрона казаков.

17 мая. С острова Эзеля получено два рапорта об угрожающем возмущении крестьян: земская полиция, не отвечая за спокойствие острова, просит прислать сотню казаков и роту пехоты. Генерал рапортовал о пехоте военному министру, прося прислать из С.-Петербурга на пароходе, а казаков послал из Пернова под командою подполковника Ланге, которому велено принять военные меры, то есть взяться за оружие, когда того я потребую, а меня послали на Эзель для усмирения крестьян [100].

Страницы «Из дневника русского чиновника», написанные отъявленнейшим врагом и палачом эстонского народа, с циничной откровенностью повествовали о том, что безуспешно скрывала от передовой русской общественности царская цензура. Бритьем голов, шпицрутенами, ссылкой в Сибирь эстонский народ принуждали покориться баронской власти. Но, хотя шеф жандармов констатировал в конце 1846 года относительное спокойствие, якобы, наступившее в Прибалтике, атмосфера продолжала оставаться там весьма напряженной. Эстонские и латышские крестьяне не прекращали свою борьбу и она выливалась в самые разнообразные формы.

IV. «СОВРЕМЕННИК» И ЭСТОНИЯ

> Прямо говорить нельзя, будем говорить как бы о посторонних предметах, лишь бы связанных с идеею о преобразовании сельских отношений.
>
> *Н. Чернышевский*

В секретной переписке министерства просвещения сохранилась всеподданнейшая записка П. А. Вяземского, в которой давно распрощавшийся с прогрессивными идеями князь, воз-

главлявший в ту пору цензурное ведомство, с тревогой запрашивал, как поступать ему со статьями, «касающимися до земледельческого сословия». На его запрос последовало строжайшее предписание: «Подобные статьи пропускать только с должной осторожностью»[101].

Не трудно представить, в какие формы продолжала выливаться эта беспримерная «осторожность»!

В один из февральских дней 1857 года в министерство внутренних дел из главного управления цензуры поступила рукопись статьи «Положение о крестьянах Эстляндской губернии». В ней подвергались критике отдельные параграфы пресловутой, сохранившей за бароном его вековые привилегии, «реформы» 1856 года [102]. Но в руках министерских чиновников статья приобрела вполне приемлемый для цензуры вид: из нее убрали все отрицательные заключения, в ней сгладили острые углы, придав авторским мыслям прямо противоположный смысл [103].

Такова была судьба каждой правдивой строки о крестьянском законе, еще более ухудшившем и без того тяжелую жизнь эстонского земледельца. Лаконичное указание министра просвещения недвусмысленно рекомендовало тогда «о сказанном предмете частным лицам вовсе избегать выражать свои суждения»[104]. И в легальную российскую прессу, сквозь многочисленные преграды, свободно шли лишь те статьи, которые восхваляли этот закон, трактовали его в угодном правительству духе.

Вполне приемлемыми и для цензуры, и для прибалтийского дворянства могли быть лишь сочинения, подобные этнографическим очеркам начальника канцелярии прибалтийского генерал-губернатора, остзейского историографа А. Тидебеля. Ведь в них обреченный на голод эстонский крестьянин изображался охотно покорявшимся своим угнетателям и даже... «придававшим всем им почтительные названия»![105]

Каким надо было обладать бесстыдством, чтобы ставить свое имя под столь кощунственным утверждением! В то время, как «Журнал министерства внутренних дел» оповещал о царившем будто бы в Эстонии спокойствии, остзейский губернатор доносил в департамент полиции о необходимости более частого наказания эстонских крестьян «посредством палачей»[106]. В гостиных баронских домов одобрительно отзывались об очерках Тидебеля, а губернская канцелярия, где сидели дворянские сынки, вела одновременно оживленную переписку: какие части крестьянского тела лучше всего выдерживают наказание розгами [107].

Не о покорности эстонского народа, расписываемой трубаду-

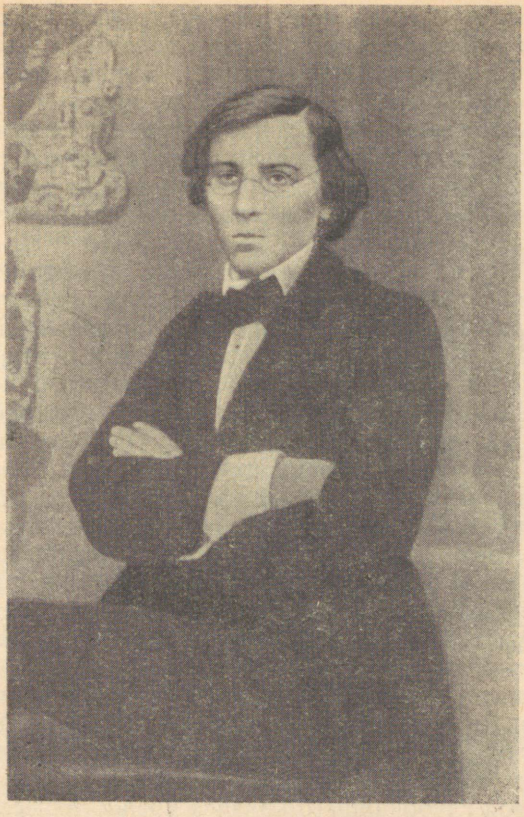
рами остзейского дворянства, свидетельствовали эти инквизиторские меры, поспешно принимаемые помещиками Прибалтики!

Со страниц издававшейся «по высочайшему повелению» «Земледельческой газеты» и других подобных ей изданий, охотно рядившихся в либеральные одежды, а на самом деле рьяно отстаивавших угнетение крестьян, остзейцы без зазрения совести расписывали мифические «блага», принесенные «реформой» прибалтийским земледельцам. «Быстрый успех эмансипации объясняется усердным и разумным содействием, которое оказали правительству сами дворяне остзейских губерний, — с восторгом утверждал в одном из журналов анонимный автор. — Им следует, — призывал он, — воздать эту честь . . .»[108] Защищая закрепленные новым законом средневековые баронские привилегии, авторы ряда статей всячески изощрялись, чтобы представить принятое для Эстонии крестьянское положение наиболее гуманной и единственно разумной мерой.

Эстонские крестьяне, писал в 1858 году прибалтийский историк А. Рихтер, поставлены отныне на высшую ступень самостоятельности и благосостояния. Далее, восклицал он, идти уже невозможно! Однако при этом Рихтер не забывал оговориться, что «новый» порядок вдвое возвысил цены на дворянские имения [109]. Так устранялась опасность: как бы лживые уверения не были приняты за чистую монету теми, для кого они ни в коем случае не предназначались, как бы они не обманули русских помещиков-крепостников.

К концу 1857 года, опасаясь крестьянской революции, царь вынужден был опубликовать рескрипты о подготовке в России реформы [110]. Повсюду еще более усилился интерес к крестьянскому вопросу. Об эмансипации заговорили во всех слоях русского общества. И именно в ту пору яснее, чем когда-либо, определились две линии борьбы за отмену крепостного права. Либерально-монархический лагерь выдвигал многочисленные «записки» и «проекты», сводившиеся к сохранению помещичьего землевладения, к постепенной замене гнета помещика-крепостника не менее жестоким капиталистическим гнетом. Революционно-демократический лагерь решительно выступал за отмену крепостного права с передачей земли крестьянам.

Подготовка общероссийской реформы переполошила остзейское дворянство. Бароны встревожились, как бы новый закон не оказался либеральнее эстляндского и лифляндского крестьянских положений, как бы он не ущемил их интересы. Это и явилось одной из причин лихорадочной публицистической деятельности остзейцев. Они стремились во что бы то ни стало



Н. Г. Чернышевский.
Фото, 1859.

представить узаконенные в Прибалтике отношения помещиков и крестьян «достойнейшим» образцом для всей империи. «Верная повесть о всём, что мы пережили с нашими крестьянами в течение более полустолетия, о всем, что мы выполнили на практике, — писал в «Земледельческой газете» лифляндский землевладелец Гагемейстер, — может послужить для наших собратий русских помещиков . . .»[111] Смысл этих слов не подлежал сомнению: дайте, дескать, своим крестьянам волю на тех же основаниях, на которых мы освободили своих рабов, но не вздумайте наделять их даже клочком земли, и тогда они останутся в полной вашей власти.

Открыто опровергнуть подобные фальсификаторские статьи было невозможно. Несмотря на некоторое смягчение в 1857—58 гг. цензурной практики, обсуждение в печати крестьянского вопроса по существу по-прежнему беспощадно пресекалось. По высочайшему повелению книги и журнальные статьи, «излагавшие мнение о принадлежащем, будто бы, им (крестьянам. — А. Л.) праве собственности на землю владельцев, которою они пользуются», подвергались категорическому запрету.

За четыре года, предшествовавших «реформе», министр просвещения и главное управление цензуры разослали во все концы империи 14 циркуляров, целиком посвященных крестьянскому вопросу. Из разных городов России в цензурное ведомство поступали кипы рукописей, но возвращались оттуда немногие. Одна из почт 1859 г. доставила в главное управление 14 статей, однако десять из них оставили под сукном. Во второй партии из двенадцати рукописей запрету подвергнуто было восемь, в третьей из девяти — шесть и т. д. [112]

Надо было обладать той беспощадной ненавистью к монархическому строю, какая владела Н. Г. Чернышевским, такой горячей любовью к угнетенному народу, которая пронизывала всю жизнь великого революционера-демократа, чтобы даже в эпоху цензурного шквала и жандармского произвола найти пути для смелого обличения крепостного права. Со страниц «Современника», большей частью в завуалированном (из-за цензуры!) виде, Чернышевский наносил сокрушительные удары по эксплуататорскому строю, выступал в защиту крестьянской массы, в том числе и угнетенных баронами крестьян Прибалтики. В период глубочайшего кризиса крепостнической системы он сумел превратить подцензурный журнал в трибуну могучей проповеди идеи крестьянской революции.

Печатавшиеся в «Современнике» статьи Чернышевского не оставляли камня на камне от выступлений крепостников, рьяно «доказывавших» гибельность для России отмены крепостного права. Статьи Чернышевского разоблачали лицемерие буржуазно-помещичьих либералов, защищавших выгодные дворянскому классу проекты реформы. Твердо стоя на позициях революционного демократа, Чернышевский неуклонно отстаивал интересы крестьянских масс. «... Основным принципом своих желаний по делу освобождения крепостных крестьян, — писал он, — мы должны принять то, чтобы они не остались без земли»[113].

Вот почему каждая строка Чернышевского по крестьянскому вопросу в той или иной мере была направлена и против остзейского дворянства, против введенных в Эстонии и Латвии граби-



Титульный лист приложения к журналу «Современник» — «Устройство быта помещичьих крестьян», 1858, № 1.

тельских крестьянских законов. Обходя строжайший цензурный надзор, великий предшественник русской социал-демократии смело разоблачал распространявшиеся самими баронами легенды о «счастливой жизни» прибалтийских земледельцев.

В середине 1858 года под руководством Чернышевского начали выходить особые «Прибавления» к «Современнику». Им предполагалось дать недвусмысленный заголовок — «Отменение крепостного права». Однако после цензурной правки, «Прибавления» получили вполне благонамеренное и ничего не говорившее название — «Устройство быта помещичьих крестьян». Но и за этим титульным листком скрывались далеко не благонамеренные мысли.

Первое же помещенное в «Прибавлениях» «Обозрение мер, принятых до сего времени к устройству быта помещичьих крестьян»[114] коснулось крестьян прибалтийских губерний. «Современник» опроверг беспардонную ложь реакционной печати о патриархальных отношениях между остзейскими дворянами и закабаленными народами Прибалтики. Журнал категорически заявил, что на самом деле бароны и угнетенные ими крестьяне всегда были чужды друг другу даже «по племени и языку»[115].

Под искусным покровом внешне «благонамеренных» фраз, он с изумительной ясностью изложил взгляды русских демократов на эстляндскую и лифляндскую «реформы».

Сделав краткий обзор правительственных мер «уничтожения» крепостного состояния в прибалтийском крае, безвестный автор подчеркнул антинародный характер изданных законов, не устранивших основы старых феодальных отношений. Он показал хищническую сущность разработанных самими остзейскими дворянами «реформ» 1816—1819 гг. Эти реформы, по его словам, «действительно увенчались успехом в том отношении, что освобождение совершилось спокойно и безубыточно для помещиков». Более того, утверждал «Современник», после «освобождения» эстонских и латышских крестьян ценность дворянских имений значительно возвысилась.

А что же получили с этой долгожданной «свободой» сами крестьяне прибалтийских губерний? «Освобождение крестьян вовсе без земли, — заявлял передовой русский журнал, — повлекло за собою лишение многих крестьян участков земли, состоявших в их пользовании, для присоединения участков этих к господским полям, и чрез то непомерное возвышение арендной платы... Всё это, особенно в Лифляндии и Эстляндии, повело к обеднению крестьян, бывших и без того уже в незавидном положении...»[116]

Беспощадные репрессии цензурного комитета, министерства внутренних дел и III отделения против критических статей и заметок о «реформе» 1849 и 1856 гг. не позволили «Современнику» выйти за пределы короткого изложения этих законов. Он вынужден был ограничиться лишь выражением своего искреннего пожелания, чтобы быт прибалтийских крестьян действительно подвергся коренному улучшению. Но даже немногие сведения о Прибалтике, проскочившие в подцензурный журнал, являлись, по глубокому убеждению обозревателя, «живым примером того, к чему может привести освобождение крестьян без всякого предоставления им права на пользование землею»[117].

Последние строки обращены были против стремления помещиков-крепостников отстоять существование в земледелии крепостного труда, против многочисленных выступлений остзейских дворян, отвергавших право крестьян на экономическую самостоятельность.

Борясь за подлинное освобождение от крепостного ига не только русского, но и других народов царской империи, Чернышевский и его соратники внимательно изучали кабальные условия, в которых находились эстонские и латышские земледельцы. Великий ученый-революционер не мог, конечно, оставить без внимания хотя бы те печатные материалы о Прибалтике, кото-



В редакции журнала «Современник». Слева направо: Н. А. Некрасов, Н. А. Добролюбов, А. Н. Пыпин, Г. З. Елисеев, Н. Г. Чернышевский. Картина худ. А. Максимова.

рые упоминались в обзорах «Современника». А ведь в одном только июльском номере журнала за 1858 г. речь шла об «Историческом очерке устройства крепостного сословия в Эстляндской губернии»[118], «Очерке истории крестьянского сословия в Лифляндии»[119], «Извлечениях из законоположений о крестьянах остзейских губерний»[120], о статье — «Об изменении быта крестьян остзейских губерний»[121].

Само собой разумеется, что «Современник» мог рецензировать только те сочинения, которые не внушали опасений цензуре и, благодаря этому, уже увидели свет. Но реакционнейшее содержание статей, извращавших истинное положение Эстонии и Латвии, не обмануло, конечно, ни Чернышевского, ни других революционных демократов.

Надо представить себе те жесточайшие условия, в которых выходил «Современник», чтобы понять, как сложно было руководителям журнала выступать против остзейского словоблудия. Приходилось пускаться на хитрости, делать искусные тактические ходы — только бы обмануть цензуру, только бы передать

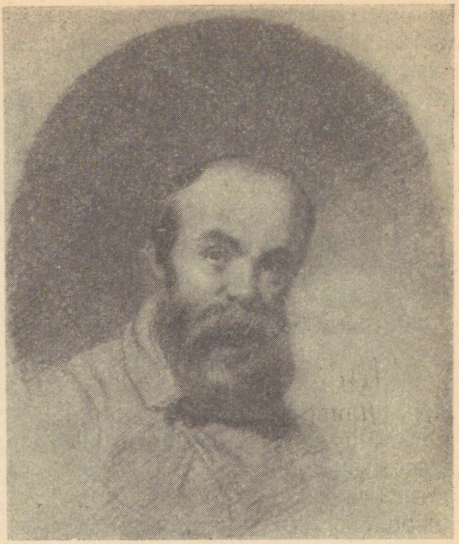
читателю свою непримиримость к крепостническому содержанию «реформы».

С этой, видимо, целью журнал и обратился к работам, подобным «Историческому очерку устройства крепостного сословия в Эстляндской губернии». Изложив свои мысли в виде вывода, якобы, подсказанного ему авторами рецензируемых трудов, сотрудник «Современника» сумел протащить в печать такие строки: «Все вообще писанное по этому предмету (об отмене крепостничества. — А. Л.) приводит к убеждению, что дарование крестьянам одного только права перехода из одного имения в другое, без права собственности или постоянного пользования на землю, неминуемо должно иметь вредное влияние на быт крестьян»[122].

В другом библиографическом обзоре, прославляя борцов за справедливость, не страшившихся ярости и нареканий «людей с узкими и отсталыми понятиями», не отступавших перед наскоками «алчных эгоистов», «Современник» с одобрением отозвался о видном прибалтийском просветителе Гарлибе Меркеле. Журнал дал высокую оценку сочинениям Меркеля о крестьянах, «живо представившим несчастное положение их и убедительно высказавшим, новые ещё в то время (в конце XVIII — начале XIX века. — А. Л.), мнения о способах к улучшению крестьянского быта, много содействовавшим к распространению по этому предмету справедливых понятий»[123].

В 1859 году Чернышевский опубликовал в «Современнике» претерпевшие цензурные мытарства «Материалы для решения крестьянского вопроса». Выступая против проектов общероссийской реформы, представленных и губернскими дворянскими комитетами, и редакционной комиссией, он выдвинул свой, демократический, проект. В этой программной статье Чернышевский блестяще опроверг стремление помещиков и правительства, под видом выкупных платежей, совершить новое ограбление крестьян. Русский революционер ссылался на Эстонию и Латвию, где еще в 1849 и 1856 годах совершено было подобное же преступление. Обращаясь к авторам реакционных проектов, он предлагал им «подумать о том, есть ли для них надобность в таких страшных выкупах, какие определяются некоторыми софистами, рассчитывающими на остзейский манер»[124].

Благодаря усилиям Некрасова и Чернышевского, «Современник», даже в условиях строжайшей цензуры, сумел сказать об Эстонии правдивое слово. Оно было услышано всюду, куда попадал русский журнал, в том числе и в самой Эстонии. Известно, что «Современник» приходил по подписке в Таллин, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Нарву [125].



Т. Г. Шевченко.
Автопортрет, 1857, карандаш

Некрасовский журнал пользовался огромной популярностью. Велико было число его читателей. Следовательно, велико было и число тех, кто, благодаря «Современнику», имел возможность критически оценить хваленый «остзейский образ жизни».

В связи с этим можно поставить, в частности, вопрос: знал ли о положении эстонских крестьян такой, например, выдающийся демократ, как Тарас Шевченко? В Прибалтике он не был. Не упоминается она ни в его письмах, ни в дневнике, ни в стихах. И, между тем, ряд косвенных материалов дает нам всё же основание утверждать, что царившие в Прибалтике рабовладельческие нравы не остались тайной для великого украинского поэта.

27 марта 1858 года Шевченко вернулся в Петербург из ссылки, и сразу же стал внимательным читателем «Современника». На это указывал создатель памятника Богдану Хмельницкому скульптор Микешин. Об этом писал и сам поэт.

В центре внимания Тараса Шевченко, на самом себе познавшего весь ужас крепостной неволи, находился тогда, разумеется, обсуждавшийся «Современником» крестьянский вопрос. В мастерской великого поэта можно было увидеть томы журнала со специальными «Прибавлениями». Из них-то он и черпал, проскочившие сквозь цензурные рогатки, правдивые сведения о разработанных баронами «реформах».

Благодаря Шевченко, книжки «Современника» со статьями, касавшимися Эстонии и эстонского народа, попадали в украинское село. «Послав я тобі «Современник» и «Народное чтение», чи получив?» — спрашивал он в те дни одного из сородичей. Шевченко, так же как и Чернышевский, не мыслил свободу без земли: «братів і сестру Ярину з дітьми, — писал он, — випускае на волю без грунті и без землі бесплатно; але вони не беруть такоі поганоі волі. И добре роблять . . .»[126]

«Поганой волей» была и дарованная эстонским крестьянам пресловутая «свобода». Она не могла, разумеется, не вызвать возмущения великого украинского демократа.

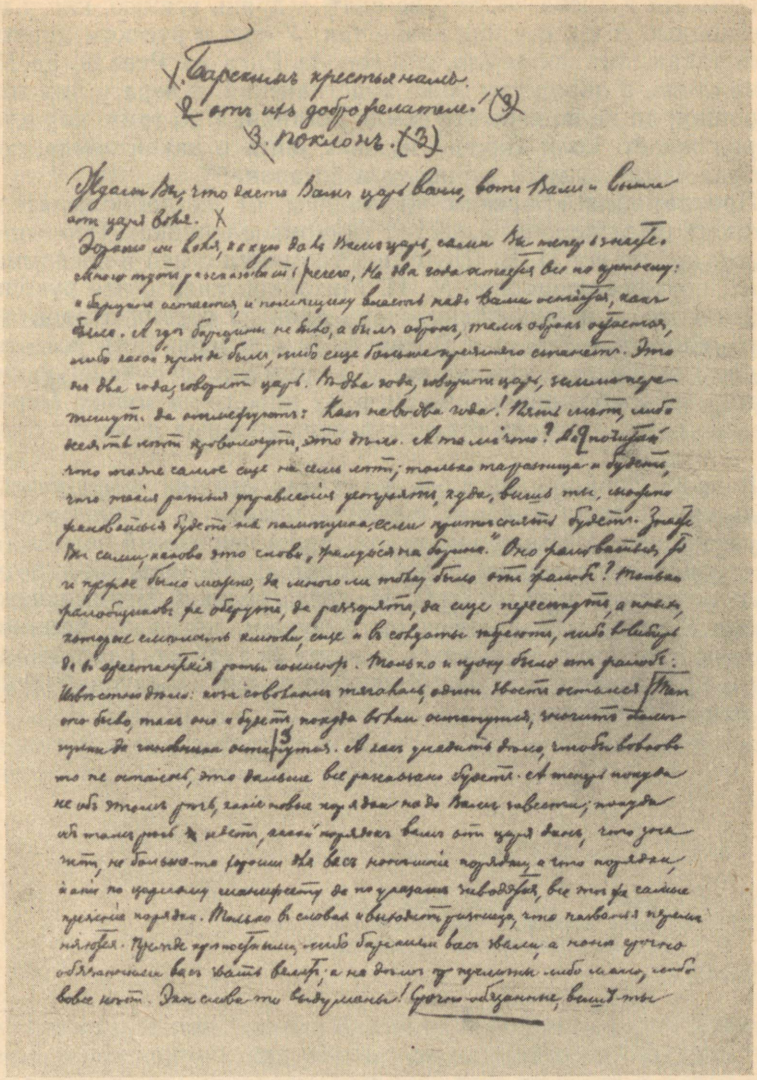
Таким образом, «Современник» сыграл значительную роль в распространении правдивой информации об Эстонии. И эта информация попадала к представителям демократического движения не только русского, но и других народов России.

Манифест и «Положение 19 февраля 1861 г.» оправдали надежды либерально-монархического лагеря. Царская «реформа» оставила в неприкосновенности эксплуатацию русского крестьянства, явившись лишь шагом «по пути превращения России в буржуазную монархию»[127].

Вся реакционная печать заполнилась тогда елейно-восторженными статьями о крестьянской «реформе». Иная, критическая, точка зрения не подлежала оглашению. И «Современник», не желая превозносить «освободителя», восхвалять «освобождение», вынужден был ограничиться молчанием. «Вы, читатель, вероятно, ожидаете, что я поведу с вами речь о том, о чём трезвонят, поют, говорят теперь все журналы и газеты, то-есть о дарованной крестьянам свободе, — писал в марте 1861 года «Современник». — Напрасно. Вы ошибетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете»[128].

Но это отнюдь не значило, что Чернышевский сложил оружие.

В 60-х годах в следственном деле о московских тайных типографиях, среди многих «крамольных» документов, лежала тщательно переписанная рукопись. То была знаменитая прокламация Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», впервые увидевшая свет лишь спустя много десятилетий после смерти ее автора. Обращаясь к миллионам «освобождаемых» от крепостного права русских крестьян, Чернышевский напоминал им о существовании прибалтийских губерний, «где уж давно заведён этот порядок», т. е. беззастенчивая эксплуатация провозглашенных свободными эстонских и латышских земледельцев. «Вот вы послушайте, — писал он, — как там мужики живут. У вас ноне избы плохи, а там таких нет: в землянках живут да в хлевах; а то в сараях больших, в одном



«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Первая страница прокламации, переписанная рукой М. И. Михайлова.

сарае семей десяток набито, всё равно как там табун скота какого. Да и хлеба чистого не едят, а дрянь всякую, как у нас в голодные годы, а у них вечно так. У нас, в русском царстве, есть такая поганая земля, где города Рига да Ревель, да Митава стоят, а народ там тоже христианский, и вера у них тоже хорошая; да не по вере эта земля поганая, а по тому, как в ней народ живёт: коли хорошо мужику жить в какой земле, то и добрая земля; а коли дурно, то и поганая»[129].

Прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» была хорошо известна единомышленникам Чернышевского: публицист Н. В. Шелгунов упомянул о ней в воспоминаниях, поэт-революционер М. И. Михайлов снял с нее рукописную копию, о прокламации писал один из организаторов тайного общества «Земля и Воля» А. А. Слепцов. Есть все основания утверждать, что воззвание выражало глубочайшую симпатию к порабощенному эстонскому народу не только Чернышевского, но и других русских революционных демократов.

В эпоху террора, насилий и гонений лучшие люди русской культуры сумели сказать суровую правду о прибалтийском образе жизни. Несмотря на строжайший цензурный режим, они выступили с пламенной и последовательной защитой угнетенного эстонского крестьянства. И, когда великий Чернышевский писал о светлом и прекрасном будущем, когда он призывал соотечественников стремиться к этому будущему, работать для него, приближать его, он, бесспорно, имел в виду и будущее народов Прибалтики.

ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ СЛОВО ОБ ЭСТОНИИ

> Вспомним его (Герцена. — А. Л.) стрелы, бросаемые в разные тёмные, отдаленные углы России, где они находили виноватого...
>
> *И. Гончаров*

В июле 1857 года с печатного станка Вольной русской типографии А. И. Герцена сошли первые листы нового журнала «Колокол». Его появление, писал в те дни великий демократ, «не есть дело случайное и зависящее от одного личного произвола, а — ответ на потребность: мы должны его издавать»[1].

Преодолевая таможенные кордоны, минуя «всевидящее» жандармское око, вольное слово А. И. Герцена и Н. П. Огарева распространялось по всей самодержавной России. Оно не только откликалось на события в царской империи, но и влияло на развитие общественной жизни, служило знаменем в борьбе за отмену крепостного права, указывало революционный путь завоевания свободы.

Набатный звон «Колокола» услышала и Эстония. И незримые нити связали ее навечно с именами друзей, защитников прибалтийского крестьянства, с именами выдающихся русских демократов — Герцена и Огарёва...

I. ПОЗОРНАЯ «СВОБОДА»

> Пора уже перестать ссылаться на остзейские губернии, где было сделано не освобождение, а новый вид рабства.
>
> *Н. Огарёв*

«Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу»[2], — вспоминал А. И. Герцен. На Воробьёвых горах двое юношей приняли клятву отдать себя борьбе за свободу и счастье народа. То был, писал много лет спустя второй из друзей — Н. П. Огарёв, день сознания

сильной дружбы, день сознания своей дороги. Став еще подростками на этот тернистый путь борьбы, они прошли по нему рука об руку до самой смерти, одержимые одним испепеляющим чувством — ненавистью к самодержавию, к поборникам тьмы и застоя, к угнетателям народа.

Два друга — Александр Иванович Герцен и Николай Платонович Огарёв — приняли знамя освободительной борьбы — знамя, поднятое их предшественниками — декабристами. И они стали, писала в предоктябрьскую пору ленинская «Правда», «двумя крупными величинами, ознаменовавшими собой целую эпоху в движении общественной мысли 40-х годов».

Пламенно любя родной народ, великие демократы посвятили ему свои лучшие мысли и чувства. В условиях жесточайшего николаевского режима, когда, по словам В. И. Ленина, «все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и с его остатками»[3], они, вместе с Белинским, стали во главе революционно-демократического лагеря.

Как много горьких строк о тяжкой доле предреформенной деревни находим мы уже в дневниках молодого Герцена! «У российского (крепостного), — писал он, — одна воля — неволя, одна прогулка — побег, один ответ — спина»[4]. Герцена глубоко возмущало, что в крепостной России крестьянина низвели до положения вещи, орудия для обработки господских полей. Он отметал «теоретические» измышления крепостников о незыблемости феодального строя, о выгодности (!) подневольного труда для самого закрепощенного крестьянина. Ознакомившись с одним из годовых отчетов царского министра государственных имуществ, Герцен с негодованием восклицал: «. . . в то время, как стон со всех сторон России поднимается до Москвы и до Петербурга, этот человек имеет медный лоб говорить, что ропот крестьян происходит от их непривычки к правильному управлению и порядку; что их благосостояние растёт . . . С каким негодованием лет через 50 будут читать такую колоссальную ложь и такое бесстыдство . . .»[5]

Это был страстный протест великого гуманиста, для которого народная судьба была превыше всего. Его слышал, к нему присоединял свой негодующий голос вольнолюбца Огарёв. Горькие дневниковые записи Герцена эхом отзывались в строках, принадлежавших перу его замечательного друга. Огарёв отмечал всю непримиримость классовых противоречий крепостников-землевладельцев и порабощенных ими крестьян. Вынужденный, подчас, прибегать к эзоповскому языку, он писал о необходимости установления «правильного отношения работника к собственнику, в котором обеспечивалась бы непринужденность найма и ограждалися работник и его труд от излиш-



А. И. Герцен.
Фото, 1861.

них притязаний»[6]. Так, искусно обманывая бдительную цензуру, Огарёв выступал за отмену крепостного права.

И Герцен, и Огарёв были свидетелями всё более ширившейся, но по-прежнему разрозненной и неорганизованной, крестьянской борьбы. Герценовский дневник сохранил гневные записи о безумии и опьянении властей, расстрелявших картечью безвинных вятских крестьян; о «картофельных бунтах» в Казанской губернии; о восстании и беспощадном усмирении непокорных на Тамбовщине; о волнении крепостных на Лепёшкинской фабрике под Москвой; о героизме крепостного парня, утопившего помещика-душегуба. В вятской и новгородской ссылках Герцен «трагически соприкоснулся» с жизнью и воочию убедился в чудовищной деспотии и своевластии помещиков, в тиранстве «приказных дел» чинуш, в горе, нищете и бесправии крестьянства.

Но выступить в легальной печати с открытым обличением феодально-крепостнической системы, во всеуслышание высказать свое сочувствие освободительному движению не представлялось возможным. Оставалась художественная литература, в которой, по свидетельству Белинского, несмотря на цензурные гонения, всё еще жила «поэзия... жизни». И Герцен, продолжая славные традиции декабристов, отдал свой литературный талант пропаганде передовой революционной идеологии. Ведь «читатель, знающий, насколько писатель должен стоять настороже, — уверенно заявлял он, — читает со вниманием, между ним и автором устанавливается тайная связь: один скрывает то, что он пишет, а другой то, что понимает»[7].

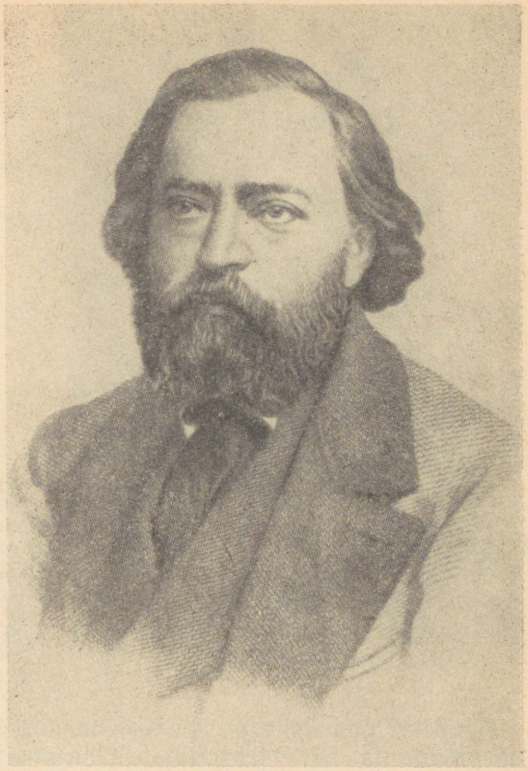
В период цензурных гонений родились замечательные беллетристические произведения Герцена, с демократических позиций подвергшие критике весь самодержавно-крепостнический строй. Он написал роман «Кто виноват», задушевной мыслью которого, как утверждал Белинский, являлось достоинство человеческое, унижаемое и предрассудками, и невежеством. Это был протест завуалированный для цензуры, но ясный многим, — протест великого гуманиста против произвола крепостников, против помещичьего и чиновного быта. С той же остротой и неумолимостью Герцен обличал крепостничество в блестящем сатирическом памфлете «Доктор Крупов», в небольшом художественном наброске «Мимоездом», в рассказе «Сорока-воровка»...

Ненавистью к «миру угнетателей, обмана и рабов» дышали также многие стихи Огарёва, готового «подкапывать» чуждый ему мир

> С горячим чувством мести или права,
> Не думая о том — что́ — гибель ждёт иль слава[8].

Стремясь «многое и многое... схватить из поэтической грусти и жизни России»[9], он создал такие стихотворения, как «Кабак» и «Дорога», веявшие, по справедливому замечанию одного из исследователей, поистине некрасовским духом.

Однако грозная тень цензора и жандарма стояла за спиной и передового русского писателя. Герцен видел, что страшная туча уже собирается над близкими ему людьми, предчувствовал удар, который не мог миновать и его головы. И эта вечная опасность еще более обостряла его чувство глубокой неудовлетворенности от «расторжения теоретической жизни и практической», от того, что не было «практического дела, которое было бы принимаемо за дело истинное, вовлекающее в себя все силы души»[10].

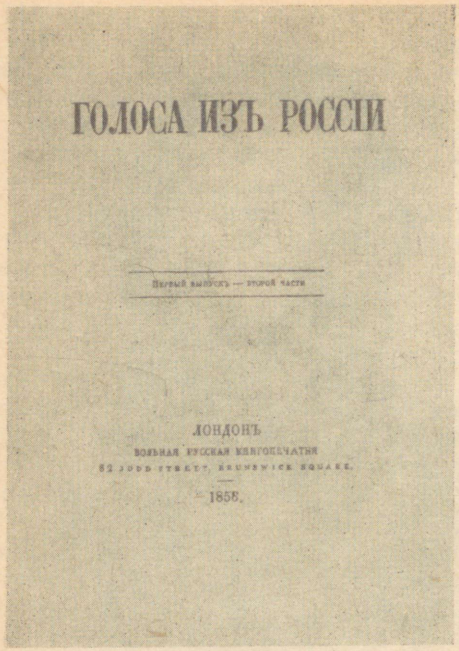


Н. П. Огарёв.
Гравюра конца 1850-х гг.

Герцен стремился уехать вдаль, покинуть Россию, и это было, писал он, не «безнравственным бегством», не бегством ради праздного проживания своего состояния. Нет! За пределами самодержавной империи Герцен, а вслед за ним и Огарёв, обретали возможность открытой, многогранной, никем и ничем не ограниченной деятельности на благо Отечества.

«Дома нет места свободной русской речи, — она может раздаваться инде...»[11], — утверждал Герцен. И в далеком вынужденном изгнании он создал вольную русскую печать, окунулся в ту «деятельную жизнь», о которой так страстно, но бесплодно мечтал в России.

Находясь вдали от родины, Герцен повел пропаганду, в центре которой стояло освобождение крестьян. В решении судьбы миллионов закрепощенных людей он видел закономерное, единственно возможное, исторически верное начало преобразования России.


ГОЛОСА ИЗЪ РОССІИ

Первый выпускъ — второй части

ЛОНДОНЪ

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ

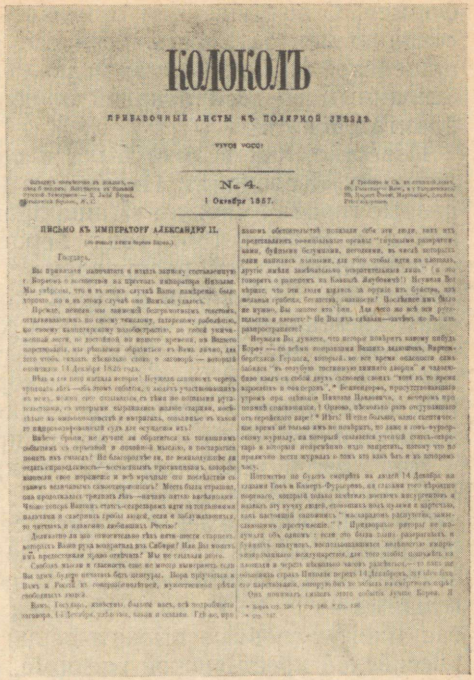
1856.

Титульный лист первого выпуска второй части издания Вольной русской типографии «Голоса из России», Лондон, 1856. В этом выпуске было подвергнуто критике «Положение о крестьянах Эстляндской губернии».

Широко развернутая на чужбине борьба за освобождение крестьянства не могла обойти стороной угнетенные народы Прибалтики. Герцен, а вместе с ним Огарёв, продолжили и углубили ту критику остзейских «особых порядков», которая исходила до них от декабристов.

В 50-х годах из России в Лондон, по многочисленным каналам, устремилась тайно распространяемая внутри империи рукописная литература. Поток нелегальных статей стал настолько обильным, что в 1856 году Герцен уже имел возможность приступить к выпуску сборников — «Голоса из России». И в этом «убежище всех рукописей, тонувших в императорской цензуре», еще до «Колокола», печатной критике подвергнуто было «Положение о крестьянах Эстляндской губернии».

Автор присланной Герцену статьи — Б. Н. Чичерин, хоть и был он заядлым либералом, вынужден был признать, что новый закон, превозносимый самими остзейцами, охранял лишь интересы помещиков и не уделял никакого внимания состоянию крестьянства. В том же 1856 году, которым датирована эстляндская «реформа», поступившая из России анонимная статья подвергала сомнению целесообразность осуществленного в



КОЛОКОЛЪ

ПРИБАВОЧНЫЕ ЛИСТЫ КЪ ПОЛЯРНОЙ ЗВѢЗДѢ.

VIVOS VOCO!

№ 4.

1 Октября 1857.

ПИСЬМО КЪ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II.

«Колокол», № 4 от 1 октября 1857 г. — первый номер журнала, в котором критиковалась крестьянская «реформа» в Эстонии.

Эстонии безземельного освобождения: «У нас это свершилось недавно в остзейских губерниях. Последствия . . . : страшная бедность низшего народонаселения . . . Зло несомненно, и причина его ясна. Она заключается в том, что народонаселение, которое по самому существу своему должно быть владельческим и оседлым, делается бездомным и бродячим»[12].

Это были первые печатные строки об Эстонии, миновавшие цензуру. А вскоре в Россию начали поступать листы герценовского «Колокола», и материалы о положении прибалтийского крестьянства уже не сходили со страниц вольной русской печати.

Будучи, по его собственным словам, «протестом России, её криком освобождения и криком боли», Герцен прислушивался к каждому поступавшему в его эмиграцию правдивому слову об Эстонии. Уже в четвертом номере «Колокола», 1 октября 1857 года, он обрушился на остзейских баронов, решительно отвергнув ту позорную «свободу», которую они «даровали» крестьянам. В редакционной заметке, по всей вероятности, принадлежавшей перу ближайшего друга Герцена — Огарёва, «Колокол» дал резкую оценку предпринятой в Эстонии «ре-

форме». С возмущением отзываясь об издевательском законе, сохранившем за крестьянами все «преимущества» голодной и нищенской жизни, журнал назвал его «жалким освобождением, сделанным со всей лукавой предусмотрительностью немецких плантаторов»[13].

Известно, как велика была в самодержавной России популярность «Колокола». Первые же номера журнала проникли в разные города империи. «Наша пропаганда всё разрастается, — писал в ноябре 1857 года Герцен, — мы печатаем тысячи экземпляров и всё распродаём»[14]. Русскому читателю стали известны и те несколько строк, которые посвятил прибалтийским крестьянам орган вольной русской печати. То, что в силу цензурного террора не мог открыто сделать Чернышевский, сделали Герцен и Огарёв. И вскоре в поступавших к ним из России письмах и корреспонденциях они услышали голоса, поддерживавшие их негодующий протест.

Дав еще в четвертом номере краткую, но выразительную, оценку пресловутой «реформе», «Колокол» известил своих читателей, что намерен вернуться к этому вопросу. Ждать пришлось недолго. Седьмой номер журнала открывался статьей «Освобождение крестьян», подписанной лишь двумя буквами — Р. Ч. Русский Человек — им был Огарёв, — излагая многочисленные высказывания о подготовлявшейся общероссийской крестьянской реформе, с негодованием констатировал, что за образец «освобождения» брались законы остзейских губерний. «К чему нам русским, начинающим дело новое, — писал он, — цепляться за узкую точку зрения немецких баронов-плантаторов?»[15]

Глубокое и всестороннее изучение принятых еще ранее эстляндского закона 1816 и лифляндского закона 1819 годов привело Огарёва к твердому убеждению, что вся экономическая часть при «освобождении» прибалтийских крестьян направлена была отнюдь не в их пользу. К этому же сводились и осмеянные им немецко-рыцарские понятия о свободе. На страницах «Колокола» Огарёв разоблачил многочисленные уловки, к которым прибегли остзейские помещики, чтобы удержать в своей кабале «свободных» людей. Возможность переселения крестьянина в другие губернии лишь при условии, если в его собственной губернии насчитывалось 140 тысяч ревизских душ, запрещение земледельцам селиться в городах, предоставление кредитору-помещику постыдного права самому арестовать должника — таковы, утверждал русский демократ, кабальные «преимущества» эстляндского законодательства. Так можно ли, спрашивал Огарёв, следовать ему при эмансипации русского крестьянства?!

Нет! Нам не надо подражать остзейским баронам, категорически заявлял герценовский «Колокол», «будет с нас и того, что они втёрлись в русскую администрацию, в русскую службу, на которой являются самыми хищными чиновниками и самыми бездушными формалистами; а подражать им в том общественном устройстве, которое они создали для несчастного леттского (а, следовательно, и эстского. — А. Л.) племени остзейских губерний, нам не приходится»[16].

В 1858 году в Милане была написана, а в Берлине издана, реакционнейшая брошюра одного из охранителей неприкосновенности полицейско-самодержавного строя Н. Безобразова «Об усовершении узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства». Автор этого, по словам «Колокола», иезуитского и вредного сочинения был яростным защитником крепостного права и решительно восставал даже против упоминания «кощунственного» слова — свобода. Решение крестьянского вопроса, заявлял он, требует многих десятилетий и должно сводиться лишь к укреплению помещичьей власти. «Вспомним при этом,— призывал Безобразов, — что подобные же вопросы были обсуждаемы и обрабатываемы в остзейских губерниях с 1816 года, и что, после сорокалетних трудов, многое остаётся поныне неоконченным»[17]. Стремясь обелить прибалтийское дворянство, он оправдывал плачевные результаты эстляндской и лифляндской «реформ»... недостаточным сроком (это сорока-то лет!) для «устепенения нового порядка».

Известив читателей о выходе книжки Безобразова, «Колокол» обрушился на ее автора с гневной статьей. Подобная рабовладельческая писанина, утверждал Огарёв, призвана помешать освобождению крестьян. Ссылки автора на Прибалтику, его неприкрытая симпатия к остзейскому дворянству должны были обмануть общественное мнение. И Огарёв, имея, разумеется, в виду не одного Безобразова, потребовал прекратить, наконец, «ссылаться на остзейские губернии, где было сделано не освобождение, а новый вид рабства»[18].

Эту же мысль, несколько месяцев спустя, Огарёв высказал и в примечаниях к отчету о заседаниях одного из губернских комитетов, занятых разработкой проекта крестьянского закона. Комментируя выступления двух помещиков-крепостников, выдающийся революционер опроверг распространявшиеся ими версии о Прибалтике. Он отметил всю лживость и беспочвенность их утверждений о том, что даже законы 1816 и 1819 гг., будто бы, принесли Эстляндии и Лифляндии «самые благодетельные последствия, возвысив благосостояние крестьян». Подобные заявления рассматривались Огарёвым, как неприкрытое стремление оставить крестьянскую массу в полной эко-

номической зависимости от помещика. «Пора перестать ссылаться, — вновь заявлял он, — на мнимое освобождение крестьян остзейских губерний, которое отдало крестьян под безусловный гнёт помещиков на законном основании»[19].

Критике прибалтийских аграрных порядков в той или иной степени посвящены были и другие статьи и корреспонденции 1858 года. Предпринятую в Эстонии и Латвии «эмансипацию» решительно отвергал автор опубликованных в октябрьском номере обширных «Материалов по крестьянскому вопросу». Отрицательно отозвавшись о «реформе» 1816—1819 гг., он предложил читателям «Колокола» воочию убедиться в том, что подготовленная баронами и дарованная царем «свобода» не изменила, да и не могла изменить положение земледельцев Прибалтики. Минуло несколько десятилетий после введения «без потрясений» и с соблюдением «наружного порядка» остзейских законов, а принесенные ими плоды, сообщал автор статьи, по-прежнему горьки. Перед нами, писал он, как и ранее, «жалкое население крестьян, не имеющих собственности, зависящих совершенно от корпорации дворянства, пребывающей в организованной стачке против населения крестьян. Поэтому весьма естественно, что сельское население нищее, жалкое, недовольное, можно сказать неоседлое... Особенно жалко положение значительного класса бездомных работников»[20].

Эти строки были направлены не только против «освобождения» 1816—1919 гг. Написанные спустя девять лет после новой «реформы» в Латвии и спустя два года после утверждения царем нового закона для Эстонии, они отражали также современное автору состояние прибалтийского крестьянства.

Издатели «Колокола» не ограничивались одной лишь критикой остзейского феодально-крепостнического образа жизни. Они всегда помнили о том, что свобода, несмотря на ряд «реформ», еще не коснулась Эстонии и Латвии. И, борясь за освобождение крестьян с землей, Герцен и Огарёв предлагали распространить тот же принцип на прибалтийские губернии[21]. Вот почему, опубликованный в «Колоколе» огарёвский проект реформы — проект, в котором, несмотря на либеральные иллюзии, отстаивались блага трудового человека, можно рассматривать и как проект ликвидации феодальной зависимости в Прибалтике.

Огарёв требовал одновременной отмены крепостного права по всей стране, отказа от всех феодальных повинностей, безвозмездной передачи крестьянам усадебного участка и за «необременительный» выкуп — полевой земли. Подобно Герцену, он питал тогда еще надежду, что решения крестьянской



Эстонские крестьяне.

Гравюра на дереве по рисунку худ. В. Тимма, 1857.

проблемы, а следовательно и подлинного освобождения прибалтийских народов, можно было, якобы, достигнуть и мирными средствами.

Герцен и Огарёв еще не понимали всей ошибочности своих либеральных иллюзий, хотя они и боролись искренне и горячо за интересы крестьянства. Их не страшила народная революция, но они старались избежать ее. «Для помещиков, — убеждал Огарёв, — отдать — ложно считаемые ими своими — крестьянские земли за самый ничтожный выкуп — в ы г о д н е е, чем гибнуть во время крестьянского восстания»[22]. Призывая к освобождению крестьян с землею, Герцен предупреждал, что дальнейшее промедление могло привести к отмене крепостного права самим народом.

Однако даже в предреформенную пору, продолжая еще колебаться от демократизма к либерализму, Герцен и Огарёв (а об этом достаточно убедительно говорят опубликованные недавно новые архивные материалы [23]) имели уже и иную программу. Она рассчитана была на тот случай, если бы освобождение сверху не состоялось. Эта программа всенародного восстания



Вечер в лифляндской деревне.
Фрагмент гравюры на дереве Л. Серякова с картины художника Клевера, 1873.

держалась издателями «Колокола» в глубочайшем секрете, т. к. они еще надеялись на решение крестьянского вопроса по доброй воле царя и дворянства.

Ошибочные концепции русских демократов, их апелляцию к «верхам» стремились использовать в своих интересах либералы, эти «нравственные кастраты», совершавшие сделки с царем, «чтоб избегнуть бурь и кораблекрушений в корыте»[24]. Либералы охотно ссылались на призывы издателей «Колокола» к реформе без крови и бунта, ибо боялись революционных потрясений. Но они игнорировали внутреннюю суть этих требований, умышленно не замечали чуждую им глубокую и последовательную позицию вольного русского журнала в отстаивании народных интересов.

При всех отступлениях Герцена и Огарёва от демократизма к либерализму, демократизм брал у них верх. И Герцен, и Огарёв всегда стояли на стороне крестьянских масс, против их угнетателей, на стороне трудящегося человека. В 50-х годах они уже глубоко верили в народ, в его огромную революционную силу. Либералы же, хоть и добивались отмены крепостного права, ненавидели крестьянство, отстаивали интересы только лишь дворян и буржуазии.

Эти глубокие противоречия между Герценом и Огарёвым — с одной стороны и дворянскими либералами — с другой сказались и на отношении тех и других к прибалтийскому крестьянству. Выступая в «Колоколе», тверской предводитель дворянства Унковский с готовностью критиковал остзейские «реформы». Он согласен был даже признать, что «объявить народ свободным, оставив его почти в той же неволе и не улучшая его быта . . ., хуже нежели оставить его в крепостной зависимости». Но не заинтересованность в судьбе эстонских и латышских крестьян побуждала этого классического либерала вступаться за угнетенные народы Прибалтики. «Это объявление свободы без дарования ея в действительности, — с тревогой писал он, — уничтожит в народе доверие к правительству и отнимет у него последнюю надежду на улучшение его быта». А эстонский и латышский народы, потерявшие эту «веру» и не дождавшиеся светлого дня свободы, попытаются приблизить его силой «и вследствие этого отчаяние может вызвать все дикие явления пугачёвщины»[25].

Помещик-либерал не мог скрыть свой страх перед грозным и неумолимым движением крестьянских масс, перед «явлениями пугачёвщины» в Эстонии, слухи о которых всё настойчивее проникали в Лондон, к Герцену и Огарёву.

II. ПРИЗРАК ПУГАЧЁВЩИНЫ

. . . Заострите топоры, да за дело — отменяйте крепостное право . . . снизу!

«Колокол»

Поражение царизма в Крымской войне, показавшее всю гнилость и бессилие крепостной России, способствовало обострению классовой борьбы, назреванию революционного взрыва. Крестьяне всё решительнее подымались против помещичьего ига. В одном только 1858 году, по данным III отделения, было зарегистрировано 86 волнений. Шеф жандармов сообщал о применении силы к 356 петербургским крестьянам,

отказавшимся выходить на земляные работы; об усмирении с помощью воинской команды «бунта» в Нижегородской губернии; о серьезных беспорядках в Бессарабской области; о «своеволии» владимирских и тульских крестьян; о возмущениях против помещичьей власти под Саратовом и Самарой, в Подольской и Гродненской губерниях... Шли донесения и о волнениях в Эстонии, сопровождавшихся «буйством и возмущением».

Из далека эмиграции Герцен видел этот, страшивший либералов, призрак новой пугачёвщины. Корреспонденты, как правило, сообщали ему такие подробности о крестьянских волнениях, которые были мало известны даже в самой России. И, будучи выразителем интересов народа, «битого полицией, засекаемого помещиками»[26], «Колокол» предавал поступавшие факты широкой гласности.

Двадцать пятый номер журнала почти целиком заняло «Письмо к редактору». Автор обширной корреспонденции с возмущением отзывался о мнимой свободе, «великодушно» пожалованной крестьянам Прибалтики. «Такою свободою, — заявил он, — можно надуть камергера, генерал-адъютанта, любого из министров: можно дать им какую-нибудь блестящую бляху на лоб, на живот или куда на другое место, они будут счастливы, но 12 000 000 крестьян на это не подденешь!»[27]

Письмо было опубликовано 1 октября 1858 года. А всего лишь за полгода до того дня эстонским крестьянам объявили, наконец, о выходе в свет утвержденного еще в 1856 году нового закона. В мужицкие руки впервые попал увесистый том «Положения», состоящий из 1315 параграфов, множества таблиц и планов. Какого титанического труда стоило безграмотному крестьянину узнать содержание трехсот страниц убористого текста! Но когда общими усилиями удалось всё же разобраться в малопонятных и запутанных условиях «реформы», в темных лачугах погас даже слабый луч надежды на облегчение каторжной жизни.

Произошло то, о чем спустя несколько месяцев писал Герцену неизвестный нам корреспондент: крестьян не удалось «поддеть» на дарованные им «блага», и освободительное движение приняло в Эстонии грандиозные размеры. Этот грозный ропот обманутых людей, готовых силой избавиться от жестокой отработочной аренды, услышали Герцен и Огарёв.

«До сих пор самые сильные восстания крестьян были в Эстляндии (они продолжаются ещё); — сообщал издателям «Колокола» автор упоминаемого уже «Письма к редактору», — начались в первых числах июня, в Зюд-гарриенском дистрикте. Гринвальд (губернатор. — А. Л.) послал войско, крестьяне

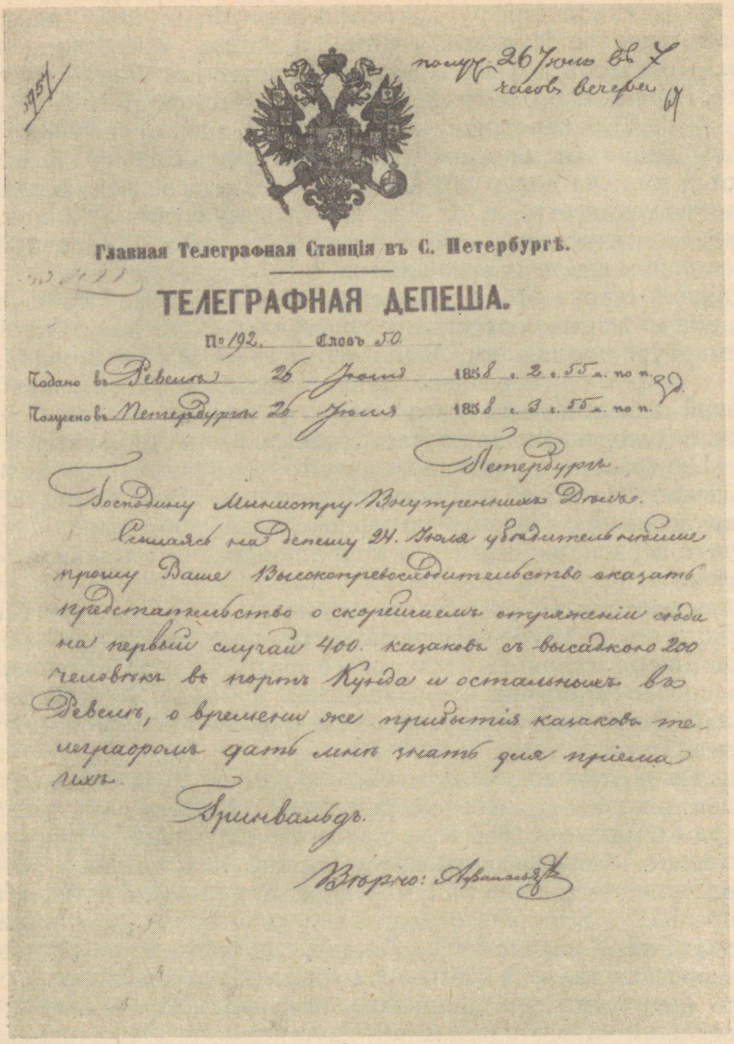
убили 14 солдат и 1 офицера (эта цифра не точна. — А. Л.). Гринвальд по телеграфу запросил помощи; к нему послали сперва генерала Исакова, а потом и войско. Крестьяне усмирели. Но зато в других поместьях дистриктов Ланд-вирляндского, Гарриенского, Ост-ервенского и на острове Даго (о. Хийумаа. — А. Л.) неповиновения не прекращаются: крестьяне отказываются от барских работ или произвольно распоряжаются ими; на долю уральских казаков и ревельского гарнизона пало усмирять, т. е. сечь и бить несчастных. Гринвальд мечется как угорелый, ежеминутно просит войск, а неповиновения в одном месте прекращаются, в другом возникают»[28].

Каждая строка этого сообщения, включая даже ошибочное, количество жертв, соответствует поступавшим тогда из Эстонии в Петербург донесениям. Автор «Письма» имел, бесспорно, доступ к секретной переписке департамента полиции исполнительной и был хорошо осведомлен о волнениях эстонских крестьян. Это подтверждается материалами, извлеченными из фондов Центрального государственного исторического архива Эстонской ССР [29], об этом же убедительно свидетельствуют и обнаруженные в Ленинграде официальные документы, послужившие первоисточником для корреспонденции в герценовский «Колокол».

Обширное дело [30] открывается донесением С.-Петербургского военного генерал-губернатора министру внутренних дел о неповиновении крестьян Везенбергского уезда. Против «бунтовщиков» срочно отряжена была воинская команда. Крестьянских вожаков в кандалах, под усиленным конвоем доставили на расправу в Таллин.

А вслед за этим документом идет множество других всеподданнейших докладов, донесений, рапортов, свидетельствовавших о быстром подъеме в 1858 году массового движения. «При обнародовании... означенного крестьянского положения в эстонском языке, — сообщал 14 мая царю эстляндский губернатор Гринвальд, — возникло большое волнение между крестьянами Вайвараского прихода мызы Лагена, где прежде при введении крестьянского закона 1816 года были возмущения, которые могли быть усмирены лишь большими воинскими силами и примерными наказаниями...»[31] Спустя две недели, Гринвальд уже запрашивал согласия министра внутренних дел о посылке двухсот солдат в Зюд-гарриенский дистрикт «для понуждения крестьян к выполнению барщинной повинности экзекуционным порядком»[32].

Особенного размаха достигли волнения в Махтре. Об этом крупном восстании знали и Герцен, и Огарёв. Махтраские крестьяне, отказавшиеся от дополнительных отработок в господ-



получ. 26 июня в 7 часов вечера

Главная Телеграфная Станція въ С. Петербургѣ.

ТЕЛЕГРАФНАЯ ДЕПЕША.

№ 192. Словъ 50.

Подано въ Ревель 26 Июля 1858 г. 2 ч. 55 м. по п.

Получено въ Петербургѣ 26 Июля 1858 г. 3 ч. 55 м. по п.

Петербургъ.

Господину Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

Ссылаясь на депешу 24. Іюля увѣдительнѣйше прошу Ваше Высокопревосходительство оказать представительство о скорѣйшемъ отпряженіи судовъ на первый случай 400. казаковъ съ высадкою 200 человѣкъ въ портъ Кунда и остальныхъ въ Ревель, о времени же прибытія казаковъ телеграфомъ дать мнѣ знать для пріема ихъ.

Гринвальдъ.

Вѣрно: Архивар[ь]

Телеграмма эстляндского гражданского губернатора Гринвальда министру внутренних дел от 26 июля 1858 г. с требованием присылки воинских сил для подавления разгоравшихся в Эстонии крестьянских волнений.
Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

ском имении, были вызваны к гакенрихтеру. Однако, зная, что там их ожидает порка, они не подчинились его приказу. Тогда гакенрихтер, сопровождаемый пятьюдесятью солдатами, сам явился в Махтра. На помощь «бунтовщикам» с охотничьими ружьями, вилами и кольями двинулись крестьяне соседних волостей. Так началась эта памятная эстонскому народу «война в Махтра».

После первых же стычек пал командир воинского отряда, были ранены еще один офицер и 12 солдат. Но, напуганный тревожными событиями, губернатор Гринвальд сообщил в Петербург о значительно большем количестве жертв (отсюда и ошибка, допущенная корреспондентом «Колокола»). Он просил выслать на подмогу местным воинским силам еще две тысячи солдат.

В Петербургском порту наготове стоял военный корабль: он должен был доставить в Эстонию новые пехотные части . . . По дорогам, в сторону Махтра, скакали казаки . . . В Таллин, по призыву графа Кайзерлинга, со всех концов губернии срочно съехались депутаты дворянства . . . В район восстания, по предписанию Александра II, «для принятия самых деятельных мер к прекращению своеволия возмутившихся»[33], выехал генерал Исаков . . .

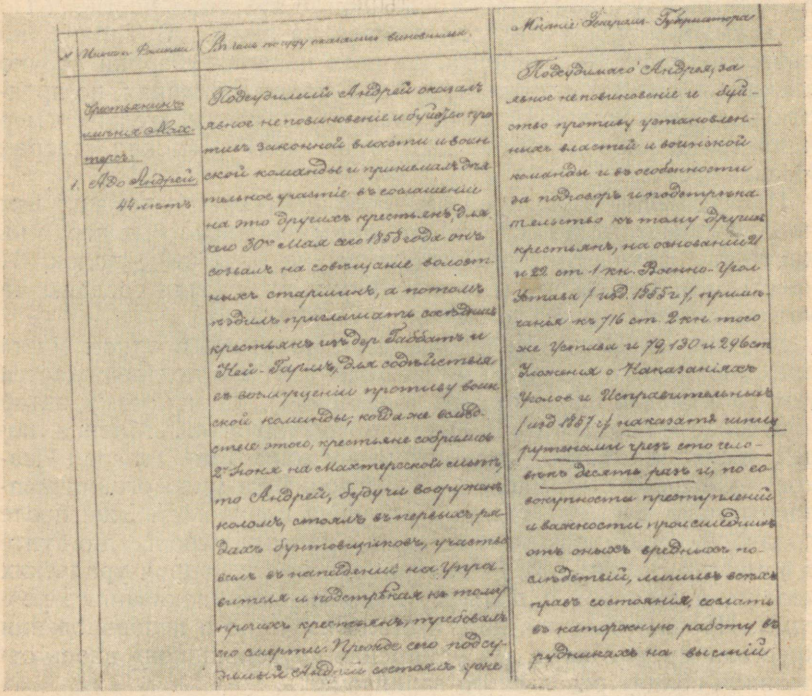
Исход «войны в Махтра» был решен. Вскоре на помещичьем поле, в присутствии насильно согнанных из окрестных деревень крестьян, 65 участников бунта получили по тысяче палок. 37 крестьян по приговору военно-полевого суда были сосланы на каторжные работы, на поселение в Сибирь [34].

Но, как сообщал «Колокол», неповиновения в одном месте прекращались, а в другом — возникали. И это подтверждается теми документами, которыми пользовался, по-видимому, автор полученного Герценом «Письма к редактору». «. . . Мнение людей, знающих страну, — доносил шефу жандармов генерал Исаков, — выражает сомнение, чтобы волнение умов ограничивалось только местами, где был нарушен порядок»[35]. Уже после подавления махтраского восстания, Гринвальд сообщал о бунте в поместьи Эммомегги. Туда отрядили полуэскадрон уральских казаков и непокорных подвергли «примерному наказанию» розгами. Прошло еще два дня, и стало известно о неповиновении крестьян мызы Маарт. На усмирение «бунтовщиков» вновь отправили солдат ревельского гарнизона.

Один из многочисленных архивных документов, характеризующих состояние крестьянского движения в Эстонии, — адресованная министру внутренних дел телеграфная депеша губернатора Гринвальда. «. . . Войско отряжено для водворения порядка на поместья в окрестности Гапсаля, в следствие чего

виновные крестьяне частью взяты ... — сообщал он 24 июля 1858 г. — На поместье Кольк Ревельского уезда находится команда в 450 человек. В части Вайсенштейнского уезда сегодня отправляется войско. В прочих частях губернии местами встречается неповиновение крестьян, отказывающихся в отправлении работ. Я отряжаю войско с наивозможною поспешностью, в котором имеется недостаток. Покорнейше прошу оказать содействие назначением в мое распоряжение еще четырехсот казаков и до двух тысяч пехоты»[36].

Гринвальд, и это не ускользнуло от корреспондента «Колокола», метался по губернии, как угорелый. В сопровождении солдат, он ездил на о. Хийумаа и ночью ловил вожаков крестьянских «беспорядков». На следующий день, уже в другом по-



Страница из «Списка подсудимым крестьянам Эстляндской губернии, суждённым за неповиновение против властей и буйство против воинской команды, с объяснением виновности их и меры наказания, полагаемой по мнению генерал-губернатора».
Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

местье, палач-губернатор следил за телесным наказанием «бунтовщиков». Не возвращаясь в Таллин, он перехватил в пути две роты пехотинцев, и лично повел их на усмирение хаапсальских крестьян... За два только месяца бунты вспыхнули в 56 помещичьих имениях Эстонии! И всюду, по приказу губернатора, министра внутренних дел и самого Александра II, спешно посылались карательные отряды.

Корреспонденты Герцена, информируя его о положении в Прибалтике, не обошли молчанием и страшную трагедию ходоков из имения Ания. В обстоятельном письме они поведали ему о том, как 58 крестьянских депутатов пришли в Таллин, чтобы найти там управу на своего помещика. Но не правда, а розги ожидали изнуренных ходоков у резиденции губернатора.

Когда крестьяне вступили на Вышгородскую площадь, их окружила рота солдат. В четыре часа пополудни 26 июля 1858 года тишину таллинских улиц нарушила резкая барабанная дробь. Это была увертюра к ужасному зрелищу, заранее подготовленному местными дворянами.

Несчастные жертвы приведены были к лобному месту. С них содрали одежду и одного за другим бросили на мостовую. В центре Таллина началось безобразнейшее избиение несчастных людей. Оно произвело на горожан, по признанию остзейского генерал-губернатора, очень тягостное впечатление [37].

«Не станем передавать гнусные подробности, звериную жестокость главных палачей — мы, русские, знаем эти сцены, — писали Герцену из Эстонии, — довольно сказать, что чиновник особых поручений при гражданском губернаторе Стакельберг спрашивал мучимых крестьян: «Будешь теперь работать на барина?» И если тот не отвечал просто «да», Стакельберг обращался к солдатам с приказанием «бить его ещё»... Что нам тут прибавлять, — восклицал автор письма, — тут всё гнусно, всё преступно, всё отвратительно...»[38]

Это письмо было опубликовано в «Колоколе» под гневным заголовком — «Германские рыцари XIX столетия в Эстляндии».

Нам неизвестно имя человека, приславшего в вольный русский журнал корреспонденцию о злодействе остзейских помещиков: почти все поступавшие для «Колокола» материалы были анонимными или подписывались псевдонимами, а оригиналы опубликованных Герценом писем все еще не изучены[39]. Поэтому можно лишь предположить, что корреспонденция о ходоках из Ании исходила из прогрессивных кругов таллинской интеллигенции, к которым примыкали в 50-х годах морской офицер-журналист В. В. Иванов, педагог и ученый Н. В. Закревский [40], поэт и художник Н. Фр. Руссов [41], педагог Я. Нокс и другие; из

черноземѣ. Какъ только мы обратились къ своей почвѣ, такъ встрѣтились съ послѣднимъ вопросомъ всей западной жизни, съ вопросомъ поземельнаго владѣнія, владѣнія общиннаго, общиннаго устройства.

Изъ сказаннаго никакъ не слѣдуетъ, чтобъ намъ перестать учиться западной наукѣ, или выдумывать свою; во-первыхъ наука по той мѣрѣ и наука, по которой она не принадлежитъ никакой странѣ, а во-вторыхъ, учится человѣкъ собственно цѣлую жизнь, но въ извѣстный возрастъ людямъ не нужны учители, уроки. При выходѣ изъ школы человѣкъ вступаетъ въ дѣятельный обмѣнъ, въ рядъ дѣловыхъ отношеній, тутъ онъ прикладываетъ, повѣряетъ свои теоріи, заимствуетъ новыя, и дѣйствуя расширяетъ кругъ своего вѣдѣнія. Выходя изъ подъ гувернерства Запада, мы вовсе не дальше отъ него становимся, а скорѣе ближе всѣмъ растояніемъ, которое дѣлитъ позирующій оригиналъ отъ уничиженнаго подражателя.

Дома у насъ бездна дѣла, не оберешься. Наука Запада столько же наша, сколько и его. Но теперь спрашивается — гдѣ у насъ общее дѣло съ Европой? Вѣчный вопросъ о "больной Турціи" или о "смердящей Австріи", или хуже борьба французской солдатчины съ англійскими учрежденіями — и все опять война, война и кровь... налоги и голодъ...

О выборѣ тутъ не можетъ быть рѣчи, на Западѣ нѣтъ другаго дѣла... "да это у него пройдетъ это болѣзнь," ну тогда и поговоримъ объ этомъ, а до сихъ поръ она не проходила. И въ тоже время дѣло само набивается, стучится въ ворота, дѣло творческое, живое и которое нисколько не мѣшаетъ намъ рубить свою новую избу и продолжать нашу коренную великую работу внутренняго пересозданія, починъ котораго начался съ освобожденіемъ крестьянъ.

Имя Муравьева, Путятина и ихъ сотоварищей внесено въ исторію, они вбили сваи для длиннаго моста... черезъ цѣлый Океанъ. Во время мрачныхъ, европейскихъ похоронъ, гдѣ каждый что нибудь оплакивалъ, они съ одной стороны, Американцы съ другой—сколочивали колыбель!

ИСКАНДЕРЪ.

ГЕРМАНСКІЕ РЫЦАРИ XIX СТОЛѢТІЯ ВЪ ЭСТЛЯНДІИ.

Мы получили на дняхъ письмо, въ которомъ разсказано слѣдующее:

Въ 30 верстахъ отъ Ревеля находится имѣніе Анніо, называемое тоже Ганниіогги и принадлежащее потомку извѣстныхъ на островѣ Даго—бароновъ Унгернъ Стернбергъ. Іюля 20, нынѣшняго года, Унгернъ потребовалъ поголовной сходъ крестьянъ, для уборки господскаго хлѣба. Крестьяне просили помѣщика выслать только часть работниковъ на барщину, а другой дозволить убрать свою рожь, которая совсѣмъ была зрѣла. Помѣщикъ не согласился. Крестьяне явились на работу всѣ, но съ тѣмъ вмѣстѣ предупредили его въ намѣреніи жаловаться въ городѣ и просить защиты. Унгернъ не противясь исполненію этого намѣренія, отправился самъ въ Ревель, чтобы происками своими парализировать жалобу крестьянъ.

Крестьяне пришедшіе въ Ревель въ количествѣ 61 человѣка, отправились въ жандармскому генералу Грессеру, къ нему они обратились собственно за совѣтомъ, какъ къ человѣку пользующемуся въ томъ краю хорошей репутаціей. Грессеръ замѣтилъ имъ, что они дурно сдѣлали, явившись въ городъ въ такомъ числѣ, посовѣтовалъ имъ избрать трехъ повѣренныхъ и поручить имъ просьбу къ губернскому начальству. Крестьяне такъ и сдѣлали, и трое изъ нихъ явились за отсутствіемъ эстляндскаго губернатора Грюневалдта къ исполнявшему его должность, дряхлому старику, барону Розену.

Совѣтникъ правленія, Швебсъ, назначенный 6 Іюля вице-президентомъ лифляндскаго надворнаго суда (Hofgericht) былъ уже предупрежденъ Унгерномъ, что крестьяне его отказываясь отъ работы, пошли въ городъ съ пустою жалобой. Швебсъ, назначенный въ Лифляндію, разумѣется не имѣлъ права являться судьей въ дѣлѣ такой важности, но не смотря на то, онъ въ присутствіи вице-губернатора сталъ распоряжаться всемъ дѣломъ. Выслушавъ повѣренныхъ, онъ спросилъ: "не пришло-ли еще крестьянъ съ ними въ городъ," и узнавъ, что пришло, велѣлъ имъ всѣхъ привести въ Правленіе — подъ предлогомъ выслушанія рѣшенія начальства. Крестьяне ничего не подозрѣвая, пришли по зову повѣренныхъ, но ихъ остановили на Вышгородской площади, допрашивая не о жалобѣ, а о томъ — по собственному-ли желанію они пришли или кто ихъ подбилъ. Крестьяне отвѣчали, что они пришли по собственному желанію. Цѣль Швебса состояла въ томъ, чтобы вмѣнить крестьянамъ въ преступленіе ихъ появленіе массой въ городъ. Такъ какъ главнаго секретаря Ноттбека не было на лицѣ, Швебсъ своей рукой написалъ протоколъ, который окончивался приговоромъ: "Прогнать сквозь строй всѣхъ до одного крестьянъ, пришедшихъ въ городъ."

Совѣтники Винтеръ и Гилденстуббе возражали на эту противузаконную сентенцію и когда Швебсъ упорно настаивалъ на своемъ, они встали и вышли изъ присутствія. Собственноручный свой протоколъ Швебсъ представилъ на подписаніе барона Розена. Старикъ, привыкнувшій подписывать все, что ему подавалъ Швебсъ, утвердилъ приговоръ, въ силу котораго шестьдесятъ одинъ невинныхъ человѣкъ должны были получить по сту ударовъ.

Между тѣмъ комендантъ генералъ-маіоръ Залца, (котораго настоятельно просили Унгернъ и другіе помѣщики примѣрно наказать бунтовщиковъ) частнымъ письмомъ увѣдомилъ вице-губернатора, что нужное войско для наказанія—готово. Генералъ Грессеръ узнавъ о чудовищной сентенціи, произнесенной беззаконно, безъ прокурорскаго просмотра, протестовалъ противъ исполненія приговора, грозя въ противномъ случаѣ довести до свѣдѣнія государя; комендантъ отвѣчалъ ему: "Доводите, я все беру на мою отвѣтственность."

Крестьянъ окружили солдатами, съ музыкой провели по городу и на рынкѣ за Нарвскими воротами началась безобразная казнь.

Плацъ-адъютанту Бринкманну поручилъ Залца присутствовать при наказаніи, но Бринкманнъ просилъ Залца его уволить, говоря, что онъ не можетъ по совѣсти считать всѣхъ этихъ несчастныхъ людей виноватыми. Баронъ Залца послалъ благороднаго офицера подъ арестъ и отправился самъ предводительствовать наказаніемъ. Оно началось, при огромномъ стеченіи народа, въ пять часовъ по полудни. Не станемъ передавать гнусныя подробности, звѣриную жестокость главныхъ палачей — мы Русскіе знаемъ эти сцены, — довольно сказать, что чиновникъ особыхъ порученій при гражданскомъ губ. Стакелбергъ, спрашивалъ мучимыхъ крестьянъ: "Будешь теперь работать на барина?" И если тотъ не отвѣчалъ

Страница «Колокола» (№ 29 от 1 декабря 1858 г.) со статьей «Германские рыцари XIX столетия в Эстляндии».

кругов, с которыми связан был основоположник эстонской демократической литературы Фр. Р. Крейцвальд.

Вполне логично предположение Ю. Кахка, что в этих же прогрессивных кругах родилась и обнаруженная им в Центральном государственном историческом архиве Эстонской ССР анонимная «Записка об эстляндских крестьянах». Эта записка была прислана министру внутренних дел из Таллина осенью 1858 года — незадолго до опубликования в «Колоколе» корреспонденции «Германские рыцари XIX столетия в Эстляндии». В ней с явным сочувствием описаны крестьянские волнения, подвергнуто гневному осуждению избиение ходоков из Анни, говорится о бесчестных законодательных махинациях остзейских дворян.

Массовое движение в Эстонии, привлекшее глубочайшее внимание местных прогрессивных деятелей, внимание Герцена и Огарёва, было раздробленным и стихийным, а потому не могло принести успеха. С помощью воинской силы крестьянские выступления беспощадно подавлялись. Проникавшие во все уголки России номера «Колокола» клеймили прибалтийских палачей, шпицрутенами доводивших «бунтовщиков» до полусмерти, при содействии «правосудия» угонявших крестьян на каторгу.

Даже спустя несколько лет после событий 1858 года, в официальных «Ведомостях о лицах, состоявших под надзором полиции в Эстляндской губернии», всё еще встречались имена участников памятных волнений. По одному лишь подозрению в причастности к «войне в Махтра», полицейские власти продолжали наблюдение за Адо Пебером, Юрри Уйткилем, Титцом Родеманом, Карлом Андерсманом, Гансом Каспером, Яном Винтером и другими харьюмааскими крестьянами [42]. Отрешенный от должности помощника волостного старшины Юган Угакаск был взят под надзор по приговору эстляндского обер-ландгерихта «за то, что склонил крестьянских хозяев мызы Калтенбрун к сопротивлению против помещика и к невыполнению повинностей»[43]. Подобные записи — а их было немало! — переходили из «Ведомости» в «Ведомость», ежегодно отправляемую по начальству эстляндским губернатором.

Но и жесточайшие репрессии не примирили эстонских крестьян со «свободой» без земли, с правом помещика подвергать их телесным наказаниям. Бунтарский дух прибалтийской деревни был настолько очевиден, что дворянство вынуждено было сделать ряд дополнений к «реформе» 1856 года. Эти коррективы способствовали быстрейшему отделению крестьянских земельных участков, ограничению роста отработок, но не устраняли, разумеется, помещичьего гнета. Остзейцы, указывал «Колокол», по-прежнему видели в крестьянине вещь, которой и

распоряжались по собственному усмотрению [44]. Что бы государю уговорить всех остзейских немцев, — писал в октябре 1859 г. Герцен, — переселиться mit Weib und Kind в gesammtes Vaterland, ну хоть в Пруссию, что ли?.. а финнов (Герцен имел в виду эстонцев и латышей. — А. Л.) оставить свободными с землёю»[45].

В написанной тогда для «Колокола» статье[46] ветеран декабристского движения Николай Тургенев с одинаковой страстностью клеймил прибалтийских помещиков и плантаторов из Соединенных Штатов Америки, так же, как и остзейцы, рьяно отстаивавших рабство — «зло неправды и несправедливости».

Как в отношении к процветавшим в Прибалтике феодальным нравам, так и в отношении к американской действительности, Н. Тургенев не расходился во взглядах с самим издателем «Колокола». Задумываясь о путях исторического развития России, Герцен четко определил свое отношение к американской действительности. Касаясь в «Былом и думах» Соединенных Штатов Америки он отмечал, что никогда еще человечество не обладало таким исключительно благоприятным стечением «счастливых обстоятельств для разумного и свободного развития государственного . . .» Там, за океаном, писал Герцен, было, на первый взгляд, «все, о чем мечтала старая Европа: республика, демократия, федерация, самозаконность каждого клочка и едва связывающий общий правительственный пояс с слабым узлом в середине»[47].

Но, провозгласив Декларацию независимости, правители молодой страны попирали ее каждым своим шагом. США, формально узаконившие всеобщее равенство, «право на жизнь, свободу и на стремление к счастью», стали, по определению Герцена, лишь «новой колонией»[48]. Великий русский демократ сравнивал Соединенные Штаты с лавиной, оторвавшейся от своей горы. «Каждый шаг, приобретенный ими, — писал он, — шаг, потерянный индейцами»[49]. И Герцен со злой иронией отмечал распад этой республики «во имя права сечь негров»[50] и продавать их с аукциона.

Никакие демократические завесы не в силах были скрыть от зоркого взгляда художника и революционера манипуляцией правящей клики Соединенных Штатов Америки, пытавшейся упрятать «главный алмаз» своей человеконенавистнической политики — «упрочение и распространение невольничества»[51]. Он беспощадно критиковал американскую действительность с ее бытом, нравом, уродливой цивилизацией, смехотворными «свободами». «В Американских Штатах, — писал Герцен, — осуществилось все, о чем либералы мечтали, да, сверх того, такое развитие невольнического труда, его признания, его оправда-

ния, о котором они и не мечтали»[52]. Русский демократ высмеивал идеологов рабовладельческого строя, пытавшихся оправдать произвол плантаторов чудовищным расистским бредом. Он разоблачал «диктаторскую и полицейскую власть» Соединенных Штатов, поставивших на своих знаменах одно лишь слово — «Рабство».

Таким образом, проведенная Николаем Тургеневым параллель между американскими плантаторами и их остзейскими собратьями не была для «Колокола» случайной. Не случайно также в этом справедливом сопоставлении — беспощадное обличение духовных защитников рабства. Подобно тому, как в Соединенных Штатах Америки духовенство отстаивало любое злодеяние рабовладельца, прибалтийские пасторы также использовали религиозные догматы для оправдания всех бесчинств баронов против голодных, нищих эстонских крестьян. Пасторы, писал «Колокол», ведут себя гордо и всегда стоят на стороне дворянства и полиции, чуждаясь простого народа.

Всего лишь за несколько лет до опубликования статьи Николая Тургенева, в 1853 году, в Тарту вышел эстонский сборник хоралов. Некоторые из этих церковных песнопений были составлены с целью восхваления рабства, для наведения панического страха на непокорных крестьян, которым, якобы, уготованы были после смерти все ужасы ада. В 18 шестистрочных стихах хорала № 347 сосредоточено такое количество адских мук, которое под силу было выдумать только лишь обладателю самой извращенной фантазии. Кипучая смола, бесовский хохот, огонь, собачья грызня, страшное рычанье, завыванье, зубовный скрежет, разрывание тела и тому подобные атрибуты «жизни в аду» должны были, по замыслу автора хорала, усмирить крестьянские массы, принудить их к послушанию.

Солидарность духовенства с прибалтийскими помещиками, заклейменная вольным русским журналом, подтверждается и архивными документами, и свидетельствами современников. В секретной переписке царского министерства просвещения сохранилась всеподданнейшая записка Александру II, превозносившая «заслуги» пасторов в «умиротворении» эстонских крестьян [53]. Не может быть двух мнений о том, в чем именно состояло пресловутое «умиротворение», если оно исходило от верных холопов остзейского дворянства. «Попы и проповедники в молельнях стремятся к тому, — писал о них Фр. Р. Крейцвальд, — чтобы превратить человека в скотину, чтобы эстонский народ, словно заведённая ими машина, работал только для их выгоды, создавал бы для них изобилие благ . . .»[54].

Пастор, по существу, ничем не отличался от барона, т. к.

наравне с помещиком пользовался всеми дарованными ему правами эксплуатации крестьянства. Ю. Ф. Самарин писал, что лютеранская церковь была так тесно связана с учреждениями дворянства, что являлась всего лишь навсего его особым департаментом. Не случайно, конечно, бароны, начиная с 40-х гг. прошлого столетия, так усердно добивались закрепления за лютеранской церковью на вечные времена повинностей от эстонского и латышского крестьянства. Ведь по церковному уставу они могли заправлять всеми делами лютеранского духовного ведомства!

Фр. Р. Крейцвальд, обличая чудовищный союз дворянства и духовенства, без устали разоблачая пасторов — эту «шайку дармоедов в чёрных хламидах», многое сделал для того, чтобы опровергнуть библейские чудеса и прочие вымыслы, использовавшиеся пасторами для одурманивания народных масс, для воспитания крестьян в духе рабской покорности помещикам. Невольно перекликаясь с выступлениями герценовского «Колокола» против лютеранского духовенства, труды Крейцвальда обличали пасторов, как опаснейших врагов человечества, препятствовавших его прогрессу.

Однако господствовавшие в Прибалтике феодальные нравы полностью одобрялись той частью российского дворянства, которая яростно цеплялась за крепостное право, за любую возможность сохранения за собой даровой рабочей силы. В этом всё более убеждались издатели «Колокола». «Что большинство дворянства с ожесточением степного волка держится за кость, — писал Герцен, — это правда»[55]. С каким поразительным единодушием либералы и консерваторы превозносили тогда остзейскую систему безземельного освобождения! Сколько усилий затратили они, чтобы «доказать» необходимость «реформы» в прибалтийском духе — без земли, с сохранением оброка и барщины!

Разоблачая эти коварные планы, русские демократы обрушились тем самым, и на остзейских баронов, многое сделавших для того, чтобы не допустить наделения землей крестьян внутренних российских губерний. И Герцен, и Огарёв прекрасно сознавали, что повышенное внимание прибалтийских дворян к подготовлявшейся реформе объяснялось только лишь их корыстной заинтересованностью, их страхом перед возможностью распространения нового закона на эстонское и латышское крестьянство.

Выступая против защитников безземельного освобождения, Огарёв писал в декабре 1859 года, что подобная «реформа» способна была удовлетворить интересы одних лишь помещиков. Русские крепостники, ратуя за неприкосновенность своей соб-

ственности и поддерживаемые в этом самим царем, готовились совершить то же преступление, заявлял он, которое уже лежало на черной совести остзейских дворян. Ведь прибалтийские помещики, дав крестьянину «волю», но не наделив его землей, сохранили за собой все выгоды плантаторской «свободы». Держа крестьянина, как и раньше, в полной экономической зависимости, они, «по естественному ходу дела, могли понизить цену работ... Тот, — рассуждали при этом бароны, — у кого ничего нет, пойдёт работать дешевле, чем тот, у кого есть какое-нибудь средство жить»[56].

В начале 1860 года «Колокол» опубликовал известное «Письмо из провинции». Оно было адресовано Герцену и прислано за подписью «Русский человек». Анализируя это замечательное бесцензурное произведение, некоторые исследователи не без основания приписывают его авторство Чернышевскому, другие считают, что оно вышло из-под пера Добролюбова [57], третьи высказывают предположение о совместном авторстве Чернышевского и Добролюбова [58]. Но при всех этих предположениях, бесспорным остается тот факт, что оно исходило из кружка Чернышевского, что оно выражало взгляды великого русского революционера-демократа.

«Письмо из провинции» с омерзением отвергало «либеральные курения Александру II»; оно рассказывало о том, что «после издания рескриптов все очутились в чаду, как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землёю; все заговорили об умеренности, об мирном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою». А народ, между тем, по-прежнему мечтал о земле. И, «вслушиваясь в крестьянские толки, — утверждал автор «Письма», — можно было с радостью видеть, что народ не увлечёт 12-ть лет рабства под гнётом переходного состояния и что мысль, наделят ли крестьян землею, у народа была на первом плане »[59].

Но в ту пору, когда русский крестьянин готов был с дубиной идти на помещика-душегуба, либералы, говорилось в «Письме», пустили в ход эстляндские и другие столь же лицемерные «Положения», с помощью которых надеялись быстрее и легче обмануть крестьянские массы. Иными словами, они стремились провести «реформу», подобную той, которую в подцензурном «Современнике» обличал Чернышевский, а в «Колоколе» — Огарёв и Герцен.

Разрушая веру в благие намерения Александра II Вешателя, убедительно доказывая всю гибельность «решения» крестьянской проблемы в либерально-монархическом духе, «Письмо из провинции» призывало «Колокол» звонить в набат и подымать

Русь к топору. Бесспорно, что этот призыв к революционной борьбе должен был касаться и народов Прибалтики, ограбленных пресловутыми крестьянскими законами.

«Боевой крик» друзей отразился на позиции «Колокола». Герцен сообщает вскоре о множестве полученных им из России писем, свидетельствующих о «воскрешении николаевского времени». Он уже не верит в «разумность» правительства Александра II и решительно отказывается его поддерживать. На этой же точке зрения стоит и Огарёв. 1 января 1861 года, в обширной статье, он называет предстоявшее освобождение — «канцелярским», а «свободу», которая будет дарована крестьянам, — поддельною [60].

В последние месяцы перед реформой почта «Колокола» изобиловала корреспонденциями о своеобразной «подготовке» к ней дворянства и правительства: о срочном переселении помещиками крестьян на болотистые земли, о предпринимаемых правительством мерах для подавления огнем и мечом ожидаемых волнений. Раскройте номер журнала от 1 февраля 1861 года и вы прочтете в нем потрясающий рассказ о коварстве помещика, подлейшим образом надувшего крестьян. Этот живодер действительно наделил их землей, но при этом распорядился так, что крестьяне, проходя на свои крошечные участки, должны были пересекать обширные господские массивы. Подобная хитрость понадобилась помещику для того, чтобы принудить крестьян к кабальному договору, в силу которого за измятый посев они обязывались работать на него три дня в неделю. В противном случае, сообщал «Колокол», помещик запрещал ходить по своей земле и разрешал несчастным беднякам ... летать на свои скудные пашни по воздуху.

Когда крестьяне отказались повиноваться помещику и, покинув деревню, ушли в лес, на их усмирение были брошены войска. «Солдаты, — рассказывал герценовский журнал, — окружили деревню, отовсюду согнали крестьян — слабых, хромых, разных калек, стариков и мальчишек (т. е. тех, которые не успели удрать в лес. — А. Л.) ... Началось чудовищное побоище: всякий б и л к о г о и к а к х о т е л, к т о п а л к о й (командир прусского полка), кто кулаком и чем ни попало, а потом началась порка розгами ... Кончилось всё это тем, что у всех драчунов — чиновных распухли руки, крестьян же заковали и отправили: иных в смирительный дом, иных в уездные тюрьмы»[51]. В одном из последующих выпусков «Колокола» Герцен с возмущением сообщал, что во время этого постыдного истязания барон Врангель дал солдатам 5 рублей серебром «дабы они крепче секли крестьян»[62].

«Положение 19 февраля» окончательно разрушило остатки

либеральных иллюзий Герцена и Огарёва. Статья в «Колоколе», посвященная обнародованной реформе, одним уже своим заголовком — «Разбор нового крепостного права» — ясно выражала резкую и непримиримую точку зрения русских демократов на царский манифест о «воле». «Старое крепостное право заменено новым, — писал в июне 1861 г. Огарёв. — Вообще крепостное право не отменено. Народ царём обманут»![63]

III. ОСТЗЕЙСКИЕ «КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ»

> Германский мир — школьный и учёный по преимуществу очень плохой образователь подавленных им народов. Стоит взглянуть на эстов и леттов в остзейских провинциях, чтоб убедиться в этом.
>
> *А. Герцен.*

В лондонское изгнание великих патриотов вскоре донеслись удары новой мощной волны крестьянского недовольства. Это движение охватило всю Россию. В одном только 1861 году произошло 1100 волнений. Корреспонденты «Колокола» сообщали Герцену о многочисленных выступлениях обманутых крестьян, об их отказе работать на помещиков, о жестоком усмирении бунтовавших деревень, о массовых расстрелах непокорных. И Герцен обратился к соотечественникам: «Прислушайтесь, благо тьма не мешает слушать: со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра растёт стон, поднимается ропот; это — начальный рёв морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля»[64].

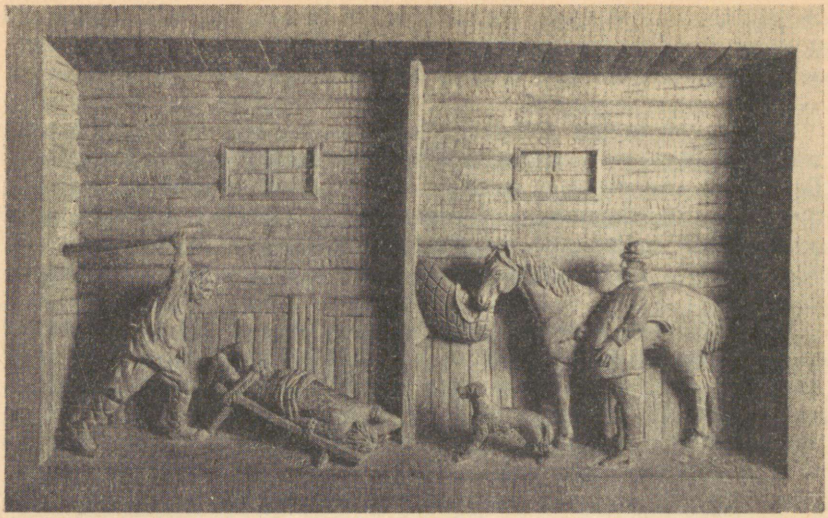
Под влиянием крестьянского движения Герцен и Огарёв отказались от выдвинутой ими до реформы аграрной программы. Они потребовали безоговорочной передачи всей помещичьей земли крестьянам. Они уже обращались с вольным русским словом[65] непосредственно к массам, и верили в возможность военно-крестьянского восстания в России[66]. Увидев поднявшийся на борьбу народ, Герцен, а вместе с ним и Огарёв, «безбоязненно встал, — по словам В. И. Ленина, — на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царём»[67]. Как и в предреформенную пору, после издания царского манифеста русские демократы разоблачали реакционеров всех мастей, превозносивших остзейский «особый порядок».

Выступая против поклонников жесточайших экзекуций, против лжи и варварства либерально-монархического лагеря, Герцен писал, в частности, о расправе баронов с давно уже «освобождёнными» эстонскими крестьянами. Вот — короткая заметка из номера «Колокола» от 15 июня 1865 года:

> «Розги в Остзейских провинциях — процветают, последние состоявшиеся цены очень сходны, 2 коп. сер. за удар. В «Эстляндских Ведомостях» пишут, что «до общего изменения судебной части остаются в силе наказания 60 ударов розгами, арест до 7 дней и штраф до 12 руб.». Это право предоставлено судьям земской полиции, а общинной дано право на 30 ударов. В тех же случаях, когда возможна замена наказания штрафом, 10 ударов розог равнятся 20 коп. штрафа. Какое варварство и какой цинизм! Кто лучше, немцы или правительство?»[68].

Стоит сопоставить это сообщение с официальными документами тех дней, чтобы убедиться в том, как хорошо информирован был Герцен о положении в Прибалтике. Перед нами — дело из канцелярии остзейского генерал-губернатора. Начертанные на картонной папке слова — «О доставлении через каждые 6 месяцев сведений: сколько было случаев присуждений и исполнения телесных наказаний за преступления»[69] — излагают достаточно ясно содержание исписанных каллиграфическим почерком бумаг. Лифляндский гражданский губернатор сообщал, что за вторую половину 1865 года по судебным и полицейским местам губернии подвергнуто было телесным наказаниям 158 крестьян. В Эстонии, рассказывает другое отношение, за тот же период зарегистрировано было 188 случаев экзекуции. А ведь в эти официальные ведомости не вошли те бесчисленные избиения бесправных земледельцев, которые повседневно совершались в деревнях баронами и их приказчиками!

В 1865 году, когда герценовский «Колокол» с возмущением сообщал об экзекуциях в Эстонии, остзейские дворяне формально отказались от «права» домашней расправы. С той поры постыдные телесные наказания возможны были лишь по приговору волостного суда. Но члены этого судилища, как и ранее, утверждались помещиками. И по меньшей мере смешно было ожидать от подобного «правосудия» справедливости и милосердия. Эстонского батрака на господской конюшне по-прежнему ожидали палки и розги. В первой половине 1866 года число экзекуций в губернии не только не уменьшилось, а резко возросло. Вместо 188 случаев, о которых доносилось в



Порка крестьян на баронской конюшне. Барельеф работы Я. Йыги (дерево). Этнографический музей Академии наук Эстонской ССР, Тарту.

предыдущем полугодии, эстляндский губернатор уже сообщал о 264 телесных наказаниях. «Достаточно этих данных, — в порыве откровения признавался лифляндский, эстляндский и курляндский генерал-губернатор, — чтобы убедиться, как мало отличалось положение прибалтийских крестьян от положения крепостных и как часто оно бывало ещё хуже . . .»[70].

Герцен хорошо знал, что эстонскому земледельцу не найти было управы на бесчинствовавшего помещика. Летом 1866 года «Колокол» опубликовал небольшую заметку о бароне Икскуле, отнявшем у крестьян их жалкие лачуги и предоставившем им возможность переселиться на болота. Суд, в который обратились несчастные бедняки, целиком состоял из угодных помещику лиц. Не приходится удивляться, сообщал Герцен, что преступные действия барона были признаны законными и дело завершилось в его пользу[71].

Лаконичная, но гневная заметка о безнаказанном мародерстве барона Икскуля, о бесправии прибалтийских крестьян била не в бровь, а в глаз. Сколько подобных трагических историй скрыто было в дебрях министерских и губернских канцелярий! В том же мае 1866 года, когда герценовский «Колокол» клеймил Икскуля и его покровителей, остзейский генерал-губернатор завел дело «По жалобе крестьянина имения Райн,

Эстляндской губернии, Розенбаума о безвинном наказании его помещиком Врангелем». Эта жалоба была подана непосредственно в сенат, однако, оставлена там «без уважения»[72].

Корреспонденции о переселенных на болото крестьянах и телесных наказаниях, обработанные, по всей вероятности, самим Герценом, говорили о феодальных нравах и в 60-х годах попрежнему царивших в эстонской деревне. Осуществленные под давлением развивавшегося капитализма и крестьянских волнений, буржуазные реформы не улучшили положения народных масс.

Не случайно, конечно, заметку о розгах Герцен завершил многозначительным вопросом: «Кто лучше, немцы (остзейские дворяне. — А. Л.) или правительство?» Опубликованные в разное время «Колоколом» многочисленные материалы давали на этот вопрос исчерпывающий ответ: и прибалтийским помещикам, и царским сановникам были чужды народные интересы: и те, и другие являлись, по убеждению Герцена, «подлыми убийцами» и «убийцами из-за угла».

Страстно ненавидя самодержавие, Герцен такое же чувство питал и к наиболее реакционным защитникам монархического строя — прибалтийским баронам. Его не могла обмануть их лицемерная любовь к России. Цитируя в одной из статей нашумевшие в свое время мемуары Ф. Ф. Вигеля, он стремился тем самым показать всю фальшь этого подлейшего «патриотизма». «Нового своего отечества не полюбил дед мой, и не хотел ему служить, — приводил Герцен откровенно-циничное признание мемуариста. — Он спрятался на мызе, женился, плакал при имени Карла XII и постоянно ненавидел Россию. У него было семь сыновей. Четырёх он отправил на службу Фридриху II; один старший сын уцелел, трое других погибли, сражаясь против русских. Младших сыновей своих решился он посвятить России, на то были особенные причины. Карл Петр Ульрих, герцог голштинский, был наследником престола. Почти в ребячестве привезенный в Россию и крещеный в нашу веру, он никак не умел сделаться русским. Немцы надеялись воскресить времена Бирона. Под его покров поставил дед трёх маленьких сыновей, может быть, видя в них тайно будущих мстителей, будущих повелителей в ненавистной стране. Их приняли в кадетский корпус и, когда половина моего семейства проливала русскую кровь, другая содержалась и воспитывалась на русские деньги»[73].

Такова была родословная подавляющего большинства остзейских дворян. Герценовский «Колокол» с полным на то основанием утверждал, что от тевтонских рыцарей и «пошли юнкеры

Пруссии, Ливии, Эстии, Курии». Они захватили командные посты в царском правительственном аппарате и стали, сообщал с сарказмом журнал, «столпами нашей бюрократии, полиции и экзекуции, учителями нашими в военной дисциплине и в канцелярском порядке»[74].

Еще в предреформенную пору Герцен предупреждал соотечественников, что бароны остзейских провинций, «идущие царить и владеть» российской империей, «похожи друг на друга как родные братья»[75]. Это предостережение приобрело особенную остроту в 60-х годах, когда в среде прибалтийского дворянства наметились две, якобы враждебные, партии — консервативная и либеральная, и в интересах самих помещиков было афишировать «разделявшие» их, будто бы, «противоречия». Герценовская оценка остзейских баронов помогла многим понять, что «враждующие» стороны, щеголяя разными лозунгами, на самом деле, стремились к одной и той же цели — к дальнейшему усилению эксплуатации эстонского народа.

Об этом молчала российская пресса, обязанная соблюдать осмотрительность при пропуске в печать статей о делах и учреждениях прибалтийского края[76]. Но истинный характер «борьбы» между остзейскими консерваторами и либералами не был секретом для высшей бюрократии, покровительствовавшей баронам, в значительной степени состоявшей из тех же прибалтийских помещиков. В очередной «всеподданнейшей записке», эстляндский, лифляндский и курляндский генерал-губернатор сообщал Александру II, что остзейские консерваторы прилагали все усилия к тому, чтобы отстоять особые, выгодные им, условия существования. Односторонний же местный либерализм, писал он, был побуждаем страстным желанием сохранить в крае господство остзейцев, не допустить вторжения русских общегосударственных начал. «Прибалтийские немцы, — доносил генерал-губернатор, — считают все способы пригодными для противодействия русскому влиянию в крае. Всякий новый порядок, затрагивающий сколько-нибудь немецкое преобладание . . ., встречает на всех пунктах дружное противодействие, облечённое в такие искусные и благовидные формы, что его нельзя иначе назвать, как: верноподданническим»[77].

Эти цели прибалтийского дворянства беспощадно, неумолимо разоблачал Герцен.

Держа под гнетом всю Прибалтику, бароны не расставались, в то же время, с состряпанной ими же легендой о своей «просветительской миссии» в Эстонии. Они с презрением отвергали стремление эстонского народа к культуре, науке, знаниям, насильно прививая ему рабовладельческую идеологию. Единственно благоразумным, с их точки зрения, шагом, который дол-

жно было сделать коренное население края, — это «принести в жертву свое внутреннее отличие, — то-есть свой язык».

Носителем подобного «культуртрегерства» являлся, разумеется, не один лишь ревельский «просветитель» Э. Мейер, хотя именно ему и принадлежат приведенные выше слова. Тысячу раз прав был выдающийся общественно-политический деятель К. Р. Якобсон, утверждавший, что немало мейеров, проповедывавших столь же кощунственные взгляды, преспокойно расхаживало по его родной земле. Их «культуру» необычайно метко охарактеризовал К. Маркс. В письме к Л. Кугельману он писал: «Старые сословные перегородки, правоверное лютеранство и высасывание соков из крестьян, — вот что они называют немецкой культурой...»[78].

Местные дворяне и раболепно выражавшие их мировоззрение пасторы были противниками всего, что могло умалить их власть над угнетенным крестьянством. На это указывали Фр. Р. Крейцвальд, Фр. Р. Фельман, К. Р. Якобсон, М. Веске и другие представители эстонской демократической культуры, опровергавшие мнимое «культуртрегерство» остзейских помещиков, старавшиеся вырвать свой народ из-под влияния духовенства. В этом убеждались и прогрессивные деятели России, посещавшие в 40—60-е годы Прибалтику.

В блестящей «Заметке об экономическом состоянии крестьян в Эстляндской губернии» П. В. Козакевич еще в 1846 году весьма точно выразил результаты личных наблюдений над «просвещённостью» прибалтийских дворян. «Если степень образованности человека, — заявлял он, — проявляется в понятиях и действиях его относительно прав подобных ему людей, — то образованность эстляндского помещика... стоит на степени варварства...»[79] Щеголяя своей показной «учёностью», бросая пыль в глаза журналами и книгами, из которых они черпали сведения о правах человечества, беспрестанно съезжаясь для обсуждения этих прав, остзейцы, утверждал Козакевич, на самом деле, как вампиры, высасывали кровь из несчастного крестьянства.

С революционной страстностью и непримиримостью о своекорыстном эгоизме прибалтийских дворянских «просветителей» писал и Герцен. Остзейские бароны не только противились проникновению в Эстонию и Латвию прогрессивных идей русской культуры. Они, утверждал Герцен, закрывали в свои остзейские владения доступ всего действительно передового, что рождалось и на Западе. Это вынужден был признать даже один из либеральных корреспондентов «Колокола», писавший издателю вольного русского журнала, что остзейских помещиков

следовало бы «упрекнуть в измене просвещенному немецкому элементу»[80].

Будучи носителями всех отвратительнейших, уродливейших черт западноевропейской и российской реакции, остзейские опричники являлись, по убеждению Герцена, очень плохими просветителями и воспитателями подавленных ими народов. «Стоит взглянуть на эстов и леттов в остзейских провинциях, — заявлял русский демократ, — чтоб убедиться в этом . . .»[81] Прибалтийские помещики искусственно тормозили духовное развитие эстонского народа, насильно держали его в темноте и невежестве, а местные немецкие газеты неустанно твердили о «вреде образования для эстонцев». «Следует принести большую благодарность за то, — заявляла «Revaler Zeitung», — что в наших школах ещё так мало требуют, что не нужно ни обучения географии, ни истории, ни физики и проч. . . . Но, — с иронией признавала газета, — всё-таки требуют два излишних предмета и напрасно — арифметику и письмо»[82].

Тщетны были стремления дворянства и лютеранского духовенства привить эстонскому народу любовь к их плантаторской «культуре». «Чем более крестьянское население оставалось в крепкой зависимости от помещиков, — доносил в 1868 г. остзейский генерал-губернатор, — тем более оно было нерасположено к нравам, обычаям и языку своих ближайших утеснителей»[83].

Тщетны были также попытки остзейских «просветителей» овладеть всей научной и учебной жизнью крупнейшего культурного центра Прибалтики — Тартуского университета. Эстонские корреспонденты Герцена сообщали ему о псевдонаучных лекциях консервативно настроенной части иностранной профессуры, об ожесточенной борьбе богословского факультета против могучего влияния на университет прогрессивной русской культуры. Эти факты позволили Герцену прийти к заключению, что «в остзейских губерниях все уродливые стороны германизма от юнкертума — до теологии, от мещанского филистерства — до мещанской б у р ш и к о з н о с т и, не только хранятся, но доведены до карикатуры»[84].

В посвященной Тартускому университету короткой заметке Герцен с презрением отзывался о тех зарубежных «учёных», которые принесли с собой в это высшее учебное заведение реакционные идеи, отвратительнейшие обычаи и нравы. Он писал о профессорах, «печатно, в 1858 году, споривших о том, могут ли ангелы плодиться или нет». Герцен сообщал о баронских сынках, готовивших магистерские диссертации на темы, подобные этой: «Не следует ли дьяволу в и н д и ц и р о в а т ь качество церковного лица»[85]. Русский демократ извещал читателей «Колокола» о получении из Тарту «прелюбопытного письма» и в

лаконичном редакционном примечании высмеивал «ученое болото» отсталой части немецкой профессуры — болото «самое узкое, самое исключительное, самое теологическое»[86].

Этим-то служителям мракобесной «культуры» остзейские идеологи, эстонские буржуазные националисты и современные реакционные зарубежные «исследователи» приписывают мифическую заслугу в развитии Тартуского университета!

Но в памяти эстонского народа всегда жили и будут жить иные образы — благородные образы русских людей, исследовавших природные богатства Эстонии[87], принесших в тартуские аудитории, лаборатории, клиники передовые идеи отечественной науки. Он помнит сколь велика была роль в создании и развитии тартуских научных школ таких выдающихся русских ученых, как В. Я. Струве, Н. И. Пирогов, Д. И. Менделеев, Л. В. Писаржевский, Н. Н. Бурденко, А. Н. Северцов, Н. И. Кузнецов, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг. Он помнит имена и тех ботаников, геологов, минералогов, которые, движимые патриотическим чувством, отправлялись из Тарту в многочисленные экспедиции — подымались на Кавказские горы, изучали уральские недра, исследовали богатства Сибири . . .[88]

Великой русской культуре, а не носителям высмеянных Герценом «мещанского филистерства» и «мещанской буршикозности», обязан был Тартуский университет тому подлинно прогрессивному, что жило в его стенах на протяжении XIX — начала XX веков.

IV. МИНУЯ ТАМОЖЕННЫЕ КОРДОНЫ...

. . . В России . . . наш голос проникает всё дальше и дальше . . .

А. Герцен

Жандармский корпус, таможенное ведомство, министерские сановники, губернские власти призваны были любыми средствами пресечь распространение вольной русской печати. К Герцену засылались осведомители III отделения. Дипломатические представители царского правительства вели переговоры об изъятии ненавистной литературы с полок зарубежных книжных лавок. А в самой России еще строже просматривалась поступавшая из-за границы почтовая корреспонденция, еще придирчивее стали таможенные надзиратели.

Особый надзор установлен был за портовыми городами Эстонии, через которые сплошь и рядом контрабандно ввозилась запрещенная литература. Силы реакции брошены были там на то,

чтобы не дать этой литературе распространиться по прибалтийским губерниям, не допустить ее проникновения оттуда в другие части российской империи.

Об этой ожесточенной борьбе против вольного русского слова, о борьбе, к которой привлечены были и эстляндская жандармерия, и чиновники губернской канцелярии, и таможенные надзиратели, и местная цензура, рассказывают официальные документы тех дней. В них — в этих документах — секретные наставления, наистрожайшие указания, подробнейшие инструкции искоренения герценовской «крамолы».

Одно из таких предписаний, датированное 7 апреля 1854 года, адресовано было начальнику нарвской таможни. Оно обязывало его усилить наблюдение «за непропуском под видом обёрток на заграничных товарах печатных и рукописных листов, равно как потаённо уложенных между товарами таковых же»[89]. Взывая к бдительности, петербургское начальство надеялось выловить, таким образом, первые «возмутительные» издания Вольной русской типографии — герценовский листок «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству!», призывавший к отмене крепостного права; «Крещёную собственность» — пламенную статью о злоупотреблениях помещиков-крепостников.

Не менее серьезное беспокойство вызывали в правительственных сферах «Голоса из России» — печатные выпуски той самой бесцензурной рукописной литературы, которая тайком уже ходила по стране. Вскоре после выхода в Лондоне первого же сборника из Петербурга в Эстонию полетел секретный циркуляр. Начальнику ревельского таможенного округа предписывалось «сделать немедленно ... распоряжение о строжайшем наблюдении, чтобы означенное сочинение не было доставлено»[90] в пределы империи.

Официальные отношения с предостерегающим грифом — «Весьма секретно!» оповещали эстляндских таможенных чиновников о поступлении к иностранным книгопродавцам изданий «изгнанника Герцена», о той маскировке, к которой прибегали и коммерсанты, и многочисленные агенты, чтобы переправить запрещенную литературу через русскую границу, через портовые города Эстонии. Летом 1856 года прибалтийские таможни приготовились к встрече партии ножей, уложенных в ящики из картона, проклеенного под цветной обшивкой прокламациями[91]. В январе 1857 года начальника ревельского таможенного округа предупредили, что «возмутительные сочинения» могли быть доставлены в Россию упрятанными на дне тюков с игрушками; что большое количество запретных книг отправлено уже из Лондона к лейпцигскому книгопродавцу Бобровичу; что таможенным чиновникам следует, в связи с этим, быть особенно

бдительными[92]. Спустя несколько месяцев, надзиратель Кундской заставы (северо-восточная Эстония) извещался, что особые агенты, разъезжая вдоль границы, использовали удобные случаи для передачи в Россию «крамольной» литературы. Его обязывали «сделать строжайшее распоряжение об усугублении надзора за неводворением запрещенных сочинений в наши пределы и вменить подведомственным чиновникам в обязанность обращать особое внимание на багаж приезжавших из-за границы для удостоверения, не сокрыто ли между оными таковых сочинений»[93]. Осенью в Таллин поступило сообщение об отправленном из Лондона «возмутительном воззвании на русском языке к крестьянам»[94]. Об ожидаемых из-за границы с открытием на Балтике навигации «печатных славянскими буквами возмутительных воззваниях к русскому простонародью» извещался в марте 1863 года управляющий нарвской таможней[95]. Эстляндские заставы получили указание об аресте двух агентов с литературой Вольной русской типографии, зашитой в подкладке платья и заклеенной в переплеты книг, портфелей и альбомов[96]. Из таможенного ведомства предписывали не допускать проникновения герценовской «крамолы», «как в товарных и пассажирских местах и укладках, так и в имуществе корабельного экипажа, а равно и в потаённых местах кораблей, приходивших из-за границы»[97].

Циркуляры и отношения — «секретные» и «весьма секретные» — сыпались, как из рога изобилия. «Получены сведения, — тревожно сообщали в Эстонию 15 июля 1863 г., — что запрещенные сочинения самого возмутительного содержания провозятся на кораблях и пароходах тайным образом следующим способом: к наружному килю корабля прикрепляется посредством цепи ящик, облитый свинцом, в котором и вложены запрещенные книги»[98]. В другом документе, датированном октябрем того же года, речь шла уже о «молодых людях и в особенности возвращавшихся с вод дамах, старавшихся как можно более провести . . . запрещенных книг и сочинений»[99].

Не одни только таможенные чиновники привлечены были к вылавливанию в Эстонии шедшей от Герцена литературы. Отдельному цензору в Ревеле из управления Дерптского учебного округа передали в те годы повеление царя «дабы из-за границы тюки и ящики с книгами были осматриваемы самым тщательным образом»[100]. Не осталось в стороне и губернское начальство. В мае 1857 года шеф жандармов известил прибалтийского генерал-губернатора, что особый агент переправляет через границу «кипы возмутительных сочинений, между которыми в особенности известны издаваемые Искендером (Герценом) в Лондоне: «Полярная звезда», «Крещёная собственность», «Го-

лоса из России»[101]. Губернатору предлагалось принять строжайшие меры и предотвратить распространение в Эстонии и Латвии вольной русской печати.

В декабре 1861 года герценовский «Колокол» опубликовал статью «Что нужно помещикам», а в 1862 году — «Что нужно народу?», «Что надо делать войску», «Что надо делать духовенству» и другие, в которых сформулировал конкретные цели в социальном преобразовании России. Этим статьям придавалось настолько серьезное значение, они пользовались таким огромным успехом, что Герцен перепечатал их в виде отдельных листовок и брошюр. Имевшие большое практическое назначение агитационные произведения русских демократов должны были попасть и в Эстонию. В связи с этим, переполошившееся петербургское начальство предписало пакгаузным надзирателям эстляндских таможенных застав «задержать упомянутые брошюры, если таковые будут кем-либо привезены»[102].

Проникновение в пределы Эстонии вольной русской печати вызывало серьезную тревогу и у прибалтийского дворянства. Эта тревога усугублялась той глубочайшей критикой, которой подвергали остзейский «особый порядок» Герцен и Огарёв. Местное дворянство не без оснований видело в русских демократах врагов феодально-крепостнического строя, защитников угнетенного крестьянства. Оно понимало, что гневное, беспощадное, непримиримое слово издателей «Колокола» отвечало интересам эстонского народа. И остзейские бароны охотно поддерживали царскую администрацию и жандармский корпус, губернских чиновников и таможенных надзирателей в их борьбе против тех, кто способствовал проникновению этого слова в Прибалтику.

Имена агентов Герцена или лиц с ним связанных, завозивших в Эстонию издаваемую им литературу, до сих пор почти не были известны. Чтобы установить некоторые из этих имен, пришлось предпринять архивные поиски, обратиться к мемуарам и переписке 60-х годов.

Одно из интересующих нас имен оказалось погребенным в обширных архивных фондах канцелярии лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора. Среди секретной переписки о политических ссыльных внимание привлек документ с весьма лаконичной резолюцией: «Написать губернатору (эстляндскому губернатору. — А. Л.), чтобы разобрал дело по приезде Аккермана в Ревель и сообщил бы графу (остзейскому генерал-губернатору графу Э. Баранову. — А. Л.) сведения о прошлой жизни мудреца»[103].

Но кто же он — этот «мудрец», возмутивший своим проступком лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-

губернатора? Что сотворил он? Откуда едет? Зачем направляется в Таллин?

Ответы на эти и многие другие вопросы удалось извлечь из архивных документов. «Мудрецом» оказался уроженец Эстонии, вольнослушатель Петербургского университета Оскар Аккерман, после студенческих волнений 1861 года вынужденный покинуть Россию и уже за границей завершить свое образование.

Юноша учился сперва в Лейпциге, а затем — в Гейдельберге — небольшом немецком городке, переполненном в ту пору русской молодежью. По свидетельству современника, ее можно встретить там буквально на каждом шагу[104]. В Гейдельберге нашли приют многие видные деятели студенческого движения, так же как и Аккерман, расставшиеся на время с отечеством. Создав весной 1862 года в этом городке русскую читальню, они быстро превратили ее в революционный клуб, где особенной популярностью пользовались издания Герцена. «Читальню эту, — сообщал один из ее организаторов, — завели несколько действительно развитых людей, принадлежавших к партии так называемых «красных», которые, будучи хорошими знакомыми Герцена и, вообще, всех трех лондонских старичков (Герцена, Огарёва и Бакунина. — А. Л.) и видя, какое освежающее влияние делает беседа с такими личностями, как Герцен, хотели и в Гейдельберге устроить такое же общество, дабы поддержать, пропагандировать и укреплять его направление»[105]. С этим свидетельством перекликаются не менее достоверные заметки сына декабриста С. Н. Кашкина — Н. С. Кашкина, подтверждающие, что гейдельбергская читальня состояла преимущественно из запрещенных русских книг; что она располагала комплектами «Колокола» и «Полярной Звезды»; что «каждое слово Герцена действовало неотразимо на тогдашнюю молодежь»[106], жившую за рубежами своей родины.

Находясь в Гейдельберге, Аккерман посещал, разумеется, русскую читальню, где познакомился с идеологией русского революционного демократизма. Подобно многим своим соотечественникам, он следил там за каждой строкой, выходившей из-под пресса Вольной русской типографии. А возвращаясь в 1866 году на родину, в Таллин, юноша попытался даже провезти с собой через кордон два литографированных письма Огарёва, а также составленный Огерёвым и переписанный самим Аккерманом адрес царю с требованием созыва Земского собора.

Однако Аккермана постигла неудача. Уже в Динабурге офицер жандармской команды, заинтересовавшись содержимым

его дорожного портфеля, извлек литографированные письма Огарёва. В них, сообщал своему прибалтийскому коллеге виленский, ковенский, гродненский и минский генерал-губернатор, «предлагалась пропаганда об искоренении в дворянстве сословных преимуществ и о совершенном слиянии с народом; затем рекомендовался проектированный в этих письмах адрес о собрании земской думы, которой бы предоставлено было право решения вопроса об общинном и равномерном владении землею. В одном из этих писем, — продолжал генерал-губернатор, — сделана была Герценом приписка, в которой он заявлял своё согласие с мнениями Огарёва. В письме на имя государя императора говорилось о неудовлетворительном решении крестьянского вопроса и о возникших вследствие того затруднениях для помещиков и крестьян»[107].

Вместе с обнаруженной «недозволенной литературой» Аккермана отправили в Таллин. В эстляндской губернской канцелярии его подвергли допросу. От Аккермана требовали признания: где, когда и от кого получен адрес; где, когда и кому передан подлинник; с кем он поддерживал знакомство в Лейпцигском и Гейдельбергском университетах?

Аккерман всячески уклонялся от ответа. Еще виленский, ковенский, гродненский и минский генерал-губернатор указывал в своем отношении на «противоправительственный образ мыслей» этого молодого «вольнодумца». Сделанное высокопоставленным сановником заключение, по всей вероятности, подтвердилось на допросе в эстляндской губернской канцелярии. И лишь вмешательство влиятельного дяди — ревельского почтмейстера избавило Аккермана от тюремного заключения. Он был только лишь взят под надзор полиции.

Так завершилась одна из попыток провоза в Прибалтику произведений Герцена и Огарёва. Но принимаемые меры, затрудняя проникновение в Россию, и в частности в Эстонию, изданий Вольной русской типографии, не могли всё же пресечь их распространение. «Всякому известно, — официально признавал барон М. А. Корф, — что при постоянном у нас существовании иностранной цензуры, нет и не было запрещённой книги, которой бы нельзя было достать; что именно в то время, когда правительство всего строже преследовало известные лондонские издания, они расходились по России в тысячах экземпляров, и их можно было найти едва ли не в каждом доме, чтобы не сказать, в каждом кармане»[108].

Из этого признания следует, что вольное русское слово значительно чаще преодолевало воздвигаемые на его пути преграды, чем попадало в искусно расставленные сети. Одно из

полученных летом 1855 г. эстляндскими таможнями секретных отношений гласило: «Господин шеф жандармов сообщил господину министру финансов, что несмотря на предосторожности, принятые в 1853 г. к предупреждению ввоза в Россию брошюр, печатаемых в лондонской типографии изгнанника Герцена, некоторые из этих брошюр, при содействии неблагонамеренных людей, тайно проникли в наши пределы и что оныя могут быть получены у нас разрозненными в печатных листах, коими обёртываются привозимые из-за границы дозволенные книги и вообще товары . . .»[109]

Это был строжайший окрик негодующего начальства. Но как ни велико было его бешенство, оно не в силах было всё же приостановить поступление в Россию, а следовательно и в Эстонию, изданий Герцена. «Несмотря на неоднократные подтверждения о строжайшем досмотре привозимых из-за границы книг, — говорилось в другом секретном циркуляре, полученном в июне 1862 г. нарвской таможней, — в последнее время не только не прекратился, но и усилился привоз в наши пределы зловредных сочинений на русском языке, за границей издаваемых»[110].

В апреле 1862 года в таможенном ведомстве заведено было специальное секретное дело «По отношению министра внутренних дел о принятии . . . наиубедительнейших мер к недопущению в пределы империи русских книг без одобрения цензуры за границею изданных». Ведавшему таможнями управляющему министерством финансов, в который уже раз давалось указание принять меры для пресечения ввоза в Россию «возмутительных сочинений». Стремясь оправдать свою беспомощность перед силой вольного русского слова, два сановных чиновника — управляющий министерством финансов статс-секретарь Рейтерн и управляющий департаментом внешней торговли Пашков писали министру внутренних дел: «При всей строгости надзора в таможнях, едва ли возможно в настоящее время совершенно прекратить ввоз сюда запрещённых русских книг и газет, так как всякие печатные бумаги весьма удобно могут быть тайно водворяемы чрез огромное пространство нашей западной границы»[111].

«Тайно водворялись» они и в Прибалтику. Как явствует из донесения остзейского генерал-губернатора, значительное количество «волновавших умы заграничных изданий» ходило и по Эстонии, и по Латвии[112]. В одном из поступивших в ту пору в Петербург доносов сообщалось даже о нелегальной продаже запрещенных книг в рижских лавках[113]. Библиотека же Тартуского университета, обладавшего правом собственной цен-

зуры [114], получила в 70-х годах комплекты «Полярной звезды» и «Колокола» от своего постоянного поставщика — лейпцигского книгопродавца Кёлера.

V. ИЗГНАННИКИ НАУКИ

> Семена, которые достались в наследство небольшому числу нашцх друзей и нам от наших великих предшественников, мы бросили в новые борозды, и ничто не погибло.
>
> *А. Герцен*

Одним из звеньев, связывавших Герцена с Эстонией, была демократически настроенная часть русской студенческой молодежи, той самой молодежи, к которой примыкал упоминаемый уже нами Оскар Аккерман.

В 1861 году, в связи с введением новых университетских правил, по высшим учебным заведениям России прокатилась волна манифестаций. Вспыхнув в Петербургском университете, эти волнения быстро перекинулись в Медико-хирургическую академию, Технологический институт, Московский, Казанский и другие университеты. В те тревожные дни разночинная молодежь, писал М. И. Калинин, выдвинула из своей среды замечательных борцов за народное дело [115].

Напуганное политическим характером студенческого движения, царское правительство закрыло университеты. Сотни студентов были загнаны в крепостные казематы, сосланы в отдалённые губернии. Именно тогда Герцен и обратился с пламенным призывом к молодым русским умам: «В народ! К народу! — вот ваше место, изгнанники науки . . .»[116]

Призыв великого демократа обращен был, без сомнения, и к тем, кого упрятали в «благонамеренной» Эстонии. Он обращен был к немалому числу русских студентов, содержавшихся там под строжайшим надзором полиции.

Одним из таких студентов являлся Вячеслав Манассеин — впоследствии видный общественный деятель и замечательный русский врач, первый открывший лечебные свойства зеленой плесени пенициллиума. И, чтобы в полной мере представить себе ту значительную роль, которую он сыграл в пропаганде среди тартуской молодежи идей Герцена и Огарёва, мы вынуждены обратиться к некоторым событиям из его жизни, приведшим Манассеина в Эстонию.

Он примкнул к революционному движению за два года до переезда в Тарту, будучи тогда студентом Московского универ-

ситета. Вскоре, уже в Казани, юноша расширил конспиративные связи, стал организатором воскресных школ, пропагандистом среди учащейся молодежи передовых идей своего времени.

Документальными материалами подтверждается, что к моменту отъезда в Тарту Манассеин входил в одну из существовавших конспиративных организаций. Направляемая его другом Митрофаном Муравским, она имела своих членов в Петербурге, Харькове, Казани и других университетских городах. Эта организация была, по всей вероятности, звеном другого значительно более мощного революционного общества, о существовании которого в дореформенное время высказывает предположение М. Нечкина [117].

Тайная организация Муравского, Манассеина и других бесспорно знала о разрабатываемых Герценом и Огарёвым, с одной стороны, и Чернышевским — с другой, планах вооруженного восстания. «В последние три года или четыре, — признавал в 1863 году на допросе Муравский, — я пришел к твердому убеждению, что от русского правительства (под именем которого я понимаю императора и всех ныне существующих властей) подвластные ему национальности не должны ожидать никаких существенных преобразований, так как правительство не имеет ни способности, ни желания сделать что нибудь подобное для народа, — и что единственное средство к перемене существующего порядка остаётся, по моему мнению, путь насильственной революции»[118].

Еще ранее, 20 января 1861 г., сосланный на Урал Муравский сообщал Манассеину: «В нашем тайном обществе поговаривали иногда, что следует покороче сблизиться с военным сословием, для этого не худо бы даже кой-кому из нас поступить потом на военную службу. Не знаю насколько эти мечты удадутся в Оренбурге»[119].

Будучи ссыльным, а следовательно — поднадзорным, Муравский не терял всё же надежды осуществить это, по всей вероятности, не второстепенное намерение конспиративной организации. Речь шла об установлении самого тесного контакта с «военным сословием», которому серьезное место в вооруженном восстании отводили и Герцен, и Огарёв, и Чернышевский.

Цитируемое письмо приобретает особенное значение при сопоставлении с другим историческим документом. Мы имеем в виду недавно опубликованную рукопись Огарёва «Цель русского движения . . .», предположительно отнесенную М. Нечкиной к 1860 г. Развернув подробную программу действий тайной революционной организации, Огарёв дал в этом документе конкретный план подготовки восстания:

«Так как восстание неизбежно, — писал Огарёв, — то надо



Выдающийся русский врач
В. А. Манассеин.

его устроить и направить в разумном порядке, отнюдь не кровопролитно и не разорительно.

Такое восстание, идущее строем, можно только образовать в войсках.

Для этого надо составить офицерские общества для разъяснения солдатам цели и необходимости восстания.

Образование таких обществ должно быть преимущественно и усиленно вырабатываемо в войсках, стоящих на окраинах государства: на Кавказе с Доном и Черноморьем, на Урале с Приволжьем, в Польше с западными губерниями»[120].

Нет оснований для категорического утверждения, что именно этот документ знаком был Муравскому, Манассеину и их друзьям. Однако то обстоятельство, что в их взглядах и взглядах Огарёва на методы подготовки восстания есть много общего, позволяет предположить, что, если, по каким-либо причинам, «Цель русского движения...» и не попала к Муравскому и Манассеину, то планы Огарёва стали им всё же известны и легли в основу их деятельности.

Из Казани, вплоть до отъезда в Эстонию, Манассеин поддерживал интенсивные связи с русскими революционными центрами. К нему поступала нелегальная литература, в том

числе и издания Вольной русской типографии. А в начале 1861 года за участие в студенческих «беспорядках» он был исключен из Казанского университета и вскоре поселился в Тарту.

К тому времени Прибалтика не была для Манассеина неведомым краем. Он уже знал, как тяжела там крестьянская жизнь, как гнусны и бесчеловечны нравы остзейских баронов. Об этом, несмотря на цензурные трудности, сообщал некрасовский «Современник». Об этом постоянно писал герценовский «Колокол». Об этом Манассеину говорили, наконец, и письма Митрофана Муравского, сосланного в глухой уральский городок и сумевшего завязать оттуда надежные связи со своими тартускими единомышленниками.

Излагая полученное из Эстонии письмо, Муравский, незадолго до отъезда туда же Манассеина, писал ему, что «остзейские немцы консерваторы», что «вся их деятельность устремлена на то, чтобы удержать свои права . . .»[121] Муравский понимал, что прибалтийские бароны стремились огородить Эстонию от влияния прогрессивной русской культуры, превратить Тартуский университет в очаг самой разнузданной реакции. И ссыльный революционер предупреждал Манассеина, что в Тарту тому предстояло соприкоснуться с немалым числом студентов, жизненные интересы которых ограничивались бесшабашными кутежами, дуэлями, пьянством; со студентами, относившимися враждебно к передовым идеям современности. Конечная цель этих «рыцарей науки», иронизировал Муравский, сводится к тому, чтобы стать исправными чиновниками, той «эссенцией бюрократии», на которой держалась российская империя. «За то же, — писал он, — ими и довольны в Питере»[122] — при дворе, в высших сферах государственного аппарата.

Но в 60-е годы, так же как и в предшествовавшие десятилетия, тартуская молодежь не была, разумеется, однородной, состояла не из одних лишь баронских сынков, с такой злостью высмеянных Муравским. Приехав в Тарту, Манассеин встретил там даже членов своей подпольной организации Александра Лебедева и Александра Тищинского, поддерживавших из Эстонии интенсивную переписку со многими деятелями революционного движения, с демократическим студенчеством ряда российских университетов.

Мы располагаем весьма скудными данными о Лебедеве и Тищинском. Но нам известно всё же, что оба до поступления в Тартуский университет являлись членами харьковского тайного общества, поддерживавшего связи с А. И. Герценом и распространявшего издания Вольной русской типографии. Нам известно также, что при их аресте в бумагах Тищинского

агенты III отделения обнаружили рукопись, направленную против царя и правительства. Оба в 1860 году заключены были в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Оттуда, после четырехмесячного заточения, обоих отправили в Эстонию: с «высочайшего разрешения» их зачислили в Тартуский университет, оставив, однако, под тайным полицейским надзором.

Но крепостные казематы не сломили Лебедева и Тищинского, а полицейское око оказалось не всевидящим. Из Тарту им удалось восстановить прерванные связи. Письма Тищинского о состоянии университета и местном студенчестве, о нравах остзейского дворянства стали поступать даже в глухой уральский городок к ссыльному Муравскому.

Вокруг новых студентов объединилась лучшая часть тартуской университетской молодежи, мировоззрение которой формировалось тогда под влиянием Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Огарёва. «Около нас они (студенты. — А. Л.), — сообщал Тищинский, — теперь начинают группироваться; положительно можно сказать, что ни одного дня не проходит без того, чтобы у нас кто нибудь не был . . .»[123]. Столь явная популярность двух поднадзорных встревожила лифляндского губернатора, сообщавшего в III отделение, что они «в поведении не одобряются»[124].

Революционная деятельность в Тарту Лебедева, Тищинского и примкнувшего к ним Манассеина в значительной степени направлялась той обличительной проповедью, которой пронизаны были многие страницы «Современника» и «Колокола».

Не случайно, вскоре же после опубликования в герценовском журнале короткой заметки о тлетворной «научной» деятельности некоторых тартуских псевдоученых, Тищинский о том же писал Митрофану Муравскому. Он с возмущением отмечал также коварные уловки остзейских реакционеров, пытавшихся закрыть путь в университет всему подлинно русскому. «Чтобы уберечь университет от наплыва русских студентов, — сообщал Тищинский, — недавно послали в Петербург проект, что каждый переезжающий в Дерптский университет непременно должен держать экзамен по греческому языку. Выдумка не дурна, тем более, что древние языки у нас не в ходу; в здешних же гимназиях их только и изучают . . .»[125]

То, что приводило в негодование Тищинского, не могло не волновать и Манассеина. Вскоре же после переезда в Тарту, он выступил со статьей «Несколько слов о дерптских студентах». Манассеин высмеял в ней сохранившееся в стенах университета средневековое корпоративное устройство, подверг резкой критике смехотворные нравы значительной части студенчества.

«Лишая вновь поступившего студента самостоятельности, без которой невозможно правильное развитие, — писал он, — приучая его к нелепым дуэлям, корпорация не ограничивается этим — она идёт дальше, заставляет его смотреть на себя, как на нечто особенное от общества . . .»[126]

Корпорации являлись, по убеждению Манассеина, одним из серьезнейших препятствий, стоявших на пути общественно-политического развития молодежи. И он стремился всячески отвлечь от них студенчество. С этой целью Манассеиным, Тищинским и Лебедевым была создана, в частности, студенческая вспомогательная касса. Эту же цель преследовала в значительной степени и открытая ими при университете общедоступная библиотека. В нее стали приходить лучшие журналы того времени — некрасовский «Современник», издаваемые Курочкиным «Искры». Там можно было получить, но, разумеется, тайком, томик «Полярной звезды» и выпуски «Колокола».

Осенью 1861 года Тищинский и Лебедев покинули Тарту. Из членов конспиративной организации в университете оставался, по-видимому, один лишь Манассеин. Это и побудило, на наш взгляд, Огарёва признать вскоре Тарту малозначащим на определенном этапе центром русского революционного движения[127].

Однако подобная оценка вовсе не означала, что тартуская молодежь стояла тогда в стороне от революционного движения. В университетский городок, к Манассеину, как и прежде, в значительном количестве доставлялась печатная продукция Вольной русской типографии. Шла она в Тарту разными путями, в том числе и теми, которыми располагало созданное в конце 1861 — начале 1862 гг. тайное общество «Земля и Воля»[128].

В ноябре 1862 года полиция нагрянула к Манассеину. В его комнате, помимо писем от друзей, «порицавших действия правительства», помимо шифра для подпольной переписки и тетради запрещенных стихов, были найдены номера «Полярной звезды» и «Общего веча», комплекты герценовского «Колокола».

Манассеина препроводили в Петербург. Вместе с ним из Эстонии в III отделение «собственной его величества канцелярии» доставили найденную «крамольную» литературу.

Тартуского студента подвергли изнурительному допросу. Жандармов интересовало, конечно, как попали в Эстонию книги и журналы Вольной русской типографии. Но Манассеин не раскрыл тщательно оберегаемой тайны. Он не назвал и своих товарищей по Тартускому университету, с которыми вечерами, укрывшись от соглядатаев, читал пламенные и гневные листы «Колокола».

Спустя несколько месяцев Манассеина возвратили в Тарту.

Местному полицмейстеру предписали установить за ним наистрожайший надзор. В этих условиях Манассеин уже не сумел восстановить прерванные арестами друзей конспиративные связи, в значительной степени отошел от революционной работы. Однако в Тарту по-прежнему существовала созданная им русская студенческая библиотека, по-прежнему из Петербурга доставлялись в нее тома «Современника» и других прогрессивных изданий. Как и ранее, в Тарту проявлялся глубокий интерес к передовой общественно-демократической мысли, к вольной русской печати. Манассеин же, как и до ареста, разделял взгляды лучшей части молодежи и это не могло расположить к нему реакционную профессуру. Перед самым окончанием университета он был поставлен перед необходимостью покинуть это учебное заведение. Даже не пытаясь скрыть истинную причину неприязни к талантливому студенту, ректор ему заявил: «Вы для нас неудобны, а потому должны удалиться из университета»[129]. 30 апреля 1864 года, не по собственной воле, Манассеин расстался с Тарту.

Так завершилась революционная деятельность в Эстонии сперва Тищинского и Лебедева, а затем и Манассеина — представителей демократических слоев русской молодежи 60-х годов, пропагандировавших в стенах Тартуского университета идеи Герцена и Огарёва. Но Тищинским, Лебедевым и Манассеиным не ограничивалось число тех, при посредстве которых издания Вольной русской типографии попадали в Эстонию, читались там, оказывали огромное влияние на общественно-политическое развитие студенчества. Преследование полиции вынуждало прибегать к конспирации. Тайные и явные доносы баронских сынков приучали к постоянной осторожности. И имена многих замечательных русских людей, распространявших по Прибалтике «Колокол» и «Полярную звезду», остались поэтому неизвестными. О революционной же деятельности в Эстонии некоторых других связанных с Герценом лиц мы узнаем только лишь из косвенных свидетельств, из немногих дошедших до нас архивных источников, писем, воспоминаний.

Перед нами один из таких документов — секретное предписание министра иностранных дел лифляндскому, эстляндскому и курляндскому генерал-губернатору. Предписание гласит:

«Государь император по всеподданнейшему докладу г. шефа жандармов о бывших студентах здешнего (С.-Петербургского. — А. Л.) университета Марке Новоселицком и Валериане Осмоловском, высланных вследствие беспорядков, происходивших в сём университете в 1861 году, под надзор полиции, первом в Вологодскую губернию, а последнем на родину, в Могилёв губернский, и ходатайствующих ныне о разрешении им

возвратиться в С.-Петербург для окончания прерванного курса образования, высочайше повелеть соизволил: допустить их для сего в Дерптский университет с поручением их как особому наблюдению университетского начальства, так и с продолжением учреждённого за ними полицейского надзора»[130].

Этот документ датирован 12 августа 1864 г. Прошло, таким образом, всего лишь три с половиной месяца, как Манассеин покинул Тарту, а туда уже держали путь два других участника революционного движения.

Об одном из них — Валериане Осмоловском — нам ничего не известно. Архивные поиски не привели в этом отношении ни к каким результатам. Но уже сам факт, что спустя три года после студенческих «беспорядков», он всё еще содержался под полицейским надзором, говорит о многом. Не случайно также в приведенном выше предписании имя Осмоловского стоит рядом с именем Марка Новоселицкого — одного из вожаков студенческих волнений, причисленного санктпетербургской полицией к числу «изобличённых дознаниями или сознавшихся в действиях, обнаруживающих намерение не исполнить предписаний начальства»[131].

Прежде, чем попасть в Тарту, Новоселицкий отсидел несколько месяцев в казематах Петропавловской крепости, более полутора лет прожил в Вологде, постоянно общаясь там с другими политическими ссыльными. В этом захудалом провинциальном городке он и его друзья содержались под надзором специально приставленного к ним жандармского офицера. Но, несмотря на это, Новоселицкий, как и прочие ссыльные, находил возможности для получения запрещенной литературы, для чтения Чернышевского и Герцена. В ту пору в вологодской семинарии был раскрыт даже тайный кружок, а у семинаристов обнаружены «запрещённые книжки, возмутительные рукописи». По свидетельству современника, члены этого кружка «читали запрещённые сочинения, преимущественно Герцена, и задумывали основать земледельческую колонию..., соединяя с ней преступные замыслы... о просвещении народа»[132]. В зарождении столь «преступных» замыслов «повинны» были и политические ссыльные, к числу которых относился Новоселицкий. Одного из его вологодских товарищей после раскрытия кружка заточили в Петропавловскую крепость, а самого Новоселицкого, не допустив в Петербург, отправили вскоре в Эстонию. Таким образом, в Тарту он приехал будучи вооруженным передовыми идеями революционной демократии, идеями, пропагандируемыми на страницах «Колокола» и «Современника». Можно с полным основанием предположить, что попав в университетский городок, вернувшись в студенческую среду, Ново-

селицкий не оказался в стороне от общественно-политической деятельности. Можно предположить также, что он стал одним из преемников Манассеина в получении, распространении среди молодежи герценовских изданий.

Помимо Тищинского, Лебедева, Манассеина, Новоселицкого, пропагандистами демократического мировоззрения являлись в Эстонии и некоторые другие русские студенты, в разное время поддерживавшие связи с Герценом и Огарёвым. В 1866 году, находясь под надзором полиции, в Тартуском университете завершал свое образование Александр Стуарт, привлекавшийся незадолго до того по делу о гейдельбергской читальне. В течение ряда лет он встречался и вплоть до переезда в Тарту переписывался с Герценом[133]. Через него Огарёв передавал в свое время директивные указания Центральному комитету общества «Земля и Воля»[134]. «Сильное подозрение» в распространении нелегальной литературы и привозе ее из Женевы внушал жандармским чинам тартуский студент Федор Бирюков[135]. В Аренсбурге (ныне — г. Кингисепп) «под строгим надзором полиции с воспрещением ему всяких отлучек из этого города»[136] жил более года бывший студент Петербургской медико-хирургической академии — активный участник студенческих волнений Николай Липкин. В Прибалтику, после пребывания в Петропавловской крепости, сослан был студент той же академии, тартуский уроженец Владимир Серебренников[137]. И тот, и другой были хорошо знакомы с бесцензурной литературой, в особенности с изданиями Вольной русской типографии. В октябре 1872 года в Таллине поселился публицист Николай Альбертини, поддерживавший в разное время крепкие связи с Некрасовым, Добролюбовым, Курочкиным и Писемским, неоднократно встречавшийся с Герценом и Огарёвым. За несколько лет до переезда в Эстонию, специально учрежденной комиссией, он был отнесен к числу тех «тайных деятелей, которые, под фирмою литературных занятий, были руководителями разных социалистических изданий, переводов, учебников для народа и иных книг в видах распространения социалистического учения . . ., участниками в составлении разных обществ, читален, артелей, бесплатных школ и иных учреждений, имевших целью, под видом благотворения, соединять и объединять в социалистическом и противоправительственном направлении мысли молодого поколения»[138]. Альбертини привлекался по делу о гейдельбергской читальне и во время ареста у него были найдены «дружественные письма от Герцена и записка от Маццини к Герцену»[139]. В одном из годовых отчетов шефа жандармов он был назван среди тех, кто, посещая Герцена, «участвовал более или менее в преступных его намерениях»[140].

Мы назвали далеко не всех передовых русских людей 60-х годов, принесших с собой в Эстонию благородные стремления революционной интеллигенции. Мы охарактеризовали лишь некоторых известных нам деятелей, в той или иной степени пропагандировавших там вольную русскую печать, демократические идеи Герцена и Огарёва. Дальнейшее изучение этого вопроса приведет, разумеется, к открытию новых, остающихся пока в безвестности имен, воскресит затерявшиеся в архивах почти столетней давности исторические факты. Вполне возможно, что дальнейшие архивные поиски дадут нам, например, документальный материал о связях с «Колоколом» жившего некоторое время в Таллине петербургского студента М. Стравинского — автора нашумевшего в свое время корреспонденции о нищете эстонских крестьян, вместо хлеба питавшихся соломой; о мародерстве остзейского дворянства, в безурожайном 1867 году совершившего очередное ограбление угнетенного народа. Эта статья вызвала яростное негодование местных помещиков и ее автор, по ходатайству эстляндского губернатора, был предан за «клевету» суду [141].

Но и те материалы, которыми мы располагаем сейчас, уже дают основание утверждать, что вольная русская печать в значительном количестве проникала в города Эстонии. А проникая туда, играла немалую роль в формировании мировоззрения лучшей части местной интеллигенции и студенческой молодежи. Это подтверждается и фактами, которые приводились нами выше, и сохранившимися документами о состоянии умов в прибалтийских губерниях.

Такие документы содержатся, в частности, в архивном деле «О драматическом театральном представлении, данном студентами Дерптского университета, нарушившем уважение против священной особы государя императора и о сложении с профессора Руммеля звания проректора». Это дело заведено было в 1867 году по донесению попечителя учебного округа графа Кайзерлинга, уведомившего министра просвещения о «случаях неуместных и неприличных шуток, а также более или менее скрытых намёков, в образе выражения и жестах, на личности, коим студенты обязаны оказывать уважение»[142].

Что побудило графа забить тревогу?

Незадолго до получения в Петербурге донесения Кайзерлинга, группа тартуских студентов, не испросив разрешения полиции, собралась на подготовленное ею драматическое представление[143]. И в тот ноябрьский вечер один из студентов прочел со сцены стихи, высмеивавшие царскую особу [144]. О «происшествии» стало известно ректору, попечителю округа, чинам жандармерии, полицейским органам. Из Тарту по вышестоящим

инстанциям полетели пространные донесения. В самом же университете началось тщательное расследование. Однако оно дало результаты, которые поставили следователей в затруднительное положение: в списке виновных оказались не один или двое, а восемь десятков студентов! И, боясь «вредной гласности», начальство вынуждено было ограничиться заточением «виновных» в карцер.

Так завершился один из эпизодов тартуского студенческого движения, направляемого в разное время связанными с Герценом представителями русской революционной молодежи. Не приходится сомневаться в том, что некоторые из высмеивавших царя восьмидесяти студентов были знакомы с вольной русской печатью. Напомним, что именно в то время — в 1866—1869 гг. — «волновавшие умы» заграничные издания ходили по Прибалтике в большом количестве.

Революционная агитация Герцена, наряду с революционно-демократической пропагандой Чернышевского и Добролюбова, сыграла также выдающуюся роль в идейном и политическом развитии эстонского освободительного движения. Сам Фр. Р. Крейцвальд неоднократно указывал на свои связи с кружком таллинской интеллигенции, знакомым, в свою очередь, с изданиями Вольной русской типографии. О суровой критике «Колоколом» остзейских «реформ» не могли не знать собравшиеся в 1863 году в Петербурге и объединенные в группу «петербургских патриотов» передовые деятели эстонского общественно-демократического движения. С Герценом и Огарёвым их связывали ненависть к остзейскому дворянству, стремление к ликвидации в эстонской деревне феодально-крепостнических пережитков.

Борьба против феодальных порядков в прибалтийской деревне принимала тогда всё новые формы, новое, более глубокое содержание. В Эстонии создавалась, в частности, своя бесцензурная литература, выражавшая думы и чаяния крестьянских масс, перекликавшаяся с теми идеями, которые распространял и отстаивал герценовский «Колокол».

12 февраля 1867 года лифляндский жандармский штаб-офицер вручил прибалтийскому генерал-губернатору секретное донесение. В нем сообщалось о распространявшихся в Тартуском и Выруском уездах «пасквилях и угрозах». Встревоженный их «бунтарским» содержанием, блюститель «порядка» писал:

«В уездах Дерптском и Верроском в последнее время начали появляться пасквили, угрозы и воззвания в стихах на эстонском языке, похожие по складу и тенденциям своим на поэму, найденную в октябре месяце прошлого года в окрестности города

Феллина (Вильянди. — А. Л.). Первое сочинение подобного рода, наиболее распространенное, явилось близ Дерпта в приходе Камби и относится преимущественно к помещикам: барону Майделю, Кнорингу, Сиверсу, равно к местному пастору Гассельблату... Вкратце и в общих чертах напоминаются эстам страдания семи веков, причиненные им немецкими пришельцами-разбойниками, и выражается уверенность, что головы их скоро будут отрублены и что веревки для вешания заготовляются для них»[145].

Обличительное произведение стало настолько популярным, что у анонимного автора быстро нашлись последователи. В Пыльва и Отепя появились вскоре стихи, басни и песни, написанные на ту же тему, что и дерптское воззвание. Эти произведения стали достоянием крестьянской массы и бедняки отваживались петь «возмутительные» сатирические куплеты в корчмах даже в присутствии случайно проезжавших помещиков.

Бесцензурная литература, направленная против остзейского дворянства, разрослась в Эстонии до огромных размеров. И подобно тому, как неуловимы были распространявшиеся по России выпуски герценовского «Колокола», так невозможно было определить источник эстонской стихотворной агитации. Одному из баронов таинственным образом, в запечатанных конвертах, доставлялись все новые написанные от руки обличительные произведения, автор которых, по его предположениям, скрывался среди дворовых людей. Но, сообщая о беспокойстве прибалтийских помещиков, жандармский штаб-офицер вынужден был признать всю тщетность попыток обнаружить «неизвестных агитаторов». Свой рапорт он заключил настоятельным советом усугубить со стороны властей и помещиков надзор «за дальнейшими явлениями в народном быту». Подчеркивая первостепенную важность задержания «сочинителей», палач эстонских крестьян требовал учинить над ними самую беспощадную расправу.

... Мощно звучало в Прибалтике вольное русское слово Герцена и Огарёва — слово друзей и защитников эстонских крестьян, непримиримых врагов остзейского дворянства. Оно находило там во многих сердцах самый горячий отклик.

В конце 80 — начале 90-х годов прошлого века, так же как и в предшествовавшие десятилетия, произведения великих русских демократов будили мысль тартуской молодежи. В ту пору «русское студенчество в Дерпте, — вспоминал современник, — ... состояло почти исключительно из так называемых «беспокойных элементов»... Большинство состояло из уволенных откуда-нибудь за беспорядки... Дерптская ссылка не изменяла, конечно, ни их мыслей, ни направления их симпатий...»[146] И за

бесконечным «стаканом чая» они горячо обсуждали рефераты, посвященные общественно-политическим взглядам Герцена, его суровой критике капиталистического Запада и Соединенных Штатов Америки.

В 1912 году почти все прибалтийские газеты в той или иной степени отметили 100-летие со дня рождения Александра Ивановича Герцена. Одним — остзейским публицистам и эстонским буржуазным журналистам — юбилейная дата понадобилась лишь как благовидный повод для ожесточенных нападок на русского демократа, для грубейшего искажения его мировоззрения. Противоположные цели преследовала прогрессивная печать. Тартуская газета «Окраина» посвятила Герцену почти два мартовских номера [147]. Эти небольшие газетные листки можно было найти у значительной части университетской молодежи, в том числе и у эстонских студентов. «Окраина» рассказывала им о жизни выдающегося представителя революционной России, о его кипучей деятельности и общественных идеалах. Вокруг герценовских номеров разгорались ожесточённые споры и лифляндский губернатор признал эти номера «возбуждающими в населении враждебное отношение к правительству». Редактора газеты подвергли тюремному заключению[148].

Но если «Окраине» удалось всё же выступить с популяризацией общественно-политической идеологии Герцена, то ряду других начинаний передовых слоев тартуской интеллигенции так и не суждено было свершиться. Те же «Окраины» известили своих читателей, что «предполагавшиеся на 8-го апреля (1912 г. — А. Л.) доклады в Обществе русских студентов о Герцене по независящим от общества обстоятельствам (подчеркнуто нами. — А. Л.) откладывались»[149]. Мы склонны, однако, предположить, что запрещенные к публичному чтению доклады были всё же оглашены, хотя и в более узком кругу революционно настроенной части тартуского студенчества.

Так, несмотря на жандармские и цензурные репрессии, вольное слово русского демократа продолжало служить великому делу освобождения народов России, а следовательно и эстонского народа, от самодержавного гнета.

«ЭСТОНЕЦ И ЕГО ГОСПОДИН»

Эта книга, исполненная большой обличительной силы и справедливой ненависти к прибалтийским баронам, явилась мужественным выступлением в защиту угнетенного эстонского крестьянства.

«История Эстонской ССР»

В ноябре 1861 года из Берлина в Ригу было доставлено несколько сот экземпляров книги «Эстонец и его господин». Из таможни вышедшее на немецком языке сочинение переслали местному цензору. Запретив ее перевод на русский язык, тот дал всё же согласие на распространение книги в немецком издании [1]. Так публицистический труд «Эстонец и его господин. Для объяснения экономического положения крестьян и вообще их состояния в Эстонии. Сочинение не эстонца, да и не его господина» попал в рижскую, а вслед за ней и в таллинскую книжные лавки. Анонимное произведение произвело ошеломляющее впечатление и спустя всего лишь несколько дней все экземпляры книги были распроданы.

Чем же объяснялся столь быстрый успех никому не известного сочинения? Что это была за книга? Кто являлся ее автором?

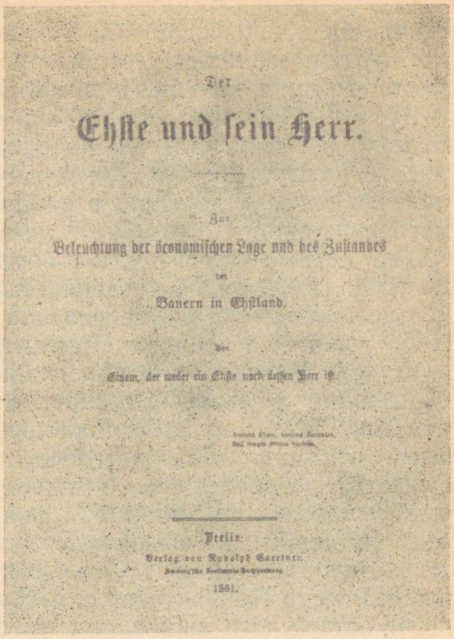
I. ПРАВДА ОБ ЭСТОНСКОМ КРЕСТЬЯНИНЕ

Потому наши избы приземисты,
Оттого наши кровли ветхие,
Что деревня в когтях помещика,
Что он гложет поля крестьянские...

Из эстонской народной песни.

Оговоримся сразу же: хотя книга и издана была на немецком языке, ряд обстоятельств (они станут ясны из последующего) позволяет с полной уверенностью утверждать, что ее написал русский публицист. Что же побудило его рассказать о тяжкой жизни эстонского крестьянина. Об этом мы узнаем из самого анонимного сочинения.

В июле 1858 года автор был свидетелем избиения в Таллине пришедших туда из Ании ходоков. «... Случайно им виденное наказание 60-ти крестьян домохозяев или кортомщиков, возмутительное для всякого человеческого чувства, произвело на него


Der
Ehste und sein Herr.
Zur
Beleuchtung der ökonomischen Lage und des Zustandes
der
Bauern in Ehstland.
Von
Einem, der weder ein Ehste noch dessen Herr ist.
Berlin:
Verlag von Rudolph Gaertner.
1861.

Немецкое издание книги «Эстонец и его господин», Берлин, 1861. Титульный лист.

такое впечатление, что он долго не мог ни о чем другом и думать. Страшная, представившаяся ему, картина преследовала его и днем и ночью, и он решился узнать подробнее судьбу народа, среди которого так долго жил, но познание которого было так решительно вне круга его занятий. Ему хотелось ознакомиться покороче с прошедшим этого народа, который, несмотря на то, что дал свое название целой области, кормил ее в качестве земледельца, оборонял в звании воина и доставлял ей все потребности и все удобства в качестве слуги и работника, однако все же жил в полном забвении, заброшенности, пренебрежении. Ему хотелось знать, зачем это, еще очень сильное, племя так совершенно отдано в руки касты, на волю 98 дворянских семейств, которые, считая весь этот народ за париев, живут, однако ж, трудами его прилежания?»[2]

Немногословным авторским признанием и исчерпываются сведения о тех обстоятельствах, которые привели к рождению замечательной книги. Отсутствие каких-либо дополнительных материалов не позволяет нам полностью восстановить историю создания этого публицистического произведения. Мы знаем лишь, что изучение экономического положения эстонского кре-

стьянства и написание книги отняли у ее автора свыше двух лет. Мы знаем также, что автору оказал в этом серьезную помощь его друг, живший в самой Эстляндской губернии.

Русский публицист стремился сказать горькую, страшную правду. Он сознавал, что правдивое слово вызовет гнев дворянского сословия; что против него ополчится то «малое число людей», которое держало в кабале подавлявшее большинство населения края. Но он не мог, не хотел молчать!

Уже первые главы книги говорили о прогрессивных общественно-политических и исторических взглядах автора. Решительно отметая господствовавшую в остзейской историографии точку зрения на прошлое Прибалтики, он опровергал тем самым фальсификаторские измышления о «героической эпохе» завоевания немцами Эстонии, о пресловутых родственных чувствах, якобы, связывавших крестьян с баронами — их «добрыми отцами», «благодетелями», наставниками». Автор, по существу, вступал в спор с махровым защитником средневековых рыцарских привилегий А. фон Рихтером, издавшим в 1860 году (незадолго до выхода «Эстонца и его господина») небезызвестную «Историю крестьянского сословия в присоединенных к России Прибалтийских губерниях». В то время как апологет остзейского дворянства А. фон Рихтер и вся реакционная прибалтийская пресса изображали угнетателей эстонского народа носителями благороднейших и гуманнейших идей, анонимный публицист справедливо считал их не более, как «потомками тех искателей счастья, которые в XII и XIII столетиях из Любека, Бремена и Гамбурга, позднее и из других стран Германии, также из Дании и Швеции, проникли в землю ливов, латышей и эстов, сначала хитростью, в качестве мирных купцов и монахов, а потом силою, как завоеватели и покорители . . .»[3]

Фактический материал «Хроник» позволил автору рассказать, как на протяжении столетий эстонский народ вел титаническую борьбу против своих поработителей, против апостолов в броне и шпорах, отнявших у него и независимость, и землю. Не благородными героями предстали в книге ливонские рыцари, а грабителями, обратившими многолюдную и цветущую страну в огнем и мечом опустошенную пустыню. И рядом с облаченными в боевые доспехи разбойниками читатель увидел жадных и лицемерных «святых отцов», наставлявших порабощенных людей быть смирными и покорными, исправно платить оброки и десятины, никогда не роптать на господ.

В конце 50-х — начале 60-х годов, когда создавалась книга «Эстонец и его господин», в остзейской историографии, с легкой руки обер-пастора Карла Готлиба Зонтага и тартуского профессора Фридриха Георга фон Бунге, бытовала фальсифи-

каторская концепция, в силу которой введение в Ливонии крепостного права относилось лишь к XV столетию. И Зоннтагу, и Бунге, и им подобным искажение исторической действительности понадобилось для реабилитации псов-рыцарей, принесших на самом деле эстонскому народу рабство еще в XIII веке. Лживые, ни на чем не основанные утверждения Зоннтага и Бунге были, разумеется, известны автору книги. Понимая всю их вздорность и тенденциозность, он заявлял: «Рыцари считали эстонцев своими купленными и крепостными рабами, поступали с ними бесчеловечнее и жестокосерднее, чем с собаками, по словам летописи. Они постановили законом, что «у крестьянина нет ничего своего: всяким имуществом и собственностью он владеет от имени его господина», и присвоили себе право присуждать крестьян в своих владениях «an hals und hand, an haut und haar» (т. е., присвоили себе безусловное право живота и смерти над ними)»[4].

Это правдивое заявление не было голословным и подкреплялось многими последующими страницами книги. Автором сводилась на нет извлеченная А. фон Рихтером из реакционнейших «Хроник» легенда о мифическом героизме епископа Альберта. Немного строк уделено в книге «духовному отцу». Но даже то, что сказано о нем в «Эстонце и его господине», характеризует предводителя немецких завоевателей, как грабителя, а не благодетеля, эстонского народа.

Не идеализирован в книге также и магистр ливонского ордена Вальтер Плеттенберг, которым, по утверждению редактируемого Бунге журнала «Инланд», должен был гордиться каждый истинный остзеец. «Реформаторская» деятельность гермейстера, заявлял русский публицист, сводилась лишь к дальнейшему закабалению ограбленного крестьянства, к усилению, и без того не знавшей предела, рыцарской власти. Правда, писал он, при Плеттенберге быстро насаждалось лютеранское учение. Но разве могло это изменить чудовищное положение народных масс?! «В перемене веры, — сообщала анонимная книга, — крестьянин следовал приказанию своего господина и повелителя: ему было совершенно все равно, верить ли в папу, или в Лютера, тем более, что он ничего не знал о вере . . .»[5]

Мы помним гневные строки из бестужевской «Поездки в Ревель», клеймившие вечные праздники в городах и замках, разнузданные рыцарские турниры, цинизм утопавших в роскоши баронов. То же чувство, которое водило пером декабриста, пронизывало и главы «Эстонца и его господина», освещавшие прошлое угнетенного народа. Характеризуя моральный облик «культуртрегеров» и прибегая для этого к обличительному фактическому материалу «Хроники» Руссова, автор особенное вни-

мание обратил на те страницы, которые заинтересовали в свое время и Александра Бестужева. «Собачья травля и охота, игра в кости, да забавы, переезды из одной гостиницы в другую были ежедневным занятием рыцарей, каноников и дворянства, — цитировал он историографа. — Нравственная испорченность дошла до самой высокой степени: кто лучше всех мог пить, развратничать, рубиться, колоть, божиться, тот был и лучший человек, и почетнейший гость»[6].

Поддерживая точку зрения прогрессивных публицистов Г. Меркеля и И. Хр. Петри, автор «Эстонца и его господина» не признавал приписываемой чужеземным захватчикам культуртрегерской роли в развитии Прибалтики. Завоеватели, утверждал он, сделали все возможное, чтобы лишить эстонский народ его самобытной культуры, превратить эстонца в источник своего обогащения. Что, кроме народной ненависти, могло ожидать угнетателей на прибалтийской земле! «Эстонцы, — заявлял автор, — питают вражду и ненависть к своим господам..., и не пропускают даром никакого случая, где могут заявить свое отвращение...»[7] В книге говорилось и о знаменитом восстании 1343—1345 годов, и о выступлении эстонских крестьян в 1560 году — о многовековой борьбе народа за свободу и независимость.

Опустошенной войной, голодом и язвою вступила Эстония в состав Российского государства. И с той поры ей не угрожали более иноземные вторжения. Она обрела условия для своего экономического развития, а судьба эстонского народа стала неотрывной от судьбы его великого соседа и друга — русского народа. Это сознавал автор книги. Но он видел также, что прибалтийское дворянство, став верным слугой царского трона, сумело сохранить за собой все старые права и рыцарские привилегии, по-прежнему безраздельно распоряжалось своими рабами, увеличивало крестьянские оброки и повинности, подвергало крестьян телесным наказаниям.

Резкую отповедь вызвали у автора утверждения либерального историка Отто фон Рутенберга о патриархальном отношении помещиков к эстонским крестьянам в XVIII в. Можно ли приходить, восклицал он, к подобным абсурдным выводам, располагая такими обличительными трудами, как «Латыши, особливо в Ливонии в исходе философского столетия» Г. Меркеля и «Эстляндия и эстонцы» И. Хр. Петри! Да разве неизвестен был Рутенбергу владелец поместья Мегель-Киммель, гнусными жестокостями поражавший даже самих остзейских дворян! А ведь киммелей в Прибалтике было немало.

«Эстонец и его господин» отвергал стремление Рутенберга представить прибалтийское дворянство в «просветленных лучах

образованности XVIII столетия». Под влиянием какой это культуры, с возмущением спрашивал автор, бароны пришли в свое время к единодушному убеждению, что «теперешнее крепостное состояние крестьян имеет основание не в варварстве прежних времен, а в природном духе народа, и, по известным ужасным последствиям его своевольства, необходимо»?[8] Это кощунственное заявление сделано было на съезде дворян прибалтийских губерний в 1765 году — в том самом XVIII столетии, когда, по убеждению Отто фон Рутенберга, помещики питали к крестьянам отеческие чувства!

Русский публицист обнажил всю мерзость хваленого «особого порядка» остзейских губерний, показал, к чему свелись предпринятые в Эстонии крестьянские «реформы». Первый же параграф закона 1804 года, утверждала анонимная книга, предусматривал о г р а н и ч е н и е, а не л и к в и д а ц и ю, помещичьего произвола. Этот дозволенный, но формально ограниченный, произвол подтверждался каждой строкой крестьянского Положения. С помощью недоступной пониманию неграмотного крестьянина законодательной казуистики, бароны предусмотрели множество лазеек для разнузданного грабежа «облагодетельствованных» ими людей. Они дали крестьянам право на владение движимым имуществом, нормировали его повинности, но путем многочисленных оговорок превратили эти «блага» в плачевную фикцию. «За пользование землею, — писал автор «Эстонца и его господина», — крестьянин работает, но не видно из Устава, за что он дает пряжу и молотит, да, сверх того, платит девятую часть всего своего дохода. А господин может обратить эти взносы сельскими произведениями тоже в рабочие дни. Если крестьянин не заплатит сделанного у господина займа в хлебе или в деньгах, ему надобно опять работать... Работой же оплачивает крестьянин свои оброчные взносы хлебом, если в них задолжает... Сколько же времени и силы останется тогда у крестьян, чтобы справиться с своим собственным хозяйством?»[9]

Закон 1804 года не оградил эстонское крестьянство от телесного наказания и это глубоко возмущало автора книги. Помещик, заявлял он, сохранил за собой постыдное право подвергать раба тридцати палочным ударам, а суд, целиком составленный из угодных барону людей, мог присудить безвинного человека к еще более суровой каре.

Справедливость той беспощадной оценки, которая дана была публицистом крестьянскому закону, подтверждается многими документальными свидетельствами. В 1805 г. из Прибалтики в Петербург поступали гневные письма А. Арсеньева, взглянувшего, по словам современника, на прибалтийский край не

сквозь очки остзейской фабрикации, а глазами честного русского человека. Возглавляя рижскую ревизионную комиссию по обмеру и оценке крестьянских земель, по определению размера крестьянских повинностей, Арсеньев имел возможность познакомиться с положением латышского и эстонского народов. То, что он увидел в крестьянских избах, говорило о рабской доле страждущих людей, об их бесправной нищете, о кошмарных злодеяниях остзейского дворянства. Донесения Арсеньева обличили, в частности, помещика Ганенфельда, с иезуитской изощренностью издевавшегося над зависимыми от него людьми. Русский чиновник писал о крестьянах, доведенных до самоубийства и засеченных этим палачом до смерти; о несчастных людях, забитых в кандалы и в закованном виде работавших на господской мельнице[10].

Об этом не мог не знать автор анонимной книги. Он располагал неопровержимыми материалами, подтверждавшими, что закон 1804 года не улучшил положения крестьян. Недовольные, писал он, целыми приходами возмущались против господ и «воинская помощь бывала необходима»[11]. Это утверждение также основывалось на исторических фактах.

В 1805 году в один только Дерптский уезд для подавления крестьянского движения прибыл целый пехотный полк. В том же году от ночной молотьбы отказались батраки Ярваского уезда. И вновь против непокорных бросили солдат, штыками и прикладами принудивших крестьян возобновить работу. Однако, вслед за имениями Сейдла, Карину и Орина, Ярваского уезда, против изнуряющей ночной молотьбы выступили уже крестьяне Вирумаа, крупное восстание вспыхнуло в Харьюмаа[12].

Беспощадные репрессии не могли сломить стихийное движение. Классовая борьба в эстонской деревне все более разгоралась. В июле 1811 года эстляндский гражданский губернатор барон Икскуль доносил министру полиции о «возмущении» крестьян мызы Рупль, Вирляндского уезда, «самовольно переставших производить законно должную работу, принося многие жалобы на помещика своего в возложении на них новых тягостей»[13]. Бунт принял настолько угрожающий характер, что губернатор вынужден был выехать на мызу Рупль и удовлетворить некоторые крестьянские требования.

Волнения, о которых напоминал автор книги, и явились одной из причин, побудивших эстляндских помещиков подумать о новой «реформе». 23 мая 1816 года составленный ими закон был утвержден Александром I.

Лучшие люди России, зная правду о рабской жизни эстонских крестьян, встретили на первых порах эту весть с чувством

искренней радости. Новый закон, предоставивший крестьянам свободу, казался им гуманнейшим актом. Так оценивали сперва «реформу» и некоторые декабристы. Но время убедило многих в том, что за дарованной эстонскому крестьянству «свободой» скрывалось, по существу, то же унизительное рабство. Об этом без устали твердили великие друзья и защитники эстонского народа Герцен и Огарёв. Об этом писал «Современник» Некрасова и Чернышевского. И эту же позицию занял автор книги «Эстонец и его господин», без сомнения, испытавший на себе воздействие русской революционно-демократической мысли, идей Чернышевского и Герцена. «Годы свободы, более 40 лет, — утверждал он, — не оказали до сих пор никакого благотворного влияния на благосостояние освобожденных, да и не сильны были сделать это, потому что за помещиками оставлены все прежние господские права над ними, и вся их свобода состояла только в том, что они уже не могли продаваться по-прежнему без земли и по одиночке. Но право продажи их вместе с землей господа удержали на самом деле»[14].

Если до реформы помещик вынужден был принимать меры для предотвращения голодной смерти крестьян (ему пришлось бы тогда покупать новых рабов!), то теперь он был уже избавлен от этой заботы. Помещик знал, что «свободный» крестьянин, лишенный земли, стремился бы получить ее в аренду на любых, диктуемых бароном, условиях. А коли не было недостатка в рабочих руках, то и незачем было щадить крестьянина.

Так думало подавлявшее большинство остзейских дворян, и против них обратил свою страстную и глубокую книгу анонимный автор. Он пришел к справедливому заключению, что после «реформы» 1816 года зависимость крестьян от помещиков нисколько не уменьшилась. Получив свободу, но не имея никаких средств к существованию, эстонцы по-прежнему оставались в средневековой кабале. Не свободу даровали им, а лишь внешний ее облик; не крепостное право отменяла «реформа», а слова, выражавшие это понятие.

Сколько искренней любви к эстонским труженикам вложил автор в строки, посвященные тяжелой участи обманутого народа! Закон 1816 года, писал он, предоставил крестьянину право перехода от одного помещика к другому. Но это «преимущество», по существу, не имело никакого значения, так как в любой баронской усадьбе условия каторжного труда были одинаково бесчеловечны. Куда бы ни подался крестьянин, его ожидали все те же немыслимые барщинные повинности.

Барон, сообщал русский публицист, мог в любую минуту отказать крестьянину в аренде земельного участка. Ему предоставлено было право по собственному произволу увеличивать

повинности. И если несчастный труженик выражал при этом свое неудовольствие, он, как отмечал еще ранее посетивший Эстонию гидрограф П. В. Козакевич, лишался своего жалкого крова. Возроптавшего крестьянина изгоняли даже с жалкого клочка земли, который своим кровавым потом увлажняли и его отец, и дед. Вместе с женою и детьми он должен был искать другое, столь же неустойчивое, пристанище. Эти-то обстоятельства, говорилось в книге, и вынуждали его соглашаться на всякие требования, оставаться на положении раба остзейского помещика без всякого права жалобы на него. «Кому известно, как тесно связаны родством, а еще больше общею выгодою, все дворянские семейства в Эстонии, — восклицал русский публицист, — тот оценит по справедливости великость благодеяния, бывшего последствием такого права перехода для крестьянина. И такое-то неверное, безотрадное, отчаянное положение крестьян причисляют еще к дарованным им правам и благодеяниям!»[15]

Предоставленные в 1816 году эстонским крестьянам «блага» имели еще больше ограничений, чем в законе 1804 года. К новым «правам» относилось, в частности, высмеянное автором книги разрешение на добровольное заключение договоров о службе, аренде и других повинностях; на право располагать своей личностью и даже приобретать недвижимую собственность. Запрещалось же крестьянину переезжать в города, поступать в услужение к городским жителям, арендовать участки в городских местах, приобретать в городах недвижимую собственность, заключать договора, не связанные с сельским хозяйством и не имевшие отношения к Эстонии. Трудно было придумать больше оговорок, чтобы удержать крестьянина в руках все того же остзейского дворянина!

Идеологи прибалтийского дворянства стремились представить новый закон, как величайшую реформу в области крестьянского самоуправления. Это также являлось гнуснейшим лицемерием! Какое значение могло иметь пресловутое право общин и волостей выбирать себе старост, спрашивал автор, если их кандидатуры могли отклоняться и должны были утверждаться бароном? Что значило право держать деревенские сходки, если на их созыв требовалось обязательное согласие помещика? А разве мог крестьянин воспользоваться предоставленным ему правом жалобы губернатору, когда и на то надо было испросить разрешение господина?

Существенные изменения не произошли и в судебных инстанциях. Они, как и ранее, целиком зависели от помещика, ибо на любую должность губернского «правосудия» назначались лица, угодные местному дворянству. В прежнем положении остава-



Нищие эстонцы.

Рисунок с натуры худ. О. Гофмана, 1902.

лись и полицейская власть, и телесное наказание крестьянина. По новому закону помещик уже не мог, правда, дать ему свыше 15 палок. Но, распоряжаясь волостной и земской управами, а также подчиненным ему гакенрихтером, он без особого труда удваивал и даже утраивал это наказание. А, чтобы избавить себя от нареканий, сообщалось в книге, дворянство провозгласило позорнейший лозунг: «Без розог с крестьянином ничего не поделаешь».

Приводя обширный статистический материал, охарактеризовавший положение «освобожденных» от крепостного права земледельцев[16], автор не пощадил остзейских помещиков. Он рассказал о множестве грязных и позорнейших махинаций, с помощью которых бароны грабили и обманывали вечно голодных, всегда нищих крестьян. «... Найдется и такой господин, — говорилось в книге, — который заставляет крестьян давать ему сена 100 фунтами больше, чем следует, под тем предлогом, что при возке господского сена в сараи едят его крестьянские лошади. А другой вычитает у крестьян из отбываемых на него дней то время, какое употребляют их работники на поимку и запряжку своих лошадей после завтрака или обеда. Третий

требует оброчных овец, вместо осени, еще весною, и тем самым лишает крестьян ягнят . . .»[17]

Повинности были так велики, что даже потеряв все свое скудное хозяйство, крестьянин, подчас, не мог удовлетворить требования помещика. И труженик вынужден был питаться хлебом, больше похожим на торф, и горевшим, как торф, потому что в нем наполовину было мякины. А в весенние месяцы вся его пища ограничивалась похлебкой из горячей воды, в которую подмешивали пригоршню ржаной муки, бросали немного соли и собранный на полях, уже полусгнивший, картофель.

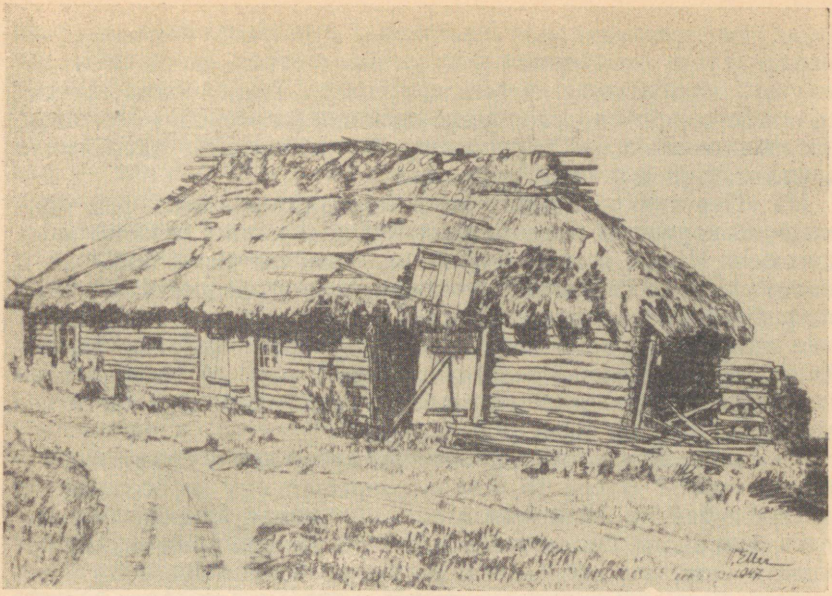
Об этом нам сообщает книга «Эстонец и его господин». В то время, когда таллинская лавка распродавала сотни экземпляров публицистического произведения, великий русский демократ Н. Г. Чернышевский рассказывал о том же в нелегальной прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». С горечью напоминал он соотечественникам о страшной нужде эстонских крестьян.

Но может быть иной стала жизнь угнетенного народа после эстляндского Положения 1856 года? Книга «Эстонец и его господин» давала на этот вопрос отрицательный ответ. Автор не ошибался в содержании и результатах новой «реформы». Ему был весьма хорошо знаком закон, отличавшийся, по глубокому убеждению анонимного публициста, «только в немногом и неглавном от Устава 1816 года»[18].

Изучая закон 1856 года, автор книги знал, по всей вероятности, о резко критическом отношении к «реформе» герценовского «Колокола». Не исключена возможность, что выступления вольного русского журнала помогли ему в справедливой оценке очередной законодательной аферы. «Многие из постановлений 1856 года, — писал он, — имеют такой смысл, как будто бы эстонские помещики все еще господа тех крестьян, которые еще в 1816 году получили свободу, которым 40 лет назад дарованы гражданские права, которые составляют особенное сословие, освобожденное от крепостной зависимости помещиков»[19].

Новый закон заключал в себе, например, подробнейшие правила найма помещиком рабочей силы. Дворяне, заявлял автор, оговорили себе в них огромные преимущества. За крестьянами же сохранялась лишь одна возможность — обращаться с жалобой в суд, состоявший из лиц дворянского звания и защищавший дворянские интересы.

В новом законе можно было найти статью о каком-либо не существовавшем ранее крестьянском праве. Однако, утверждал автор, в этом же законе обязательно существовало и два дру-



Крестьянская изба времен крепостного права. Село Паэ, прихода Юуру. Рисунок В. Еллера, 1947. Таллинский городской музей.

гих параграфа, которые тотчас же урезывали или вовсе уничтожали мизерную привилегию.

Как и в предыдущих главах, автор и в данном случае не ограничивался голословными обличениями. Статью за статьей анализируя закон, он показывал, насколько преступны и бесчеловечны были творцы «реформы», сколько цинизма и фальши таилось в каждом ее параграфе.

Вот один из приведенных в книге примеров. Автор излагает статью закона, обеспечившую за крестьянским сословием «единожды предоставленную ему часть помещичьих земель в неотъемлемое пользование, в каком бы то ни было обработанном виде — в пашнях, лугах, выгонах и садах, насколько они принадлежат к крестьянским усадьбам и находились во владении крестьян 9 июня 1846 года». И тут же он указывает на параграфы, которые сводили это положение к нулю: распоряжаться землею мог по-прежнему только помещик; ему же предоставлялось право отрезывать ту или иную часть крестьянских участков; он же мог менять господскую землю (разумеется, худ-

шую) на крестьянскую (бесспорно, лучшую); помещику же передавалась отнимаемая у крестьян шестая часть всех наилучше обработанных пашен и лугов... Такова была пресловутая готовность к самопожертвованию, о которой, не уставая, трезвонило «благородное» рыцарство и которую заклеймила книга «Эстонец и его господин».

Из «Перечня рыцарских поместьев» автор извлек ряд данных, позволивших ему установить количество безземельных крестьян. Новый закон, заявлял он, увеличит число бобылей, и половина всего населения Эстонии не будет уже иметь ни земли, ни работы. «Господа могут быть вполне довольны тем, — заявлял автор, — что эти люди (особливо если только четвертую часть их числа принять за способных к работе) отбывают на них ежегодно до миллиона рабочих дней, не требуя за то ничего»[20].

Где же было искать ограбленному крестьянину средства к существованию? Закон 1816 года запрещал ему переселяться в другие губернии. И, в этом отношении, новая «реформа» являлась, как будто, шагом вперед: она разрешала крестьянину покидать свою волость. Но это возможно было лишь с согласия земледельца, при условии если переселение не превышало пяти процентов числа населения волости, после обращения с ходатайством к гражданскому губернатору и даже к самому царю, при наличии на каждую душу переселявшихся восьмидесятирублевого имущества и т. д. и т. п. «Ограниченное так дозволение, — справедливо указывал автор книги, — наверное равняется во многих случаях запрещению»[21].

Остзейское дворянство сохранило за собой право распоряжаться подавлявшим большинством населения Эстонии. Утратив средневековую привилегию предавать раба смертной казни, оно сумело возместить даже эту потерю, предусмотрев в законе множество других иезуитских наказаний. Ни в одном ином законодательстве, говорилось в книге, заимодавцу не давалась такая чудовищная сила, как в Эстонии. Помещик мог заточить неспособного к уплате долга крестьянина на два года в темницу, используя его подобно средневековому рабу. Закон обязывал должника трудиться на своего господина, получая от того за каторжную работу всего лишь пять копеек в день, самую плохую пищу и место для ночлега. Ни в чем сплошь да рядом не повинный «свободный» крестьянин терял даже те крохи «воли», которую предоставляла ему новая «реформа». Его, как рабочее животное, сдавали подрядчику, отправляли на фабрики, им распоряжались точно так же, как и в феодальные времена.

В книге сообщалось и о многих других средневековых при-

вилегиях прибалтийского дворянства: о постыдном праве волости (следовательно, помещика) опротестовывать брак неимущего крестьянина; о запрете крестьянину продавать сено, солому и даже камни со своего двора без резрешения помещика. «Так поступали господа со своими рабами, — заявлял автор, — так поступают они теперь со свободными крестьянами, и так же будут поступать и с арендаторами . . .»[22]

Крестьянин понимал, что от царившего в эстонской деревне разнузданного помещичьего произвола у него, как и ранее, не было защиты. Он хорошо знал, говорилось в книге, сколько труда, времени и денег надо было ему затратить для безуспешного доказательства на суде несправедливости помещика и гакенрихтера, волостной и сельской управы. Мог ли не умевший ни читать, ни писать крестьянин отстоять правду перед судом, состоявшим из одних помещиков — родных, соседей и друзей его противника, перед людьми, которые ненавидели эстонский народ!

А чего стоили казуистические примечания к узаконенному праву подачи самой жалобы! Крестьянина предупреждали, что в том случае, если она будет признана неосновательной, его постигнет суровое наказание. Неграмотному крестьянину ставилось непременное условие, чтобы жалоба излагалась на эстонском языке и скреплялась личной подписью просителя. Он не мог рассчитывать и на содействие адвоката, ибо тот не желал портить отношения со своими клиентами-дворянами.

Критика, которой были подвергнуты прибалтийские помещики и драконовские крестьянские законы, не распространялась в книге на самодержавную власть. Обличая остзейских дворян, автор склонен был видеть в них единственных угнетателей эстонского народа. Российские самодержцы, взявшие баронов под свое покровительство, не рассматривались им, как враги народных масс. Поэтому и закрепление Петром I дворянских привилегий объяснялось в книге отсутствием, будо бы, у царя точных сведений об их характере и размерах. Также ошибочно оценивалось и отношение к Прибалтике Екатерины II, реформы которой на самом деле отвечали интересам только лишь помещиков и купцов. И в этом проявилась ограниченность мировоззрения автора. Ополчившись против царского окружения из прибалтийских помещиков, он не сумел разглядеть за спиной остзейцев их верховного покровителя — российского императора.

Автор не увидел также истинных путей, идя по которым можно было бы избавить Эстонию от пережитков феодального рабства. Этим и объясняется его противоречивая оценка событий, связанных с войной в Махтра. По мнению автора они

были, с одной стороны, — «маловажными»[23], но с другой — заставившими дворянство «решиться на допущение некоторых перемен и дополнений в изданном Уставе», о чем оно «сперва не хотело и думать»[24].

С первых же строк книги автор показал себя страстным защитником угнетенного крестьянства. Однако адресатом его публицистического произведения был не эстонский народ. Он обращался к тем, кого беспощадно бичевал и от кого, заблуждаясь, ожидал все же разумного решения крестьянского вопроса — к прибалтийскому дворянству. Говоря о стремлении отчаявшихся бедняков покинуть родные края и в поисках счастья переселиться в другие, «богатые», места России, автор апеллировал к помещикам: «Теперь, уже как событие совершающееся, переселение эстонцев не вразумит ли, наконец, дворян на счет невыносимости положения, предоставленного крестьянам Уставом 1856 года?»[25]

На этот вопрос автор ожидал ответных действий. И этим вопросом должна была, по замыслу, завершиться книга. Но, уже к концу работы, внимание публициста привлекла опубликованная в «Ревельских ведомостях» статья. Она была написана эстонцем и отражала то тяжелое положение, в котором находились его соотечественники. «Никто не может отрицать у эстонцев, — писал неведомый корреспондент, — способности к образованию, нередко даже охоты учиться. Но, несмотря на эту способность к образованию, немного делается для того, чтобы извлечь их из невежества . . .»[26]

Приведя статью целиком в своей книге, автор «Эстонца и его господина» в лаконичных комментариях расширил содержание газетной статьи, придав ей более глубокое, более верное социальное звучание. Касаясь, например, тех строк письма, где речь шла о неграмотном эстонском крестьянине, знакомом лишь с земледельческим трудом, публицист добавлял: «По мнению большинства господ, эстонскому крестьянину нечего и смыслить больше: им нужны способные работники, безответные рабочие орудия, у которых нет собственной воли. Грамотный крестьянин будет заносчив и неуступчив; он рассуждает, перечит и уж не будет так послушен, как бы хотелось это господину»[27].

Появление в «Ревельских ведомостях» этой статьи побудило автора книги подробнее остановиться на состоянии просвещения. Он привел ряд данных, свидетельствовавших о незначительном числе крестьянских школ; о мизерном количестве обучавшихся в них детей; о печальном состоянии учительской семинарии. При этом, автор не переоценил интеллектуальный уровень и самого остзейского дворянства.

Таково содержание книги неизвестного русского публициста, напечатанной в 1861 году в типографии берлинского книгопродавца Рудольфа Гартнера.

II. ДРУЗЬЯ И ВРАГИ НЕИЗВЕСТНОГО ПУБЛИЦИСТА

Небольшая книжка «Эстонец и его господин» волнует город и деревню...

А. Нейс

Публицистическое произведение «Эстонец и его господин» произвело впечатление, равносильное взрыву бомбы. Обстановка особенно накалилась, когда таллинская газета в краткой рецензии сообщила о том, что книга, в сущности, не противоречила истине. «Под истиной, — говорилось в статье, — мы понимаем ничто иное, как печальное состояние наших крестьян, обусловленное их рабством в течение долгих столетий крепостного права»[28].

Это признание привело в еще большее неистовство баронов и пасторов, выступивших против анонимного автора. Остзейские газеты полны были ругательных отзывов о книге. Одни пытались ее просто-напросто высмеять, другие стремились отыграться на допущенных, якобы, агрономических погрешностях, третьи обвиняли «неизвестного сочинителя» в искажении действительности. Не останавливаясь на этой длительной дискуссии, мы укажем лишь на некоторые образчики многочисленных статей, которые появились тогда в прибалтийской прессе.

Некий «объективный» обозреватель готов был согласиться с неопровержимостью огромного успеха книги. Ее, писал он, действительно, чрезвычайно сложно достать. Более того, она даже вызвала у многих удовлетворение. Да, писал неизвестный рецензент, у эстонца на самом деле тяжелая участь и его состояние должно быть изменено. Но, заключал автор, нисколько не смущаясь при этом отсутствием логической последовательности, книга «Эстонец и его господин» создает... искаженное представление о тех благах, которые получило свободное крестьянство.

В другой статье также не оспаривалась необходимость изменения условий жизни эстонского крестьянина. Автор милостиво соглашался с тем, что в новом законе были и недостатки. Однако, вопрошал он с фальшивой наивностью, где существует создание рук человеческих, которое было бы совершенно? И вот, именно поэтому книга «Эстонец и его господин»... «тенден-

циозна», «лжива», «является по заказу совершённой враждебной вылазкой» и т. д., и т. п.

К такому же заключению пришел и автор третьей статьи. Перещеголяв своих коллег, он с беспримерным цинизмом назвал истязание ходоков из Ании... спасительным подвигом остзейского дворянства! «К несчастью для автора этого возражения, — сообщал о горе-критике его современник, — здешней публике еще слишком хорошо памятен 1858 год...»[29]

Но передовые люди России по достоинству оценили обличительное произведение. «Небольшая книжка «Эстонец и его господин» волнует город и деревню..., — писал в январе 1862 года Фр. Р. Крейцвальду издатель эстонских народных песен А. Нейс. — Наверно, при этом вы думаете о своем прекраснодушном друге Фельмане и вместе со мной сожалеете, что он не дожил до сей радости: видеть истину, не только открыто высказанную, но и открыто признанную»[30]. Первым, кто поднял свой голос в защиту книги «Эстонец и его господин», был таллинский моряк и журналист Василий Иванов.

Имя этого замечательного человека неизвестно нашему читателю[31]. А, между тем, он принадлежал к наиболее прогрессивным кругам таллинской интеллигенции и несомненно сыграл серьезную роль в развитии в Эстонии передовой общественной мысли.

Хранящиеся в Центральном военно-морском архиве «Полный послужной список» и ежегодные «Формулярные списки о службе и достоинстве»[32] Василия Васильевича Иванова позволяют воскресить жизненный путь незаслуженно забытого ученого, моряка и публициста. Он родился в Таллине 9 марта 1836 г. в бедной обер-офицерской семье и, согласно официальным документам, ни у него, ни у его родных никогда не было недвижимого имущества. Детство, юность и молодость Иванова прошли в Эстонии. Одиннадцатилетним мальчуганом он поступил в Таллине в штурманский полуэкипаж; там же получил кондукторский чин и начал морскую службу.

Молодой штурман отличался пытливым умом, неисчерпаемой энергией, большими знаниями, передовыми взглядами на многие социальные вопросы. В течение ряда лет Иванов был членом-корреспондентом Главной физической обсерватории «для сообщения оной метеорологических сведений» и «наблюдений над высотою воды в Ревеле». Из-под его пера вышли отличные переводы ряда научных трактатов. Он занимался публицистикой, успешно сотрудничал в «Морском сборнике» и других периодических изданиях.

Корреспонденции Иванова — всегда глубокие и обстоятельные — свидетельствовали о пристальном интересе автора к



«Морской сборник», т. 58, 1862, № 4, в котором была опубликована корреспонденция из Таллина В. В. Иванова о выходе в свет книги «Эстонец и его господин».

культурной и экономической жизни Эстонии. Он писал о развитии в прибалтийских губерниях торговли («Морской сборник», 1861, № 10), о трениях между остзейским дворянством и нарождавшейся буржуазией (1861, № 11), о нравах в эстляндском ландтаге (1862, № 1), об экономике Эстонии (1862, № 2), о состоянии ее промышленности (1862, № 10) и т. п.

«Морской сборник» выписывался в Эстонии исключительно моряками. Но некоторые корреспонденции Иванова целиком или в сокращенном виде перепечатывались другими русскими газетами и таким путем становились известными более широкому кругу читателей. О значимости этих критических выступлений можно судить по следующему факту. В 1862 году «Русский инвалид» перепечатал из «Морского сборника» статью, осуждавшую остзейских дворян за их «приверженность старым порядкам». Это всполошило местную знать и, как рассказывал сам Иванов, номер газеты, в которой появилась его корреспонденция, был изъят по всей Эстонии. «Каждая из моих даже не-

больших статей, — признавался он в одном из писем 1864 г., — вызывала в здешней «дворянской» журналистике сильнейшую ругань . . .»[33]

Издание анонимной книги «Эстонец и его господин» встречено было молодым офицером, как событие выдающееся. Она «замечательна уже тем, — писал Иванов, — что появление её возбудило в первый раз в здешнем крае открытые суждения о местном законодательстве и общественном устройстве»[34].

В то самое время, когда остзейское дворянство набрасывалось с яростью на книгу, русский моряк Василий Иванов выступил в петербургской газете со статьей, в которой поддержал анонимного автора. Он писал о «реформе» 1804 года, не улучшившей положение эстонского крестьянства и вызвавшей крупные волнения; о законе 1816 года, по существу не избавившем крепостных от рабского ига.

Отстаивая справедливость всех обвинений, предъявленных анонимным русским публицистом прибалтийскому дворянству, Иванов высмеивал наивные попытки баронов и пасторов доказать несправедливость, предвзятость неизвестного сочинителя. В «Эстонце и его господине», сообщал он, указывается, что с 1816 года ни один эстонский крестьянин не приобрел в собственность крестьянскую усадьбу. Помещики нашли в сообщении грубейшее искажение действительности, т. к. за сорок с лишним лет было продано все же... семнадцать усадьб [35].

Признав несостоятельность выдвинутых против книги обвинений, Иванов сообщил, что у анонимного автора нашлись защитники и в самой Эстонии. В местной газете, заявил он, наряду с клеветническими заявлениями, появилась честная статья о тяжелом положении крестьянства. Иванов изложил ее содержание, процитировал русскому читателю несколько наиболее характерных отрывков. «Наш крестьянин, — говорилось в одном из них, — несмотря на все постановления... отнюдь не пользуется защитою законов в той мере, на какую он, как свободный человек, вправе претендовать. Как в отношении его лица, так и имущества, он на каждом шагу подвержен пагубному действию произвола»[36].

Иванов не ограничился выступлением с одной лишь рецензией. Страстная защита обездоленного эстонского крестьянства, явившаяся основой анонимной книги, пронизывала и другие публицистические статьи Иванова. Когда на лифляндском ландтаге один из местных помещиков предложил созвать всеобщий балтийский сенат, противопоставив его общероссийской административной власти, русский моряк посвятил этому



№ 101 — 1863 г. ГОДЪ ТРЕТІЙ. Пятница 6 сентября

КРОНШТАДТСКІЙ ВѢСТНИКЪ.

ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ И ПЯТНИЦАМЪ.

ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ

КРОНШТАДТСКІЙ ВѢСТНИКЪ.

«Кронштадтский вестник», 1863, № 101, в котором была опубликована корреспонденция из Таллина В. В. Иванова о тяжелом положении эстонского крестьянства.

специальную корреспонденцию. В таком случае, писал он, допустите в ландтаг и депутатов от крестьянства.

Требование Иванова было для той поры настолько ошеломляющим, что на него так или иначе прореагировал ряд русских периодических изданий. Корреспонденцию не обошла молчанием и газета «St.-Petersbourg Zeitung» — петербургский рупор остзейского дворянства. Она обрушила на Иванова брызжущую яростью ругательную статью. Для присланного же в ответ опровержения газета не нашла у себя места, отказавшись опубликовать его под тем предлогом, что оно было, якобы, слишком больших размеров.

В 1863 году Иванов написал новую статью, предназначая ее для созданного незадолго до того «Кронштадтского вестника». Эта еженедельная газета, судя по ее программе, ставила перед собой обширные задачи: распространять грамотность среди нижних чинов флота, публиковать статьи о литературе и театре, давать географические и исторические описания местностей и т. п.[37] Статья Василия Иванова была опубликована сразу же после получения и вызвала широкий резонанс в Москве и Петербурге.

«Оседлавшись в настоящем моем служебном месте, и имея достаточно свободного времени, — писал Иванов, — я желал употребить его с пользою, и так как по моему ближе всего осмотреться кругом и стараться быть полезным там, где находишься, то и принялся я, насколько это было возможно, за изучение гражданского устройства, быта и вообще жизни прибалтийских губерний»[38].

В большой статье, занявшей значительнейшую часть газетного номера, Иванов изложил результаты своих многолетних наблюдений, изучения экономики прибалтийского края: «Привилегированные классы, — заявлял он, — всячески стараются сохранить свои привилегии, и если делают небольшие уступки, требуемые духом времени и часто невыносимым положением угнетенных классов, то зато почти ни одна из этих уступок не обойдётся без какой нибудь закорючки». Ссылаясь на книгу «Эстонец и его господин», Иванов обвинял остзейское дворянство в стремлении сохранить за собой особые рыцарские привилегии. Местные помещики — привилегированное меньшинство, утверждал он, не считаясь с желанием большинства населения края — приверженцев полного преобразования гражданского устройства прибалтийских губерний — всеми силами стараются починить разваливающееся здание «остзейского организма».

Положение эстонских крестьян, писал Иванов, очень незавидно. Когда-то, наконец, эти несчастные прибалтийские земледельцы, предоставленные на «милость» своих помещиков, не имеющих с ними даже племенного родства, увидят красное солнышко свободы и независимой собственности! «Может быть некоторые, прочитав эти последние строки, скажут, что, например, эстонцы уже сорок лет пользуются свободою. «Хороша свобода, от которой крестьяне толпами бегут к самым восточным границам империи», — повторим мы за автором брошюры «Эстонец и его господин»[39], — заявлял Иванов.

Уже в корреспонденциях для «Морского сборника» русский моряк отмечал незаинтересованность местного дворянства в просвещении эстонского народа. Выступая в защиту анонимной книги, Василий Иванов вновь коснулся того же вопроса. Он обвинил помещиков в стремлении отгородить крестьян от прогрессивных идей современности, принудить их жить в темноте и невежестве. Иванов с негодованием упомянул о серии статей лютеранских пасторов, обрушившихся на книгу «Эстонец и его господин» и поставивших на их взгляд актуальнейший вопрос: нужно ли вообще простому народу образование? «И такого-то рода вопросы, — заявил он, — задают еще себе остзейские немцы, почему-то называющие себя цивилизаторами

России. Неправда-ли, это обстоятельство служит немаловажною характеристикою нашим немцам и отчасти объясняет их прошедшие и настоящие отношения к порабощенным ими народностям»[40].

Статья в «Кронштадтском вестнике» направлена была и против остзейских баронов, и против лютеранских пасторов, и против прибалтийских помещиков из царского окружения. Всем им Василий Иванов бросал смелый вызов: «Они не заставят молчать нас, искренно желающих этому сословию (эстонским крестьянам. — А. Л.) скорейшего улучшения его быта, расширения прав личных и собственности, образования и проч.»[41].

Из «Кронштадтского вестника» статья была извлечена И. С. Аксаковым — одним из виднейших представителей славянофилов, выступавших в те годы против остзейского особого порядка. Но перепечатав ее в газете «День», опубликовав ряд других связанных с ней материалов, Аксаков сделал, разумеется, всё возможное, чтобы не отступить от защищаемых им славянофильских позиций по крестьянскому вопросу. В редакционных комментариях он отразил интересы либеральных помещиков и признал необходимым дать эстонским крестьянам землю лишь при условии получения от них обязательного выкупа.

Перепечатанная Аксаковым статья вызвала «Ответ остзейца г. Иванову»[42]. Этот ответ, написанный бароном Гершау, красноречиво свидетельствовал о бессильной ярости прибалтийского дворянства, ополчившегося и против автора анонимной книги, и против его единомышленника. Единственным «аргументом», выдвинутым Гершау в защиту остзейских помещиков, оказался сам факт принятия пресловутых законов, являвшихся, как утверждал он, «благодетельными» для эстонского крестьянства.

Статью, приведшую в такое неистовство барона Гершау, В. Иванов не предназначал для славянофильского «Дня». Но, получив апрельский номер газеты с ответом своего оппонента, он решил, всё же, использовать ее страницы для новых атак против прибалтийского дворянства. «Не удивляйтесь, — писал Иванов И. С. Аксакову, — что ответ мой барону так длинен; я считал это необходимым, на том основании, что надо же когда-нибудь поговорить с остзейцами поподробнее, а не ограничиваться голословными утверждениями, что мол то и то не хорошо». Таллинский моряк заявлял о желании многих русских людей помочь прибалтийским народам в изменении их экономического положения, о необходимости пресечь все попытки баронов насильственно онемечить латышей и эстонцев. «Наконец, — утверждал он, — дворянская немецкая партия

имеет такой значительный вес у нашего правительства, что не мешает и очень пошатнуть ее авторитет»[43].

Придавая этой борьбе серьезное значение, Иванов считал немаловажной и новую, отправленную в Петербург, статью. Она должна была, по его словам, настроить общественное мнение и заставить следить за всем происходившим в прибалтийском крае. Иванов просил Аксакова, употребив все усилия, вырвать статью из рук строгой цензуры и обязательно ее опубликовать[44].

Но то ли статья Иванова более, чем предыдущие, противоречила славянофильским воззрениям И. С. Аксакова, то ли цензурные препятствия оказались непреодолимыми. Так или иначе, однако на сей раз статья Иванова не увидела свет, а сам ненавистный остзейскому дворянству штурманский офицер вынужден был вскоре покинуть Таллин. О последних днях его жизни в Эстонии мы знаем очень немного. Нам удалось лишь обнаружить письмо Иванова к академику П. П. Пекарскому, из которого можно заключить, что страстный защитник эстонского крестьянства и сам находился в тяжелом материальном положении. Задумал жениться, писал он из Таллина петербургскому ученому, на девушке развитой и хорошей, но «также живущей трудом (уроками и переводами), как и я, следовательно также много и имеющей. Нам предстоит сделать свадьбу, а денег нет». Глубокая нужда заставила Иванова просить Главную физическую обсерваторию, членом-корреспондентом которой он являлся, дать ему премию или подарок. «Подарок, — писал Иванов Пекарскому, — я мог бы на время заложить и, таким образом, иметь деньги»[45].

Еще меньше известно о пребывании балтийского моряка в Петербурге. Из «Формулярного списка» можно лишь установить, что, покинув Таллин, он в течение многих лет служил в Гидрографическом департаменте. Не исключена возможность, что Иванов познакомился там с гидрографом П. А. Козакевичем — автором «Заметки об экономическом состоянии крестьян в Эстляндской губернии». Встречи и беседы с Ивановым могли быть одной из причин, побудивших ученого извлечь в 1867 году свою почти двадцатилетней давности публицистическую статью и представить ее в Географическое общество.

Реакция российской прессы на появление анонимной книги не ограничилась выступлениями таллинского моряка. Почти в одно время с Василием Ивановым о выходе «Эстонца и его господина» сообщила пользовавшаяся у помещиков и кулаков значительным влиянием «Земледельческая газета». Автор статьи, излагая содержание рецензируемого им сочинения, преследовал, разумеется, интересы реакционнейших слоев рос-

сийского дворянства. Выступая против остзейских порядков, он стремился тем самым лишь отвлечь внимание прогрессивных кругов от классовой борьбы в русской деревне, принявшей после манифеста 1861 года небывалые до той поры размеры. В прибалтийских губерниях, как бы утверждала эта статья, положение крестьян значительно плачевнее, нежели в других местах России. Стоит ли поэтому выражать недовольство жизнью русского земледельца! Сравните ее с состоянием эстонских и латышских крестьян и тогда она представится вам раем блаженным.

Только подобным образом и можно, на наш взгляд, объяснить появление в газете [46], издаваемой министерством земледелия и государственных имуществ, хвалебной рецензии на «Эстонца и его господина». Однако приведенный в статье материал из нашумевшей книги говорил сам за себя и далеко не о том, что собирался с его помощью сказать рецензент.

Не называя анонимного произведения, но широко его используя, другая газета — «Современное слово» опубликовала осенью 1862 года статью «Для общего сведения (положение лифляндских и эстляндских крестьян)». «Проезжая остзейские провинции, — писал ее автор, — кажется, что здесь человеческая нужда достигла своих крайних пределов, дальше которых она простираться не может»[47]. Цитируя книгу «Эстонец и его господин», он рассказывал о том, как местные помещики, пренебрегая безвыходным положением крестьян, заставляли их в самое страдное время работать на господских полях. В результате бесчеловечной эксплуатации, сообщала газета, клочки крестьянской земли от жары высыхали, рожь перезревала, а бедняцкие семьи оставались без хлеба.

Российская печать, преодолев, в какой-то степени, цензурные препоны, сумела уделить анонимной книге серьезное внимание. Но ни в 60-х, ни в последующих годах не представлялось возможным издать эту книгу для широкого русского читателя. Сочинение, подвергавшее критике положение крестьянства, могло, согласно цензурным законам, выйти только лишь в виде «ученого рассуждения», притом — исключительно в периодических научных изданиях [48]. Этим правом и воспользовалось основанное в 1804 году Общество истории и древностей российских Московского университета.

Печатные труды общества, по оценке цензурного комитета, носили чисто научный характер, преследовали научные интересы, предназначались исключительно для специалистов [49] и не подвергались, поэтому, столь суровым ограничениям, как вся остальная российская печать. Его «Чтения», давшие богатейший, в значительной степени не потерявший по сей день своей

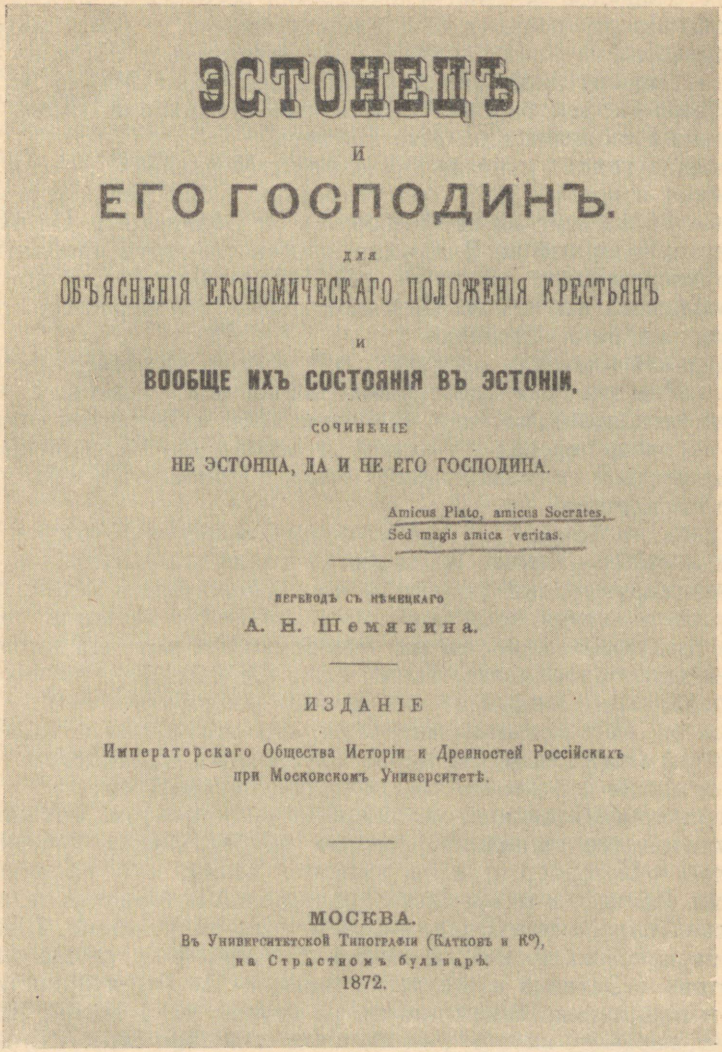
значимости, исторический материал, коснулись и той стороны жизни прибалтийской окраины России, о которой сплошь да рядом вынуждены были молчать другие газеты и журналы.

В 1860 г. в сборнике общества вышло «Мнение одного украинского помещика, выраженное после беседы со своими собратиями об указе 23 мая 1816 г. и об эстляндских постановлениях»[50]. Статья принадлежала перу основателя Харьковского университета В. Н. Каразина. В 1865 г. «Чтения» опубликовали «Справку по делу о присоединении к православию крестьян прибалтийских губерний»[51]. Спустя два года там же увидела свет записка «Голос о необходимости иметь одинаковые законы и Прибалтийским губерниям с законами Российской империи, поданный в Комиссию сочинения проекта нового уложения, камер-конторы Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел депутатом Артемием Шишковым 1767 года»[52]. Одна из книжек «Чтения» за 1870 г. содержала труд Г. Меркеля «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия»[53]. В 1871 году в этом научном сборнике был напечатан «Всеподданнейший отчет по управлению Балтийским краем с мая 1845 по февраль 1848 года генерала от инфантерии Е. А. Головина»[54]. И в том же году в «Чтениях» вышел переведенный на русский язык «Эстонец и его господин»[55].

Трудно назвать другое русское подцензурное издание XIX столетия, которое бы публиковало так интенсивно материалы о Прибалтике. Этим Эстония в значительной степени обязана одному из руководителей исторического общества — видному ученому-славяноведу, профессору истории и литературы славянских наречий в Московском университете О. М. Бодянскому [56]. Этим она обязана также Алексею Николаевичу Шемякину.

Имя Шемякина забыто настолько основательно, что оно не упоминается даже в энциклопедических и биографических словарях. Между тем, этот скромный труженик науки был человеком высокой культуры, огромных знаний, благородных чувств, верным другом прибалтийских народов.

Шемякин родился в Ярославской губернии, там же окончил лицей, посвятил себя учительской деятельности и в течение нескольких десятков лет преподавал историю, географию, русский язык. Большую часть жизни он провел во Владимире. Беззаветно преданный своему делу, Шемякин постоянно совмещал служебные обязанности с безвозмездной научной работой. Книги были его единственной страстью. Со всех концов России в маленькую квартирку владимирского учителя приходили издания на русском, немецком, французском, английском, латинском, греческом языках.



ЭСТОНЕЦЪ

И

ЕГО ГОСПОДИНЪ.

ДЛЯ

ОБЪЯСНЕНІЯ ЕКОНОМИЧЕСКАГО ПОЛОЖЕНІЯ КРЕСТЬЯНЪ

И

ВООБЩЕ ИХЪ СОСТОЯНІЯ ВЪ ЭСТОНІИ.

СОЧИНЕНІЕ

НЕ ЭСТОНЦА, ДА И НЕ ЕГО ГОСПОДИНА.

Amicus Plato, amicus Socrates,
Sed magis amica veritas.

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО

А. Н. Шемякина.

ИЗДАНІЕ

Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ
при Московскомъ Университетѣ.

МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи (Катковъ и К°),
на Страстномъ бульварѣ.
1872.

Анонимная книга «Эстонец и его господин». 1872. Издание Общества истории и древностей российских Московского университета. Титульный лист.

Шемякин покидал Владимир редко и только лишь для непродолжительных поездок в Москву. Будучи действительным членом Общества истории и древностей российских, он связывал обычно эту поездку со своими научными делами. Шемякин привозил из Владимира переведенные им для «Чтения» сочинения многих иностранцев-путешественников: Марко Поло или Петра Петрея, барона Мейерберга или Михаила Шиля, Севастиана Главинича или Отто Плейера.

«Москва увидит меня не иначе, как с Меркелем»[57],— писал Шемякин в ноябре 1865 года секретарю Общества истории и древностей российских профессору О. М. Бодянскому. Он имел в виду присланный во Владимир знаменитый труд прибалтийского просветителя «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия». Шемякин решил его перевести для опубликования в «Чтениях».

«Меркель идет как следует...»,[58] «Скоро явлюсь с Меркелем...»[59] — эти строки переходили из письма в письмо на протяжении нескольких месяцев. В апреле 1866 г. Шемякин отправил, наконец, перевод в Москву. А вскоре учитель немецкого языка местной гимназии привез ему из Прибалтики «Эстонца и его господина».

«Книга маленькая, но преинтересная: невеличка птичка, да носок востер, — тотчас же сообщил Бодянскому Шемякин. — Автор, например, знает одного немецкого учителя в Эстляндии, который мальчика эстонского происхождения неохотно перевёл в следующий класс на том основании, что тот был эстонец. Кто будет обрабатывать землю, если все крестьяне потянутся в города, если каждый из них захочет уподобиться немцу? — сказал он. Мне сказывал аптекарь, что эта книжка уцелела чудом из многих ея экземпляров, скупленных эстляндским дворянством для сожжения!..Я, пожалуй, переведу ее...»[60]

Из письма Шемякина, мы впервые узнаем о том, что книга «Эстонец и его господин», помимо прибалтийских губерний, Москвы и Петербурга, была известна также и в провинции России. Являясь в то время преподавателем истории на педагогических курсах при Владимирском уездном училище, Шемякин познакомил с ней наиболее близких ему слушателей. ««Эстов» («Эстонца и его господина». — А. Л.) я пришлю к вам в подлиннике с кем-нибудь из студентов, а потом, разумеется, переведу их...»[61], — писал он в январе 1867 г. Бодянскому.

Анонимное публицистическое сочинение о положении эстонского крестьянства, а до того — книга Гарлиба Меркеля раскрыли перед Шемякиным весь ужас угнетенного состояния прибалтийских народов. Русский педагог выписал во Владимир ряд

других, посвященных Эстонии, трудов, чтобы еще глубже изучить экономическое положение остзейских губерний. Весной 1868 г. он получил редкое даже для того времени издание книги И. Хр. Петри «Эстляндия и эстонцы». Вышедшее в 1802 году обличительное произведение прибалтийского публициста-просветителя поведало ему о том, что крепостное право «ни в одной стране не являлось таким тяжким и не сопряжено было с таким угнетением и мучениями, как в Эстляндии». Шемякин нашел эту книгу чрезвычайно интересной и сделал из нее обширные выписки.

Знакомство с сочинением Петри отразилось, в какой-то степени, на решении быстрее приступить к переводу «Эстонца и его господина». 13 апреля 1870 г. Шемякин писал Бодянскому: «Так как эстляндское дворянство, пожалуй, обидится, что на его дома Меркель поскупился, то я к половине мая буду иметь честь представить в русском переводе: «Der Este und sein Herr»[62]. Все более ухудшавшееся здоровье не позволило, однако, уложиться в столь короткий срок. Перевод был выслан в Москву только глубокой осенью. «Прийдет же время, — писал Шемякин, — когда эта книжка, правдивая и редкая . . . , будет известна и в русском переводе. А пока я и тому рад, что успел исполнить свое обещание»[63].

Это была одна из последних работ Алексея Николаевича Шемякина. Напряженные научные и литературные занятия отразились на его зрении и он ослеп. Старому учителю и неутомимому исследователю пришлось расстаться с любимыми книгами, с работой. Он умер в августе 1887 г. во Владимире всеми забытый, одинокий. Ни одна газета ни единой строкой не откликнулась на смерть этого замечательного человека.

Но Шемякин оставил после себя плоды многолетних научных трудов. И одним из этих трудов был перевод «Эстонца и его господина» — замечательной книги, на протяжении многих лет воспринимавшейся, как обвинительный акт против угнетателей эстонского народа.

«. . . Статья эта (речь идет о книге «Эстонец и его господин». — А. Л.) есть подробное описание и разбор высочайше утверждённых положений о крестьянах-эстонцах со времени присоединения их к России до позднейших времён, — доносил 9 февраля 1872 года совету главного управления по делам печати один из его членов. — Положение крестьян описано автором в самых мрачных картинах; — продолжал он, — во всей статье проведена идея, что хотя правительство и издавало законы для улучшения быта крестьян, но эти законы или вовсе скрывались от крестьян, или вовсе не исполнялись, так как всё местное управление находится в руках дворянства . . . Автор

везде проводит мысль, что и самый закон, издаваемый по инициативе местного дворянства, давал полную возможность обойти его, что освобождение крестьян от крепостной зависимости есть только наружное, а в сущности после освобождения — они ещё более порабощены дворянству.

По рассмотрении означенной статьи, — сообщал сановник, — Московский цензурный комитет нашёл, что она, по содержанию своему, могла бы способствовать к возбуждению неприязни эстонских крестьян против их помещиков и к нареканию на действия и распоряжения правительства». .[64]

Но кто же был автором книги, вызвавшей в своё время такую бешеную ярость остзейских помещиков, гнев их сановных покровителей? Из-под чьего пера вышло это страстное произведение, пронизанное столь тёплыми чувствами к эстонскому народу?

III. КТО БЫЛ АВТОРОМ КНИГИ?

Уже само название брошюры возбудило всеобщее любопытство . . .

В. Иванов

Остзейские бароны и лютеранские пасторы всячески стремились разгадать имя публициста, посмевшего сорвать с них овеянные романтикой рыцарские доспехи, показать всему свету истинное лицо «благородного» прибалтийского дворянства. Но это имя скрыто было от них глубокой тайной.

Сама книга давала о неведомом авторе более чем скромные сведения. Известно только, что он длительное время проживал в Эстонии, но вплоть до начала работы над своим произведением «незнаком был с ближайшими взаимными отношениями обоих сословий (дворянства и крестьян. — А. Л.), чему помогло, с своей стороны, и незнание эстонского языка». Во время избиения ходоков из Ании он находился в Таллине и оказался случайным свидетелем экзекуции. «Круг его занятий» решительно расходился с крестьянскими делами. К моменту написания книги он был уже стариком и «писательство для публики» не являлось его родным делом. Автор не был «ни немцем, ни эстонцем, ни дворянином, ни крестьянином»[65] и, судя по обличительному характеру книги, ее социальной направленности, смелой защите интересов крестьянства, являлся представителем прогрессивной русской общественной мысли. Издать подобный труд в России из-за цензурных гонений, разумеется, было немыслимо и, так как книга направлена была против остзейского дворянства, как правило или не владевшего или плохо владевшего русским

языком, автор опубликовал ее за границей на немецком языке.

Вот всё, что можно было узнать об авторе из его же анонимной книги. Но этих данных, к которым мы позднее еще вернемся, оказалось слишком мало, чтобы установить имя пожелавшего остаться неизвестным публициста.

Ходили, правда, слухи, что «Эстонца и его господина» написал таллинский житель Василий Тимофеевич Благовещенский. «Ваше сообщение об авторе столь широко обсуждаемой книжки (речь идет об «Эстонце и его господине». — А. Л.) подтвердило мое предположение, — писал Фр. Р. Крейцвальд 10 марта 1862 г. русскому академику-языковеду А. А. Шифнеру. — Как только появилось объявление о выходе книги, я, еще не видев ее, сразу подумал о Б(лаговещенском), которого имею удовольствие знать также и лично. Два года назад я случайно узнал, что он намеревается беспристрастно описать положение вещей. Тогда говорили, что он якобы хочет опубликовать свою работу в одном из русских журналов, предварительно представив ее на рассмотрение некоему высокопоставленному лицу в столице. Но, как это обычно бывает при такого рода работах, к нему впоследствии стало поступать все больше и больше материалов, благодаря чему явилась возможность издать отдельную брошюру»[66].

Но основательны ли были предположения Крейцвальда? Ведь спустя некоторое время, в июле 1862 г., он писал тому же А. А. Шифнеру, что «книга «Эстонец и его господин» написана якобы не г. Б(лаговещенским), он будто бы имеет к ней отношение лишь постольку, поскольку автор книжки использовал рукопись в три листа, которую Б(лаговещенский) хотел опубликовать в одном из русских журналов. Недавно, — сообщал далее Крейцвальд, — мне об этом рассказывал, как о в полне достоверном факте (подчеркнуто нами. — А. Л.), один человек из Эстляндии. Он узнал это от господина Нокса, брата жены Б(лаговещенского). Автор будто бы живёт в Эстляндии, где-то в деревне. Что тут правда и что ложь, я определенно сказать не могу, но человек, говоривший об этом, был как будто уверен в точности своих сведений . . .»[67]

Таким образом, даже связанный с прогрессивными кругами Таллина Фр. Р. Крейцвальд, при всем своем желании, не мог установить, кто написал нашумевшую книгу. Его второе сообщение, опираясь на весьма авторитетное свидетельство Нокса, по существу, отвергало авторство Благовещенского, указывало лишь на частичное использование принадлежавшей ему рукописи анонимным публицистом, «жившим в Эстляндии, где-то в деревне».

Что это была за статья, установить сейчас, по всей вероятно-

сти, уже не удастся. Но более чем возможно, что упоминаемая в обоих письмах работа Благовещенского все же существовала. И сам автор не держал ее в секрете, ибо о ней прослышали и те его знакомые, которые жили за пределами Таллина. Благовещенский не собирался публиковать эту статью анонимно, поскольку намеревался представить ее «на рассмотрение некоему высокопоставленному лицу в столице». Он не стремился к изданию своего сочинения за границей, т. к., заручившись одобрением свыше, не ожидал препятствий к опубликованию статьи в самой России, в одном из подцензурных периодических изданий.

И в то время, как подлинный автор «Эстонца и его господина» оставался по-прежнему неизвестным, многие знали об интересе Благовещенского к экономике Эстонии, о его работе над какой-то статьей. Вот почему, версия о принадлежности ему анонимной книги так и не развеивалась. Более того, кем-то она даже настойчиво поддерживалась и распространялась. Этим и объясняется, что, сообщая 11 сентября 1864 года в «Санктпетербургских ведомостях» — газете, метко названной Салтыковым-Щедриным «российской пенкоснимательницей», о смерти Благовещенского, некий Р-н уже категорически утверждал: «Последние годы своей жизни в Ревеле он посвятил главнейшим образом изучению быта эстляндских крестьян . . . После известных беспорядков в Эстляндии, он издал в 1860 (?—А. Л.) году брошюру «Эстонец и его барин», наделавшую много шума в остзейских провинциях . . .»[68] Извлечения из этого некролога, появившегося в «Санктпетербургских ведомостях», тогда же были перепечатаны рядом других изданий [69], окончательно закрепив за Благовещенским авторство публицистического произведения.

На чем основано было это утверждение? Располагал ли корреспондент газеты убедительными доказательствами? Эти вопросы и по сей день остаются загадочными. Но с той поры, несмотря на отсутствие каких-либо дополнительных материалов, Благовещенского уже называли не иначе, как автором «Эстонца и его господина». К подобному ошибочному заключению, располагая тогда лишь старыми печатными источниками, не зная еще о существовании обнаруженных нами впоследствии архивных документов, пришли в свое время и мы в работе об анонимной книге [70].

И в 60-х годах, и в наши дни единственным «аргументом» в пользу авторства Благовещенского остается некролог, напечатанный петербургской газетой. Сами же сведения, изложенные Р-ном, в оценке различных исследователей претерпели за истекшие десятилетия существенные изменения.

Не обращаясь к многочисленным статьям и трудам давних

лет, в той или иной мере касавшимся анонимной книги, раскроем некоторые последние работы. Выпущенная институтом истории Академии наук Эстонской ССР «История Эстонской ССР» содержит специальный раздел — «В. Т. Благовещенский — представитель передовой общественной мысли в Эстонии». Повторяя старую легенду о происхождении книги, авторы фундаментального труда добавляют от себя, что в собирании фактического материала Благовещенскому помогали его друзья и единомышленники, к числу которых отнесены педагог Якоб Нокс, поэт и художник Н. Ф. Руссов. «Выступление Благовещенского, — говорится в «Истории», — было проявлением плодотворного влияния русских революционных демократов, прежде всего Н. Г. Чернышевского»[71].

Столь же далеко пошла в своих заключениях «История Латвийской ССР». «Информацией о происшествиях в прибалтийских губерниях А. И. Герцена снабжал, — утверждает этот труд, — русский преподаватель таллинской гимназии В. Т. Благовещенский, который позже, в 1861 г., издал анонимное сочинение «Эстонец и его господин» . . . Кроме Благовещенского, А. И. Герцен имел в прибалтийских губерниях, видимо, еще и других корреспондентов . . .»[72]

О том же мы читаем в недавно изданной книге Э. Э. Мартинсона. «Воспитанник Московского университета, он (Благовещенский. — А. Л.), — сообщает автор, — был проникнут освободительными и общественно-философскими идеями русских революционеров-демократов, находился в тайной переписке с Герценом и стал активным проводником этих идей в Эстонии . . . В 1861 г. В. Т. Благовещенский напечатал анонимно обличительную книгу «Эстонец и его господин», в которой выступил с горячей защитой социально и экономически порабощенных эстонских крестьян»[73].

Ряд выводов о книге и ее авторе сделал Ю. Кяосаар. В послесловии к роману Эд. Вильде «Пророк Малтсвет» он сообщил, что опубликованная «Колоколом» статья «Немецкие рыцари XIX столетия в Эстляндии» писалась группой людей, руководимой В. Благовещенским; что «Эстонец и его господин» — также, будто бы, плод коллективного труда, направляемого все тем же Благовещенским; что материал для книги собрал один из ее авторов (?!) Я. Нокс (?!)[74].

Принадлежность Благовещенского к корреспондентам «Колокола» признается, почему-то, и в комментариях к «Избранным письмам» Фр. Р. Крейцвальда. «Благовещенский, — говорится в этой книге, вышедшей в 1953 году, — был знаком с идеями великих русских революционных демократов, поддерживал тайную переписку с Герценом, снабжал его «Колокол» информа-

цией . . . В 1861 году на немецком языке и в 1862 году (? — А. Л.) на русском языке вышла анонимная книга «Эстонец и его господин», автором которой считают Благовещенского . . »[75]

Изданный в одно время с «Избранными письмами» альбом «Ф. Р. Крейцвальд в портретах и иллюстрациях» поддерживает одновременно уже две версии. Касаясь «Эстонца и его господина», составители приводят отрывок из письма Крейцвальда, в котором основоположник эстонской демократической литературы высказывал предположение, что творцом публицистического труда был Благовещенский (это предположение, как известно, вскоре было подвергнуто сомнению самим Крейцвальдом). На этой же странице, под заголовком — «Представители таллинской передовой интеллигенции 60-х годов XIX столетия, принимавшие участие в создании книги «Эстонец и его господин», даются, однако, сразу . . . четыре портрета — самого Благовещенского, поэта и художника Н. Ф. Руссова, исследователя и издателя произведений эстонской народной поэзии А. Нейса и педагога Я. Нокса [76].

Последнюю точку зрения — о коллективном авторстве — безоговорочно поддерживает Э. И. Нирк. «Крейцвальд, — утверждает он в статье об эстонском писателе-демократе, — находился в тесном контакте с демократическими кругами эстонской интеллигенции в Петербурге и Таллине, ядром которых были представитель русской прогрессивной мысли В. Т. Благовещенский и его соратники Н. Ф. Руссов и Я. Нокс, которые в 1862 году (? — А. Л.) анонимно опубликовали в Петербурге (? — А. Л.) произведение «Эстонец и его господин» . . .»[77]

Не привлекая дополнительного документального материала, новые исследования, как правило, повторяют, и даже развивают, старые ошибки. За девяносто с лишним лет, прошедшие после смерти Благовещенского, в научный оборот не введено ни одного достоверного факта, который расширил бы наши представления о предполагаемом авторе «Эстонца и его господина». Общественно-политические же позиции самого Благовещенского, степень прогрессивности его мировоззрения определяются на основании книги, если честно признать, остающейся, к сожалению, анонимной.

Фонды Центрального государственного исторического архива в Ленинграде позволяют восстановить правду о Василие Тимофеевиче Благовещенском.

Он родился на Украине в декабре 1801 года. Семья его не отличалась достатком, а шести или семи лет мальчик и вовсе остался без родителей. Его перевезли в Москву, к дяде. Но в войну 1812 года тот потерял все свое имущество, и юноша, испытывая величайшую нужду, уже не сумел окончить гимназию.

Василия Благовещенского записали чиновником в межевую канцелярию. Служба позволила ему подготовиться к поступлению в Московский университет и вскоре он уже изучал там словесность.

В феврале 1823 г. училищная комиссия Дерптского учебного округа затребовала из университета для одной из прибалтийских школ учителя русского языка. Выбор пал на казенно-коштного студента Благовещенского. Формулярный список о его службе был начат, таким образом, 8 февраля 1823 г. зачислением в Баусское уездное училище[78].

С той поры и до конца своих дней Благовещенский не покидал Прибалтику. Он служил в Раквере, Тарту, Риге преподавателем русского языка и литературы. В 1837 г. Василий Тимофеевич издал свой букварь. Не лишены интереса оценки, данные учебнику рядом современников. «Я уверен, что введение этой книги в народные и уездные училища здешнего края, — писал попечителю округа профессор Тартуского университета М. П. Розберг, — принесет много пользы, ибо они совершенно лишены по сему предмету сочинения, где бы заключалось начальное руководство»[79]. Букварь Благовещенского, рассмотренный специальной комиссией Главного педагогического института, также был признан «в полной мере соответствовавшим своему назначению»[80].

Помимо букваря, Благовещенский составил и хрестоматию. Оба учебника неоднократно переиздавались и долгое время служили основным пособием при изучении русского языка в школах прибалтийского края.

Изложенные нами факты из жизненного пути Благовещенского были в значительной степени сообщены и «Санктпетербургскими ведомостями». В той или иной редакции некоторые из этих сведений приводились и в трудах советских исследователей. Но, чтобы дать всесторонне верное представление о человеке, нельзя замалчивать и те факты, которые противоречат сделанным много десятилетий назад заключениями. Однако именно так произошло с Благовещенским.

Как величают его в многочисленных статьях и книгах? Таллинским педагогом и публицистом. Ю. Кахк сообщил, что «профессиональным языковедом был служивший в то время (в 1858 г. — А. Л.) в Ревеле учитель русского языка В. Т. Благовещенский . . .»[81] Ю. Кяосаар ограничился туманным указанием на то, что Благовещенский работал «с 1850 года до конца жизни в Таллине по ведомству просвещения»[82].

Подобное устранение «невыгодных» фактов [83] не может, разумеется, способствовать исторически верному решению вопроса об авторстве «Эстонца и его господина». Ведь архивные доку-

менты свидетельствуют о том, что к моменту переезда в 1851 году в Таллин[84] Благовещенский уже оставил педагогическую деятельность и служил в цензурном ведомстве. В Таллине же он до самого дня смерти — в течение тринадцати лет! — занимал место отдельного цензора по иностранной цензуре.

Представив Благовещенского педагогом, но умолчав о нем, как цензоре, исследователи не коснулись самой непривлекательной стороны его жизни. Ибо стоило только упомянуть, что Благовещенский преследовал в Таллине прогрессивные явления литературы и тщательно оберегаемый миф о нем, как передовом общественном деятеле, был бы по меньшей мере взят под сомнение!

Тринадцать лет цензорской деятельности в Таллине и еще пять лет до того в Риге — восемнадцать лет Благовещенский охранял прибалтийские губернии от «тлетворного» влияния передовой общественно-политической мысли Запада. И, надо признать, — охранял со всем усердием добросовестного служаки. Знакомясь в архиве с его цензорскими рапортами, убеждаешься в том, что ни одна проходившая через его руки книга, в которой ощущалось «вольномыслие», не избегла запрета или «хирургической» операции.

Но, может быть, к моменту издания «Эстонца и его господина» Благовещенский настолько изменился, что способен был даже сам написать противоречившую цензурным требованиям книгу? Архивные документы не дают никаких оснований для подобного предположения.

1860—1862 гг. На этот период падают все события, связанные с замечательным анонимным произведением: окончание работы над рукописью, издание книги, ее продажа в Таллине, ожесточенная полемика в местной печати. Трудно предположить, чтобы автор прогрессивной и смелой книги мог даже в те годы быть врагом честной и правдивой литературы, усматривать крамолу едва ли не в самом слове — «свобода».

А, между тем, познакомившись с рапортами Благовещенского за короткий трехлетний период, вновь убеждаешься, что таллинский цензор и не пытался менять свои взгляды. Не за страх, а за совесть, он, как и ранее, боролся против всего прогрессивного, за незыблемость самодержавного строя и церковной власти.

В отличие от некоторых своих коллег, Благовещенский использовал цензорские рапорта для отвлеченных рассуждений по социальным и религиозным вопросам, для изложения собственных взглядов. Эти-то документальные материалы, в значительном количестве сохранившиеся в архивных фондах, позволяют нам утверждать, что Благовещенский был убежденным

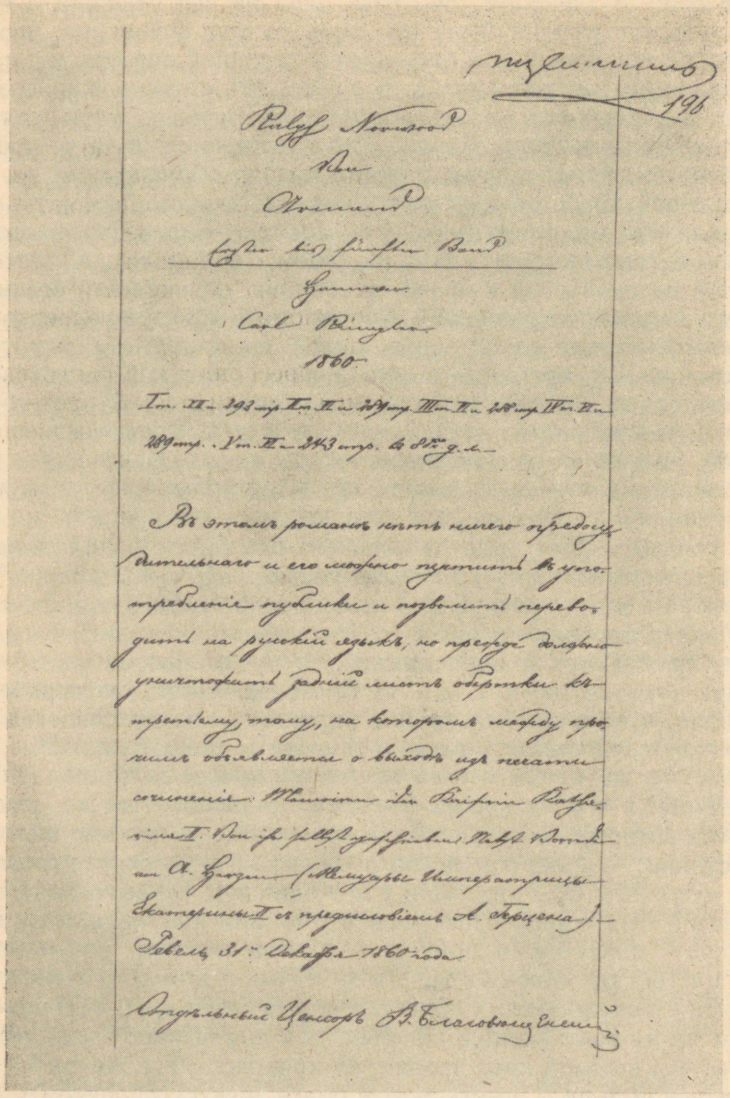
сторонником мистико-религиозного направления официальной идеологии. 31 декабря 1860 года одна из поступивших в Россию книг запрещена была им лишь на том основании, что ее автор не признавал «за библейской историей сотворения мира содержания действительной и истинной истории миросоздания» и утверждал, «что изучение естественных наук только подтверждает и подкрепляет такое предположение, а не противоречит ему»[85]. В другом рапорте цензор обрушивался на роман, герой которого сообщал читателю главные догматы материализма, несовместимые, по мнению Благовещенского, с учением христианства[86]. В следующем, 1861 году, таллинский цензор не пропустил в продажу сборник, отрицавший бессмертие души, распространявший «учение противное христианству»[87]. В отзыве об еще одной запрещенной им книге, он усмотрел «несообразный времени» выпад против «светской и духовной власти папы», против духовенства, которое, по глубокому убеждению автора книги, ненавидело свободу и благоденствие народов, являлось «врагом человеческого рода». Благовещенский наложил запрет и на сочинение, пропагандировавшее «кощунственную» мысль, что человек произошел от обезьяны[88].

1 сентября 1861 года таллинский цензор отправил в центральный комитет цензуры иностранной очередной рапорт. Он негодовал, что в прочитанной книге представлены «священники как враги народа, любящие то, что народ ненавидит; чему народы удивляются и поклоняются, то проклинает и на то клевещет духовенство и т. д.». И Благовещенский категорически заявлял, что «для возбуждения народа против духовенства написанное сочинение . . . должно запретить для публики»[89].

А в это же время из-под печатного пресса выходили листы «Эстонца и его господина», провозглашавшие те же мысли, против которых восставал Благовещенский. «Сельские пасторы в Эстонии, — утверждала анонимная книга, — скорее господа, чем духовные отцы крестьян: у них одни и те же выгоды с помещиками. Они обрабатывают свои поля или принадлежащими к приходу, или своими прихожанами-крестьянами, получают с них пасторские оброки и деньги за требы, по тому-то очень тщательно и понуждают их приобщаться, во всем же остальном отдают их на волю господ. Наконец для них бывает очень лестно попасть в высший круг дворян, их прихожан; где же уж им заботиться больше о крестьянском благе, чем о господском!»[90]

Немыслимо было одним пером написать и цензорский рапорт, запрещавший книгу о духовенстве, и эти, обличавшие духовенство, строки!

В некоторых трудах Благовещенский назван корреспонден-



Рапорт отдельного цензора В. Благовещенского, 1860. Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

том «Колокола». Ему, а в ряде случаев и его «единомышленникам», приписывается, в частности, авторство статьи «Германские рыцари XIX столетия в Эстляндии». К подобному заключению исследователей привело вполне закономерное совпадение: в вольном русском журнале дано письмо из Таллина о расправе над ходоками из Ании («Германские рыцари...») и об этом же упоминается в книге «Эстонец и его господин». Ну, а поскольку анонимное публицистическое произведение приписано Благовещенскому, то... быть ему заодно и корреспондентом А. И. Герцена!

Однако для подобного утверждения нет никаких оснований. Не исключена возможность, что анонимная книга и статья в «Колоколе» принадлежали перу одного и того же человека — оставшегося безвестным русского публициста. Но ведь более чем невероятно, чтобы этот же корреспондент герценовского журнала способен был одновременно вести борьбу против изданий Вольной русской типографии. Между тем, выжигание лондонской «крамолы» являлось для Благовещенского одной из первостепеннейших задач. Разрешая, например, в конце 1860 года к переводу вышедшую за границей книгу, он не нашел в ней ничего предосудительного, но в порыве чиновничьего рвения предостерег: прежде, чем «пустить в употребление, должно уничтожить задний лист обертки к третьему тому, на котором между прочим объявляется о выходе из печати сочинения: «Мемуары императрицы Екатерины II с предисловием А. Герцена»[91]. Разумеется, не имя царицы, а великого русского демократа, вызвало это строжайшее указание таллинского цензора.

В сентябре 1862 г. в руки Благовещенского попал только что вышедший в Париже сборник стихов выдающихся французских поэтов. Он читал эту книгу с содроганием. В ней собраны, доносил Благовещенский, сочинения поэтов, превозносивших «необузданную, в воображении стихотворцев только существующую свободу». Этими поэтами были Огюст Барбье, воспевавший героев баррикадных боев июля 1830 г., известный русскому читателю 50—60-х гг. по переводам В. С. Курочкина, Д. Д. Минаева и других; патриот-демократ Пьер-Жан Беранже, памфлеты которого подвергались чудовищным искажениям со стороны царской цензуры; и, наконец, великий французский писатель Виктор Гюго, выражавший тогда сочувствие освободительной борьбе в России. Познакомившись с их творчеством, Благовещенский вознегодовал, что в сборнике «воля прославлялась как высшее блаженство». Признав книгу «способной вскружить голову юношества» и «поколебать общественный порядок», он счел необходимым ее запретить[92]. Приходится ли

удивляться, что, читая незадолго до того сочинения Гейне, Благовещенский назвал их... «мишурными произведениями»![93]

«Возмутительным» счел таллинский цензор и роман, «иносказательно проповедывавший, — по его словам, — свободу мысли и совести, равенство состояний и коммунизм, словом открыто учивший возмущению против властей»[94]. Такую же оценку получило у цензора вышедшее в 1851 году, но в Россию поступившее десять лет спустя, второе издание «Немецкой Революции» Вильгельма Циммермана. Благовещенский не мог примириться с тем, что автор — в прошлом член франкфуртского парламента, рассказывая о событиях 1848 года, «указал на все промахи и ошибки национального собрания, научал как бы должно было поступить революционерам в том или другом случае и таким образом сделал свое сочинение практическим наставлением, как должно делать революцию, если она опять понадобится». У страха глаза велики. Благовещенского настолько пугало разгоравшееся в России, в том числе и в Эстонии, освободительное движение, что он умудрялся видеть опасность и там, где она была очень сомнительной. Весьма показательно, что даже в главном цензурном ведомстве, где сидели апробированные душители свободомыслия, не согласились с заключением Благовещенского и книгу Циммермана, вернувшегося за восемь лет до того к духовной деятельности, решили «позволить в целости»[95].

И еще один рапорт. Он относится к периоду, когда прибалтийская пресса ожесточенно спорила об анонимном публицистическом сочинении «Эстонец и его господин»; когда бароны и пасторы в пылу ярости не стеснялись обнажать свои рабовладельческие притязания на эстонский народ; когда русский моряк Василий Иванов выступал против оголтелой своры остзейских «культуртрегеров», в защиту угнетенного прибалтийского крестьянства. Благовещенский читал в это время очередную доставленную из таможни книгу. События, легшие в основу произведения, разворачивались в Швеции, в XVI веке, во времена короткого владычества Эрика XIV. Идеализированный автором король даровал крестьянам свободу, но тем самым вооружил против себя дворян и погиб от руки подкупленного ими крестьянина.

Таково краткое содержание этого сочинения. Не касаясь его художественных достоинств и исторической достоверности, отметим лишь одно чрезвычайно важное обстоятельство: книга давала Благовещенскому достаточно материала для аналогии с окружавшей его в Эстонии действительностью. И он не преминул, разумеется, обратить на это серьезное внимание.

Вот — пространная выписка из рапорта, с указанием мест,

отчеркнутых красным цензорским карандашом Благовещенского:

«На стр. 38-й Эрик говорит, что богатые дворяне должны дать собою пример и уступить некоторые из их прав и привилегий; что крестьян должно облегчить. Это предложение не нравится государственному советнику Баннеру, как и всем дворянам. На стр. 39-й им также не нравится и то, что Эрик желает, чтоб деньги, назначенные жителями Стокгольма на издержки при встрече его, отданы были бедным и больным. На стр. 73-й советник Персон говорит, что все дворяне против короля Эрика, глупые старания короля помочь крестьянину на счет дворянства . . . удалили от него сердце дворянства. На стр. 92-й Эрик требует, чтоб уничтожили всякую обязательную работу и крепостное состояние, тяготящие шведских крестьян . . . На стр. 116-й Эрик жалуется, что простой народ, крестьяне, с сожалением смотрят на казнь своих деспотов (дворян), которые питались их мозгом, пожирали их жатву, разоряли их жилища и насильствовали их дочерей, на казнь тех, которым они миллион раз сами желали смерти . . .»[96]

Отмена крепостной зависимости, уничтожение некоторых дворянских привилегий и барщины, издевательства помещиков над крестьянами . . . Эти вопросы подымались и в «Эстонце и его господине», причем ставились шире, глубже, чем в прочитанной Благовещенским книге. Однако изданный за границей публицистический труд с разрешения рижского цензора нашел доступ в книжные лавки.

Все, как будто говорило за то, что менее острое и менее злободневное сочинение о далеких временах и чужой стране не встретит возражений со стороны таллинского цензора. Но на самом деле произошло не так. «Я не думаю, — писал Благовещенский, — чтоб эту пьесу можно было пустить в употребление публики, потому что некоторое сходство описанных в ней обстоятельств с настоящими легко может дать повод к злоупотреблениям. Этот третий том должно запретить для публики . . »[97]

Нет надобности продолжать далее обзор документальных материалов о «плодотворнейшей» деятельности Благовещенского в Эстонии. Ее исчерпывающе охарактеризовал верный страж интересов остзейского дворянства — князь А. А. Суворов: она была, как он писал, безупречной — на ниве, конечно, цензурного ведомства.

И вот, невзирая на всё это, принято считать почему-то Благовещенского вдохновителем кружка прогрессивной таллинской интеллигенции. Исследователи говорят о его связях с Н. Ф. Руссовым. А. Нейсом, Я. Ноксом, имея в виду неизмеримо большее,

чем их личное знакомство или, как с Ноксом, — близкие семейные отношения. Считая Благовещенского автором «Эстонца и его господина», они склоняются даже к тому, что и Руссов, и Нейс, и Нокс были участниками создания обличительного публицистического труда (хотя сам Нокс, — и на это указывал Крейцвальд, — говорил о принадлежности книги неизвестному нам человеку, «жившему в Эстляндии, где-то в деревне»!).

Так, в результате досужих вымыслов, дом чиновника цензурного ведомства превратился в один из центров передовой общественной мысли в Эстонии, а сам Благовещенский — в человека, вокруг которого, якобы, группировались (в силу идейного с ним родства?!) лучшие представители таллинской интеллигенции. Дом, откуда беспощадно преследовалось любое проявление передового мировоззрения, дом, являвшийся, по существу, оплотом духовного мракобесия и самодержавия, авторами ряда современных нам исторических трудов превращён чуть ли не в корреспондентский пункт «Колокола»! Поразительное несоответствие действительных фактов укоренившимся за десятилетия представлениям!

Вывод из сказанного напрашивается сам собой. Однако, прежде чем его сделать, вернемся все же к тем немногим данным о безвестном публицисте, которые содержатся в самой анонимной книге. Остановимся на одной строке авторского предисловия — «Пишущий это ни немец, ни эстонец, ни дворянин, ни крестьянин . . .»[98] и попробуем выяснить: мог ли так о себе сказать Благовещенский?

В том, что таллинский цензор был русским, а не эстонцем или немцем, нет, разумеется, никаких сомнений. Знакомство с его биографией устраняет также возможность считать его крестьянином. Следовательно, два из трех признаний анонимного публициста полностью совпадают с тем, что нам известно о Благовещенском. Но ведь автор «Эстонца и его господина» сообщил читателю и о своей непринадлежности к дворянскому сословию. А был ли дворянином Благовещенский?

Сохранившийся в ленинградском архиве «Формулярный список о службе отдельного цензора в Ревеле статского советника Благовещенского»[99], против всех ожиданий, не дает прямого ответа на интересующий нас вопрос. И тогда мы обращаемся к многочисленным печатным источникам по генеалогии русского дворянства — к «Русской родословной книге» А. Лобанова-Ростовского, «Дворянским родам, внесенным в общий гербовник всероссийской империи» А. Бобринского, двухтомному «Родословному сборнику русских дворянских фамилий» В. Румеля и В. Голубцова, «Родословным записям Леонида Михай-

ловича Савелова» и прочим подобным же изданиям. Однако ни в одном из них таллинский цензурный чиновник не упоминается. Что ж, можно, казалось, уже предположить, что дворянином он не был.

Но так ли это?

Вторично извлекаем из архива «Формулярный список»... Вторично строку за строкой просматриваем сухие канцелярские записи «о службе отдельного цензора в Ревеле статского советника Благовещенского»... Вторично убеждаемся в том, что ни в одной из них нет слов — «Принадлежит к дворянскому сословию». Но ведь об этом так убедительно говорят другие записи того же «формулярного списка»!

Первая из них датирована октябрем 1840 года... Благовещенского «за отлично-ревностную службу и особые труды» удостоили ордена св. Станислава 3 степени... Утвержденный же незадолго до того новый статут этой царской награды гласил, что лица духовного звания всех христианских исповеданий, кроме римско-католического, и все находившиеся на службе военной и гражданской, став кавалерами ордена св. Станислава, приобретали потомственное дворянство[100].

Еще одна запись... Она относится уже к 1858 году и свидетельствует о получении таллинским цензором ордена св. Владимира 4 степени. Знакомимся и с его статутом: даже после реформ 40—50-х годов, ограничивших права и преимущества ряда наград, этот орден по-прежнему приносил с собой звание потомственного дворянина[101].

Итак, скрепленный подписями и печатями «Формулярный список», сообщая, что Благовещенский был кавалером орденов Станислава и Владимира, говорил, тем самым, и о его принадлежности к дворянскому сословию.

Но есть, оказывается, возможность и иным путем установить, был или не был таллинский цензор дворянином. Мы знаем, что он дослужился до высокого чина статского советника. Просматривая многочисленные «Списки гражданским чинам», находим имя Благовещенского и выясняем, что статским советником он стал в ноябре 1854 года, т. е. в ту пору, когда этот чин еще приносил с собой дворянское звание[102].

Наши генеалогические разыскания дали более чем достаточно материала для утверждения, что к моменту создания «Эстонца и его господина», Благовещенский был потомственным дворянином. А это противоречит тому, что писал о себе анонимный публицист.

Таким образом, как мы видим, нет никаких оснований считать Благовещенского автором «Эстонца и его господина». Нет никаких оснований и для утверждений о прогрессивности тал-

линского цензора. И, тем более, нет оснований считать его руководителем передового кружка таллинской интеллигенции.

Те, кто приписывают Благовещенскому авторство яркого и несомненно прогрессивного произведения русской публицистики, лишь умаляют, искажают историческое значение этой книги для развития прибалтийской общественной мысли. Книга «Эстонец и его господин» остается пока анонимной, но от этого не может потускнеть ее почти столетняя слава.

ЖИВЫЕ, ТРЕПЕТНЫЕ НИТИ

Весь мир, вся земля смотрит на него... Отовсюду к нему протянуты какие-то живые, трепетные нити...

М. Горький о Л. Толстом.

13 февраля 1849 года, когда Льву Николаевичу Толстому едва минуло двадцать лет, он писал брату о намерении посетить летом Таллин[1]. Но обстоятельства сложились так, что будущий писатель не совершил этой поездки. Не суждено было ему съездить в Эстонию и в последующие десятилетия. Однако величайший русский художник, его бессмертные творения всегда были дороги, близки народам Прибалтики. Об этом говорят многочисленные документальные свидетельства, в большинстве случаев извлеченные нами из архивов.

I. В ПОТОКЕ ПИСЕМ...

«Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я может быть яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его»[2].

Эти строки принадлежат Льву Толстому. В Ясной Поляне он провел большую часть жизни. Там рождались «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» и другие величайшие образцы мировой классической литературы. Туда из всех уголков земного шара писали и ездили люди разных возрастов и самых различных профессий.

Ясная Поляна...

И в самодержавной России для многих миллионов это было священнейшее место, откуда звучал суровый и правдивый голос великого художника, страстного обличителя, непоколебимого борца. «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой, — признавал тогда реакционный журналист А. С. Суворин. — Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии»[3].

Ясная Поляна...

В потоке приходившей туда корреспонденции были письма и из городов Эстонии. Их можно увидеть среди тех пятидесяти

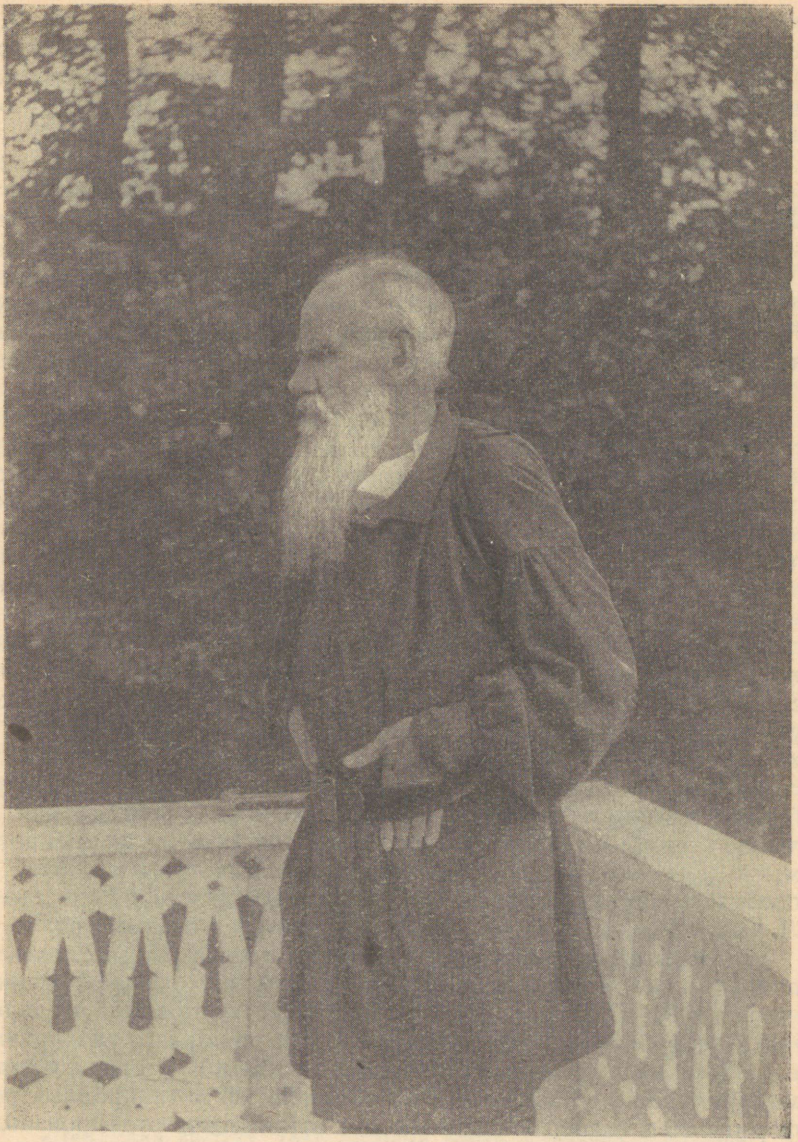
тысяч посланий к Толстому, которые хранятся ныне в рукописном отделе Государственного музея писателя в Москве.

Убористо исписанный листок, датированный 18 сентября 1894 г.... Это о нем Толстой упоминал в дневнике, отмечая получение письма «от Розен с умными вопросами, на которые хочется ответить»[4]. Напоминая Льву Николаевичу его обещание прислать для подготовлявшегося в Эстонии литературного сборника новое произведение, Анна Розен одновременно просила разъяснить взаимоотношения разума и религии. Письмо заинтересовало Толстого, хотя взяться сразу же за ответ он не мог. «Теперь уже поздно, 11-й час. И нет энергии»[5], — сообщает одна из дневниковых записей.

Но Толстой не забыл о письме Анны Розен, помнил о заданных ею вопросах. К концу ноября он закончил разросшийся в обстоятельную статью ответ и отправил его в Эстонию. А вскоре «Письмо Л. Н. Толстого о разуме и религии» было опубликовано М. К. Элпидиным в Женеве.

Среди бумаг великого писателя лежит и другое письмо — от профессора Тартуского университета Антона Семеновича Будиловича. Этот видный в свое время славист, занимавшийся различными вопросами истории литературы, языка, культурной жизни славянских народов, был знаком с домашним врачом Толстого Д. П. Маковицким. От него ученый узнал о желании Льва Николаевича прочесть статью В. И. Ламанского «Три мира». 25 февраля 1900 года Будилович отправил Толстому журнал «Славянское обозрение», где была опубликована нужная тому работа, и порекомендовал писателю познакомиться с помещенной там же статьей известного словацкого писателя, поэта, новеллиста и публициста Светозара Гурбана-Ваянского. Получив журнал, Лев Николаевич отправил Будиловичу письмо, в котором благодарил его за внимание.

В течение многих лет с Толстым переписывался М. М. Лисицын — студент тартуского ветеринарного института, сыгравший значительную роль в распространении в Эстонии прогрессивной русской литературы. Совместно с некоторыми другими студентами, а также профессорами университета П. А. Висковатовым и С. Л. Залесским, Лисицын создал в 1887 году «Общество по устройству научно-литературных вечеров», начавшее свою недолгую жизнь с публичного чтения реферата о народной драме Л. Толстого «Власть тьмы». «Слух о «вечерах», — вспоминал он, — разошелся по всему городу и привлек на первое заседание не только всех профессоров и студентов нашего института, но и многих университетских. Как водится, пред открытием занятий профессора — преподаватели сказали приличные случаю речи, и затем секретари стали записывать и



Лев Толстой в Ясной Поляне. Сентябрь 1902 г.
С редкой фотографии С. Толстой.
Из альбома, принадлежавшего жене писателя.
Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

вести протоколы первого (посвященного Л. Толстому. — А. Л.) заседания. Прения были оживленны, увлекательны, наши профессора принимали самое деятельное в них участие, и первый наш научно-литературный вечер оставил во всех присутствующих самое приятное впечатление»[6].

Блестящее начало окрылило организаторов. Следующие заседания были посвящены великому сатирику М. Е. Салтыкову-Щедрину, жертве николаевской деспотии поэту А. И. Полежаеву, выдающемуся представителю критического реализма В. М. Гаршину. Однако подобное прогрессивное направление общества не могло прийтись по вкусу местному начальству. После седьмого вечера, на котором обсуждался реферат «Капитализм, как главная причина, влияющая на разорение крестьян во всех государствах», общество прикрыли.

К тому времени и относится личное знакомство Лисицына с Толстым. В пробном номере «Дерптского листка», являющемся сейчас большой библиографической редкостью, он рассказал о посещении Ясной Поляны, о встрече с великим художником, о беседе с ним. «Я пробыл у Л. Н. Толстого целый день . . . — писал Лисицын. — Я и не заметил, как пролетело время до поезда, за день успел осмотреть дом и чудный парк моего приветливого хозяина, познакомиться с его семьей, а главное — наговориться и наслушаться вволю его речей. Никогда я не чувствовал себя так хорошо, как там. Беседа личная со Львом Николаевичем — истинное наслаждение. Глубоко поучительная, обильная светлыми, гениальными мыслями, она в то же время проста и понятна, как и его книжная речь. Много серьезных вопросов было затронуто в ней, много нового и глубоко-интересного услышал я в тот день, но неотразимей и лучше всего была доброта и простота гениального современного мыслителя-романиста . . . Крепко пожав мне руку и сказав в последний раз о необходимости самосовершенствования, граф Л. Толстой пожелал мне счастливого пути и я отправился»[7].

Это произошло в 1888 году, когда в Эстонии свирепствовала политическая реакция и усилилась руссификаторская политика царизма. М. Лисицын, приняв заведывание тартуской русской публичной библиотекой, оказался в центре многих разворачивавшихся на прибалтийской окраине событий. В своих воспоминаниях он с возмущением рассказывал об антинародных реформах 80-х годов, описывал новое эстляндское судопроизводство, не оправдавшее ожиданий крестьян, по-прежнему попиравшее интересы большинства населения прибалтийского края. «Местные землевладельцы-помещики, — утверждал Лисицын, — крупные собственники и т. п. . . . были приятно изумлены, когда новые судьи, прокуроры, судебные приставы не

народа; многіе пожелали тогда переселиться въ тотъ край, который производитъ такое прекрасное зерно и этимъ отчасти можно объяснить, почему въ то время многіе изъ насъ такъ сильно стремились на вольныя земли въ Саратовскую и Самарскую губерніи. Нынѣ нуждается мѣстность, отвуда нашъ край получалъ хлѣбъ въ тотъ тяжкій годъ, нашъ же край пользуется сравнительно обильнымъ урожаемъ. Ясно каждому, что слѣдуетъ дѣлать. Долгъ платежемъ красенъ!

А. А. Ну

М. Ю. Лермонтовъ.



15 іюля сего года исполнилось ровно 50 лѣтъ со времени преждевременной кончины одного изъ славнѣйшихъ русскихъ поэтовъ — Михаила Юрьевича Лермонтова. Сочиненія его, вышедшія нынѣ изъ частной собственности, во многихъ изданіяхъ, въ количествѣ сотенъ тысячъ экземпляровъ расходятся по всей Россіи. Самое полное и лучшее изданіе составлено извѣстнымъ профессоромъ Дерптскаго Университета П. А. Висковатовымъ и издано въ Москвѣ Рихтеромъ. Цѣна 6 томовъ 3 руб. Можно получать въ Русской Книжной Торговлѣ въ Дерптѣ. Есть изданіе Іогансона въ 60 коп. не столь полное, но удовлетворительное. Въ одномъ изъ слѣдующихъ номеровъ будетъ помѣщена біографія Михаила Юрьевича. Ниже помѣщаемъ одно изъ его прелестныхъ стихотвореній.

Парусъ.

Бѣлѣетъ парусъ одинокой
Въ туманѣ моря голубомъ...
Что ищетъ онъ въ странѣ далекой?
Что кинулъ онъ въ краю родномъ?

Играютъ волны; вѣтеръ свищетъ,
И мачта гнется и скрипитъ...
Увы! онъ счастія не ищетъ
И не отъ счастія бѣжитъ!

Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури,
Надъ нимъ лучъ солнца золотой;
А онъ, мятежный, проситъ бури,
Какъ будто въ бурѣ есть покой!

М. Ю. Лермонтовъ.

Въ гостяхъ у графа Льва Толстого.

I.

У нашей общей великой родины — Россіи — есть много сыновъ знаменитыхъ, прославленныхъ и въ своей, и въ чужихъ земляхъ. Всѣ они работаютъ на пользу ея. Одинъ служитъ ей талантливой кистью художника, другой — умомъ и умѣньемъ править дѣла государственныя, а третій — чуднымъ искусствомъ, по выраженію поэта, «будитъ сердца людей и призываетъ милость къ падшимъ». Послѣдніе называются писателями и поэтами. Надо родиться писателемъ или поэтомъ, чтобы быть имъ на самомъ дѣлѣ. Написать и даже напечатать какую нибудь статью, разсказъ или стихотвореніе еще не значитъ быть писателемъ. Надо еще умѣть наблюдать людей, ихъ нравы и характеръ, чувствовать и переживать съ ними все то, что они переживаютъ. Великое и святое дѣло писателя, но не всякій можетъ и долженъ за него браться. Нужно еще, кромѣ таланта, любить людей, желать имъ добра и умѣть писать такъ, чтобы люди стремились къ добру, правдѣ и взаимной любви.

«Дерптский листок», 1891, пробный номер. Страница с материалами о М. Ю. Лермонтове и Л. Н. Толстом. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

только стали на страже их . . . интересов, прав собственности и всех прерогатив, но еще любезно исполняли роль хозяев, желающих оказать особое внимание своим гостям . . .»[8] В воспоминаниях Лисицына обрисован и мировой судья, не находивший для истцов-эстонцев иных слов, кроме площадной брани; и отъявленнейший мракобес — наставник семинарии, готовившей учителей для крестьянских школ.

Но реакционнейшая политика царского правительства не могла поколебать глубочайшего интереса эстонского народа к русской культуре. «Я, в качестве заведывающего русской публичной библиотекой, находящейся в университетском городе и в то время бывшей почти единственной в крае, — свидетельствовал Лисицын, — мог наглядно убедиться в этом»[9]. Среди читателей библиотеки было немало прогрессивно настроенных эстонцев. Пушкин и Л. Толстой, Лермонтов и Гоголь, Короленко и Чехов, Салтыков-Щедрин и Гаршин стали их любимейшими писателями.

Укрепляя свои связи с эстонскими читателями, Лисицын стремился дать им все лучшее, чем богата была отечественная литература. Но его благородному желанию препятствовала бедность библиотеки. Искать поддержку у городских или губернских чиновников не было смысла: меньше всего желали они видеть эстонский народ воспитанным на лучших образцах русской культуры. И Лисицын обратился за содействием к Толстому. Указание на это мы находим в одном из писем Льва Николаевича. «О книгах для народа (для эстонского народа. — А. Л.)»[10] должен был позаботиться по просьбе писателя его единомышленник и близкий друг — В. Г. Чертков.

Благодаря Лисицыну, некоторые произведения Толстого были известны в Эстонии еще задолго до их опубликования. Так произошло, например, с послесловием к «Крейцеровой сонате», написанным Толстым в связи с поступившими к нему письмами. В Тарту оно читалось по рукописному списку и Лисицын, обращаясь к Льву Николаевичу, уже в июне 1890 г. высказывал свое мнение о послесловии[11].

Не порывал связи с корреспондентом из Эстонии и сам Толстой. «Получил ваше письмо и с истинной душевной радостью прочел его . . .[12] — писал он Лисицыну. — У вас есть та главная сила души, которая дает цену жизни для себя и для других — сила самосознания суда над собой. Письмо ваше и тронуло и порадовало меня . . . Пишите мне. Любящий вас Л. Толстой»[13].

В 1891 году М. Лисицыну предложили взять на себя редактирование газеты «Прибалтийский край» и он поделился своими планами с Л. Толстым. Лев Николаевич одобрил намерения



Н. С. Лесков.
Фото, 1888—1889 гг.

Лисицына. «... Когда получите разрешение и составите программу, — писал он в Тарту, — не откажусь хотя номинально участвовать. Говорю номинально п. ч. дела так много, а сил так мало что наверное не успею кончить задуманного; а не кончив задуманного не позволю себе заниматься другим»[14].

Но даже упоминание имени Л. Толстого в программе газеты могло повлечь за собой ее запрещение. И писатель предупредил об этом Лисицына, рекомендуя обратиться одновременно за помощью и к Н. С. Лескову [15]. Совет, разумеется, был принят, хотя и не дал ожидаемых результатов. «Имея цензурную бандероль на устах», Лесков отвергал возможность честной и беспристрастной борьбы за свои идеи в легальной печати. «Ничего того, что Л. (ев) Н. (иколаевич) напишет для газеты ... — заявлял он, — не дозволят напечатать в газете, издаваемой теперь в России»[16]. Считая, что для этого имеется очень много доказательств, он относился более чем скептически к целесообразности создания в Прибалтике новой подцензурной газеты.

II. ПОСЛАНИЕ ТАРТУСКИХ СТУДЕНТОВ

Среди отправленных Толстому из Эстонии писем одно представляет особенно большой интерес. Это — послание от Союз-

ного совета дерптских объединенных землячеств и организаций». Оно пришло в Ясную Поляну в апреле 1901 года, в том потоке писем и телеграмм, который вызвало отлучение писателя от церкви. Значение письма необычайно велико для характеристики прогрессивной части тартуского студенчества, примкнувшей в начале XX столетия к общероссийскому студенческому движению.

Первоначально требования передовых слоев молодежи сводились тогда к праву создавать организации, свободно собираться на сходки, не подвергаться полицейскому надзору. Но, благодаря поддержке со стороны рабочего класса, эти еще слабые выступления вылились вскоре в мощный протест против самодержавного строя.

Стремясь сломить «бунтарский» дух молодежи, объявившей в ряде университетов забастовку, царское правительство отдало наиболее вольнодумных студентов в солдаты. Однако за репрессиями последовали новые стачки. В Петербурге, Москве, Харькове, Тифлисе и других городах прошли многочисленные демонстрации с требованием отменить позорную рекрутчину.

Об этом быстро стало известно в Тарту. 18 марта 1901 года, за две недели до написания письма Толстому, «Союзный Совет объединенных землячеств и организаций» распространял среди студенчества листовку. Она подробно информировала о положении в учебных заведениях: о демонстрации киевских студентов, против которых были брошены войска и полиция; о забастовке в Петербургском политехническом институте; о расстреле студента-солдата, отказавшегося от присяги...

В Тарту росло недовольство, крепла солидарность с борющимися петербургскими, киевскими, харьковскими товарищами. Студенты университета отказывались сдавать экзамены, покидали лекции. По рукам шли нелегальные стихи и листовки, призывавшие к борьбе с тиранами [17]. В университетский городок дополнительно отрядили полсотни рижских городовых, но и они не в силах были сломить подымавшуюся волну студенческого движения. Значительная часть тартуской молодежи, в среде которой были и русские, и эстонцы, и латыши, и украинцы, приняла участие в политической демонстрации. В ответ последовало исключение свыше двухсот студентов.

Атмосфера с каждым днем всё более накалялась. 13 марта 1902 г. попечитель Рижского учебного округа донес о том, что «по дознанию, произведенному лифляндским начальником жандармского управления, среди студентов Юрьевского университета обнаружено преступное сообщество, участники коего в числе 16 человек привлечены в качестве обвиняемых в преступлении...»[18] Полицейские ищейки пронюхали о существовании

подобного же общества и в местном ветеринарном институте. Созданное в начале 80-х годов «с целью саморазвития, взаимопомощи, нравственной поддержки своих членов и развития среди них духа товарищества»[19], оно, согласно отношению министерства внутренних дел в департамент народного просвещения, быстро изменило свои задачи. Члены этой организации, куда вошли и студенты университета, стали заниматься общественными науками, интересоваться студенческим движением и революционными идеями, изучать К. Маркса, писать рефераты о декабристах. Принимая живое участие в забастовках и в деятельности революционных кружков, они не допускали уже в свое общество лиц, не сочувствовавших студенческим волнениям. Задачей этой организации являлась подготовка новых рефератов по рабочему вопросу и истории революционного движения в России, а также распространение среди студентов революционных идей.

Подробнейшее отношение из министерства внутренних дел, составленное на основании донесений тартуского тайного осведомителя, дает возможность установить организационное устройство общества. Оно имело негласный устав, определявший его состав, обязывавший членов соблюдать строжайшую конспирацию заседаний, устанавливавший порядок обсуждения рефератов. Помимо устава, деятельность общества регламентировалась также правилами управления его делами, правилами, касающимися заведывания кассой, библиотекой, и правилами устройства очередных и экстренных собраний.

Министерство внутренних дел, департамент просвещения, жандармский корпус, губернатор, попечитель учебного округа занялись полицейским сыском. Каждый из членов общества был взят под строжайший надзор. И тут, неожиданно для полицейских органов, оказалось, что в Тарту существовала еще одна «крамольная» организация. Это общество было создано в 1886 г. «Вскоре после его основания обнаружилось среди членов его, — сообщал в секретном донесении министру просвещения попечитель Рижского учебного округа, — стремление к разбирательству вопросов социального характера, и членами его были преимущественно студенты, сочувствующие такому направлению. Число членов его не превышало 10—15 человек, и большинство их принимало активное участие в студенческих волнениях последних лет»[20].

Революционные идеи владели уже значительной частью тартуской молодежи. В октябре 1903 г. попечитель учебного округа сообщал в Петербург, что после окончания дозволенного начальством увеселительного вечера, большая группа студентов университета и ветеринарного института собралась вновь, но

на сей раз уже тайком. «Они пели песни, — доносил он, — и произносили какие-то речи. Содержание речей осталось невыясненным; что же касается песен, то между ними можно было слышать песни революционного содержания»[21].

В ту пору небывалого еще роста самосознания тартуского студенчества молодежь видела в Толстом великого и неустрашимого борца с мерзостями самодержавного строя, ненавидевшего полицейский и чиновничий произвол, разоблачавшего царское «правосудие», церковь, аристократию . . .

Все эти чувства большая часть студентов, входившая в «Союзный Совет дерптских объединенных землячеств и организаций», выразила в письме Толстому. «Ваше слово, — писала тартуская молодежь, — сохраняло свою силу даже пройдя через чистилище русской цензуры. Ваши труды, избежавшие цензурной вивисекции, распространялись по всей России и у всех читателей жгли сердца. Всякое ваше слово достигало по назначению и делало свое дело . . . Чем наглее становился произвол, тем беспощаднее Вы его обличали; чем сильнее холод узкого, животного эгоизма сковывал человеческие сердца, тем сильнее Вы жгли их своим горячим, пророческим словом . . .»

До Тарту дошли слухи о том, что вслед за решением Синода об отлучении Толстого от церкви, последует также изгнание великого писателя из России. Это глубоко возмутило и встревожило студентов. «Мы не находим слов, — заявляли они в том же письме, — чтобы выразить всё негодование, какое вызвал в нас этот новый акт произвола. Но мы верим, что и с далекой чужбины до нас дойдут Ваши слова и поддержат нас в нашей борьбе с произволом. Если текущий год и не есть начало новой весны в русской жизни; если пробуждение общественной совести есть только первая ласточка, которая не делает весны, то всё же эта ласточка возвещает скорый конец зимы. Мы верим, что скоро придет весна!»

Многие прогрессивно настроенные студенты верили, что настанет пора неминуемой победы над самодержавным строем и Толстому суждено будет увидеть «весну в русской жизни». Они преклонялись перед гением «могучего борца против произвола», перед его «несокрушимой твердостью в этой многолетней борьбе»[22].

Глубоко знаменательно, что вслед за письмом «Союзного Совета дерптских объединенных землячеств и организаций» последовало событие, еще более подчеркнувшее отношение к Льву Толстому передовых слоев тартуской интеллигенции.

В 1902 году университет готовился к своему столетию. На одном из заседаний совета обсуждались выставленные факультетами кандидатуры его новых почетных членов. Назывались имена великих русских ученых Д. И. Менделеева, И. П. Павлова, И. И. Мечникова, И. М. Сеченова, В. М. Бехтерева. От группы профессоров слово взял историк Е. Ф. Шмурло. Наряду с корифеями отечественной науки, он предложил избрать в почетные члены университета и Льва Николаевича Толстого.

«Автор «Детства», «Отрочества», «Войны и мира», «Анны Карениной», — произведений, неувядаемые красоты которых надолго переживут наше поколение, — говорилось в зачитанном на заседании официальном «Отзыве» о Льве Толстом, — давно уже стал в сознании русского общества великим писателем земли русской. После Пушкина никто в русской литературе не дерзает на равное с ним место. На художественных созданиях его творчества, под обаянием его всесильного пера, рисовавшего высокие и вечные идеалы добра и красоты, воспитались тысячи и тысячи русских людей ... «Духовной жаждою томим», его пытливый ум, по-видимому, не знает усталости в своем стремлении выяснить основные проблемы человеческой жизни».

Прогрессивные тартуские ученые не были уверены в справедливости религиозных догматов Толстого, хотя все искания писателя-мыслителя и были, по их словам, «неизменно согреты чистым и благородным пламенем, — тем пламенем, что с юношеской силою горит в его старческом сердце». Но они признавали величайшие заслуги пытливого художника в развитии мировой литературы. «Нет, кажется, ни одной сферы человеческой мысли, — писали профессора историко-филологического факультета, — которую бы не затронул Толстой, а, главное, над которой не заставил бы нас серьезно задуматься и заново обсудить». Называя его гордостью и славой русской литературы, они указывали на необычайную популярность великого писателя, каждое слово которого привлекало к себе внимание во всех уголках земного шара; творчество которого содействовало росту национального самодостоинства и самоуважения [23].

Заявление должно было убедить членов Совета в том, что избранием Толстого они не только окажут подобающую дань уважения ему лично, но и приобретут почетное право считать

в своих рядах величайшего русского писателя. Однако против этой кандидатуры решительно выступил реакционнейший богословский факультет. Мракобес от-науки, поп в профессорском звании А. Царевский, зачитав омерзительное определение Синода «О ересях графа», пытался, как сообщала одна из газет того времени, доказать, что «Л. Толстой, как отпавший от православной церкви, лишен общения с православными гражданами, следовательно, и недостоин быть почетным членом университета»[24].

Богословам не удалось снять кандидатуру Толстого. Они сумели лишь приостановить на время его избрание[25]. Спустя две недели вопрос обсуждался вновь и уже на специальном заседании Совета. Протоирей Царевский потребовал исключения имени Толстого из списка деятелей русской культуры, намеченных к избранию в почетные члены. Но на сей раз богословы потерпели полное поражение. Двадцатью двумя голосами против тринадцати Лев Николаевич Толстой был удостоен высокого звания[26].

Решение лучшей части тартуских ученых вызвало ярость тех, кому ненавистно было творчество великого обличителя. Иоанн Кронштадтский, этот волк в овечьей шкуре, разразился гневным посланием, предав анафеме профессоров университета. «Удивляюсь, — писал он, — малодушию и рабскому преклонению г.г. профессоров перед лицом графа Толстого и Иудину предательству Христа, так как имеющие общение с ним (Толстым. — А. Л.) и даже приветствующие его сообщаются, по апостолу, делом злым . . .»[27]

Не ограничившись оскорбительным письмом, кронштадтский «чудотворец» отказался принять выхлопотанное для него богословским факультетом звание почетного члена. «Под одной категорией с безбожником, — телеграфировал он в Тарту, — быть не желаю . . .» Припадочный протоирей был уверен, что его гневная тирада произведет переполох и ученые, в выборе между Толстым и отцом Иоанном, остановятся, конечно, на последнем. Но ожидания мракобеса не оправдались. Подавлявшее большинство Совета не пожелало даже обсуждать его письмо.

12 декабря 1902 года, в день 100-летия университета, актовый зал заполнили профессора, студенты, многочисленные гости. Среди присутствовавших были великий русский ученый Д. И. Менделеев, выдающийся геолог Ф. Н. Чернышев, один из создателей неврологии и психиатрии В. М. Бехтерев, создатель новой науки — сейсмологии — академик Б. Б. Голицын и другие видные представители отечественной культуры. В торжественной тишине ректор назвал новых почетных членов, и пер-

вым произнес имя Льва Николаевича Толстого. Для большинства из тех, кто собрался чествовать одно из старейших высших учебных заведений России, это было радостным событием. «Это было, — сообщал участник юбилейного заседания, — поистине достойным торжеством русской науки и русской литературы . . .»[28]

IV. ПАСКВИЛЬ ОСТЗЕЙСКОГО ПУБЛИЦИСТА

Не одни лишь богословы были в Тарту яростными ненавистниками Толстого. Наряду с прогрессивно мыслившими профессорами и студентами, для которых великий художник являлся гордостью и славой русского народа, на торжественном акте 100-летия университета присутствовали и враги Толстого, не облаченные в поповские рясы. Среди них находился Герман фон Самсон-Гиммельстьерн — 76-летний старец, на протяжении ряда лет редактировавший одну из прибалтийских газет.

Будучи лидером остзейских либералов, Г. фон Самсон-Гиммельстьерн выступал за укрепление союза с самодержавной Россией, т. к. это, по его признанию, приносило пользу самим немецким помещикам. Он не был сторонником сохранения остзейской самобытности, не считал разумным пренебрегать сближением с русскими, призывал даже баронов «слиться в политическом отношении» с коренным населением края — эстонцами и латышами. Но, говоря о сближении с русскими, Г. фон Самсон-Гиммельстьерн имел, разумеется, в виду одних лишь приверженцев абсолютной монархии. «Слиться в политическом отношении» — это значило онемечить угнетенные народы Прибалтики. Он бравировал либеральными идеями, и в то же время провозглашал крепостное право . . . отличнейшей школой для прибалтийского крестьянства [29].

Являясь врагом эстонского народа, Г. фон Самсон-Гиммельстьерн каждое выступление прогрессивного деятеля русской культуры, направленное в защиту крестьян Прибалтики, воспринимал с яростью и ожесточением. Он негодовал, что и в новом, двадцатом, столетии лучшие люди русского народа, так же как и в минувшем веке, смело обличали остзейских плантаторов.

А голоса этих русских друзей и защитников прибалтийских народов по-прежнему доносились в Эстонию. В 1903 году ее посетил Д. Мамин-Сибиряк. В опубликованных тогда же путевых заметках, он правдиво осветил состояние прибалтийского крестьянства. «Как при новгородцах, — писал Мамин-Сиби-



Д. Н. Мамин-Сибиряк.

ряк, — население состоит из ливов, эстов и латышей и, как при новгородцах, это население остается враждебным насильно вторгшемуся в эту страну немецкому элементу в лице грозного тевтонского ордена, наследниками которого являются нынешние остзейские бароны. Громадный край продолжает нести тяжелое иго ничтожной кучки завоевателей . . .»[30]

Другой выдающийся русский писатель А. И. Куприн побывал в Прибалтике спустя несколько лет после «певца Урала». В большой статье он также подверг царившие там порядки беспощадной критике. При этом, Куприн не ограничился описанием путевых впечатлений, а заглянул в глубь прибалтийской истории. Он высмеял закон 1804 г., когда «за крестьянами было обеспечено потомственное пользование землей за известное вознаграждение, но личной свободы у народа не было». Он решительно осудил Положения 1816—19 гг., которыми «была дарована крестьянам личная свобода, но отменено Положение 1804 года». Он с возмущением заявил, что сперва прибалтийские крестьяне пользовались землей, но не имели свободы; потом им дали свободу, но отняли землю. «Злая шутка истории!», — восклицал писатель.

Куприн осознал и кощунственную сущность «реформы» 1856 года. Этот закон и в начале XX века предоставлял эстонскому



А. И. Куприн.

бедняку те же «преимущества», что и в момент своего издания: идти за нищенское вознаграждение и скверную пищу в батраки к помещику, к «серому барону» — кулаку.

Отзываясь с огромной теплотой о простом прибалтийском крестьянине, Куприн, в то же время, с омерзением говорил о современных ему остзейских дворянах. Они, негодовал писатель, «достигают значительных бюрократических степеней, с высоты которых ... могут и умеют влиять на судьбы русской империи. Надо ли говорить о том, что сердцем, душою, плотью и кровью они остаются теми же остзейскими баронами, которым интересы родных гербов и фамильных замков бесконечно дороже всей этой огромной ... русской земли. Таким-то образом, — заявлял писатель, — несколько десятков баронских родов ... фактически попирают железной господской пятою исконное бесправное десятимиллионное население прибалтийского края, связывая его тесными путами»[31].

Справедливый гнев Куприна разделяли тогда же и передовые русские люди, жившие в самой Эстонии. Прогрессивная тартуская газета «Окраина» в одном из апрельских номеров 1912 года утверждала, что вся история прибалтийского края являлась непрерывной повестью об экономическом рабстве и политическом бесправии народных масс, о баронском гнете и страдании эстонского и латышского крестьянства. «В центральном управлении, — заявляла газета, — роль прибалтийцев (имеются в виду остзейские дворяне. — А. Л.) сводилась к подкладыванию палок в колёса повозки прогресса, а в мест-

ном крае они стремились к «отеческой» опёке подчинённого народа . . .»[32]

Эта характеристика в полной мере относилась и к Г. фон Самсону-Гиммельстьерну. Унаследовав от своих предков враждебные чувства к русскому народу, остзейский публицист начисто отвергал самобытность великой русской культуры, ставил ее в полную зависимость от европейского Запада. «Настоящее умственное развитие, — заявлял он, — достигается в России почти исключительно только путем самообразования, почему там встречается большею частью ничто иное, как несистематический дилетантизм . . .»[33]

Реакционнейший публицист и явился рупором остзейского дворянства, с остервенением набросившегося на Льва Николаевича Толстого. Уже само название вышедшей в 1905 году в Тарту книжки Г. фон Самсона-Гиммельстьерна — «Анти-Толстой» — с достаточной выразительностью отражало ее содержание.

Не было бы смысла подробно останавливаться на клеветнической брошюре, если бы она выражала взгляды, мысли или чувства одного лишь ее автора. Но, в данном случае, мы имеем дело с претендующим на научную объективность «исследованием», призванным с позиций махровых реакционеров разрушить в молодых (да и не только в молодых!) умах ореол гениального художника, притупить беспокоившую остзейцев обличительную силу творений Льва Толстого.

Первые строки этой книжки должны были, по замыслу, ввести в заблуждение читателя и убедить его в полной объективности автора. Г. фон Самсон-Гиммельстьерн писал и об усиливавшемся всеобщем внимании к сочинениям Толстого; и о том, что всякое новое изречение русского писателя, несмотря на препятствия, почти одновременно издавалось во всех столицах Европы; и что всеми он признан был необычайным событием в истории человечества.

Но, сделав этот краткий обзор, Г. фон Самсон-Гиммельстьерн перешел в решительное наступление. Уже на второй странице одна строка настораживала читателя: «Как бы ни высоко ставилось поэтическое дарование Толстого, — сообщал автор, — однако лишь предубежденный энтузиаст был в состоянии приравнять сочинения Толстого к произведениям бессмертных певцов мира»[34]. Тут же, Г. фон Самсон-Гиммельстьерн называл «Войну и мир» растянутым романом, предостерегая от «соблазна» называть его русской «Илиадой». Поставив вопрос — «Где же следует искать причину того, что Толстой так скоро стал всеобщею знаменитостью?», автор не сдерживал уже более клокотавших в нем чувств. В своей ненависти к русскому писателю

он дошел до отрицания . . . оригинальности его произведений. Позабыв о первых страницах книги, где речь шла о всеобщем признании Толстого, автор сделал еще одно клеветническое заявление. Даже самые ревностные почитатели и последователи Толстого, заявлял он, признают дилетантизм его творчества.

Все последующие главки пасквиля посвящены были «доказательству» выдвинутого Г. фон Самсоном-Гиммельстьерном абсурдного положения. Высокомерно величая Л. Толстого «фигляром-художником» и «художником-импрессионистом, не получившим академического образования», он стремился уверить читателей в «слепой односторонней деятельности разума»[35] русского писателя. То, что Толстой рисовал «положение дел в России весьма деспотическим, предавая его презрению», являлось, по словам Г. фон Самсона-Гиммельстьерна, «патологическим недостатком здравого смысла»[36]. Можно ли вообще говорить, с негодованием восклицал автор, о безграничной свободе и вольности! Разве можно, заявлял он, называть «мудрое» ограничение свободы (со стороны, разумеется, самодержавной власти) деспотизмом! «Простой, невоспитанный несвободный человек, — писал Г. фон Самсон-Гиммельстьерн, имея в виду народные массы, — совсем не сумел бы жить без руководства воспитателя и барина . . .»[37]

Произведения Льва Толстого, подрывавшие государственные, общественные и церковные устои самодержавной империи, привели остзейского публициста в такую ярость, что он поставил его в один ряд с «опасными мечтателями»-революционерами. «Крамольнейшей» и «вреднейшей» счел Г. фон Самсон-Гиммельстьерн, в частности, статью «Рабство нашего времени»[38], обличавшую это позорное явление «цивилизованного» общества.

«Положение рабства нашего времени, — заявлял Толстой, — находится теперь совершенно в том же фазисе, в котором находилось крепостное право в Европе в конце XVIII столетия, а у нас и невольничество в Америке во второй четверти XIX столетия.

Рабство рабочих нашего времени только начинает сознаваться передовыми людьми нашего общества; большинство же еще вполне уверено, что среди нас нет никакого рабства.

Людей нашего времени поддерживает в этом непонимании своего положения еще и то обстоятельство, что мы только что отменили в России и Америке рабство. В действительности же отмена крепостничества и невольничества была только отменой устаревшей, ставшей ненужной формы рабства и заменой её более твердой и захватившей большее против прежнего количество рабов формой рабства»[39].

Для прогрессивного прибалтийского читателя, и это, конечно, понимал Г. фон Самсон-Гиммельстьерн, подобная оценка пресловутого «освобождения» рабов могла быть, одновременно, и характеристикой предпринятой в 50-х годах в Эстонии антинародной «реформы». Толстой разоблачал буржуазных демагогов, тщетно стремившихся доказать, что после обнародования Линкольном знаменитого воззвания об отмене рабовладения в Америке не стало невольников. А в памяти невольно всплывали многочисленные лицемерные заявления остзейских публицистов, вопреки фактам утверждавших, что эстонские крестьяне, вместе с дарованной им «свободою», обрели будто бы и блага обеспеченной жизни.

Публицистическая статья Льва Толстого непосредственно не касалась Прибалтики. Но разве мало общего было у эстонских бедняков с тульскими, орловскими и воронежскими крестьянами, по 36 часов грузивших товары на Московско-Казанской железной дороге; с несчастными деревенскими женщинами, из-за куска хлеба, не разгибая спины, трудившимися на фабрике шелковых изделий; с рабочими чугуно-литейного завода, тяжелая и беспросветная жизнь которых вызвала гнев писателя-гуманиста!

В 1905 году, когда вышла книжка Г. фон Самсона-Гиммельстьерна, 413 помещиков Эстляндской губернии владели 1.106.000 десятинами, что составляло 66 процентов всей земли. Оставшиеся 34 процента находились, в основном, в руках кулаков. Огромная же масса крестьян, вовсе не имея земли, беспощадно эксплуатировалась и баронами, и кулаками-мироедами [40].

Хотя еще в 70-х годах Г. фон Самсон-Гиммельстьерн с иронией отзывался о сверхъестественном происхождении особых привилегий остзейского дворянства, однако и тогда он был далек от стремления ущемить интересы помещичьего класса. Вот почему суровая критика Толстым современных ему рабовладельческих нравов вызвала у него бешеный вопль: «. . . Новая брошюра Толстого гибельна и опасна именно тем, — заявлял Г. фон Самсон-Гиммельстьерн, — что она в высшей степени способна возбудить, поддержать в рабочих жгучую ненависть к раздающим работы, вместо того, чтобы . . . сделать из них миролюбивых, любящих ближнего христиан» [41].

Ведя борьбу против Толстого, Г. фон Самсон-Гиммельстьерн не брезговал самыми грязными приемами. Достаточно сказать, что в своей книжке он пытался даже ответить на такие кощунственные вопросы, как: «Ближе ли Лев Николаевич Толстой к гениальности или к умопомешательству?», «Можно ли доказать у Толстого признаки психического вырождения . . .?», «С каких пор стали появляться эти симптомы?», «Какие обстоятельства

ускорили развитие болезни?»[42] Этим Г. фон Самсон-Гиммельстьерн перещеголял даже своих ретивых коллег из самодержавно-православных кругов России, обвинявших Толстого в «авантюризме», «безграничном невежестве», «лицемерии», «предательстве», «душегубстве» и бесчисленном количестве других подобных же «грехах». Г. фон Самсон-Гиммельстьерн солидаризировался со всеми реакционными силами империи — духовенством и значительным большинством дворянства, великосветскими сановниками и черносотенным «Союзом русского народа», не говоря уже о лютеранских пасторах и прибалтийских баронах. Не случайно поэтому его клеветническая книжка перекликалась с погромной речью в Саратове епископа Гермогена, так же как и Г. фон Самсон-Гиммельстьерн назвавшего Толстого «всероссийским разбойником», «разрушителем и государства, и семьи и церкви»[43].

Выход в Тарту книжки о Толстом совпал с нарастанием в России революционного движения. 1905 год начался «кровавым воскресеньем» — расстрелом рабочих у Зимнего дворца. Во всех городах вспыхнули стачки протеста. В течение трех месяцев бастовало свыше 800 тысяч промышленных рабочих. Волнения быстро перекинулись в деревню, охватили массы студенчества и демократической интеллигенции.

Вместе с русским пролетариатом на борьбу подымались и трудящиеся Эстонии. 12 января остановились таллинские фабрики и заводы. Тысячи русских и эстонских рабочих, собравшись на митинг, выработали коллективные требования. Против забастовщиков бросили войска.

Еще не закончилась таллинская стачка, как остановилась Нарвская льнопрядильная фабрика, забастовали пярнуские рабочие. В знак протеста против бесчинств самодержавного правительства отказались от посещения лекций тартуские студенты.

Но январские стачки были лишь прологом еще более серьезных событий. «Разразилась гроза, возвестившая начало революции... — говорилось в листовке тартуской группы РСДРП. — Берите топоры и точите их, заряжайте ружья, ибо они скоро понадобятся. В борьбе с царизмом вам нечего терять, кроме своих цепей! Долой самодержавие! Долой войну! Да здравствует народная республика!» В феврале стачечное движение разрослось, и рабочие, помимо экономических, предъявляли уже и политические требования. К 1 мая в Таллине, под руководством революционной части комитета РСДРП, была объявлена первая в Эстонии политическая стачка. На многолюдных собраниях большевики подготовляли трудящиеся массы к вооруженному восстанию. В Курессааре, молодой еще в те

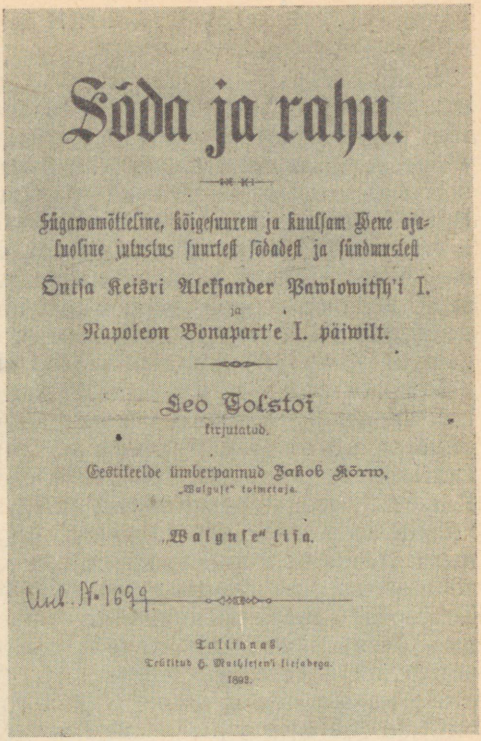
годы, Виктор Кингисепп говорил о необходимости решительной борьбы с самодержавием [44].

Под руководством Коммунистической партии выступления эстонского пролетариата и беднейшего крестьянства принимали все более широкие размеры. Новым толчком для дальнейшего развития революционного движения явилась октябрьская всероссийская стачка железнодорожников. Вновь забастовали таллинские рабочие. На улицах города, по указанию губернатора, была учинена кровавая расправа с участниками массового митинга. Прекратили работу юрьевские предприятия, и помощник начальника жандармского управления доносил по начальству, что к городу начали присоединяться ближайшие селения. В ноябре—декабре 1905 года было зарегистрировано 362 выступления эстонских крестьян.

В те тревожные дни напуганные революционным движением остзейские реакционеры и предприняли атаку на Льва Толстого. Г. фон Самсон-Гиммельстьерн призван был оклеветать великого писателя и, в первую очередь, ослабить его могучее влияние на умы тартуского студенчества.

Чтобы представить себе, как была настроена молодежь, которую стремился обмануть своим гнуснейшим пасквилем Г. фон-Самсон-Гиммельстьерн, достаточно обратиться хотя бы к одному красноречивому документу. Это — резолюция общестуденческой сходки, созванной тем самым «Союзным Советом дерптских объединенных землячеств и организаций», который еще в 1901 году послал великому писателю прочувствованное письмо. После бурного митинга, 6 февраля 1905 года, свыше тысячи студентов Тартуского университета признало, что «самодержавно, ни пред кем не ответственное правительство в своей . . . политике преследует не интересы народа, а интересы придворных авантюристов»; что «гибельное влияние самодержавия и бюрократического строя на развитие русской цивилизации, русской промышленности, народного благосостояния, вообще на культурное развитие России ясно сознано . . .»; что «студенческие беспорядки, возникшие первоначально на академической почве, приняли явно политический характер, возобновляются почти ежегодно и не имеют ни малейшей тенденции прекратиться»; что «варварская, потрясшая нас до глубины души расправа с безоружными рабочими Петербурга, с демонстрантами Риги, Варшавы и других городов лишила самодержавный режим последней нравственной основы и переполнила чашу долготерпения русского народа . . .»[45]

И вот эту-то передовую молодежь Г. фон Самсон-Гиммельстьерн и стремился убедить в том, что Лев Толстой — кощунственный еретик, ибо своими книгами он подтачивал



Sõda ja rahu.

Sügawamõtteline, kõigesuurem ja kuulsam Wene ajaluoline jutustus suurtest sõdadest ja sündmustest

Õntsa Keisri Aleksander Pawlowitsh'i I.

ja

Napoleon Bonapart'e I. päiwilt.

Leo Tolstoi

kirjutatud.

Eestikeelde ümberpannud Jakob Kõrw,

„Walguse" toimetaja.

„Walguse" lisa.

Tallinnas,

Trükitud H. Mathiesen'i kirjadega.

1892.

«Война и мир» Л. Толстого в переводе на эстонский язык, Таллин, 1893. Титульный лист.

основы самодержавного строя! Понятно, что лучшая часть тартуской профессуры и большинство студенчества с возмущением встретила грязную и клеветническую книжку. Яростная атака остзейского публициста не принесла ему успеха: она не поколебала авторитета русского гения, не уменьшила огромной популярности в Эстонии произведений Толстого. «Юрьевский листок» с презрением отмел злобные нападки прибалтийских «просветителей» на русскую культуру, величие которой, писала газета, признано всем миром. Анонимный корреспондент, по всей вероятности, студент университета, с гордостью назвал в своей статье имена Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева, Чехова, Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского, Мечникова и Менделеева, сделавших великий вклад в развитие мировой литературы, музыки, науки[16].

V. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

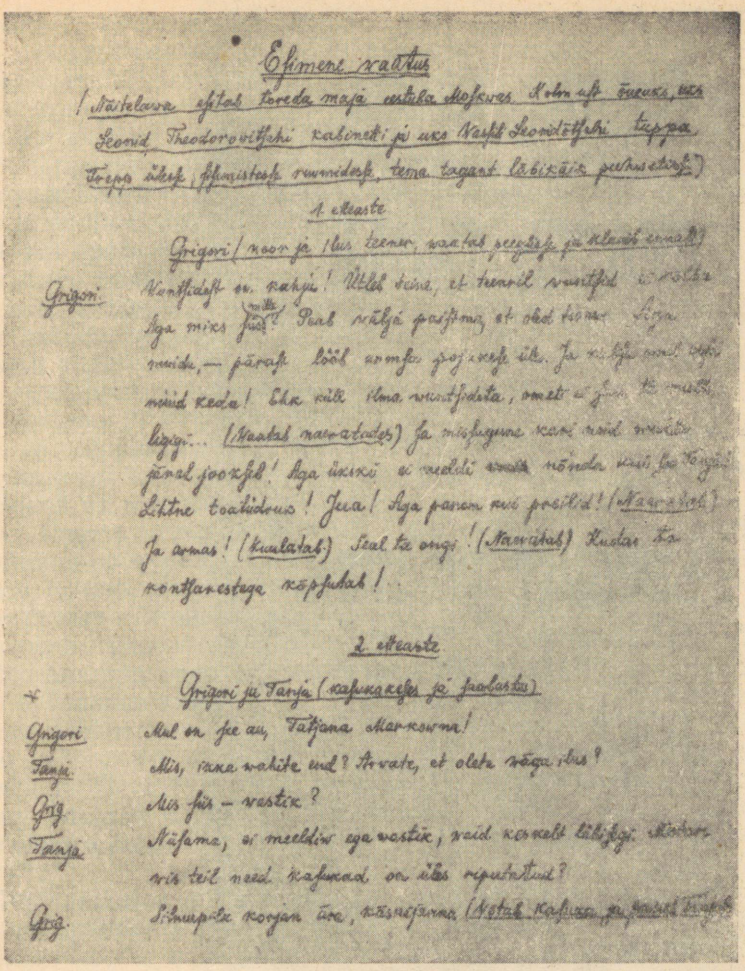
К концу XIX — началу XX столетий эстонскому народу уже известны были многие из произведений Льва Толстого. В 1882 году журнал «Меэлеяхутая» опубликовал перевод его легенды «Чем люди живы». Спустя пять лет, в Нарве был издан на эстонском языке отдельной книжкой «Кавказский пленник». В 1894 году в Эстонии вышел роман Толстого «Война и мир» и его успех был настолько велик, что через четыре года возникла потребность в новом издании. Перевод второго издания этой величественной эпопеи осуществил, в основном, поэт-демократ Я. Тамм. В девятисотых годах на эстонском языке вышли также «Анна Каренина» и «Воскресение».

Распространение, а в еще большей степени перевод в Эстонии творений великого художника вызвал у остзейского дворянства и буржуазии, у чинов жандармского корпуса и цензуры сильнейшее беспокойство. Эта тревога отразилась в пасквиле Г. фон Самсона-Гиммельстьерна. Она же побудила местные полицейские власти установить строжайший надзор за книжными лавками и типографиями, а дерптского отдельного цензора — завести специальное дело о запрещенных сочинениях Толстого [47]. Были предприняты также решительные меры, чтобы имя беспокойного писателя возможно реже упоминалось в эстонской прессе. Разрешение на издание произведений Толстого на эстонском языке с 80-х годов выдавалось непосредственно главным управлением по делам печати. Попавшие же в петлю цензурного ведомства рукописи не всегда оттуда выбирались.

Так было с народной драмой «Власть тьмы». Известно, какие чудовищные мытарства прошла эта пьеса и на русском языке, прежде чем увидела свет рампы. Написанная в 1886 г. и в том же году опубликованная в собрании сочинений Толстого, она почти сейчас же была подвергнута цензурному запрету. Только в 1895 году ее поставили, наконец, в Александринском театре. Однако уже в 1898 г. пьеса была признана «непригодной для народного чтения»[48].

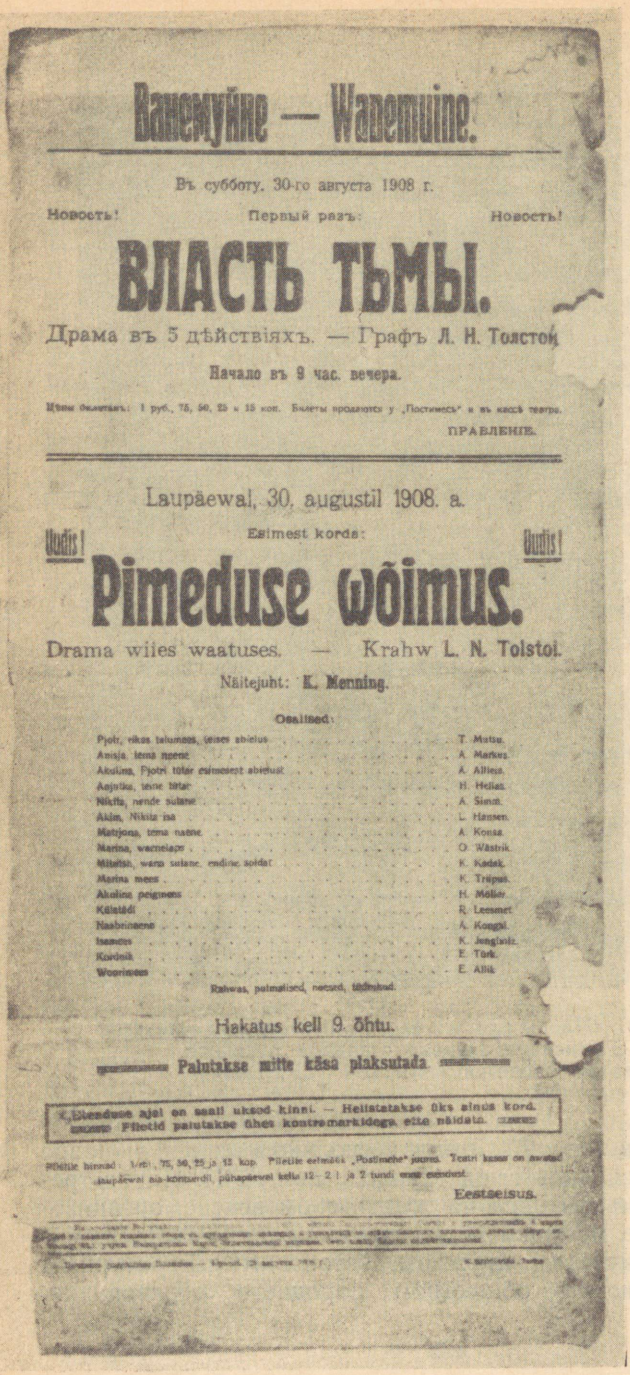
Подобную же цензурную борьбу выдержал и перевод «Власти тьмы». 1 марта 1901 г. в главное управление по делам печати поступил экземпляр пьесы на эстонском языке. В приложенном к нему заявлении изъявлялось желание осуществить постановку драмы Толстого. Но в цензурном ведомстве просьбу отвергли, и в тот же день на рукописи было наложено лаконичное «Не разрешать».[49]

Позднее эстонским прогрессивным деятелям удалось всё же поставить пьесу Толстого. В 1908 г., к 80-летию великого писа-



Пьеса Л. Толстого «Плоды просвещения» в переводе на эстонский язык А. Таммсааре. Первая страница рукописи. Музей театра и музыки Эстонской ССР, Таллин.

теля, ее показали в Тарту [50]. Спустя несколько месяцев, в январе 1909 года, подготовленный под руководством П. И. Пинна третий акт «Власти тьмы» шел на толстовском вечере, организованном в Таллине местным педагогическим обществом, любительским драматическим кружком, эстонским литературным обществом, эстонским обществом народного образования,



Ванемуйне — Wanemuine.

Въ субботу, 30-го августа 1908 г.

Новость! Первый разъ: Новость!

ВЛАСТЬ ТЬМЫ.

Драма въ 5 дѣйствіяхъ. — Графъ Л. Н. Толстой

Начало въ 9 час. вечера.

Цѣны билетамъ: 1 руб., 75, 50, 25 и 15 коп. Билеты продаются у „Постимесъ" и въ кассѣ театра.

ПРАВЛЕНІЕ.

Laupäewal, 30. augustil 1908. a.

Uudis! Esimest korda: Uudis!

Pimeduse wõimus.

Drama wiies waatuses. — Krahw L. N. Tolstoi.

Näitejuht: **K. Menning.**

Osalised:

Pjotr, rikas talumees, teises abielus	T. Mutsu.
Anisja, tema naene	A. Markus.
Akulina, Pjotri tütar esimesest abielust	A. Allieis.
Anjutka, teine tütar	H. Helias.
Nikita, nende sulane	A. Simm.
Akim, Nikita isa	L. Hansen.
Matrjona, tema naene	A. Konsa.
Marina, wacnelaps	O. Wästrik.
Mitrish, wana sulane, endine soldat	K. Kadak.
Marina mees	K. Triipus.
Akulina peigmees	H. Möller.
Külatädi	R. Leesmet.
Naabrinaene	A. Kongsi.
Isamees	K. Jenglinitz.
Kordnik	E. Türk.
Woorimees	E. Allik.

Rahwas, palmalised, naesed, tüdrukud.

Hakatus kell 9. õhtu.

Palutakse mitte käsa plaksutada.

Etenduse ajal on saali uksed kinni. — Helistatakse üks ainus kord. Piletid palutakse ühes kontramarkidega ette näidata.

Piletite hinnad: 1/rbl., 75, 50, 25 ja 15 kop. Piletite eelmäük „Postimehe" juures. Teatri kassa on awatud laupäewal aia-kontserdil, pühapäewal kella 12—2 l. ja 2 tundi enne etendust.

Eestseisus.

Программа спектакля «Власть тьмы» в театре «Ванемуйне» (Тарту), 1908. Музей театра и музыки Эстонской ССР, Таллин.

обществом «Эстония» и литературным кружком [51]. «Надлежащее разрешение» на исполнение драмы получил в 1910 году также театр «Эстония»[52]. Однако ставить эту пьесу на народной сцене для крестьян по-прежнему категорически запрещалось.

Всеми силами пытаясь ослабить революционизирующее значение обличительной критики Толстого, царская цензура с помощью блюстителей «правосудия» закрывала доступ в Эстонию и многим другим произведениям великого русского писателя. На протяжении короткого периода 1907—1911 гг. в Таллине было возбуждено несколько судебных дел против издателей и переводчиков на эстонский язык книг Толстого. Творения гениального художника подвергались строжайшему запрету, тиражи ряда изданий уничтожались полицейскими приставами еще до их выхода в свет.

В полдень 20 октября 1907 г. в одну из таллинских типографий, в сопровождении двух полицейских, явился пристав. Результатом длительного обыска был арест 4500 экземпляров изданной на эстонском языке брошюры со статьями Льва Толстого. Спустя несколько часов о чрезвычайном происшествии доложили прокурору окружного суда. Ревельский инспектор по делам печати, излагая «возмутительное» содержание доставленных ему статей, ходатайствовал о привлечении «издателей названного перевода» к строжайшей ответственности.

Два дня прокурор, цензор и чины полиции «изучали» изданную в Таллине книгу. А затем над ней проделали хорошо знакомую сочинениям Толстого операцию: из всего тиража вырезали наиболее «опасную» статью. Это было письмо Толстого студенту Петербургского университета Александру Дворянскому, впервые опубликованное в 1900 г. в Англии, в «Листках свободного слова», под заглавием «О религиозном воспитании»[53].

Печатавшиеся за границей произведения Толстого нелегально распространялись по всей России. В большом количестве проникали они и в Прибалтику. Так, например, лифляндское жандармское управление по указанию из Петербурга в течение нескольких лет вылавливало гектографированные и иностранные издания статьи «Христианство и патриотизм». Ввоз оттисков этой «нелегальщины», сообщал в июле 1901 г. в жандармерию начальник главного управления по делам печати, был строжайше запрещен, поэтому и в дальнейшем следовало «неукоснительно следить о прекращении всякого доступа их из-за границы»[54].

Особенно много хлопот доставило эстляндским чиновникам от жандармерии, цензуры и «правосудия» публицистическое произведение Толстого «Неужели это так надо?». Уже первые стра-

ницы статьи дышали ненавистью к тем политическим и экономическим порядкам, при которых возможны были возмущавшие художника социальные контрасты.

Два мира вставали перед читателем.

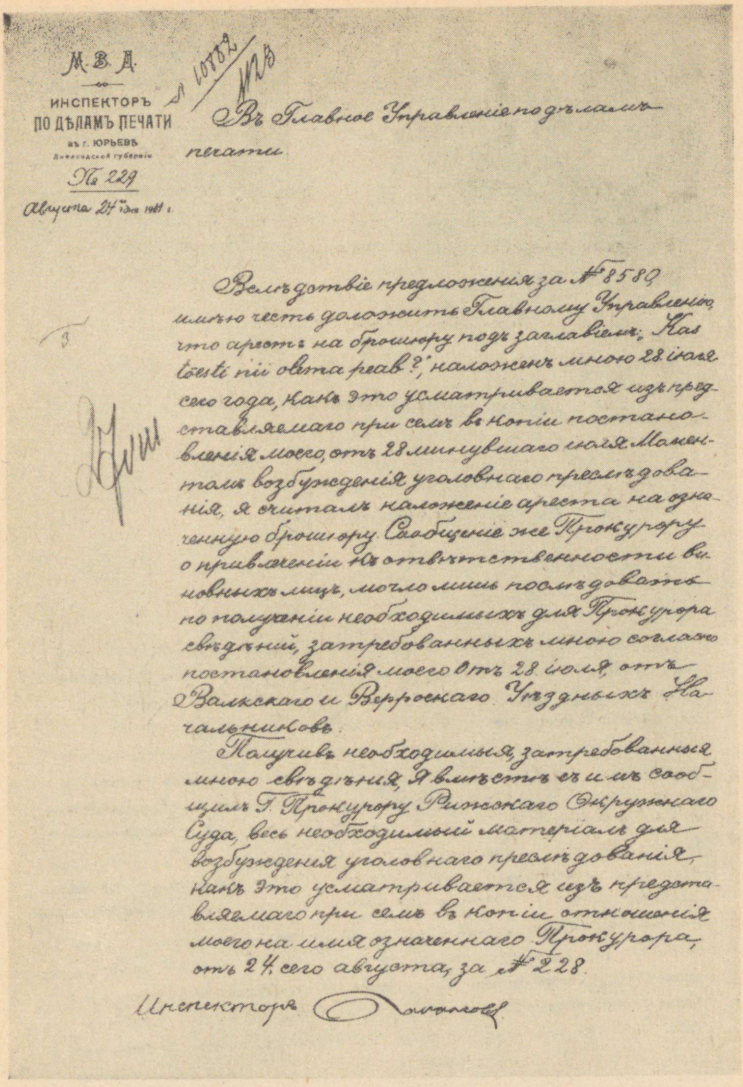
С одной стороны — чугунолитейный завод, где люди работали по 12—14 часов в удушающей температуре; рудники — темные, узкие, душные, сырые, постоянно угрожавшие жизни рабочих; мужики, пашущие на измученных лошадях чужое поле... «И так живут все эти люди, — писал Толстой, — и в шахтах, и на заводе, и пахари, и каменобойцы, с молодых лет и до старости; и так же живут в непосильных трудах их жены и матери, наживая маточные болезни; и так же живут их отцы и дети, плохо накормленные, плохо одетые, в сверхсильной, губящей здоровье работе, с утра и до вечера, с молодости и до старости».

А с другой стороны — запряженная четверней пятивершковых коней коляска. В ней сидят две барышни, блестя перьями шляп и яркими цветами зонтиков. На переднем месте красуется лихой офицер, а на козлах возвышается грузный кучер... В стороне от шоссе на английском жеребце и иноходце едут двое верховых. Одна лишь черная шляпа роскошно одетой дамы стоит двух месяцев работы каменобойцев, а за хлыст ее спутника уплачено недельное жалованье рудокопа.

Такова позорная российская действительность. Но неужели это так надо? «Сделали что ли эти работающие люди что-нибудь очень преступное, за что они наказаны? — с возмущением спрашивал писатель. — Или это удел всех людей? А те, которые проехали в колясках и на велосипедах, сделали или еще делают что-нибудь особенно полезное и важное, за что они так награждены? Нисколько! напротив, те, которые так напряженно работают, большей частью нравственные, воздержанные, скромные, трудолюбивые люди; те же, которые проехали, большею частью — развращенные, похотливые, наглые, праздные люди»[55].

Толстой и не питал надежды на возможность опубликования обличительного произведения в самой России. Посланная им в Англию В. Г. Черткову статья впервые вышла в издании «Свободного слова». Спустя пять лет, в 1905 году, ее удалось выпустить в Ростове. Последнее издание, попав в Прибалтику, и явилось оригиналом для перевода на эстонский язык.

В 1907 г. статья «Неужели это так надо?» была отпечатана в таллинской типографии. Более двух лет она конспиративно распространялась по всей губернии. Только в октябре 1909 года, нагрянув в одну из книжных лавок Таллина, жандармский штабс-ротмистр неожиданно обнаружил 400 экземпляров запре-



М. В. Д.

ИНСПЕКТОРЪ
ПО ДѢЛАМЪ ПЕЧАТИ
въ г. ЮРЬЕВѢ
Лифляндской губерніи

№ 229

Августа 24 дня 1911 г.

№ 10882

Въ Главное Управленіе по дѣламъ печати

Вслѣдствіе предложенія за № 8580, имѣю честь доложить Главному Управленію, что арестъ на брошюру подъ заглавіемъ: „Kas tõesti nii olema peab?", наложенъ мною 28 іюля сего года, какъ это усматривается изъ представляемаго при семъ въ копіи постановленія моего, отъ 28 минувшаго іюля. Моментомъ возбужденія уголовнаго преслѣдованія, я считалъ наложеніе ареста на означенную брошюру. Сообщеніе же Прокурору о привлеченіи къ отвѣтственности виновныхъ лицъ, могло лишь послѣдовать по полученіи необходимыхъ для Прокурора свѣдѣній, затребованныхъ мною согласно постановленія моего отъ 28 іюля, отъ Валкскаго и Верроскаго Уѣздныхъ Начальниковъ.

Получивъ необходимыя, затребованныя мною свѣдѣнія, я вмѣстѣ съ симъ сообщилъ Г. Прокурору Рижскаго Окружнаго Суда, весь необходимый матеріалъ для возбужденія уголовнаго преслѣдованія, какъ это усматривается изъ представляемаго при семъ въ копіи отношенія моего на имя означеннаго Прокурора, отъ 24 сего августа, за № 228.

Инспекторъ [illegible]

Донесение инспектора по делам печати г. Юрьева (Тарту) от 24 августа 1911 г. в главное управление по делам печати об уголовном преследовании лиц, причастных к изданию на эстонском языке сочинения Л. Толстого «Неужели это так надо?»
Из фондов канцелярии главного управления по делам печати. Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

Копія.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ.

1911 года Іюля „7“ дня. По Указу Его Императорскаго Величества, С.-Петербургская Судебная Палата, по II-му Уголовному Департаменту, въ распорядительномъ засѣданіи, въ которомъ присутствовали:

Предсѣдатель ствующій Л. В. Позенъ.

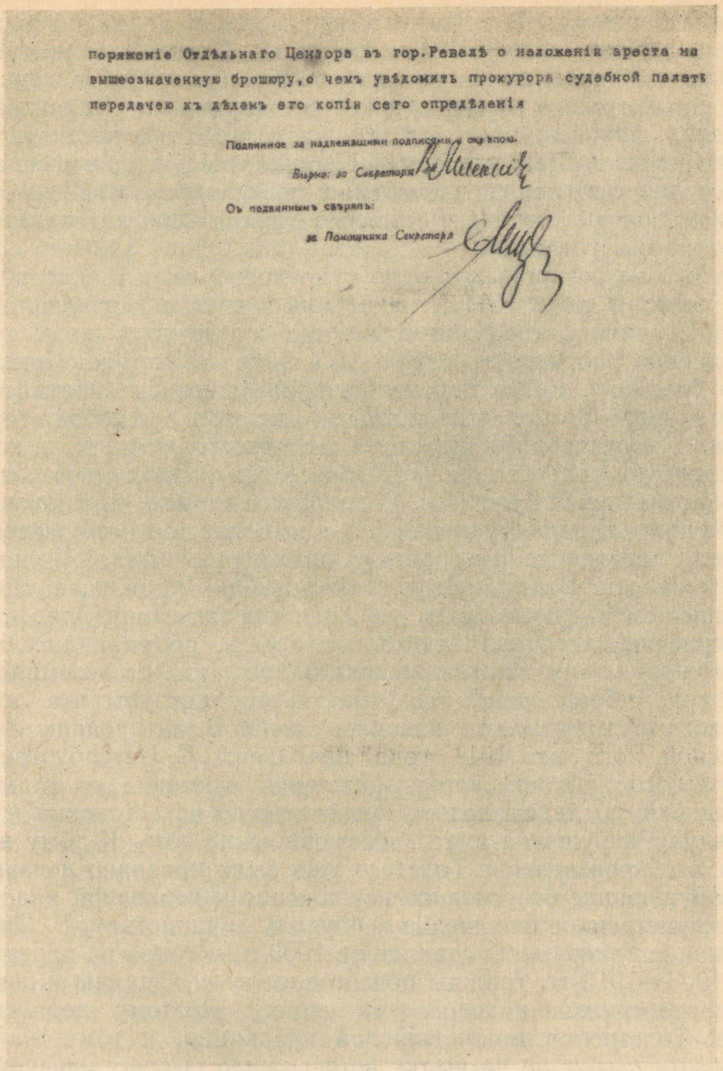
Члены Палаты: Н. Д. Архангельскій и И. В. Деларовъ.

Товарищъ Прокурора Н. Н. Шведеръ.

Помощникъ Секретаря В. А. Мясоѣдовъ.

Слушала: предложеніе Прокурора Судебной Палаты, отъ 21 Іюня 1911 года за №6288 съ подлинными представленіемъ Прокурора Ревельскаго Окружнаго Суда отъ 10-го Іюня 1911 года за №6826 и отношеніемъ Отдѣльнаго Цензора по иностранной цензурѣ въ гор. Ревелѣ отъ 8-го Іюня 1911 года за №569, вмѣстѣ съ перепискою объ утвержденіи постановленія означеннаго Отдѣльнаго Цензора о наложеніи ареста на брошюру, подъ заглавіемъ: "Л. Толстой. Возстановление ада". /. Uus põrgu. Põrgu langemine ja uuesti tärkamine/. Разсмотрѣвъ означенныя отношенія, а равно приложенную къ нимъ брошюру подъ заглавіемъ: "Л. Толстой. Возстановление ада". /. Uus põrgu. Põrgu langemine ja uuesti tärkamine/ и усматривая въ напечатаніи сей брошюры признаки преступ ныя дѣянія, предусмотрѣн ныя 73 и 128 — ст. уголовнаго уложенія, Судебная Палата, по выслушаніи словеснаго заключенія товарища прокурора, о п р е д ѣ л я е т ъ: руководствуясь 1213-14 и 1213-15 ст. Уст. Угол. Суд. по прод. 1906 года, оставить въ силѣ рас-

Определение С.-Петербургской судебной палаты от 7 июля 1911 г. по поводу наложения ареста на эстонское издание легенды Л. Толстого «Восстановление ада» (страница первая). Из фондов канцелярии главного управления по делам печати. Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.



поряженіе Отдѣльнаго Цензора въ гор. Ревелѣ о наложеніи ареста на вышеозначенную брошюру, о чемъ увѣдомить прокурора судебной палаты передачею къ дѣлемъ его копіи сего опредѣленія

Подлинное за надлежащими подписями и скрѣплено.

Вѣрно: за Секретаря

Съ подлиннымъ сверялъ:

за Помощника Секретаря

Определение С.-Петербургской судебной палаты от 7 июля 1911 г. по поводу наложения ареста на эстонское издание легенды Л. Толстого «Восстановление ада (страница вторая). Из фондов канцелярии главного управления по делам печати. Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

щенной брошюры. В течение шести месяцев делом об эстонском переводе «возмутительной» статьи Толстого занимались высшие чины жандармского корпуса. 25 апреля 1910 г. начальник эстляндского губернского жандармского управления переслал, наконец, протокол обыска и четыре сотни изъятых брошюр ревельскому цензору [56]. Прошло еще полтора месяца, и цензор донес в главное управление по делам печати, что счел «своим долгом возбудить преследование против издателя названного перевода»[57].

Не успело завершиться одно судебное дело, как уже началось новое. 9 июля 1911 г. начальник главного управления по делам печати потребовал от своего юрьевского инспектора немедленно рассмотреть новую вышедшую в Эстонии толстовскую брошюру. Когда переполошившийся цензор обратился к отпечатанной без его визы книге, он увидел перед собой второе издание запрещенного перевода «Неужели это так надо?». В Петербург полетело срочное донесение: «Находя, что содержание означенной брошюры, — говорилось в нем, — заключает в себе признаки преступления . . . , я вместе с тем возбудил уголовное преследование против виновных лиц»[58]. Уездным начальникам в Валгу и Выру было послано строжайшее предписание немедленно собрать необходимые сведения о владельце типографии, в которой печаталась статья, об ее издателе и переводчике и тотчас же «наложить арест на все экземпляры означенной брошюры»[59]. По ходатайству цензуры все лица, причастные к переводу и изданию статьи, были преданы суду.

Весной того же 1911 года начальник С.-Петербургского губернского жандармского управления доставил в главное управление по делам печати переведенную на эстонский язык легенду «Разрушение ада и восстановление его». К тому времени это произведение Толстого уже было признано цензурой «обнаружившим безусловное неуважение к верховной власти» и «кощунственное отношение к обрядам и таинствам»[60]. Опубликованная впервые за границей в 1903 г., легенда на протяжении 1906—1913 гг. трижды подготовлялась к изданию в самой России и трижды подвергалась запрету. Поэтому появление книги Толстого в прибалтийской провинции, к тому же на эстонском языке, не на шутку встревожило высших цензурных сановников. Из Петербурга отдали распоряжение о наложении ареста на вышедшую в Таллине брошюру. Но, когда местный цензор явился в типографию, там не оказалось ни одного экземпляра легенды, и он вынужден был сообщить эстляндскому губернатору, что, «по всей вероятности, издание уже продано»[91]. При этом выяснилось конфузное для местных властей обстоятельство. Оказалось, доносил цензор своему петербургскому

начальству, что в таллинской типографии отпечатано было и второе издание брошюры. Однако как первое, так и второе издания полностью разошлись и полиция в связи с этим не успела конфисковать ни одного экземпляра «особенно вредно влияющей на простой народ» книги [62].

Выход на эстонском языке почти одновременно нескольких произведений Толстого стал предметом оживленной переписки ряда правительственных учреждений. В главное управление по делам печати поступило секретное указание начальника С.-Петербургского губернского жандармского управления о немедленном расследовании обстоятельств появления в Таллине, Тарту, Выру и других прибалтийских городах брошюр ненавистного ему автора. И в бессильной ярости царские сановники разыграли новую судебную инсценировку.

Тон, как и полагалось, задал местный цензор, подвергший аресту . . . давно уже распроданный тираж брошюры, С.-Петербургская судебная палата, усмотрев в напечатании легенды Толстого «признаки преступных деяний», оставила в силе это распоряжение [63]. А ревельский прокурор состряпал, со своей стороны, обвинительный акт о «виновниках» появления книжки на эстонском языке. «Преступность» действий издателя заключалась в том, что тот «издал и путем продажи распространил названную брошюру, заведомо для него заключающую оказание дерзостного неуважения верховной власти и . . . суждения о том, что главные грабители, считающиеся неприкосновенными личностями, грабят работающее большинство путем налогов . . .»[64]

Минул год с того дня, как цензурное ведомство, по указанию жандармского управления, впервые занялось эстонским изданием брошюры Толстого. В течение всего этого времени «преступное деяние» обсуждалось в многочисленных инстанциях. Наконец, 31 мая 1912 года, на повторном заседании судебной палаты было признано крайне важным не только уничтожить брошюру, но и «стереотипы и другие принадлежности тиснения, заготовленные для ее печатания»[65].

Судебные дела, переписка цензоров, донесения жандармских офицеров — следы «опеки» царского правительства над прибалтийским краем. Целью этой «опеки» было, в частности, пресечь проникновение в Эстонию многих творений Льва Толстого. В страхе перед бурным ростом революционного движения, царское правительство пыталось выкорчевать из сознания прибалтийского труженика «тлетворный» дух прогрессивной русской литературы, лишить эстонский народ его национальной, подлинно демократической культуры. В этом самодержавие имело надежных союзников — прибал-

тийских баронов, местную националистическую буржуазию. Не случайно, в одно время с разбирательством «дела» о переводах произведений Толстого, перед окружным судом предстал выдающийся эстонский поэт Юхан Лилиенбах, стихи которого так же, как и творения русского гения, дышали ненавистью к самодержавному строю [66].

VI. ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ

В ноябре 1910 года телеграф сообщил, что Толстой тайно покинул Ясную Поляну. В пути, простудившись, великий старец получил воспаление легких и высадился на станции Астапово.

В течение нескольких дней мысли и чувства миллионов людей во всех уголках земного шара были прикованы к этой маленькой, до той поры безвестной, железнодорожной станции. Тревожно бились миллионы человеческих сердец: выживет ли Толстой?

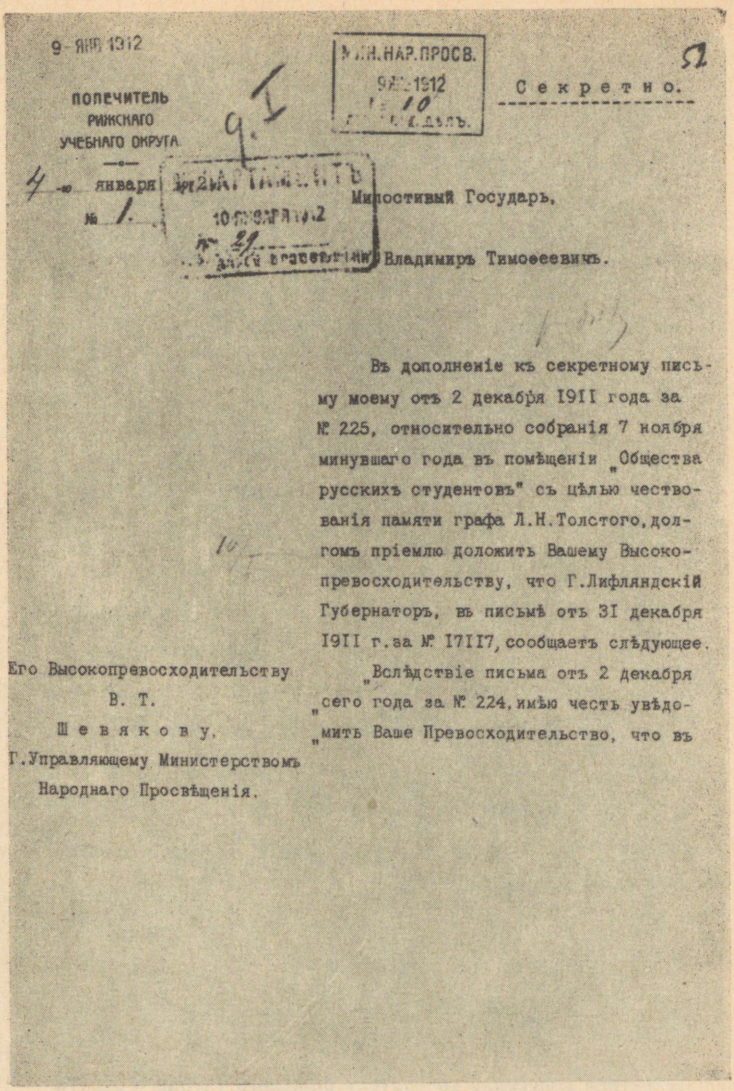
Никогда еще в Таллине не ожидали с таким трепетом выхода газеты. Сотни людей ежедневно осаждали редакцию «Ревельских известий». Содержание телеграмм о состоянии здоровья титана русской культуры узнавали в городе еще задолго до выхода газетных полос из-под печатного пресса.

В 6 часов 5 минут утра 7(20) ноября 1910 года Толстого не стало. Его смерть всколыхнула и потрясла всё прогрессивное человечество. Тяжело переживалась она и в Эстонии.

Едва только скорбная весть проникла в Тартуский университет, как по коридорам главного здания, в актовый зал, устремились сотни студентов. Сходки, посвященные Толстому, были категорически запрещены и молодежь собралась для обсуждения, якобы, пьесы Леонида Андреева.

Когда заполнился до отказу зал, на кафедру поднялся высокий сухощавый студент. Он откинул со лба непокорную прядь русых волос и взволнованным голосом заговорил. Но не Андрееву, как ожидало того начальство, посвящена была его речь. Юноша начал страстный рассказ о великой жизни Толстого, о его бессмертных творениях. «Так как речь эта, — сообщал позднее министр внутренних дел, — не входила в программу . . . ,то она была остановлена по предложению присутствовавшего на собрании чина полиции».

Оратор вынужден был умолкнуть. Его место занял другой студент. И вновь под сводами раздались пламенные слова о Толстом. Полицейские силой принудили и этого оратора покинуть кафедру. «Среди присутствовавших в зале, — доносил министр внутренних дел, — послышалось пение «вечной



9-ЯНВ 1912

ПОПЕЧИТЕЛЬ РИЖСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА

4-го января 1912 г. № 1.

МИН. НАР. ПРОСВ. 9 ЯНВ 1912 № 10

Секретно.

Милостивый Государь,

Владимиръ Тимоѳеевичъ.

Въ дополненіе къ секретному письму моему отъ 2 декабря 1911 года за № 225, относительно собранія 7 ноября минувшаго года въ помѣщеніи „Общества русскихъ студентовъ" съ цѣлью чествованія памяти графа Л.Н.Толстого, долгомъ пріемлю доложить Вашему Высокопревосходительству, что Г.Лифляндскій Губернаторъ, въ письмѣ отъ 31 декабря 1911 г. за № 17117, сообщаетъ слѣдующее.

„Вслѣдствіе письма отъ 2 декабря „сего года за № 224, имѣю честь увѣдо„мить Ваше Превосходительство, что въ

Его Высокопревосходительству
В. Т.
Шевякову,
Г.Управляющему Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія.

Секретное донесение попечителя рижского учебного округа о студенческой сходке в Тартуском университете, посвященной Л. Толстому (страница первая).
Из фондов департамента просвещения.
Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде

„помѣщеніи „Общества русскихъ студентовъ",
„въ гор.Юрьевѣ, дѣйствительно предполагалось
„устроить собраніе для чествованія памяти
„графа Л.Н.Толстого, съ приглашеніемъ на это
„собраніе студентовъ, курсистокъ и посторон-
„нихъ лицъ."

„Спрошенный за отсутствіемъ предсѣдателя
„общества русскихъ студентовъ Доскинскаго,
„бывшій предсѣдатель, а нынѣ членъ ревизіонной
„комиссіи С т р о т о н о в с к і й заявилъ,
„что у нихъ состоится закрытое собраніе чле-
„новъ общества, на которомъ будутъ обсуждаться
„только дѣла общества. Въ виду однако имѣвших-
„ся свѣдѣній, что означенное собраніе созывается
„для чествованія Толстого и что на немъ будутъ
„присутствовать и постороннія лица, а также и
„то, что будутъ произноситься рѣчи и ожидается
„выступленіе академистовъ, чтобы сорвать собра-

Секретное донесение попечителя рижского учебного округа о студенческой сходке в Тартуском университете, посвященной Л. Толстому (страница вторая).
Из фондов департамента просвещения
Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

„ніе, то Юрьевскимъ Полиціймейстеромъ, въ предупре-
„жденіе могущихъ произойти недоразумѣній между
„академистами и собравшимися, было поручено При-
„ставу закрыть собраніе."

„Прибывшій нарядъ полиціи обнаружилъ, что въ
„помѣщеніи названнаго общества собрались студенты
„и курсистки въ количествѣ около 200 человѣкъ, при-
„чемъ въ помѣщеніи былъ выставленъ большой портретъ
„графа Л.Н.Толстого, украшенный вѣнкомъ. Когда
„Приставъ объявилъ о закрытіи собранія, то всѣ
„собравшіеся спокойно разошлись."

„Въ виду того, что означенное публичное со-
„браніе было устроено безъ заявленія полиціи, ви-
„новные привлечены къ отвѣтственности по 39^{3} ст.
„Уст.о нак."

Пользуюсь случаемъ, чтобы просить Васъ при-
нять увѣренія въ истинномъ уваженіи и совершенной
преданности

Вашего Превосходительства
покорнаго слуги

Секретное донесение попечителя рижского учебного округа о студенческой сходке в Тартуском университете, посвященной Л. Толстому (страница третья).
Из фондов департамента просвещения.
Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде

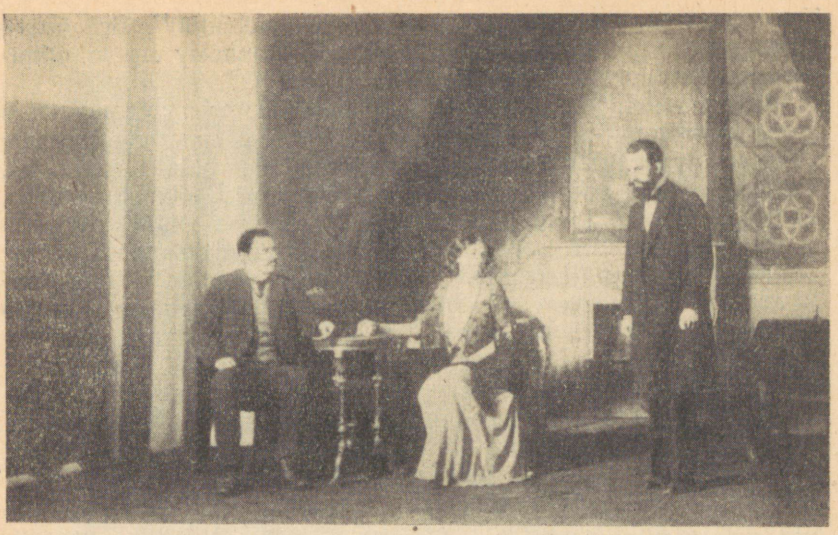
памяти», почему названный чин потребовал от публики разойтись»[67].

Это произошло спустя всего лишь несколько часов после смерти Толстого. На следующий день из Тарту в Ясную Поляну, для участия в похоронах, выехала студенческая делегация. На новой сходке прогрессивная часть молодежи приняла решение обратиться к владельцам тартуских увеселительных заведений с требованием, в знак памяти о русском писателе, отменить все представления. «Но таковые требования, — отмечал с удовлетворением царский министр, — были остановлены мерами полиции . . .»[68]

А в это время из Эстонии в Ясную Поляну шли телеграммы с выражением самого сердечного соболезнования родным Толстого. «Общество естествоиспытателей при Юрьевском университете, — говорилось в одной из них, — благоговейно преклоняясь пред памятью великого испытателя глубин человеческого духа, единодушно присоединяется к скорби всего мира . . .»[69] В тот же день таллинский литературный кружок телеграфировал: «Вечная память великому писателю земли русской, неизменному искателю правды»[70]. Свою глубочайшую скорбь выражал и Тартуский университет, почетным членом которого был Толстой. Совет этого высшего учебного заведения собрался на специальное заседание, посвященное тяжелой утрате[71]. О своих горестных чувствах писали в Ясную Поляну и неизвестный эстонец, и члены таллинского педагогического общества, и профессора тартуских учебных заведений, и нарвские педагоги[72]. В память о Толстом два эстонских театра — таллинский и тартуский — поставили «Власть тьмы» — пьесу о невежестве и жестокостях пореформенной деревни, обличавшую коренные противоречия и основы самодержавного строя[73].

Смерть Толстого всколыхнула по всей России рабочие и студенческие массы. Шестнадцать петербургских заводов потребовали в те дни от Государственной думы почтить память писателя отменой смертной казни. Это требование поддерживалось массовыми стачками, политическими демонстрациями, свидетельствовавшими о нежелании рабочих, крестьян, передового студенчества мириться со столыпинским режимом.

Общестуденческая сходка, завершившаяся стычкой с полицией, состоялась спустя десять дней после смерти Толстого и в Тарту. Мы узнаем о ней из шифрованных телеграмм попечителя учебного округа управляющему министерством просвещения[74]. В тот вечер молодежь вновь заполнила актовый зал университета. Студент, ездивший по поручению товарищей на похороны Толстого[75], рассказывал о жизни писателя, о его литературном наследии. Когда докладчик произнес заключи-



Театр «Эстония». Сцена из спектакля «Живой труп» Л. Толстого, 1912. Музей театра и музыки Эстонской ССР, Таллин.

тельные слова, во всех концах зала раздались призывы поддержать проходившие повсюду манифестации, высказаться за отмену смертной казни, противником которой был Толстой. Эти призывы встретили всеобщее одобрение.

«Перед зданием университета, — рассказывает очевидец, — собралась огромная толпа студентов, которая с обнажёнными головами, неся плакат с надписью «Долой смертную казнь», направилась к ратушной площади, где началось пение траурного марша. К этому времени прибыл сильный наряд конных стражников и полиция. После упорного сопротивления полиция отобрала плакат и, разделив студентов на две части, окружила их со всех сторон. Большая часть студентов была отведена в полицейское управление, куда также прибыл ректор . . . Здесь были записаны фамилии студентов, после чего их опять отпустили. В это время около университета опять собралось несколько сот студентов, но раньше, чем сюда прибыла полиция, прибыл ректор с выпущенными из полицейского управления студентами и предложил прибывшей туда полиции удалиться, обещая восстановить порядок»[76].

Демонстрация была в конце концов разогнана. Около шестидесяти участников подвергли тюремному заключению. Однако ничто не в силах было уже пресечь дальнейший подъем в

Тартуском университете студенческого движения [77]. Всё более крепла в его стенах ненависть к самодержавному строю, обличителем которого являлся Лев Толстой.

Страстным пропагандистом творений великого художника и при его жизни, и после его смерти было, в частности, тартуское Общество русских студентов. Основанное еще в 1881 году, оно, как вспоминает его член, ныне профессор, В. Десницкий, было, на первых порах, народническим, в последующие годы — центром легального марксизма, а к 1917 г. оформилось в студенческую социал-демократическую организацию с преобладающими большевистскими тенденциями. Его членами, помимо студентов, являлась прогрессивная часть профессуры, а почетными членами — М. Горький, А. Чехов [78], В. Короленко, Г. Успенский и другие выдающиеся деятели русской культуры.

Общество поддерживало интенсивные связи с М. Горьким. Избранием его в 1900 году своим почетным членом, оно первым в России высоко оценило революционизирующее значение литературной деятельности великого писателя. В 1905 году к Горькому, в Нижний Новгород, ездило четверо тартуских студентов. Они беседовали с родоначальником пролетарской литературы, и перед их возвращением в Эстонию писатель вручил им книги для передачи Обществу русских студентов. Существование этой организации не было безразлично писателю, и он присылал в Тарту, ее членам, дружеские письма [79].

Первую годовщину со дня смерти Толстого общество решило отметить специальным заседанием. Это было делом нелегким, так как местные власти, опасаясь новых манифестаций, категорически запретили какое-либо чествование памяти великого художника. Собрание созвали поэтому для решения, якобы, текущих вопросов. Но полиции стали всё же известны истинные намерения Общества русских студентов. «Ввиду имевшихся сведений, что означенное собрание созывается для чествования Толстого и что на нём будут присутствовать и посторонние лица, а также и то, что будут произноситься речи . . . , — доносил губернатор, — то юрьевским полицмейстером, в предупреждение могущих произойти недоразумений . . . , было поручено приставу закрыть собрание».

Прибывший на заседание полицейский наряд застал в зале около 200 человек. В помещении висел украшенный венком большой портрет Толстого. Пристав, как доносил об этом губернатор, тотчас же разогнал собрание, а его инициаторов — руководителей общества — препроводил к полицмейстеру [80].

Таким же репрессиям подвергалась прогрессивная эстонская печать. Ей было строжайше запрещено выражать свою скорбь по поводу смерти Толстого. Публикуя в начале 1913 г. статью



Nr. 16 (52). Hind 2 kop. Neljapäewal, 7. (20.) weebruaril 1913. Nr. 16 (52).

Kiir

Töörahwa ajaleht

Ilmub igal teisipäewal, neljapäewal ja laupäewal

Teine aaslaaldik.

Tellimise hind:

Tolmeine ja taitus Narwas, Sofia uul., Laisa majas.

Gelles numbris on:

Söda. Numenia ja Bulgaria läbirääkimiste katkijätmine. Lahingud Bulairi all.

Piiri tagant: Soomemaa. Amerika.

Töörahwaliikumine: Streigid. Lo elantide läpp Peterburi duuwilla tööstuses.

Reedel, 22. weebruaril 1913.

Kardkuseseltsi „Wöltleja" saalis Peterburi spordi seltsi „Alleti" poolt

Elimene Narwaal

suur spordi ja maadlemise öhtu.

Maadlemistest wõtawad osa:

Tanakuninga Eugeni Pudow'i etteaste

maadlemine

Marmori grupped.

Tanis. Mängib muusikakoor.

Töölistekinnitamine I.

Sulewisked ja wested

Kas on wahekohus igakord wõlmatik?

Ühe prohwetl surma puhul

Ajakirjandus.

Märkused lutheriusa kleiku sohta.

Piiri tagant.

Amerika.

Первая страница № 16 эстонской рабочей газеты «Kiir» (1913) со статьей о Л. Толстом.
Цензорский экземпляр.
Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

«По случаю смерти одного пророка», первая эстонская правдистская газета «Кийр» вынуждена была оговориться: «Запоздалое письмо, так как газета «Кийр» в то время (в 1910 г. — А. Л.) не существовала, а другие газеты не могли напечатать его . . .»

Являясь органом эстонских организаций РСДРП(б), «Кийр» выходил в Нарве — подальше от «опеки» эстляндского губернского начальства. Следить за изданием газеты поручено было местному полицмейстеру. Тот же, плохо владея эстонским языком, проглядел «возмутительнейшую» статью о Толстом. Этим и объясняется, что она, правда с большим опозданием, но все же увидела свет.

Присланное в редакцию письмо «По случаю смерти одного пророка» содержало, между тем, явно противоцензурные мысли. Оно характеризовало Льва Толстого как обличителя самодержавия, врага помещичье-капиталистического строя, и тут же указывало на противоречия в его творчестве и учении. «Ему (Толстому. — А. Л.), — писал корреспондент, — конечно были известны нужды современного общества, он знал их так же хорошо, как лучший агитатор рабочего класса.

Но все же, — отмечалось в письме, — он не понял духа времени. Вместо того, чтобы, считаясь с законами развития общества, искать подходящих средств к улучшению жизни, он встал против прогресса и всего нового, противопоставляя всем достижениям нового времени учение о первобытном христианстве. Он также отлично понял, что источником всех бедствий является капитализм, покоривший себе все отрасли современного искусства, знания и техники. Ища исхода из этого положения, он, однако, видел единственное спасение в бегстве от капитализма . . .»[81]

Эти строки, проскочив сквозь цензуру нарвского полицмейстера, не могли, конечно, остаться незамеченными более высоким начальством. Вскоре же после выхода номера «Кийр» со статьей о Толстом, ярко выраженное революционное направление этой газеты встревожило сановников из С. - Петербургского учебного округа. В главное управление по делам печати полетело конфиденциальное отношение о принятии «соответствующих мер».

И цензурная машина заработала. Номер «Кийр» со статьей о Толстом подвергнут был тщательному изучению. В секретном письме губернатору эта газета оценивалась уже, как «несомненно крайне тенденциозное социалистическое издание, оказывающее пагубное влияние на рабочих, для которых эта газета специально издается». Особое внимание обращалось на письмо «По случаю смерти одного пророка». «Автор этой статьи, —

сообщали из главного управления по делам печати, — доказывая необходимость изменения существующего в государстве общественного строя, тем самым возбуждает к его ниспровержению . . .»

Руководимая эстонскими большевиками (В. Кингисепп, Я. Анвельт и др.) газета «Кийр», в которой принимали участие пролетарские писатели Лилиенбах, Мюнтер и другие, подвергалась жесточайшим репрессиям. Не обошлось без неприятностей и на сей раз. Нарвский полицмейстер, по указанию цензурного ведомства, привлек редактора за статью о Льве Толстом к судебной ответственности [82]. Прокурор ревельского окружного суда завел на правдистскую газету очередное дело. Но номер «Кийра» с откликом на смерть великого русского художника уже дошел до своего читателя — эстонского рабочего.

Таковы документальные факты. Скрыть от эстонского народа художественное наследие русского гения, ослабить его могучее влияние на умы угнетенных и обездоленных людей — к этому стремились и царские сановники, и правители буржуазной Эстонии. Только после восстановления в Прибалтике советской власти — с 1940 года — творчество Толстого стало достоянием широких трудящихся масс. Его книги, изданные на эстонском языке, ныне читают в любом уголке цветущей Эстонской Советской Социалистической Республики.

СУДЬБА ОДНОЙ КНИГИ

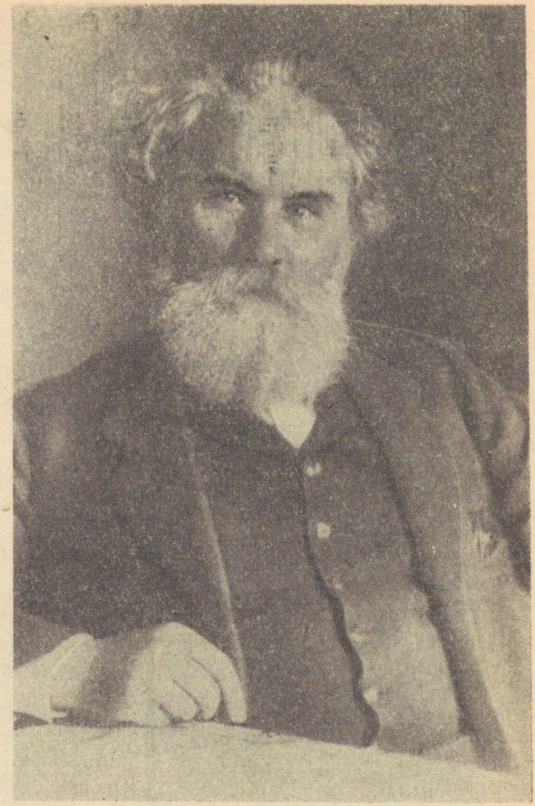
Не нахожу слов, чтобы выразить вам мою благодарность и любовь за эту и по выражению, и по мысли, а главное по чувству — превосходную статью.

Л. Н. Толстой — В. Г. Короленко

4 апреля 1911 года одному из ревельских приставов вручили отношение местного инспектора по делам печати. Цензор оповещал его о выходе очередной книжки «Трудов С.-Петербургского общества эстонских студентов»; о том, что этот выпуск печатали в таллинской типографии; что он состоит из переведенного на эстонский язык нашумевшего произведения Короленко «Бытовое явление»; что «возмутительному» сочинению русского писателя эстонские студенты предпослали столь же «возмутительное» предисловие; и что вследствие этого «надлежит немедленно конфисковать все экземпляры названного издания»[1]. В тот же день пристав и сопровождавшие его чины полиции нагрянули в типографию. После тщательного обыска на весь тираж «Трудов» был наложен арест.

Обо всем этом мы узнаем из документов архивного дела «О наложении ареста на брошюру на эстонском языке «Бытовое явление» В. Короленко, напечатанную в типографии Шифера». Скрепленные печатями официальные документы уводят нас к тем дням, когда «царское самодержавие, только надломанное, но не уничтоженное в 1905 году, собралось, — по словам В. И. Ленина, — с силами, соединилось с помещиками и капиталистами в III Думе и снова ввело в России старые порядки. Ещё сильнее стал гнёт капиталистов над рабочими, — писал тогда Владимир Ильич, — ещё наглее беззакония и произвол чиновников в городе и особенно в деревне, ещё свирепее расправа с борцами за свободу, ещё чаще смертные казни. Царское правительство, помещики и капиталисты бешено м с т и л и революционным классам, и пролетариату в первую голову, за революцию, — точно торопясь воспользоваться перерывом массовой борьбы для уничтожения своих врагов»[2].

Россия покрылась сотнями виселиц... Свирепствовали карательные экспедиции... Военно-полевые суды выносили тысячи смертных приговоров... Тысячи расстреливались без суда и без следствий, замученные пытками умирали в тюремных и крепостных казематах...



В. Г. Короленко.
Фото, 1910.

Кровавый террор свирепствовал и в Эстонии. Вдохновляемые остзейскими баронами, каратели свинцом и нагайкой «умиротворяли» прибалтийскую губернию. Не проходило дня без расстрелов, порок, виселиц, сожжения крестьянских домов.

Бароны и пасторы, добровольно став проводниками воинских отрядов, еще в годы подавления первой русской революции стремились утопить Эстонию в народной крови. Без всякого к тому повода расстреляна была группа крестьян Рампельской волости . . . В Разикской волости двоих убили за то, что они . . . шли лесом по тропинке . . . Среди бела дня, по указанию помещика, закололи штыком батрака . . . В Венденской волости шестерых крестьян расстреляли только лишь потому, что кто-то разбил стекла в баронской усадьбе . . . Командир одного из отрядов — остзейский помещик фон Ренненкампф собственно-

Eessôna asemel

Surmanuhtluse poolehoidjad Wenemaal wôiksid omale wäga ilusa raamatukogu kokku seada:

Leonid Andrejewi Jutt seitsmest ülespoodust,

Leo Tolstoi Ei jôua enam waikida,

Wl. Korolenko Igapäewane nähtus —

kôiki neid raamatuid peaks kôige pealt surmanuhtluse poolehoidjad ja täidesaatjad lugema. Ja kôik need raamatud on lugemise wäärt!

Kuid ka sellesarnased raamatud on juba, nagu surmanuhtlus ise, „igapäewaseks nähtuseks" muutunud, niisama igapäewaseks, nagu kinematograf, Purishkewitsh, ôhulaew. Weel üks raamat surmanuhtluse üle! — hüüab lugeja. — Mistarwis? Kas ennegi juba küllalt ei ole?

Sellest just Korolenko kirjutabki: surmanuhtlus ei ole enam sündmus, waid äripäewane nähtus. Surma môistetud inimene ei ole enam aruldane isik, waid igapäewane tüüpus, *type russe*. Warsti ilmuwad Europas ehk piltpostkaartid allkirjaga *le smertnik* (surmamôistetu), niisama nagu kaardid allkirjadega *le moujik*, *le kosak* seal juba olemas on, sest see on niisama Wenemaa iseäraline oluline nähtus, mida Europa keeltesse ümber panna ei saa, nagu kuulsaks saanud mushik (Wene talumees) ja kasak.

Üksikud wôllaohwrid on nagu kôrwale jäänud. Nüüd kirjutatakse juba surmamôistetutest üleüldse, igapäewastest wôllaohwritest. Leonid Andrejewi „Jutt seitsmest ülespoodust" paistab nüüd naiwline romantismus olewat — liig palju on seal bengali tule walgust. Andrejewi seitse ülespoodut paistsid kangelased olema, praegu kirjutatakse ülespoodud massest. Surmanuhtlus ei ole nüüd enam katastrof, hirmus ja pühalik sündmus, waid lihtne surnukehade masin. „Korraga tehakse kuni kolmkümment surmaotsust; poodakse nelja rubla, paari kingade ja sôrmuse warguse pärast, saja ülespoodu hulgas on kakskümment ehk kakskümment wiis süütut!" („Смертники", Вѣстникъ Европы, 1910, VII, VIII.)

Masin on käimas, hoia, et ligi ei tule.

Единственный сохранившийся экземпляр «Вместо предисловия» к эстонскому изданию книги В. Г. Короленко «Бытовое явление», 1911 (страница первая).
Из фондов канцелярии главного управления по делам печати. Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

— Mis eest aga meid, kallis! Jumala nimel wannun, et süüta olen! Lase mind minema, kallis! Mis eest? Peab ju ometi paber tulema! Jumala nimel!

Kuid masin ei oota . . . Rutem! Rutem!

— Keiserliku kôrguse nimel . . . surmanuhtlus . . . poomise läbi . . . („B. E." VII.)

Tuleb wôlladest puudus, siis toimetatakse ülespoomist kiirendatud ja lihtsandatud wiisil tulekaitse redelitel, esimese kättejuhtuwa mädanenud ja sellepärast katkewa nööriga. . .

Nônda kirjutas parem Wene arwustaja käesolewa raamatukese ilmumise puhul.

*

Jah, kôige hirmsama sôna surmanuhtluse üle on Korolenko wälja ütelnud: see ei ole enam pôrutaw sündmus, see on harilik ja hall toimetus. Ja nii mõjuwat, nii lihtsat ja südamlikku keelt räägib see raamatuke, et mônigi surmanuhtluse poolehoidja teda lugedes hüüdma peab: küllalt!

Mitte põhjusmôtete nimel ei räägi Korolenko, waid inimeste nimel, mitte põhjusmôtteid ei kaitse ta, waid inimesi. Sellepärast on tema kône nii mõjuw. Olgu see kes tahes, keda tapetakse, kellele liiga tehakse, ikka ja ikka ilmub Korolenko oma kaitsekônega „*j'accuse*" (ma süüdistan! Niisugust pealkirja kandis Zola kaitsekône Dreifuse eest).

*

Kui Tolstoi Andrejewi „Seitsme ülespoodu" kohta ütelnud, et „Andrejew hirmutab, aga ma ei tunne mitte hirmu!" — süs on Korolenko lihtsad kirjad sarnased, et neid lugedes küll igaüks „hirmu tunneb." Wôiks weel selle peale tähendada, et nagu Andrejewi jutus eestlane ette tuleb, niisama ka ühes Korolenko kirjas eestlasest räägitakse. See wôiks meie lugejate huwitust seda enam raamatukese wastu tôsta.

J. D.

Единственный сохранившийся экземпляр «Вместо предисловия» к эстонскому изданию книги В. Г. Короленко «Бытовое явление» 1911 (страница вторая).
Из фондов канцелярии главного управления по делам печати. Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

ручно нанес безвинному крестьянину 500 ударов розгами... Барон Майдель хладнокровно расстрелял бедняка, осмелившегося подать судье заявление о своей неспособности уплатить арендную плату...

По далеко, конечно, неполным данным с декабря 1905 по февраль 1906 гг. в Эстонии повесили, расстреляли и замучили около 300 человек, вдвое больше подвергли порке, а несколько сот бросили в тюрьмы. Не прекратились эти карательные действия и после поражения революции. С января 1906 до 1911 гг. в Эстонии состоялось более 100 судебных процессов. Перед судом предстало свыше 800 человек. Выносимые приговоры по-прежнему отличались исключительной жестокостью [3].

Против этих массовых убийств, в защиту обреченных на смертную казнь и поднял свой голос В. Г. Короленко. Его «Бытовое явление» обличило насильников и палачей, сделавших виселицу — постыднейший «столыпинский галстук» — бытовым явлением царизма. «Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья»[4], — писал Владимиру Галактионовичу, в связи с выходом книги, Лев Толстой. Не менее восторженно отозвался о «Бытовом явлении» Максим Горький, считая это произведение прекрасным образцом публицистики.

Гневный памфлет Короленко горячо встретила и передовая часть эстонской интеллигенции. Об этом свидетельствовал уже сам факт его перевода на эстонский язык. Об этом говорило и то, что эстонские студенты написали к памфлету специальное предисловие, содержавшее, по словам таллинского цензора, «признаки преступного деяния».

Однако в архивном деле «крамольного» предисловия не оказалось. Не нашлось оно и среди бумаг местных судебных органов, решавших судьбу эстонского издания книги Короленко. Из старой, потрепанной папки мы извлекли лишь представленное 1 июня 1911 года прокурору заключение ревельского окружного суда. Оно гласило: «Окружной суд, рассмотрев в распорядительном заседании 31 мая с. г. предложение Ваше от 21 мая 1911 года... вместе с перепиской по делу об утверждении наложенного отдельным цензором ареста на предисловие к брошюре «W. Korolenko. Igapäevane nähtus» определил: наложенный отдельным цензором арест на предисловие к брошюре... утвердить»[5].

Итак, эстонское предисловие к «Бытовому явлению» уже не могло попасть к читателю. Но цензурное ведомство на этом не успокоилось. Из Таллина в Петербург, из Петербурга в Таллин по-прежнему поступали секретные донесения и отношения, в

которых речь по-прежнему шла о переведенном на эстонский язык публицистическом произведении, о предисловии эстонского студента. В канцелярию главного управления по делам печати направлялись «обличительные» документы: снятые следственными органами показания, сообщения таллинского цензора, отношения прокурора . . .

12 января 1913 года окружной суд, на специальном заседании уголовного отделения, вновь рассмотрел затянувшееся на много месяцев дело. В тот же день был оглашен приговор: предать огню все экземпляры написанного эстонским студентом предисловия, «а также уничтожить принадлежности тиснения, заготовленные для напечатания этой статьи»[6].

Об изъятии памфлета Короленко сообщал в своем донесении эстляндский губернатор. Царский сановник с удовлетворением оповещал цензурное ведомство, что из трехтысячного тиража, после сожжения, им сохранен — для подшивки к делу! — лишь один экземпляр предисловия к «Бытовому явлению».

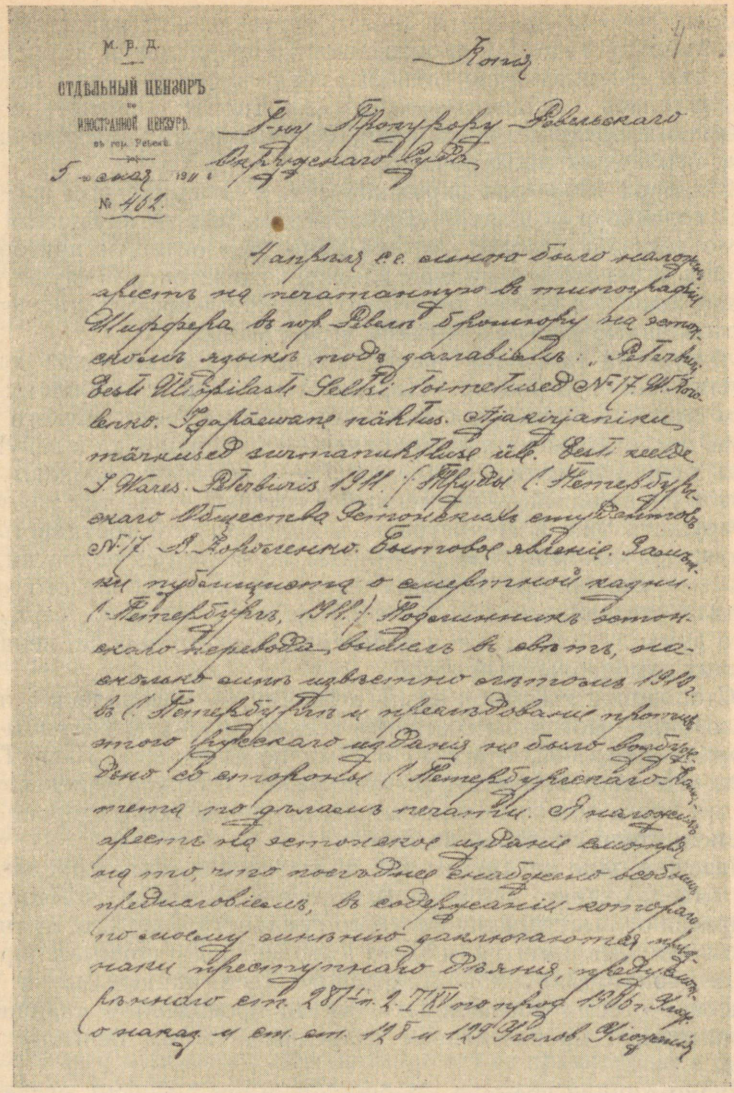
Этот уникальный — пламенный и гневный — листок удалось обнаружить уже в Ленинграде, в Центральном государственном историческом архиве. Две буквы, которыми он подписан, — «J.D.» — скрыли от царских сатрапов имя эстонского студента — автора предисловия к памфлету Короленко, отразившего думы лучших сынов и дочерей эстонского народа, ненавидевших самодержавный строй.

«Сторонники смертной казни в России, — говорилось в предисловии, — могли бы составить весьма красивую библиотеку: Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных», Льва Толстого «Не могу молчать», В. Короленко «Бытовое явление» — все эти книги дожлны были бы читать прежде всего сторонники и исполнители смертной казни»[7].

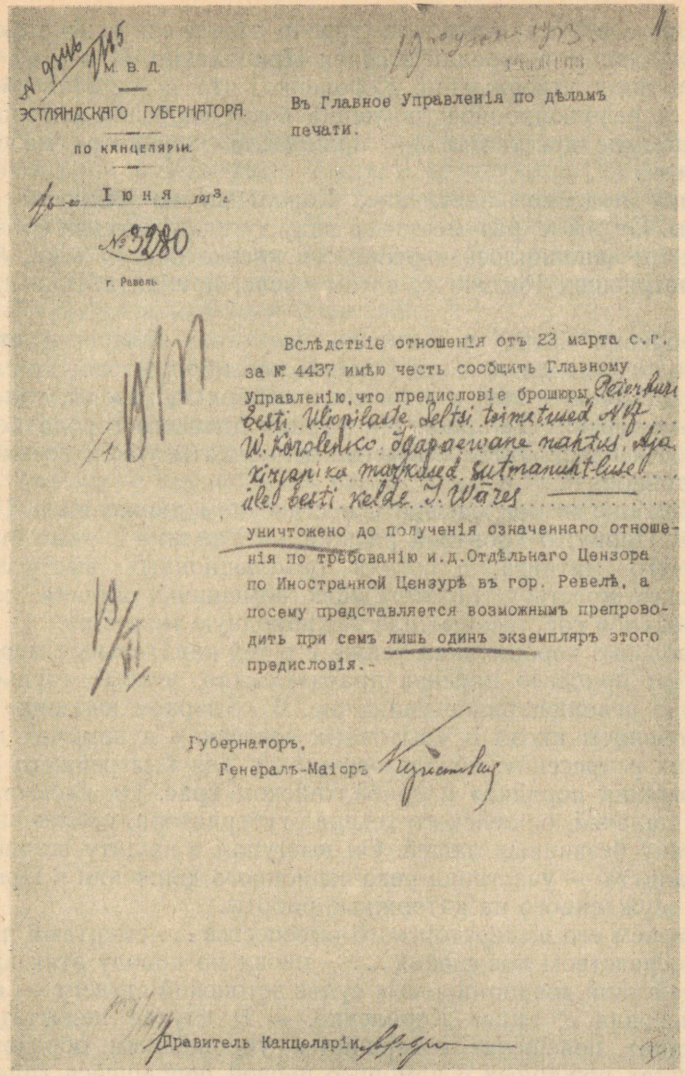
Называя одно за другим три произведения, автор предисловия видел, однако, как глубоко отличен был протест Леонида Андреева от выступления великого гуманиста Толстого, от гневного и непримиримого памфлета Короленко. Он понимал порочность пропагандируемой Андреевым идеи пацифизма, а его «Рассказ о семи повешенных» считал проявлением «наивного романтизма», произведением озаренным светом бенгальского огня.

Давно минули времена, сообщалось в предисловии, когда на виселицу всходили единичные жертвы. Настала пора массового террора, когда «смертная казнь уже превратилась в «бытовое явление», такое же бытовое, как кинематограф, Пуришкевич, аэроплан . . .»

Предисловие обращало внимание эстонских читателей на знаменательный факт: русский писатель, выступая против



Отношение отдельного цензора в г. Ревеле (Таллине) прокурору ревельского окружного суда о привлечении к уголовной ответственности издателей перевода на эстонский язык книги В. Г. Короленко «Бытовое явление», 1911.
Из фондов канцелярии главного управления по делам печати. Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.



М. В. Д.

ЭСТЛЯНДСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

ПО КАНЦЕЛЯРІИ.

Іюня 1913 г.

№ 3280

г. Ревель.

Въ Главное Управленія по дѣламъ печати.

Вслѣдствіе отношенія отъ 23 марта с.г. за № 4437 имѣю честь сообщить Главному Управленію, что предисловіе брошюры Peterburi Eesti Uliopilaste Seltsi toimetused N. V. W. Korolenko Igapaewane nahtus. Aja kirjapiko mazkused sutmanuht-luse üle. Eesti kelde I. Wäres

уничтожено до полученія означеннаго отношенія по требованію и.д. Отдѣльнаго Цензора по Иностранной Цензурѣ въ гор. Ревелѣ, а посему представляется возможнымъ препроводить при семъ лишь одинъ экземпляръ этого предисловія.-

Губернаторъ,
Генералъ-Маіоръ

Правитель Канцеляріи

Отношение эстляндского губернатора в главное управление по делам печати о препровождении в цензуру единственного сохранившегося экземпляра предисловия к эстонскому изданию книги В. Г. Короленко «Бытовое явление», 1913.
Из фондов канцелярии главного управления по делам печати.
Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

царившего в России террора, горячо отзывался и на события, происходившие в городах и селах Прибалтики. При этом имелось в виду утверждение Короленко, что в «прибалтийском крае... революционное движение было особенно интенсивно и местами действительно принимало характер массовой борьбы»[8].

Делая подобное заявление, Короленко не отклонялся от истины. Он имел, разумеется, в виду ту цепь грозных событий, которыми заполнилось первое десятилетие нового века, событий, потрясших Россию и, в том числе, прибалтийские губернии.

Короленко были, несомненно, известны январские стачки 1905 года, проходившие под руководством большевистской организации. Десять дней стояли тогда фабрики, заводы, типографии, мастерские Таллина. На улицах древнего города полицмейстер и предводительствуемые им солдаты убили восьмерых забастовщиков.

Короленко не мог не знать о стачечном движении в Тарту, Нарве, Пярну; о кровавой расправе в Таллине с участниками массового митинга; о сотнях революционных выступлений эстонских крестьян, поджигавших помещичьи имения, создававших свои собственные власти, народную милицию.

Короленко хорошо знал также и о тех карательных мерах, к которым прибегло царское правительство, чтобы задушить в Эстонии революционное движение. В «Бытовом явлении» он с негодованием писал о «пыточных застенках и приёмах полицейских репрессий», использовавшихся для быстрейшего «восстановления порядка» в прибалтийском крае. Он клеймил судей и палачей, остзейского генерал-губернатора, пославших на виселицу безвинных людей. Он выступал в защиту эстонского журналиста — участника революционного движения в Прибалтике, осужденного на каторжные работы.

«Именем его императорского высочества... смертный приговор посредством повешения...— писал по поводу этих кровавых действий военно-полевых судов эстонский студент — автор предисловия к книге Короленко. — В случае недостатка в виселицах, повешение совершается упрощённым образом на лестницах пожарных с помощью первой попавшейся гнилой и потому рвущейся верёвки.

Да, самое страшное слово о смертной казни сказал Короленко. Это больше не потрясающее событие, это обычное и серое дело»[9].

Неизвестный нам студент разделял оценку, данную памфлету и Львом Толстым, и Максимом Горьким.

Такова история эстонского предисловия к публицистической

книге русского писателя. Но в этой истории остались загадочными те две буквы, которые скрыли от цензуры автора уникального листка.

J. D.!

Длительные поиски привели нас в огромный дом на набережной Фонтанки в Ленинграде. Здесь, в просторном кабинете ученого, мы познакомились с профессором математики Иваном Яковлевичем Депманом[10]. Четыре с половиной десятилетия назад, будучи студентом Петербургского университета, он являлся членом того эстонского общества, которое перевело и издало «Бытовое явление» Короленко.

Старый ученый вспоминает об участии в работах общества Виктора Кингисеппа и Яна Анвельта. Он рассказывает о многочисленных изданиях общества, в том числе и популярных календарях «Кюльвая» («Сеятель»), пользовавшихся огромным успехом среди эстонских рабочих и крестьян. Он говорит, наконец, о памфлете Короленко, о предисловии к нему, написанном им, Депманом; о том, что и в годы царизма замечательный русский писатель был кровно близок, дорог эстонскому народу.

ПУБЛИЦИСТИКА ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА

Мы, русские, — многовековые, исторические соседи и друзья эстонского народа...

Вс. Вишневский

Осенью 1944 года в Кронштадте была издана небольшая книжка «В боях за Таллин». Скупые записи, сделанные под грохот орудий и взрывы вражеских бомб, воскрешали в памяти первые дни Отечественной войны, окопы на окраинах эстонской столицы, горящие корпуса домов, рвы, завалы, баррикады...

Это был дневник участника обороны Таллина. Каждая строка, выстраданная и пережитая, говорила о бедах сурового лета сорок первого года, о стойкости, мужестве, героизме советских людей:

16 августа. Настроение в городе боевое: на оборонительных сооружениях работают тысячи людей... Вышли и подростки... Временами воздушные разведчики... Высятся башни Вышгорода. Слышна на одном из участков сильная канонада.

17 августа. В городе создаются линии внутренней обороны...

23 августа. Уже роют окопы у могил балтийских моряков 1918 года — героев «Спартака» и «Автроила»[1]. Это у окраины города... Снаряды начали рваться в городе... Рабочее население Таллина продолжает оборонные работы... Начались первые пожары... Грохот канонады...

26 августа. В центре и у гаваней строят баррикады, загораживают улицы. Тянет дымок. К рубежу выходит эстонский рабочий полк... В багровом зареве видны старинные шпицы Таллина... Мы выиграли еще сутки.

27 августа. Артогонь с утра... Бои у «Русалки»[2] и на Нарва маанте, на подступах к центральной рыночной площади... Гул разрывов... Погас свет... Начались сильнейшие пожары и взрывы.

28 августа. В 13 час. 25 мин. с Таллинского рейда тронулся караван судов... Противник бьет по рейду и снаряды его всё ближе и ближе... Я долго гляжу на Таллин... «Мы вернемся, Таллин!»[3]



Вс. Вишневский.

Портрет работы худ.
А. Яр-Кравченко

Автором этих дневниковых строк был выдающийся советский писатель — коммунист Всеволод Витальевич Вишневский. Одним из последних покинул он осажденный врагом Таллин и в числе первых, спустя три с лишним года, вернулся в освобожденный от фашистов город. «Борьба за Эстонию вызывала и вызывает особые чувства, — писал он в те радостные дни на страницах «Правды», — Россия издавна связана с Эстонией крепкими братскими узами . . .»[4]

Глашатаем нерушимой дружбы русского и эстонского народов, единства великого советского многонационального государства, пролетарского интернационализма Вишневский был и в дни героической обороны Таллина, и в годы, когда Прибалтика стонала под гитлеровским игом, и в светлую послевоенную пору. Этой дружбе, спаянной веками совместной борьбы за лучшую, счастливую жизнь, он посвятил ряд своих пламенных статей, очерков, фронтовых корреспонденций.

Летом 1941 года, в промежутки между поездками на оборонительные рубежи Таллина, Вишневский изучал прошлое Эстонии. Он собирал материалы об исторических связях русского и эстонского народов, призывая ученых и писателей сделать

летописи, книги, старинные гравюры, предания, повествующие об этой великой дружбе, достоянием широчайших масс.

«Много видели древние стены Таллина, — писал Вишневский. — Видели они века борьбы упорного, стоического эстонского народа против надменных, беспощадных, хитрых и коварных колонизаторов. До стен Таллина доносились стоны сжигаемых на кострах людей, плач обесчещенных женщин, плач сирот... Эстонцы, однако, не уступали своих земель, своего очага, своей независимости. Восстания против захватчиков шли по всей Эстонии... Свободолюбивые эсты не смущались тяжелым вооружением рыцарей, латами, кольчугами, шлемами, копьями, мечами, плотным сомкнутым клинообразным строем... Не смущались появлением замков-крепостей. Эсты шли и бились, имея рядом союзников — русских»[5].

Обращаясь к далекому прошлому Эстонии, Вс. Вишневский отмечал, что культурные, бытовые, экономические связи русского и эстонского народов всегда отличались исключительной прочностью. Он напоминал о временах, когда иноземные захватчики вторглись в Прибалтику и сын Калева сзывал соотечественников на бой. Против общего врага, утверждал писатель, пошли тогда и эстонские крестьяне из Тарту и Пярну, и русские дружинники из Пскова и Новгорода. В той долгой, упорной борьбе и скреплено было эстонско-русское боевое братство.

В обширной публицистической статье «Что видел и знает старый Таллин» Вс. Вишневский рассказал о бесчинствах баронов, католических епископов и всей их наемной своры — разнузданной солдатчины ливонского и тевтонского орденов; о пожарах многочисленных войн, эпидемиях и голоде, сметавших с лица земли прибалтийские селения; о героизме крестьян, не сдавшихся и выступавших против своих угнетателей. Несмотря на огромные трудности, эстонский народ упорно шел к одной цели: к освобождению, к национальной независимости, к владению землей. И в этой титанической борьбе, писал Вишневский, рядом, плечом к плечу с эстонским народом, шел всегда народ России. Не случайно, заявлял писатель, восстания эстонцев и русских почти всегда вспыхивали одновременно.

Страстное перо Вишневского способствовало разоблачению буржуазно-националистических, фальсификаторских концепций исторического прошлого Эстонии и эстонского народа. Оно было направлено, в частности, против тех «ученых», которые отрицали эстонское происхождение Таллина и приписывали его основание чужеземным колонизаторам. Оперируя документальными материалами, Вишневский категорически утверждал, что Таллин всегда был в своей основе эстонским городом, что

в нем всегда преобладало эстонское население. Характерно, рассказывал писатель, что в XVI в. местные купцы вынуждены были изучать эстонский язык, т. к. на ином языке многие таллинцы не желали разговаривать [6].

В ряде статей Вс. Вишневский остановился на историческом значении присоединения Эстонии к Российскому государству, создавшего благоприятные условия для развития экономики новой, прибалтийской, губернии. После всего лишь двенадцатилетнего пребывания в составе Российского государства, отмечал он, уже более чем втрое возросло население Таллина. Таллин стал соседом и другом новой столицы России — Петербурга. В теснейшей культурной связи с Россией, с великой русской культурой росла прогрессивная эстонская интеллигенция . . . Вс. Вишневский писал о том, что эстонские труженики вместе с русскими рабочими и крестьянами строили таллинские заводы и таллинский порт, вместе прокладывали железную дорогу С.-Петербург — Таллин. Так, на протяжении десятилетий, в труде выковывалась и пролетарская солидарность эстонцев и русских.

Присоединение Эстонии к России способствовало дальнейшему росту освободительной борьбы эстонского народа. «Враг был и у эстонцев, и у русских один и тот же: самодержавие, бароны, помещики, — писал Вишневский. — Шаг за шагом эстонцы и русские отвоевывали себе права . . .»[7]

Писатель-коммунист указывал на историческую связь рабочего движения в Эстонии с общероссийским революционным движением. Одной из немеркнущих страниц в этой борьбе была первая русская революция. Находясь в Таллине, Вишневский познакомился с документальными материалами о грозных событиях 1905 года в Эстонии — о массовых стачках на таллинских, тартуских и нарвских предприятиях, о волнениях в деревне, о вооруженном восстании в Харьюмаа, Ляанемаа, Ярвамаа и Пярнумаа, о руководящей и организующей роли коммунистической партии в этой борьбе. Писатель убедился, что в 1905 году эстонские труженики, как всегда, боролись совместно со своими русскими братьями. «В суд, в тюрьмы и на каторгу, — писал он, — герои освободительной борьбы — эстонцы и русские шли вместе, одинаково. Одинаково бароны Прибалтики казнили балтийского русского матроса-революционера и восставшего эстонца . . . Таллин был свидетелем этой борьбы, этих жертв и ничто и никто этой правды народной из памяти людской не вытравит»[8].

Бойцом-красногвардейцем участвовал Вишневский в Октябрьском перевороте. Он слышал исторические залпы «Авроры», эхо которых прокатилось и над исстрадавшейся зем-

лей Эстонии. И писатель указывал на историческое значение Великой Октябрьской революции в судьбах эстонского народа. Свершившаяся в Петрограде революция, писал он, впервые решила вопрос о ликвидации баронского, помещичьего землевладения, о праве эстонского народа на свое экономическое и культурное развитие.

На путях к Великому Октябрю и в дни провозглашения первого в мире государства рабочих и крестьян эстонский и русский народы по-прежнему были вместе. Отважно, беззаветно боролись они против корниловских банд, стремившихся прорваться к Петрограду [9]. Отважно и беззаветно, при помощи русского революционного пролетариата, под руководством коммунистической партии, эстонские труженики создавали у себя советскую власть.

Предательство националистической буржуазии, иностранная интервенция привели к отторжению Эстонии на двадцать с лишним лет от Советской страны. Вс. Вишневский разоблачил антинародную политику фашистской клики Пятса—Лайдонера. В публицистических статьях он раскрыл сущность той национальной катастрофы, к которой привела Эстонию господствовавшая там буржуазная диктатура. Промышленность, писал он, прозябала, т. к. прервана была ее живительная связь с Советским Союзом. Замер таллинский порт. Эстонские трудящиеся познали весь ужас безработицы.

Горячо приветствуя восстановление в Эстонии советской власти, Вишневский неустанно подчеркивал единство интересов, единство жизненных целей всех народов социалистического государства. Выступая на страницах республиканской печати, он призывал эстонских тружеников к самоотверженной борьбе в строительстве новой жизни. «Будем работать, — писал в 1944 году Вишневский, — дружно — и эстонцы и русские, относясь друг к другу с доверием и истинной дружбой, которая должна быть выявлена в делах»[10].

Эти благородные патриотические мысли пронизывали все посвященные Эстонии публицистические произведения писателя-коммуниста. Ими дышали многие фронтовые корреспонденции; яркие, насыщенные фактами статьи о прошлом эстонского народа; беседы с трудящимися Советской Прибалтики. С каким удовлетворением отмечал Вишневский, что в Великой Отечественной войне, как и в прежние времена, плечом к плечу стояли русский воин и эстонский воин! Он с гордостью рассказывал, что русские честно дрались за Таллин, Нарву и другие города, в то время, как эстонцы дрались рядом и лили свою кровь за русские города — Новосокольники и Великие Луки . . . Он радостно приветствовал сентябрьское утро 1944 года, когда

после черных дней фашистской оккупации над Вышгородом высоко взвился народный советский флаг, и в Таллин, где так прочно, веками, скреплялась дружба эстонцев и русских, вернулась обретенная в боях свобода.

Восьмую годовщину со дня восстановления в Эстонии советской власти Вс. Вишневский встретил в Таллине. В тот радостный, ликующий день он горячо поздравлял трудящихся республики с огромными успехами в строительстве социализма. Писатель вновь напоминал о борьбе против баронов, буржуазии и царизма, в которой выросли и закалились дружба и солидарность русского и эстонского народов. «Совместно — эстонцы и русские — проливали свою кровь в первых народных выступлениях, так замечательно описанных Эдуардом Вильде; — заявлял Вишневский, — совместно, плечом к плечу боролись эстонцы и русские в 1917—18 годах; совместно строили новое социалистическое общество и защищали его в общей Великой Отечественной войне 1941—45 годов»[11].

Обращаясь к трудящимся Советской Эстонии, Вс. Вишневский звал их еще более крепить свои связи со всеми народами могучего социалистического государства, быть верными духу пролетарского интернационализма. «Пусть же дружба наша, — заявлял выдающийся писатель-коммунист, — будет нерушимой и благородно устремленной. Цель наша высокая и чистая: построение коммунизма . . .»[12]

ОБРЕТЕННАЯ МЕЧТА

(заключение)

Когда звучит, единством рождена
На Балтике и Тихом океане,
Песнь о стране, которая сильна,
Не знает кризисов, одно желанье:
Дать клятву славной родине своей,
Жить для неё, отдать все силы ей.
Я. Кярнер, 1940

В дали многих столетий лежат истоки той чудесной дружбы, которая связала навеки русский и эстонский народы. Ее бережно хранили и укрепляли наши великие соотечественники — и русские, и эстонцы.

Русские друзья помогали эстонскому народу в его борьбе против феодального и капиталистического рабства, в становлении и развитии национальной демократической культуры, в формировании передовой общественной мысли Прибалтики. У эстонского же народа эта благородная и бескорыстная помощь всегда находила ответные чувства сердечной любви, глубочайшей признательности, уверенности в том, что Солнце Свободы взойдет над Эстонией только с Востока.

Бессмертные ленинские идеи, идеи Коммунистической партии, указавшие путь к новой жизни, своим немеркнущим светом озарили и эстонскую землю. В октябрьские дни семнадцатого года, рука об руку с русским рабочим, крестьянином, солдатом и матросом, совместно с другими народами России, основы могучего социалистического государства закладывал и труженик Эстонии. В актовом зале Смольного эстонский боец революции участвовал в принятии первых советских декретов о Земле и Мире — декретов, отразивших и его сокровеннейшие чаяния и думы.

Но предательство националистической буржуазии, нашедшей поддержку у англо-американского империализма, оторвало на два десятилетия эстонский народ от верных ему соратников и друзей. Двадцать лет, в условиях жесточайшего фашистского террора, Коммунистическая партия Эстонии вела беззаветную борьбу за жизненные интересы трудящихся. Двадцать лет эстонские рабочие и крестьяне, лучшие люди эстонской интеллигенции стремились вернуться в семью советских народов.

И это свершилось полтора десятилетия назад, летом 1940 года...

Нет ныне такого уголка в нашей отчизне, который не был бы связан с Эстонией, не посылал бы ей плоды вдохновенного труда, не способствовал бы развитию ее народного хозяйства, подъему ее культуры. Украина шлет к берегам Балтики электровозы и врубовые машины, скребковые и ленточные транспортеры. Из Киргизии идут центробежные насосы, из Молотова — экскаваторы, из Челябинска — бульдозеры, из Черемхова — строительные механизмы, из Сталинграда и Владимира — тракторы, с Алтая — сеялки и плуги. Днем и ночью по стальным магистралям проходят груженые для Эстонии платформы с московскими автомашинами, мощными станками, деталями огромных сооружений... У рыбаков острова Хийума, в аудиториях Эстонской сельскохозяйственной академии, в пярнуском колхозе и в цехах таллинского завода — всюду вы увидите чудесные плоды братской всеобъемлющей дружбы.

Эстонский сланцевый бассейн. Старые горняки хорошо помнят буржуазное прошлое, когда киркой, лопатой и буровой рамой исчерпывались все орудия подземных работ; когда ослепшие лошаденки тащили нагруженные сланцем вагонетки; когда сланец вручную и ссыпали, и сортировали, и погружали в вагоны. А сейчас на блестяще оснащенных шахтах можно увидеть сооружения, подобные той гигантской эстакаде, которую смонтировал для сланцевиков завод имени Кирова. Высота этой конструкции достигает тринадцати, а длина — 85 метров! Опирающаяся на мощные колонны площадка с отходящей от нее наклонной плоскостью напоминает пролет большого моста.

Мощные врубовые машины, транспортеры, электровозы, бурмашины, электромоторы, перегонные и сушильные установки, редукторы и турбомашины... Советская горная техника, созданная машиностроителями братских республик, пришла на помощь Эстонскому Донбассу. Нет уже старых карликовых рудников, где обвалы и удушье всегда грозили оборвать жизнь шахтера. Есть — новые механизированные шахты, есть — просторные корпуса первого в мире сланцеперерабатывающего комбината, есть — рожденные в советские годы города и поселки эстонских сланцевиков.

В институте «Гипрошахт» вам расскажут о том, как с помощью друзей из многих советских республик росла и мужала сланцевая промышленность Эстонии. Там помнят первый послевоенный год, когда группа проектировщиков впервые вышла на покрытые бурьяном пустыри. Она выбирала строи-

тельные площадки будущих шахт, разведывала грунты, делала геодезические и топографические съемки. Уже тогда специалисты знали, где именно сланец будет вынут из земли, ляжет на транспортеры, поплывет на поверхность. Обдумывая, размеряя, рассчитывая каждый шаг, русские и эстонские инженеры одухотворяли схему, детализировали ее, делали расчеты, рабочие эскизы.

Время торопило проектировщиков. Надо было быстрее воссоздать все детали возрождения и развития сланцевого бассейна. Еще не были готовы проекты, но на заводы Ленинграда и Златоуста уже отправлялись чертежи металлоконструкций будущих шахт. Еще не было самих шахт, а строители дорог и подсобных предприятий получали первые конкретные задания.

Так рождались проекты новостроек — первенцев послевоенной пятилетки в Эстонии. Их создавал большой, дружный коллектив специалистов.

Эта деловая связь не порывалась и в последующие годы. В одной из комнат проектного института нам довелось видеть огромный макет. На его рельефной площадке раскинулись корпуса заводов и кварталы новых городов, высились копры многих шахт... Красные огоньки напоминали о том, что уже создали в сланцевом бассейне советские люди. Но, стоя у озаренного огнями макета, можно было совершить бросок и в недалекое будущее, увидеть чудесный край таким, каким он станет спустя пять, десять, даже пятнадцать лет. И это было не бесплодной фантазией, а воплощением точнейших технических расчетов, в миниатюре — завтрашним днем прибалтийской сланцевой индустрии.

«Никогда бы маленький эстонский народ не создал своего «Эстонского Донбасса» без помощи друзей из всех республик могучего Советского Союза, — пишет эстонский поэт Уно Лахт. И он обращается к тем, кто помог сланцевикам воздвигнуть корпуса первого в мире газосланцевого комбината, построить новые шахты, оснастить их совершеннейшей техникой: — Спасибо вам, инженер Садовников, за ваш страстный энтузиазм, с которым вы работали на первой испытательной батарее в Кохтла-Ярве. Спасибо вам, украинские керамики, и вам, уральские машиностроители, и вам, ленинградские монтажники! Белокаменные горняцкие города Кохтла-Ярве и Ахтме посылают вам всем свой благодарный поклон».

Да и сами молодые эстонские города и рабочие поселки рождались по проектам, созданным в советскую пору. Вот — один из них. Имя этому горняцкому поселку — Сомпа. Его первые камни были заложены несколько лет назад. Скептики,

а были и такие, не верили, что на заболоченной земле будут стоять дома. Но коммунисты и тут победили природу. На голом месте выросли кварталы. В коттеджах, построенных по проекту академика Веснина, поселились семьи сланцевиков.

Поселок растет на юг и север. И, по мере того, как мысли и идеи русских и эстонских зодчих претворяются в жизнь, он становится цветущим городом-садом. На его генеральном плане есть и живописный парк с тенистыми зелеными аллеями, и бульвары с пышными газонами, и скверы между коттеджами и домами.

Несколько лет назад на столе ленинградского архитектора нанесены были на кальку и ватман первые контуры генплана Йыхви. А ныне в когда-то заболоченном уголке Эстонии уже воздвигнуты новые кварталы и этого города.

Ахтме... Его обозначили на карте в 1953 году — рядом с Кохтла-Ярве и Йыхви, возле тракта, что издавна связывает Ленинград с Таллином. Все в этом молодом городе, выросшем из рабочего поселка сланцевиков, устремлено в будущее. Тот, кто бывал там год назад, сегодня уже должен внести поправку в свое прежнее представление об его окраинах: здания, стоявшие ранее в конце поселка, теперь занимают место в центре новых улиц. Раскрыв генеральный план Ахтме, вы увидите, что многие квадратики перечеркнуты цветным карандашом — это стало уже явью!

То, о чем в былые времена мог лишь мечтать эстонский труженик, осуществлено благодаря братской взаимопомощи и единению советских народов, благодаря дружбе, выкованной Коммунистической партией. С бескорыстной помощью друзей — а они у эстонского народа в каждой из советских республик — сказочно выросла индустрия прибалтийского края. Невиданная техника вошла под своды старых и заново сложенных корпусов. На обувных фабриках Эстонии стоят затяжные машины и прессы для горячей вулканизации с маркой Ленинграда. Текстильные предприятия оборудованы первоклассными ватерами отечественных конструкций. Эстонские машиностроители пускают в производство русскую сталь...

Овладев новой советской техникой, созданной московскими, ленинградскими, тульскими, новосибирскими и другими заводами, эстонский рабочий и сам дает стране добротнейшую продукцию. С берегов Балтики на новостройки пятилетки уходят электромоторы с заводской эмблемой «Вольта»... Днепрогэс получил с комбината «Ярваканди» превосходное стекло... Газосланцевый комбинат в Кохтла-Ярве дает бытовой газ ленинградцам...

Чувство нового, свежесть творческой мысли, поиски неисхо-

женных путей, порыв искания — эти драгоценные качества советских людей — свойственны и таллинским машиностроителям, и кохтлаярвеским горнякам, и лучшим эстонским хлеборобам. С неистощимой настойчивостью они познают передовой опыт Москвы, Ленинграда, Украины, Урала, шахт Донбасса, колхозников Кубани, механизаторов Алтая.

В далекой Сибири есть село Каратуза. Тысячи верст отделяют его от прибалтийского края. Но советская дружба тем и сильна, что она объединяет в одной монолитной семье туркменского хлопкороба и чукотского оленевода, донецкого шахтера и дальневосточного рыбака. «Каратузские зрители, — рассказывается в письме, пришедшем в Эстонию из Красноярского края, — просмотрев кинофильм «Свет в Коорди», убедились, что эстонский народ твердо шагает в ногу с многомиллионным народом Советского Союза, по примеру своего старшего брата русского народа он умело и уверенно строит свое коллективное хозяйство, которое резко поднимает материальный и культурный уровень жизни колхозников. На полях Коорди, как и на наших сибирских колхозных полях, работают комбайны, а в домах недавних батраков зажглось электричество».

Глубочайший интерес сибирских колхозников к тем коренным изменениям, которые произошли в эстонской деревне, разумеется, не случаен. Вспомните недавние годы, когда сельское хозяйство молодой прибалтийской республики только лишь выходило на широкую дорогу коллективизации. Вся страна с искренней симпатией к эстонскому крестьянину следила за тем, как рушились границы между клочками крестьянской земли, как создавались первые эстонские колхозы, снимался первый колхозный урожай. И тогда, и теперь Родина, Партия, народы советской страны оказывали эстонской деревне могучую поддержку. На обширнейшие колхозные массивы вышли мощные тракторы и самоходные комбайны, льнотеребилки и сложные молотилки.

Дружба! Она органически укоренилась в нашей советской действительности. И никого не поражает, что в Кохтла-Ярве, перед сланцевиками, держат творческий отчет русская поэтесса М. Алигер и украинский писатель В. Собко; что в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Сталино, Горловке, Макеевке поет Эстонский государственный академический мужской хор; что эстонский юноша слушает лекции в Московском университете; что выпускники ленинградского вуза едут на работу в эстонскую деревню.

Под благотворным влиянием русской культуры, во взаимодействии с национальными культурами всех народов нашей отчизны, необычайно расцвела в советские годы и эстонская

культура. Даже в самой маленькой библиотеке республики вы найдете сейчас томики Пушкина и Гоголя, Некрасова и Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого и Чехова, Горького и Маяковского, Шолохова и Фадеева. Наследие основателя советской литературы Алексея Максимовича Горького, публицистическая поэзия Владимира Маяковского, произведения крупнейших советских писателей воспитывают в эстонском народе дух пролетарского интернационализма. Их творения издаются в Эстонии огромными тиражами, публикуются в газетах и журналах, читаются широчайшими массами трудящихся. Великая культура русского народа способствует дальнейшему повышению идейного и художественного уровня эстонской советской литературы.

Содружеством с братскими республиками характеризуется и творческая деятельность эстонских ученых. Созданная в советские годы Академия наук Эстонской ССР — ее многочисленные научно-исследовательские институты, лаборатории и опытные базы, решающие важнейшие народнохозяйственные проблемы, работают в тесном контакте с научными коллективами Москвы, Ленинграда, многих других городов страны.

Культурная жизнь Эстонии полна яркими событиями, одинаково близкими и москвичам, и ленинградцам, и украинцам, и латышам ... В Тарту, на сессии астрономов, посвященной изучению строения Галактики, можно было услышать доклады пулковских ученых. В Академии наук Эстонской ССР в обсуждении проблем инженерной геологии Прибалтики участвовали профессора высших учебных заведений ряда советских республик. На научной студенческой конференции в Таллинском политехническом институте выступали гости из Ленинградского инженерно-строительного института. Этнографы и антропологи Эстонии вместе с учеными Латвии и Литвы собирают материалы о происхождении народов Прибалтики, о славяно-прибалтийских отношениях, о социалистическом переустройстве быта и культуры прибалтийских народов.

Крепок и нерушим братский союз русского и эстонского народов, крепка и нерушима дружба эстонских тружеников со всеми народами нашего отечества. Эту дружбу воспели в своих стихах поэты цветущей прибалтийской республики, выразив мысли и чувства всего эстонского народа:

Спасибо тебе за помощь,
Спасибо тебе за участье,
Спасибо тебе за дружбу,
Великий русский народ!

ПРИМЕЧАНИЯ
и
ПРИЛОЖЕНИЯ

Помимо указания источников, в примечаниях и приложениях приводятся: русский библиографический материал по затронутым, а в ряде случаев лишь упомянутым в очерках вопросам; характеристики русских писателей, ученых, общественных деятелей, музыкантов и др., в той или иной степени связанных с Эстонией; архивные впервые публикуемые документы, расширяющие наши представления о русско-эстонских культурных и общественно-политических отношениях, освещающие отдельные страницы из прошлого Эстонии; перечень русской литературы (в том числе и периодической) об эстонских городах и т. п.

ПОБОРНИКИ ВЕЛИКОЙ ДРУЖБЫ
(вступление)

[1] В книге старое, чуждое городу, наименование — Ревель сохранено лишь в публикуемых документах и цитируемой литературе.

[2] Приветствие эстонского народа трудящимся Москвы в день ее 800-летия. — См. «Советская Эстония», 2 сентября 1947.

[3] О фальсификациях реакционнейших буржуазных «ученых» в области истории Эстонии см.: В. Маамяги «Голос из мусорной ямы истории» («Коммунист Эстонии», 1953, № 6); И. Шаскольский «Манипуляции современных фальсификаторов истории Эстонии» («Коммунист Эстонии», 1953, № 8); О. Саадре и В. Голант «Об одной вылазке матёрого фальсификатора истории эстонского народа» («Советская Эстония» и «Rahva Hääl», 19 апреля 1953).

[4] Тарту в течение многих лет носил присвоенное ему ливонскими рыцарями чуждое эстонскому народу имя Дерпт. В конце XIX в. город был переименован в Юрьев (см.: «Ревельские известия», 1893, № 35). В книге наименования Дерпт и Юрьев сохранены лишь в публикуемых документах и цитируемой литературе.

[5] Этот факт относится к началу XIX в., к периоду, когда в Эстонии еще существовало крепостное право. Но человеческие торги наблюдались в Прибалтике даже спустя много лет после «освобождения» эстонского крестьянства, и о них, по мере цензурных возможностей, сообщала российская печать. В 1881 г. газета «Новое время» (см. № 1930) опубликовала статью, в которой поведала об одном из происшедших в ту пору кощунственных аукционов: «Вывели человека, предназначенного к продаже. Это был старый отставной солдат. Его поставили на аукционное место, и покупатели ходили кругом и осматривали его... Никто не мог себе объяснить этого дела, так как в объявлении было просто сказано, что будет продаваться человек и ничего более. Наконец, начался торг. «Одну меру ржи, две, три, четыре!»... Я полагал, — рассказывал очевидец, — что продажа производилась с тою целью, чтобы найти человека, который согласился бы содержать старика... Но другие сказали мне, что мое предположение неосновательно.

Аукцион продолжался: «Четыре меры ржи! Кто больше? Раз—два»... Старый солдат упал на землю — вероятно, лишился чувств. Из недалеких окон зрелищем любуется высшая публика».

Этот средневековый торг потряс даже корреспондента реакционного «Нового времени», спрашивавшего: «Что это такое? Отживающие фантазии остзейского баронства или остатки «кровавого порядка» местных остзейских узаконений? Во всяком случае и то и другое в одинаковой степени бесчеловечно...»

[6] Первое полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина, как оригинальных, так и переводных, М., 1888, стр. 965. В этом же письме писатель рассказывает о своем посещении Нарвы, описывает величественное зрелище Нарвского водопада. Д. И. Фонвизин бывал в Прибалтике и в более ранние годы. См. в связи с этим «Отрывок из журнала путешествия в Ригу, Бальдон и Митаву» (там же, стр. 869—873), относящийся к лету 1789 г.

[7] См.: ж. «Большевик Эстонии», 1951, № 18, стр. 23.

[8] Государственный литературный музей Эстонии. Рукопись И. Кёлера «Балтийцы».

[9] См.: А. Пинт «До конца разоблачить буржуазно-националистические лжетеории в вопросах истории школ и просвещения эстонского народа («Советская Эстония», 24 января 1952).

[10] См.: «Старинные эстонские народные сказки», собрал и обработал Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, Эст. гос. издат., Таллин, 1953, послесловие, стр. 289.

[11] «Калевипоэг», эстонский народный эпос, собрал и обработал Фр. Крейцвальд, перевели с эстонского Вл. Державин и А. Кочетков, Эст. гос. издат., Таллин, 1950, стр. 12.

[12] Ф. Р. Крейцвальд «Избранные письма», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 91.

[13] Там же, стр. 208.

[14] Э. Вильде «Пророк Малтсвет», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 580.

[15] См.: «История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней)», под ред. Г. И. Наана, Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 226.

[16] «Положение рабочего класса в России», наблюдения и исследования Н. Флеровского, СПб, 1869, стр. 487.

[17] См.: «Большевик Эстонии», 1952, № 3, стр. 28.

[18] Автор, бесспорно, ошибался, говоря лишь о пяти веках «невзгод» эстонского народа.

[19] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, поступления 1944 г., № 169/1, тетрадь стихов П. А. Висковатова, л. 103.

[20] Ф. Р. Крейцвальд «Избранные письма», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 89—90.

[21] В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 16.

[22] См.: Л. Рауд и П. Изместьев «Н. А. Некрасов и эстонская поэзия» («Советская Эстония», 8 февраля 1952).

[23] См.: И. Кангур «Основоположник эстонской исторической прозы» («Советская Эстония», 17 ноября 1953).

[24] Центральный государственный исторический архив Эстонской ССР (в дальнейшем — ЦГИА Эстонской ССР), ф. 291, оп. 1, ед. хр. 12330, дело канцелярии остзейского генерал-губернатора «По просьбе некоторых крестьян Лифляндской и Курляндской губерний об обучении их детей русскому языку...», л. 2.

[25] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 12791, дело канцелярии остзейского генерал-губернатора «Об утверждении проекта устава русской библиотеки для чтения в г. Пернове», л. 2.

[26] См.: А. Пинт «До конца разоблачить буржуазно-националистические лжетеории в вопросах истории школ и просвещения эстонского народа» («Советская Эстония», 24 января 1952).

[27] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, фонд Ф. П. Корнилова, № 19, л. 180.

[28] Ф. Р. Крейцвальд «Избранные письма», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 209.

[29] См.: Э. Янсен «Ф. Р. Крейцвальд — основоположник эстонской демократической литературы, просветитель, патриот» («Советская Эстония», 14 ноября 1952).

[30] См.: «Большевик Эстонии», 1952, № 3, стр. 27.

[31] Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде (в дальнейшем — ЦГИА в Ленинграде), ф. 776, оп. 4, ед. хр. 219, л. 2.

[32] Об открытии в 1802 г. Тартуского университета см.: «Политический журнал», 1802, ч. III, июль, кн. 1, стр. 87; «Акт постановления для имп. университета в Дерпте» (1802, декабря 12) в «Полном собрании законов Российской империи», 1830, т. XXVII, № 20551, стр. 394—397; «Очерк истории Дерптского университета со времени его основания в 1802 г.» («Журнал министерства народного просвещения», 1853, ч. 77, стр. 35—48); «Обзор деятельности имп. Дерптского университета. На память о 1802—1865 гг. Составлен по отчётам и донесениям», Дерпт, 1866; Е. В. Петухов «Имп. Юрьевский, бывший Дерптский, университет за 100 лет его существования (1802—1902)», исторический очерк, т. 1, Юрьев, 1902; Э. Э. Мартинсон «История основания Тартуского (б. Дерптского-Юрьевского) университета», изд. Ленинградского университета, Л., 1954.

[33] Об исторических связях Тартуского университета с русской наукой см.: Ф. Клемент «150 лет Тартуского государственного университета» («Большевик Эстонии», 1952, № 9, стр. 37—50); Э. Э. Мартинсон «Исторические связи Тартуского (б. Юрьевского) университета с русской наукой», Эст. гос. издат., Таллин, 1951, стр. 3—80; А. Любарский «Свет русской науки», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 11—318.

[34] Д. И. Менделеев на протяжении многих лет был связан с Тартуским университетом и его учеными, руководил научной деятельностью ряда представителей тартуской химической школы. В архиве квартиры-музея Д. И. Менделеева при Ленинградском государственном университете хранятся посланные великим ученым в Эстонию письма, а также другие документы, свидетельствующие о его глубочайшем интересе к опытам по синтезу каучука тартуского профессора И. Л. Кондакова, к обширным исследованиям в области биологической, аналитической, неорганической и физической химии Г. Таммана, к трудам профессора физической географии и метеорологии Б. И. Срезневского. Д. И. Менделеев проявлял заботу о Тартуском университете и лично занимался подбором для него профессоров. О связях Д. И. Менделеева с Тартуским университетом см. нашу статью («Советская Эстония», 16 декабря 1951, № 294) и соответствующую главу из нашей книги «Свет русской науки» (Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 243—259).

[35] Б. Б. Голицын в 1893 г. преподавал в Тартуском университете. Помимо общего курса экспериментальной физики, он читал там публичные лекции по электричеству и магнетизму. Материалы о его пребывании в Тарту см.: ЦГИА Эстонской ССР, ф. 402, оп. 3, ед. хр. 466, личное дело профессора Б. Б. Голицына.

[36] О кренгольмской стачке см.: «Кренгольмская стачка», Таллин, Эст. гос. издат., 1952; А. Вассар «80-летие Кренгольмской стачки» («Большевик Эстонии», 1952, № 7, стр. 49—62); «Научная сессия Академии наук ЭССР, посвященная 80-летию стачки рабочих Кренгольмской мануфактуры» («Советская Эстония», 2 сентября 1952); П. Силлаотс «На заре рабочего движения в Эстонии» (там же); «Архив истории труда в России»,

кн. II, стр. 8—14; «Рабочее движение в России в XIX веке», ч. 1, 1861—1874, М., Госполитиздат, 1950.

[37] О пребывании В. Кингисеппа в Петербургском университете рассказывают, в частности, документы Государственного исторического архива Ленинградской области. Среди бумаг лежит его прошение на имя ректора о зачислении на естественное отделение физико-математического факультета. Оно датировано 26 июня 1906 года. Вместе с прошением в Петербург был переслан и аттестат зрелости. Из него мы узнаем, что Кингисепп — сын крестьянина, родился 12 марта 1888 года в Эзельском уезде, Лифляндской губернии.

Первый период пребывания Кингисеппа в университете был непродолжителен. На аттестате появилась выведенная бисером надпись: «Означенный Виктор Кингисепп был зачислен в августе месяце 1906 г. в число студентов естественного отделения физико-математического факультета имп. С.-Петербургского университета, а ныне за невзнос платы с осеннего полугодия 1906 г. уволен из университета».

Но Виктора Кингисеппа не покидало желание учиться. В январе 1910 года он отправляет в Петербург письмо, в котором просит сообщить, имеет ли «право на поступление в университет (осенью с. г.) по аттестату зрелости, выданному... в июне 1906 года». Этот документ лежит рядом с переплетенной в коричневый коленкор «Записью студента имп. С.-Петербургского университета». В книжке перечислены прослушанные Кингисеппом циклы лекций по теории сюжетов, психологии, западноевропейской литературе и другим предметам.

Однако Кингисеппа больше всего интересовали политическая экономия, вопросы государства, права. И он добивается перевода на юридический факультет. Сохранившиеся документы говорят о том, что все преподававшиеся там дисциплины Кингисепп сдавал «весьма удовлетворительно».

В годы учебы Виктор Кингисепп не порывал связи с родным краем. Из Петербурга он следил за жизнью и борьбой эстонского народа, глубоко интересовался деятельностью коммунистической партии. Это привлекло к нему внимание царской охранки. Сохранилось сообщение С.-Петербургского градоначальника о возвращении в университет «по минованию надобности метрического свидетельства за № 82 студента Виктора Эдуардовича Кингисеппа». С этим документом перекликается адресованное ректору секретное письмо управляющего С.-Петербургским учебным округом: «По рассмотрении особым совещанием... обстоятельств дела о состоящем в числе студентов имп. С.-Петербургского университета крестьянине Лифляндской губернии Викторе Кингисеппе, изобличенном в принадлежности к Ревельской организации Российской социал-демократической рабочей партии и в агитации среди фабричных рабочих, — говорится в циркуляре, — господин министр внутренних дел постановил подчинить названного выше Кингисеппа гласному надзору полиции в избранном им самим месте жительства, кроме столицы, Эстляндской, Лифляндской, Псковской и столичных губерний...» (См.: Государственный исторический архив Ленинградской области, фонд имп. С.-Петербургского университета, ед. хр. 1616 и 276).

[38] См.: В. Вилланди «Юхан Лилиенбах — эстонский пролетарский поэт и издатель» («Советская Эстония», 1 февраля 1952).

[39] В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 16.

[40] См.: «Советская Эстония», 30 января 1953.

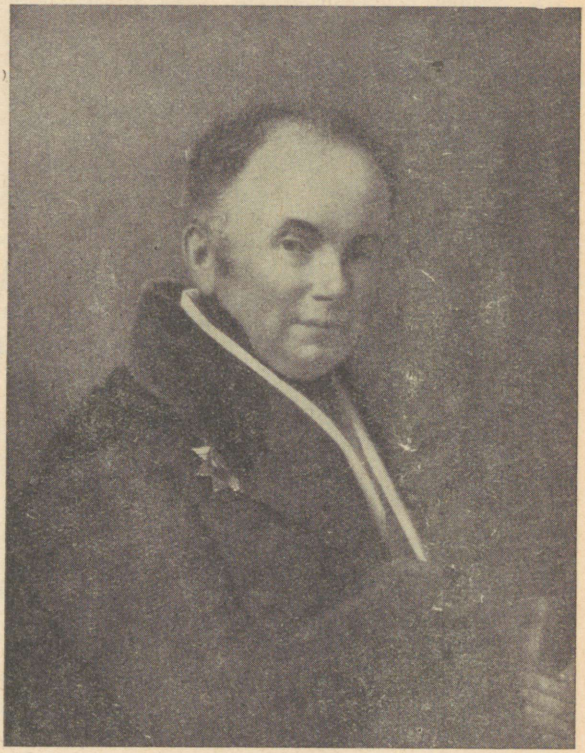
[41] См.: Х. Тобиас «А. Таммсааре и его роман «Правда и право» в кн. Антона Таммсааре «Правда и право», ч. 1, Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 583.

[42] См.: «Советская Эстония», 30 января 1953.

[43] См.: «Интернациональная литература», 1940, № 3—4, стр. 267.
[44] Юхан Смуул «Стихотворения. Поэмы», Сов. писатель, М., 1951, стр. 23.

«И ДУХ ПОЭТА ЖИВ В МОЕМ НАРОДЕ...»

[1] См.: «Литературное наследство», т. 58, изд. Академии наук СССР, М., 1952, стр. 33.
[2] О поездках В. А. Жуковского в Эстонию см.: И. И. Змигродский «Памяти В. А. Жуковского. По поводу пятидесятилетия со дня кончины В.А. Жуковского. 1852. 12.IV. 1902», Юрьев, 1902. В книге приводится справка о времени, проведенном поэтом в Тарту: с марта 1815 по январь 1818 — приблизительно 1 год и 6 месяцев, в том числе: в 1815 г. — 10—12 недель, в 1816 — 31 неделю, в 1817 г. — около 33 недель и в 1818 г. — недели 3. Помимо этого, Жуковский бывал в Тарту в 1819, 1820, 1821 (проездом за границу в апреле), 1822 (дважды), 1823 (трижды), в 1824, в мае 1826, в 1827, 1829, 1833, дважды в 1836. Живя в Тарту, В. А. Жуковский поддерживал тесные связи со многими профессорами, работал в университетской библиотеке, слушал лекции видных ученых. В Тарту им был создан ряд произведений (завершен «Певец в Кремле», дописана вторая половина

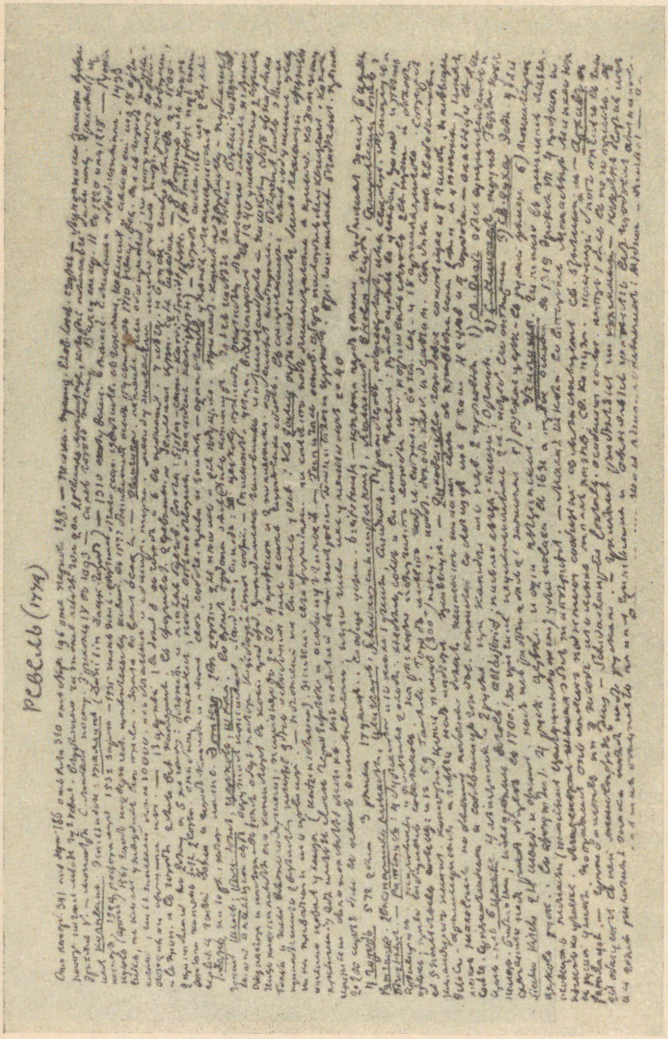


Портрет В. А. Жуковского с его автографом. Под портретом К. Моргенштерном сделана надпись на латинском языке, подтверждающая, что портрет подарен ему В. А. Жуковским.

Хранится в фундаментальной библиотеке Тартуского государственного университета.

«Двенадцати спящих дев» и т. п.), сделаны блестящие переводы из Гете и Шиллера, вошедшие в историю русского художественного слова. В 1816 году Тартуский университет присудил В. А. Жуковскому степень доктора философии.

Тартуский университет на протяжении многих десятилетий высоко чтил имя В. А. Жуковского. Об этом рассказывают архивное дело «Празднование пятидесятилетия со дня кончины Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского» (ЦГИА Эстонской ССР, ф. 402, оп. 4, ед. хр. 1282), изданный к той же дате в Тарту «Сборник памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского» и другие материалы.

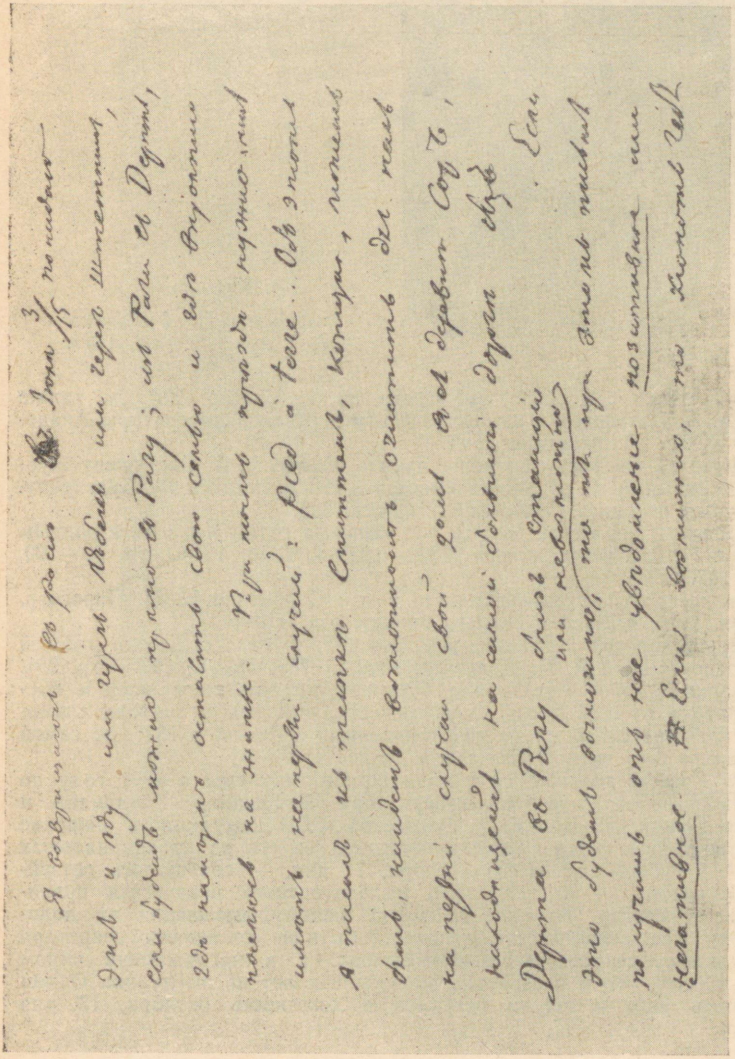


Тетрадь с заметками В. А. Жуковского по географии и истории Эстонии. Страница с выписками из прочитанных поэтом книг о достопримечательностях Таллина.
Из архива В. А. Жуковского.
Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

[3] О том, что у В. Кюхельбекера была с собой за границей (а, следовательно, и во время проезда туда через Нарву и Тарту) пушкинская поэма «Руслан и Людмила» см.: В. Кюхельбекер «Отрывок из путешествия». — «Мнемозина», 1824, II, стр. 63.

[4] См.: «Сочинения Пушкина», изд. Академии наук. Переписка. Под ред. и с примечаниями В. И. Саитова, т. 1, СПб, 1906, стр. 252.

[5] Указание на то, что А. А. Воейкова никогда не расставалась со своими альбомами, и на наличие в них стихов А. С. Пушкина см.: Бумаги А. А. Воейковой. Н. В. Соловьев «История одной жизни. А. А. Воей-



Автограф письма В. А. Жуковского к К. К. Зейдлицу о намерении поселиться вместе с семьёй в Тарту, 1848.
Из архива В. А. Жуковского.
Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.



И. А. Крылов.

Гравюра И. Фридрица с рисунка Оленина, 1825.

кова — «Светлана», П., 1915, кн. 1, стр. 96; кн. 2, стр. 107. См. также альбомы А. А. Воейковой в архиве Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом).

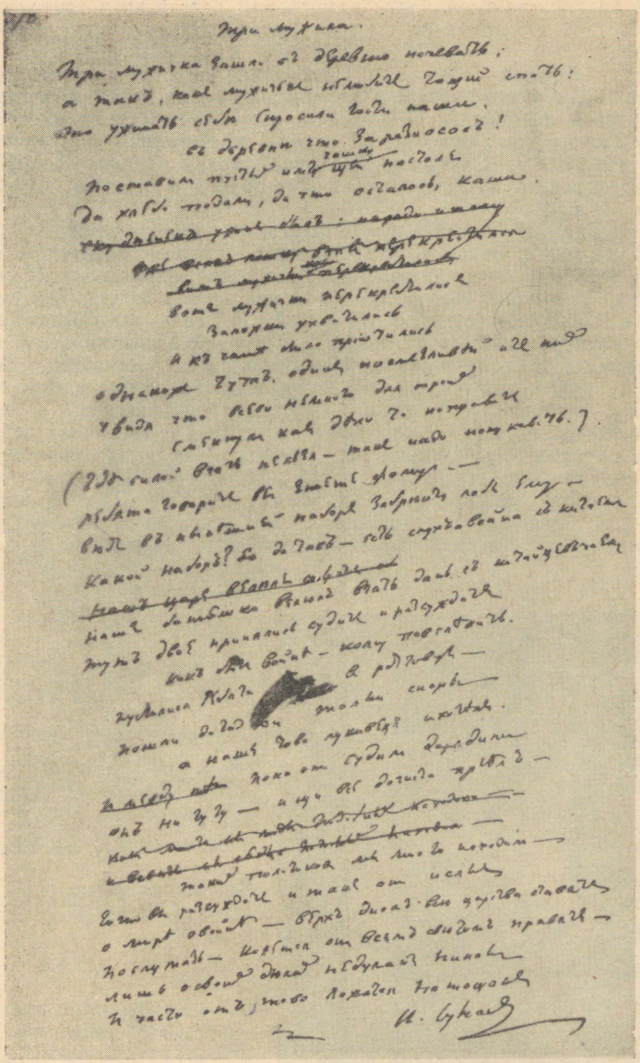
[6] Указание на посылку находившемуся в походе А. А. Бестужеву журналов со стихами А. С. Пушкина имеется в его письмах к Ф. Булгарину. См.: «Русская старина», 1901, февраль, стр. 395.

[7] См.: Языковский архив, выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 99—100, 118, 128, 187.

[8] См., в частности, указание на это в кн.: Сочинения Н. И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, «Дневник старого врача», стр. 416.

[9] А. Дельвиг провел в Таллине все лето 1827 г. (см.: «Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820—1870», М.-Л., 1930, стр. 92). Там он написал сонет «Что вдали...», впервые опубликованный в «Северных цветах» за 1832 г. со следующим предисловием редактора альманаха: «Сонет к российскому флоту, написанный в Ревеле в 1827, до самой кончины поэта был тайною даже для друзей его».

[10] И. А. Крылов впервые приехал в Прибалтику еще в 1801 году по приглашению нового военного губернатора Лифляндии, Эстляндии и Курляндии Голицына. В ЦГИА Эстонской ССР сохранилось решение сената, отвергавшее ходатайство о производстве его из провинциальных секретарей в губернские. «Сего октября, 11 дня, — сообщалось остзейскому губернатору, — по указу его императорского величества правительственному сенату, по представлению вашему, приказали на положенной при вас секретарской вакансии быть в должности секретаря провинциальному секретарю Ивану Крылову, а в награждении чином отказать, потому, что в настоящем положенных лет не выслужил. О чем ему объявить указ и велеть вступить в должность октября, 13 дня 1801 года».



Автограф басни И. А. Крылова «Три мужика». Фундаментальная библиотека Тартуского государственного университета.

Молодой тогда еще баснописец прожил в Риге около двух лет (см. ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 995 — журнал исходящим бумагам по гражданской части канцелярии остзейского генерал-губернатора, л. 15). В это время он посетил Таллин, Валгу и другие прибалтийские города.

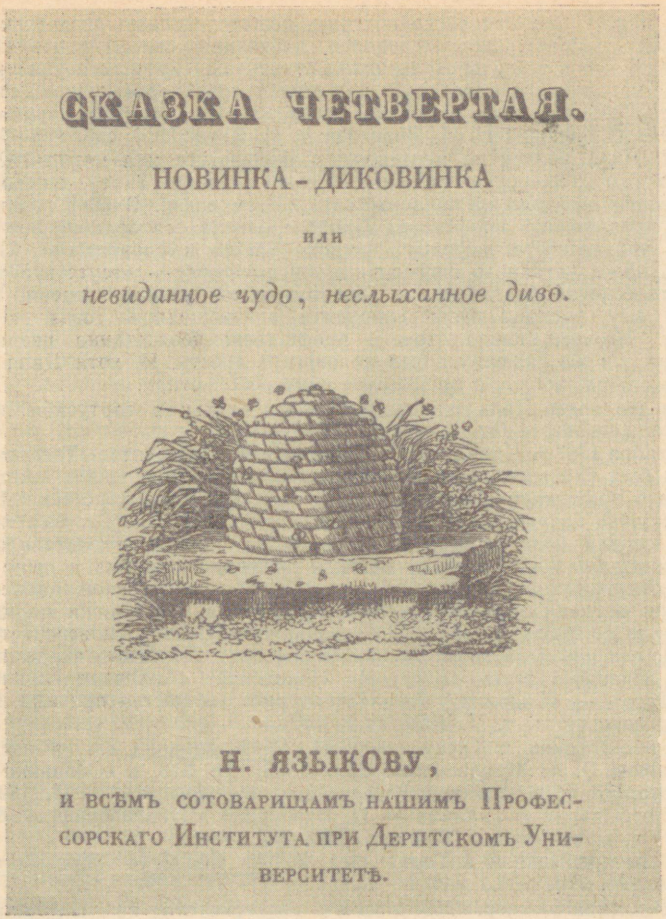
Вторично Крылов побывал в Прибалтике спустя двадцать один год. 4 августа 1824 г. о его приезде в Таллин оповещала местная газета. Сохранился путевой дневник А. Н. Оленина о его путешествии вместе с Крыловым в Таллин (см.: рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, архив Олениных, рукописный «Дневник морского путешествия из Петербурга в Ревель», июль—август 1824, на 4 л.л.).

[11] В. И. Даль приехал в Тарту с флота, на котором служил после окончания кадетского корпуса. К тому времени будущий создатель «Толкового словаря» уже усиленно собирал народные слова, записывал песни, сказки, пословицы. Музыковед-литератор Ю. Арнольд вспоминал, что еще в начале 1826 г. впервые встретил в Тарту В. И. Даля, выказывавшего тогда «столько разнороднейшего знания, литературной начитанности и самородного остроумия и столь необыкновенный талант к рассказам... Усевшись в середину круга, минуты на две задумывается, а там и начинает рассказывать, — писал Ю. Арнольд. — В темах для рассказов у него недостатка никогда не было. То описывает он жизнь матросов на корабле; то рассказывает про свою родину, про Луганский завод; то передаёт какой-нибудь анекдот про шалости молодых мичманов в Николаеве, или про чудака, старого адмирала... К тому же он рассказывал живо, рельефно... Отдельные подробности этих рассказов, конечно, должны были вскоре улетучиться из моей памяти; но когда в конце 30-х годов я



В. И. Даль

Акварель неизвестного художника, 1829.


СКАЗКА ЧЕТВЕРТАЯ.

НОВИНКА - ДИКОВИНКА

или

невиданное чудо, неслыханное диво.

Н. ЯЗЫКОВУ,

и всѣмъ сотоварищамъ нашимъ Профессорскаго Института при Дерптскомъ Университетѣ.

Страница из вышедшей в 1832 г. в Петербурге книги В. И. Даля (Казака Луганского) «Русские сказки (пяток первый)».

стал читать рассказы «Казака Луганского», то повести эти невольно вызвали во мне вновь ту картину, которую я только что начертил...» (Юрий Арнольд «Воспоминания», 1892, выпуск 1-й, стр. 113—114).

С воспоминаниями Ю. Арнольда перекликаются строки из «Дневника старого врача» Н. И. Пирогова. «Это был замечательный человек, — вспоминал тот про Даля, — сначала почему-то не понравившийся мне, но потом мой хороший приятель. Это был прежде человек, что называется, на все руки. За что ни брался Даль, всё ему удавалось усвоить... В то время он не был ещё писателем и литератором, но он читал уже отрывки из своих сказок... Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и

владея, между многими способностями, необыкновенною ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором». Пирогов вспоминал, что в те годы Даль читал студентам Тартуского университета отрывки из своих произведений, в которых «попадалось уже множество собранных им, очевидно, в разных углах России поговорок, прибауток и пословиц» (Сочинения Н. И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, стр. 425—426).

В. И. Даль учился на медицинском факультете и в марте 1829 года получил там докторскую степень. Однако, покинув Тарту, он до конца своей жизни продолжал поддерживать с ним связи. В 30-х годах Даль принял предложение профессора Паррота занять освободившуюся в Тартуском университете кафедру русского языка и словесности. Парроту удалось даже устранить формальные препятствия — отсутствие у Даля филологического образования и филологической ученой степени. Учёную степень ему должны были присудить за вышедшие тогда «Русские сказки». Но над кандидатом в профессоры неожиданно разразилась гроза: за эти же сказки он был подвергнут аресту. И, хотя Даля вскоре удалось спасти, вопрос о профессуре само собой отпал.

В те же годы Даль опубликовал свои статьи в тартуском издании «Dorpater Jahrbücher für Litteratur», II, IV, V.

В октябре 1867 г. Даль прислал в Тартуский университет «Толковый словарь» и был удостоен за него университетской премии (офиц. выписку из доклада о присуждении премии см.: Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, ф. 179, ед. хр. 24). В ответ из Москвы в Тарту пришло благодарственное письмо. «Немочи мои заставили меня промешкать благодарственным ответом до неприличия, да и ныне ещё я в полусознательном состоянии, — писал Даль. — Чем неожиданнее была для меня награда за русский словарь, тем она более меня порадовала. Не хочу долее откладывать моей благодарности Совету Университета, хотя и не в силах написать своей рукой всего письма. Почётный академик Владимир Иванов Даль» (см.: А. Никитский «Архивная справка о В. И. Дале». — «Сборник учёно-литературного общества при имп. Юрьевском университете», т. V, 1902, стр. 169).

[12] О проживании в Тарту семьи Н. М. Карамзина см., в частности, в «Дневнике В. А. Жуковского», СПб, 1903, стр. 313; в «Сборнике учёно-литературного общества при Юрьевском университете», т. II, 1899, стр. 188; о пребывании в Таллине — П. Вяземский «Стихотворения», библиотека поэта, малая серия, 1936, стр. 202—203.

[13] О его пребывании в Тарту см.: В. А. Соллогуб «Воспоминания», Academia, М.-Л., 1931.

[14] «Питомцам импер. Московского университета, празднующим день его основания, 12-го января 1858 года, в Санктпетербурге», Дерпт, 1858, стр. 5. Цитир. по экземпляру, принадлежавшему В. Ф. Одоевскому (Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), с которым М. П. Розберг находился в переписке (см., в частности, два письма В. Ф. Одоевского к тартускому профессору от 18 ноября 1845 г. и 4 мая 1858 г. в рукописном отделе той же библиотеки).

[15] К. С. Моргенштерн был хорошо знаком с художником Ф. Толстым (см.: Фёдор Петрович Толстой «Записки» в «Русской старине», т. 7, 1873, стр. 43) и директором Петербургской публичной библиотеки А. Н. Олениным. Связь с последним имела серьезное значение при комплектовании тартуской университетской библиотеки. При помощи Оленина Моргенштерну удалось получить почти все издания Академии наук, вышедшие в XVIII столетии. В рукописном отделе фундаментальной библиотеки Тартуского университета сохранились датированные началом XIX века оповещения Академии о новых книгах, перечни литературы, выписанной университетом.

[16] Укажем на ряд редких изданий пушкинской поры, имеющихся в библиотеке Тартуского университета: Г. Р. Державин «Сочинения», СПб, 1831; И. А. Крылов «Басни», СПб, 1819; то же, СПб, 1825; В. А. Жуковский «Баллады и повести», СПб, 1831; А. С. Пушкин «Борис Годунов», СПб, 1831; А. С. Пушкин «Евгений Онегин», СПб, 1833; А. С. Пушкин «История пугачёвского бунта», СПб, 1831; А. С. Пушкин «Повести», СПб, 1834; А. С. Пушкин «Поэмы и повести», СПб, 1835; А. С. Пушкин «Сочинения», 1838.

[17] К. Ф. Петерсон — секретарь библиотеки, писатель был дружен с Жуковским (см.: Е. В. Петухов «Жуковский в Дерпте», СПб, 1897, стр. 26). Об этом говорит взволнованное письмо поэта к М. А. Мойер от 9 января 1823 г. в связи с трагической смертью Петерсона, провалившегося в прорубь замерзшего озера. «Пока буду жив, сын Карлов (Петерсона. — А. Л.), — писал он, — будет иметь во мне и помощника и друга!..» (См.: Н. В. Соловьев «История одной жизни». А. А. Воейкова — «Светлана»», П., 1915, ч. II, стр. 76). Среди бумаг В. А. Жуковского (рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) находится автограф посвященного ему стихотворения К. Петерсона (фонд В. А. Жуковского, оп. 2, № 255). Оно датировано 29 января 1816 г.

[18] М. Асмус был дружен с Жуковским, познакомился с ним в Тарту в 1816—1817 гг., будучи в то время школьным учителем. Под влиянием Жуковского он стал проявлять интерес к русской литературе. В рукописном отделе фундаментальной библиотеки Тартуского университета хранится большая тетрадь стихов, написанных в промежутке 1816—1819 гг. Ни на одном из листов не указано имя автора. Однако при тщательном изучении рукописи и сопоставлении ряда исторических фактов нам удалось установить, что тетрадь принадлежала Асмусу. В ней имеются черновики трех стихотворений, посвященных В. А. Жуковскому. Одно из них написано было ко дню рождения русского поэта. Автографы пяти, посвященных В. А. Жуковскому, стихотворений М. Асмуса хранятся также в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (фонд В. А. Жуковского, оп. 2, № 246).

[19] Сочинения Н. И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, «Дневник старого врача», стр. 413.

[20] См.: «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 9, стр. 353.

[21] См.: «Уткинский сборник», М., 1904, стр. 247.

[22] См.: Языковский архив, выпуск 1-й, «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 31—32. Упоминаемая Н. М. Языковым в данном письме пушкинская «Война» была опубликована впервые в «Полярной звезде на 1823 год».

[23] См.: там же, стр. 99—100. Ср.: Пушкин «Письма», под ред. и с примечаниями Б. Л. Модзалевского, т. I, 1815—1825, Гос. издат., М.—Л., 1926, стр. 58.

[24] См.: там же, стр. 118. Ср.: М. А. Цявловский «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина», 1, изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 446.

[25] Там же, стр. 118.

[26] Там же, стр. 136.

[27] Е. В. Петухов «Два года из жизни А. С. Пушкина (1824—1826)». — См.: «Пушкинский сборник, изданный имп. Юрьевским университетом по случаю столетней годовщины дня рождения А. С. Пушкина 26 мая 1898». — «Учёные записки имп. Юрьевского университета», 1899, № 5, стр. 28.

[28] См.: Языковский архив, выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 156. Ср.: «Санктпетербургские Ведомости», 1825, № 15.

[29] См.: там же, стр. 187.
[30] См.: там же, стр. 373.
[31] Там же, стр. 374.
[32] Там же, стр. 414.
[33] См.: там же, стр. 381.
[34] См.: там же, стр. 343.
[35] Там же, стр, 18, 90, 322, 223.
[36] «Воспоминания А. Н. Татаринова о Н. М. Языкове. 1855». — См.. Языковский архив, выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 395.
[37] См.: там же, стр. 13, 15, 18, 21—22.
[38] «Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von der Borg», часть вторая, Рига и Дерпт, 1823. Здесь на стр. 304 — эпиграмма Пушкина «История стихотворца», на стр. 364—374 — отрывок из первой песни «Руслана и Людмилы», на стр. 403—404 — короткая статья о Пушкине.
[39] В. А. Соллогуб «Воспоминания», Academia, М.-Л., 1931, стр. 274.
[40] См. письмо М. П. Розберга к А. С. Пушкину от 5 декабря 1830 г. — «Русский архив», 1880, т. III, стр. 468.
[41] Языковский архив, выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913. стр. 199.
[42] См.: М. С. (емевский) «Прогулка в Тригорское». — «Санктпетербургские Ведомости», 11 июня 1866, № 157 (со слов А. Н. Вульфа).
[43] См.: Языковский архив, выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 243.
[44] Из писем А. Ф. Воейкова к В. М. Перевощикову. — «Русский архив», 1890, № 9, стр. 92—93.
[45] Языковский архив, выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 290.
[46] Сочинения Н. И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, «Дневник старого врача», стр. 416.
[47] «Russische Bibliothek für Deutsche. Heft 2. Puschkin, Boris Godunow», Reval, 1831. Ср.: «Московский Телеграф», 1831, ч. 41, № 18, стр. 216. Следует отметить, что объявление о выходе в свет первого издания «Бориса Годунова» появилось в «Северной пчеле» 23 декабря 1830 г. Цензорское же разрешение на таллинское издание трагедии дано было 10 июня 1831 г.

Вслед за «Борисом Годуновым», в третьей книжке «Russische Bibliothek für Deutsche» (1831), Карл Кнорринг опубликовал также и «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Таким образом, перевод выдающегося произведения русского драматурга, в силу цензурных условий, вышел в Таллине на два года раньше чем первое отдельное русское издание комедии. «Московский Телеграф» в связи с этим сообщал: «Предприятие г-на Кнорринга известно читателям Телеграфа; известно и то, как успешно совершает оное сей достойный литератор. Ныне издал он третью книжку «Библиотеки для немцев», в который поместил полный перевод «Горя от ума», комедии Грибоедова, доселе ненапечатанной, однакож знакомой целой России. Нужно-ли упоминать, какие трудности должен был преодолеть переводчик этого бессмертного произведения, одного из самых оригинальных в нашей словесности? К счастью, г. Кнорринг выдержал и сию борьбу со славою. Он передал немецкой публике нашу комедию с возможною верностью... Все намёки, все острые слова поняты переводчиком и выражены, сколько позволяет различный дух языков русского и немецкого...» («Московский Телеграф», ч. 42, 1831, № 23, стр. 323). Вышедший в Таллине перевод гениальной комедии Грибоедова был встречен остзейским дворянством в штыки. Об этом много лет спустя вспоминал местный учитель Н. Закревский (см.: «Старосветский бандурист», книга

первая, избранные малороссийские и галицкие песни и думы, собрал Николай Закревский. М., 1860, стр. III).

[48] См.: «Московский Телеграф», 1831, ч. 41, № 18, стр. 220. Укажем также на рецензию в булгаринской «Северной пчеле» (№ 266, 23 ноября 1831). Ф. Булгариным таллинское издание «Бориса Годунова» было использовано для резких нападок на Пушкина. Исследователи указывают на скрытый смысл этой рецензии, являвшейся, по существу, политическим доносом (см.: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии Академии наук СССР», т. VI, М.—Л., 1941, стр. 237—247).

[49] «Dorpater jahrbücher für Literatur, Statistik und Kunst, besonders Russlands», 1833, I Band, s. 43—59. Историю появления тартуской рецензии на «Бориса Годунова» можно восстановить, обратившись к свидетельствам современников и самого Е. Ф. Розена. 19 июля 1831 г. Е. Ф. Розен писал С. П. Шевыреву: «... Вышел Борис Годунов Пушкина, и никто из критиков-самозванцев не умел оценить этого прекрасного творения! Кривые толки, косые взгляды, шиканье, дурацкий смех — вот чем приветствовали Годунова, творец коего во времена Петрарки и Тасса был бы удостоен торжественного в Капитолии коронования. За отсутствием лучших критиков, я написал рецензию Годунова, которая будет напечатана в Литературной Газете, издаваемой Сомовым. Кроме того, я ещё перевёл его на немецкий язык с рукописи автора и заслужил его восторженную благодарность и хвалу Жуковского» («Русский Архив», 1878, т. II, стр. 47; ср.: К. Я. Грот «Страничка из прошлого», отд. отт. из «Правительственного Вестника», 1904, №№ 69 и 70, стр. 4). В связи с этой рецензией издатель «Литературной Газеты» О. М. Сомов писал 31 августа 1831 г. А. С. Пушкину: «Розен написал весьма хороший разбор Бориса Годунова и отдал его мне. Это бы надобно было прочесть вместе» («Литературное наследство», т. 16—18, М., 1931, стр. 589). После закрытия «Литературной Газеты», когда рецензию Е. Ф. Розена предполагалось использовать при новом издании на немецком языке трагедии, А. С. Пушкин ему писал: «Горю нетерпением прочитать ваше предисловие к Борису; думаю, для второго издания написать к вам письмо, если позволите, и в нём изложить свои мысли и правила коими руководствовался сочиняя мою трагедию» (М. А. Цявловский «Письма Пушкина и к Пушкину», М., 1925, стр. 16). Рецензия Е. Ф. Розена была опубликована тартуским журналом и вскоре вышла в русском переводе в «Литературных прибавлениях» к «Русскому Инвалиду» (1834, ч. XIV, СПб, № 2, стр. 12—15; № 3, стр. 19—23).

[50] «Остафьевский архив князей Вяземских», III, переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, 1824—1836, СПб, 1899, стр. 73—74.

[51] См.: «Пушкинский сборник», изд. имп. Юрьевским университетом по случаю столетней годовщины дня рождения А. С. Пушкина 26 мая 1899 г. («Ученые записки имп. Юрьевского университета», 1899, № 5), стр. 9.

[52] Пушкин, Полн. собр. сочинений, изд. Академии наук СССР, т. 2, 1937, стр. 322.

[53] Там же, т. 13, 1937, стр. 109.

[54] О намерении А. С. Пушкина посетить Тарту см.: «Остафьевский архив», т. V, вып. I, стр. 47, 56; Б. Л. Модзалевский «Эпизод из жизни Пушкина» — «Красная газета» (веч. выпуск), 1927, № 34; М. И. Семевский «Прогулка в Тригорское» в кн.: А. Н. Вульф «Дневники (любовный быт пушкинской эпохи)», М., 1929, стр. 54—56, а также комментарии к этим страницам; «Голос минувшего», 1916, № 1, стр. 44—47 и т. д.

[55] См.: Бумаги А. А. Воейковой. 1. Н. В. Соловьёв «История одной жизни. А. А. Воейкова — «Светлана» », П., 1915, стр. 96.

[56] См.: «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах». Вступ. статья и примеч. М. Цявловского. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1925, стр. 52.

[57] Пушкин, Полн. собр. сочинений, изд. Академии наук СССР, т. 13, 1937, стр. 219.

[58] Там же, стр. 237.

[59] См.: М. И. Семевский «Прогулка в Тригорское» в кн. А. Н. Вульф «Дневники (любовный быт пушкинской эпохи)», М., 1929, стр. 56.

[60] «Остафьевский архив князей Вяземских», т. 5, вып. 1, СПб, 1913, стр. 65.

[61] Там же, стр. 80.

[62] Там же, стр. 81.

[63] Н. М. Языков, Полн. собр. стихотворений, Academia, М.—Л., 1934, стр. 199—200.

[64] Там же, стр. 260.

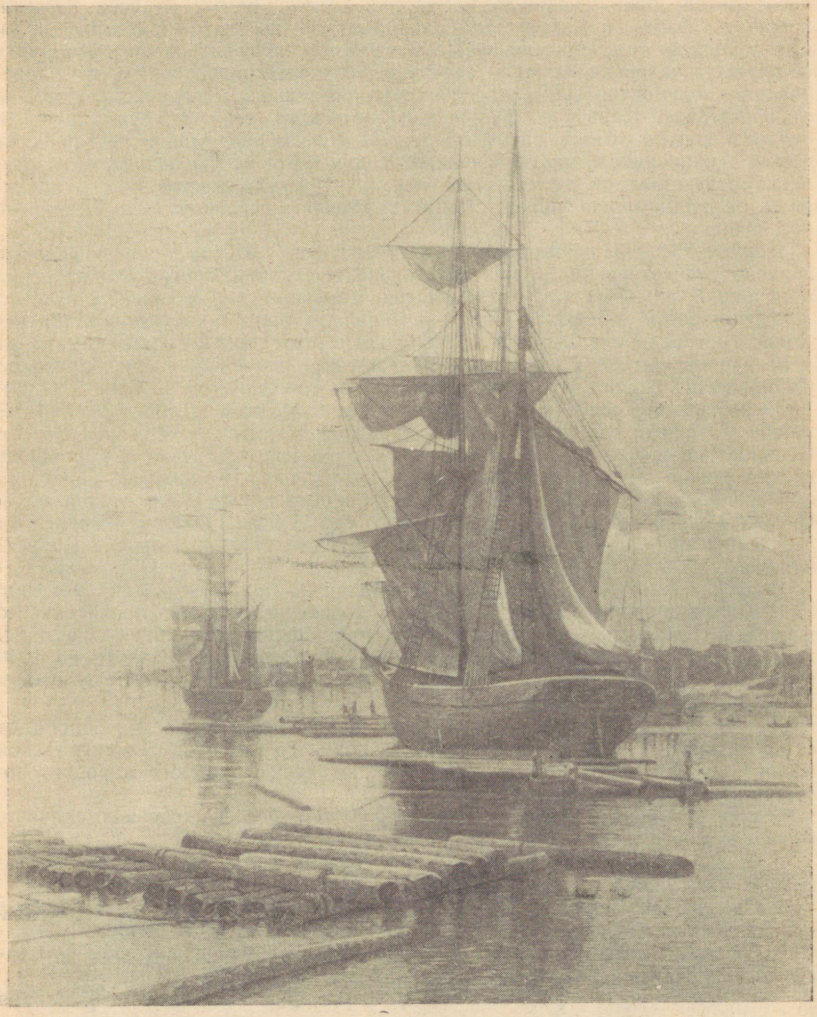
[65] См.: «Сборник учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете», т. II, 1899, стр. 197—198.

[66] Пушкин, Полн. собр. сочинений, изд. Академии наук СССР, т. 13, 1937, стр. 314. В связи с этим укажем на письмо Н. М. Рожалина одному из ближайших к Пушкину людей — С. А. Соболевскому от 13 сентября 1827 г. «Языков наш, — сообщал Н. М. Рожалин, — обещал, через Петерсона (А. П. Петерсона — товарища Языкова по Тартускому университету. — А. Л.), прислать своих стихов» (см.: «Пушкин по документам архива С. А. Соболевского» в кн. 16—18 «Литературного наследства», М., 1934, стр. 734). Языков откликнулся на приглашение А. С. Пушкина и опубликовал в «Московском Вестнике» (1827, т. V, стр. 8 и 367) свои стихотворения: «К В—у» («Мой друг, учи меня рубиться») и «Ночь» («Померкла неба синева»).

[67] П. А. Вяземский, Избр. стихотворения, Academia, 1935, стр. 171. Помимо П. А. Вяземского, Нарвские водопады описывали также А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер, Н. М. Карамзин и многие другие. Яркие строки посвятил водопадам Н. И. Пирогов.

Русские люди издавна проявляли глубочайший интерес не только к красотам Нарвских водопадов, но и к их энергетическим богатствам. На реке Нарве в 60-х годах прошлого столетия нашими соотечественниками были установлены турбины, по своей мощности в течение тридцати с лишним лет не имевшие равных ни в Западной Европе, ни в Соединенных Штатах Америки. В 1877 году талантливый русский инженер Ф. А. Пироцкий заявил о необходимости использования скрытого в Нарвских водопадах избытка «даровой рабочей силы». При этом, он высказал смелую идею о передаче электрической энергии на большие расстояния. «Работа воды, — писал Пироцкий, — даже переданная на значительное расстояние с помощью динамоэлектрических машин, обойдётся... для заводов несравненно дешевле» («Инженерный журнал», 1877).

Одним из последователей Пироцкого, вплотную занявшимся изучением энергетических возможностей Нарвских водопадов, был выдающийся механик В. Ф. Добротворский. Преодолевая косность царских сановников, борясь против корыстных интересов нарвских фабрикантов, он с огромным трудом получил в 1890 году разрешение «исследовать механическую силу водопада». За два года до осуществления первой в мире передачи электроэнергии переменным током от гидростанции, Добротворский уже говорил о возможности подобной же передачи от Нарвской ГЭС. Строительство на реке Нарва гидростанции, заявлял он, замена паровых машин электродвигателями позволит в значительной степени сократить ввоз английского каменного угля, сохранит огромные суммы, ежегодно переплачиваемые Россией иностранным дельцам (см.: В. Ф. Добротворский «К проекту электропередачи энергии от Нарвского водопада», из доклада, сделанного в имп. Русском техническом обществе 13 мая 1894, СПб, 1894; В. Ф. Добротворский «Электропередачи силы порогов Волхова, Наровы, Иматры»,



Нарвский порт.
Картина худ. А. И. Мещерского, 1884.

доклад инженер-механика В. Ф. Добротворского на Первом всероссийском электротехническом съезде, СПб, 1900).

Владельцы Кренгольмской мануфактуры использовали на протяжении десятилетий лишь мизерную часть тех неисчерпаемых запасов энергии, которые таились в низвергавшихся мощными потоками Нарвских водопадах. Между тем, стремление Добротворского покорить реку и заставить её служить человеку, вызвало ярость текстильных магнатов. Об этом говорит ряд документов Центрального государственного исторического архива в Ленинграде. Нарвские фабриканты объявили себя единственными и безраздельными хозяевами водопадов. И в этом они нашли поддержку у царских чиновников, многое сделавших для того, чтобы затормозить развитие отечественной технической мысли. В правительственных канцеляриях не поддержали проект Добротворского и предпочли упрятать его под сукно.

Документальные материалы свидетельствуют о том, что передовые деятели отечественной науки решительно выступили против хищнических притязаний владельцев Кренгольмской мануфактуры, в защиту проекта Добротворского. «Водопад этот, — заявляли они, — не составляет частной собственности и местные фабрики имеют только право брать от него водопроводные каналы для пользования его силой» (см.: протокол Собрания VI отдела Русского технического общества от 13 мая 1894 г.).

Несмотря на содействие многих видных учёных, Добротворский не нашел у царского правительства поддержки в осуществлении своей идеи. Строить Нарвскую ГЭС не пожелал ни один из российских фабрикантов и заводчиков. Тогда Добротворский учредил в Петербурге Общество электропередач силы водопадов. В него вошли крупнейшие специалисты. Однако это общество не располагало средствами, которые могли бы обеспечить финансирование строительства гидростанции, и проект Добротворского остался на бумаге.

Вопрос освоения реки Нарвы подымался и в буржуазной Эстонии. Но, выполняя волю своих зарубежных хозяев, пятсовское правительство всячески тормозило развитие в стране промышленности, ничего не предпринимало для увеличения производства электроэнергии. Вплоть до 1940 года на реке Нарве работали турбины, установленные там ... еще в 60-х годах прошлого столетия!

Мечта русского и эстонского народов о покорении Нарвских водопадов осуществилась только в нашу великую пору. Трудящиеся Ленинградской области и Советской Эстонии, с помощью всех советских народов, построили на Нарве мощную ГЭС.

[68] См.: «Библиотека А. С. Пушкина». — «Пушкин и его современники», материалы и исследования, вып. IX—X, СПб, 1910, стр. 121.

[69] См. там же, стр. 9. Речь идёт о ч. VI «Русских повестей и рассказов» А. Бестужева.

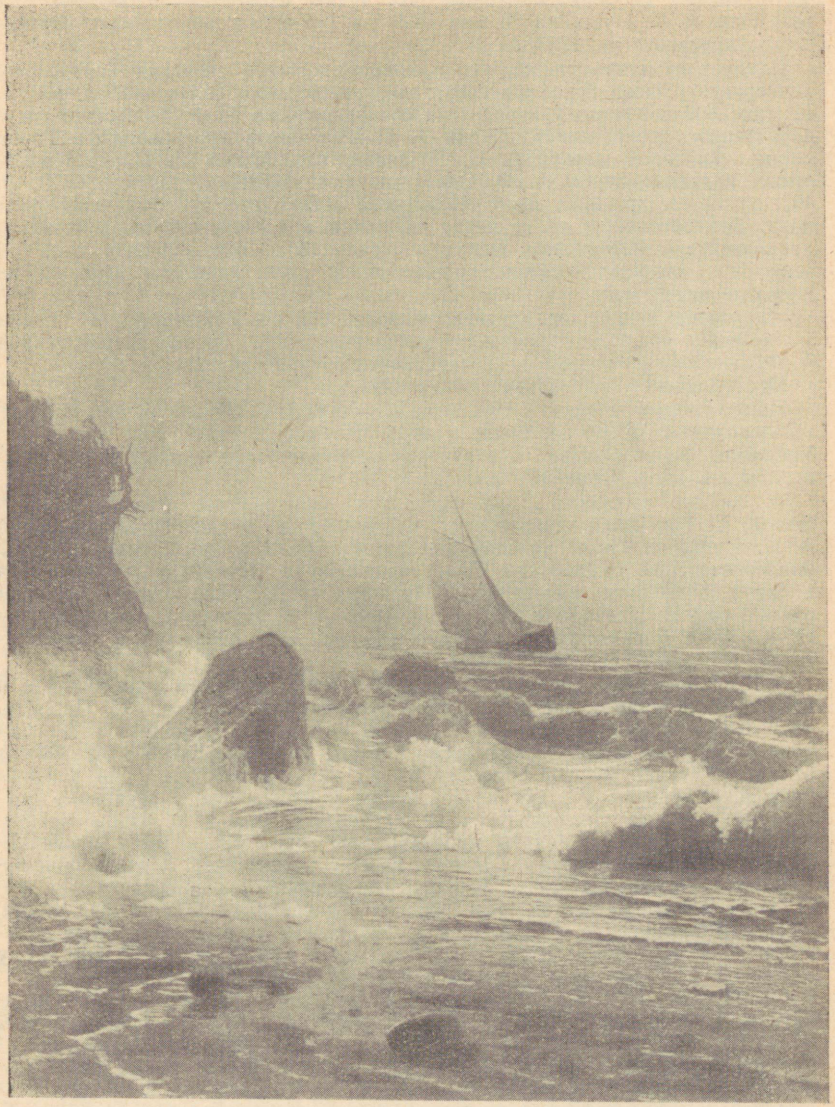
[70] См.: М. И. Семевский «Прогулка в Тригорское» в кн. А. Н. Вульф «Дневники (любовный быт пушкинской эпохи)», М., 1929, стр. 88—89.

[71] См.: «Сборник учено-литературного общества при Юрьевском университете», т. II, 1899, стр. 188.

[72] «Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду», 30 января 1837 г.

[73] Мих. А-н «Маска Пушкина в Юрьеве» — «Рижский вестник», 8 июля 1895, № 149.

[74] О тартуском экземпляре маски А. С. Пушкина см.: «Рижский вестник», 13 июля 1895, № 153; там же, 15 июля 1895, № 155; там же, 20 июля 1895, № 159; там же, 25 июля 1895, № 162; там же, 1 августа 1895, № 168; там же, 2 августа 1895, № 169; «Прибалтийский листок», 24 июля 1895, № 27—28; «Исторический вестник», т. 61, 1895, стр. 815—



В Нарвском заливе.
Картина худ. А. И. Мещерского, 1888.

817; там же, т. 63, 1896, стр. 743—744; «Русская старина», 1899, сентябрь; «Пушкинский сборник, изданный по случаю столетней годовщины дня рождения А. С. Пушкина 26 мая 1899 г.» («Ученые записки имп. Юрьевского университета», 1899, № 5).

Следует отметить также, что в конце прошлого столетия Тартускому университету была передана еще одна, значительно более слабая, маска. 11 мая 1899 г. ректор университета св. Владимира (ныне Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко) препроводил в Тарту ящик с гипсовой маской А. С. Пушкина, присланной из Парижа известным коллекционером А. Ф. Онегиным (см.: ЦГИА Эстонской ССР, ф. 402, оп. 5, ед. хр. 1440, дело «Переписка с С. -Петербургской академией наук, библиотекой и др. о маске Пушкина и его подлинных рукописях, хранящихся в Юрьевском университете», л. 1). Спустя десять дней, об этом было доложено членам правления. В деле хранится выписка из журнала заседаний:

«Слушали: отношение ректора университета св. Владимира от 11 мая за № 2630 с препровождением гипсовой маски А. С. Пушкина, присланной А. Ф. Онегиным из Парижа для Юрьевского университета.

Постановлено: передать в библиотеку».

Далее следует отметка: «Выписку и маску А. С. Пушкина для библиотеки получил. Шлютер, библиотекарь. Юрьев, 2 июня 1899 г.» (л. 3). Уведомляя А. Ф. Онегина о получении посылки, ректор выражал ему благодарность за драгоценный дар (л. 4).

В том же архивном деле находится датированное мартом 1902 г. письмо в Тартуский университет от комиссии по изданию сочинений А. С. Пушкина Петербургской академии наук. По просьбе комиссии из университетской библиотеки было переслано в Петербург хранившееся в Тарту подлинное письмо А. С. Пушкина — Загоскину (л. 6). Об этом письме см.: Е. Шмурло « Маска и письмо А. С. Пушкина, хранящиеся в И. Ю. У. с 5 снимками» («Ученые записки имп. Юрьевского университета», 1899, № 5, стр. 63 и посл.).

[75] Профессорский институт создан был при Тартуском университете в 1828 году по инициативе его ректора русского академика Е. И. Паррота. «По предложению профессора Паррота, — писал 17 ноября 1827 года поэт В. А. Жуковский, — назначено выбрать из университетов нескольких отличных студентов для образования из них профессоров. Они должны несколько времени учиться в Дерптском университете и несколько времени в одном из университетов чужестранных. Для того, чтобы по возвращении в Россию занять профессорские кафедры и быть профессорами... Вы видите цель... России нужны профессоры... Цель общеполезная; план прекрасный... Хороший же профессор непосредственно действует в пользу отечества» (см.: «В. А. Жуковский», сборник, изд. журн. «Русский библиофил», 1912, стр. 104—105. Сравнить с дневниковыми записями А. В. Никитенко в кн. «Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был. Записки и дневник (1804—1877)», изд. 2-е, т. 1, СПб, 1904, стр. 179; воспоминаниями воспитанника профессорского института В. И. Лапшина в «Журнале министерства народного просвещения», ч. CCLXIX, 1890, май, стр. 122—123 и т. п.). Профессорский институт просуществовал около 12 лет. Его воспитанниками были такие выдающиеся ученые, как Н. И. Пирогов, Ф. И. Иноземцев, А. М. Филомафитский и другие. «Новое поколение профессоров подоспело разом и вовремя для замены отжившего, — вспоминал Н. И. Пирогов. — ... Были приготовлены и распределены по нашим университетам более тридцати высококвалифицированных отечественных преподавателей. Но вместе с тем обнаружилось и прогрессивное направление именно в тех университетах, на долю которых доставалась большая часть свежих сил»

(Н. И. Пирогов, Сочинения, т. 1, стр. 352—353). Помимо первого выпуска, к которому принадлежал Н. И. Пирогов, профессорский институт дал также второй выпуск.

О создании профессорского института см.: «Сборник распоряжений по министерству народного просвещения», т. I, 1828, стб. 662—666; «Сборник постановлений по министерству народного просвещения», изд. 2-е, т. II, отд. 1, № 48, стб. 95—101; «Дополнение к сборнику постановлений по министерству народного просвещения», № 103, стб. 251—257; А. О. Пинт «Основные этапы истории педагогического образования в Эстонии в XIX—XX веках» (автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук), Москва — Тарту, 1951, стр. 19—22.

[76] См.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 217(1), л.л. 158—159. Зная, что петербургское начальство вряд ли посмеет ущемить интересы остзейского дворянства, ревельский отдельный цензор представил жалобу в совсем ином свете. «Главная причина неудовольствия редакторов эстонских газет на местную цензуру та, — писал он 23 декабря 1882 г. в главное управление по делам печати, — что им не дозволяются частые нападки их на немецкое население прибалтийских губерний и в особенности на дворянство и лютеранское духовенство и кроме того на местные судебные присутственные места. Почти все эстонские газеты более или менее преследуют тенденцию унижать немецкое население в глазах эстонцев и стараются возбуждать одну часть местного населения против другой, особенно низшие классы против высших...» (там же, л. 162 об.).

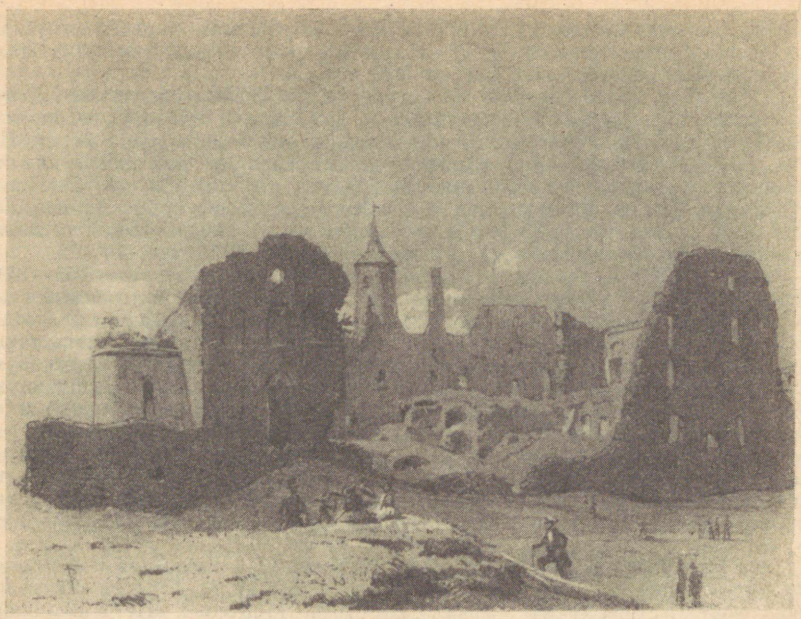
[77] О Пальдиски (Балтийском порте, Палдиски) — городе на побережье Финского залива в северо-западной Эстонии см.: Н. В. Тарасов «Балтийский порт. Исторический очерк», СПб, 1914; Марченко «Пётр Великий. Мысли государя о создании военного порта на Балтийском берегу (материалы)», СПб, 1899; Н. Федотов «Палдиски (Балтийский порт)», «Морской сборник», 1939, № 23—24, стр. 158—166; «Балтийский порт (исторический очерк)» — «Эстляндские губернские ведомости», 1871, № 19; «К истории Балтийского порта» в кн. «Эстляндский сборник», Ревель, 1870, стр. 123—125; А. Никольский «К истории Балтийского порта» — «Рижский вестник», 1875, № 74; Письмо фельдмаршала Миниха к императрице Екатерине II о Балтийском порте (1764) — «Отечественные записки», 1820, ч. 3, стр. 221—226; Э. Розен «О Балтийском порте и учреждении там военной гавани» — «Журнал главного управления путей сообщения», 1859, т. 25, № 30, отд. 1, стр. 371—420, 103—124 и т. 33, № 1, отд. 1, стр. 108—120; Э. Розен «О необходимости построения купеческой гавани в Балтийском порте и железной дороге для соединения её с Санкт-Петербургом» — «Санктпетербургские ведомости», 1860, № 280; корреспонденции из Пальдиски — «Морской сборник», LVIII, 1862, № 3, стр. 69 и LIX, 1862, № 5, стр. 75—76.

[78] «Осмнадцатый век», исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым, кн. первая, М., 1868, стр. 379.

[79] Газ. «Walgus», 29 мая 1882 г. В этой же статье автор писал: «Не пора ли уже помещикам не отягощать более своих крестьян барщиною, существующею вместе с арендою, выказать на деле свою хваленую западную «культуру»?...» Статья привела в негодование остзейское дворянство и эстляндский вице-губернатор обратился к начальнику главного управления по делам печати с жалобой на газету (см.: ЦГИА Эстонской ССР, ф. 29, оп. 2, ед. хр. 1275, л. 8).

[80] См.: «Труды первой и второй всесоюзных пушкинских конференций», изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1952, стр. 208.

[81] См.: «Лето 1853 г. в Гапсале» — «С.-Петербургские ведомости», 1853, № 212, стр. 867. На протяжении XIX столетия в Гапсале (Хаап-



Развалины замка в Хаапсалу.
Рисунок худ. В. Тимма, 1852.

салу) — городе в западной Эстонии— побывали многие деятели русской культуры. «Из Ревеля во время нашего пребывания мы ездили в Балтийский порт и Гапсаль», — писал, имея в виду лето 1825 года, декабрист М. И. Пущин («Записки Михаила Ивановича Пущина». — «Русский архив», 1908, XI, стр. 431). Летом 1853 г. туда приезжал Н. И. Пирогов (см. указанную выше корреспонденцию «С.-Петербургских ведомостей»). В 1867 г. там жил П. И. Чайковский. О его пребывании в Эстонии известно следующее:

П. И. Чайковский приехал в Хаапсалу с братом Анатолием в начале июня (см.: М. Чайковский «Жизнь Петра Ильича Чайковского», т. I, стр. 269—270), испытывал там серьезные материальные затруднения и даже «жил немножко впроголодь» (там же, стр. 270). В Хаапсалу Чайковский много работал над оперой «Воевода», либретто для которой писал А. Н. Островский. Находясь в Эстонии, композитор переписывался с драматургом, внося существенные коррективы в его либретто. Так, например, 10 июня Чайковский предлагал А. Н. Островскому коренным образом переделать второе действие. А. Н. Островский в свою очередь посылал композитору отдельные части либретто (см.: «Дни и годы П. И. Чайковского. Летопись жизни и творчества». Составили Э. Зайденшнур, В. Киселев, А. Орлова, Н. Шеманин. Музгиз, М.—Л., 1940, стр. 49). В июне—июле Чайковский написал фортепианные пьесы «Воспоминание о Гапсале». В то же время композитором были переработаны и переинструментованы написанные им ранее «Характерные танцы». О своей творческой работе в Хаапсалу Чайковский писал сестре: «Занимаюсь очень аккуратно и сделал уже

очень много, опера моя идет очень изрядно и с этой стороны я собою совершенно доволен» (там же, стр. 50). Покидая 14 августа 1867 г. Хаапсалу, Чайковский сообщал А. И. Давыдовой, что лето провел «довольно приятно» (там же). Вторично Чайковский посетил Эстонию в декабре 1891 г., за два года до смерти. В тот приезд он провел несколько дней в Таллине.

О Хаапсалу (Гапсале) см.: «Гапсаль» («Живописная русская библиотека», т. 4, № 15, стр. 113—115); «Гапсаль» («Иллюстрированный листок», т. 4, № 169); «Гапсаль и эсты» («Сельская беседа», 1880, № 9); «Гапсальский замок, его настоящее и прошлое. Составлен по лучшим историческим источникам», Гапсаль, 1912; К. Гуниус «Гапсальские минеральные грязи с приложением истории Гапсаля», СПб, 1869; В. Китченко «Руины замка в Гапсале», Ревель, 1912; «Город Гапсаль в топографическом, статистическом, гидрологическом, историческом и проч. отношениях и его жители с их нравами, обычаями и образом жизни», сост. Вл. Сухаро по результатам своих поездок в Эстляндию, 1861; Самойлов Н. «Гапсаль, древний разрушенный замок в Эстляндии», СПб, 1842; «Поездка из Петербурга в Ревель и Гапсаль» («Московские ведомости», 1852, № 21); «Гапсаль» («Труды московского предварительного комитета X археологического съезда в г. Риге», вып. II, М., 1896, стр. 204—206).

[82] Материалы об этих спектаклях см.: рукописный отдел фундаментальной библиотеки Тартуского государственного университета, бумаги И. И. Змигродского. Это обширнейшее собрание состоит из значительного количества газетных и журнальных вырезок, фоторепродукций, афиш, освещающих театральную жизнь Тарту нескольких десятилетий. Произведения русских классиков занимали в ней огромное место. Вот, далеко, конечно, не полный перечень постановок в Тарту одних только пьес А. Н. Островского: 16 декабря 1877 г. — «Доходное место»; 1 октября 1889 г. — «Свои люди сочтемся» и 21 ноября 1889 г. — «Лес» (оба спектакля в пользу бедных студентов университета и ветеринарного института); 2 ноября 1893 г. — «Правда хорошо, а счастье лучше» (в исполнении петербургских артистов); 27 марта 1894 г. — «Бесприданница»; 27 марта 1895 г. и 24 февраля 1898 г. — «Василиса Мелентьева» (в исполнении петербургских артистов при участии Г. Н. Федотовой и М. И. Писарева); 8 октября 1895 г. — «Не в свои сани не садись»; 3 марта 1896 г. — «В чужом пиру похмелье»; в марте 1897 г. — «Последняя жертва», «Лес», «Грех да беда на кого не живет» (эти спектакли — также при участии крупнейших петербургских артистов); 25 февраля 1898 г. — «Свои люди сочтёмся» и т. д. 11 марта 1912 г. в Тарту состоялся литературный вечер, посвященный памяти выдающегося эстонского педагога и общественного деятеля К. Р. Якобсона, на котором был показан «Лес» Островского (об этом см.: «Окраина», № 12, 14 марта 1912).

Помимо пьес Островского, в Тарту шли «Горе от ума», «Маскарад», «Недоросль», «Ревизор», пьесы Чехова. Об одном из грибоедовских вечеров рассказал «Рижский вестник». 9 января 1895 г. газета дала краткий отчет о праздновании в Тарту 100-летия со дня рождения великого драматурга: «С утра 4 января, — сообщал корреспондент, — Новый театр г. Змигродского украсился флагами. Он готовился к чествованию столетней годовщины со дня рождения Грибоедова. В 8 ч. вечера И. И. Змигродский начал чтение комедии Грибоедова «Горе от ума». На сцене, весь утопая в зелени, находился прекрасно исполненный портрет автора комедии. И. И. Змигродский мастерски прочёл комедию. Действующие в комедии лица, как живые, вставали перед слушателями... Змигродский прочёл почти всю комедию наизусть. Собравшиеся в зале многочисленные почитатели Грибоедова после каждого акта награждали лектора дружными аплодисментами».

Во многих спектаклях, наряду с упомянутыми выше Г. Н. Федотовой и М. И. Писаревым, участвовали такие выдающиеся артисты, как М. Г. Савина, П. А. Стрепетова, В. Н. Давыдов. Приезды в Эстонию этих замечательных мастеров сцены способствовали пропаганде в прибалтийском крае творений русской классической драматургии.

Об отношении в Эстонии к спектаклям крупнейших русских артистов можно судить, в частности, по газетным корреспонденциям, посвященным приезду в Тарту М. Г. Савиной.

28 февраля 1898 г. «Рижский вестник» сообщал: «В середине марта в Юрьев прибывает г-жа Савина для дачи трех спектаклей в Новом театре (театре И. И. Змигродского. — А. Л.) ... Билеты на спектакли берутся буквально с бою. 25 февраля началась выдача билетов в книжном магазине Париса. Огромная толпа желающих приобрести билеты запрудила всю улицу пред магазином и терпеливо, в течение долгих часов, ожидала своей очереди проникнуть в магазин. Почти все билеты ... уже разобраны на все три спектакля. Такова жажда увидеть талантливое исполнение русских произведений».

А вот — краткий отчет об этих спектаклях: «Нам пишут, что спектакли г-жи Савиной в Юрьеве прошли с громадным успехом ... Юрьевцы очарованы! — восклицает корреспондент. — Труппа артистов санктпетербургских театров с М. Г. Савиной во главе дает высокохудожественное наслаждение ... Публика ловила каждый ее жест, с напряженным вниманием слушала ее ... Зал был полон и восторженным овациям не было конца. Марию Гавриловну публика встретила цветами. При отъезде артистов в Ригу, вчера им были устроены блестящие проводы» («Рижский вестник», 14 марта 1898, № 60). Восторженную оценку игре Савиной дала эстонская газета «Olewik» (17 марта 1898, № 11). Укажем также на письмо великой актрисе, посланное ей из Таллина в апреле 1904 г., в связи с 30-летием её сценической деятельности (ЦГИА в Ленинграде, фонд М. Г. Савиной, оп. I, ед. хр. 366, л. 1).

О выступлениях Г. Н. Федотовой в Тарту см.: «Театральные известия за 1895 г.» и «Прибалтийский листок», 2 сентября 1895, № 31; о В. П. Далматове — «Исторический вестник», т. CXXIX, 1912, стр. 965—966.

[83] ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 25, ед. хр. 6, дело главного управления по делам печати «По просьбам частных лиц о разрешении пьес и куплетов на латышском и эстонском языках», л. 281.

[84] См.: «Эстония», кн. III, 1950, стр. 229.

[85] Программу этого вечера см.: рукописный отдел фундаментальной библиотеки Тартуского государственного университета, бумаги И. И. Змигродского.

[86] См.: «Обозрение лекций в Юрьевском университете, 1897 г., I семестр», Юрьев, 1897, стр. 16; то же, II семестр, Юрьев, 1897, стр. 16; то же, I семестр, 1898, Юрьев, 1898, стр. 16; то же, II семестр, Юрьев, 1898, стр. 16.

[87] См.: Столяров М. Н. «Старый Дерпт в жизни и поэзии Пушкина» («Сборник учено-литературного общества при Юрьевском университете», т. II, 1899); П. Сосновский «Гоголь и Пушкин» (там же, т. VI, 1903); «Памяти великого поэта. К 80-летию со дня кончины А. С. Пушкина» (там же, т. XXIII, 1917).

[88] См.: «Труды первой и второй всесоюзных пушкинских конференций», изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1952, стр. 212.

[89] Дебора Ваараниди «Мой учитель» («Советская Эстония», 5 июня 1949).

[90] Март Рауд «Русское слово». — См.: «Знамя», 1949, № 6, стр. 19—20.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XI, ч. I, стр. 543.

[2] «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. I, Гос. издат. политич. литературы, 1951, стр. 502.

[3] Там же, стр. 492.

[4] Там же, стр. 508.

[5] «Вестник Европы», 1909, I, стр. 169—170.

[6] См.: «Сочинения Державина», 2-е акад. изд., т. VII, СПб, 1878, стр. 646. Впервые напечатано в «Вестнике Европы», 1812, ч. LXIV, № 16, стр. 306—309 со следующим примечанием издателя: «Сия статья доставлена вместе с предыдущею (одою «Слава». — А. Л.) и переведена самим Гавриилом Романовичем Державиным». Под воззванием стоит подпись — Коцебу. Но вскоре «Вестник Европы» поместил опровержение Г. Меркеля, утверждавшего, что воззвание написано было им, а не Коцебу, по поручению лифляндского гражданского губернатора. Не исключена возможность, что ошибка допущена была журналом в связи с тем, что А. Коцебу — находившийся на русской службе немецкий реакционный писатель и публицист — доставил воззвание Меркеля Державину, не сообщив ему имя автора.

[7] «Русская старина», 1870, т. I, № 5, стр. 446.

[8] ЦГИА в Ленинграде, ф. 1281, оп. 11, д. 172, отчеты эстляндского губернатора за 1811—1815 гг., л. 48 об.

[9] Там же, л. 73.

[10] См.: А. В. Предтеченский «Современник декабристов Т. Г. Бок», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 22—23.

[11] Там же, стр. 25.

[12] См.: Н. П. Лыжин «Знакомство Жуковского со взглядами романтической школы». — «Летописи русской литературы и древности», издаваемые Николаем Тихонравовым, т. I, отд. I, М., 1859, стр. 66—67. На эту статью обратила в 1870 году внимание издаваемая А. Краевским петербургская газета «Голос». Использовав изложенный Лыжиным материал, она опубликовала (1870, № 61, стр. 2) пространную корреспонденцию «Лифляндский уроженец Т. Е. Бок».

[13] ЦГИА в Ленинграде, ф. 1286, оп. 2, ед. хр. 125, дело «О буйстве крестьян Эстляндской губернии мызы Педдис, принадлежащих помещику фон Эссену», л. I.

[14] Вот — далеко неполный перечень дел о крестьянских волнениях 1816 года, хранящихся в тех же фондах Центрального государственного исторического архива в Ленинграде, где и дело о бунте в Педдисе: «О неповиновении помещику Дмитриеву крестьян его деревни Демидовки Симбирской губернии», «Об ослушании крестьян Новгородского уезда Буреского удельного приказа», «По донесению Слободско-Украинского губернатора о неповиновении крестьян деревни Бранцовки помещикам их Логачёву и Плачковскому», «По представлению Орловского губернатора об ослушании крестьян тамошнего помещика титулярного советника Шуманского и жены его», «По отношению министра внутренних дел о неповиновении крестьян, находящихся при суконной фабрике московского купца Козлова», «Об ослушании крестьян курских помещиков Шатиловых», «О буйстве крестьян Витебской губернии», «По донесению Тамбовского вице-губернатора об ослушании и буйстве крестьян графини Воронцовой против земского начальства», «О буйстве экономических крестьян разных деревень Орловской губернии».

[15] ЦГИА в Ленинграде, ф. 1286, оп. 2, ед. хр. 125, дело «О буйстве крестьян Эстляндской губернии мызы Педдис, принадлежащих помещику фон Эссену», л. 9.

[16] Там же, л. 29.

[17] Там же, ф. 1286, оп. 2, ед. хр. 62, дело департамента полиции исполнительной «О непослушании крестьян 4-х мыз Эстляндской губ.», л. 1.

[18] Там же, ф. 1286, оп. 2, ед. хр. 74, дело департамента полиции исполнительной «По донесению эстляндского гражданского губернатора о непослушании крестьян на мызе Састама», л. 20. В этом деле лежит полуистлевший рапорт гакенрихтера Штрандвикского дистрикта эстляндскому гражданскому губернатору барону Икскулю с подробным изложением событий. В рапорте, отражавшем состояние эстонской деревни тех лет, говорилось: «Помещик мызы Састама учинил мне показание, что часть тамошних крестьян не хотят исполнять повинность свою с носом хлеба и при всех случаях оказывают сопротивление; и теперь, когда он приказал им чрез старшину общества, Гинрико Ян, по тамошней окладной переписной книге, и как сие по сего времени было учинено, выставить пароконных подвод для отправления хлеба в Пернов, то явились тот же вечер без позыва 18 крестьянских хозяев, между коими и служители общества ... и даже ворвались в дом помещика, вели там возмутительные речи, объявляя единогласно, что теперь уже не намерены давать двуконных подвод, а двор может свозить свои продукты обыкновенными недельными работниками. Все употребленные со стороны его средства к усмирению были тщетны, и они настояли с упорностью на своем намерении. По сему показанию отправился я тотчас на мызу Састама и, собрав там всех хозяев, представлял им упорное их поведение и прочитав им бакенбух, приказал не только ставить законные двуконные подводы, но и исполнить повинность свою в рассуждении сноса хлеба, а дабы другим дать пример, приказал я трех крестьянских хозяев, а именно Карла Ян, Лепико Матис и Гансо Гиндрих, которые предводительствуя прочими, продолжали неприличные речи и в моем присутствии, за оказанное неповиновение и сопротивление подвергнуть наказанию, но сии хозяева, сопротивляясь одному солдату, оттолкнули его, и большая часть хозяев закричала: мы не позволяем их наказывать, объявляя отнюдь не ставить двуконных подвод. В сем положении я в необходимости о сем происшествии донесть вашему превосходительству с тем, что так как крестьяне сии не токмо нарушили повиновение свое к дворовой полиции, но и ко мне, то для будущего спокойствия со стороны сей весьма нужно бунтовщиков сих подвергнуть строжайшему наказанию. К сему должен я присовокупить еще и то, что 15 человек оной мызы Састама, сопротивлявшиеся днем молотить хлеб, были помещиком осуждены к наказанию 15 ударами каждому, но они не токмо неподвергнулись сему наказанию, но и окружили его криком и угрозами» (там же, л. л. 5—6).

[19] См.: «Путешествие двух членов российского библейского общества по Остзейским губерниям в 1816 году», СПб, 1816.

[20] «Записка, которая должна быть представлена и прочтена собранию лифляндского дворянства в 1818 г.». — См.: «Декабристы и их время. Материалы и сообщения», под редакцией М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1951, стр. 200.

[21] Об этих брошюрах и полемике см.: Г. Поска «Характеристика литературных мнений об освобождении крестьян в Лифляндии» в «Журнале министерства народного просвещения», ч. CCCLV, 1904, октябрь, стр. 247—320.

[22] «Записка, которая должна быть представлена и прочтена собранию лифляндского дворянства в 1818 г.». — См.: «Декабристы и их время. Материалы и сообщения», под редакцией М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1951, стр. 197.

[23] Н. П. Лыжин «Знакомство Жуковского со взглядами романтической

школы». — «Летописи русской литературы и древности», издаваемые Николаем Тихонравовым, т. I, отд. 1, М., 1859, стр. 74.

[24] См.: А. В. Предтеченский «Современник декабристов Т. Г. Бок», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 82.

[25] «Записка, которая должна быть представлена и прочтена собранию лифляндского дворянства в 1818 г.». — См.: «Декабристы и их время. Материалы и сообщения», под редакцией М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1951, стр. 193.

[26] Там же, стр. 194.

[27] Там же, стр. 197.

[28] Там же, стр. 193.

[29] Там же, стр. 197—198.

[30] Там же, стр. 199.

[31] См.: С. Н. Сивицкий «Отечественная война в Прибалтийском крае», Рига, 1912, стр. 186.

[32] См.: А. В. Предтеченский «Современник декабристов Т. Г. Бок»; на стр. 38—79 этой книги дан обстоятельный анализ «Записки» Бока.

[33] «Воспоминания и рассказы деятелей Тайных обществ 1820-х годов», I, М., 1931, стр. 119. См. также у А. В. Предтеченского, стр. 94.

[34] См. биографическую заметку о К. Кюхельбекере, составленную его внучкой Ю. В. Косовой — «Русская старина», 1870, т. I, стр. 422—423; об отце поэта-декабриста см. также: Ю. Тынянов «В. К. Кюхельбекер» в кн. В. К. Кюхельбекера «Лирика и поэмы», т. I, Л., Советский писатель, 1939, стр. V—VI; «Павловск. Очерк истории и описание, 1777—1877», СПб, 1877.

[35] См.: «Русская старина», 1875, т. XIII, стр. 334.

[36] В. К. Кюхельбекер «Лирика и поэмы», т. I, Л., Советский писатель, 1939, стр. 58.

[37] Там же, стр. 26—27.

[38] «Восстание декабристов. Материалы», т. II, Гос. издат., 1926, стр. 192.

[39] См.: «Русская старина», 1875, т. XIII, стр. 334—335.

[40] См.: «Вестник Европы», 1803, ч. IX, № 11, стр. 197.

[41] «Русская старина», 1875, т. XIII, стр. 335.

[42] В. К. Кюхельбекер «Лирика и поэмы», т. I, Л., Советский писатель, 1939, стр. 27.

[43] «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 9, стр. 351.

[44] Там же, стр. 352.

[45] В. К. Кюхельбекер «Лирика и поэмы», т. I. Л., Советский писатель, 1939, стр. 47.

[46] «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 9, стр. 354.

[47] «Русский архив», 1871, I, стр. 0173.

[48] «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 9, стр. 354.

[49] «Собрание новых русских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1823 по 1825 год», ч. II, 1826, стр. 166—167.

[50] Там же, стр. 167. О Нарве писали многие деятели русской культуры, посещавшие в XIX в. Эстонию. Ей посвящено значительное количество статей в русской периодической печати, специальные главы в путевых заметках, фундаментальные работы и путеводители. См.: Алларт «Подробное описание города Нарвы и сражения под сим городом в 1700 г.» («Северный архив», 1822, ч. I, № 1, стр. 3—25; № 2, стр. 117—143); И. Лукьянович «Город Нарва. Из походных записок» («Литературное прибавление» к «Русскому инвалиду», 1831, № 25, стр. 193—197; № 27, стр. 210—211); А. М—в «Нарва в 1832 г.» («Северная пчела», 1832, №№ 180 и 181); К. И. Арсеньев «Путевые заметки» («Библиотека для чтения», 1834,



Дом Петра I в Нарве.
Гравюра на дереве по рисунку П. Фурмана, 1845.

т. V, № 5, отд. 3, стр. 93—120); А. Делагарди «Нарва и ее достопримечательности» («С.-Петербургские губернские ведомости», 1836, № 39, стр. 169—172); «Поездка в Ревель и Гельсингфорс в 1839 г.», СПб, 1840, стр. 92—94); Лавров «Артиллерийское дело при устье Наровы 6 июня 1855 г.» («Морской сборник», 1855, т. 18, № 4, отд. II, стр. 321—328); В. Ратч «Осада Нарвы в 1700 году» («Артиллерийский журнал», 1858, № 3, отд. 2, стр. 76—96); «Исторический перечень событий г. Нарвы» («Морской сборник», т. 38, 1858, № 12, стр. 32—40); Н. Устрялов «Осада Нарвы в 1700 году» («Русский вестник», 1860, № 23—24, стр. 434—461); Ф. Лясковский «Осада Нарвы в 1700 году» и «Журнал обороны Нарвы в 1704 г.» (в кн.: Ф. Лясковский «Материалы для истории инженерного искусства в России», СПб, 1861, ч. 2, стр. 92—191, 303—407); М. П. Пого-

дин «Петр под Нарвою» («Библиотека для чтения», 1864, № 16, стр. 137—156); «Летописи 1700 г. (сражение под Нарвою)» (в кн.: «П. Пекарский «Летопись занятий археографической комиссии, 1865—1866», вып. 4, СПб, 1868, стр. 131—157); «Дворец Петра Великого в Нарве», СПб, 1872; Ругодивцев «Город Нарва. Краткий очерк», СПб, 1873; П. В. Козакевич «Город Нарва с морским его рейдом и рекою Наровою», СПб, 1878; В. Майков и В. Владимирский «Виды города Нарвы и его окрестностей», Нарва, 1886; К. Случевский «Нарва, ее былое и настоящее», СПб, 1890; Н. Крузенштерн «Город Нарва. Исторический очерк», 1890; П. Р. Фурман «Нарва. Нарвская легенда. Путевые заметки и впечатления», СПб, 1891; Ал. Петров «Нарва в произведениях отечественной литературы» («Нарвский листок», 1898, №№ 2—93); А. В. Петров «Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности в связи с историей упрочения русского господства на Балтийском побережье. 1223—1900», СПб, 1901 (выдержки из этой фундаментальной работы см.: «Нарвский листок», 1898, №№ 1—97; 1899 №№ 3—100; 1900, №№ 2—5); Ив. Феоктистов «Город Нарва. Исторический очерк (по поводу 200-летия взятия этого города Петром Великим — 9 августа 1704 — 9 августа 1904), СПб, 1904, и др.

[51] «Собрание новых русских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1823 по 1825 год», ч. II, 1826, стр. 169.

[52] Там же.

[53] Там же, стр. 170.

[54] Ю. Тынянов «В. К. Кюхельбекер» в кн. В. К. Кюхельбекера «Лирика и поэмы», т. I, Л., Советский писатель, 1939, стр. XXVI.

[55] См.: «Русский биографический словарь», т. Рейтерн — Рольцберг, СПб, 1913, стр. 406—407.

[56] В. К. Кюхельбекер «Лирика и поэмы», т. I, Л., Советский писатель, 1939, стр. 58.

[57] Создание нового альманаха «Мнемозина» явилось крупным событием в литературе и журналистике преддекабристских лет (см.: Н. Полевой «Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов», Л., 1934, стр. 150). Альманах был восторженно встречен В. Г. Белинским. Когда впоследствии Ф. Булгарин, обрушившись на «Московский наблюдатель», презрительно назвал его продолжателем «Мнемозины», великий русский критик заявил: «... мы принимаем это обвинение за комплимент и чувствительно благодарим за него» (В. Г. Белинский, Полн. собрание сочинений, т. IX, СПб, 1910, стр. 4). Выход «Мнемозины» вызвал в печати ряд откликов: ругательных — со стороны реакционеров булгаринского толка; восторженных — на страницах прогрессивных периодических изданий. «Благонамеренный» (1824, № 8, стр. 130—135) поместил рецензию, в которой дал высокую оценку опубликованной в «Мнемозине» повести «Адо». «Благородный, возвышенный слог, новость лиц и места, характеры действующих лиц — все показывает, — утверждал рецензент, — отличный талант и призвание автора». Рецензия была подписана буквой «Р». Высказывается предположение, что она принадлежала перу Рылеева (см.: «Декабристы-литераторы», I, «Литературное наследство», т. 59, изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 276).

[58] «Мнемозина, собрание сочинений в стихах и прозе», изд. кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером, 1824, ч. I, стр. 119—120.

[59] Там же, стр. 126—127.

[60] Там же, стр. 125.

[61] Там же, стр. 131.

[62] Там же, стр. 145.

[63] Там же, стр. 149.

[64] М. Лунин, Сочинения и письма, Птгр, 1923, стр. 82.

[65] О К. Зоннтаге см.: Я. Зутис «Очерки по историографии Латвии»,

ч. I — «Прибалтийско-немецкая историография», Латгосиздат, Рига, 1949, стр. 120—125.

[66] См.: «Литературное наследство», т. 58, изд. Академии наук СССР, М., 1952, стр. 1009.

[67] См.: Я. Зутис «Очерки по историографии Латвии», ч. I — «Прибалтийско-немецкая историография», Латгосиздат, Рига, 1949, стр. 129; о Бунге — там же, стр. 126—132.

[68] Языковский архив. Выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 220.

[69] «Мнемозина, собрание сочинений в стихах и прозе», изд. кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером, 1824, ч. I, стр. 167.

[70] Архив братьев Тургеневых. Выпуск 1-й. «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806—1811 годы, том I, СПб, 1911, стр. 113.

[71] Там же, стр. 133.

[72] «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. I, Гос. издат. полит. литературы, 1951, стр. 21, 594, 634.

[73] Архив братьев Тургеневых. Выпуск 3-й. «Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811—1816 годы», том II, СПб, 1913, стр. 225.

[74] Там же, стр. 336.

[75] Там же.

[76] См.: «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1936, стр. 13.

[77] См.: «Записки И. Д. Якушкина», изд. 2-е, М., 1905, стр. 20.

[78] См.: М. В. Нечкина «Движение декабристов», т. I, изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 158.

[79] «Письма к другу, содержащия в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторического повествования: Зинобей Богдан Хмельницкой или освобождённая Малороссия. Фёдора Глинки. Сочин. писем Русского Офицера», ч. ч. 1—3, СПб, 1816—1817.

[80] См.: там же, ч. ч. I и II, СПб, 1816.

[81] Там же, ч. I, СПб, 1816, стр. 165.

[82] См.: «Об оставшихся после профессора Броце рукописях, касающихся до Лифляндии». — «Московские ведомости», 1825, № 24, стр. 865—866.

[83] «Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной его имп. величества канцелярии», вып. 1-й, СПб, 1891, стр. 453.

[84] См.: Архив братьев Тургеневых. «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816—1824 годы» (том III), Петроград, 1921, стр. 413.

[85] «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1936, стр. 273—274.

[86] Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского, т. IX, 1813—1852 гг., изд. графа С. Д. Шереметева, СПб, 1884, стр. 63.

[87] См.: А. Шебунин «Н. И. Тургенев», М., Гос. издат., стр. 91.

[88] См.: Е. И. Тарасов «Декабрист Н. И. Тургенев в александровскую эпоху» в «Ученых известиях Самарского университета», вып. IV (1923), стр. 317.

[89] См.: С. Я. Штрайх «Брожение в армии при Александре I», П., 1922, стр. 16.

[90] См.: «История лейб-гвардии Семеновского полка». Составил П. Дирин, том II, СПб, 1883, стр. 62.

[91] См.: Н. Дубровин «Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I», СПб, 1883, стр. 275.

[92] См. указание на это в «Записках полковника Вадковского» — «Русская старина», 1873, т. 7, стр. 647.

[93] См.: В. Базанов «Вольное общество любителей российской словесности», Гос. издат. Карело-Финской ССР, Петрозаводск, 1949, стр. 406.

[94] «Сын отечества», 1818, № XXXVIII, стр. 241—254.

[95] «Сын отечества», 1818, № XXXVIII, стр. 241. В дальнейшем, в 1822 г., тот же журнал (№ XV, стр. 1—24) дал обстоятельную статью гр. Брея «Состояние Ливонии до пришествия немцев». Однако на русский язык она переведена была не А. Бестужевым (имя переводчика скрыто буквами «П. . . . . .в» — по всей вероятности, им являлся популярный в те годы переводчик Павел Ильич Петров).

[96] См.: «Сын отечества», 1819, № XV, стр. 124—130; № XVII, стр. 219—227.

[97] Летописи сохранили неопровержимые свидетельства древности исторических связей эстонского и русского народов. «Новгородская первая летопись» указывает, например, на военно-политические связи между эстами и Новгородской землей, существовавшие еще в конце VIII — начале IX вв. «Повесть временных лет» сообщает об участии эстов в походе новгородского князя Олега, положившем начало создания единого Киевского государства. Русские летописи содержат также данные о торговых связях между Прибалтикой и Киевским государством, о службе эстов в войсках князя Владимира, об основании князем Ярославом города Тарту (Юрьев) и т. п. См.: соответствующие разделы «Истории Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней)», Эст. гос. издат., Таллин, 1952; А. Кашковская «Исторические связи эстонского и русского народов (по материалам древних летописей)» — «Советская Эстония», 23 ноября 1951 г.

[98] «Поездка в Ревель». Сочинение А. Бестужева, члена высочайше утвержденных вольных С.-Петербургских обществ: Любителей словесности, наук и художеств и Соревнователей просвещения и благотворения, СПб. 1821, стр. 19—20 (автограф рукописи «Поездки в Ревель» не сохранился. См.: примечания проф. Мордовченко к «Собранию стихотворений» А. А. Бестужева — Марлинского, 1948, стр. 211).

[99] «Поездка в Ревель», там же, стр. 20.

[100] См.: «Собранные систематические сведения о городе Ревеле в 1820 году». — «Эстляндские губернские ведомости», часть неофициальная, 1890, № 46, стр. 163—164; № 47, стр. 165; № 48, стр. 167.

[101] «Поездка в Ревель», там же, стр. 78.

[102] Там же, стр. 46—47.

[103] См.: Усолец «О достопамятностях оного города». — «Отечественные записки», часть восьмая, СПб, 1821, стр. 271—274.

[104] «Отечественные записки», СПб, 1828, ч. 33, стр. 4.

[105] Публикуя свою статью, П. Свиньин попытался придать ей большее, чем она того заслуживала, значение и сопроводил свое сочинение следующим примечанием: «В 1821 году издано было описание Ревеля, под названием: «Поездка в Ревель». Но как сочинитель оной был там в зимнее время и внимание свое преимущественно обращал на изыскание или обозрение древностей и достопамятностей города, то главное достоинство его книжки и заключается в цветистом слоге и игре воображения». Таллину — его достопримечательностям и истории — и в последующие десятилетия посвящен был ряд книг и множество статей. См.: Н. Кочевой «Письма в Петербург из Ревеля» («Литературная газета», 1849, № 8, стр. 126—128); Н. Зарудный «Поездка в Ревель» («Петербургский листок», 1864, №№ 21—26, 28—29); К. Г-н «Несколько слов о происхождении Ревеля» («Кронштадский вестник», 1867, № 18); «Краткие исторические сведения о достопримечательностях Ревеля», СПб, 1872; М. Л—в «Очерк истории города Ревеля» («Историческая библиотека», 1880, № 2, стр. 1—20); Филипп Ляликов «Ревель. 1822—1825. Воспоминания» («Русский архив», 1878, кн. 2, № 6, стр. 240—253; см. также — «Дополнения, заметки и поправки», там же, 1878, кн. 2, № 7, стр. 390); П. Козакевич «О построении гаваней в Балтийском порте и в Ревеле» («Записки гидрографиче-

ского департамента морского министерства», СПб, 1846, ч. 4, стр. 171—300) и др.

[106] «Поездка в Ревель», там же, стр. 49.

[107] У Руссова — в 1536 г.

[108] «Ливонской хроники Руссова, часть II-я». — См.: «Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края», т. II, Рига, 1879, стр. 308.

[109] «Поездка в Ревель», там же, стр. 85—86. Этот же инцидент послужил в 40-х годах основой для романа «Суд в ревельском магистрате. Из истории Эстляндии XVI столетия» барона Ф. Корфа. Однако в романе многое оценивалось с позиций, противоположных тем, с которых писали об Эстонии декабристы. Так, например, магистр ливонского ордена Вальтер Плеттенберг был, в представлении Корфа, благоразумным и гуманным правителем, здравомыслящим и твердым человеком, распоряжения которого, будто бы, «имели целью искоренение множества злоупотреблений» и даже... «охранение частной безопасности слабых крестьян от деспотического самоуправства необразованных рыцарей» («Суд в ревельском магистрате» барона Ф. Корфа, ч. I, СПб, 1841, стр. 2, 3). Роман привлек внимание Н. А. Некрасова, написавшего на него рецензию (опубликована в «Литературной газете», 27 марта 1841, стр. 140. Рецензия дана без подписи. О ее принадлежности Н. А. Некрасову см.: Н. А. Некрасов, Собрание сочинений, под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и Корнея Чуковского, Гиз, Л., 1930, т. III, стр. 369). Помимо этого, см. отзывы: П. А. Плетнев, Сочинения, т. II, стр. 302—303 (мелкие критические разборы); «Библиотека для чтения», 1841, т. 45, отд. VI, стр. 12; «Отечественные записки», 1841, т. 14, отд. VI, стр. 39; «Современник», 1841, т. 21, отд. II, стр. 94—95; «Сын отечества», 1841, № 11. В 1904 г. роман вышел в Таллине на эстонском языке.

[110] См.: «Письмо из Ревеля» в ж. «Благонамеренный», ч. 33, СПб, 1826, стр. 25—44, 99—106.

[111] См.: «Ливонской хроники Руссова, часть I-я». — «Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края», т. II, Рига, 1879, стр. 181—182. Дата у Руссова несколько иная — 1223 г.

[112] См.: С. А. Тараканова «Археологические раскопки в Таллине» («Известия Академии наук ЭССР», 1952, № 4); Х. А. Моора «О возникновении города Таллина» (там же, 1953, № 2); В. Маамяги и С. Тараканова «Когда возник Таллин» («Советская Эстония», 23 июля 1953); А. Вассар и И. Кахк «Роль Таллина в истории эстонского народа» («Коммунист Эстонии», 1954, № 9).

[113] См.: «История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней)», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 49—50.

[114] «Поездка в Ревель», там же, стр. 54.

[115] В «Поездке в Ревель» допущена опечатка: вместо 1343 г. указан 1243 г. — См. стр. 56.

[116] «Ливонской хроники Руссова, часть II-я». — «Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края», т. II, Рига, 1879, стр. 235.

[117] «Поездка в Ревель», там же, стр. 56—57.

[118] См.: «Декабристы», Гос. литературный музей, М., 1938, стр. 158. Об этом также: «Из Ревеля, от 3 октября» — «Северная почта», 1810, № 101; «Эстляндские губернские ведомости», 1888, № 42, стр. 173—174.

[119] «Поездка в Ревель», там же, стр. 67—68.

[120] Там же, стр. 71.

[121] Там же, стр. 74.

[122] Там же, стр. 115.

[123] См.: «Соревнователь просвещения и благотворения», ч. XIII, 1821,



Уголок старого Таллина.
Рисунок из путевого альбома И. Тюменева, 1891.
Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.



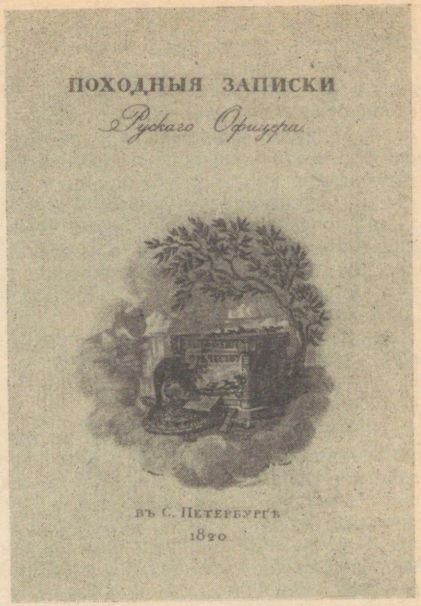
И. И. Лажечников.

Литография А. Мюнстера
с фотографии Даутендея.

кн. II, проза, стр. 133—180 и кн. III, стр. 319—360; «Невский зритель», ч. VI, 1821, апрель, проза, стр. 1—23 и май, стр. 101—121.

О чтении А. Бестужевым «Поездки в Ревель» на заседаниях Вольного общества любителей российской словесности см.: В. Базанов «Вольное общество любителей российской словесности», гос. издат. Карело-Финской ССР, Петрозаводск, 1949, стр. 221, 350, 351. На заседаниях этого общества обсуждались и другие, связанные с Эстонией, произведения. Как явствует из «Журнала учёных упражнений высочайше утверждённого С.-Петербургского вольного общества любителей российской словесности», 29 ноября 1820 г. была оглашена статья «Нечто о церкви св. Олая в Ревеле, зажжённой громовым ударом в ночи с 15 на 16 июня 1820 года. Соч. неизвестного. Пер. Г. А. Шверина» (там же, стр. 346). 20 марта 1822 г. на заседании, проходившем под председательством Ф. Глинки (среди присутствовавших были А. Бестужев, Рылеев и другие будущие декабристы), читалось произведение Н. Бестужева «Гуго (эстонское предание)» (там же, стр. 374).

15 марта 1820 года И. И. Лажечников познакомил членов Вольного общества с отрывком из «Походных записок русского офицера» — «Дерпт и краткая выписка из истории города Дерпта» (там же, стр. 345). Этот отрывок см. в его книге «Походные записки русского офицера», СПб, 1820, стр. 286—306 (то же, изд. 2-е, М., 1836, стр. 238—253). Следует указать, что в 1826 г., приступая к работе над своим первым историческим романом «Последний Новик или завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого», Лажечников вновь обратился к прибалтийской истории. В связи с этим он вторично посетил Тарту, где еще в 1814—15 гг. познакомился с семьей профессора Мойера. О приезде Лажечникова в Тарту



«Походные записки русского офицера» И. Лажечникова, СПБ, 1820. Обложка.
Одна из глав этой книги посвящена пребыванию автора в Тарту.

для изучения исторического материала см.: «Сборник учёно-литературного общества при имп. Юрьевском университете», т. II, 1899, стр. 122.

[124] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, собрание русских автографов, К2, ед. хр. 1, л. 1.

[125] Об этом см. интересное сообщение И. Н. Медведевой «Н. И. Гнедич и декабристы (из истории литературных программ и объединений декабристов)». — «Декабристы и их время. Материалы и сообщения», изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1951, стр. 101—154.

[126] «Сын отечества», 1821, ч. 73, стр. 83—84.

[127] Н. В. Измайлов «А. А. Бестужев до 14 декабря 1825 г.». — См. «Памяти декабристов», сборник материалов, т. I, Л., 1926, стр. 72—73.

[128] См.: ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. I, ед. хр. 3539, «Дело о проходе войск», л. л. 4, 12—14, 22—29.

[129] См.: «Записки И. Д. Якушкина», кн-во «Современные проблемы», М., 1926, изд. 7-е, стр. 64.

[130] Н. В. Измайлов «А. А. Бестужев до 14 декабря 1825». — См. «Памяти декабристов», сборник материалов, т. I, Л., 1926, стр. 23—24.

[131] «Из архива Ф. В. Булгарина». — См. «Русская старина», 1901, II, стр. 392—393.

[132] См.: Архив Института русской литературы Академии наук СССР, архив бр. Бестужевых, фонд 604, № 3, л. 21.

[133] «Из архива Ф. В. Булгарина». — См. «Русская старина», 1901, II, стр. 392—393.

[134] Второе полное собрание сочинений А. Марлинского, т. II, ч. IV, СПб, 1847, стр. 63—64.

[135] Там же, т. I, ч. III, стр. 137—138.

[136] Н. Бестужев «Гуго фон-Брахт (происшествие XIV столетия)». — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, № 10, стр. 32. Перепеч.: 1) «Собрание новых русских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1821 по 1823 год», ч. 1, СПб, 1825, стр. 117—137. 2) «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева», М., 1860, стр. 203—218.

[137] Пушкин, например, критиковал Бестужева за присущие его рыцарским повестям «романтические переходы». «Твой «Турнир», — писал он ему вскоре после опубликования повести в «Полярной звезде на 1825 год», — напоминает турниры Walter Scotta. Брось этих немцев и обратись к нам, православным; да полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами — это хорошо для поэмы байронической. Роман требует болтовни; высказывай всё начисто» (Пушкин, Письма, под ред. и с примечаниями Б. Л. Модзалевского, т. 1, Гос. издат., М.—Л., 1926, стр. 136).

[138] Второе полное собрание сочинений А. Марлинского, т. II, ч. IV, СПб, 1847, стр. 111.

[139] Там же, стр. 103.

[140] Там же, стр. 73.

[141] В 1883 году уникальный экземпляр «Звездочки», уже отпечатанной, но не увидевшей ранее свет, был включен М. И. Семевским в один из выпусков «Русской старины». «Все экземпляры этой, далеко еще недопечатанной к декабрю 1825 г. книжечка,— сообщал издатель,— были взяты, вместе с прочими бумагами А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева, при арестовании их после 14 декабря. «Звездочка» свалена в опечатанных тюках в кладовые типографии Главного штаба, и здесь погребена до 1861 г., когда, как ненужный хлам, альманах этот был сожжен». В распоряжении М. И. Семевского находились два незавершенных оттиска альманаха, в 1882 году он получил также рукописный текст «Звездочки». Альманах открывался повестью Бестужева «Замок Эйзен (кровь за кровь)». — См.: «Русская старина», 1883, июль, стр. 43—100. Перепечатка до этого в «Невском альманахе» (1827) бестужевской повести вызвала серьезные цензурные последствия. Об этом см.: Н. Д. ««Полярная звезда» и «Невский альманах»» («Русская старина», 1901, № 11, стр. 265—269); М. И. Семевский «Альманах «Звездочка», 1826 г.» («Сборник статей, недозволенных цензурой в 1862 г.», СПб, 1862, т. II, стр. 221—225); «Русский архив», год седьмой, 1869, № 4, стр. 053—060.

[142] Второе полное собрание сочинений А. Марлинского, т. I, ч. 1, СПб, 1847, стр. 91—92.

[143] Не понимаю (прим. А. Бестужева).

[144] Второе полное собрание сочинений А. Марлинского, т. I, ч. 1, СПб, 1847, стр. 83—84.

[145] Эдуард Вильде «Война в Махтра», Эст. гос. издат., Таллин, 1951, стр. 140.

[146] П. И. Пестель «Русская правда. Наказ Временному Верховному Правлению», СПб, 1906, стр. 42.

[147] Там же, стр. 42—43.

[148] Н. М. Языков, Полн. собр. стихотворений, Academia, 1934, стр. 137.

[149] См. письмо Ф. Р. и Г. Р. Унгерн-Штернбергов к К. Ф. Рылееву. — «Декабристы-литераторы», I («Литературное наследство», т. 59), изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 157.

[150] См.: Anders, Emil «Erinnerungen (1810—1840)». — «Baltische Monatsschrift», B. XXXIX, Reval, 1892, s. 323—324.

[151] Языковский архив, выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 163.

[152] А. Е. Розен «Записки декабриста», СПб, 1907, стр. 146.

[153] К. Рылеев, Полн. собр. стихотворений, изд. писателей в Ленинграде, стр. 248—251.

[154] Языковский архив, выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 197—198.

[155] Там же, стр. 205.

[156] Н. М. Языков, Полн. собр. стихотворений, Academia, 1934, стр. 136.

[157] Там же, стр. 137.

[158] В. Базанов утверждает: «Д. Н. Свербеев в своих «Записках» свидетельствует, что С. М. Семенов, известный по Союзу благоденствия и обществу «Хейрут», «непременно и упорно» желал познакомить братьев Языковых с кн. С. П. Трубецким, Е. П. Оболенским, Ф. Н. Глинкой, Федором Шаховским и Корниловичем... Д. Н. Свербеев был недалек от истины, когда указывал, что на Николая и Александра Языковых рассчитывали декабристы, и только «языковская лень» спасла их от «политических искушений»» (см.: В. Базанов «Вольное общество любителей российской словесности», гос. издат. Карело-Финской ССР, Петрозаводск, 1949, стр. 307). Это утверждение, однако, не соответствует действительности. В «Записках» Д. Н. Свербеева (т. 1, М., 1899, стр. 276), на которые ссылается В. Базанов, речь идет только об одном из братьев Языковых — Александре, имя же поэта там даже не упоминается. Таким образом, вывод В. Базанова построен на несуществующем свидетельстве.

[159] Н. М. Языков, Полн. собр. стихотворений, Academia, 1934, стр. 171. Подобная идеализация Языковым ливонской старины вызывала со стороны передовых русских людей и в пору жизни поэта, и в последующие десятилетия резкое осуждение. Укажем, в частности, на рукопись анонимной статьи «Немецкое рыцарство на балтийском прибережьи» сохранившуюся в бумагах В. А. Бильбасова (рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, № Г-76(53). Приводя строки из стихов Языкова, неизвестный автор заявлял: «В таких восторженных и звучных стихах, лет пятьдесят тому назад, воспевал русский поэт, а вместе с тем и студент Дерптского университета, Языков, злополучную судьбу немецкого рыцарского ордена, для которого собственно, но никак уж не для Ливонии, мог быть «красотою» меч наследников Винно-фон-Рорбаха, давший так хорошо почувствовать свою тяжесть ливам... Люди хладнокровные и положительные видят уже в этом учреждении всего более смесь монашеского лицемерия с солдатским разгулом...»

[160] Языковский архив, выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 142.

[161] И в последующие годы солдаты и матросы-эстонцы, приезжая на побывку в родную деревню, становились инициаторами выступлений против баронской власти. 7 июля 1858 года лифляндский гражданский губернатор сообщал министру внутренних дел: «Феллинский орднунгсгерихт донес мне, что проживающие Феллинского уезда (Вильяндимаа, в южной Эстонии. — А. Л.) на мызе Иммафер уволенные в временный отпуск нижние чины Невского пехотного его величества короля Неаполитанского полка Иоган Куллеркуп и Ревельского пехотного полка Теннис Мир, из коих первый еще прежде сказался человеком сварливым и задорным, подстрекали некоторых тамошних крестьян, подлежавших наказанию за неявку к работе, к явному сопротивлению, закричав им, чтобы они не дозволили наказать себя, и что вследствие этого помянутые крестьяне действительно сопротивлялись мызному управлению, так что надобно было насильно отправить их в приходской суд.

Имея в виду, что при существовавших в соседней Эстляндской губернии между крестьянами беспорядках, подобные поступки отпускных нижних чинов могут иметь весьма вредное влияние на крестьян вверенной мне губернии, я предписал феллинскому орднунгсгерихту произвести немедленно,

при депутате с военной стороны, строжайшее следствие...» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 1286, оп. 19, ед. хр. 643, дело департамента полиции исполнительной «По представлению начальника Лифляндской губернии о подстрекательстве отпускными нижними чинами Иоганом Куллеркупом и Тенниссом Миром крестьян мызы Иммафер к неповиновению», л. л. 1—2). Этим делом занялось военное министерство. Дальнейшая судьба Иогана Куллеркупа и Тенниса Мира нам неизвестна.

[162] В. И. Ленин, Соч., т. 23, стр. 234.

[163] Бестужевы. Воспоминания. Ред. М. К. Азадовского и др., М., 1931, стр. 90.

[164] И. В. Егоров «Моряки-декабристы», Л., 1925, стр. 127. См. также: М. М. Попов «Число жертв 14 декабря 1825 г.» («Былое», 1907, III, стр. 192—199. Даны списки нижних чинов и др., пострадавших 14 декабря 1825 г.); С. Лукашевич «Материалы по истории русского флота. Краткая хронология революционного движения в русском флоте» («Морской сборник», 1920, июнь—июль, стр. 34—46).

[165] См.: А. В. Петров «Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности в связи с историей упрочения русского государства на Балтийском побережье. 1223—1900», СПб, 1901, стр. 436.

[166] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 30, ед. хр. 1217, дело «Об отыскании коллежского ассессора Кюхельбекера для доставления его в С.-Петербург за строгим караулом», л. 1.

[167] Декабрист А. М. Муравьев «Записки», изд. Былое, Петроград, 1922, стр. 19. Личный приказ Николая I председателю следственной комиссии А. И. Татищеву об отправлении А. М. Муравьёва «под строгий арест» в Таллин, а Арцыбашева — в Нарву см.: «Столетие военного министерства 1802—1902. Императорская главная квартира. История государевой свиты. Царствование императора Николая I», СПб, 1908, стр. 193.

[168] Языковский архив. Выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 232—233.

[169] Н. М. Языков, Собрание стихотворений, Советский писатель, 1948, стр. 97.

[170] Языковский архив. Выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 243.

[171] См.: Центральный государственный архив военно-морского флота СССР, ф. 950, оп. 1, ед. хр. 286, дело из конторы главного командира Ревельского порта «О воспрещении служащим чинам принадлежать к масонским ложам», л. 55.

[172] В ЦГИА в Ленинграде, в фонде департамента народного просвещения, имеется дело «О поднесении Николаю I профессором Дерптского университета И. В. Франке стихотворения на греческом языке» (1826 г.) — ф. 733, оп. 87, ед. хр. 259.

[173] Н. М. Языков писал по этому поводу брату: «В здешней университетской зале говорил профессор Перевощиков речь... Эта речь будет напечатана; я пришлю ее тебе, да познаешь красноречие нашего оратора и да подивишься его анахронистическим мнениям о предметах, давно обсужденных вполне, умами не ему чета...» (Языковский архив. Выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни», СПб, 1913, стр. 281). О поднесении царю речи см. также: ЦГИА в Ленинграде, ф. 735, оп. 1, ед. хр. 196, л. 34. В том же 1826 г. речь была отпечатана в Тарту отдельной брошюрой. Н. И. Пирогов оставил в своих записках уничтожающую характеристику Перевощикова, который «был профессором во времена Магницкого, положившего глубокий отпечаток на всю его деятельность и даже на самую физиономию» (Сочинения Н. И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, «Дневник старого врача», стр. 410).

[174] ЦГИА в Ленинграде, ф. 1281, оп. 11, ед. хр. 75, кн. II, «Отчет о состоянии Лифляндской губернии за 1825 г.», л. л. 14—15.

[175] Там же, ф. 735, оп. 1, ед. хр. 137, дело «По письму Эстляндского риттершафт-гауптмана Бенкендорфа о позволении назначить день для празднования сохранения августейшего дома и избавления церкви от угрожавшей опасности», л. л. 1, 3.

[176] «Всеподданнейшее письмо М. Магницкого имп. Николаю об иллюминатах». — См.: «Русская старина», т. 97, 1899, стр. 611, 617.

[177] «Радуга», журнал философии, педагогии и изящной литературы с присовокуплением остзейских записок, издаваемый А. Бюргером, 1832, книжка вторая, стр. 96.

[178] «Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. 2-й, СПб, 1913, стр. 22.

[179] Там же, стр. 158—161. Разрядка П. А. Вяземского.

[180] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 4059, «Дело о злоумышленных обществах 1826 года», л. 1. Экземпляр «Донесения следственной комиссии...» имеется в библиотеке Исторического музея Академии наук Эстонской ССР (Таллин).

[181] «Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. 2, СПб, 1913, стр. 46.

[182] «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 10, стр. 403.

[183] «Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. 2, СПб, 1913, стр. 54.

[184] Там же, стр. 54—55.

[185] Полн. собр. сочинений князя П. А. Вяземского, т. IX, 1813—1852, СПб, 1884, стр. 87.

[186] Пушкин, Полн. собр. сочинений, т. 13, переписка 1815—1827, изд. Академии наук СССР, 1937, стр. 289.

[187] Там же, стр. 290.

[188] Там же, стр. 291.

[189] Там же.

[190] Н. М. Языков, Собр. сочинений, Л., Советский писатель, 1948, стр. 115—116.

[191] Пушкин, Полн. собр. сочинений, т. 13, переписка 1815—1827, изд. Академии наук СССР, 1937, стр. 286.

[192] Н. М. Языков, Полн. собр. стихотворений, Academia, 1934, стр. 259.

[193] «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 10, стр. 404.

[194] Там же, стр. 404—405.

[195] К. Ф. Рылеев, Полн. собр. сочинений. Редакция, вступительная статья и комментарии А. Г. Цейтлина, М.—Л., 1934, стр. 518—519.

[196] «Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. 2, СПб, 1913, стр. 71.

[197] Там же, стр. 79.

[198] «В ссылку (записки декабриста)», соч. бар. Андрея Розена (декабриста), 2-е изд. с значит. добавлениями, М., 1900, стр. 99.

[199] Там же, стр. 27.

[200] Там же, стр. 61.

[201] В ЦГИА Эстонской ССР (ф. 291, оп. I, ед. хр. 4059) находится предписание военного министра остзейскому генерал-губернатору от 13 августа 1826 г. По приказанию министра необходимо было сообщить «в возможной подробности положение и домашние обстоятельства ближайших родных всех тех преступников, кои были преданы Верховному уголовному суду и по приговорам оного осуждены» (л. 4). В ответ последовало донесение эстляндского гражданского губернатора о благонадежности живших в Эстонии родных Андрея Розена (л. 24).

[202] «В ссылку (записки декабриста)», соч. бар. Андрея Розена, 2-е изд. с значит. добавлениями, М., 1900, стр. 99.

[203] Языковский архив. Выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 266.

[204] А. И. Герцен «14 декабря 1825 и император Николай», Лондон, 1858, стр. 229.

[205] «Из неизданной переписки. Письма Кюхельбекера из крепостей и ссылки (1829—1846)». — См.: «Декабристы-литераторы», I, («Литературное наследство», т. 59), изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 398.

[206] Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), «Дело об отправленных по высочайшему повелению из Динабурга в Ревель важных арестантах», л. 3.

[207] «Дневник В. К. Кюхельбекера», изд. «Прибой», 1929, стр. 135.

[208] «Из неизданной переписки. Письма Кюхельбекера из крепостей и ссылки (1829—1846)». — См.: «Декабристы-литераторы», I («Литературное наследство», т. 59), изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 410.

[209] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, архив Шильдера, картон 18, № 4, декабристы, л. 48. Там же (архив Шильдера, картон 18, № 4, л. 40) находится копия отношения управляющего Главным штабом А. И. Чернышева финляндскому генерал-губернатору о приказании Николая I возвратить В. К. Кюхельбекеру отобранные у него при обыске книги, а также рукописи, и о разрешении В. К. Кюхельбекеру под надзором читать и писать.

[210] В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, Л., Советский писатель, 1939, т. I, стр. 127—128.

[211] Там же, стр. 149.

[212] А. Розен «Записки декабриста», СПб, 1870, стр. 153.

[213] П. Беляев «Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850», СПб, 1882, стр. 309—310.

[214] См.: «Извлечение из писем путешествующего астронома Василия Федорова к директору Дерптской обсерватории Струве». — См.: «Журнал министерства народного просвещения», ч. 3-я, СПб, 1834, стр. 158. О путешествии В. Федорова см. также: «Отечественные записки», 1839, т. I, стр. 41.

[215] А. Н. Савич до приезда в Тарту был близок с А. И. Герценом, являлся участником его кружка в Московском университете. Великий демократ отзывался о нем с большой теплотой, называя Савича «представителем материализма XVIII в.» (А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. II, П., 1919, стр. 164). В письме к Евгению и Диомиду Пассекам, 15 января 1833 г., Герцен писал: «Я уверен, что я не забыт. Когда у вас будет Савич, поцелуйте его за меня и скажите что он (и вы) получите от меня большую хартию...» («Литературное наследство», № 39—40, т. I, стр. 185), подразумевая под «хартией» свою статью о Петре I.

Герцен связан был с Савичем и в последующие годы. На это указывает, в частности, его письмо Огареву за 1833 год: «Савич уехал в Петербург, он отправляется на 6 лет в Дерпт на казенный счет, а после должен 6 лет прослужить ординарным профессором. Хорошо это или худо? Для него хорошо, ибо он весь в науке...» (А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. I, П., 1919, стр. 121).

В Тарту А. Н. Савич, под руководством В. Я. Струве, вел астрономические наблюдения. По рекомендации своего учителя, в 1836 г., он был включен в экспедицию Академии наук для производства между Черным и Каспийским морями точной геометрической нивелировки.

А. Н. Савич после отъезда из Тарту встречался с А. И. Герценом (см. примечания М. К. Лемке к т. II Полн. собр. сочинений А. И. Герцена,

стр. 374). Это дает основание предполагать, что, находясь в Эстонии, астроном также был с ним связан.

[216] Хачатур Абовян — великий армянский писатель, просветитель, основоположник новой армянской литературы и нового литературного языка в течение ряда лет жил в Эстонии. Вот, что рассказывают об этом обнаруженные нами в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде документы:

Сентябрьским утром 1829 года, впервые в истории, начался штурм вершины Арарата. В мороз и пургу, преодолевая огромные трудности, по склонам горы подымалась группа смелых и отважных людей — профессор Тартуского университета Ф. Паррот, армянские крестьяне Ованес Айвазян и Мурат Погосян, русские солдаты Матвей Чалпанов и Алексей Здровенко, будущий писатель Хачатур Абовян. Они «могут хвалиться честью, — сообщал вскоре из Армении в Эстонию участник экспедиции тартуский астроном Василий Федоров, — что достигли вершины ... горы Арарата, которая, сколько известно, до сих пор никем не была достигнута ...» (Языковский архив. Выпуск 1-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 401—402. О восхождении на Арарат см.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 56, ед. хр. 463, дело «По представлению попечителя Дерптского учебного округа о предпринятии ученого путешествия на араратские горы профессором Дерптского университета Парротом» и дело «О помещении в Тифлисских ведомостях статьи, что якобы профессор Дерптского университета Паррот не достигал вершины Арарат»).

Встреча с тартускими учеными, осуществлявшими штурм неприступной горы, сыграла огромную роль в трагической и многострадальной жизни Хачатура Артемьевича Абовяна. Став при них переводчиком и, по свидетельству современника, «нужным для их деятельности человеком, собеседником, знающим местные языки и владеющим русским языком», он надолго связал свою судьбу с судьбой Эстонии.

Документы Центрального государственного исторического архива в Ленинграде подробно освещают начало дружбы тартуских ученых с Хачатуром Абовяном, рассказывают о его приезде из Армении в Эстонию, о его учебе в Тарту. В обстоятельнейшем рапорте Ф. Паррота, представленном ученым в правление Тартуского университета, мы находим немало интересных строк о великом просветителе и демократе.

«Сей 20-летний юноша ..., — писал о Х. Абовяне тартуский профессор, — был до сего времени назначен в монашеское духовенство; но поелику Эчмиадзин, где он был определен переводчиком и дьяконом, не представлял ему никаких способов удовлетворить свое рвение к умственному образованию, то он отказывался до сих пор от всех теснейших связей с монастырем ..., в непрестанной надежде, что представится ему какой либо случай к распространению своих знаний в учебном заведении, и в качестве учителя ... быть полезным своей нации. Сие то стремление к просвещению было единственной причиной, побудившей его сопровождать меня в моем путешествии на Арарат, разделить со мною все усилия и опасности и заслужить 2-х месячным ежедневным обхождением мою привязанность и мое внимание».

В том же рапорте ученый высоко отзывался о блестящих способностях Х. Абовяна, который «приобрел основательные познания в языке ... и истории своего народа и выучился по русски и по латыни. Дабы сделаться таким учителем, какой нужен для его нации, — утверждал тартуский профессор, — должно было бы ему обучиться еще географии, истории, арифметике, геометрии и усовершенствоваться в русском языке» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 56, ед. хр. 509, дело «По отношению главнокомандующего Грузиею графа Паскевича-Эреванского о принятии в Дерптский

университет для образования к учительской должности армянина Абайова, с выдачею ему из государственного казначейства денег на содержание и проезды из Тифлиса и обратно», л. л. 9—10).

Признав в Абовяне достойнейшего сына армянского народа, ученый возбудил ходатайство о зачислении своего спутника по восхождению на Арарат в Тартуский университет. «Г. Паррот, заметив в нем чрезвычайную склонность к наукам, особенное прилежание, умственные способности и желание просветить себя, полагает, — доносил в Петербург главнокомандующий Грузией граф Паскевич-Эреванский, — что если правительство обратит внимание на молодого армянина Абовяна и даст ему средства образовать себя в каком-либо учебном заведении, то впоследствии времени найдет в нем человека, которого с пользою может употребить для просвещения его соотечественников» (там же, л. 1).

Но в николаевской России, где господствовала политика национального угнетения, не так легко было добиться зачисления армянина в высшее учебное заведение. Ходатайство тартуского ученого вызвало оживленную переписку. В архивном деле Абовяна лежат донесения главнокомандующего Грузией, докладные записки министра просвещения и статс-секретаря, рапорт ректора Тартуского университета, отношения из министерства финансов... В течение ряда месяцев в высших петербургских сферах обсуждался вопрос: быть ли талантливому армянину студентом российского университета, можно ли ему покинуть Эчмиадзин, чтобы на несколько лет поселиться в Эстонии?

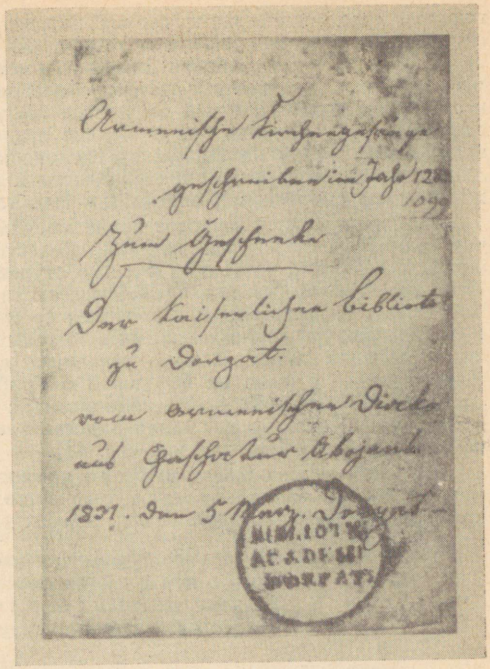
26 февраля 1830 года из Петербурга на имя ректора Тартуского университета пришло предписание: «Узнать от г. Паррота... к какой должности сей молодой человек по мнению его может быть приготовлен» (там же, л. 2). Из Тарту тотчас же был отправлен обширнейший ответ, в котором излагалась подробная программа университетских занятий Абовяна «на русском языке, по русским книгам». «Вот план, — писал Паррот, — который я имел намерение, по собственному побуждению, предложить высшему начальству... в твердой уверенности, что я испрашиваю милости... молодому человеку, который вполне оной достоин умственными дарованиями, нравственными качествами, чистотою сердца и непрестанным прилежанием» (там же, л. 10).

Только 25 марта Паскевич-Эреванский получил предписание отправить Хачатура Абовяна в Эстонию. Грузинской казенной экспедиции и Лифляндской казенной палате было сделано распоряжение об отпуске необходимых средств.

И вот, наконец, настал день, о котором так страстно мечтал будущий великий писатель. «3-го сентября, — доносил министру народного просвещения попечитель Дерптского учебного округа, — прибыл в Дерпт... Абовян, который... имеет остаться в означенном городе три года для обучения» (там же, л. 25).

В ту пору в стенах Тартуского университета училась плеяда талантливейших людей, прославивших впоследствии отечественную культуру. Там овладевали науками великий хирург Н. И. Пирогов, выдающийся представитель экспериментальной физиологии А. М. Филомафитский, замечательный врач Ф. И. Иноземцев, выдающийся юрист и педагог П. Г. Редкин и другие. На медицинском факультете слушал тогда лекции основоположник эстонской демократической литературы, писатель-просветитель Ф. Р. Крейцвальд. Несомненно, что Хачатур Абовян, стремившийся к получению в Тарту разностороннего образования, со многими из них встречался в студенческих аудиториях.

История и география, математика и музыка, иностранные языки и педагогика, русская литература и психология, логика и земледелие — эти, так же как и ряд других предметов, изучались новым воспитанником университета глубоко и всесторонне.



Первая страница древней армянской рукописи, подаренной Хачатуром Абовяном библиотеке Тартуского университета. На странице имеется дарственная запись.

Фундаментальная библиотека Тартуского государственного университета.

Хачатур Абовян, однако, не замыкался в аудиториях, не ограничивался слушанием лекций, чтением литературы в университетской библиотеке. Его интересовали быт и хозяйственное положение Прибалтики, жизнь эстонского народа. И, в свободное от занятий время, Абовян совершал путешествия по Эстонии. «Замечательно то, что в своих дневниках, отражая впечатления от этих путешествий, — рассказывает один из биографов великого армянского просветителя, — Абовян уделяет внимание тем противоречиям, которые существовали в Прибалтике между богатыми немецкими помещиками, с одной стороны, и трудовыми эстонскими крестьянами, с другой, работавшими в ужасающих условиях на помещиков-немцев» (Г. А. Абов «Хачатур Абовян. Жизнь и творчество», изд. Академии наук Арм. ССР, 1948, стр. 36).

Живя в Эстонии, Хачатур Абовян пристально следил за всеми событиями, происходившими на его родине, в Армении. Приходившие в Тарту письма от поэта Аламдаряна, преподавателя Саллантяна и многих других, сообщали о гонениях, которым подвергались в Закавказье прогрессивно мыслившие люди, о страданиях беспощадно эксплуатируемого армянского народа. И Абовян невольно сравнивал судьбу своих соотечественников с горем и нищетой окружавших его эстонских крестьян. Его пламенное сердце не могло молчать, и тартуский студент с беспощадной ненавистью обрушивался на виновников страшных злодеяний, прозорливо предсказывая, что «Родина не простит эксплуатации, которой её подвер-

гают» и «рано или поздно сердца патриотов не оставят без мести, без справедливого возмездия» их подлые дела.

Из Тарту Хачатур Абовян писал в Армению смелые строки о неминуемом торжестве правды. «Пусть падут слабовольные, трусливые, чревоугодники и сребролюбцы, пусть венчаются похвалой правдивые, благородные, патриоты... — заявлял он. — Сердце преданное должно быть всегда открытым, не взирая на тысячи преследований, и верным другом является лишь тот, кто говорит о справедливости в лицо, хотя бы подвергал тем жизнь свою смертельной опасности» (см. там же, стр. 42—43).

Это прогрессивное мировоззрение складывалось у Абовяна под могучим влиянием передовой русской общественной мысли. Он постоянно общался с лучшей частью тартуского студенчества, в среде которой чтили Пушкина, тайком читали пламенные стихи поэтов-декабристов Рылеева, Бестужева, Кюхельбекера; встречался со многими из передовых деятелей русской культуры, приезжавшими в те годы в Эстонию. В дневниковых записях Абовяна упоминаются и учившиеся в Тарту сыновья историографа Карамзина — с ними он беседовал о Грибоедове; и замечательный русский поэт Жуковский, после знакомства с которым Абовян с восторгом восклицал: «Какая кровь, какая радость клокотала в его личности... Какой патриотизм!» (см. там же, стр. 45).

Тартуский период жизни великого армянского просветителя оставил заметный след в его поэтическом творчестве. В стихах молодого Абовяна возникали бесконечно дорогие ему образы далекой родины — Армении.

Ты не узрел Армению мою,
Хотя о ней и думал ежечасно.
Я знаю, ты любил ее заглазно.
Моя страна оплачет смерть твою, —

писал армянский поэт, глубоко опечаленный кончиной одного из своих тартуских профессоров.

В 1833 году истек установленный Хачатуру Абовяну срок обучения. Благодаря содействию друзей, начались хлопоты о предоставлении ему права остаться еще на некоторое время в Тарту. «Ныне г. ректор доносит мне, — сообщал 16 июня 1833 года министру народного просвещения попечитель Дерптского учебного округа, — что помянутый армянин отличается прилежанием и примерным поведением и кажется особенно способным оказать отечеству своему пользы обучением... молодых людей... Дабы довести сказанного Абовяна до высшей степени совершенства в отношении к будущему столь полезному званию его, ректор испрашивает ходатайства моего о продлении разрешенного ему первоначально для пребывания в Дерптском университете трехлетнего срока на один год» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 56, ед. хр. 509, дело «По представлению г. попечителя Дерптского учебного округа о дозволении армянскому дьякону Абайову пробыть при Дерптском университете еще один год», л. 28).

В том же архивном деле, где лежит запрос дерптского попечителя, сохранились докладная записка министра просвещения, выписка из журнала комитета министров, обсуждавшего 11 июля 1833 года дело Хачатура Абовяна, ответное письмо попечителю и, наконец, сообщение о продлении срока обучения.

Хачатур Абовян пробыл в Эстонии до 1836 года. На основании имевшихся документов (прежде всего тартуских дневников Абовяна, его переписки и ряда официальных материалов) до сих пор считалось, что великий армянский демократ учился в Тартуском университете только лишь в качестве вольнослушателя и только лишь по особому плану, составленному профессором Парротом. Найденное нами в Центральном государст-

венном историческом архиве в Ленинграде отношение министерства финансов в министерство просвещения (ф. 733, оп. 56, ед. хр. 509, л. 35) впервые дает возможность установить, что Хачатур Абовян не только посещал вместе со студентами лекции и индивидуально занимался у ряда профессоров, но и окончил существовавший при университете профессорский институт.

Абовяну предложили остаться в Тарту и преподавать там восточные языки. Но он предпочел вернуться в Армению. Абовян стремился на родину, чтобы осуществить мечту своей жизни — нести знания в народные массы, верно и безгранично служить народу.

[217] См.: «Декабристы на каторге и в ссылке». Сборник, М., 1925, стр. 284.

[218] «Полн. собр. стихотворений кн. А. И. Одоевского», СПб, 1883, стр. 11. Упоминание об этой лекции см.: В. И. Семевский «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века», т. I, стр. 511.

[219] «В ссылку (записки декабриста)», соч. бар. Андрея Розена, там же, стр. 215.

[220] «Минувшие годы», 1908, XI, стр. 212—213.

[221] «В ссылку (записки декабриста)», соч. бар. Андрея Розена, там же, стр. 216.

[222] Там же, стр. 221—222.

[223] Там же, стр. 222.

[224] Там же, стр. 224.

[225] Там же, стр. 229.

[226] Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), архив Е. П. Оболенского, фонд 606, № 7, л. 146 об.

[227] «Русский архив», 1900, II, стр. 299.

[228] Там же.

[229] Там же, стр. 304.

[230] Там же.

[231] Н. Тургенев «Пора!» — См.: «Русский заграничный сборник», ч. II, тетрадь 1, 1858, стр. 22.

[232] Н. Тургенев «Вопрос освобождения и вопрос управления крестьян». См.: «Русский заграничный сборник», ч. III, тетрадь I, Париж, 1859, стр. 8.

[233] «Колокол», № 40—41, 15 апреля 1859, стр. 329.

[234] Там же, стр. 329—330.

[235] Н. Тургенев «Вопрос освобождения и вопрос управления крестьян». — См.: «Русский заграничный сборник», ч. III, тетрадь 1, Париж, 1859, стр. 62.

[236] «Русский архив», 1885, IV, стр. 641—643. Эту записку в 1885 г. обнаружил в своих бумагах М. Галкин-Враской, управлявший с 1868 по 1870 г. Эстляндской губернией. Записка была передана им племяннику Розена — барону Корфу.

[237] Первое, немецкое, издание «Записок декабриста» А. Розена вышло в 1869 году в Лейпциге анонимно. Там же, в 1870 году, был напечатан и русский, более полный, вариант книги.

[238] П. Свистунов «Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и о декабристах». — См.: «Русский архив», 1870, столб. 1644.

[239] См.: С. Я. Гессен «П. Н. Свистунов и А. Ф. Фролов в борьбе с Д. И. Завалишиным». — В кн.: «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», М., 1933, т. II.

[240] Это и последующие замечания В. С. Толстого на полях и в тексте А. Е. Розена «Записки декабриста» приводятся по публикации С. В. Житомирской. См.: Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина. Труды отдела рукописей. «Декабристы. Новые материалы», под ред. М. К. Азадовского, М., 1955, стр. 77—84.

[241] «Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика», сост. Вл. Орлов, М.—Л., 1951, стр. 27.
[242] В. И. Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 14—15.

В ТИСКАХ ЦЕНЗУРЫ

[1] А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке, т. XV, стр. 4.
[2] В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 9.
[3] С. М. Соловьёв «Записки», кн-во «Прометей», стр. 122.
[4] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. I, ед. хр. 13227, л. 70.
[5] Там же, ф. 291, оп. I, ед. хр. 13227, л. 78.
[6] Там же, ф. 291, оп. I, ед. хр. 9649, дело управления рижского военного, лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора.
[7] См.: Фр. Розин-Азис «Страница из истории крестьянства», Гос. издат., Л., 1925, стр. 172.
[8] См.: «История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней)», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 181.
[9] «Крестьянское движение 1827—1869 годов», вып. I, Соцэкгиз, 1931, стр. 44.
[10] Там же, стр. 51.
[11] Там же, стр. 65.
[12] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 8582, дело «Касательно отряжённого 1-го дивизиона казачьего атаманского его импер. высочества наследника цесаревича полка в Лифляндскую губернию», л. л. 59, 61.
[13] Там же, л. л. 1—103. Лифляндский, эстляндский и курляндский генерал-губернатор 8 ноября 1845 года сообщал, что в связи с крестьянскими волнениями, для усиления городской и земской полиции, один дивизион атаманского казачьего полка «имел расположиться между городом Дерптом и Верро». Губернатор вынужден был, «по причине господствующей здесь (в Эстляндии и Лифляндии. — А. Л.) между крестьянами нужды в прокормлении самих себя», предостеречь казаков от насильственного получения от крестьян продовольствия даже в минимальных размерах. Обстановка в прибалтийских губерниях была настолько напряженной, что командир дивизиона получил подробнейшую инструкцию, когда применять к крестьянам оружие, как и кого оповещать по эстафете о беспорядках и т. п. В цитируемом деле лежит ряд документов и о самих крестьянских волнениях: донесение перновского орднунгсгерихта от 24 апреля 1846 г. о «беспорядках» на мызе Феликс; сообщение о бунте еще в двух мызах Перновского уезда; отношение о волнениях на острове Эзель (Сааремаа).
[14] ЦГИА в Ленинграде, ф. 772, оп. 4, ед. хр. 148578, дело канцелярии министра народного просвещения по главному управлению цензуры «По отношению графа Бенкендорфа об ограничении изданий в остзейских губерниях статей о положении тамошних крестьян», л. л. 1, 2.
[15] Там же, ф. 772, оп. 4, ед. хр. 149266, дело канцелярии министра народного просвещения по главному управлению цензуры «По представлению Дерптского цензурного комитета о рукописи доктора Адольфа о мерах к благосостоянию помещиков и крестьян остзейских губерний», л. 2. Против правдивого освещения в литературе и периодической печати положения эстонских и латышских крестьян цензура выступала и в предшествовавшие годы. В. В. Сиповский привел ряд фактов преследования цензурой прогрессивной общественно-политической мысли Прибалтики конца XVIII — начала XIX столетий. Вышедшее в 1797 г. в Лейпциге сочинение Г. Меркеля «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия» было подвергнуто в России запрету на том основании, что в нем го-

ворилось о «латышах в Лифляндии и чухонцах в Эстляндии, голодом томимых, трудившихся в хлебопашестве для чуждых помещиков». В двухтомном труде «Pittoresken aus Norden» цензор усмотрел «обиду и опорочение лифляндских дворян», т. к. в книге утверждалось, что «дворяне эстляндские плохо кормили крепостных». За указание на плачевное положение латышских крестьян и нежелание баронов заниматься их просвещением, пострадало сочинение Меркеля «Die Vorzeit Lieflands» (Берлин, 1798). Цензурное преследование испытала на себе книга «Reise eines Liefländers von Riga nach Warschau u. w.» (Берлин, 1795), автор которой, говоря о латышах, посмел «рассуждать об отношении крестьянина к господину и о свободе его» (см.: В. В. Сиповский «Из прошлого русской цензуры». — «Русская старина», 1899, № 5, стр. 447—448).

[16] ЦГИА в Ленинграде, ф. 772, оп. 4, ед. хр. 148578, л. 4.

[17] Ученое эстонское общество было создано при Тартуском университете в 1838 году. Его целью было «содействовать познанию древнего и настоящего состояния эстонского народа, его языка и литературы, равно как и страны им обитаемой» («Устав Ученого эстонского общества в Дерпте». — См.: «Журнал министерства народного просвещения», 1839 г., ч. XXI, отд. I, стр. 56).

[18] ЦГИА в Ленинграде, ф. 772, оп. 4, ед. хр. 148647, дело канцелярии министра народного просвещения по главному управлению цензуры «По отношению Дерптского цензурного комитета о сочинении доктора Гука . . .», л. л. 1—4. В «Обзоре деятельности имп. Дерптского университета» (Дерпт, 1866, стр. 6—7) дана следующая биографическая справка о Гуке: «После Эшшольца кафедра анатомии была замещена доктором А. Гуком из Ревеля, заведывавшим ею до преждевременной кончины своей в 1842 г. Заслуга его состоит в том, что он в занятии студентов за секционным столом ввел методический порядок и тем споспешествовал практическому преподаванию анатомии. Свою ревность к науке он доказал изданием учебника анатомии, который в свое время был в большом употреблении. Кроме этого учебника, заслуживают упоминания и самостоятельные его исследования, именно его изыскание об устройстве глаза. Собрание анатомических препаратов значительно обогащено им». О Гуке см. также: «Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за 100 лет его существования (1802—1902)». Под ред. Г. В. Левицкого, Юрьев, 1902.

[19] ЦГИА в Ленинграде, дело канцелярии министра просвещения по главному управлению цензуры «По отношению графа Орлова по высоч. повелению — об учреждении особого комитета для рассмотрения действий цензуры и о наблюдении за духом и направлением журналов и газет», 1848.

[20] Там же, ф. 772, оп. 4, ед. хр. 149266, л. 3.

[21] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 52, оп. I, ед. хр. 428, циркуляры и распоряжения попечителя Дерптского учебного округа, эстляндского гражданского губернатора и Рижского цензурного комитета руководящего характера, л. л. 26—27.

[22] Там же, ф. 321, оп. 1, ед. хр. 316, дело дерптского отдельного цензора, л. 20.

[23] Подробно об этих работах см.: Я. Зутис «Очерки по историографии Латвии», ч. I — прибалтийско-немецкая историография, Лат. гос. издат., Рига, 1949.

[24] Э. Э. Вильде «Пророк Малтсвет», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 354.

[25] «Северная пчела», № 257, 13 ноября 1846, стр. 1026.

[26] Там же, №188, 23 августа 1848 г., стр. 752.

[27] Там же, № 141, 24 июня 1847 г., стр. 563—564.

[28] «Журнал министерства государственных имуществ», 1845, ч. 19, стр. 61.

[29] 1843, т. 7, отд. «Смесь», стр. 31—33.

[30] «Поездка в Ревель и Гельсингфорс в 1839 году», с примечаниями для посещающих эти города и с историч. обозрением древностей Ревеля, СПб, 1840.

[31] «Отечественные записки», 1840, т. 8, отдел «Библиографическая хроника», стр. 85.

[32] т. 3-й «Свода местных узаконений губерний остзейских» вышел в 1864 г.

[33] «Сочинения Фаддея Булгарина», ч. 3, 1836, СПб, стр. 380—381.

[34] «Путевые заметки» Д. Мацкевича, Киев, 1856, стр. 55, 57.

[35] «Поездка в остзейские губернии» В. Беккера, М., 1852, стр. 37.

[36] «Отечественные записки», 1852, июль, отдел «Библиографическая хроника», стр. 67.

[37] «Современник», 1852, т. 34, отд. IV, стр. 51.

[38] ЦГИА в Ленинграде, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 305, канцелярия министра народного просвещения, секретная переписка, л. 29.

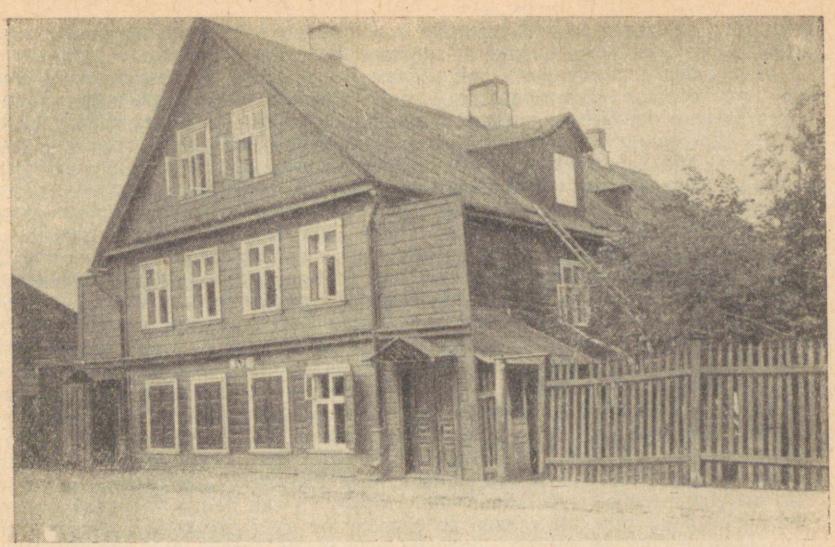
[39] В фундаментальной библиотеке Тартуского государственного университета имеются комплекты «Отечественных записок» и «Московского телеграфа» со статьями В. Г. Белинского.

[40] Так, например, приходившие в Тарту «Отечественные записки» содержали в 1848 году повесть М. Е. Салтыкова-Щедрина «Запутанное дело», в которой, как гласило предъявленное писателю официальное обвинение, «оказалось вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших уже всю Западную Европу» (см.: С. Макашин «Литературные взаимоотношения России и Франции XVIII—XIX в.в.» — «Литературное наследство», т. 29—30, М., 1937, стр. XLI).

Имя М. Е. Салтыкова-Щедрина, его творчество всегда были дороги многим тартуским студентам. Об этом рассказывает интереснейший документ, хранящийся в архиве его дочери, в Институте русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). Приводим его целиком вместе с приложенным к нему сопроводительным письмом.

«Весною или в начале лета 1888 г., спустя немного времени после исполнившегося дня сорокалетнего юбилея литературной деятельности незабвенного и великого сатирика русского Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, — писал редактору «Русской старины» М. М. Лисицын, — русская часть дерптского студенчества (разумея под словом «русская» всех студентов, воспитавшихся на произведениях русской литературы и относившихся не безучастно к судьбам ея) была сильно озабочена вопросом, чем и как выразить свое уважение и сочувствие великому писателю в день его юбилея. Пользуясь правом собрания в дозволенных начальством обществах, студенты несколько раз собирались на общие совещания по этому поводу, судили-рядили и пришли, наконец, к заключению — послать Михаилу Евграфовичу адрес, в выражениях по возможности близко характеризующих чувства и взгляды студентов-подносителей на юбиляра.

Было предложено по этому случаю составить проекты такого рода адресов и представить на обсуждение следующей студенческой сходки. Через несколько дней три или четыре таких проекта было представлено на собрание, но ни один из них не удовлетворил слушателей. Тогда некоторая часть товарищей обратилась ко мне с предложением написать также проект адреса. Я написал и мой проект, после маленьких поправок, был удостоен одобрений товарищей и, пройдя чрез обсуждение на частной и общей сходках студентов (считаю необходимым заметить, что студенчество считало почему-то, что начальство воспротивится поднесению адреса, а потому все дело велось не гласно), был подписан и послан с одним частным



Тарту. Дом на Гороховой улице, где собиралось Общество русских студентов.
Фото конца XIX столетия.
Из альбома И. И. Змигродского.
Этнографический музей Академии наук Эстонской ССР, Тарту.

лицом в Петербург, в редакцию журнала «Вестник Европы» для передачи Михаилу Евграфовичу Салтыкову. Но засим мы, потеряв из виду лицо отвозящее адрес в Петербург, не имели никаких известий о нашем адресе и нам крайне было бы желательно знать дошел ли наш адрес по назначению?!» (ф. 366, оп. 6, ед. хр. 60, л. л. 1—2).

Далее следует коллективное письмо студентов Тартуского университета к М. Е. Салтыкову-Щедрину:

«Глубокоуважаемый Михаил Евграфович!

Исполнилось 40 лет Вашей многотрудной литературно-общественной деятельности. Не решаясь брать на себя непосильную, крайне трудную и глубокую по своему значению, задачу — характеризовать, хотя в общих чертах, Вашу многолетнюю и глубоко плодотворную деятельность на пользу родимой стороны, мы, русские студенты Дерптского университета и ветеринарного института, тем не менее не можем, по случаю исполнившегося 40-летия литературного служения Вашего своему благотворному делу, не откликнуться и не поблагодарить того, кто так много и долго внушал всему русскому обществу великое и жизнь освежающее чувство добра и правды, кто неустанно будил общественную мысль и совесть, кто не переставал беспощадно и метко бичевать, как общечеловеческие, так и чисто русские пороки, и кто, наконец, указывая на бессилие и бесправие личности, не уставал бесстрашно и энергично восставать против всего строя нашей современной политической и общественной жизни и всех современных условий развития и деятельности личности. Сорок лет, дорогой учитель, — долгий промежуток времени. В него успело смениться несколько поколений, возникнуть и пасть много благих начинаний, пройти

несколько периодов то возбуждения и подъема русских общественных сил и духа, то крайнего упадка и приниженности. И вы были живым и не безмолвно равнодушным свидетелем всего этого. Окидывая взглядом это наше сорокалетнее прошлое с его особенностями и деталями, становится вполне понятным, как велико и благотворно было значение такого дела общественного служения, как Ваше и такого могучего орудия, каким обладаете Вы. Следуя своему внутреннему призванию, Вы заняли важный и ответственный пост сатирика-обличителя язв современного русского общества. Вы, неизменный и несокрушимый борец за человеческие права и свободу, ни разу до сей поры не сошли с этого поста, ни разу не отступили ни на шаг от своих требований и запросов от жизни. Сатира Ваша разрасталась, охватывала все больший и больший круг предметов, не оставляя без внимания ни явлений нашей экономической жизни, ни общественной, ни, наконец, политической. Вы освещали все закоулки русской жизни. Вы отмечали все недуги и язвы ея, смеясь тем смехом, под которым «кроются невидимые миру слезы». И этот благотворный смех сослужил великую памятную службу родине: все лицемерное, фальшивое и безобразное нашей жизни спешило прятаться, стыдилось и боялось появляться на свет божий во всей наготе своей... Так, стоя вместе с другими борцами на страже интересов русского общества, дожили Вы до наших дней, достигнув всеми признанного значения передового бойца и светоча современной русской мысли. Но служа так долго на своем посту, Вы, дорогой учитель, не только не отстали от духа времени, не только не неуловили его потребностей, запросов и злоб, но всегда шли впереди его. Вы, Михаил Евграфович, и мы — современная русская молодёжь, — люди разных поколений, но мы не только понимали Вас всегда, мы шли за Вами, мы жадно ловили Ваши боевые речи, мы чутко прислушивались к Вашему дорогому для нас голосу. Вы — наш вождь, наш носитель лучших стремлений и идеалов, наш сборный пункт... Это не пустые фразы, а самою жизнью подтвержденный и доказанный факт. Вы наш вождь, потому что принадлежа по своему великому благородному сердцу и уму к тем немногим, которые уходят «от ликующих, праздно болтающих, омывающих руки в крови» в «стан погибающих за великое дело любви», Вы были с нами и впереди нас в самые трудные годины испытаний, и в момент высшего развития стремлений уходить в этот «стан погибающих»... Ваш голос разделил все мало мальски мыслящее на две резко различающиеся половины, и под Ваше великое честное знамя стало все молодое, горячее и искренне ищущее правды и света. Учитель наших учителей, Вы подготовили к жизни и борьбе несколько поколений вожаков общества и ряды немногих, но бодрых и крепких духом молодых боевых дружин. Вы, наконец, как добрый пахарь, без устали бросая в русскую почву семена «разумного, доброго, вечного», безостановочно будили общество от умственной спячки, ратовали против бессилия личности и, мужественно указывая на тяжёлый гнет политический, бесстрашно гражданскии говорили русскому обществу: «встань — проснись, подымись — на себя погляди!» Пусть же теперь, после этих многотрудных 40 лет общественного служения, Вы и Вам преданные с законною гордостью бодро и спокойно оглянете пройденный Вами тернистый путь. Пусть сознание, что за Вами и вокруг Вас, святой старик, стоят молодые русские силы, жаждущие дела, что в ответ Вашему благородному сердцу бьются сердца всей русской молодёжи — осветит Ваш путь и подкрепит Ваши силы. Мы, частица русской молодежи, заброшенная сюда на чужбину, шлем Вам свой горячий привет, свою дань глубокого уважения и благодарности за все, что сделали Вы для русского общества, для нас и для нашего воспитания в особенности. Мы приветствуем Вас теперь, как испытанного, закаленного вождя, как свою несокрушимую твердыню, вокруг которой возможно со-

браться дружной толпой и устоять в борьбе. Живите же долго, дорогой учитель и вождь, и ведите нас и русское общество по тому пути, по которому вели 40 лет.

(Следует около ста подписей)» (см. там же, л. л. 3—4).

«Русская старина», куда был переслан этот адрес, не рискнула его опубликовать и отделалась обещанием поместить письмо «при удобном случае». Но этот «удобный случай» так и не представился.

Творческое наследие М. Е. Салтыкова-Щедрина использовалось передовыми слоями тартуского студенчества в борьбе против полицейской реакции, против помещичье — монархического строя и его носителей. В этом отношении показательна одна из многочисленных нелегальных листовок, написанных в Тарту и распространявшихся в дни студенческих волнений 1901 года. Призывая к решительным действиям, клеймя ту часть студенчества, которая устранилась от общественного движения, авторы воззвания писали:

«Помните, есть у Щедрина обыватель, взимавший
за укоры его в неимении христианск. правил . . . . . 20 к.
тоже, с упоминовением о родителях . . . . . 25 к.
за битье по физиономии рукой . . . . . 2 р.
тоже сапогом . . . . . 3 р.

То будет и с нами, — предостерегала листовка, — только наша такса будет иная.

За продажу товарищей . . . . . похвала начальства;
За битье по лицу нагайкой . . . . . универ. диплом;
За сидение в своей норе и вечное дрожание на подобие премудрого пискаря . . . . . свидетельство о благонадежности от полиции.

Нет, товарищи! Оставим эту «логику»...» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 151, ед. хр. 190593, дело департамента народного просвещения «О беспорядках в 1899—1900 гг.», л. 6).

[41] Н. А. Некрасов приезжал в Таллин в июле 1846 г. для переговоров с Масальским о приобретении у него права на издание журнала «Сын отечества». Указание на пребывание поэта в Эстонии см.: Н. С. Ашукин «Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова», Academia, 1935, стр. 68, а также в письме Ф. М. Достоевского к брату (Ф. М. Достоевский, Письма, т. I, 1832—1867, Гос. издат., М.—Л., 1928, стр. 93).

[42] К 40-м годам относится издание в Берлине на немецком языке «Мцыри» и «Героя нашего времени». Переводчик этих произведений — уроженец Прибалтики — Р. Б. Беннингаузен, окончивший Тартуский университет, предпослал «Мцыри» посвящение, адресованное барону Борису Икскулю. В нем он назвал Икскуля другом Лермонтова. Где и когда произошла встреча эстляндского дворянина и русского поэта — неизвестно. Если судить по некрологу Икскуля в газете «Revaler Beobachter» (24 ноября 1884, № 276), он, несмотря на принадлежность к остзейской знати, был личностью прогрессивной и добивался улучшения положения крестьян (см.: «Литературное наследство», т. 58, стр. 477—480). После 40-х годов Икскуль жил неподалеку от Таллина и если он действительно являлся другом Лермонтова, не мог оставаться равнодушным к его творчеству. В архиве П. А. Вяземского (Центральный государственный литературный архив, ф. 195, ед. хр. 1959) имеются письма Б. Икскуля, свидетельствующие об его интересе к литературе.

В последующие десятилетия в Эстонии хранился ряд рукописных материалов, связанных с именем Лермонтова. В 60-х годах живший тогда в Тарту В. А. Соллогуб приглашал к себе писателя и музыкального деятеля В. Ф. Одоевского, обещая ему: «Если ты приедешь, я подарю тебе разные автографы. Между прочим, мои стихи, поправленные рукою Лермонтова» (см.: архив Одоевского в Государственной публичной библио-

теке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Поступление 1869 г., оп. 2, ед. хр. 1009).

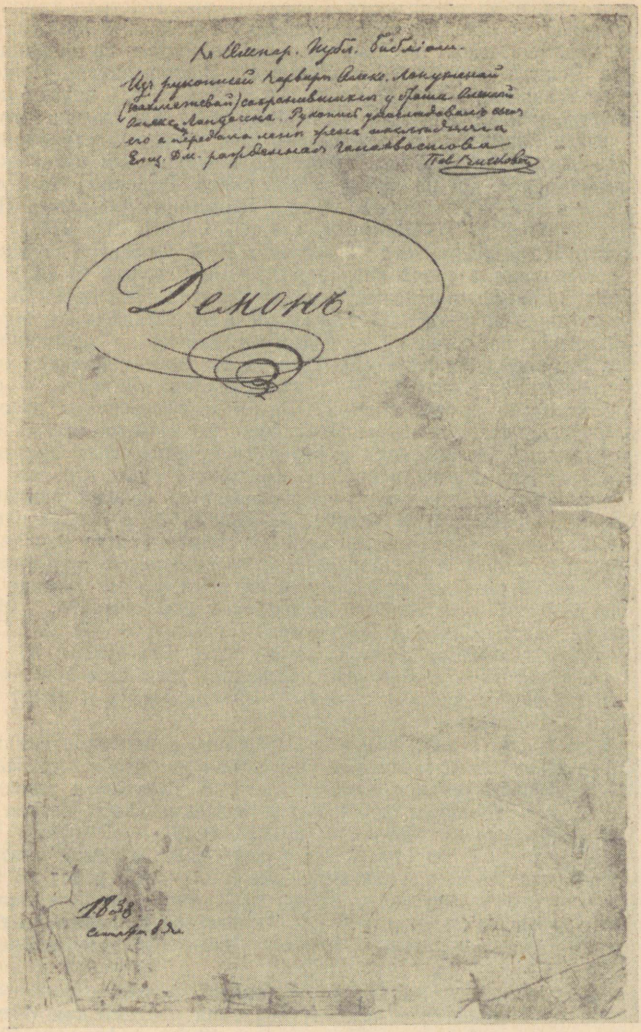
В 70—90-х гг. многое для популяризации в Эстонии творчества Лермонтова сделал, связанный с рядом деятелей эстонского общественно-демократического движения (в частности с К. Р. Якобсоном), профессор русского языка и литературы Тартуского университета П. А. Висковатов, в течение двадцати с лишним лет (1873—1895 г.) читавший тартуским студентам лекционные курсы: «Новая русская литература с Петра Великого», «Русские прозаики и поэты XIX века», «История славянских литератур», «История русской литературы XVIII века», «История и литература Болгарии», «История древней русской литературы и народной поэзии», «История русской литературы с Жуковского», «Русские поэты и прозаики с Кантемира», «Русский народный эпос» и другие. Все эти годы Висковатов изучал жизнь и творчество Лермонтова; разыскивал и публиковал неизвестные до той поры произведения великого поэта. Отрывки из обширного исследования тартуского профессора дала таллинская газета «Колывань» (1891, №№ 152—153).

Живя в Тарту, Висковатов подготовил первое полное собрание сочинений Лермонтова (издано в шести томах в Москве в 1889—91 гг.). В него вошли все известные к тому времени произведения поэта. Ряд текстов — десятки юношеских стихов, писем, стихотворение «Прощай, немытая Россия» и др. публиковался впервые. Об этом издании Висковатов писал поэту Я. Полонскому из Тарту: «Что касается моего издания, то самому судить о нем трудно... Значение его в историко-литературных и биографических примечаниях, в определении времени и поводов появления того или другого сочинения...» (Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), письмо П. А. Висковатова к Я. П. Полонскому, 1891). Последний — шестой — том собрания сочинений был целиком заполнен написанной Висковатовым в Тарту на основе собственных разысканий биографией Лермонтова.

Ряд лермонтовских рукописей Висковатов переслал из Тарту в Петербургскую публичную библиотеку. Один из списков поэмы «Демон», сделанный в 1842 г., принадлежал Змигродской, рожд. Мочульской, от сына которой — тартуского театрального и общественного деятеля И. И. Змигродского и был передан в подарок П. А. Висковатову. Писарская рукопись «Демона» 1838 года со вставками, поправками, примечаниями и посвящением самого Лермонтова была подарена поэтом В. А. Бахметевой. К тартускому профессору она попала от снохи приятеля Лермонтова — А. А. Лопухина и также была переслана ученым в публичную библиотеку (см.: «Отчет имп. публичной библиотеки за 1892 год», СПб, 1895, стр. 293—294).

О первом биографе М. Ю. Лермонтова — профессоре Тартуского университета П. А. Висковатове см.: Е. В. Петухов «Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском (Дерптском) университете», 1900; Е. И. Рыскин «Основные издания сочинений русских писателей. XIX век» (2 изд.), М., 1948; С. А. Венгеров «Источники словаря русских писателей», т. 1, СПб, 1900; М. М. Лисицын «Десять лет в Прибалтийском крае» — «Русская старина», 1904, № 12; Б. Правдин «Русская филология в Тартуском университете» — «Учёные записки Тартуского государственного университета. Труды историко-филологического факультета», вып. 35, 1954.

[43] В Тарту о Гоголе знали уже в начале тридцатых годов прошлого столетия. Здесь учился школьный товарищ великого художника — П. Г. Редкин. Он приехал в Тарту в 1828 году, в одно время с Н. И. Пироговым, А. М. Филомафитским, Ф. П. Иноземцевым, С. С. Куторгой, А. П. Загорским и другими выдающимися воспитанниками профессорского института Тартуского университета. Всего лишь два года отделяло его от тех дней,



Автограф М. Ю. Лермонтова, 1838.
Заглавный лист поэмы «Демон» с дарственной надписью профессора Тартуского университета П. А. Висковатова.
Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

когда вместе с Гоголем, в одном из классов нежинской гимназии, Редкин выпускал рукописные журналы.

Живя в Тарту, одаренный юноша, ставший впоследствии крупным юристом и педагогом, не порывал своей дружбы с Гоголем. В 1834 году, вскоре после того, как профессорские воспитанники вернулись из заграничной командировки, Редкин встретился с Николаем Васильевичем. «Рекомендую тебе доброго товарища моего Редкина, — писал Гоголь спустя некоторое время публицисту и историку М. П. Погодину. — Он только что возвратился из чужих краев, куда был послан для усовершенствования своего учения с тем, чтобы занять профессорскую кафедру. Он очень жаждет с тобою познакомиться. Он по юридической части. Впрочем, ты можешь от него узнать и о состоянии прочих наук в Германии» («Письма Н. В. Гоголя», под редакцией В. И. Шенрока, т. I, СПб, 1901, стр. 314).

Другой питомец университета — писатель В. А. Соллогуб оставил любопытные воспоминания о своей первой встрече с Гоголем. В 1831 году, во время летних каникул, тартуский студент посетил Павловск. В небольшой, довольно низенькой комнате, где ютились приживалки его богатой бабушки, Соллогуба представили молодому человеку — домашнему учителю кн. А. П. Васильчиковой. «Он был бедно одет и казался очень застенчив, — вспоминал Соллогуб, — я приосанился. «Читайте, — сказал я несколько свысока: — я сам «пишу»... и очень интересуюсь русской словесностью, пожалуйста, читайте». Ввек мне не забыть выражения его лица! Какой тонкий ум сказался в его чуть прищуренных глазах, какая язвительная усмешка скривила на миг его тонкие губы. Он все так же скромно подвинулся к столу, не спеша развернул своими длинными худыми руками рукопись и стал читать. Я развалился в кресле и стал его слушать... С первых слов я отделился от спинки своего кресла, очарованный и пристыженный, и слушал жадно; несколько раз порывался я его остановить, сказать ему, до чего он поразил меня, но он холодно вскидывал на меня глазами и неуклонно продолжал свое чтение... Молодого этого человека звали Николай Васильевич Гоголь...» (В. А. Соллогуб «Воспоминания», Academia, М.—Л., 1931, стр. 271—272). К моменту встречи В. А. Соллогуба с Гоголем, последним уже был завершен цикл искрившихся народным юмором повестей, объединенных в книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Несмотря на препятствия, чинимые баронами, а впоследствии и эстонскими буржуазными националистами, в Эстонии из года в год все громче и неумолимее звучало гневное слово Гоголя. В Тартуском университете, в 1858—59 гг., уже ставились целиком и в отрывках пьесы Гоголя. В 1866 и 1871 гг. в Тарту шел «Ревизор», а в 1873 году — «Ревизор» и «Женитьба», в которых помимо студентов, участвовали местные учителя. По свидетельству современника, спектакли имели большой успех. В феврале 1880 года преподаватель русского языка Буйский вновь поставил «Ревизора». Спустя два года профессор П. А. Висковатов возобновил этот спектакль, поручив основные роли студентам университета и ветеринарного института.

Перелистывая комплекты старых газет, можно увидеть короткие сообщения, рецензии, объявления и о других тартуских постановках «Ревизора». Комедия Гоголя шла в Тарту в 1890 г., осенью 1900 г, в феврале 1902 г... Ее показывали жителям города не только любители драматического искусства, но и петербургские артисты.

В Тарту проявлялся глубочайший интерес и к другим произведениям великого писателя. За один лишь 1887 год в университетском городке почти одновременно были изданы три книги Гоголя: «Тарас Бульба», «Ревизор» и предназначенные для классного чтения отрывки из «Мертвых душ».



Зал „Ванемуйне".

Пятница 30-го декабря 1916 г.

III и послѣдній гастрольный спектакль

Труппы драматич. артистовъ Петроградскихъ и Московскихъ театровъ подъ управленіемъ и режиссерствомъ

А. И. ЗВѢЗДИЧЪ.

Представлено будетъ:

„Мертвыя души".

(Часть первая).

Сцены въ 5-ти карт. перереб. изъ поэмы Н. В. Гоголя А. Потѣхинымъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Павелъ Ивановичъ Чичиковъ . . . г. Р. Ф. Рощинъ.
Маниловъ, богатый помѣщикъ . . г. Н. М. Шульгинъ.
Манилова, его жена . . . . . г. Вельская.
Настасья Петровна Коробочка, помѣщица . . . . . г. Л. Ф. Салмина.
Собакевичъ . . . . . г. А. И. Звѣздичъ.
Федулія Ивановна, его жена . . . г. Снѣгурская.
Плюшкинъ, помѣщикъ . . . . . г. Е. И. Терченко.
Ноздревъ, помѣщикъ . . . . . г. Шульгинъ.
Мавра, ключница . . . . . г. Агринская.
Прошка, мальчикъ . . . . . г. Шадрина.

Карт. 1-ая: У Манилова. — Карт. 2-ая: У Коробочки.
Карт. 3-ья: У Собакевича. — Карт. 4-ая: У Плюшкина.
Карт. 5-ая: У Ноздрева.

Начало ровно въ 8½ часовъ вечера.

Администраторъ: Е. И. Терченко.
Гл. режиссеръ: А. И. Звѣздичъ.

Печатать разрѣшается полиціею. 4774 Тип. „Пестинесъ", Юрьевъ.

Афиша спектакля «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю.

Из коллекции И. И. Змигродского. Фундаментальная библиотека Тартуского государственного университета.

Глубоко знаменателен следующий факт, извлеченный из отчета министра народного просвещения «О состоянии высших учебных заведений...» (март 1902 г.): «... Согласно полученному мною донесению, 21 февраля в переполненном публикою зале имп. Юрьевского университета, около 5 час. пополудни, непосредственно после окончания торжественного заседания в память Гоголя, как только сошел с кафедры последний оратор и публика

начала расходиться, студенты запели хором Марсельезу. Пение это продолжалось более 1/4 часа и прерывалось возгласами «да здравствует свобода!», «свободная литература», «конституция» и т. п., причем в публику бросались прокламации. После этого демонстранты, среди которых кроме студентов университета и Юрьевского ветеринарного института было много других лиц, оставили университет и, выйдя на улицу, продолжали пение Марсельезы и революционных песен» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 151, ед. хр. 193312а, дело департамента народного просвещения «О беспорядках среди студентов высших учебных заведений», л. 27. Об этом см. также: ЦГИА Эстонской ССР, ф. 296, 1902 г., ед. хр. 18. В деле приводятся: запрос начальника дерптской полиции к губернатору о помощи, документы о прибытии из Риги полсотни полицейских, об обысках и массовых арестах. Материалы этого же дела подтверждают, что у членов студенческих нелегальных кружков полицией были обнаружены, в частности, номера ленинской «Искры», произведения М. Горького и Короленко, тексты революционных песен).

Об отношении прогрессивной интеллигенции Эстонии к наследию Гоголя говорило также приветствие москвичам, посланное 17 апреля 1909 г. Советом Тартуского университета. В этом адресе, написанном в связи с открытием памятника великому писателю, сообщалось, что профессора и студенты, «принося своё горячее приветствие светлому празднику русского слова, посвящённому Гоголю, проникнуты были глубоким удивлением перед этим великим носителем национального гения русского народа» (ЦГИА Эстонской ССР, ф. 402, оп. 4, ед. хр. 1282, дело «Празднование пятидесятилетия со дня кончины Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского», л. 43). В посланном тогда же приветствии Юрьевских высших женских курсов Гоголь назывался «великим испытателем человеческой природы, несравненным художником, острым и тонким обличителем тёмных сторон русской действительности» (см.: «Гоголевские дни в Москве», изд. общества любителей Российской словесности, стр. 285). 19 марта 1909 г. в Таллине состоялось объединенное собрание членов местного литературного кружка и педагогического общества, посвященное 100-летию со дня рождения Гоголя. На нем были прочитаны доклады о его жизни и творчестве, о его великом вкладе в русскую литературу (см.: «Отчёт о деятельности литературного кружка в г. Ревеле за 1908—9 гг.», год XI-й, Ревель, 1909, стр. 8).

Произведения Гоголя на эстонском языке впервые зазвучали в Тарту. В 1880 г. там был опубликован перевод его повести «Сорочинская ярмарка». В том же году на эстонском языке вышли «Тарас Бульба» и «Ночь перед рождеством», а вскоре — «Ревизор» и «Мертвые души». «Мы выступим, — сообщала в 1883 году газета «Олевик», — со знаменитой русской пьесой... В русской литературе много сокровищ, ждущих перевода на эстонский язык». Эта же газета писала в одном из последующих номеров: «Наши читатели любят комедии Гоголя, и мы хотим в дальнейшем предоставить им возможно больше из духовной сокровищницы России».

«Пушкин, Лермонтов и Гоголь, — говорилось в университетских «Ученых записках», — могут быть названы любимцами ... эстонского народа». Факты подтверждают справедливость этих слов. Интерес к произведениям Гоголя у эстонского читателя был настолько велик, что одна из тартуских газет в конце прошлого столетия опубликовала на эстонском языке две его повести — «Нос» и «Шинель».

Эстонские буржуазные националисты ненавидели глубокое сатирическое творчество Гоголя. Когда в 90-х годах прошлого века в Тарту была сделана попытка осуществить постановку переведенного на эстонский язык «Ревизора», они не допустили осуществления этого спектакля. Однако прошло несколько лет и 1 октября 1895 года на эстонской сцене по-

казана была другая комедия Гоголя — «Женитьба». Она имела огромный успех. Театральный зал не мог вместить всех, стремившихся попасть на постановку пьесы великого русского драматурга.

Об истории постановок пьес Гоголя в Эстонии см.: И. И. Змигродский «Гоголь на сценах Юрьева Лифляндской губ.» («Сборник учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете», т. VI, 1903); Л. Кригул «Н. В. Гоголь и эстонский театр» (газ. «Советская Эстония», 21 февраля 1952, № 44).

[44] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 8811, дело «О запрещенных книгах, продаваемых в дерптских книжных лавках», л. 1. В различных архивохранилищах имеются материалы, свидетельствующие о постоянном надзоре полицейских органов за книжными лавками в Эстонии. Приводим некоторые из этих документов.

12 июля 1849 г. из Дерптского цензурного комитета в министерство народного просвещения было отправлено секретное донесение: «Комиссия, состоящая из корпуса жандармов полковника Васильева, чиновника министерства внутренних дел коллежского ассессора Сорокина и чиновника особых поручений при генерал-губернаторе остзейских губерний коллежского ассессора Шмидта, прибыла в город Дерпт 8-го сего июля для осмотра книжных лавок и обратилась в Дерптский цензурный комитет с просьбою отрядить в комиссию одного цензора для разбора запрещенных книг, ежели окажутся; вследствие чего отряжен мною цензор коллежский советник профессор фон Самсон...» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 772, оп. 4, ед. хр. 149482, секретное дело «По представлению Дерптского цензурного комитета об осмотре книжных лавок в г. Дерпте», л. 1).

6 марта 1869 г. ревельский полицмейстер представил эстляндскому губернатору рапорт об учиненной им «в здешних книжных магазинах поверке» для обнаружения крамольных сочинений. «Не премину иметь постоянное наблюдение, — заверял он, — чтобы таковые сочинения не продавались» (ЦГИА Эстонской ССР, ф. 29 — канцелярия эстляндского губернатора, оп. 2, ед. хр. 8 — «Циркуляры и переписка с министерством внутренних дел, главным управлением по делам печати и др. о цензировании печати», л. 16).

16 января 1870 г. эстляндский губернатор предписал состоявшему при нем старшему чиновнику особых поручений «иметь надзор за библиотеками, типографиями, литографиями и т. п. заведениями в Эстляндской губернии» (там же, л. 24в).

[45] ЦГИА в Ленинграде, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 97, дело канцелярии министра народного просвещения «Об открытом между студентами Дерптского университета тайном обществе», л. 135 об.

[46] Там же, л. 120.

[47] Там же, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 138, дело канцелярии министра народного просвещения «По отношению виленского военного губернатора с препровождением выписки из показаний о существовании в Дерпте демократического общества», л. 2.

[48] Там же, ф. 733, оп. 88, ед. хр. 28, общее дело департамента народного просвещения «По циркуляру об усугублении надзора по воспитанию в учебных заведениях», л. 3 об.

[49] Там же, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 202, дело канцелярии министра народного просвещения «О показании содержащегося в Вильне под арестом дворянина Величко будто студенты Дерптского университета ведут переписку с Парижем в возмутительном духе», л. 4.

[50] Там же, ф. 733, оп. 88, ед. хр. 28, общее дело департамента народного просвещения «По циркуляру об усугублении надзора по воспитанию в учебных заведениях», л. 5.

[51] Там же, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 202, дело канцелярии министра на-

родного просвещения «О показании содержащегося в Вильне под арестом дворянина Величко будто студенты Дерптского университета ведут переписку с Парижем в возмутительном духе», л. л. 1, 2, 4.

[52] Там же, ф. 772, оп. 4, ед. хр. 149393, дело канцелярии министра народного просвещения по главному управлению цензуры «По отношению действительного тайного советника Бутурлина о листке, напечатанном в Дерпте, продававшемся при входе в залу концерта, данного девицею Софьею Борер», л. 1.

[53] Там же, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 212, дело канцелярии министра народного просвещения «О произнесенных студентом Дерптского университета Тилингом, при прогулке в Иванов день на пароходе по реке Эмбаху, словах: «Vive la republique» и о удалении его за это из университета», л. 3.

[54] Д. Мацкевич «Дерпт летом 1848 года». — См.: «Иллюстрация», 1848, № 37, стр. 204.

[55] «Русское слово», 1859, № 4, отд. «Смесь», стр. 78.

[56] ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 90, ед. хр. 114, дело департамента народного просвещения «Об усилении надзора по воспитанию в учебных заведениях», л. л. 1—2.

[57] Там же, ф. 733, оп. 88, ед. хр. 34, «Дело департамента народного просвещения с копиями инструкций и секретных наставлений о духе и направлении преподавания в университетах, лицеях и главном педагогическом институте», стр. 13 об., 14.

[58] Там же, ф. 733, оп. 90, ед. хр. 140, дело департамента народного просвещения «Об ограничении преподавания философии логикою и психологиею, о возложении чтения сих предметов на профессоров богословия», л. 46—46 об.

[59] Там же, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 255.

[60] Там же, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 254.

[61] Там же, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 255, л. 4. В этом архивном деле, также как и в указанном выше деле Виктора Гена, говорится о связи обоих с жившей долгое время в Тарту баронессой Брюнинг (рожд. Ливен), выехавшей из России за границу и сблизившейся там с демократическими кругами Германии. С Брюнинг в 1852 г. встречался А. И. Герцен (см. об этом письма А. И. Герцена к М. К. Рейхель — «Литературное наследство», т. 61, Герцен и Огарёв, I, изд. Академии наук СССР, М., 1953, стр. 358—359).

[62] «Дело петрашевцев», т. III, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1951, стр. 199.

[63] Там же, стр. 272.

[64] Там же, т. II, стр. 187.

[65] Там же, т. I, стр. 345.

[66] Там же, т. II, стр. 195—196.

[67] См. в ЦГИА Эстонской ССР дело управления рижского военного и лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора «По просьбе коллежского советника Булгарина о исследовании происшествия и насилии дерптских граждан на мызе его Карлове», 1848 г. В этом деле находится письмо Булгарина губернатору с жалобой на жителей города и с требованием наказать его обидчиков.

[68] См.: А. С. Нифонтов «Россия в 1848 году», Учпедгиз, 1949, стр. 130 (ср.: Архив III отделения, 1-я экспедиция, 1848, д. 51, ч. 4, л. 99). Нифонтов извлек из архива несколько тартуских донесений Булгарина в III отделение. См. там же рапорт Булгарина (стр. 280—281) о реакции жителей Тарту на решение правительственных органов о сокращении в университете числа студентов.

[69] См.: там же, стр. 104 (ср.: архив III отделения, 1-я экспедиция, 1848, д. 51, ч. 4, л. 11).

[70] См.: там же, стр. 30 (ср.: архив III отделения, 1-я экспедиция, д. 51, ч. 4, л. л. 59 об. — 60).

[71] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 13358, дело управления рижского военного и лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора по общей канцелярии «О командировании пехотного полка в Эстляндскую губернию на случай имеющего случиться волнения крестьян», л. 2.

[72] Там же, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 13227, дело управления рижского военного и лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора по общей канцелярии «О происшествиях по ведомостям», л. 140.

[73] Там же, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 13358, дело управления рижского военного и лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора по общей канцелярии «О командировании пехотного полка в Эстляндскую губернию, на случай имеющего случиться волнения крестьян», л. л. 2—3.

[74] «Финский вестник», т. XXIV, № 12, 1847, раздел II, стр. 17.

[75] «Журнал министерства просвещения», ч. 58, 1848, отд. VI, стр. 110.

[76] Ф. Р. Крейцвальд, Избранные письма, Эст. гос. издат, Таллин, 1953, стр. 62.

[77] К. Маркс и Ф. Энгельс «Избранные письма», ОГИЗ, 1948, стр. 233.

[78] А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. III, стр. 314.

[79] См.: В. И. Ленин, Соч., т. 2, стр. 473.

[80] См.: Фр. Р. Крейцвальд «Старинные эстонские народные сказки», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, послесловие, стр. 289.

[81] См.: «Советская Эстония», 14 ноября 1952 г.

[82] См.: «История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней)», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 191.

[83] Архивные документы рассказывают о той борьбе, которую вели против Якобсона цензурные чиновники и жандармерия. Вслед за получением от эстонского прогрессивного деятеля программы создаваемой им газеты «Walgus» («Свет»), в ноябре 1868 г. из главного управления по делам печати отправили в III отделение конфиденциальный запрос — «не встречается ли... каких либо препятствий удовлетворению настоящего ходатайства». Вскоре в цензурное ведомство был прислан ответ: «Так как между эстонскими крестьянами обнаруживаются с некоторого времени разного рода неудовольствия и волнения, то его сиятельство (шеф жандармов. — А. Л.) изволит высказываться положительно против разрешения учреждать подобную газету в продолжении наступающего 1869 года».

Якобсон не сдавался. Получив из цензуры отказ, он подал вскоре новое прошение. «Во время бытности моей в прошлое лето в городе Дерпте, — писал Якобсон, — неоднократно обращались ко мне старшины разных крестьянских обществ Дерптского и Феллинского уездов с заявлениями о необходимости издания эстонской газеты, почерпывающей свои сведения не исключительно из немецких, но преимущественно из столичных русских газет». Он сообщал о том, что эстонские крестьяне желали иметь подробные сведения о России и русском народе.

Настойчивость Якобсона заставила цензурных чиновников призадуматься: а нельзя ли, разрешив издание новой эстонской газеты, прибрать ее к своим рукам, использовать ее для влияния на умы эстонцев с угодных правительству позиций? С этой целью предполагалось даже отдать газету Якобсона под контроль непосредственно петербургской цензуры. Уж тогда-то, рассуждали в главном управлении по делам печати, устранена будет опасность «возбуждения умов и страстей в среде читателей».

Но шеф жандармов не верил ни в «благонадежность» самого издателя, ни в возможность претворения коварного плана цензуры. На очередной запрос 5 декабря 1870 г. из III отделения последовало подробнейшее разъяснение: «... Причины, послужившие основанием несогласия на разрешение

в 1869 году издания вообще новых эстонских и латышских газет с тех пор не устранились, они существуют и в настоящее время». Главным основанием для запрещения являлось, по признанию шефа жандармов, значительное количество подписчиков на популярные эстонские периодические издания среди крестьянского населения. «Популярность эта, — сообщал он, — в большинстве случаев достигается статьями, идущими в разрез с существующим крестьянским положением в остзейском крае». Цензура же, с раздражением заявлял начальник III отделения, пропускает такие статьи, которые «написаны с целью поднять крестьян... под фирмою статей благонамеренных» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 4, ед. хр. 219, дело канцелярии главного управления по делам печати «По ходатайству Якобсона о разрешении ему издавать на эстонском языке газету «Walgus» («Свет»), л. л. 1—17).

В 1878 г., получив, наконец, разрешение, Якобсон начал издавать в Вильянди, ставшую вскоре популярной у эстонских крестьян, газету «Сакала».

[84] Рукопись находится в «Сборнике исторических бумаг XVIII и XIX вв., сообщенных М. А. Бестужевым в 1866 г.». См.: архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), фонд 604, архив бр. Бестужевых (из собрания «Русской старины»), № 1 (5567). Мы относим перевод предположительно к концу 30 — началу 40-х годов по следующим соображениям: все документы сборника переплетены в строго хронологическом порядке; рукопись же «Отрывка» помещена между копией пушкинского «На выздоровление Лукулла» (1835) и «Речью, говоренной 70-летним старцем Соловецкого монастыря Нестором 6 декабря 1846 года...»

[85] В. А. Базанов имеет в виду, почему-то, А. Бестужева, в то время, как рукопись хранится в бумагах его брата и никаких указаний на ее принадлежность Александру не имеется.

[86] В. Базанов «Очерки декабристской литературы», М., 1953, стр. 294.

[87] На русском языке книга Г. Меркеля вышла значительно позднее. См.: «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия», соч. Г. Меркеля, пер. А. Н. Шемякина («Чтения в имп. обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1870, кн. 1-я); «Гарлиб Меркель и его книга о латышах в XVIII веке» («Русский архив», 1870, № 6, стр. 1108—1023; там — отрывки из книги). Журналы, опубликовавшие русский перевод, предназначались для ограниченного круга читателей и только поэтому имели возможность дать в отрывках и целиком книгу Меркеля. Для более широкого распространения «Латыши, особливо в Ливонии...» находились под запретом и в 70-е, и в последующие годы.

В феврале 1883 г. в С.-Петербургский цензурный комитет поступило ходатайство об отдельном издании книги. Рассматривая прошение, цензор пришел к заключению, что произведение Меркеля не утратило своей обличительной силы, хотя эстонские и латышские крестьяне и обрели, будто бы, «свободную» жизнь. В связи с этим он писал: «особого издания нового перевода или издания книги Меркеля на русском языке дозволить печатать неудобно, чтобы не возбудить новых столкновений между разноплеменными элементами населения балтийских провинций» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 777, оп. 3, ед. хр. 46, дело С.-Петербургского цензурного комитета «О переводе сочинения Г. Меркеля «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия», л. 1). 23 марта того же года донесение цензора было заслушано на заседании С.-Петербургского цензурного комитета, принявшего решение: «Так как сочинение Меркеля способно к поддержанию сословной вражды между туземным сельским населением Прибалтийского края (так царские сановники называли эстонских и латышских крестьян. — А. Л.) и помещиками-немцами, и без того уже находящихся в ост-

рых отношениях, принимая при том во внимание, что высшим цензурным начальством были делаемы указания к недозволению статей, способных поддерживать такую неприязнь, комитет, согласно мнению цензирующего, не признаёт удобным появление нового издания сочинения Меркеля, и определил: к напечатанию оное не дозволять» (там же).

[88] Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 340.

[89] А. А. Нэу «Церковные сборы и повинности в Лифляндской губернии», г. Валк, 1905, стр. 25.

[90] Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). Архив бр. Бестужевых (из собрания «Русской старины»), № 1 (5567), л. л. 7—8.

[91] О Козакевиче см.: Центральный государственный архив военно-морского флота СССР, формуляры чинов морского ведомства, «Формулярный список о службе и достоинстве начальника чертежной гидрографического департамента, состоящего по флоту капитана I ранга Павла Козакевича» (ф. 406, оп. 3, ед. хр. 533); «П. В. Козакевич», биографический очерк, Кронштадт, 1882. Службу на флоте он начал в 1826 г. После окончания морского кадетского корпуса, в течение многих лет, был связан с Балтикой.

[92] Архив Географического общества СССР, разряд 49, оп. 1, № 1. В том же архиве находится и ряд других неопубликованных рукописей об Эстонии. В декабре 1848 года обществом были получены из Верроского уезда от И. Соловского заметки «Крестьянский домашний быт эстов» (см. там же, разряд 49, оп. 1, ед. хр. 15). Эти записки сообщали, в частности, о чудовищной бедности эстонского крестьянства. «Внутреннее убранство в жилищах их, — писал Соловский, — самое бедное... Рьи их закоптелые и чёрные. И в этих то рьях ничего более не находится кроме нар, сделанных из досок и укреплённых к стене, которые они к ночи покрывают соломою и на оных нарах спят. А днём на этих же нарах употребляют пищу. ...В одном рью у них помещается не одно семейство, но два или три. Здесь живут, во первых, хозяин со своим семейством, во вторых, бобыль т. е. постоялец с своею женою и детьми и в третьих работник с своим семейством. При таком множестве народа помещающегося в одном рью само собою бывает неопрятность...» (л. 2).

Значительный интерес представляет хранящаяся в архиве Географического общества обширная рукопись «Остзейский край», являющаяся, по всей вероятности, частью неизвестной нам работы. О принадлежности этой рукописи можно судить только лишь по карандашной пометке — «Статья Петрова», — сделанной, по-видимому, уже после поступления статьи в архив.

Обращаясь к историческому прошлому эстонского народа, анонимный автор (несмотря на длительные поиски, нам не удалось установить личность Петрова) дал суровую и справедливую оценку кровавым «подвигам» в Прибалтике ливонских рыцарей и духовенства. «Из самого судоустройства и администрации видно уже, — писал он, — что орден и епископы заботились об одних привилегированных сословиях, отягощая бедный народ до того, что ему негде и не у кого было найти защиты и управы против зверского произвола землевладельцев... Отчаяние угнетённого народа вызывало неоднократно вооружённые с его стороны восстания...» (разряд 49, оп. 1, ед. хр. 19, дело № А—1—32, л. 4 об.). Подчеркивая, что «воинственные эсты сильно боролись за свою самостоятельность», за облегчение своей тяжкой доли, автор коснулся в статье и борьбы эстонцев против немецкодатских захватчиков в 1222—1227 годах, и восстания эстонских крестьян в 1343—1345 годах.

От своих предков — ливонских рыцарей, утверждала рукопись, остзейские бароны унаследовали ненависть к угнетенному эстонскому народу. «... Малейший проступок крестьянина, — заявлял автор, — влёк за со-

бою наказание с переменою 10 пар пучков розог, из которых каждым пучком давалось не по три удара, как предписывалось, а били так долго, что розги измочаливались, а у наказываемого летели клочки мяса и кожи. Или подвергали провинившихся заключению по неделям и месяцам на холоду, в клетях, железах, на хлебе и воде» (л. 17).

В статье дана объективная оценка тем «благам», которые получило после «реформы» 1816 года эстонское крестьянство. «Вотчинная расправа, — говорится в анонимной рукописи, — названа волостным правлением, состав которого, как видно по смыслу, заключается, между тем, в одном лице самого землевладельца, а следовательно нисколько не подходит к понятию о правильном и законном управлении целою волостью, с интересами которой могут личные виды землевладельца, чаще всего, не сходиться. Между тем, он представляет из себя, под именем волостного правления, инстанции государственной административно-судебной власти, самопроизвольно созывая мирское общество в полном составе или один класс его, например, хозяев для предложения постановления, которое по одному большинству наличных голосов может быть принято и признаваемо правильным и подлежащим обязательному для всего общества исполнению. Тогда как старшина общества созвать его может только с согласия мнимого волостного правления, а на самом деле того же помещика. И если не получит этого согласия и вздумал бы, для надобности и выгоды общества, собрать его на совещание, то по букве закона признаётся «нарушителем спокойствия» и отсылается для взыскания в орднунгсгерихт...» (л. л. 32 об. — 33). Автор рукописи пришел к справедливому заключению: «С которой стороны не подойди, землевладелец, по букве закона отрекшийся от крепостного права на крестьян, под именем волостного правления держит всё мирское общество в такой тяжёлой опёке, при которой самостоятельная деятельность мирского управления окончательно не существует...» (л. 33).

В архиве Географического общества СССР хранятся также и другие, связанные с Эстонией, рукописные материалы: «Сведения об эстах» (1850 г., разряд 53, оп. 1, ед. хр. 79); Р. Берг «Этнографические сведения об эстах или эстонцах — коренном народе Эстляндской губернии» (1854 г., разряд 49, оп. 1, № 12); ф. Шульц «Этнография эстов» (1847 г., разряд 49, оп. 1, ед. хр. 4).

[93] К тому времени «американский образ жизни» уже подвергся критике со стороны многих виднейших деятелей русской литературы, науки, общественно-политического движения. См.: М. В. Ломоносов «Письмо о пользе стекла» (М. В. Ломоносов, Стихотворения, изд. Советский писатель, 1935, стр. 207); А. Н. Радищев — ода «Вольность» (Полн. собр. соч., 1938, т. I, стр. 1, 10), «Путешествие из Петербурга в Москву» (там же, стр. 317), А. С. Пушкин «Джон Теннер» (Полн. собр. соч., 1949, т. XII, стр. 104 и послед.); декабрист А. Беляев «Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850» (СПб, 1882, стр. 163); декабрист Д. И. Завалишин «Воспоминания о Калифорнии» («Русский вестник», 1856, кн. 11, стр. 322—368); В. Ф. Раевский «Плач негра» (В. Базанов «В. Ф. Раевский», Л.—М., 1949, стр. 177); Н. И. Тургенев «Опыт теории налогов» (изд. 3-е, М., 1937, стр. 70) и т. д. Даже выходивший в Таллине реакционнейший журнал «Радуга» опубликовал в 1832 г. (в кн. 10-й) представляющее интерес письмо некоего В. Пишера «Нравственное состояние жителей Северо-Американских Соединенных Штатов». Письмо датировано 19 июля 1831 г. и прислано из штата Огайо. Сам журнал является библиографической редкостью. В связи с этим, приводим два любопытных отрывка:

«У цветных американцев есть в Цинциннати своя церковь. Обхождение с этими несчастными ужасно... Случается, что образованнейшие амери-

канцы защищают это положение цветных; недавно еще один купец из Цинциннати сказал мне: собаку застрелить или черного, все равно. Про область Кентукки, по ту сторону Огайо, рассказывали мне, что там белый может безнаказанно заколоть черного. В Цинциннати живут они в особенной части города, и если кто отважится вступить в обращение с черным, то тотчас исключается из благородного общества...» (стр. 716).

«Приморское положение земли, множество отличных гаваней, большое число судоходных рек и каналов способствуют чрезвычайно развитию торгового духа северо-американцев. Спекуляции и торговые дела составляют главный предмет их разговоров; и политические дела занимают их только в отношении к торговле. Стремление к богатству здесь всеобщее и с этой точки зрения смотрят на все. Потому и уважение обращено единственно на богатство. Другие достоинства иногда уважаются, но не как существенные. Этот торговый дух погасил всякий стыд в большей части здешних жителей, так что без малейшего замешательства всякий высказывает здесь самые своекорыстнейшие планы и намерения свои. Всякое высшее стремление совершенно задавлено духом торговли» (стр. 718—719).

[94] П. Козакевичем написан был также ряд других работ, связанных с Эстонией: «О построении гаваней в Балтийском Порте и в Ревеле. С 3 табл. планов и приложениями писем Петра Великого и др.» (см.: «Записки Гидрографического департамента морского министерства», 1846, ч. IV, стр. 171—300); «Город Нарва с морским его рейдом и рекою Наровою», СПб, 1878 («Морской сборник», 1878, № 7, стр. 65—98 и № 8, стр. 75—122).

[95] См.: Сочинения Ю. Ф. Самарина, т. VII, М., 1889, стр. 3—160.

[96] Сочинения Ю. Ф. Самарина, т. VII, М., 1889, стр. 123.

[97] А. А. Суворов в своей губернаторской деятельности ориентировался исключительно на остзейское дворянство. Ю. Ф. Самарин в письме к М. П. Погодину передает откровенное признание этого защитника классовых интересов баронов: «Остзейцы преданы государю — к чему же более?» (Барсуков Н. «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. 10, СПб, 1896, стр. 37).

[98] Это относится не только к 40—50 годам, которым посвящен данный очерк, но и ко всем другим десятилетиям XIX в. В качестве примера укажем на обширнейшую рукопись «Политические приемы балтийских баронов и пасторов. Письмо эстам и латышам», обнаруженную нами в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Она попала туда свыше сорока лет назад вместе с другими бумагами исторического и историко-литературного содержания, принадлежавшими русскому либерально-буржуазному историку и публицисту профессору В. А. Бильбасову (см.: архив В. А. Бильбасова, ед. хр. В61). Рукопись никак не аннотирована, анонимна и является, по всей вероятности, писарской копией, подвергшейся авторской правке. Ряд данных (в частности, указания на использованные источники) позволяет говорить о том, что статья была написана в начале 70-х годов прошлого столетия.

Статья начинается с краткого исторического обзора. В нем говорится о нашествии в Прибалтику чужеземных захватчиков, о многовековой самоотверженной борьбе эстонского и латышского народов против своих поработителей. Автор с возмущением отметил кощунственные нравы потомков ливонских рыцарей — современных ему остзейских баронов, дошедших в эксплуатации прибалтийских крестьян «до той виртуозности, которой нет примеров в истории» (там же, л. 4). Он разоблачил коварство остзейских «благодетелей», всю лживость и беспочвенность тех мифических «благ», которые они, якобы, даровали латышам и эстонцам. «Они освободили вас, но без земли, — писал неизвестный автор, имея в виду «реформу» 1816—19 годов. — Забрав всю землю в свои руки, они сделали вас голышами и

обрекли вас на вечное нищенство. Что это так, явствует из слов одного барона, сказавшего в то время: «только освобождением крестьян мы окончательно завоевали край» (там же, л. 5).

С той поры, заявлял публицист, прошло более полустолетия. Свыше пятидесяти лет эстонские и латышские крестьяне формально являются свободными. Но разве в лучшую сторону изменилось за это время их положение! — восклицал автор. «Если во времена рабства, — говорилось в статье, — бароны выжимали из вас высшую сумму работы, то, по крайней мере, они обязаны были кормить вас. Теперь же, пользуясь правом неограниченно возвышать оброки, они выжимают из вас ту самую высшую сумму работы, но уже без обязательства кормить вас!» (там же, л. 5 об).

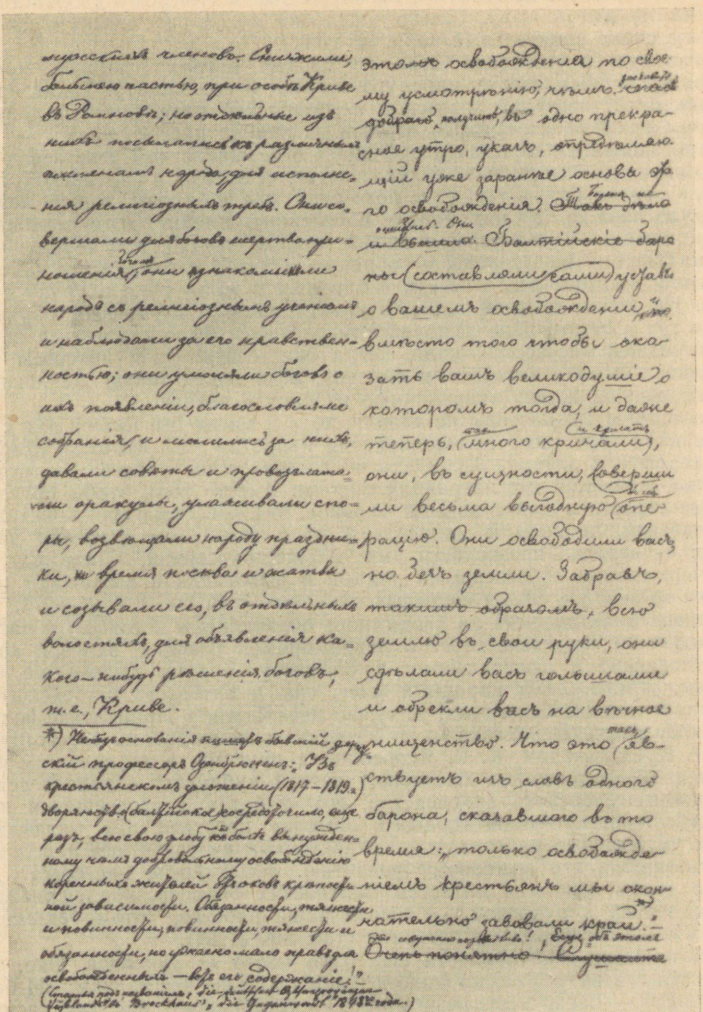
Таким образом, автор, как мы видим, не переоценивал и реформы 1849 и 1856 гг. Он осознавал, что эстонскому и латышскому крестьянину трудно найти выход из того положения, на которое его обрекли грабительские законы. Ведь барон, не опасаясь «правосудия», мог возвысить арендную плату до угодных ему размеров. Он мог и вовсе отказать крестьянину в аренде, обречь его на голодную смерть. И крестьянин, несмотря ни на что, вынужден был, поэтому, цепляться за своего «благодетеля». Ибо кругом раскинулись поля таких же немилосердных баронов, пользовавшихся такими же неограниченными правами эксплуатации крестьянских масс. Мог ли бедняк найти управу на бесчинствовавшего помещика, писал автор, если всё прибалтийское «правосудие» состояло из лиц, посаженных на судебные должности самими же баронами?

Русский публицист не видел разницы между дворянством, обосновавшимся в роскошных эстляндских усадьбах, и теми графами адлербергами и баронами мейендорфами, которые, находясь при царском дворе, небезуспешно отстаивали интересы остзейцев. И те, и другие, писал он, стремились любыми средствами сохранить за прибалтийскими помещиками и пасторами их средневековые привилегии.

В статье дана справедливая оценка той «просветительской» деятельности немецкого дворянства, которую усердно превозносили остзейские историографы. Страшась влияния на эстонцев прогрессивной русской культуры, бароны, сообщал автор, сделали коварный тактический ход. Они добились ослабления препонов для поступления эстонских юношей в Тартуский университет. Но прибалтийские дворяне меньше всего заботились при этом о благе угнетенного ими народа. Не желание просветить вас и озарить вашу жизнь согревающими лучами знания владели помыслами помещиков, писал, обращаясь к эстонцам, неизвестный автор. Они стремились лишь, утверждал публицист, «извратить здравый ваш смысл и подготовить из вашей среды для себя послушные орудия для достижения... своих целей» (там же, л. 21). Это же побудило баронов и пасторов создать лютеранские училищные семинарии, ежегодно дававшие такое количество сельских учителей и мызных писарей, какое необходимо было для идеологического растления народных масс. Стоило же только, сообщал автор, кому либо из них обнаружить свое нежелание потакать дворянству и духовенству, как он подвергался гонениям и, в конце концов, лишался места. «В особенности, — сообщала рукопись, — не церемонятся прогнанием лиц, которые обнаруживают намерение обучить крестьянских мальчиков русской грамоте» (там же, л. 23).

Автору было хорошо известно также состояние превозносимых баронами немногочисленных сельских школ. В них, заявлял он, обучают коекак грамоте, но зато — усердно лютеранскому катехизису и церковному пению. Этим ограничивалась вся учебная программа. «О преподавании в них полезных технических и земледельческих сведений, — констатировал осведомленный публицист, — и помину нет» (там же).

Бароны и пасторы стремились прибрать к рукам тех эстонцев и латы-



Страница из анонимной рукописи «Политические приёмы баронов и пасторов. Письмо эстам и латышам». Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

шей, которым, несмотря на колоссальные трудности, удавалось получить высшее образование. От них требовали раз и навсегда отрешиться от соотечественников, посвятить себя служению остзейскому дворянству, лютеранскому духовенству. Только тогда они могли рассчитывать на благоволение своих влиятельных покровителей.

Иная судьба уготована была, по словам автора рукописи, тем, кто оставался верным своему народу, выступал в его защиту. Таких прогрессивных представителей эстонской и латышской интеллигенции бароны и пасторы травили, стремились изгнать из прибалтийского края.

С негодованием отзывался публицист о безжалостном угнетателе эстонского народа — лютеранском духовенстве. «Пасторы в балтийских провинциях, — писал он, — такие же помещики, как и бароны, только немногим в титуле пониже. У них также населенные имения, хотя церковные, и неограниченное право возвышать, на сколько угодно, для своих крестьян оброк. Поэтому не мудрено, — обращался автор к эстонскому народу, — что ваши пасторы лезли всегда в баронию и жили рука об руку с баронами. Не даром простой народ называет пастора церковным барином... И где тут в самом деле лютеранским пасторам было заботиться об улучшении вашей несчастной доли, когда они, считая свои интересы всегда тождественными с интересами баронов, вели почти такую же жизнь как сии последние: жизнь неприличную их сану и званию.

Мало того, что пасторы не делали, хотя и могли бы, ничего для смягчения вашего горестного положения, они напротив того всячески старались, с кафедры и с алтаря, оправдать и освятить ваше рабство и потом безземелие, которыми вас наградили бароны. Вместо того, чтобы обуздывать алчные страсти и дикие порывы баронов, эти представители христианской добродетели, доброты и милосердия, — с сарказмом и гневом заявлял автор, — нередко превосходят их в жестокосердии. Пасторы драли крестьян своими собственными руками и выжимали и выжимают из них оброки не меньше самых свирепых баронов» (там же, л.л. 25—27).

Приведенная выписка из анонимного обращения к эстонцам и латышам красноречиво свидетельствует о непримиримой позиции, занятой автором по отношению к лютеранскому духовенству. Будучи такими же, как и бароны, угнетателями народных масс, они, в интересах остзейского дворянства и своих собственных, усиленно насаждали в Прибалтике религиозную идеологию. Перекликаясь с эстонскими демократами-просветителями Фр. Р. Крейцвальдом, К. Р. Якобсоном и другими, выступавшими против растленной деятельности пасторов, русский публицист заявлял: вся пропаганда лютеранского духовенства, его «забота» о просвещении народа сводится к «помрачению здравого смысла» крестьян. Он указывал на оковы умственного рабства, одетые пасторами на эстонский народ и препятствовавшие его духовному развитию. «Балтийские пасторы..., словом и делом защищая интересы балтийских баронов, поддерживали, — утверждалось в рукописи, — сперва ваше рабство, потом безземелье и всегда ваше умственное угнетение» (там же, л. 54).

Мы не можем не привести еще одно место из рукописи. Оно, также как и вся статья, обращено было к прибалтийским крестьянам: «И бароны и пасторы, — писал неведомый автор, — устроились у вас, как каста воинов и жрецов в Индии, сделав вас несчастными париями, с тою еще разницей, что индийские воины, брамины и парии принадлежали к одному народу и говорили одним языком, но у вас даже и этого не было и нет. Как орден иезуитов действует в интересах римского папы, так балтийские лютеранские пасторы поддерживают выгоды баронов, а ваше безземелие и нищету» (там же, л.л. 30—31).

Ряд высказанных в рукописи положений свидетельствует, однако, об ограниченности мировоззрения автора. Именно в силу этой ограниченности,

он и не указал правильного пути для подлинного освобождения прибалтийских народов. Но автор был глубоко убежден всё же в том, что такую свободу эстонские и латышские крестьяне могли обрести лишь в тесном союзе с русскими людьми. Вот почему свое публицистическое «Письмо эстам и латышам» он и обратил против остзейских дворян и лютеранских пасторов, стремившихся очернить, разрушить эту дружбу.

Распространяя в эстонской деревне нелепые сведения о русском народе, бароны и пасторы клеветали, в то же время, и на прибалтийское крестьянство. Ведя двойную игру, они лицемерно предостерегали и тех, и других от опасного для остзейцев сближения. Это вскрыл в статье анонимный автор. Он разъяснял эстонским и латышским крестьянам, что своей беспардонной клеветой бароны и пасторы хотели создать между прибалтийскими и русскими народами непроходимую пропасть; сделать русского человека равнодушным к раздававшимся из Прибалтики воплям и стонам; закрыть его глаза на несчастное положение эстонских и латышских земледельцев, на их ужасающую нищету; закрыть путь, по которому должны были пойти угнетенные прибалтийские народы, чтобы стряхнуть экономическое и умственное иго баронов и пасторов.

Автор призывал эстонцев и латышей отбросить все, что навязывали им остзейские помещики, и крепить союз с русским народом, изучать русский язык, расширять экономические и культурные связи прибалтийских и русского народов.

В рукописи речь шла и о крестьянском движении в Эстонии, не являвшимся секретом для хорошо осведомленного автора. «Не подлежит никакому сомнению, — писал он, — что этот протест усилится, как скоро вы совсем освободитесь от умственного и нравственного рабства пасторов, и что бароны рано или поздно, если вы только будете благоразумны, безвозвратно потеряют свои почти верховные права в балтийском крае» (там же, л. 45).

Рукопись, как мы уже указывали, подверглась авторской или редакторской правке. Почерком, отличным от того, которым переписана вся статья, сделан ряд вставок и многочисленные сноски. Об их характере можно судить по таким дополнениям:

«Свободный контракт, свободное соглашение и свободная конкуренция были ходячими словами во время освобождения балтийских крестьян; но забавно только, что им ничего не оставили, чем конкурировать» (там же, л. 5 об).

«Плачевное и горестное положение балтийских крестьян как в материальном, так в судебном отношении, не выдумка. В нем может удостовериться всякий беспристрастный наблюдатель, мало-мальски ознакомившись с порядками на месте» (там же, л. 8).

И последний, заключающий рукопись, абзац, заранее отвергавший возможные обвинения в предвзятости автора:

«Мы балтийского барона и пастора почти и в глаза не видели, значит и личных столкновений никаких с ним никогда не имели и иметь не могли ... Дело тут отнюдь не в личностях, симпатиях или антипатиях, а в несокрушимом феодализме и горькой участи более чем миллионного, вечно голодающего сельского населения в балтийских губерниях» (там же, л. 89).

[99] Укажем, в частности, на ряд не предназначавшихся к печати статей лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора П. П. Альбединского (см. ЦГИА в Ленинграде, фонд 1016 графа фон-дер Палена, оп, 1, ед. хр. 963, «Записка лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора П. П. Альбединского «Крестьянское дело» (в прибалтийских губерниях). 1868»; там же, ед. хр. 970, дело «Общие соображения к запискам о прибалтийских губерниях. 1868» и т. д. Часть

неразобранного, а, следовательно, и не изученного, архива П. П. Альбединского находится в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). В этих статьях автор, осуществлявший в Эстонии и Латвии русификаторскую политику царского правительства, пытался с монархических позиций нарисовать картину экономического и политического состояния Прибалтики. Записки Альбединского, несмотря на его враждебное отношение к эстонскому и латышскому крестьянству, ценны изложенными в них фактическими материалами и могут быть использованы при сопоставлении с другими источниками.

[100] Д. Толстой-Знаменский «Прибалтийский край. Из дневника русского чиновника (1845—1846)». — См.: «Русский архив», 1881, кн. III (1), стр. 88, 105, 108.

[101] ЦГИА в Ленинграде, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 305, канцелярия министра народного просвещения, секретная переписка, «Собственноручная всеподданнейшая записка князя П. А. Вяземского о статьях, касающихся до земледельческого сословия», л. 37.

[102] См.: «Положение о крестьянах Эстляндской губернии» («Сенатские ведомости», 1856, № 83); «Положение о крестьянах Эстляндской губернии 5 июля 1856 г. со включением изменений и дополнений по сентябрь 1891 г.» Сост. и изд. А. Н. Василевский, Ревель, 1891.

[103] ЦГИА в Ленинграде, ф. 772, оп. 7, ед. хр. 151428, дело канцелярии министра народного просвещения по главному управлению цензуры «По представлению СПбургского цензурного комитета о рукописи «Положение о крестьянах Эстляндской губернии»», л.л. 1—5.

[104] Там же, ф. 772, оп. 7, ед. хр. 151526, дело канцелярии министра народного просвещения по главному управлению цензуры «По представлению СПбургского цензурного комитета о дозволении поместить статью: «Исторический очерк устройства крестьянского сословия в Эстляндской губернии» в журнале «Труды имп. Вольного экономического общества», л. 1. Отметим попутно, что даже спустя 35 лет цензура подвергла запрету одну из поступивших к ней пьес на том основании, что автор «изобразил время отмены барщины в Эстляндии в 1856 г. и бунт крестьян, подавленный солдатами...» (ЦГИА в Ленинграде, фонд драматической цензуры, рапорты 1892 г., л. 233, отношение ревельского отдельного цензора).

[105] «Журнал министерства внутренних дел», 1854, ч. V, отд. 3, стр. 37. В 40—50 и последующие годы цензура бдительно следила за тем, чтобы в печать не попадала ни одна строка о тяжелой жизни эстонского крестьянства, чтобы положение прибалтийской деревни освещалось примерно так, как осветил ее А. Тидебель. Об этом рассказывает, в частности, дело канцелярии главного управления по делам печати за март 1871 г. «О брошюре на эстском языке «Песни о Петербурге и Кронштадте», напечатанной в Риге» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 11, ед. хр. 61).

Автор книжки — учитель вильяндиской волостной школы М. Лаур писал: в Эстонии «есть много бедствий: здесь человек работает в кровавом поте, но копейка, которую ты получишь, тотчас уходит от тебя, — её поглощает мызная земля (помещик), которая здесь все еще дороже золота» (л. 14). Эти правдивые строки вызвали строжайшее письмо начальника главного управления по делам печати: «Имея ввиду, что подобное настойчивое повторение в песнях, назначенных для народа, жалоб на бедственное будто бы положение эстов и на угнетение их местными помещиками крайне неудобно, ибо способствует возбуждению недоверия и даже вражды между сословиями, главное управление по делам печати считает необходимым указать рижской цензуре на неправильный пропуск к печати приведенных мест в брошюре «Песни о Петербурге и Кронштадте» и предлагает обратить более серьезное внимание на направление изданий, предназначенных для распространения в народе» (л. 1).

[106] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 9, ед. хр. 15859, дело канцелярии лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора «Касательно определения и содержания палачей», 1854—55 гг.

[107] Там же, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 15862, л.л. 1—2.

[108] «Сельское благоустройство», 1858, № 2, стр. 202.

[109] А. Рихтер «Очерк истории крестьянского сословия в присоединенных к России прибалтийских губерниях. — См.: «Журнал землевладельцев», 1850, № 7, стр. 30; № 22, стр. 205.

[110] См.: «Сын отечества», № 51, 22 декабря 1857 г. В этом же номере опубликованы «Современные заметки», в связи с которыми С.-Петербургский цензурный комитет завел специальное дело «По предложению г. министра народного просвещения, относительно статьи об остзейских крестьянах под заглавием «Современные заметки», напечатанной в «Сыне отечества» в одном номере с высочайшими рескриптами об улучшении быта крестьян» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 143). В отношении министра народного просвещения попечителю С.-Петербургского учебного округа от 23 декабря 1857 г. говорилось, что «в № 51-м «Сына отечества» 22 сего декабря перепечатаны высочайшие рескрипты об учреждении в некоторых губерниях комитетов для составления положений об улучшении и устройстве быта помещичьих крестьян. Под сими актами в фельетоне помещена статья под заглавием «Современные заметки», в которой, между прочим, излагается устройство поземельной собственности помещиков в остзейских губерниях и об отношениях их к крестьянам. Очевидно, что редакция с намерением поместила этот краткий обзор под вышесказанными рескриптами, дабы провести некоторым образом параллель между ими и существующим в прибалтийских губерниях порядком». Министр потребовал представить объяснение «на каком основании, вопреки высочайшему повелению..., допущены в № 51-м «Сына отечества» сказанные известия об остзейских крестьянах» (л. 1).

[111] «Земледельческая газета», 1858, № 48, стр. 378.

[112] См.: А. М. Скабичевский «Очерки истории русской цензуры», СПб, 1892, стр. 425.

[113] Н. Г. Чернышевский «О новых условиях сельского быта». — Полн. собр. сочинений, т. V, 1950, стр. 91—92. В связи с этой статьей, министр просвещения писал 19 апреля 1858 г. попечителю С.-Петербургского учебного круга: «В апрельской книжке журнала «Современник» за сей год напечатана статья «О новых условиях сельского быта». Не говоря уже о некоторых неуместных выражениях и суждениях автора сей статьи о столь важном государственном вопросе, в ней главная мысль состоит в том, что помещичьи крестьяне должны, вопреки главным началам, установленным высочайшими рескриптами, касательно устройства быта крестьян, при освобождении их из крепостного состояния, получить в полную собственность землю, которою они ныне пользуются.

Находя такое направление статей о помещичьих крестьянах противным высочайше установленным для цензуры их правилам, объявленным в циркуляре предместника моего от 16 января сего года, покорнейше прошу Ваше сиятельство сделать распоряжение по цензуре С.-Петербургского учебного округа о недопущении к печати статей вышеизъясненного содержания...» (См.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 67, дело С.-Петербургского цензурного комитета «О напечатании в апрельской книжке «Современника» статьи: «О новых условиях сельского быта» и недопущении к печатанию статей подобного содержания», л. 4).

[114] В. Евгеньев-Максимов (см.: «Современник» при Чернышевском и Добролюбове», ГИХЛ, Л., 1936, стр. 287) указывает, что этот обзор написан Н. Г. Чернышевским. В книге — Н. М. Чернышевская «Летопись жизни и творчества Н. Г. Чернышевского» (М., Госполитиздат, 1953) его автор-

ство отрицается. Бесспорно лишь, что «Обозрение мер, принятых до сего времени к устройству быта помещичьих крестьян» вошло в «Прибавление», будучи одобрено Н. Г. Чернышевским.

115 «Современник», 1858, № VI, приложение «Устройство быта помещичьих крестьян», стр. 1.

116 Там же, стр. 2.

117 Там же, стр. 3

118 «Журнал министерства внутренних дел», 1857, № 3.

119 «Отечественные записки», 1858, №№ 2 и 3.

120 «Журнал министерства внутренних дел», 1857, ч. 26, кн. 10 и ч. 27, кн. 12.

121 «Русский вестник», 1857, январь, кн. 1 и февраль, кн. 2.

122 «Современник», 1858, № 7, приложение «Устройство быта помещичьих крестьян», № 2, стр. 29.

123 «Современник», 1858, № 9, приложение «Устройство быта помещичьих крестьян», № 4, стр. 14.

124 «Современник», 1859, № 10, приложение «Устройство быта помещичьих крестьян», № 11, стр. 25.

125 См.: Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. сочинений, т. VII, М., 1950, «Сведения о числе подписчиков на «Современник» 1860 г. по губерниям и городам», стр. 894, 896, 899.

126 См.: М. Шагинян «Тарас Шевченко», ОГИЗ, гос. издат. худож. литературы, М., 1946, стр. 311.

127 В. И. Ленин, Соч., т. 17, стр. 95.

128 «Современник», 1861, март, отдел «Внутреннее обозрение», стр. 101—102.

129 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. сочинений, т. VII, М., 1950, стр. 520.

ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ СЛОВО ОБ ЭСТОНИИ

1 «Колокол», № 1, 1 июля 1857, стр. 1. Здесь и далее нами цитируется один из уникальнейших комплектов «Колокола», хранящийся в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Как сообщает З. П. Базилева (см. ее книгу ««Колокол» Герцена», ОГИЗ, Госполитиздат, 1949, стр. 10), подлинный текст «Колокола» известен очень небольшому кругу специалистов, т. к. сам журнал представляет сейчас исключительную библиографическую редкость. По справке, приведенной З. П. Базилевой, даже в Москве имеются лишь четыре полных комплекта номеров «Колокола»: 1) в Музее книги Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (здесь же имеется и микрофильм всех номеров журнала); 2) в библиотеке имени А. М. Горького Московского государственного университета (в фондах Лугининской коллекции); 3) в библиотеке Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; 4) в библиотеке Академии наук СССР.

2 А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. XII, стр. 74.

3 В. И. Ленин, Соч., т. 2, стр. 473.

4 А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. IV, стр. 437.

5 Там же, т. III, стр. 362.

6 См.: «Звенья», сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века, II, Academia, М—Л., 1933, стр. 361—362.

7 А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. VI, стр. 366—367.

8 Н. П. Огарёв, Избранные стихотворения и поэмы, 1938, стр. 13.

9 Н. П. Огарёв, Стихотворения и поэмы, 1937, т. 1, стр. 377.

10 А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. III, стр. 355, 354.

[11] Там же, т. VII, стр. 186.

[12] «Голоса из России», первый выпуск второй части, Лондон, 1856, стр. 176—177. Цитируемая статья «О крепостном состоянии» была опубликована Герценом без указания имени ее автора. О принадлежности статьи перу Б. Н. Чичерина см.: Б. Н. Чичерин «Воспоминания, Москва 40-х годов», М., 1929, стр. 163; «Литературное наследство», т. 62, ч. II, М., 1955, стр. 317.

[13] «Колокол», № 4, 1 октября 1857, стр. 31.

[14] А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. IX, стр. 49.

[15] «Колокол», № 7, 1 января 1858, стр. 55.

[16] Там же.

[17] Н. Безобразов. «Об усовершении узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства», Берлин, 1858 г., стр. 15.

[18] «Колокол», № 15, 15 мая 1858, стр. 119.

[19] «Колокол», № 30—31, 15 декабря 1858, стр. 245. Ср.: А. Ч... «Чудовищная сцена в Ревеле» («Русский архив», 1888, кн. II, № 6, стр. 245—248). Автор этой статьи — корреспондент «Колокола», педагог, литератор и историк, издатель «Журнала для воспитания», близко связанный в свое время с Н. А. Добролюбовым, — Александр Александрович Чумиков, прожив в течение ряда лет в Таллине, пришел к заключению: «Крестьянское Положение 1816 г. столь мало послужило к улучшению быта эстляндских крестьян, что один из помещиков мог, торжествуя, заявлять: «Лишь теперь, по даровании крестьянам личной свободы, дворянство может сказать, что оно вполне завоевало страну». Новый закон, правда, предоставлял крестьянину право покупать землю; но продавцев не оказывалось: владельцу было гораздо выгоднее сдавать землю в аренду крестьянину, который, волей-неволей, должен был подчиняться всем условиям, как бы они ни были тяжки для него». Касаясь телесных наказаний эстонских крестьян после издания закона 1816 года, А. Чумиков заявлял: «Вотчинный господин имеет право наказывать своего арендатора 15-ю ударами палок, а женщин и детей 30-ю розгами. Если вотчинник желал усилить наказание, то с помощью всегда послушной ему волостной полиции он мог доводить и число палочных ударов до 40. Однажды гакенрихтер (исправник) наказал крестьянина 80-ю палочными ударами за то, что тот, в противность арендному условию расходовать на месте сено своего участка, свез сено в город. Принести жалобу на помещика крестьянин мог не иначе, как с его разрешения».

[20] «Колокол», № 26, 15 октября 1858, стр. 211.

[21] «Колокол», № 30—31, 15 декабря 1858, стр. 245.

[22] «Колокол», № 80, 1 сентября 1860, стр. 663.

[23] См.: Герцен и Огарёв, т. I («Литературное наследство», т. 61), изд. Академии наук СССР, М., 1953.

[24] А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. XVI, стр. 391.

[25] «Колокол», № 39, 1 апреля 1859, стр. 317.

[26] «Колокол», № 5, 1 ноября 1857, стр. 38.

[27] «Колокол», № 25, 1 октября 1858, стр. 202.

[28] Там же.

[29] См.: «Известия Академии наук Эстонской ССР», 1953, № 3, стр. 457.

[30] ЦГИА в Ленинграде, ф. 1286, оп. 19, ед. хр. 581, дело департамента полиции исполнительной «По отношению С.-Петербургского военного губернатора о неповиновении крестьян Эстляндской губ. поместий Амфер, Орренгоф и Альт Гарм».

[31] Там же, л. 7.

[32] Там же, л 14.

[33] Там же, л. 16.



Н. В. Закревский.

Портрет работы худ. А. Пецольда, 1839, акварель.
Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

[34] См.: «Список подсудимым крестьянам Эстляндской губернии, сужденным за неповиновение против властей и буйство против воинской команды, с объяснением виновности их и меры наказания, полагаемой по мнению генерал-губернатора» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 1286, оп. 19, ед. хр. 581, л. л. 126—152). В этом списке, рядом с именами участников восстания, указан и приговор — «наказать шпицрутенами чрез сто человек десять раз», «наказать шпицрутенами чрез сто человек по шести раз», «наказать розгами ста ударами каждого», «отдать в арестантские роты», «сослать, по лишению всех прав состояния, в Сибирь на поселение» и т. п. В деле имеется выписка из журнала заседаний комитета министров от 13 января 1859 г., заслушавшего донесение министра внутренних дел «О крестьянах Эстляндской губернии, оказавших неповиновение и буйство» и принявшего решение: предложенную губернатором меру наказания утвердить и приговор привести в исполнение (л. 193).

[35] Там же, л. 26.

[36] Там же, л. 62.

[37] Там же, л. 84 об.

[38] «Колокол», № 29, 1 декабря 1858, стр. 135—136.

[39] Рукописи различных авторов, поступившие из России в редакцию «Колокола», входят в Софийскую коллекцию архива А. И. Герцена и Н. П.

Огарёва, переданную в 1954 г. Болгарской академией наук в дар Академии наук СССР (см.: «Вопросы истории», 1954, № 11, стр. 170).

[40] Полвека назад московский библиофил приобрел у букинистов редкую уже в ту пору книгу «Старосветский бандурист». Сборник состоял из чудесных украинских песен и дум, метких и остроумных украинских пословиц, поговорок, загадок. Но старого любителя книг порадовали не только замечательные образцы народного творчества. Между листами «Старосветского бандуриста» он обнаружил листы писчей бумаги с многочисленными авторскими дополнениями, предназначавшимися, по всей вероятности, для нового издания. В конце же сборника вклеен был рукописный «Очерк жизни сочинителя». Им являлся таллинский учитель, видный украинский историк и писатель-этнограф Николай Васильевич Закревский.

Имя этого скромного и неутомимого человека особенно дорого эстонскому народу. Еще в первой половине прошлого столетия он, одним из первых, установил между Украиной и Эстонией культурные связи, явившиеся звеном нерасторжимой дружбы двух народов.

Николай Закревский родился в Киеве. Там, в юные годы, он зарабатывал себе хлеб насущный и оттуда, без всяких средств к существованию, отправился в Эстонию. В 1829 году Закревский поступил в Тартуский университет.

Все свободное от лекций время Закревский отдавал университетской библиотеке. В этом богатейшем книгохранилище он изучал старинные летописи, редкостные издания, отражавшие прошлое его родного украинского народа, историю любимого им Киева. «Однако и здесь, — вспоминал Закревский, — не имея надежных способов к прожитию, не было мне возможности окончить курс...» («Очерк жизни сочинителя». — См.: Д. И. Эварницкий «К биографии малороссийского этнографа Н. В. Закревского (1805—1871)», «Исторический вестник», т. CXXIV, 1911, стр. 213).

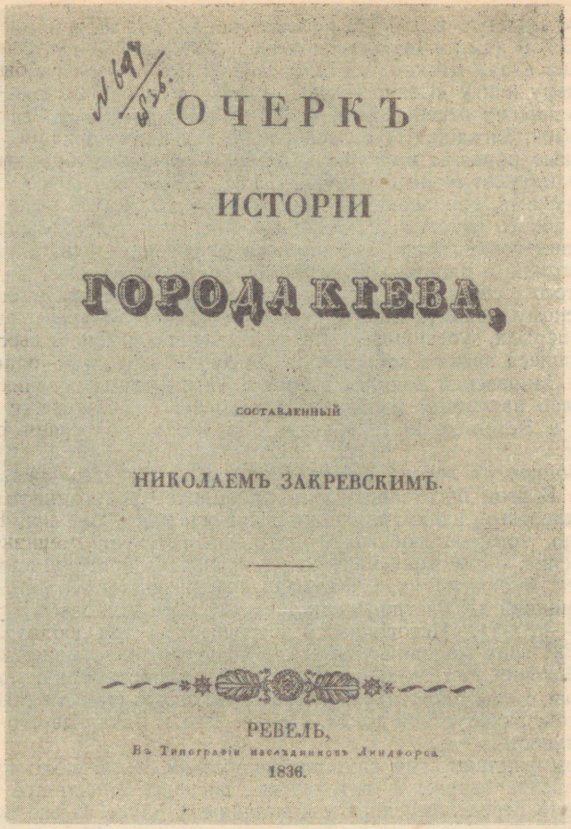
Летом 1831 года молодой украинец вынужден был покинуть Тарту. Но, пробыв в Эстонии два года, он успел уже полюбить прибалтийский край и не пожелал с ним расстаться. Закревский поселился неподалеку от Таллина, в тихой, захолустной тогда, Пайде. Там и началась его педагогическая деятельность.

В уездном училище, где служил Закревский, было мало крестьянских детей: остзейские бароны и лютеранские пасторы делали всё возможное, чтобы закрыть перед ними дорогу к знаниям, к науке. И всё же, несмотря на трудности, некоторым крестьянам удавалось пристроить детей в училище. Вид этих вечно голодных, раздетых, разутых мальчуганов не оставлял сомнений в «благоденствии» их родителей. Эстонские дети, которых Закревский обучал русскому языку, напоминали ему о его собственной бедности.

В Пайде украинский педагог продолжил свои давние занятия по истории Киева. «14 марта 1833 года, — писал он, — начал я составлять описание моей родины, которая сделалась мне тем любезнее, чем отдалённее я был от нее. С этих пор, отказывая себе во многом, с немаловажными издержками постоянно выписывал я книги, собирал возможные для меня материалы и рисунки» («Очерк жизни сочинителя», там же, стр. 215).

В январе 1834 года Закревского перевели в Таллин. Двадцать два года, с небольшим перерывом, провел он в этом городе. Занимая скромную и незаметную должность младшего учителя русского языка, истории и географии, он вел одновременно огромную исследовательскую работу.

В Таллине, как и в Пайде, почти всё более чем скудное жалованье уходило на литературу. Книги присылались Закревскому из многих городов России и, главным образом, с Украины. Это были сборники исторических документов, труды по археологии и этнографии, путевые заметки и мемуары. Из Киева таллинский учитель получал редчайшие издания по ис-



«Очерк истории города Киева, составленный Николаем Закревским», Ревель, 1836. Титульный лист.

тории его родины, описания многочисленных памятников киевской старины. Таким образом, благодаря Закревскому, в Эстонии, в первой половине XIX столетия, уже существовала солидная библиотека литературы об Украине.

В 1836 году Закревский написал «Очерк истории Киева», являвшийся результатом его многолетних работ в Тарту, Пайде, Таллине. Я старался, рассказывал автор, описать Киев как можно подробнее. «Но не имея средств, — продолжал он, — я не мог выдать в свет всего полного сочинения: мне осталось только при кратком обозрении издать несколько примечаний, которые могут служить дополнением к существующим уже описаниям сего города. Прочие мои труды предоставляю обстоятельствам и времени» («Очерк истории города Киева, составленный Николаем Закревским», Ревель, 1836, стр. III—IV).

Закревский писал это 9 июня 1836 года. А спустя несколько недель в одной из таллинских типографий был отпечатан его «Очерк истории Киева». Показательно, что к вышедшей в Эстонии книге был приложен план украинской столицы, на котором стояла свежая дата — 1835.

Для Закревского его очерк Киева был, по существу, вступлением к дальнейшим исследованиям исторического прошлого Украины. Таллинский учитель сообщал, что он «стал прилежнее изучать и обрабатывать любимый предмет и несколько раз переменял план изложения» («Очерк жизни сочинителя», там же, стр. 215).

Прошло десять лет, в течение которых Закревский не покидал Эстонию. То были годы напряженного труда и завершились они новой работой — «Летописью и описанием г. Киева».

Сколько прочувственных строк было в рукописи таллинского учителя о родной ему Украине, о многовековой героической борьбе украинского народа за свое национальное освобождение, о его неизмеримых страданиях под игом чужеземных поработителей, о русских людях — родных братьях украинцев! С какой сердечной теплотой отзывался он о великом сыне украинского народа, выдающемся государственном деятеле и полководце Богдане Хмельницком, 300 с лишним лет назад сделавшем решительный шаг к воссоединению Украины с Россией!

Закревский писал об украинском народе, «с древнейших времён проникнутом русским духом, пламенно любящим родину и часто с оружием в руках защищавшем права свои» («Описание Киева», соч. Николая Закревского, М., 1868, т. I, стр. 55). Он рассказывал современникам о «счастливой эпохе в истории своего народа», когда его борьбу против шляхетской Польши возглавил Богдан Хмельницкий.

Опираясь на многочисленные, присланные Закревскому в Эстонию, документальные источники, автор воскресил этапы освободительной войны 1648—1654 годов. «В этих смутных обстоятельствах, — писал таллинский учитель, — герой обратился к царю русскому. Хмельницкий не мог ожидать от татар и турок постоянного покровительства... Гетман, по одинаковости языка и религии, предпочёл присоединиться к державе царя русского Алексея Михайловича, и в 1654 году, января 17-го дня в Киеве, совершена была присяга» («Описание Киева», там же, стр. 57). Николай Закревский указывал на огромные и долговечные последствия исторического шага — воссоединения Украины с Россией. Заслуги Богдана Хмельницкого, сумевшего претворить давнюю мечту украинского народа, писал он, немаловажнее тех, какие имели перед своим Отечеством Суворов и Кутузов.

На издание фундаментального труда, снабженного сотней, сделанных автором, рисунков, требовались большие деньги. Их у Закревского не было. И, чтобы сохранить свою работу для потомства, таллинский учитель переслал рукопись в Петербургскую публичную библиотеку. «Более десяти лет занимался я, — писал он, — составлением истории города Киева, моей родины; по силам своим дал ей нужную полноту, украсил рисунками собственной работы, а в последнее время дополнил и исправил её по важнейшим источникам... Но я, при ограниченных средствах, не имею возможности издать в свет своё сочинение; с другой стороны было бы мне жаль, если мои труды и разыскания исчезли бы в частных руках, не принеся никакой пользы моим соотечественникам... Благосклонное принятие сей малой лепты будет по крайней мере вознаграждением за мой многолетний и совестный труд» («Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 8, М., 1901, стр. 295).

Передав в библиотеку рукопись уже готовой книги, Закревский продолжал дополнять ее новыми материалами, переделывать отдельные главы, уточнять изложенные в ней исторические факты. В мае 1848 года, во время поездки из Таллина в Москву, он познакомил русских ученых со своим


ЛѢТОПИСЬ
города
КІЕВА,
составленная
Николаемъ Закревскимъ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Лѣтопись.
Ревель
1840
5.

Рукопись книги «Летопись города Киева», написанной в Таллине Н. Закревским. Титульный лист. Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

трудом. Книга привлекла внимание крупных специалистов и была включена в очередной том «Чтений в обществе истории и древностей российских».

Однако, несмотря на содействие ряда видных ученых, работа таллинского учителя в ту пору всё же не вышла. Напуганная волной революционного движения, цензура предприняла тогда ряд репрессивных мер, в том числе — прекратила на время издание научных сборников московского общества. «Начали печатать 29 июня, — рассказывал Закревский, — но едва была отпечатана половина моего сочинения, как в сентябре общество подверглось гневу и журнал «Чтения» запрещён, а с ним вместе и моя надежда рушилась!» («Очерк жизни сочинителя», там же, стр. 216).

Минуло еще одно десятилетие. Написанная в Эстонии история Киева всё еще лежала под спудом. Только благодаря помощи московского профессора О. М. Бодянского, этот ценный труд был спасен от безвестности. В мае 1858 года он вышел, наконец, в свет. 22 июня в таллинской памятной книжке Закревского появилась лаконичная запись: «Получен мною первый экземпляр моего отпечатанного в Москве сочинения «Летопись и описание города Киева» («Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 8, М., 1901, стр. 320).

Книга, излагавшая отдельные этапы истории украинского народа, дававшая обстоятельнейшее описание Киева, вызвала настолько большой интерес, что в 1868 году московское археологическое общество выпустило ее в новом, значительно дополненном, издании. «Какой дорогой подарок для Киева сделан в Москве...! — писал в связи с выходом труда таллинского учителя выдающийся украинский фольклорист, друг Тараса Шевченко — профессор М. А. Максимович. — Я говорю об «Описании Киева», вновь обработанном Николаем Закревским... Хвала трудолюбимому уроженцу киевскому, так усердно и долго работавшему над описанием древней матери городов русских! Полнотою содержания оно превосходит все бывшие доселе описания и обозрения Киева: это, можно сказать, запасный магазин всяких известий, сведений, мнений и соображений, древних и новых...» («Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде» Михаила Максимовича, СПб, 1871, стр. 3).

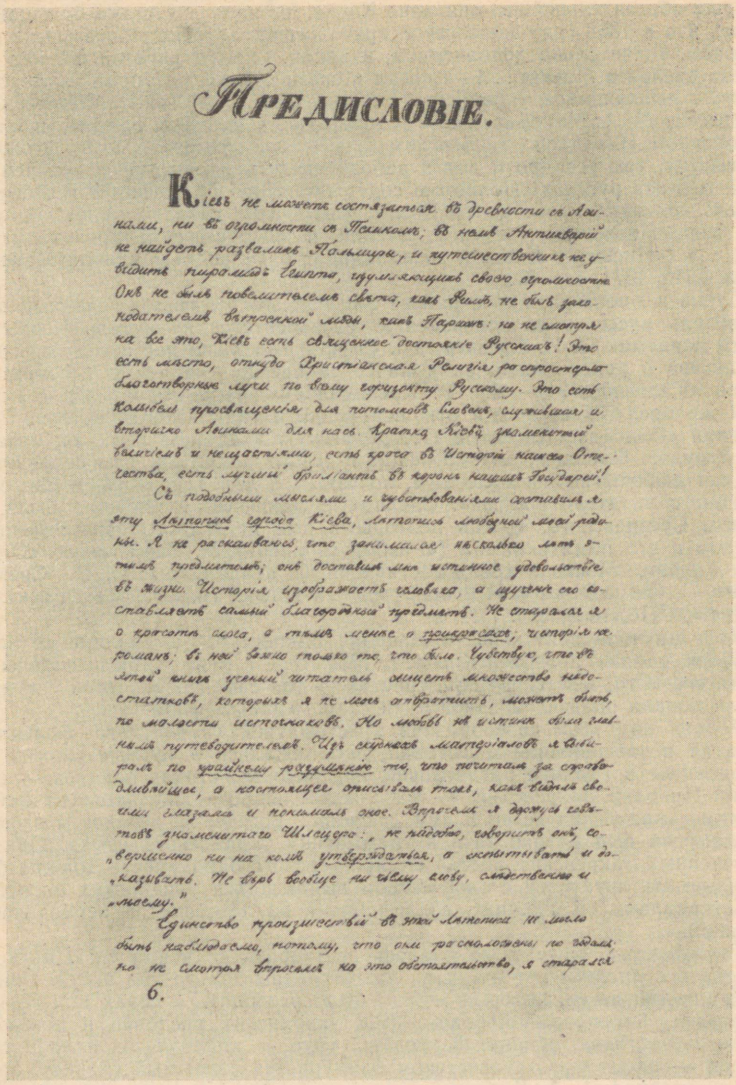
Столь же восторженно о работе Закревского отзывался и видный представитель русского славяноведения, университетский учитель Чернышевского академик И. И. Срезневский. Спустя несколько лет после своего ходатайства о присуждении академической премии создателю бессмертного эпоса «Калевипоэг» — Фр. Р. Крейцвальду, ученый обратился с подобным же предложением и в отношении книги таллинского учителя. Представляя «Описание Киева» в Петербургскую академию наук, он называл его «трудом большим, потребовавшим много работ и самоотвержения, трудом любопытным и полезным, полезным и для археолога, и для образованного читателя вообще». Сделанные Закревским рисунки были, по оценке Срезневского, «очень полезными для наглядного ознакомления с Киевом и его памятниками» («Разбор сочинения Н. Закревского «Описание Киева», Москва, 1868, составленный академиком И. И. Срезневским». — См.: «Отчет о II-м присуждении наград гр. Уварова 25 сентября 1868 г.», СПб, 1869, стр. 7).

Круг научной деятельности Николая Закревского в Таллине не исчерпывался, однако, историей Киева. В 1860 году, в Москве, были изданы три части его «Старосветского бандуриста» — той самой редкостной книги, которая попала полвека назад в руки старого библиофила.

Работа над этой своеобразной хрестоматией украинского фольклора, начатая и завершенная в Эстонии, продолжалась в течение многих лет. Написанное в Таллине предисловие, под которым стояла подпись — киевлянин Николай Закревский, — раскрывало широчайшие замыслы автора. Помимо украинских песен и дум, пословиц, поговорок, загадок и словаря, он намерен был разработать и грамматику украинского языка. Одна из намеченных Закревским частей «Старосветского бандуриста» должна была познакомить читателей с творчеством выдающихся украинских писателей, с материалами об Украине, извлеченными из летописей и периодических изданий.

Таллинскому учителю не удалось претворить до конца свою идею. За двадцать с лишним лет им были подготовлены только три части. Они содержали 190 песен, которые можно было услышать в селах под Киевом, Полтавой, Харьковом, Львовом, 3878 украинских пословиц и поговорок, около 200 загадок, обширный словарь. «Это — капитальное приобретение науки, — писал о «Старосветском бандуристе» известный славист, археолог и этнограф А. А. Котляревский, являвшийся одно время профессором Тартуского университета. — До сих пор малороссийские (украинские. — А. Л.) пословицы и загадки нигде не были собраны в одно место и были рассеяны по изданиям довольно редким... Теперь Закревский собрал их воедино и тем, так сказать, ввёл их в русскую науку» (Сочинения А. А. Котляревского, т. I, СПб, 1889, стр. 496).

Познакомившись со «Старосветским бандуристом», можно установить,



Предисловіе.

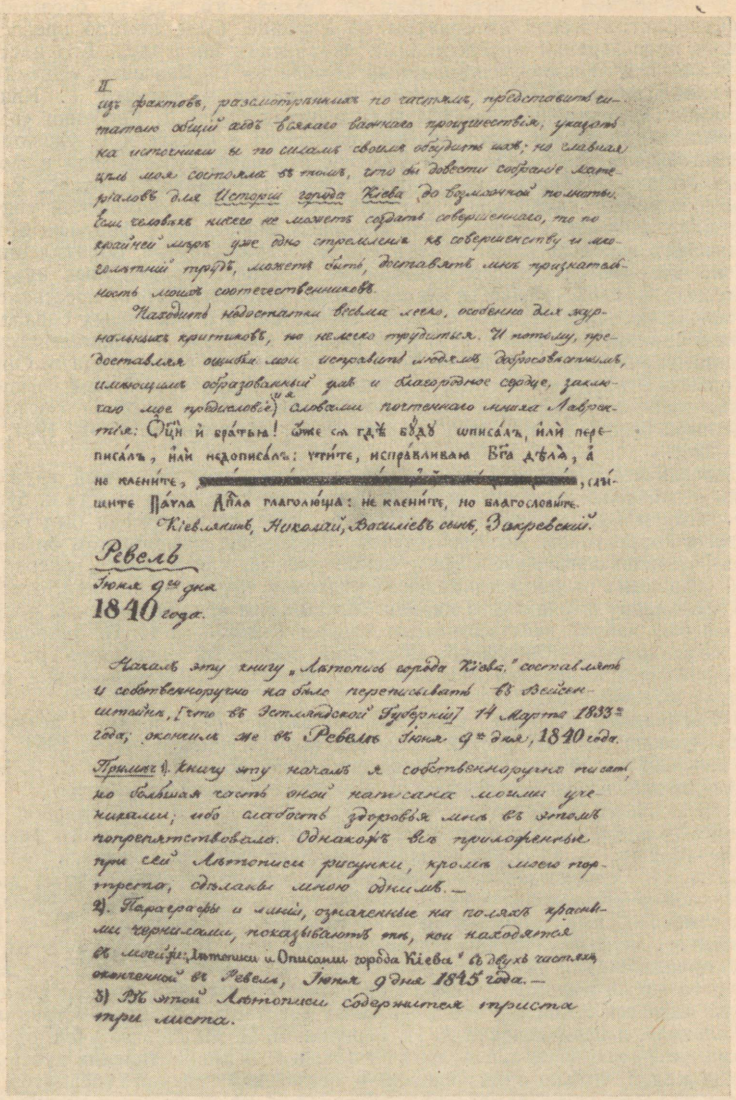
Кіевъ не можетъ состязаться въ древности съ Аѳинами, ни въ огромности съ Пелиномъ; въ немъ Антикварій не найдетъ развалинъ Пальмиры, и путешественникъ не увидитъ пирамидъ Египта, изумляющихъ своею огромностію. Онъ не былъ повелителемъ свѣта, какъ Римъ, не былъ законодателемъ вѣтренной моды, какъ Парижъ: но не смотря на все это, Кіевъ есть священное достояніе Русскихъ! Это есть мѣсто, откуда Христіанская Религія распространяетъ благотворные лучи по всему горизонту Русскому. Это есть колыбель просвѣщенія для потомковъ Словенъ, служившая и вторично Аѳинами для насъ. Кратко, Кіевъ, знаменитый величіемъ и нещастіями, есть краса въ Исторіи нашего Отечества, есть лучшій бриліантъ въ коронѣ нашихъ Государей!

Съ подобными мыслями и чувствованіями составилъ я эту Лѣтопись города Кіева, Лѣтопись любезной моей родины. Я не раскаиваюсь, что занимался нѣсколько лѣтъ этимъ предметомъ; онъ доставилъ мнѣ истинное удовольствіе въ жизни. Исторія изображаетъ человѣка, а изученіе его составляетъ самый благородный предметъ. Не старался я о красотѣ слога, а тѣмъ менѣе о прикрасахъ; исторія не романъ; въ ней важно только то, что было. Чувствую, что въ этой книгѣ ученый читатель ощетъ множество недостатковъ, которыхъ я не могъ отвратить, можетъ быть, по малости источниковъ. Но любовь къ истинѣ была главнымъ путеводителемъ. Изъ скудныхъ матеріаловъ я выбиралъ по крайнему разумѣнію то, что почиталъ за справедливѣйшее, а настоящее описывалъ такъ, какъ видѣлъ своими глазами и понималъ оное. Впрочемъ я дружусь совѣтовъ знаменитаго Шлецера: „не надобно, говоритъ онъ, совершенно ни на комъ утверждаться, а испытывать и доказывать. Не вѣрь вообще ни чьему слову, слѣдственно и моему."

Единство произшествій въ этой Лѣтописи не могло быть наблюдаемо, потому, что они расположены по годамъ; но не смотря впрочемъ на это обстоятельство, я старался

6.

Предисловие Н. Закревского к его книге «Летопись города Киева» (страница первая). Автограф.
Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.



II

изъ фактовъ, разсмотренныхъ по частямъ, предоставить читателю общій ходъ всякаго ватнаго происшествія, указать на источники и по силамъ своимъ обсудить ихъ; но главная цѣль моя состояла въ томъ, чтобы довести собраніе матеріаловъ для Исторіи города Кіева до возможной полноты. Если человѣкъ никого не можетъ создать совершеннаго, то по крайней мѣрѣ дѣло одно стремленіе къ совершенству и многолѣтній трудъ, можетъ быть, доставятъ мнѣ признательность моихъ соотечественниковъ.

Находятъ недостатки весьма легко, особенно для журнальныхъ критиковъ, но немного трудятся. И потому, предоставляя ошибки мои исправлять людямъ добросовѣстнымъ, имѣющимъ образованный умъ и благородное сердце, заключаю моё предисловіе) словами почтеннаго инока Мавракія: Отѣ́ц̃ и бра́тія! Аще см гдѣ́ вѣ́дѣ́ писа́лъ, и́лй переписа́лъ, и́лй недописа́лъ: учи́те, исправливши Бо́га дѣ́ла, а не кленѝте, [redacted], слы́шите Па́ула Апла́ глаголю́ща: не кленѝте, но благословѝте.

Кіевлянинъ, Николай, Васильевъ сынъ, Закревскій.

Ревель
Іюня 9-го дня
1840 года.

Начавъ эту книгу „Лѣтопись города Кіева," составлять и собственноручно набѣло переписывать въ Вейсенштейнѣ, [что въ Эстляндской Губерніи] 14 Марта 1833-го года, окончилъ же въ Ревелѣ Іюня 9-го дня, 1840 года.

Примѣч. 1) Книгу эту началъ я собственноручно писать, но большая часть оной написана моими учениками; ибо слабость здоровья моего въ этомъ погрѣшительствовала. Однакожъ всѣ приложенные при сей Лѣтописи рисунки, кромѣ моего портрета, сдѣланы мною однимъ. —

2) Параграфы и линіи, означенные на поляхъ красными чернилами, показываютъ отъ, кои находятся въ манускриптѣ: „Лѣтописи и Описаніи города Кіева" въ двухъ частяхъ, оконченномъ въ Ревелѣ, Іюня 9 дня 1845 года. —

3) Къ этой Лѣтописи содержится триста тридцать листа.

Предисловие Н. Закревского к его книге «Летопись города Киева» (страница вторая). Автограф.
Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

что в таллинской библиотеке Николая Закревского, помимо богатейшего собрания исторической литературы об Украине, было немало превосходнейших произведений прогрессивных украинских писателей. Его настольными книгами являлись неувядаемый «Кобзарь» Т. Шевченко, «Энеида» и «Наталка-Полтавка» И. Котляревского, комедии и повести Г. Квитка-Основьяненко, вышедший в 1834 году сборник басен Е. Гребенки «Малороссийские присказки», произведения философа и писателя Г. Сковороды.

Занимаясь в Тарту, Пайде и Таллине историей, этнографией и фольклором Украины, Закревский проявлял также глубочайший интерес к прошлому эстонского народа. Из его писем следует, что таллинский учитель ненавидел остзейских баронов. Не случайно, знакомясь с фондами архива ревельского городского магистрата, он, в первую очередь, обратил внимание на документы, свидетельствовавшие о давних враждебных чувствах передовых русских людей к угнетателям прибалтийского крестьянства. «Я списал несколько грамот со всею точностью, а с некоторых сделал отчасти и снимки, — писал в 1845 году о своих занятиях в Таллине историей Эстонии украинский ученый. — Всех грамот числом четырнадцать. Они ... проясняют отношения русских в средние времена к остзейским немцам и может быть заслужат внимание археографической комиссии» («Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 8, М., 1901, стр. 295—296).

Последние годы своей жизни Закревский — этот скромный труженик науки — провел в Москве. Его по-прежнему преследовала нужда и, будучи уже автором фундаментального труда о Киеве, он вынужден был всё же служить корректором университетской типографии, помощником библиотекаря Румянцевского музея. Но русские ученые, как и ранее, высоко ценили созданные бывшим таллинским учителем труды по истории, этнографии, фольклору украинского народа. Московским археологическим обществом он был избран действительным членом (некрологи Н. В. Закревского см.: «Киевлянин», 1871, № 96; «Киевский народный календарь на 1872 год»; «Иллюстрированная газета», 1871, № 31; «С.-Петербургские ведомости», 1871, № 229).

[41] Сделанная недавно попытка доказать безусловное авторство Н. Ф. Руссова (см.: «Известия Академии наук Эстонской ССР», 1954, № 2, стр. 295—297) явно неудачна. Приведенные автором сообщения В. Я. Миллером доводы неосновательны и вызывают серьезные возражения.

В. Я. Миллер утверждает: «Старые списки фондов Центральной библиотеки Академии наук Эстонской ССР показывают, что с этого времени (1858—1862 гг. — А. Л.) в Таллине начинают распространяться произведения А. И. Герцена и издаваемый им «Колокол», причем первый имеющийся номер «Колокола» — это именно тот, в котором была опубликована статья «Германские рыцари XIX столетия в Эстляндии» ... Н. Ф. Руссов был ... активным членом Литературного общества, которому в тот период принадлежали те фонды библиотеки Академии наук ЭССР, в которых в то время имелись издания Герцена». В этом утверждении справедливым является лишь то, что в Таллине действительно распространялись и «Колокол», и произведения А. И. Герцена. В. Я. Миллер не учел, однако, что они распространялись там н е л е г а л ь н о. В прибалтийских губерниях был, пожалуй, только один человек — остзейский генерал-губернатор, которому с разрешения самого царя дано было право открыто получать и читать издания Вольной русской типографии. Литературное же общество получить такое разрешение, разумеется, не могло. Более чем невероятно также, что «Колокол» держался в ее библиотеке тайным образом. Появление «Колокола» в библиотеке Литературного общества следует отнести, на наш взгляд, к более позднему времени. Известно, что иностранные книгопродавцы присылали в Эстонию комплекты «Колокола» даже в 70-е гг.

В. Я. Миллер утверждает: «Из анализа языка статьи («Германские рыцари XIX столетия в Эстляндии». — А. Л.) можно заключить, что автор её пользовался местными источниками на немецком языке или же сам лучше владел немецким языком, чем русским». Трудно догадаться, каким путем пришел В. Я. Миллер к подобному заключению. Во-первых, вряд ли автор статьи «Германские рыцари...» пользовался какими-либо «местными источниками на немецком языке», если он был очевидцем описанного им избиения ходоков из Ании. Во-вторых, статья, обработанная, по всей вероятности, самим А. И. Герценом, не дает никаких оснований для утверждений, что ее автор «сам лучше владел немецким языком, чем русским».

В. Я. Миллер утверждает: «Подробное описание разбора этого дела (прихода в Таллин крестьянских ходоков. — А. Л.), проведенного у вице-губернатора, указывает на то, что автор или сам присутствовал при этом, или общался с присутствовавшими, т. е. принадлежал к составу чиновников губернского правления». Следует учесть, что в статье «Германские рыцари...» нет отмеченного В. Я. Миллером «подробного описания разбора (подчеркнуто нами. — А. Л.) этого дела». В присланной корреспонденции, наряду с описанием чудовищной расправы, говорилось лишь о некоторых деталях разбора дела у вице-губернатора. А эти детали могли стать известны и человеку не «принадлежавшему к составу чиновников губернского правления». В. Я. Миллер не учел то обстоятельство, что избиение ходоков из Ании было событием, потрясшим прогрессивные круги Эстонии. О нем говорили повсюду, причем подробности дела были известны многим таллинцам. Поэтому ссылка В. Я. Миллера на то, что Руссов являлся «секретарём эстляндской казённой палаты и официальным переводчиком губернского правления», «своим человеком» в кругу губернских чиновников, не может быть доказательством его причастности к написанию анонимной корреспонденции.

В. Я. Миллер утверждает: «Ещё одним доказательством того, что именно Н. Ф. Руссов был автором статьи, опубликованной в «Колоколе», являются романы эстонского прогрессивного писателя Э. Вильде «Война в Махтра» и «Ходоки из Ания». В первом романе Э. Вильде говорит, что при описании событий он пользовался рукописной сводкой этих событий, составленной Н. Ф. Руссовым. Во втором он приводит один эпизод из деятельности Н. Ф. Руссова и указывает, что данные им получены непосредственно от самого участника. В романе Э. Вильде «Ходоки из Ания» оценка действующих лиц и в значительной мере описание событий совпадают с таковыми в статье, опубликованной в «Колоколе».

В данном случае В. Я. Миллер искажает факты.

В романе «Война в Махтра» Э. Вильде действительно сослался на Руссова. Говоря о составе военного суда, которому преданы были участники махтраского восстания, он в подстрочном примечании ясно и недвусмысленно заявил: «Письмоводителем военного суда был Ковенев, переводчиком Руссов. Автор данного романа использовал интересное описание суда (подчеркнуто нами. — А. Л.), составленное последним по судебным актам» (Эдуард Вильде «Война в Махтра», Эст. гос. издат., Таллин, 1951, стр. 470). Таким образом, в упомянутой В. Я. Миллером «рукописной сводке» речь шла о конкретном событии, а именно — суде над участниками «войны в Махтра», но не о расправе над крестьянскими ходоками из Ании. Ю. Кяосааром уточнено, что Руссов имел в своем распоряжении копию официальной сводки материалов о махтраском восстании, причем составленную не им самим, а специальной судебной комиссией (на это указывает в своей кандидатской диссертации Ю. Кахк).

В другом романе, на который ссылается В. Я. Миллер, — «Ходоках из Ании» также упоминается имя Руссова, но и в данном случае вне вся-

кой связи с избиением крестьян. Если бы В. Я. Миллер прочел роман более внимательно, он убедился бы в том, что по сведениям, которыми располагал Эд. Вильде, Руссов в то время был в отпуску и находился вне Таллина (см.: Эдуард Вильде «Ходоки из Ании», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 169, 172, 192). Он убедился бы также и в том, что сам Вильде указал на хорошо знакомый ему печатный материал, сообщивший писателю (наряду с другими источниками) достоверные сведения о трагическом событии. В подстрочном примечании автор романа заявил: «О порке аниях ских мужиков в русском историческом журнале «Русский архив» (1901, № 12) под заглавием «Таллинское кровопролитие» (точное название статьи — «Ревельское кровопролитие 26 июля 1858 года»; ср.: «Чудовищная сцена в Ревеле», — «Русский архив», 1888, кн. II, № 6, стр. 244—248. — А. Л.) появилась статья, написанная по данным бывшего городского гласного А. А. Чумикова...» (Эдуард Вильде «Ходоки из Ании», Эст. гос. издат., Таллин, 1951, стр. 174).

Таковы сомнительные доказательства, приведенные В. Я. Миллером для подкрепления своего вывода: «Все эти факты позволяют с уверенностью утверждать, что автором статьи «Германские рыцари XIX столетия в Эстляндии», опубликованной в «Колоколе», является Н. Ф. Руссов». Не подвергая сомнению прогрессивность Н. Ф. Руссова, мы не склонны, однако, согласиться с этим категорическим, ничем не обоснованным, заключением.

Наши сомнения в авторстве Н. Ф. Руссова подтверждаются также тем обстоятельством, что в самой корреспонденции «Германские рыцари XIX столетия в Эстляндии» ясно сказано: «... мы р у с с к и е (подчеркнуто нами. — А. Л.) знаем эти сцены». Из этого следует, что автор являлся русским, в то время, как Н. Ф. Руссов, им не был.

[42] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. I, ед. хр. 16173, л. л. 100—109.

[43] Там же, л. 102.

[44] «Колокол», № 40—41, 15 апреля 1859, стр. 329.

[45] «Колокол», № 53, 1 октября 1859, стр. 433.

[46] «Колокол», № 40—41, 15 апреля 1859, стр. 329—330.

[47] А. И. Герцен «Былое и думы», Гослитиздат, Л., 1946, стр. 636.

[48] А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. XVIII, стр. 110.

[49] Там же, т. 8, стр. 489.

[50] А. И. Герцен «Былое и думы», Гослитиздат, Л., 1946, стр. 627.

[51] Там же, стр. 602.

[52] А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. X, стр. 118.

[53] ЦГИА в Ленинграде, ф. 375, оп. 10, ед. хр. 305, секретная переписка по министерству народного просвещения. 1851—1865 гг., «Извлечение из всеподданнейшей записки генерал-адъютанта Каверина (представлено государю при докладной записке министра народного просвещения от 21 апреля 1856 г.)», л. 18.

[54] Ф. Р. Крейцвальд «Старинные эст. нар. сказки», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, послесловие, стр. 289.

[55] А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. X, стр. 221.

[56] «Колокол», № 57—58, 1 декабря 1859, стр. 477.

[57] Е. А. Бушканец «К вопросу об авторе письма «Русского человека» в «Колоколе» А. И. Герцена». — См.: «Известия Академии наук СССР, серия истории и философии», 1951, № 2, стр. 180—181.

[58] М. В. Нечкина «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации». — См.: «Исторические записки», № 10, 1941, стр. 30.

[59] «Колокол», № 64, 1 марта 1860, стр. 534.

[60] «Колокол», № 89, 1 января 1861, стр. 745.

[61] «Колокол», № 91, 1 февраля 1861, стр. 763.

[62] «Колокол», № 93, 1 марта 1861, стр. 783. В дневник В. Ф. Одоевского, хранящийся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, вклеено датированное 1 декабря 1860 г. письмо из Нарвы (см.: «Литературное наследство», т. 22—24, М., 1935, стр. 266—268), с незначительными изменениями опубликованное в «Колоколе» и излагающее факты, приведенные в нашем очерке. Об этом же происшествии см. также в отчете III отделения («Крестьянское движение 1827—1869 годов», вып. 1, Соцэкгиз, 1931, стр. 144).

[63] «Колокол», № 101, 15 июня 1861, стр. 848.

[64] А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. XI, стр. 260.

[65] См.: В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 15.

[66] А. И. Герцен «Былое и думы», Гослитиздат, Л., 1946, стр. 754.

[67] В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 14.

[68] «Колокол», № 198, 15 июня 1865, стр. 1628.

[69] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 16580.

[70] ЦГИА в Ленинграде, ф. 1016, оп. I, ед. хр. 963, фонд гр. фон-дер Палена, «Записка лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора П. П. Альбединского «Крестьянское дело» (в прибалтийских губ.)», л. 3 об.

[71] См.: «Колокол», № 219, 1 мая 1866, стр. 1795.

[72] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. I, ед. хр. 16636, л. 2.

[73] А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. VI, стр. 370. Ср.: «Записки Филипа Филиповича Вигеля», часть первая, изд. «Русского архива», М., 1891, стр. 8—10.

[74] «Колокол», № 186, 15 июня 1864, стр. 1532.

[75] «Колокол», № 53, 1 октября 1859, стр. 431.

[76] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 52, оп. I, ед. хр. 429, дело «Инструкции и предписания начальства», предписание начальника главного управления по делам печати ревельскому отдельному цензору по внутренней цензуре, л. 31.

[77] ЦГИА в Ленинграде, ф. 1016, оп. I, дело 970, фонд гр. фон-дер Палена, «Общие соображения к запискам о прибалтийских губерниях», л. 43.

[78] К. Маркс и Ф. Энгельс «Избранные письма», ОГИЗ, 1948, стр. 233.

[79] Архив Географического общества СССР, разряд 49, опись, I, № 1.

[80] «Колокол», № 70, 1 мая 1860, стр. 589.

[81] «Колокол», № 44, 1 июня 1859, стр. 360.

[82] Цит. по газ. «Советская Эстония», 24 января 1952.

[83] ЦГИА в Ленинграде, ф. 1016, оп. I, дело 970, фонд гр. фон-дер Палена, «Общие соображения к запискам о прибалтийских губерниях», л. 43 об.

[84] «Колокол», № 61, 15 января 1860, стр. 504.

[85] Там же, стр. 505.

[86] «Колокол», № 53, 1 октября 1859, стр. 433.

[87] Приводим краткую справку о русских учёных, изучавших на протяжение XVIII—XIX в.в. природные богатства Эстонии.

Уже в середине XVIII столетия, вскоре же после присоединения Эстонии к России, там побывали геодезист А. Красильников и «математических наук подмастерье» Н. Курганов. Об опыте и достоинствах этих талантливых людей высоко отзывался Ломоносов, хорошо знавший, как важна была их поездка «ради сочинения морских карт» в новую, прибалтийскую, губернию.

В одно время с Красильниковым и Курганова, Эстонию посетил русский академик А. Гришов. Сохранившееся в Архиве Академии наук СССР его обстоятельное «представление» содержит план научной экспедиции на Сааремаа, организации на этом острове систематических наблюдений «для поспешествования астрономии и географии, а особливо лунной теории» (см.: «Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках», составила В. Ф. Гнучева, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 81). Документальные материалы позволяют познакомиться с проек-

тами ученого, с теми заданиями, которые были даны ему Академией перед отъездом из Петербурга, с выполненной им в Эстонии исследовательской работой.

Начатые Гришовым в 1752—53 гг. наблюдения были завершены во время его вторичного посещения Прибалтики. Отправляясь в 1755 году на Сааремаа, он стремился привести «к совершенному окончанию сочинённую геометрическим образом карту, на коей в прежнюю поездку на помянутом острове означены были за краткостью времени только места, около берегов находящиеся» (см. там же, стр. 82). Эту задачу он выполнил успешно.

Поездки Гришова, так же как и прибалтийская экспедиция Красильникова и Курганова, привлекли внимание Ломоносова. В 1758 г., возглавляя Географический департамент, он предложил находившемуся в Эстонии Гришову «в Пернове и в Дерпте учинить наблюдения астрономические оных городов долготы и широты сколько потребно для географии» (см.: А. А. Морозов «Михаил Васильевич Ломоносов», изд. Молодая гвардия, 1950, стр. 834).

В 1789 г. в Петербург были доставлены первые образцы эстонского сланца. Спустя два года его свойства подробно описал академик И. Георги (см.: Н. Ф. Погребов «Прибалтийские горючие сланцы», Птг., 1919, стр. 5). А в 1808 году эстонские горючие сланцы глубоко заинтересовали выдающегося русского минералога В. Севергина.

В Эстонию академик В. Севергин приехал по поручению Петербургской академии наук. Ученый посетил «дымящуюся гору, около 22 верст от Ревеля к юго-западу отстоящую» и «доставил точнейшие о сей горе понятия» (В. Севергин «Известие о ревельской дымящейся горе». — «Технологический журнал, или собрание сочинений и известий относящихся до технологии и приложения учинённых в науках открытий к практическому употреблению, издаваемое Академиею наук», тома пятого часть первая, СПб, 1808, стр. 158—159. В фондах архива Академии наук СССР сохранился подлинник представленного Севергиным в Академию списка «Каменные породы с дымящейся горы в 22-х верстах от Ревеля к юго-западу отстоящие»). Установив, что Ревельская гора состоит из горючих сланцев, Севергин высказал твердое убеждение в их залегании на значительной территории Эстонии.

Еще в молодые годы животным миром Эстонии заинтересовался один из первых русских дарвинистов С. Куторга. Будучи воспитанником тартуского профессорского института, он совершал многочисленные поездки по прибалтийской губернии. «В течение нескольких лет, проведенных мною в Дерпте, — вспоминал позднее ученый, — я часто делал зоологические экскурсии в прелестных окрестностях Дерпта и каждый раз возвращался в мою рабочую комнату с богатою добычею животных... Каждый раз моё внимание более и более привлекало внутреннее строение этих прекрасных ландшафтов, и я твердо решился исследовать его точнее» (см.: «Русский биографический словарь», том Кнаппе-Кюхельбекер, СПб, 1903, стр. 623). С этой целью С. Куторга посетил Эстонию в 1834, 1846 и 1853 гг. Собранный им обширнейший материал послужил основой для ряда его блестящих сочинений.

С каждым годом предпринимавшиеся Академией наук и научными обществами экспедиции, появлявшиеся в периодических научных изданиях статьи и сообщения всё чаще касались Эстонии. В 1833 году, когда по инициативе Гидрографического депо определялась разность долготы ряда географических пунктов, в число изучаемых городов включен был и Таллин. В 1836 году «Земледельческая газета» выступила со статьей о «необходимости осушки болот и действии их на климат» Эстонии. «Горный журнал» в 1838 году поместил отчет об исследованиях, произведенных «над месторождениями горючего сланца, открытого в Эстляндской губер-

нии», а спустя год дал новое сообщение — «О месторождении смолистого глинистого сланца и вновь открытом горючем минерале в переходной формации Эстляндской губернии»... Вслед за «Горным журналом», сообщения об эстонском сланце дали и другие русские издания.

Природные богатства Эстонии привлекали внимание и выдающегося естествоиспытателя К. Бэра. Об этом рассказывает, в частности, лежащее в Архиве Академии наук СССР «Дело о командировании академика Бэра для исследования причин уменьшения улова рыбы в Балтийском море и Чудском озере». Сохранившийся личный полевой дневник ученого рассказывает о деталях его поездки по Эстонии в 1859 году, о посещении в 1860 году с научной целью Нарвы и т. п. (см.: «Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках», составила В. Ф. Гнучева, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 209). С 1869 г., в течение ряда лет, Бэр являлся президентом Дерптского общества естествоиспытателей, занимавшегося, главным образом, изучением Прибалтики и соседних с ней территорий России (об этом см.: «Протоколы общества естествоиспытателей при имп. Юрьевском университете», т. XXII, стр. III—IV).

Изучением природных богатств Эстонии занимались многие научные общества России — географическое, техническое, минералогическое и другие. Часто ездили в Эстонию члены Петербургского общества естествоиспытателей, собиравшие там материалы по различным вопросам геологии, гидрологии и ботаники. На заседаниях общества, в присутствии таких выдающихся ученых, как А. А. Иностранцев и В. В. Докучаев, делались сообщения об образовании и течении рек Эстонии, о размывающей деятельности речной воды на водопадах Прибалтики и т. п. В «Трудах» общества публиковались статьи — «О распространении моря внутри Эстляндии и острова Эзеля в послеледниковый период», «О плитах силурийского известняка в старом Висмаркском редуте г. Ревеля», материалы о прибалтийских геологических экспедициях (см.: «Труды общества естествоиспытателей при С.-Петербургском университете», 1877, т. VIII, стр. 1; там же, 1879, т. X, № 4, протокол, стр. 30—36; там же, стр. 55; там же, 1881, т. XII, вып. 1, стр. 19—30 и др.). Ряд ценных исследований о природных богатствах Эстонии опубликован был в изданиях и ряда других русских научных обществ прошлого столетия.

[88] Изучение природных богатств России находилось в центре внимания многих ученых Тартуского университета с первых же лет его существования. Напомним о некоторых, предпринятых ими, исследованиях. Уже в 1810 году в одном из томов «Технологического журнала», издаваемого продолжателем ломоносовских научных трудов, выдающимся русским минералогом В. М. Севергиным, была опубликована присланная из Тарту в Петербург статья — «Средство обрабатывать российскую глину так, чтоб она совершенно заменяла английскую и гессенскую...» (см.: «Технологический журнал...», 1810, тома седьмого часть вторая, стр. 130—134). А в следующем году, на страницах того же журнала, нашло себе место сообщение о путешествии тартуских ученых в Крым и на Кавказ, о проделанных ими там «барометрических сравнениях и прочих измерениях», а также о «наблюдениях, касающихся до ботаники» (см. там же, 1811, тома восьмого часть вторая, стр. 128).

Первый профессор минералогии Тартуского университета Маврикий Энгельгардт ездил в начале прошлого столетия из Тарту в Олонецкую, Архангельскую, Саратовскую, Оренбургскую и Пермскую губернии. О результатах одной из этих поездок ученый сообщил в Академию наук. Рассказывая о своих минералогических изысканиях, путешественник не обошел молчанием и ценнейший материал, собранный его спутником — тартуским студентом, а впоследствии русским естествоиспытателем и врачом,

Ф. Парротом. Ряд лекционных курсов, прочитанных Энгельгардтом в Тарту, был посвящен природным богатствам России.

В течение четверти века в Тарту жил и работал крупнейший ботаник-систематик XIX столетия К. Ф. Ледебур. Отсюда, будучи профессором университета, замечательный русский ученый отправился в свое знаменитое путешествие по Алтаю. Здесь, обработав собранный богатейший материал, Ледебур создал четырехтомную «Флору Алтая». В Тарту ученый подготовил также свой фундаментальный труд «Флора России», сделавший, по оценке крупнейших специалистов, эпоху в изучении флоры нашего отечества.

В 1901 году отдельными выпусками начал выходить крупный коллективный труд «Материалы для флоры Кавказа». Эта капитальная работа, целиком подготовленная директором Тартуского ботанического сада, крупнейшим русским систематиком и ботанико-географом Н. И. Кузнецовым и его учениками, представляет, по заключению историков отечественного естествознания, огромную ценность. В ней, как и в ряде других выдающихся исследований Н. И. Кузнецова, был обобщен огромный материал, собранный им во время многочисленных поездок из Тарту на Кавказ. В трудах замечательного ученого нашли отражение и его путешествие по Дагестану в 1898 году, и исследование им в 1900 г. флоры Армении, и замечательный переход через Главный Кавказский хребет летом 1911 года...

Крупную роль в овладении природными богатствами России сыграл также академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг. Являясь в течение десяти лет профессором Тартуского университета, этот выдающийся русский геолог и петрограф совершал отсюда поездки на Кавказ и в Крым, на Урал, в Воронежскую и Олонецкую губернии.

Одновременно с Левинсоном-Лессингом в Тарту жил и другой выдающийся русский геолог и палеонтолог — Н. И. Андрусов. Он переехал в Эстонию будучи уже крупным исследователем стратиграфии и палеонтологии Черноморско-Каспийской области. Кипучая и многообразная деятельность Андрусова в Тартуском университете явилась серьезным вкладом в отечественную науку. Замечательный исследователь ездил из Тарту на Кубань и в Дагестан, производил геологические исследования вдоль железнодорожной линии Керчь — Владиславовка и на Таманском полуострове, в Закаспийской области и в Шемахинском уезде. Об этих поездках ученый подробно рассказал в статьях — «Геологические исследования в Кубанской области между р. Адагумом и Кубанским лиманом», «Краткие сведения о результатах геологических исследований в Шемахинском уезде, произведенных летом 1901 г.», «Отчет о геологических исследованиях вдоль линии Владивостока—Керчь» и других, написанных в Тарту и опубликованных в «Трудах С.-Петербургского общества естествоиспытателей», «Известиях Геологического Комитета», «Записках Юрьевского университета».

Вклад тартуских профессоров в познание недр нашей родины, сделанный ими на протяжении XIX — начала XX веков, был высоко оценен многими выдающимися учеными.

[89] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 644, оп. 1, ед. хр. 770, секретное отношение начальника С.-Петербургского таможенного округа, л. 96.

[90] Там же, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 289, секретное предписание управляющего департаментом внешней торговли начальнику ревельского таможенного округа, л. 85.

[91] Там же, ф. 644, оп. 1, ед. хр. 784, секретное предписание начальника С.-Петербургского таможенного округа, л. 103.

[92] Там же, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 287, секретное предписание управляю-

щего департаментом внешней торговли начальнику ревельского таможенного округа, л. 28.

[93] Там же, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 287, секретное отношение начальника ревельского таможенного округа, л. 40.

[94] Там же, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 287, секретное отношение начальника ревельского таможенного округа надзирателю кундской таможенной заставы, л. 71.

[95] Там же, ф. 644, оп. 1, ед. хр. 878, секретное дело управляющего нарвской таможней «Переписка с управляющим С.-Петербургской таможней, надзирателем магербургской таможенной заставы и др. об усилении надзора за ввозом оружия, запрещенной литературы», л. 3.

[96] Там же, л. 15.

[97] Там же, ф. 644, оп. 1, ед. хр. 853, секретное отношение начальника С.-Петербургского таможенного округа управляющему нарвской таможней, л. 14.

[98] Там же, ф. 644, оп. 1, ед. хр. 878, секретное дело управляющего нарвской таможней «Переписка с управляющим С.-Петербургской таможней, надзирателем магербургской таможенной заставы и др. об усилении надзора за ввозом оружия, запрещенной литературы», л. 21.

[99] Там же, л. 24.

[100] Там же, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 161, л. 165.

[101] Там же, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 287, л. 51. Приводим это секретное отношение шефа жандармов прибалтийскому генерал-губернатору от 4 мая 1857 года:

«Я получил сведение, что революционные книги и брошюры, печатаемые на русском языке комитетом выходцев в Англии и отправляемые в разные места Европы, где преимущественно бывают русские, продаются с некоторого времени в значительном количестве в Берлине и предлагаются там русским путешественникам; что этого рода брошюры и книги наиболее продаются у тамошних книгопродавцов Шлезингера и Шнейдера (проживающих unter den Linden); которые не только выставляют оные в своих лавках, но посылают их в гостиницы, где останавливаются русские; что Шлезингер продал недавно в течение одной недели 33 экземпляра подобной книги «Полярная звезда» и что помянутые книгопродавцы ведут торговлю сими сочинениями столь успешно, что они два раза уже обращались к своим корреспондентам о более исправном доставлении к ним этих книг и ожидают в настоящее время прибытия нового транспорта.

Вместе с тем сообщено, что есть, как говорят, особый агент, который, разъезжая по направлению русской границы, пользуется удобными случаями, чтобы передать в Россию книги возмутительных сочинений, между которыми в особенности известны издаваемые Искендером (Герценом) в Лондоне: «Полярная звезда» и «Крещеная собственность», — «Голоса из России».

Сведения эти я считаю долгом сообщить вашей светлости, имею честь покорнейше просить о приказании принять надлежащие меры к предупреждению распространения помянутых сочинений в вверенном вам крае» (там же, л.л. 50—51).

[102] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 644, оп. 1, ед. хр. 875, дело нарвской таможни «Циркуляры и списки С.-Петербургской таможни и нарвского коменданта о запрещении ввоза антиправительственных брошюр: «Что нужно делать войску?», «Что нужно помещикам?» и др., проверке возвращающихся из-за границы русских общественных деятелей: Стасова, Рубинштейна, Гамалея, Достоевского и др.», л. 9. В этом обширном деле, среди прочих бумаг, находится полученное 15 июля 1862 г. в нарвской таможне секретное предписание управляющего С.-Петербургского таможенного округа. К документу

прилагался список лиц, «при возвращении которых из-за границы должно было обратить на них особенное внимание и сделать не только самый строгий обыск их вещей, но и самый строгий обыск их личностей, с тем, что если что-либо оказалось бы подозрительным, то лица эти должны были быть доставлены арестованными в III отделение». Особенное внимание предлагалось обратить на наличие у этих лиц «запрещенных книг, газет или подозрительных писем» (л. 44). В списке, среди прочих имен, упоминались В. Стасов, профессор Калиновский, гвардейские офицеры — братья Плаутины, Боткин, Писемский, сотрудник «Современника» Жемчужников, два брата Гамалеи, Достоевский и другие (л. 60).

[103] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 11984, дело канцелярии остзейского генерал-губернатора «О политических ссыльных», л. 79.

[104] См.: В. И. Модестов «Заграничные воспоминания». — «Исторический Вестник», 1883, № 2, стр. 399.

[105] См.: А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. XV, стр. 475.

[106] Юрий Кашкин «В Гейдельбергском университете». — «Голос минувшего», 1923, № 2, стр. 44.

[107] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 11984, дело канцелярии остзейского генерал-губернатора «О политических ссыльных», л. 79.

[108] См.: «Материалы, собранные особою комиссиею, высочайше учрежденной 2 ноября 1869 г. для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати», 1870, I, стр. 99—100.

[109] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 644, оп. 1, ед. хр. 780, секретное предписание начальника С.-Петербургского таможенного округа, л. 149.

[110] Там же, ф. 644, оп. 1, ед. хр. 875, дело нарвской таможни «Циркуляры и списки С.-Петербургской таможни и Нарвского коменданта о запрещении ввоза антиправительственных брошюр: «Что нужно делать войску?», «Что нужно помещикам?» и др., проверке возвращающихся из-за границы русских общественных деятелей Стасова, Рубинштейна, Гамалея, Достоевского и др.», л. 38.

[111] ЦГИА в Ленинграде, ф. 19, оп. 3, ед. хр. 368, дело «По отношению министра внутренних дел о принятии по таможенному ведомству наиубедительнейших мер к недопущению в пределы империи русских книг без одобрения цензуры за границею изданных», л.л. 10—11.

[112] Там же, ф. 1016, оп. 1, ед. хр. 970, фонд гр. фон-дер Палена, «Записка, поданная Альбединским государю осенью 1869 года», л. 57 об.

[113] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 11984, дело канцелярии остзейского генерал-губернатора, л. 34.

[114] В связи с этим, см.: ЦГИА в Ленинграде, дело центрального управления по цензурному ведомству «О цензировании иностранных книг, получаемых в Дерпте из-за границы, при Дерптском университете» (ф. 775, оп. 1, ед. хр. 33). В июле 1864 г. в сенате было заслушано и принято предложение министра юстиции: «Привозимые из-за границы по Варшавской железной дороге помещения с произведениями заграничной печати и предметами цензурному рассмотрению подлежащими, адресованные в Дерпт, предоставить Вержболовской таможне, по сделании оным таможенного досмотра, отправлять для цензурного рассмотрения в Дерптский университет» (л. 27).

[115] См.: М. И. Калинин «Славный путь комсомола», 1947, стр. 11.

[116] «Колокол», № 110, 1 ноября 1861, стр. 918.

[117] См.: М. Нечкина «Вопрос о русской революционной организации и планах открытого выступления в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов». — «Литературное наследство», т. 61, Герцен и Огарёв, ч. 1, изд. Академии наук СССР, М., 1953, стр. 476.

[118] См.: Мих. Лемке «Молодость «отца Митрофана»». — «Былое», 1907, № 1, стр. 206.

[119] См.: там же, стр. 217.

[120] См.: «Литературное наследство», т. 61, Герцен и Огарёв, ч. 1, изд. Академии наук СССР, М., 1953, стр. 501.

[121] См.: Мих. Лемке «Молодость «отца Митрофана»». — «Былое», 1907, № 1, стр. 211.

[122] См.: там же, стр. 222.

[123] См.: там же, стр. 211.

[124] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 16173, канцелярия остзейского генерал-губернатора, «Ведомость о лицах, состоящих под надзором полиции в Лифляндской губернии за 1861 год», л. л. 36—37.

[125] См.: Мих. Лемке «Молодость «отца Митрофана»». — «Былое», 1907, № 1, стр. 211—212.

[126] В. Манассеин «Несколько слов о дерптских студентах». — «Русская речь», 1861, № 62.

[127] См. недавно опубликованную рукопись Огарёва «Заграничные общества» («Литературное наследство», т. 61, Герцен и Огарёв, ч. I, изд. Академии наук СССР, М., 1953, стр. 503).

[128] Следует отметить ошибочность утверждения Ю. Каххка, что «в 1861 году в Тартуский университет поступил бывший член «Земли и Воли» В. А. Манассеин» («Известия Академии наук Эстонской ССР», 1953, № 3, стр. 461). Такую же ошибку допустил и Э. Мартинсон в своей брошюре «Исторические связи Тартуского (б. Юрьевского) университета с русской наукой» (Эст. гос. издат, Таллин, 1951, стр. 58). На самом деле В. А. Манассеин был зачислен в Тартуский университет еще до создания тайного общества. В связи с этим, см.: о зачислении В. А. Манассеина в Тартуский университет — Е. Бобров «К биографии В. А. Манассеина» («Русский врач», 1905, № 44); о времени создания «Земли и Воли» — Я. И. Линков «Роль А. И. Герцена и Н. П. Огарёва в создании и деятельности «Земли и Воли» («Вопросы истории», 1954, № 3).

[129] См.: «Русский врач», 1916, № 7, стр. 148.

[130] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 11738, «Дело о разрешении состоящим под надзором полиции М. Новоселицкому и В. Осмоловскому посещать Дерптский университет», л. 1.

[131] См.: «Колокол», приб. к л. 119—120, 15 января 1862, стр. 1003.

[132] Н. Ф. Бунаков «Моя жизнь в связи с общерусскою жизнью, преимущественно провинциальной. 1837—1905», СПб, 1909, стр. 51.

[133] В письме к сыну от 20 мая 1863 г. А. И. Герцен сообщал: «Я получил письмо из Гейдел.(ьберга. — А. Л.) от Ст. (А. Стуарта. — А. Л.); он недавно был в Питере...» (А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. 16, П., 1920, стр. 264). О Стуарте упоминается также в письмах А. И. Герцена дочерям от 24 февраля 1864 г., сыну — от 2 марта 1864 г., старшим дочерям — от 17 июня 1865 г. О встречах со Стуартом А. И. Герцен сообщал Н. П. Огарёву в 1863 г. в письмах из Женевы и Флоренции (см.: там же, стр. 515, 538).

[134] См.: А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. 16, П., 1920, стр. 95.

[135] См.: «Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма», т. 1, ч. II, М., 1928, стр. 41.

[136] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 12539, «Секретное дело канцелярии остзейского генерал-губернатора по политическим делам», л. 233.

[137] Там же, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 12391, дело канцелярии остзейского генерал-губернатора «О политических преступниках», л. 111. В этом деле имеется также секретное предписание министра внутренних дел лифляндскому, эстляндскому и курляндскому генерал-губернатору от 25 июля

1869 г. В нем сообщалось, что «по заключению... учрежденной в С.-Петербурге следственной комиссии, уволенный в 1862 г. от службы, по прикосновенности к делу о распространении преступной пропаганды, учитель Московского александринского корпуса, кандидат тамошнего университета Александр Котляревский был подвергнут секретному наблюдению» (л. л. 257—258). Допущенный в Тартуский университет профессором русского языка, Котляревский находился там под секретным полицейским надзором. О Котляревском см.: Д. Д. Языков «Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц», в. I, стр. 35—39 (даны список трудов и обширная некрологическая литература); «Источники словаря русских писателей и учёных», собрал С. А. Венгеров (указана литература); М. Лемке «Очерки освободительного движения шестидесятых годов», СПб, 1908, стр. 71; «Колокол», л. 147 (1862), стр. 1216; «Минувшие годы», 1908, II, стр. 54; «Историко-революционный сборник», III, 1926, стр. 303, Евгений Деген «Воспоминания дерптского студента» («Мир божий», 1902, № 3; А. А. Котляревский «Сочинения», СПб, 1889—1895, т. IV (его биография); газ. «Советская Эстония», 21 мая 1952 (статья о нем) и др.

[138] См.: А. И. Герцен, Полн. собр. сочинений и писем, т. 19, П., 1922, стр. 52—53 (комментарии М. К. Лемке).

[139] См.: там же, стр. 80.

[140] См.: там же, т. 15, П., 1920, стр. 586.

[141] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291 канцелярии остзейского генерал-губернатора, оп. 1, ед. хр. 16851, дело «О ложной корреспонденции М. Стравинского на счёт образа распределения пособия для эстляндских крестьян правительством оказанного, по случаю неурожая».

[142] ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 147, ед. хр. 145073, дело департамента народного просвещения по разряду высших учебных заведений «О драматическом театральном представлении, данном студентами Дерптского университета, нарушившем уважение против священной особы государя императора и о сложении с профессора Руммеля звания проректора», л. 38.

[143] На протяжении многих десятилетий театральные представления в Тарту были строго ограничены. Об э том свидетельствуют, в частности, архивные документы. 24 февраля 1867 г., в донесении, представленном министру народного просвещения, попечитель Дерптского учебного округа гр. Кайзерлинг давал следующую справку: «В 1804 г. (спустя два года после создания университета. — А. Л.) воспоследовало запрещение театра в Дерпте, которое, согласно предложению министра народного просвещения графа Завадовского от 16 ноября 1804 г., распространяется не только на представления театральных трупп, но и вообще на так называемые домашние представления любителей. Именно внушено было попечителем генералом Клингером от 6 декабря 1804 г., чтобы студенты и служащие при университете не принимали участия в качестве действующих лиц при театральных представлениях любителей. В том же смысле изъяснено было еще в 22-е ноября 1824 г. бывшим попечителем, князем Ливеном, высочайшее повеление, объявленное министром народного просвещения графом Разумовским в 1812 г. с тем, чтобы участие студентов в упомянутых представлениях считать недозволенным...» В 1838 г. студентам было разрешено, наконец, «упражняться в малых драматических представлениях», но при условии, чтобы в течение зимы этих представлений было не более восьми, чтобы в них не участвовали женщины, а сам выбор пьес регулировался ректором (ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 147, ед. хр. 145073, л. л. 36—38). Однако в августе 1846 г. остзейский генерал-губернатор сообщил попечителю Дерптского учебного округа, что он вменил «тамошней (дерптской. — А. Л.) полиции в обязанность, чтобы она под опасе-

нием строгой ответственности вовсе на позволяла ... драматических представлений» и что «труппы актеров вообще не должны быть терпимы в Дерпте местною полициею» (ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 8717, дело «О театральных представлениях», л. 13).

Всполошившее царских сановников «происшествие» 1866 г. явилось благовидным поводом для получения санкций о новом запрещении в Тарту театральных представлений. Этим воспользовался один из отъявленнейших врагов эстонского народа — тогдашний министр просвещения гр. Д. Толстой («Д. Толстой ..., известный крепостник, явно высказывал свою нелюбовь к просвещению, в особенности простого народа ..». — А. И. Дельвиг «Полвека русской жизни. Воспоминания. 1820—1870», М. — Л., 1930, т. II, стр. 553). В письме от 31 декабря 1866 г., адресованном лифляндскому, эстляндскому и курляндскому генерал-губернатору, он писал: «... Допускаемые в Дерпте публичные представления с благотворительною целью, в которых исполнителями бывают студенты, могут быть источником разного рода беспорядков, предупредить которые едва ли возможно. По сему и согласно мнению попечителя Дерптского учебного округа, я представлял на высочайшее благоусмотрение предположение мое воспретить на будущее время студентам Дерптского университета устраивать театральные представления ..» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 147, ед. хр. 145073, л. 27).

Остзейский генерал-губернатор со своей стороны возражал даже против посещения Тарту профессиональными театральными труппами. «Дозволение публичных представлений, — доносил он, — нисколько не послужило бы к устранению, но лишь к увеличению беспорядков со стороны студентов ..» (там же, л. 33). В другом донесении тех же дней губернатор требовал «публичные театральные представления, как в г. Дерпте, так и в окрестностях оного, вообще ... совершенно воспретить» (ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 12004, дело канцелярии остзейского генерал-губернатора «О дозволении студентам Дерптского университета давать драматические представления и вообще о театральных представлениях в Дерпте», л. 9). Этого же мнения придерживалось и остзейское дворянство, страшившееся проникновения на тартуские театральные подмостки прогрессивных произведений. Однако в министерстве внутренних дел еще хорошо помнили недавние студенческие волнения и предпочли не обострять отношений с тартуской молодежью: театральным труппам разрешили приезжать в Тарту, но за их репертуаром должен был следить сам губернатор.

[144] ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 147, ед. хр. 145073, дело департамента народного просвещения по разряду высших учебных заведений «О драматическом театральном представлении, данном студентами Дерптского университета, нарушившем уважение против священной особы государя императора и о сложении с профессора Руммеля звания проректора», л. 1.

[145] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 16740, дело канцелярии остзейского генерал-губернатора «О пасквилях и угрозах, распространяемых в уездах Дерптском и Верроском», л. 1.

[146] Евгений Деген «Воспоминания дерптского студента (из недавнего прошлого)». —«Мир божий», 1902, № 3, стр. 90.

[147] См.: «Окраина», 25 и 28 марта 1912, №№ 20 и 21.

[148] Там же, 16 апреля 1912, № 37. Газета «Окраина» выходила около года, неоднократно подвергаясь административным взысканиям. В связи с этим см.: ЦГИА в Ленинграде, дело 1 отделения канцелярии главного управления по делам печати «Об издании в Юрьеве «Маленькой газеты», переименованной в газету «Окраина» (ф. 776, оп. 9, ед. хр. 1961). Находящееся в архивном деле «Постановление лифляндского губернатора» от

7 апреля 1912 года сообщает, что «в №№ 2, 6, 11, 13, 20 (посвященном А. И. Герцену. — А. Л.) и 24 выходящей в г. Юрьеве газеты «Окраина» помещен целый ряд статей, которые содержат в себе сведения, возбуждающие в населении враждебное отношение, как к правительству, так и к государственной думе...» Губернатор подверг редактора штрафу в триста рублей с заменою, в случае отказа от уплаты, арестом на два месяца. О преследовании газеты «Окраина» говорит также другое подобное же заключение лифляндского губернатора от 8 октября того же 1912 г. (л.л. 15 и 16).

[149] «Окраина», 7 апреля 1912, № 30.

«ЭСТОНЕЦ И ЕГО ГОСПОДИН»

[1] См.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 779, ед. хр. 161, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, 1861 г., л. 408, рапорт рижского цензора Кестнера от 29 ноября 1861 г. Материалы о прохождении этой книги через ревельского цензора в архивных фондах не имеются.

[2] «Эстонец и его господин. Для объяснения экономического положения крестьян и вообще их состояния в Эстонии. Сочинение не эстонца, да и не его господина», пер. с немецкого А. Н. Шемякина, изд. имп. Общества истории и древностей российских при Московском университете, М., 1872, стр. 3.

[3] Там же, стр. 6.

[4] Там же, стр. 7.

[5] Там же, стр. 8.

[6] Там же, стр. 10.

[7] Там же, стр. 8.

[8] Там же, стр. 28—29.

[9] Там же, стр. 25.

[10] Об А. Н. Арсеньеве см.: «Русские деятели в остзейском крае. А. Н. Арсеньев» («Ревельский листок», 1878, №№ 15, 19, 21, 22, 25); «Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края», т. 1, Рига, 1877 (стр. 467—525). Из формулярного списка Арсеньева известно, что службу он начал переводчиком в иностранной коллегии еще в 1769 г., затем перешел в армию и, выйдя спустя некоторое время в отставку, получил место директора училищ Курской губернии. К моменту поездки в Прибалтику Арсеньев служил в департаменте уделов. Его биограф отзывается о нем, как о человеке огромных знаний, крутого нрава, беспощадном к порокам и преступлениям, бесстрашном в борьбе против бесчинств остзейского дворянства. «По приезде в Ригу он (Арсеньев. — А. Л.) отнесся к предмету своих занятий как к новой науке... К этого рода подвигам никто его конечно не поощрял, никто их не требовал и не ценил; сомнительно даже, чтоб министр брал на себя труд читать пространные трактаты о земском и крестьянском деле, которые пересылал ему в собственные руки его неутомимый подчиненный; а между тем эти трактаты, из которых в полтора года составился увесистый том и которые, вероятно, попадали из авторского кабинета в какой-нибудь архив старых и ненужных дел, гораздо богаче содержанием и особенно правдою, чем все позднейшие делопроизводства целых комитетов, работавших над тем же предметом» («Ревельские известия», 24 января 1878, № 19). Материал для этих обширнейших донесений Арсеньев черпал из бесед с крестьянами, из тщательно скрываемых от него архивных фондов. Его смелая деятельность, разумеется, пришлась, не по вкусу остзейским дворянам. По их настоятельному требованию Арсеньев, указом сената от 30 апреля 1806 г., был уволен от должности председателя рижской комиссии. Интригам

остзейцев в петербургских правительственных кругах привели к тому, что «беспокойный» чиновник, по существу, закончил на этом свою служебную карьеру.

[11] «Эстонец и его господин . . .», там же, стр. 27.

[12] См.: «История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней)», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 162.

[13] ЦГИА в Ленинграде, ф. 1286, оп. 2, ед. хр. 8, дело «Об ослушании крестьян Эстляндской губернии мызы Рупль», л. 5.

[14] «Эстонец и его господин . . .», там же, стр. 30—31.

[15] Там же, стр. 32.

[16] Этот материал использовал, работая над «Войной в Махтра», Эд. Вильде. В своем романе, он привел, в частности, те же сравнительные данные об огромном росте доходности помещичьих хозяйств, которые приводил автор «Эстонца и его господина». Поместье, стоившее в 1820 году 6479 рублей, сообщал Эд. Вильде, через несколько лет было продано за 15760 рублей. Стоимость другого поместья в течение четырех лет поднялась с 23 000 до 31 300 рублей. Третье, спустя десять лет, уже оценивалось не в 35 700, а в 70 600 рублей (см.: Эд. Вильде «Война в Махтра». Эст., гос. издат., Таллин, 1951, стр. 137).

[17] «Эстонец и его господин . . .», там же, стр. 53—54.

[18] Там же, стр. 74.

[19] Там же, стр. 89.

[20] Там же, стр. 81.

[21] Там же, стр. 83.

[22] Там же, стр. 87.

[23] Там же, стр. 2.

[24] Там же, стр. 102.

[25] Там же, стр. 130.

[26] Там же, стр. 131.

[27] Там же. Напомним, что эти строки увидели свет в 1861 году. Одновременно с выходом «Эстонца и его господина» официозный «Журнал министерства внутренних дел» (1861, ч. 47, отд. II, стр. 1—19; ч. 48, отд. II, стр. 51—113) опубликовал пространную статью «О крестьянских школах в Остзейских губерниях». Ее автор, превознося «заслуги» остзейских дворян в просвещении эстонского народа, заявлял: «Все сделанное по настоящее время в Эстляндской губернии для народного образования принадлежит помещикам, из которых многие, не без значительных материальных пожертвований, довели волостные школы в своих имениях до цветущего состояния» (там же, ч. 48, отд. II, стр. 100). Это утверждение было настолько лживым, а приведенные данные о количестве школ и их посещаемости так не соответствовали восторженному выводу, что автор вынужден был поспешно оговориться: «К сожалению, во многих еще местах чувствуется недостаток в школах и во многих из существующих училищ преподавание далеко еще не может быть признано удовлетворительным» (там же). У анонимного сочинителя, остзейское происхождение которого легко было распознать, концы явно не сходились с концами!

[28] «Revalische Zeitung», 27 января 1862 г.

[29] «День», 1862, № 50.

[30] См.: «Фр. Р. Крейцвальд в портретах и иллюстрациях», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 134.

[31] Впервые имя В. В. Иванова мы упоминали в статье, посвященной книге «Эстонец и его господин» (см.: «Советская Эстония», 7 декабря 1952, № 288). Ему посвящена наша статья «Русский моряк Василий Иванов — друг эстонского крестьянства» («Советская Эстония», 18 июля 1954, № 169).

[32] См.: Центральный государственный архив военно-морского флота

СССР, ф. 406, оп. 3, ед. хр. 734, «Полный послужной список поручика корпуса штурманов Василия Иванова»; там же, ф. 406, оп. 3, ед. хр. 568, «Формулярный список о службе и достоинстве корпуса штурманов Балтийского флота прапорщика Василия Иванова»; материалы об Иванове см. там же — ф. 406, оп. 3, ед. хр. 806, 668, 404.

[33] Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), ф. 3, оп. 4, ед. хр. 237, архив Аксаковых, л. 390. Выступления местных прогрессивных деятелей против остзейского «особого порядка» и мракобесия лютеранского духовенства вызывали, как правило, бурную реакцию реакционнейших слоев Прибалтики. Жившим в Эстонии авторам обличительных газетных и журнальных статей, в целях предосторожности, приходилось даже скрывать свое авторство. На это, в письме к А. Н. Майкову, указывал тартуский профессор П. А. Висковатов. «Напечатанная мною корреспонденция, — писал он по поводу одной из своих статей, — здесь вызвала, как и следовало ожидать, целую бурю. Сделают все, чтобы узнать, кто ее написал. Если узнают, будет очень неприятно, не мне, я готов бороться на смерть, но семья моя, дочери будут тотчас объявлены «вне общества» (архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР).

[34] «Морской сборник», 1862, т. LVIII, № 4, отдел «Современное обозрение», стр. 146.

[35] См.: «День», 1862, № 50, стр. 10.

[36] Там же.

[37] См.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 772, оп. 8, ед. хр. 91, дело главного управления цензуры, «Программа еженедельной газеты «Кронштадтский вестник» на 1861 г.», л. л. 10, 18—21.

[38] «Кронштадтский вестник», 6 сентября 1863, № 101.

[39] Там же.

[40] Там же.

[41] Там же.

[42] «День», 11 апреля 1864, № 15.

[43] Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), ф. 3, оп. 4, ед. хр. 237, архив Аксаковых, л.л. 389—390.

[44] В. В. Иванов имел все основания беспокоиться об участи своей статьи. В 60-х годах, как и ранее, цензура усиленно оберегала остзейское дворянство от обличительных выступлений российской печати. Об этом говорит ряд архивных материалов той же газеты «День», систематически, со славянофильских позиций, нападавшей на прибалтийский «особый порядок».

15 января 1863 г. остзейский генерал-губернатор обратился в цензурное ведомство с протестом против незадолго до того (15 декабря 1862 г., № 50) опубликованной в газете «День» статьи А. Васильева «Латыши и их литература». Автор этой статьи писал о бедственном положении латышей, находившихся в кабале у немецких помещиков. Губернатора особенно взбесило редакционное примечание, в котором говорилось: «Мы сочтем себя счастливыми, если наша газета может сколько-нибудь содействовать пользе и освобождению латышского племени от духовного ига немцев». За жалобой губернатора последовало строжайшее указание высшего цензурного начальства председателю Московского цензурного комитета: «В июне месяце прошлого 1862 года государь император, обратив внимание на статью об остзейских немцах, напечатанную в № 34 газеты «День», соизволил собственноручно отметить: «Эту полемику желательно бы прекратить. Пользы она никакой принести не может, а только еще более возбудит обоюдные нарекания»... Ссылаясь на это давнее указание царя, высшее цензурное начальство требовало «поставить на вид г. цензору, одобрившему к печати означенную статью (в № 50 газеты. — А. Л.),

его неосмотрительность в настоящем случае и вместе с тем подтвердить по цензурному комитету о неуклонительном впредь исполнении высочайшего повеления о прекращении полемики с немецким населением остзейского края». 23 января 1863 г. остзейскому генерал-губернатору сообщены были принятые цензурным начальством меры для предотвращения возможности появления в печати «статьи подобного же содержания» (см.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 8, дело центрального управления по цензурному ведомству «По отношению рижского военного губернатора о прекращении полемики с немецким населением остзейского края», л. л. 1—7).

Второе цензурное дело связано со статьей «Голос эстонца» в № 24 газеты «День» за 1864 г., также признанной генерал-губернатором «наполненной неверных и враждебных заявлений». Пересылая в цензурное управление свою жалобу, губернатор просил дать И. Аксакову указание о немедленном опубликовании опровержения. Распоряжение не замедлило последовать. Редактор же газеты согласился поместить опровержение губернатора не иначе, как с подстрочными примечаниями, т. к. письмо губернатора было «исполнено дерзких и оскорбительных выражений и самой неосновательной аргументации». В противном случае, заявлял И. Аксаков, читатели будут вправе подумать, что редактор признал справедливыми все лживые обвинения и уверения автора опровержения.

Редакционные примечания И. Аксакова свидетельствовали о том, что этот видный деятель славянофильства, критикуя остзейский «особый порядок», в то же время поддерживал правительство, одобрял прибалтийские крестьянские «реформы». Причину бедствий эстонского народа он видел, главным образом, в несоблюдении остзейским дворянством и местными властями «хороших» законов. «Автор (речь идет о губернаторском «опровержении». — А. Л.) слишком неуместно и часто прикрывается буквою закона и официальностью, — писал в одном из примечаний И. Аксаков. — Как автор статьи «Голос эстонца», так и редакция «Дня», имели, напротив, ввиду устранить поводы к неприязни чрез указание отступлений от закона... (разрядка наша. — А. Л.)». Располагая рядом других статей, утверждал И. Аксаков, он мог бы, по его убеждению, «показать все противоречие требований закона с их осуществлением на практике...»

Прекрасно разбираясь в характере критических выступлений И. Аксакова, всячески выгораживавшего монархический строй, цензура сочла возможным не дискредитировать славянофильскую газету. Поэтому, после длительной переписки, опровержение губернатора, а следовательно и примечание к нему, не было опубликовано (см.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 96, дело центрального управления по цензурному ведомству «По статье из № 24 газеты «День» «Голос эстонца», л.л. 1—22).

Наряду с преследованием выступавших против остзейского дворянства петербургских и московских периодических изданий, строжайший надзор установлен был и за прибалтийской прессой. В декабре 1865 г. таллинскому цензору прислано было специальное отношение начальника главного управления по делам печати, резко осуждавшее «желчные и язвительные нарекания, которым .. подвергалось почти все то, что принадлежало в прибалтийском крае к особым его учреждениям...» (ЦГИА Эстонской ССР, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 429, л. 1).

В связи с приведенными документами см. сделанную 9 ноября 1867 г. в дневнике В. Ф. Одоевского запись: «В «Северной Почте» сообщение административное о вреде полемики между русскими журналами и остзейскими с угрозой и указанием на закон 6 апреля 1865 года. Толкуют в Москве так: тонкая штука; статья будто бы направлена против остзейцев, но запрещением и угрозой они обезопасены от разъяснения их действий

для онемечения края, т. е. леттов и эстов — в русских журналах. Они будут посылать свои враждебные России статьи в заграничные журналы (как уже и делают), а русские журналы принуждены будут молчать, ибо отвечая на заграничные статьи, они невольно коснутся того, что «Северная Почта» называет возбуждением одной части государства против другой. Напоминание о том, что латышские журналы подвергаются строгой цензуре, когда не выражают сочувствия немцам, а выражают сочувствие России, подойдёт ли к категории статей, раздражающих одну часть народонаселения против другой?» («Текущая хроника и особые происшествия» — дневник В. Ф. Одоевского, «Литературное наследство», т. 22—24, М., 1935, стр. 236; подлинник см. в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в собрании бумаг Одоевского).

[45] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, архив П. П. Пекарского, ед. хр. 238, л. 3.

[46] См.: «Земледельческая газета», 19 мая 1862, № 20, стр. 314—316.

[47] «Современное слово», 17 октября 1862, № 111.

[48] ЦГИА в Ленинграде, ф. 772, оп. 8, ед. хр. 92, дело главного управления цензуры «По письму г. управляющего министерством внутренних дел о статьях, касающихся права крестьян на землю помещиков», л. 13.

[49] Там же, ф. 776, оп. 2, ед. хр. 108, «Отчет по Московскому цензурному комитету о произведениях печати за 1872 год», л. 177 об.

[50] См.: «Чтения в имп. обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1860, № 2, отд. V, стр. 218—227. См. также отдельный оттиск: «Разные бумаги В. Каразина», М., 1861.

[51] См.: «Чтения в имп. обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1865, № 3, стр. 144—172.

[52] См. там же, 1867, № 4, стр. 83—95.

[53] См. там же, 1870, № 1, стр. 1—178 (в переводе А. Н. Шемякина, с предисловием О. М. Бодянского).

[54] См. там же, 1871, № 2, стр. 93—137.

[55] См. там же, 1871, кн. 4. В следующем — 1872 г. в том же издании, «Эстонец и его господин» вышел отдельным оттиском. В последующие годы «Чтения» продолжали уделять Эстонии значительное место. А. А. Чумиков (1819 — умер 19 марта 1902 г. в Таллине) — известный в своё время педагог, основатель и издатель «Журнала для воспитания» (в этом журнале сотрудничали Н. Добролюбов, Н. Помяловский, К. Ушинский, П. Редкин и др.) поместил в «Чтениях» большое число сообщений из древней истории Эстонии. См.: «Чтения в имп. обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1886, кн. 4, стр. 1—18; 1888, кн. 1, стр. 1—5; 1891, кн. 2, стр. 1—59; 1897, кн. 2, стр. 1—10; 1898, кн. 1, стр. 1—20; 1898, кн. 4, стр. 1—21.

[56] О. М. Бодянский был связан с рядом деятелей Эстонии. См. письмо к нему таллинского преподавателя русского языка Н. В. Закревского с описанием обстановки в городе в военные дни 1854 г. («Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, М., 1901, ч. 8, стр. 315—317, 319—320).

[57] «Письма А. Н. Шемякина к О. М. Бодянскому (1859—1875 гг.)», М., 1895, стр. 41.

[58] Там же, стр. 42

[59] Там же, стр. 43.

[60] Там же, стр. 46.

[61] Там же, стр. 47.

[62] Там же, стр. 52.

[63] Там же. В связи со свидетельством А. Н. Шемякина о впервые выполненном им переводе «Эстонца и его господина» необходимо внести по-

правку в соответствующий раздел «Истории Эстонской ССР» (Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 208), ошибочно утверждающий, что «книга вышла анонимно... в 1861 году на немецком языке в Берлине и в 1862 году на русском языке в Петербурге» (то же см.: Э. Э. Мартинсон «История основания Тартуского (б. Дерптского — Юрьевского) университета», изд. Ленинградского университета, Л., 1954, стр. 175). Истоки этой ошибки — в фундаментальном указателе Е. Винкельмана «Bibliotheca Livoniae historica» (Берлин, 1878), где зафиксирован сделанный, якобы, В. В. Ивановым и вышедший в 1862 г. в Петербурге, под названием «Эстонец и его барин», перевод анонимной книги. Такого издания нет даже в крупнейших книгохранилищах страны — Государственной библиотеке имени В. И. Ленина, библиотеке Академии наук СССР и Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. В том случае, если бы перевод В. В. Иванова действительно существовал, он не мог бы миновать цензурное ведомство. Однако в «Списке изданий, выпущенных в свет и рассмотренных С.-Петербургским цензурным комитетом в 1862 г.» (см.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 115), а также в «Реестре печатных книг, выпущённых в свет в 1862 г., С.-Петербургского цензурного комитета» (там же, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 294), эта книга не зарегистрирована. Е. Винкельман принял, по всей вероятности, за отдельное издание книги — вышедший в виде брошюры оттиск статьи В. В. Иванова «Эстонец и его барин» из газеты «День» (1862, № 50), являвшейся рецензией на анонимную книгу. Обнаружить этот оттиск нам не удалось, хотя он без сомнения существовал. Это явствует из приводимой ниже заметки «Рижского вестника» (1896, № 254, стр. 2): «Число русских людей, литературно занимавшихся балтийскими вопросами, очень незначительно и тем с большей готовностью я спасаю от забвения имя, которое имеет право на местечко в балтийском русском литературном пантеоне. Это В. В. Иванов — автор брошюры «Эстонец и его барин», на которой только по отметке: «Одобрена цензурой 6 июня 1862 года» можно догадаться, что она появилась в 60-х гг.».

[64] ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 2, ед. хр. 10, журнал заседаний совета главного управления по делам печати, 1872 г., ч. 1, л. 154.

[65] «Эстонец и его господин», там же, стр. 3—4.

[66] Ф. Р. Крейцвальд «Избранные письма», Эст. гос. изд., Таллин, 1953, стр. 126.

[67] Там же, стр. 132.

[68] «С.-Петербургские ведомости», 11 (23) сентября 1864 г., № 200.

[69] См.: «Иллюстрированная газета», № 39, 8 октября 1864 стр. 224; «Книжный вестник», № 17, 15 сентября 1864, стр. 361; «Месяцеслов на 1866 год», СПб, изд. Академии наук, стр. 395.

[70] См. наши статьи: «Советская Эстония», 7 декабря 1952, № 288; там же, 21 апреля 1953, № 94.

[71] «История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней)», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 209.

[72] «История Латвийской ССР», т. I — с древнейших времен до 1860 года, изд. Академии наук Латвийской ССР, Рига, 1952, стр. 605.

[73] Э. Э. Мартинсон «История основания Тартуского (б. Дерптского-Юрьевского) университета», изд. Ленинградского университета, Л., 1954, стр. 175.

[74] См.: Ю. Кяосаара «Эдуард Вильде и его роман «Пророк Малтсвет» в кн.: Эд. Вильде «Пророк Малтсвет», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 691—692.

[75] См. указатель имен в кн.: Ф. Р. Крейцвальд «Избранные письма», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 211. Это утверждение повторяется П. Н. Изместьевым в его статье «Ф. Р. Крейцвальд»: «В 50—60-х годах прошлого века, — пишет он, — в Таллине выделялась демократической

деятельностью группа интеллигентов, в числе них был русский педагог и публицист В. Т. Благовещенский... Благовещенский поддерживал связь с Герценом и сообщал ему о событиях в Эстонии...» (альманах «Эстония», 1955, № 5, стр. 233).

[76] См.: «Ф. Р. Крейцвальд в портретах и иллюстрациях», Эст. гос. издат., Таллин, 1953, стр. 135.

[77] Э. И. Нирк «Фридрих Рейнгольд Крейцвальд и его наследие» («Дружба народов», 1953, № 6, стр. 249).

[78] См.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 321, дело «О назначении пенсии цензору Благовещенскому и вдове его», л.л. 19—25 — «Формулярный список о службе отдельного цензора в Ревеле статского советника Благовещенского».

[79] Там же, ф. 733, оп. 57. ед. хр. 39, дело департамента народного просвещения «О введении в остзейских начальных училищах «Российской азбуки», составленной учителем русского языка в Дерптском уездном училище Благовещенским», л. 2.

[80] Там же, л. 6.

[81] См.: «Известия Академии наук Эстонской ССР», 1953, № 3, стр. 459.

[82] См.: Ю. Кяосаара «Эдуард Вильде и его роман «Пророк Малтсвет»» в кн.: Эд. Вильде «Пророк Малтсвет», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 691.

[83] В нашей статье, опубликованной в газ. «Советская Эстония» (7 декабря 1952, № 288), редакция также, без согласования с автором, исключила почему-то указание на принадлежность Благовещенского к цензурному ведомству.

[84] См. в связи с переводом В. Т. Благовещенского цензором в Таллин: ЦГИА в Ленинграде, ф. 772, ед. хр. 149693, дело канцелярии министра народного просвещения по главному управлению цензуры «Об определении цензоров по Дерптскому учебному округу. Тут же — дело о выдаче пособия цензору Благовещенскому», л. л. 22—23. В том же архиве см.: ф. 775, оп. 1, ед. хр. 133, дело центрального управления по цензурному ведомству «О смерти отдельного цензора Благовещенского...».

[85] ЦГИА в Ленинграде, ф. 779, ед. хр. 158, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 98.

[86] Там же, ф. 779, ед. хр. 154, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 556.

[87] Там же, ф. 779, ед. хр. 159, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 384.

[88] Там же, ф. 779, ед. хр. 162, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л.л. 313—315.

[89] Там же, ф. 779, ед. хр. 160, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 248.

[90] «Эстонец и его господин», там же, стр. 131—132.

[91] ЦГИА в Ленинграде, ф. 779, ед. хр. 158, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 100.

[92] Там же, ф. 779, ед. хр. 165, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 76.

[93] Там же, ф. 779, ед. хр. 155, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 77 об. Беспрепятственно пропуская из-за границы только лишь «благонамеренную» литературу, отражавшую, в основном, мировоззрение остзейского дворянства и лютеранского духовенства, прибалтийская цензура всегда препятствовала проникновению в Эстонию произведений выдающихся писателей Запада. Это подтверждается многими, извлеченными нами из архивов, документами. Приводим некоторые из них.

В 1866 году преемник Благовещенского задержал, например, доставленные в Таллин тома посмертного собрания сочинений Генриха Гейне. В обширном донесении начальнику главного управления по делам печати он сообщал, что «некоторые из произведений Гейне так и кишат не только то явными, то скрытыми нападениями на христианскую веру, на государство и на церковь, а просто богохульными выходками». В прибалтийских губерниях, где значительная часть молодежи владела немецким языком, сочинения Гейне, по убеждению цензора, были особенно опасны. «Основательность» своих опасений он подтверждал множеством выписок из «возмутительных» сочинений поэта. В главном управлении по делам печати оценили рвение таллинского цензора и ходатайствовали об объявлении ему «за возбуждение... вопроса» благодарности (ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 351, дело канцелярии главного управления по делам печати «По представлению ревельского отдельного цензора о сочинениях Г. Гейне...», л. л. 1—27).

Запрету подверглись в 1885 г. переведенные на эстонский язык «Разбойники» Ф. Шиллера. Эта пьеса запрещена была на том основании, что, по мнению цензора, «впечатление от нее на массу было несколько иное, чем на образованную публику; между тем, как последняя способна, — писал он, — воспринимать изображенные в ней возвышенные идеи, первая остается более доступною трагическим кровавым сценам и едва ли выносит из нее сколько-нибудь поучительного» (ЦГИА в Ленинграде, фонд драматической цензуры, архив. № 2/1885, рапорты цензоров драматических произведений, л. 91). За этим казуистическим ответом на ходатайство эстонских прогрессивных театральных деятелей нетрудно было разглядеть его истинный смысл: предохранить эстонский народ от «крамольных» идей пьесы Ф. Шиллера. Цензурное ведомство отвергло и более позднее (1898 г.) ходатайство о постановке в Эстонии «Разбойников»: «Для крестьянского по преимущественно эстонского населения, — гласил официальный документ, — постановка этой драмы на сцене допущена быть не может» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 25, ед. хр. 5, дело 1 отделения канцелярии главного управления по делам печати по просьбам частных лиц о рассмотрении пьес, стихотворений и проч. на эстонском, латышском, финском и шведском языках, 1898 г., л. 11).

По поводу переведенной в 1903 году на эстонский язык пьесы Г. Ибсена «Общественные устои» ревельский цензор доносил: «Она неудобна к исполнению на сцене, так как в ней изображается современная жизнь Западной Европы с ея революционными страстями, рабочим движением, борьбою партий и печати» (ЦГИА в Ленинграде, фонд главного управления по делам печати, драматическая цензура, рапорты цензоров, 1903 г., л. 184).

[94] ЦГИА в Ленинграде, ф. 779, оп. 4, ед. хр. 154, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 107.

[95] Там же, ф. 779, ед. хр. 164, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 211.

[96] Там же, ф. 779, ед. хр. 163, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л.л. 204—205.

[97] Там же, ф. 779, ед. хр. 163, рапорты цензоров центрального комитета цензуры иностранной, л. 205.

[98] «Эстонец и его господин», там же, стр. 4.

[99] См.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 321, дело центрального управления по цензурному ведомству «О назначении пенсии цензору Благовещенскому и вдове его», л.л. 19—25.

[100] См.: М. Яблочков «История дворянского сословия в России», СПб, 1876, стр. 627. Ср.: А. Романович-Славатинский «Дворянство в России от

начала XVIII века до отмены крепостного права», СПб, 1870, стр. 31; «Указатель законов о дворянстве», М., 1849, стр. 11.

[101] См.: М. Яблочков «История дворянского сословия в России», СПб, 1876, стр. 627.

[102] См.: «Список гражданским чинам первых шести классов по старшинству на 1858 г.», СПб, стр. 290. О правах (до 1856 г.) статского советника на потомственное дворянство см.: А. Романович-Славатинский «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права», СПб, 1870, стр. 27, а также — «Указатель законов о дворянстве», М., 1849, стр. 6.

ЖИВЫЕ, ТРЕПЕТНЫЕ НИТИ

[1] См.: Л. Н. Толстой, Полн. собр. сочинений (юбилейн. изд.), т. 59, гос. изд. худ. литературы, М., 1935, стр. 30.

[2] См.: «Ясная Поляна. Статьи, документы», ОГИЗ, Госполитиздат, 1942, стр. 18.

[3] «Дневник А. С. Суворина», М., 1923, стр. 263.

[4] Л. Н. Толстой, Полн. собр. сочинений (юбилейн. изд.), т. 52, гос. издат. худ. литературы, М., 1952, стр. 145.

[5] Там же.

[6] М. М. Лисицын «Десять лет в Прибалтийском крае (воспоминания бывшего редактора одной из прибалтийских газет)». — См.: «Русская старина», 1904, декабрь, стр. 668.

[7] «Дерптский листок», 18 сентября 1891, пробный номер (имеется в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина); М. М. Лисицыным экземпляр пробного номера вместе с сопроводительным письмом послан был Л. Толстому — см.: Государственный музей писателя в Москве, шифр 9290, 162—150). Эта русская газета издавалась эстонской газетой «Олевик». Встреченная официозной прибалтийской прессой в штыки, она просуществовала всего лишь немногим более года.

[8] М. М. Лисицын «Десять лет в Прибалтийском крае: (воспоминания бывшего редактора одной из прибалтийских газет)». — См.: «Русская старина», 1904, декабрь, стр. 676.

[9] Там же, стр. 678.

[10] См.: «Литературная мысль», II, изд. «Мысль», Петроград, 1923, стр. 202.

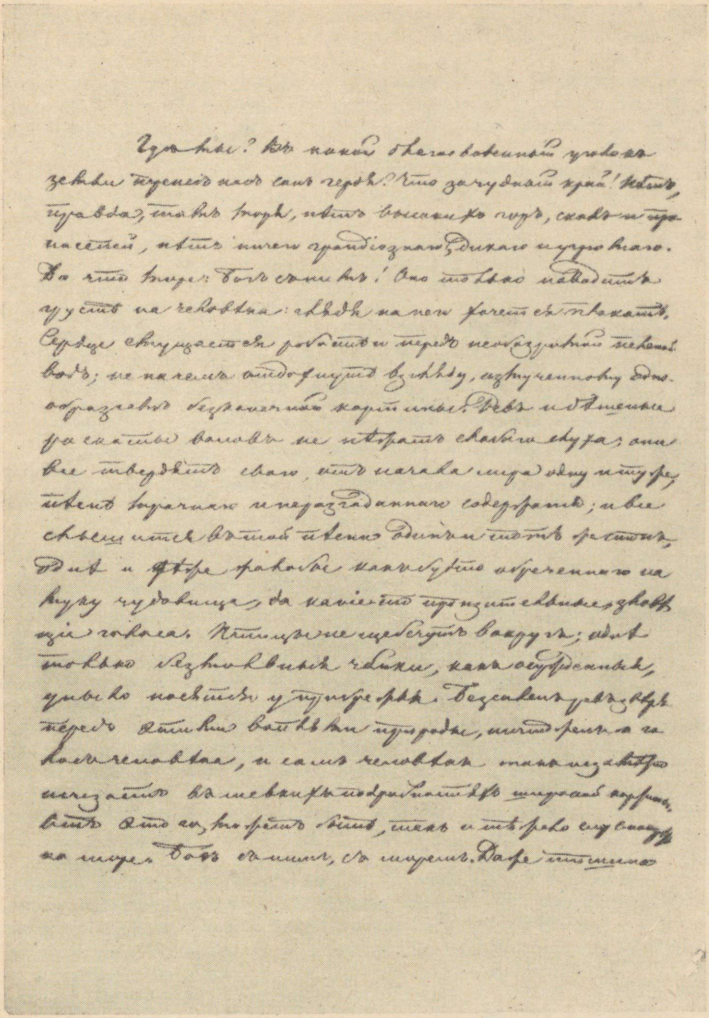
[11] Послесловие к «Крейцеровой сонате» в России впервые было опубликовано в 1891 г. в 13-м томе сочинений Л. Н. Толстого.

[12] Об этом письме в «Дневнике» Л. Толстого сказано: «Письмо от Лисицына трогательное по искренности».

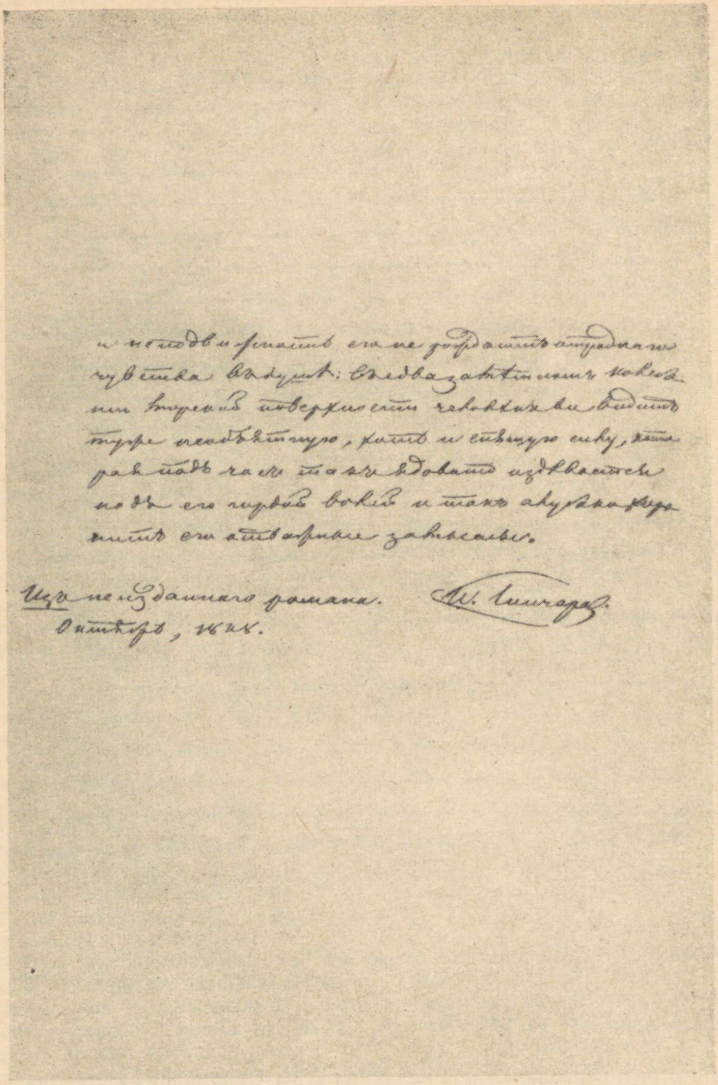
[13] См.: «Литературная мысль», там же, стр. 200—201.

[14] См.: там же, стр. 202.

[15] Н. С. Лесков был хорошо осведомлен о прибалтийском образе жизни, т. к. неоднократно бывал в Эстонии. Летом 1870 г., в Таллине, он имел столкновение с остзейскими баронами, посмевшими в его присутствии оскорбительно отозваться о России и русском народе. Местное дворянство затеяло против писателя дело в эстляндском рыцарском суде и даже в сенате (см.: «Русский мир», 1872, №№ 313 и 323). В один из своих последующих приездов в Эстонию, отправившись на о. Сааремаа, Н. С. Лесков с возмущением отметил варварское обращение экипажа парохода с «палубными» пассажирами третьего класса. Лето 1891 г., к которому относится переписка Лисицына с Л. Толстым по поводу газеты «Прибалтийский край», так же как и лето следующего, 1892 г., Н. С. Лесков провел в Усть-Нарове (Нарве-Йыэсуу). См. письма этого периода: «Шестидесятые годы»,



Автограф первоначальной редакции «Сна Обломова» из романа И. А. Гончарова «Обломов».
Рукописный отдел фундаментальной библиотеки Тартуского государственного университета.



Автограф первоначальной редакции «Сна Обломова»
из романа И. А. Гончарова «Обломов».
Рукописный отдел фундаментальной библиотеки Тартуского
государственного университета.

материалы по истории литературы и общественному движению, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1940, стр. 362—364, 371—373.

Отметим, кстати, что там же, в Усть-Нарове (Нарве-Йыэсуу), незадолго до Н. С. Лескова (в 1887 г.) жил другой выдающийся русский писатель И. А. Гончаров.

«Поместив в журнале статью из университетских воспоминаний, — рассказывал он, — я стал рыться в своей памяти и в домашних бумагах с целью, не найду ли что-нибудь в них возможное для печати. Я захватил бумаги с собой в Усть-Нарову, на дачу, чтобы на досуге посмотреть, нет ли в них еще каких-нибудь воспоминаний, заметок, например, о том, что было дальше, что я видел, что я наблюдал и переживал по выходе из университета . . .

. . . Я завешиваюсь от солнца, в защиту больных глаз, и роюсь в бумагах, с пером в руках. День за днем, мало-по-малу, у меня накопилась порядочная кучка писанных листов . . .» (И. А. Гончаров, Полн. собр. сочинений, т. IX, изд. пятое, П., 1916, стр. 137—138).

[16] См.: «Литературная мысль», II, изд. «Мысль», Петроград, 1923, стр. 203.

[17] Публикуем ряд обнаруженных нами листовок, свидетельствующих о солидарности тартуских студентов со студентами других городов России, об их активном участии в общероссийских студенческих волнениях 1901 года. Листовки даются по копиям, снятым в свое время министерством внутренних дел и препровожденным 16 апреля 1901 года в департамент народного просвещения.

Листовка I-я.

«Товарищи.

С самого начала текущего года нет почти дня, который не приносил бы нам ужасных известий о жестокой и варварской расправе со студентами, осмеливающимися чувствовать себя людьми и требующими уважения и достоинства к священнейшим правам личности. Вчера темные силы деспотизма попрали возвышенное стремление к свободной, нехолопской науке, сегодня попирают естественное влечение к свободе жить и передвигаться, а завтра попрут элементарную потребность живого существа — дышать в чистом воздухе. Малейшее негодование против этого адского порядка вызывает со стороны жрецов мрака усиление бдительности и «надзора» и зверские вакханалии произвола и насилия. Разъяренный деспотизм чувствует, как колеблется почва под его ногами, и вот, устрашенный пожаром, вспыхнувшим в разных концах его царства, он не удовлетворяется уже усмирением разрушителей устоев, но в своем озверении топчет им самим созданные законы; этим единственно можно объяснить обнародование мерзких, но вместе с тем и нелепых «временных правил».

Сотни наших товарищей за смелый призыв к протесту против дикого насилия выбиты из колеи сознательной жизни и ввергнуты в беспросветную бездну казарменного прозябания. Студенчество не хочет предоставить пострадавших произволу палачей и вот в Петербурге и Харькове устраивают демонстрации, в Москве, Одессе и др. городах составляются сходки, на которых постановляют всеобщую забастовку. Эти проявления протеста вызывают новый взрыв озверения, — опять пускаются в ход нагайки и кулаки, бьют молодых и старых, мужчин и женщин, и льется кровь студенческая . . .

Товарищи! Фактов налицо достаточно. Пора и нам, наконец, отказаться от постыдной роли зрителей. Честный человек негодует, кровь горячей волной приливает к его сердцу, он задыхается в удушливой атмосфере дес-

потизма. Итак, к протесту, к протесту, к протесту. Ближайший путь к нему — это забастовка.

Союзный совет дерптских объединенных землячеств и организаций. Дерпт, 1901 года 28 февраля»

(ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 151, ед. хр. 190593, дело департамента народного просвещения «О беспорядках в 1899—1900 гг.», л. 7. Союзный совет дерптских объединённых землячеств и организаций был создан в начале 1899 года и осуществлял руководство студенческим движением).

Листовка 2-я.

«Товарищи! Студенческое движение вступило в новый победоносный период. Скромное стремление к академической победе, провозглашенное до сих пор исключительно внутри университетов, приняло серьезные размеры требований, уступок со стороны деспотического режима. Требования эти нашли себе единодушный отклик в широких кругах интеллигенции, в сознающих свою передовую роль рядах рабочих и вылились в форме грандиозных уличных демонстраций, способных поколебать пресловутую твердость и устойчивость самодержавного правления. Сознательные слои русского общества стали под знамя протеста. Последние события в С.-Петербурге, Москве и Харькове ясно показали, что обычных средств полицейского милитаризма уже недостаточно для подавления вспыхнувшего возмущения честных сердец . . . . . (слова пропущены в копии. — А. Л.) приближение безжалостной кары, которую готовит им история, и вот, в безотчетном страхе, обреченные на неминуемую гибель, они прибегают к самым гнусным мерам, пускают в ход нагайки и командуют атаку опьяненных водкой казаков на безоружную толпу, и так же задыхающуюся в гнилой атмосфере абсолютизма. Но чем более свидетельствуют «могучие защитники» престола, тем ярче обнаруживают их жалкое бессилие. Самые крупные расправы, глумление над безоружными, умерщвление женщин и юношей, массовые аресты и т. п. имеют непосредственным своим результатом только больший еще подъем революционного духа, сильнейший взрыв негодования и значительное повышение требований. Движение растет, возмущение охватывает все большие массы. Появляются воззвания писателей и профессоров, не говоря уже о сочувствии всей свободомыслящей Европы.

Товарищи! Теперь не время рассуждать о целесообразности студенческого движения. Сама жизнь выдвинула студентов и поставила их во главе происходящих всюду демонстраций. Станем же, товарищи, дружно, как один человек, в ряды благородных борцов за дело свободы и будем продолжать обструкцию до тех пор, пока враг не задрожит и не уступит.

Дерпт, 10 марта

С. С. Дерптских объединенных землячеств и организаций» (там же, л. 8).

Листовка 3-я (отрывки).

«Наша родина, страна «мирного прогресса», переживает тяжелые дни. Переполнены тюрьмы: мостовые Москвы, Петербурга, Харькова покрыты кровью лучших, честнейших сынов нашей бедной, дорогой родины. «Башибузуки» престола не знают удержку в подлостях и насилии: бей все, что честно! Бей студентов, восстающих против произвола, бей женщин и девушек, сочувствующих и плачущих за них, бей детей, попадающихся под лошадь варвара, обласканного царской милостью . . . и встают пред нашими глазами длинной вереницей ряды мучеников и мучениц, мучеников своей честности и горячей любви к правде, жертве бессовестного насилия и варварского «мирного прогресса» . . .

«Мирный прогресс» торжественно отпраздновал свое вступление в новый век, открыл новую эру кровопролитий, избиения безоружных и беззащитных.

4 марта. Петербург. Сегодня была демонстрация. Еще вчера ходили слухи, что город на военном положении, что будет пущено в ход холодное огнестрельное оружие. Приказано быть готовыми «к выступлению» 4 полкам; солдатам было роздано по тридцати патронов. Говорили, что некоторые студенты решили стрелять. Рабочие обещали принять участие. Сегодня в 12 часов собрались у Казанского собора. На ступеньках собора и около него, по словам очевидцев, собралось более 2 тысяч студентов, курсисток и публики. Рабочих с Нарвской и Шлиссельбургской застав не пропускали в город со вчерашнего вечера, и поэтому их было мало. У собора раздавали листки с выяснением требований — отмены «временных правил» и гарантий неприкосновенности личности. Этот листок несколько раз прочитан вслух. Демонстранты закричали «Ура». Тогда жандармы оцепили их, а казаки врезались в толпу и стали бить нагайками. Били с остервенением, давили всех без разбору лошадьми... В это время по Невскому разъезжали полиция, сотни казаков и жандармы. Теснили публику и били, — слышались крики, женщины падали в обморок. Между тем, молодежь бросилась в собор спасаться от казаков... Но хранители порядка, призванные в защиту основ и святости религии, конечно, ворвались в собор... Спешившиеся казаки с нагайками пошли на приступ. На паперти поднято было красное знамя со словами: «Отмена временных правил», но скоро исчезло, около него была самая жестокая расправа. В 6 часов вечера была еще демонстрация. В 10 часов вечера полиция и жандармы разъезжали по Невскому; казаки стояли даже по тротуарам, — били проходивших... Если видели где-нибудь кучку народа, казаки врезывались в нее и беспощадно били. За весь день забрано несколько тысяч. Убито 4 студента, задушено 2 гимназиста... У всех очевидцев остались в памяти тяжелые сцены. Студентам рассекали нагайками фуражки, головы обливались кровью. Одной медичке выбили глаз, другой раскроили голову. В соборе умирал весь окровавленный рабочий. Он попросил воды, но священник заметил: «Не давать ему, так ему и надо, собаке»... В Москве творятся такие же ужасы, студенты защищались на баррикадах, опрокидывались вагоны конок. Рабочие нескольких фабрик бастуют. Убит обер-полицмейстер. Москва несколько уж дней живет на улицах. Везде в воздухе пахнет кровью. Забастовка идет по всему фронту высших учебных заведений. Бастуют горняки, технологи, лесники; забастовал Киевский политехникум. В университете (Петерб.) обструкция...

Товарищи, неужели мы теперь можем учиться! Неужели мы удовлетворимся временным прекращением лекций! Кто не бастует теперь, пусть никогда в жизни не говорит о чести и совести, о свободе.

Дерпт, 6 марта.
Союзный Совет дерптских объединенных землячеств и организаций» (там же, л. л. 13—14).

Помимо этих, размноженных на гектографе, листовок, в архивных делах имеется также и ряд других. Некоторые из них переводились на эстонский язык и распространялись в народе. 13 апреля 1901 г. попечитель учебного округа доносил министру просвещения: «Как сообщает инспектор студентов Юрьевского университета, в последнее время союзный совет этого заведения не довольствуется изданием бюллетеней и прокламаций, обращаемых к студентам, но пытается подействовать и на народную массу» (там же, л. 17).

[18] См.: «Записка, составленная по поручению министра народного просвещения членом совета тайным советником Спешковым о различных организациях среди учащихся и учащих в различных учебных заведениях министерства народного просвещения», секретно, П., 1909, стр. 18.

[19] ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 151, ед. хр. 190624 (ч. I), «Дело об устройстве в университетах студенческих кружков и обществ», л. 352.

[20] Там же, л. 367.

[21] Там же, л. 365. О борьбе демократической части тартуского студенчества против самодержавия в годы назревания революционного кризиса см.: Э. Янсен «О революционном движении среди тартуских студентов в конце XIX и начале XX веков» — «Учёные записки Тартуского государственного университета. Труды историко-филологического факультета», вып. 35, 1954, стр. 14—27.

[22] Л. Толстой, Полн. собр. сочинений (юбил. изд.), т. 54, гос. издат. худ. литературы, М., 1935, стр. 562—563.

[23] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 402, оп. 4, ед. хр. 1304, л. 82.

[24] «Рассвет», № 127, 23 июля 1905. Об этом см. также «Русское слово», 23 июля 1905.

[25] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 402, оп. 4, ед. хр. 1304, л. 113.

[26] См.: ЦГИА Эстонской ССР, ф. 402, оп. 4, ед. хр. 1304, л. 119 — отношение ректора университета от 25 октября 1902 г. попечителю рижского учебного округа.

[27] См.: «Рассвет», № 127, 23 июля 1905.

[28] Проф. Н. Ф. Сумцов «Столетие Юрьевского, бывшего Дерптского, университета», Харьков, 1903, стр. 18.

[29] См.: Я. Зутис «Очерки по историографии Латвии», ч. I — прибалтийско-немецкая историография, Латгосиздат, Рига, 1949, стр. 166—170.

[30] Д. Мамин-Сибиряк «Русская заграница. Путевые заметки» (газ. «Уральская жизнь», № 350, 21 декабря 1903 г.). Продолжение путевых заметок дано в № 355 этой же газеты (от 28 декабря 1903 г.). Обширный фактический материал очерка, освещение в нем ряда актуальнейших экономических и общественных вопросов прибалтийской жизни свидетельствовали об искреннем интересе Мамина-Сибиряка к Эстонии и судьбе эстонского народа.

Писатель оставил несколько коротких, но ярких, зарисовок тех городов, с которыми ему довелось познакомиться на пути из Петербурга в Хаапсалу. Вот, что писал он о Нарве: «Это очень красивый и оригинальный городок, опоясавший своими улицами оба крутые берега бурной реки Наровы. С железнодорожного моста, по которому поезд идет очень медленно, открывается вид с одной стороны, вверх по реке, на знаменитый Нарвский водопад, точно сдавленный кирпичными громадами фабричных корпусов, с другой, вниз по реке, на две старинных крепости... Левый берег, занятый типичным средневековым городом на неприступной прикрутости, собственно и есть Нарва... Воспоминанием далекого прошлого остались крепостные стены, узкие улички средневекового городка, ратуша, построенная в XVII столетии, мрачные готические постройки, дом, где жил Петр Великий, в котором сохранилась вся обстановка...» Мамин-Сибиряк рассказал военную историю Нарвы, описал современную ему жизнь этого города.

Остановившись в Таллине, писатель набросал в путевой книжке такие строки: «Сам по себе Ревель типичный и красивый город. Центр занимает эстонский кремль (Domberg), с старинными церквами и старинной башней «Длинный Герман», построенный в одно время с нарвским «великим Германом». Основание Ревеля теряется в глубине времени, что-то около VIII века, а может быть и раньше, когда на месте нынешнего кремля была построена крепость Линданисса. В переводе с эстонского Линданисса — «грудь Линды», а Линда была женой эстонского бога Калева. В Ревеле похозяйничали и датчане, и Ганза, и шведы, и немцы, пока город не был завоеван Петром I. Сейчас 80% городского населения в Ревеле эстонцы. Около Domberg'а жмутся узенькие средневековые улички, с типичными средневековыми домиками, которые так жмутся друг к другу, что кажется,

вот скажут: «Ах, как нам здесь тесно!» Особенно характерна рыночная площадь, такая маленькая точно дно какого-нибудь каменного колодца. Новый город как будто выполз своими широкими улицами из этой средневековой тесноты на простор морского побережья, где городская стройка заканчивается великолепным парком Катеринеталь (Кадриорг. — А. Л.) . . .»

[31] А. Куприн «Лифляндия». — См.: «Русское слово», 29 октября (11 ноября) 1914 г., № 240. Там же (1914 г., № 297). см.: П. Д. Боборыкин «Высококультурная орда». Автор, не поднимавшийся в своем творчестве выше буржуазного либерализма, признавал, однако, что остзейские бароны «превратили латышей и эстов в своих рабов». «До сих пор (Боборыкин имел в виду 1914 г. — А. Л.), они, — утверждал писатель, — держат землю в своих сословных руках, и масса латышей и эстов — все еще батраки и без всякой земельной собственности». Боборыкин называл касту прибалтийских помещиков, с которой он познакомился лично, обучаясь в Тартуском университете (см. его мемуары — «Русская мысль», 1906, ноябрь; его роман из жизни тартуского студенчества «В путь-дорогу»), «более алчной и закоренелой, чем чиновники ордынских ханов. Они сумели, заручившись тайными и явными ходами, — заявлял писатель, — влиять на нашу внутреннюю политику и все еще сохраняют свои средневековые привилегии и смотрят на инородцев трех губерний, как на презренное стадо своего рабочего скота».

[32] «Окраина», № 30, 7 апреля 1912.

[33] Г. фон Самсон Гиммельстьерн «Анти-Толстой» (перевод с немецкого), Юрьев, 1905, стр. 14.

[34] Там же, стр. 6.

[35] Там же, стр. 16—17.

[36] Там же, стр. 31.

[37] Там же, стр. 33.

[38] Эта статья впервые вышла в 1900 г. в Лондоне в издании «Свободного слова». К моменту опубликования книги Г. фон Самсона Гиммельстьерна она дважды (в 1901 г.) была издана в Берлине, а в 1900 г. отрывки из статьи напечатали «Русские ведомости» (№ 245).

[39] Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений (юбил. изд.), т. 34, гос. издат. худ. литературы, М., 1952, стр. 168—169.

[40] См.: «История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней)», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 252, а также — Т. Мосберг «Революция 1905—1907 гг. в Эстонии», автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук, М., 1953, стр. 11; М. Лыхмус «Крестьянское движение в Эстонии в 1905—1907 годы» — «Коммунист Эстонии», 1955, № 7.

[41] Г. фон Самсон-Гиммельстьерн «Анти-Толстой» (перевод с нем.), Юрьев, 1905, стр. 98—99.

[42] Там же, стр. 22.

[43] Газ. «Голос Москвы», 1908, № 200.

[44] См.: «История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней)», Эст. гос. издат., Таллин, 1952, стр. 258—262.

[45] Рукописная копия резолюции хранится в академической библиотеке Тартуского государственного университета (бумаги И. И. Змигродского). В связи с этой сходкой см.: «Рижский вестник», 12 февраля 1905 г., № 30, письмо к редактору 25-ти тартуских студентов, отвергавших вымысел ранее опубликованной там же статьи о том, что сходка, якобы, носила не политический характер. «Ему (автору клеветнической статьи. — А. Л.) остались неизвестными, — говорилось в письме, — как резолюции юристов и медиков, так и протоколы факультетских собраний филологов и физико-математиков . . . А ведь все эти частные сходки пришли к одному, все они

единодушно отметили тот факт, что студенческие волнения вызываются общими условиями политической жизни России, что так жить больше нельзя . . .»

[46] См.: «Юрьевский листок», 27 февраля 1912, № 45.

[47] См.: ЦГИА Эстонской ССР, ф. 321, оп. 1, ед. хр. 153, л. л. 1—3.

[48] См.: «Красный архив», т. IV (35), 1929, стр. 225.

[49] См.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 25, ед. хр. 11, дело «О разрешении пьес и куплетов на латышском и эстонском языке», л. 43.

[50] См.: газ. «Прибалтийский край», 2 (15) сентября 1908. Трудности, которые надо было преодолеть для постановки «Власти тьмы» на эстонском языке к 80-летию со дня рождения писателя, становятся особенно понятны в свете следующего секретного предписания министра просвещения попечителю рижского учебного округа от 14 июля 1908 г.:

«По случаю имеющего исполниться 80-летия со дня рождения великого писателя земли русской графа Л. Н. Толстого, со стороны учебных начальств возможно возбуждение ходатайств пред министерством народного просвещения о принятии участия в чествовании этого события . . .

. . . Можно с достаточным основанием предвидеть, что некоторые элементы общества не упустят удобного случая использовать это юбилейное торжество в своих партийных целях.

В виду сего и во избежание возможных конфликтов и недоразумений, долгом считаю просить Вас, милостивый государь, все могущие поступить к Вам ходатайства по этому предмету как от подведомственных Вам лиц и учебных заведений, так равно и от учреждений городского и земского самоуправлений, отклонять впредь до особого распоряжения» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 196, ед. хр. 47, дело департамента народного просвещения «Переписка по случаю 80-летнего юбилея со дня рождения великого писателя земли русской графа Л. Н. Толстого и об увековечении памяти его», л. 3). Однако 80-летие Л. Н. Толстого вызвало в Эстонии живейший отклик. В Государственном музее Л. Н. Толстого (Москва) хранятся следующие приветствия, присланные писателю ко дню его рождения: от группы товарищей из Таллина, землячества тартуских студентов, таллинского литературного кружка, Петербургско-эстонского общества образования, нарвского общества содействия начальному народному образованию, общества студентов-медиков и общества русских студентов в Тарту, членов нарвского общества педагогии и гигиены, учеников тартуского реального училища, совета Тартуского университета (шифр 9388 — кор. 256).

[51] См.: «Отчёт о деятельности литературного кружка в г. Ревеле за 1908—9 гг.», год XI-й, Ревель, 1909. В Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина имеются отчеты этого кружка за все годы его существования. Созданный в 1899 году, он быстро завоевал популярность. Его членами в разное время было около 500 человек — учителя, инженеры, врачи, чиновники, военные, в том числе и представители эстонской интеллигенции. Кружок сыграл значительную роль в пропаганде среди таллинцев передовой русской литературы.

О направлении кружка говорит его интенсивная многолетняя деятельность. В одном только 1900 году два собрания кружка посвящено было Максиму Горькому. Помимо сообщения о творчестве великого писателя (опубликовано в 1900 г. в «Ревельских известиях»), на них читались рассказы «Челкаш», «Ещё о чёрте», «Каин и Артем» и «Песнь о соколе». Следующие занятия 1900 г. отведены были «Воскресению» Л. Н. Толстого, сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина и поэзии И. С. Никитина. Из отчетов других лет мы узнаем о двух вечерах, посвященных Н. А. Некрасову, о докладах, посвященных А. Н. Радищеву, И. С. Тургеневу, снова —

М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. П. Чехову, В. М. Гаршину, А. В. Кольцову, Т. Г. Шевченко.

[52] См.: «Ревельские известия», 1 декабря 1910 г.

[53] Об аресте книги Л. Толстого см.: ЦГИА Эстонской ССР, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 572, дело ревельского инспектора по делам печати «О наложении ареста на брошюру на эстонском языке: граф Лев Толстой «Один бог для всех», л.л. 1—21; ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 1311, дело I отделения канцелярии главного управления по делам печати «О брошюре на эстонском языке «Tolstoi. Jumal on kõikidel üks», л. 1. Статья о религиозном воспитании», в 1912 г. включенная в «Новый сборник писем Л. Н. Толстого» (М., изд. «Окто»), была по приговору московской судебной платы уничтожена таким же способом, как и в эстонской брошюре (см.: Л. Н. Толстой, Полн. собр. сочинений (юбил. изд.), т. 72, гос. издат. худож. литературы, М. — Л., 1933, стр. 267).

[54] См.: «Красный архив», 1929, т. IV (35), стр. 231.

[55] Л. Н. Толстой, Полн. собр. сочинений (юбил. изд.), т. 34, гос. изд. худ. литературы, М., 1952, стр. 217, 219.

[56] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 598, дело ревельского инспектора по делам печати «По вопросу о том подлежит ли аресту брошюра на эстонском языке «Неужели это так надо?» Л. Толстого, л. 1.

[57] ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 2026, дело I отделения канцелярии главного управления по делам печати «О брошюре на эстонском языке «Tolstoi. Kas see tõesti nõnda tarvilik on?»», л. 1.

[58] Там же, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 2353, дело I отделения канцелярии главного управления по делам печати «О брошюре на эстонском языке «Kas tõesti nii olema peab?» L. N. Tolstoi», л. 3.

[59] Там же, л. 9.

[60] См.: Н. Н. Апостолов «Лев Толстой и русское самодержавие», Гос. изд., М. — Л., 1930, стр. 173.

[61] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 610, дело ревельского инспектора по делам печати № 5 «О наложении ареста на брошюру на эстонском языке «Восстановление ада» («Uus põrgu») графа Л. Толстого», л. 9.

[62] ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 2269, дело I отделения канцелярии главного управления по делам печати «О брошюре на эстонском языке — Leo Tolstoi «Uus põrgu» («Восстановление ада»)», л. 6.

[63] Там же, л. 11.

[64] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 139, оп. 1, ед. хр. 3706, дело прокурора ревельского окружного суда, л. 9.

[65] ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 2269, дело I отделения канцелярии главного управления по делам печати «О брошюре на эстонском языке — Leo Tolstoi «Uus põrgu» («Восстановление ада»)», л. 19.

[66] Ю. Лилиенбах в годы мрачной реакции создал сборник стихов «Утренние песни», эпиграфом к которому могли бы служить его собственные строки:

Мы в рабстве родились,
на руках и ногах у нас цепи.
Но мы не рабы,
а борцы за свободу.

В связи с изданием этого сборника, занимавшийся тогда очередным толстовским «делом» прокурор ревельского окружного суда привлек Ю. Лилиенбаха к судебной ответственности.

В Центральном государственном историческом архиве Эстонской ССР хранится дело «По обвинению поэта-крестьянина Юхана Лилиенбаха ... в издании сборника стихотворений «Утренние песни» антиправительствен-

ного содержания». Оно открывается уведомлением судебного следователя о начале следствия над автором книги.

Вещественным доказательством «преступных деяний» Лилиенбаха явился его поэтический сборник. Пересылая его прокурору, ревельский цензор с возмущением обращал внимание «правосудия» на такое стихотворение, как «Теперь», в котором клеймились виновники жестокого подавления в Прибалтике революционного движения. Он указывал также на стихотворение «Наша страна», «заключавшее мысль, что никто из эстонцев не видал той сказочной страны, где реки молочные и горы из каши, зато каждый из них видал свежие горы мяса и реки теплой крови» — чудовищную расправу карательных отрядов с рабочими и крестьянами Прибалтики.

«На основании изложенного, — говорилось в обвинительном заключении, — крестьянин Везенбергской волости, Везенбергского уезда, Эстляндской губернии, Юхан Лилиенбах, 42 лет, обвиняется в том, что сочинил и напечатал в изданной 26-го марта 1910 года в Ревеле под его редакторством и получившей распространение брошюре на эстонском языке «Утренние песни» стихотворений: 1) «Кто виноват», 2) «Теперь», 3) «Наша страна» и 4) «Довольно», заключающие в себе суждения о том, что причиной происходившего в Прибалтийских губерниях революционного движения являются действия правительства, что подавив бунт, правительственная власть достигла умиротворения Остзейского края, заключив всех беспокойных в оковы, что каждый эстонец видел в своей стране «свежие горы мяса и реки теплой крови» и что дальнейшие со стороны правительства репрессивные меры вызовут сопротивление».

26 августа 1911 года в ревельском окружном суде слушалось дело Юхана Лилиенбаха. Выдающийся поэт с гордостью признал каждую строку в изданной им книге — своей. Стремясь изолировать Лилиенбаха от читателей — эстонских пролетариев, царский суд подверг его тюремному заключению. В архиве находятся выписка из судебного приговора, предписание о задержании и препровождении поэта в арестантское помещение (см.: ЦГИА Эстонской ССР, ф. 139; оп. 1, ед. хр. 3176, л. л. 1—19).

[67] ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 201, ед. хр. 56/12, ч. IIIа, дело департамента народного просвещения «О ходе занятий в высших учебных заведениях Петербургского учебного округа», л. 13.

[68] См.: там же, ф. 733, оп. 201, ед. хр. 56, ч. III, секретное дело департамента народного просвещения «О ходе занятий в высших учебных заведениях Рижского округа», л. 11 об.

[69] См.: «Протоколы общества естествоиспытателей при имп. Юрьевском университете», т. XIX, вып. III—IV, Юрьев, 1911, офиц. часть, стр. XLIX—L.

[70] «Отчет о деятельности литературного кружка в г. Ревеле за 1910/1911 гг.», Ревель, 1911, год XIII-й, стр. 4.

[71] См.: газ. «Прибалтийский край», 12 (25) ноября и 13 (26) декабря 1910. Телеграмма Совета Тартуского университета хранится в рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве (кн. поступления 10462, № 1974).

[72] См.: рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве, телеграммы в связи с болезнью и смертью писателя: из Таллина — от литературного кружка (кн. поступления 10462, № 1547), педагогического общества (№ 1548), неизвестного эстонца (№ 1549); из Тарту — от ряда учебных заведений (№№ 1972, 1973, 1975, 1976), общества естествоиспытателей (№ 1977); из Нарвы — от общества педагогии и гигиены (№ 1062), общества содействия начальному народному образованию (№ 1063).

[73] См.: «Ревельские известия», 22 ноября и 1 декабря 1910.

[74] См.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 201, ед. хр. 56, ч. III, секретное

дело департамента народного просвещения «О ходе занятий в высших учебных заведениях Рижского округа», л. л. 1, 2.

[75] О посещении делегацией Тартуского университета Ясной Поляны местная печать, в частности, сообщала: «Делегация местных студентов, которая выехала в Ясную Поляну к кончине Л. Н. Толстого, встретила там одного эстонца, который состоял садовником у покойного графа... в течение 10 лет. Когда садовник узнал, что студенты прибыли из Юрьева, он хотел прислать в местный музей лопату, с которой покойный работал в саду, но вскоре оказалось, что лопата эта была уже забрана другим лицом» (см.: «Прибалтийский край», 23 ноября (6 декабря) 1910 г., стр 2).

[76] См.: газ. «Прибалтийский край», 19 ноября (2 декабря) 1910, стр. 2. Об этой демонстрации см. также газ. «Ревельские известия», 22 ноября 1910 г.

[77] Приводим некоторые, обнаруженные нами, архивные документы о дальнейшем нарастании в Тарту студенческого движения. 21 февраля 1911 г. попечитель учебного округа прислал управляющему министерством просвещения обширную докладную записку «О течении жизни за последние недели в имп. Юрьевском университете, Рижском политехническом институте и Юрьевском ветеринарном институте». Ссылаясь на полученные от ректора университета сведения, он сообщил:

«Вследствие начавшихся уже 1 сего февраля волнений среди юрьевского студенчества, утром 3 сего февраля была введена полиция в коридоры главного здания университета, старого и нового анатомикума и в Ботанический сад. Наряды полиции записывали входивших студентов, требуя предъявления входных билетов.

В три четверти первого заведывающий студенческим общежитием Гравит сообщил г. ректору по телефону, что в коридоре студенческой столовой собираются студенты... Ректором было сейчас же, в присутствии г. проректора, дано знать по телефону г. полицмейстеру. Через 15—18 минут заведывающий общежитием г. Гравит сообщил, что собравшиеся в коридорах студенты, числом около 150, составили сходку, продолжавшуюся две, три минуты, и вынесли резолюцию о забастовке до осеннего полугодия. Полиция прибыла минут через десять после окончания сходки...»

Донесение попечителя свидетельствует о том, что студенческие «беспорядки» продолжались и в последующие дни. 5 и 7 февраля ректор, согласно документам, «наблюдал за исполнением полицией его распоряжений и улаживал кое-какие незначительные конфликты, вызывавшиеся студентами... при сношениях с полицией». Бастовавшая молодежь, не ограничиваясь сходками в коридоре главного здания, собиралась также группами на улицах. Полиция, доносил ректор, разгоняла «скопища» студентов.

В секретном архивном фонде департамента народного просвещения сохранился ряд материалов руководящего органа студенческого движения — Коалиционного совета Юрьевского университета. В одной из размноженных на гектографе прокламаций совета говорилось:

«Товарищи!

Бесцеремонное вторжение и хозяйничанье полиции в стенах университета за последние дни лишний раз подчеркивает, как мало считается правительство с правами университета на автономию, с нашей честью и честью профессоров. Наш университет сделался 4-м полицейским участком г. Юрьева, а ректор низведен на степень «горохового» пальто. Его поведение, его окрики на студентов: «Вон из университета!», его грубое обращение с вольнослушательницами, выразившееся чуть ли не в физическом воздействии (5 февр.), его участие в удалении из вестибюля студентов вместе с полицейскими, его обращение к полиции: «запишите N. N. и подчеркните» — лишний раз доказывает, как трудно при господстве полицей-

ского режима быть ректором университета и не сделаться околоточным и как невозможно профессору-околоточному стоять на высоте ректора университета.

Товарищи! Мы попрежнему будем твердыми в своих требованиях. События во всех высших учебных заведениях за последнее время ясно показывают, на чьей стороне будет победа. Отставка и добровольный уход многих профессоров Москвы, Киева, Томска и Варшавы, сочувствие общества, единодушие в проведении российскими студентами забастовки — служат залогом ея».

В том же архивном деле, где лежит эта прокламация, найдена резолюция собрания представителей юрьевских студенческих организаций. «Собрание представителей юрьевских студенческих организаций, — говорится в ней, — обсудив вопрос о посылке делегации к ректору для выяснения причин разгрома полицией юрьевских легальных организаций и многочисленных арестов, а также для возбуждения ходатайства об облегчении участи арестованных, единогласно признало невозможность посылки таковой, так как усматривает в действиях ректора приемы сыскной полиции и не ручается за неприкосновенность личности делегатов» (ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 201, ед. хр. 56, ч. III, секретное дело департамента народного просвещения «О ходе занятий в высших учебных заведениях Рижского округа», л. л. 4—5, 8,9).

[78] А. П. Чехов был избран почетным членом Общества русских студентов Тартуского университета в 1902 г. Присланное в связи с этим писателю от тартуских студентов письмо хранится в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (см.: «Государственная библиотека им. В. И. Ленина. Архив А. П. Чехова». Вып. 2, М., 1941, стр. 32). Там же находится и другой документ, также свидетельствующий о глубочайшем интересе в Тарту к творчеству А. П. Чехова. Это — небольшое письмо, в котором говорится:

«Дорогой учитель!

От существующей в Дерпте при студенческой столовой читальни «Concordia» позволяю себе обратиться к Вам с просьбою удостоить нас высылкою одного экземпляра Ваших рассказов. Нечего, кажется, говорить о том, что руководит нами, когда мы обращаемся к Вам с подобного рода просьбой. Скажу только, что при постоянно увеличивающемся здесь числе студентов-эмигрантов из других университетов и при недостатке русских книг, чувствуется всё более возрастающая потребность библиотеки. Меж тем собственными средствами мы не в состоянии дать прочное основание зарождающейся библиотеке . . .

В надежде найти сочувствие и помощь в Вас, дорогой учитель, остаюсь с глубоким уважением

библиотекарь Осип Выржиковский.

8. XII, 1888. Дерпт.

Адрес: г. Дерпт, Лифляндской губернии, обществу студентов». (Публикация Б. Егорова — см.: «Советская Эстония», 15 июля 1954 г., № 166).

Произведения А. П. Чехова пользовались в Эстонии огромной популярностью. Показательно, что за 24 года — с 1891 по 1915 г. — они переводились на эстонский язык 211 раз! Пьесы великого русского писателя ставились на эстонской сцене (см. в связи с этим: рапорта цензоров в фондах главного управления по делам печати — Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде; материалы Музея театра и музыки Эстонской ССР в Таллине; статью Пауля Пинна «Чехов на эстонской сцене» — «Советская Эстония», 15 июля 1944 г.). В советские годы пьесы А. П. Чехова шли на сценах Таллинского государственного эстонского драматического театра имени В. Кингисеппа и тартуского театра «Ванемуйне». Эстонский зритель смотрел на родном языке «Дядю Ваню», «Три

сестры», «Вишнёвый сад», «Медведь», «Юбилей» и другие произведения А. П. Чехова.

[79] См.: В. Десницкий «М. Горький. Очерки жизни и творчества», гос. издат. «Худ. литература», Л., 1940, стр. 10—11. В ту пору, о которой вспоминает В. Десницкий, произведения А. М. Горького уже были известны и на эстонском языке. Рассказ «Кирилка» вышел в сборнике «Развлечение и наука» еще в 1899 году. Вслед за тем, на протяжении 1900—1907 гг., эстонская периодическая печать опубликовала горьковские рассказы «Емельян Пиляй», «Двацать шесть и одна», «Хан и его сын», «Читатель», «Супруги Орловы», «О чёрте», «Человек», «Челкаш», «Трое», «Мудрец», «Песню о Буревестнике», отдельным изданием вышли «Бывшие люди», публикуются «Мещане», «На дне» и «Дачники» (о цензурных искажениях при издании «Дачников» на эстонском языке см. рапорт ревельского инспектора по делам печати — ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 25, ед. хр. 9, дело канцелярии главного управления по делам печати «О разрешении пьес на эстонском, финском, латышском и др. языках», 1907, л. 201) и другие произведения великого писателя.

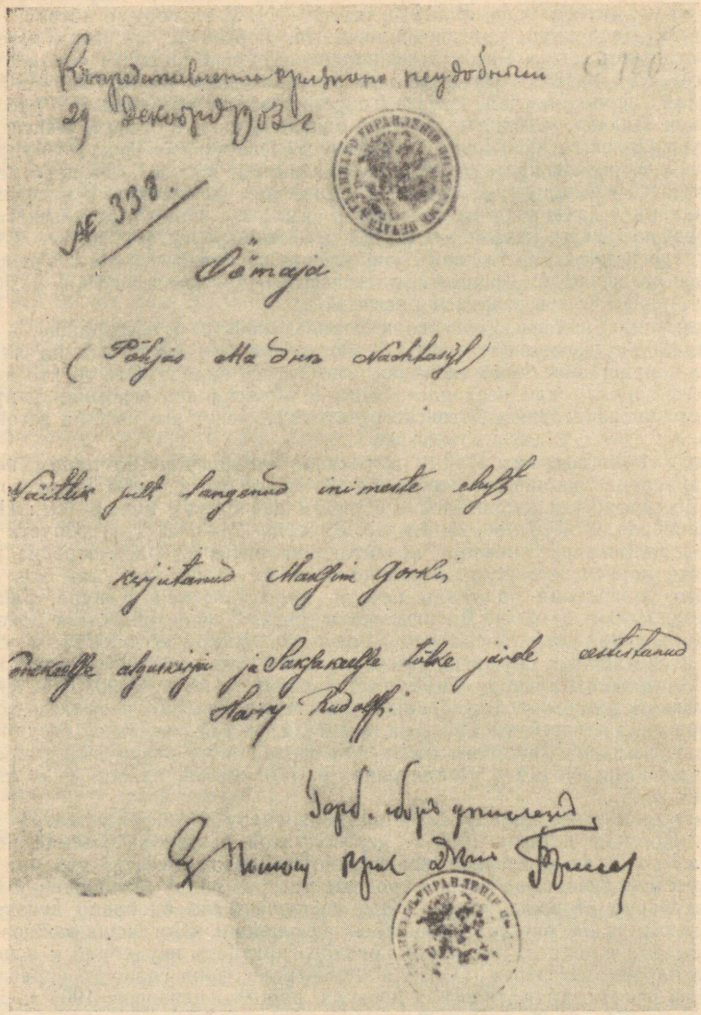
«Пламенная любовь Горького к справедливости и бесстрашие, — писала в 1903 г. газета «Театая», — заставляют его выступать на литературном поприще как борца за права угнетённого народа. Это то, что делает Горького дорогим для всех нас». Этим и объяснялась огромная популярность его произведений у эстонского читателя, успех его пьес на эстонской сцене.

В мае 1903 года из Пярну в главное управление по делам печати была прислана рукопись перевода на эстонский язык пьесы Горького «На дне». Ее разрешили к постановке с рядом цензорских купюр (см.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 25, ед. хр. 3, л. л. 176—178, 181). Спустя пять месяцев таллинскому цензору представлена была на рассмотрение рукопись еще одного эстонского перевода этой же пьесы (см.: там же, фонд главного управления по делам печати, драматическая цензура, рапорты цензоров, 1903 г., л. 244). Впервые на эстонской сцене она была показана в 1903 году таллинским театром «Эстония». Высокую оценку и самой пьесе, и постановке дал тогда Эд. Вильде. Не удалась попытка поставить пьесу Горького в Вильянди. Поступившее оттуда в ноябре 1903 г. телеграфное ходатайство было со стороны главного управления по делам печати категорически отвергнуто. Цензура признала, на сей раз, пьесу «неудобною к представлению». Такой же ответ последовал и на вторичный запрос из Вильянди (см.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 25, ед. хр. 3, л. л. 402, 404, 448, 450).

Длительное время не могли попасть на сцену эстонского театра «Мещане». Получив в июне 1903 г. перевод этой пьесы, ревельский цензор Трусман сообщал в главное управление по делам печати, что она «неудобна к исполнению на сцене народных театров ввиду изображения в ней отрицательной стороны жизни». Это решение было одобрено цензурным ведомством, и на рапорте появилась резолюция: «Согласно заключению г. Трусмана, я полагал бы пьесу Горького признать неудобной к исполнению на народном театре» (ЦГИА в Ленинграде, фонд главного управления по делам печати, драматическая цензура, рапорты цензоров, 1903 г., л. 93; там же, ф. 776, оп. 25, ед. хр. 3, дело канцелярии главного управления по делам печати «О рассмотрении пьес на латышском, эстонском, финском и шведском языках», л. л. 155—157).

Несмотря на чинимые цензурой препятствия, за 1899—1917 гг. на эстонском языке было опубликовано 92 рассказа и очерка М. Горького.

[80] ЦГИА в Ленинграде, ф. 733, оп. 201, ед. хр. 15, дело департамента народного просвещения «О волнениях в С.-Петербургском университете и о студенческих собраниях», л. л. 52—53.



Первая страница цензорского экземпляра пьесы М. Горького «На дне» в переводе на эстонский язык Г. Рудольфа. Музей театра и музыки Эстонской ССР, Таллин.

[81] «Kiir», 1913, № 16.

[82] См.: ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 914, дело I отделения канцелярии главного управления по делам печати «Об издании в Нарве эстонской газеты «Kaja», переименованной в «Kiir» (Луч)», л. л. 12, 16, 17, 19, 43. В этом же деле сосредоточен и ряд других документов о цензурном преследовании газеты. Донося о «возмутительном характере этого издания», цензор обращал, например, внимание начальства на опубликованные в «Kiir» (1913, №№ 15 и 16) «Заметки о лютеранской церкви».

«Что наша родина представляет собою рай для пасторов и ад для рабочих, это чуяли уже наши предки и чувствуем также мы сами... — говорилось в возмутившей цензора статье. — Всем более сознательным рабочим в настоящее время известно, что лютеранская церковь со своими наёмными пасторами в руках наших немецких и эстонских заправил служит орудием для омрачения народа. Только у немногих хватает сил освободить себя из этих сетей, в которые они запутаны наёмниками-пасторами...» (там же, л. 16, цит. по сделанному цензором русскому переводу).

Познакомившись с переведенными для него с эстонского языка «Заметками о лютеранской церкви», начальник главного управления по делам печати признал, что они «направлены к возбуждению вражды между лютеранскими пасторами и их паствою» и потребовал привлечения редактора «Kiir» к судебной ответственности (там же, л. 19). В связи с этим, полицмейстер г. Нарвы, где выходила газета, обратился к прокурору ревельского окружного суда (там же, л. 43).

«Несомненные признаки преступных деяний» усмотрены были цензурой также в статьях «Народный учитель и церковное рабство», «Капитал и рабочие», «Всероссийский съезд приказчиков» и многих других. «Принимая... во внимание, что по этой газете судебные преследования возбуждались уже неоднократно, — писал цензурный сановник, — я признавал бы желательным, ввиду обнаруженного ею систематического нарушения закона, ярко выраженного социал-демократического её направления и вредного влияния на народные массы, чтобы при возбуждении судебных преследований за вышеназванные статьи наблюдающее за этою газетою лицо вместе с тем возбудило пред судом ходатайство о приостановлении самого издания газеты «Kiir»...» (там же, л. 64).

В архивном деле, помимо документов о репрессиях против рабочей газеты, имеются материалы о связях «Kiir» с ленинской «Правдой». 12 июня 1913 г. из департамента полиции в главное управление по делам печати было прислано секретное отношение: «В департаменте полиции получены сведения о том, что редакция эстонской рабочей газеты «Kiir» предлагает редакции газеты «Правда» пересылать в редакцию первой из означенных газет конфиденциально номера второй, завернутые в другие газеты, если конфискации не подверглись все без исключения экземпляры» (там же, л. 35). Петербургскому градоначальнику было предложено не допускать общения между эстонской газетой «Kiir» и «Правдой» (там же, л. 36). Однако полицейским и жандармским органам не удалось нарушить эту накрепко завязанную связь. «Правда» имела в Прибалтике своих корреспондентов и за два с половиной года опубликовала около 200 статей и заметок об Эстонии.

СУДЬБА ОДНОЙ КНИГИ

[1] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 609, дело ревельского инспектора по делам печати «О наложении ареста на брошюру на эстонском языке «Обыденное явление» В. Короленко, напечатанной в типографии Шифера», л. 1.

[2] В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 325.

[3] См.: Г. Мосберг «Революция 1905—1907 гг. в Эстонии», автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук, М., 1953, стр. 23—25.

[4] См.: письмо Л. Толстого в кн.: Вл. Короленко «Бытовое явление (заметки публициста о смертной казни)», Берлин, стр. 3.

[5] ЦГИА Эстонской ССР, ф. 139, оп. 1, ед. хр. 3639, дело прокурора ревельского окружного суда «Об уничтожении статьи «Взамен предисловия» в брошюре Владимира Короленко «Бытовое явление», л. 4.

[6] Там же, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 609, дело ревельского инспектора по делам печати «О наложении ареста на брошюру на эстонском языке «Обыденное явление» В. Короленко, напечатанной в типографии Шифера», л. 11.

[7] ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 2270, дело I отделения канцелярии главного управления по делам печати о брошюре на эстонском языке Korolenko. «Igapäevane nähtus», л. 4 об.

[8] Вл. Короленко «Бытовое явление (заметки публициста о смертной казни)», Берлин, стр. 49.

[9] ЦГИА в Ленинграде, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 2270, дело I отделения канцелярии главного управления по делам печати о брошюре на эстонском языке Korolenko. «Igapäevane nähtus», л. 4 об.

[10] Установить имя автора предисловия нам помог своими ценными советами академик Академии наук Эстонской ССР И. М. Саат, которому мы приносим сердечную благодарность.

ПУБЛИЦИСТИКА ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА

[1] «Спартак» и «Автроил» — миноносцы, попавшие в 1918 году в плен к англо-американским империалистам. В ночь с 3 на 4 февраля 1919 года 60—70 матросов этих кораблей были зверски убиты эстонскими белогвардейцами.

[2] Памятник, воздвигнутый в честь моряков броненосца «Русалка», погибшего в сентябре 1893 года. На этом корабле, наряду с русскими моряками, находились эстонские матросы Юхан Антон, Михкель Салонг, Юрий Мальм и другие. Памятник воздвигнут в Таллине на Приморской набережной парка Кадриорг по проекту известного эстонского скульптора Амандуса Адамсона. Об обстоятельствах гибели «Русалки» и истории памятника см.: Л. Конно «Памятник морякам «Русалки» («Советская Эстония», 14 мая 1952), а также в фондах Центрального военно-морского музея в Ленинграде и Исторического музея Академии наук Эстонской ССР.

[3] См.: Вс. Вишневский «В боях за Таллин (записки писателя)», Кронштадт, 1944. Экземпляр этой боршюры имеется в Центральной военно-морской библиотеке Министерства обороны СССР.

[4] Вс. Вишневский «Здравствуй, Таллин» («Правда», 24 сентября 1944),

[5] Вс. Вишневский «Что видел и знает старый Таллин». — См.: «Советская Эстония», 17 августа 1941

[6] Вс. Вишневский «Из истории Таллина» («Знамя», 1944, № 12, стр. 175).

[7] Вс. Вишневский «Что видел и знает старый Таллин». — См.: «Советская Эстония», 17 августа 1941

[8] Там же.

[9] О подавлении мятежа Корнилова, войска которого находились и на территории Эстонии, см.: М. Шолохов «Тихий Дон», книга вторая, часть IV.

[10] Вс. Вишневский «Из истории Таллина» («Знамя», 1944, № 12, стр. 178).

[11] Вс. Вишневский «Братский привет!» («Советская Эстония», 21 июля 1948). Той же дате — 8-й годовщине со дня восстановления в Эстонии советской власти — посвятил свою короткую статью и Илья Эренбург. В ней он писал: «Говорят, что существуют народы-баловни, которые живут далеко от больших дорог Истории — на кисельных берегах молочных рек. Суровым был путь эстонского народа: он вырос среди озер и валунов, на земле, которая требует от человека непрестанной заботы, на самом перекрестке Истории, в стране туманов и битв, вырос несмотря на иго чужеземцев. И кто знает, что труднее было выкорчевать из этой земли — гигантские камни или пришлых баронов? . . .

Великой любовью и великим трудом согрета эта земля. Эстонский народ создал свою чудесную эпопею, создал замечательные песни и язык, который в своем своеобразии звучнее и слаще музыки, он создал богатое искусство, породил одаренных столяров и кузнецов, поэтов и композиторов, крупных ученых. Мирный народ, он показал на поле брани свое мужество — от первых героев эпопеи до недавней эпопеи Эстонского национального корпуса.

Может показаться неприветливой эта земля: камни, леса, острова, сырость. Нужно в нее вглядеться, почувствовать ее красоту, увидеть ее нежнозеленой, омытой дождями, в скромном наряде полевых цветов. Так и с людьми: южанину может показаться холодным эстонец, — люди здесь умеют молчать, они сдержанны, замкнуты. Но под внешним спокойствием скрыта настоящая страсть — подо льдом огонь, он в борьбе и труде, в музыке и природе, в подвигах героев и беглом взгляде белокурой девушки на извилистой дороге.

Нет маленьких народов: не статистика определяет величие человеческого порыва. Эстонский народ показал, что у него большая душа. Как равный он вошел в наши ряды, сидел с нами у солдатского костра, трудным путем шел к победе, трудным путем идет теперь к глубокому счастью. Восемь лет — это очень мало и очень много. Восемь тихих спокойных лет могут проскользнуть, как морской песок между пальцев. Но мы пережили вместе очень бурные, очень тяжелые годы: духота перед грозой, буря и потом пепел, развалины, могилы . . . Люди узнают друг друга в беде, люди и народы. Мы увидели, с какой отвагой сражались эстонцы, с каким упорством они залечивают страшные раны любимой земли. Искренне и горячо мы полюбили прекрасную Эстонию.

На свете еще много туч, много лжи и корысти. На свете еще имеются и хитрые рецедивисты, которые произносят благородные речи и великовозрастные дети, которые играют с патентованными спичками. Но спокойно трудится Советская Эстония: она знает, что теперь она не одна. Она знает, что теперь ее нельзя ни кинуть на зеленое сукно картежного притона, ни заложить, ни продать, ни предать — за ее спиной весь Советский Союз. Вот почему высоко колосится ее рожь, вот почему ее молодые матери спокойно баюкают своих первенцев, вот почему так звонки ее песни и так праздничен ее праздник» (Илья Эренбург «Вместе». — См.: «Советская Эстония», 21 июля 1948).

[12] Вс. Вишневский «Братский привет!» («Советская Эстония» 21 июля 1948).

ПРИМЕЧАНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

В иллюстративном оформлении книги использованы материалы, извлеченные нами из различных архивов, собраний старинных гравюр, литографий, акварелей и фотографий, а также редких изданий, сохранившихся в крупнейших книгохранилищах Советского Союза. Значительная часть иллюстраций воспроизводится впервые.

К стр. 42.

Рукопись стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское», включая воспроизводимый фрагмент, хранится в архиве Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Это стихотворение, написанное в Тарту, впервые было опубликовано в «Московских Ведомостях» (1827, ч. 1, № 2, стр. 83—90) с поправками, сделанными по требованию цензуры. М. К. Азадовский (см. его примечания к «Собранию сочинений» Н. М. Языкова, изд. Советский писатель, 1948, стр. 396—397) указывал на два сохранившихся автографа первоначальной редакции стихотворения (в бумагах А. Н. Вульфа — рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и в письме поэта его брату А. М. Языкову — архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР). Помимо этого, в бумагах Л. Н. Майкова (также в архиве Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР) имеется список, где первые 64 строки переписаны рукой А. Н. Вульфа, а последующие (в том числе и воспроизводимые) — самим автором. М. К. Азадовский высказал предположение, что этот текст является одной из наиболее ранних редакций стихотворения.

К стр. 60.

В. И. Демут-Малиновский. Вступление русских войск в Париж в 1814 году. Барельеф на надгробном памятнике фельдмаршалу М. Б. Барклаю де Толли в Йыгевесте (Эстонская ССР). Памятник воздвигнут в бывшем имении полководца, в усыпальнице, построенной в 1823 г. по проекту архитектора А. Ф. Щедрина. Его описание см.: Е. Мроз «Василий Иванович Демут-Малиновский. 1779—1846», Гос. издат. «Искусство», М. — Л., 1948, стр. 16—17). В. И. Демут-Малиновский создал также памятник М. Б. Барклаю де Толли в Тарту. Этот памятник был отлит из бронзы в 1848 г., уже после смерти скульптора, и открыт в следующем — 1849 году.

К стр. 80.

Тарту. Университетская библиотека. Рисунок из альбома А. А. Воейковой, 1824. Этот, также как и ряд других альбомов А. А. Воейковой, хранится в архиве Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Помимо многочисленных рисунков, он содержит стихи А. С. Пушкина, Н. М. Языкова и др. В один из альбомов рукою А. Керн вписан отрывок из «Евгения Онегина». Альбомы А. А. Воейковой в некоторой степени использованы Н. В. Соловьевым в его книге «История одной жизни. А. А. Воейкова «Светлана» (П., 1915, ч.ч. I и II).

К стр. 85.

Вид двух крепостей в Нарве. Гравюра К. Клодта по рисунку П. Фурмана 1845. К. Клодт — брат выдающегося русского скульптора, один из крупнейших граверов середины прошлого столетия.

К стр. 108.

Таллин. Рисунок пером М. Воробьева, 1838. Хранится в Третьяковской галерее. М. Н. Воробьев (1787—1855) — видный русский художник, в течение многих лет являлся профессором Российской Академии художеств. Современники отзывались о нем, как о «руководителе и добром гении целого ряда достойных последователей и учеников, которые, сохраняя каждый свою самобытность, не теряли из виду умных советов и превосходных образцов наставника» («Библиотека для чтения», т. 37, 1839, СПб, раздел III, стр. 43). М. Н. Воробьев бывал в Таллине, где и сделал воспроизводимый рисунок.

К стр. 129.

Дом профессора И. Ф. Мойера в Тарту (ныне не существующий), где бывал декабрист А. Бестужев. «Как нетерпеливо ждал я прихода в Дерпт!.. Я в Дерпте — наконец я в доме Мойера», — сообщал 26 мая 1821 года в письме из Тарту Александр Бестужев (см.: «Русская старина», 1901, II, стр. 392). Этот дом упоминается в письмах, воспоминаниях, дневниковых записях многих деятелей русской культуры. «У Мойера собирался время от времени небольшой кружок русской молодёжи, находившейся в Дерпте, — вспоминал А. Н. Вульф. — Бывало, недели в две придёт раз и наш дикарь Языков...» («Русский архив», 1867, стр. 720). «Профессор Мойер, — доносил в 1829 году ректор Тартуского университета министру просвещения, — помещал воспитанника Пирогова в своём доме...» (см.: Н. И. Пирогов «Севастопольские письма и воспоминания», изд. Академии наук СССР, 1950, стр. 591). «Кроме родных, — вспоминала дочь И. Ф. Мойера — Е. И. Елагина, — жили у нас еще в доме в разное время Зейдлиц и Даль... Пирогов тоже жил в нашем доме одно время...» («Из воспоминаний Екатерины Ивановны Елагиной». — См.: «Русский архив», 1902, № 3, стр. 480).

К стр. 143.

Дом (на фото первый слева), в котором жил во время пребывания в Тарту Н. М. Языков. 19 ноября 1822 г. поэт сообщал о нем родным: «...Вот моя топография: я живу в доме, находящемся возле того, где живёт Борг со своим семейством...» (Языковский архив. Выпуск 1. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», СПб, 1913, стр. 21).

К стр. 168.

Таллинская крепость на Вышгороде, где содержался в заточении В. К. Кюхельбекер. Акварель А. Пецольда. Летом 1846 года по предложению выдающегося ученого-естествоиспытателя, русского академика К. М. Бэра была совершена научная экспедиция в прибалтийские губернии — первая научная экспедиция в Прибалтику созданного незадолго до того Географического общества. А. Пецольдом сделана была тогда серия акварельных рисунков, хранящихся сейчас в архиве Географического общества СССР.

К стр. 178.

Автограф письма, отправленного А. Розеном 12 апреля 1840 г. из Эстонии в ссылку — декабристу Е. Оболенскому. В бумагах Е. Оболенского

сохранился также ряд других писем к нему А. Розена, свидетельствующих о сердечной дружбе двух декабристов. «Пиши мне любезный друг подробно о своих занятиях в доме и на полях и о наших соузниках читинских», — обращался А. Розен 21 сентября 1840 г. к Оболенскому (архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР, ф. 606, № 7, л. 155). Эта просьба повторялась во всех отправляемых из Эстонии письмах, на которые, как правило, приходили обстоятельные ответы. «Благодарю тебя любезный друг и кум за приятное письмо твоё ... и за все подробности о виденных тобою наших добрых и почтенных соузниках, — писал Е. Оболенскому 20 мая 1842 г. А. Розен. — Ты многих так хорошо описал, что я видел их здесь в Солдине ...» (там же, ф. 606, № 21, л. 1).

К стр. 203.

На берегу Эмбаха. Гравюра на дереве по картине худ. Ю. Клевера, 1880-е гг. Ю. Ю. Клевер родился в 1850 г. в Тарту, в семье преподавателя химии Дерптского ветеринарного института. В Тарту окончил гимназию, а затем поступил в Академию художеств, где сперва занимался архитектурой, а затем — пейзажной живописью. В 1878 г. Клевер был удостоен степени академика. Ряд его картин посвящен Прибалтике. Подробный биографический материал о Клевере см. в архиве Н. П. Собко (рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

К стр. 245.

Эстонские крестьяне. Гравюра на дереве по рисунку худ. В. Тимма. Василий Федорович Тимм (род. 9 июня 1820 г. в местечке Зоргенфрей, близ Риги; ум. в 1895 г.) был по определению Н. А. Некрасова художником сметливым и искусным, а по оценке В. Г. Белинского — бесспорно лучшим рисовальщиком в России. В течение двенадцати лет (январь 1851 — конец 1862 гг.) им издавался иллюстрированный журнал «Русский художественный листок», предназначенный, по словам Тимма, «передавать всё, что только может быть схвачено карандашом замечательного, как в минувшей, так в особенности и в современной жизни русского народа, и притом передавать в рисунках верных, не вымышленных, снятых с натуры, — словом, быть художественною летописью России ...» (См.: Л. Тарасов «Василий Фёдорович Тимм», Гос. издат. «Искусство», М., 1954, стр. 24—25). Однако в своем журнале В. Ф. Тимм отражал жизнь не только русского, но и других народов России. Об этом говорит, в частности, серия рисунков, сделанных художником в Эстонии и воспроизведенных в «Русском художественном листке». Помимо публикуемых в книге В. Ф. Тимму принадлежит также и ряд других блестящих зарисовок эстонских крестьян и исторических достопримечательностей Прибалтики.

К. стр. 246.

Вечер в лифляндской деревне. Фрагмент гравюры на дереве Л. Серякова с картины худ. Ю. Клевера, 1872. Картина в то время еще молодого художника произвела в Петербурге огромное впечатление и была послана Академией художеств на венскую всемирную выставку.

К стр. 297.

Нищие эстонцы. Рисунок с натуры худ. О. Гофмана, 1902. О. Гофман — замечательный эстонский художник, глубоко и разнообразно отразивший жизнь эстонского народа, сыгравший значительную роль в истории развития реалистического искусства Эстонии. Родившись в Тарту, Гофман

значительную часть своей жизни провел в Петербурге, постоянно общаясь со многими деятелями русской культуры. «Следя за картинами Гофмана из года в год, — писал о нём один из русских журналов, — мы видим замечательное постепенное усовершенствование, проблески всё нового и нового таланта, и притом таланта оригинального, самостоятельного, который подаёт надежду что Гофман в состоянии создать ещё нечто более выдающееся, чем все до сих пор вышедшие из его мастерской произведения» (В. Кусаков «Художник Эстонии Оскар Гофман, его картины и этюды». — «Новь», т. XLI, № 17—18, стр. 174).

К стр. 333.

Лев Толстой в Ясной Поляне. Сентябрь 1902 г. С редкой фотографии С. Толстой. В отделе эстампов и изобразительных материалов Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранятся подаренные библиотеке два объемистых альбома фотографий Л. Н. Толстого, сделанных его женой. Часть из них никогда не публиковалась. Воспроизводимый нами снимок относится к периоду, когда великий писатель представлен был в почетные члены Тартуского университета.

К стр. 335.

«Дерптский листок», 1891, пробный номер. Страница с материалами о М. Ю. Лермонтове и Л. Н. Толстом. Эта газета была создана как приложение к эстонской газете «Олевик» и рассчитана, главным образом, на владевшего русским языком эстонского читателя. «В пробном номере были, между прочим, — вспоминал М. М. Лисицын, — напечатаны мои воспоминания о посещении гр. Л. Н. Толстого в Ясной Поляне» (М. М. Лисицын «Десять лет в Прибалтийском крае (воспоминания бывшего редактора одной из прибалтийских газет)». — «Русская старина», 1904, декабрь, стр. 691). Страница из пробного номера «Дерптского листка», представляющего библиографическую редкость, воспроизводится нами по экземпляру Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

К стр. 402.

Тетрадь с заметками В. А. Жуковского по географии и истории Эстонии. Страница с выписками из прочитанной книги о достопримечательностях Таллина. Переплетенная тетрадь с заметками, извлеченными В. А. Жуковским из труда Гупеля, хранится в обширнейшем архиве писателя (рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). На листах 1—3 даны географические карты прибалтийского края. Заметки В. А. Жуковского сделаны на листах 5—15, 17, 23, 24, 31—35 и расположены в таблицах. По почерку тетрадь относится к 1817—1819 годам, когда поэт часто приезжал в Тарту (см.: «Отчёт имп. Публичной библиотеки за 1884 г.», СПб, 1887, приложение, стр. 164).

К стр. 403.

Автограф письма В. А. Жуковского к К. К. Зейдлицу. В этом архивном деле (см.: рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, архив В. А. Жуковского, оп. 2, ед. хр. 107) лежат 42 письма и записки поэта к жившему в Тарту К. К. Зейдлицу. Самое раннее из них датировано 4 февраля 1829 г., а самое позднее — 19/31 марта 1852 г. Помимо одного письма и одной записки, все написаны по-русски. Выдержки из некоторых писем даны К. К. Зейдлицем в его книге «Жизнь и поэзия В. А. Жуковского». Воспроизводимый отрывок из письма от 17/29 мая 1848 г. там не приводился.

К стр. 405.

Автограф басни И. А. Крылова «Три мужика». Написана не позднее марта 1830 г., впервые опубликована в издании басен И. А. Крылова 1830 г. (кн. VIII, стр. 400—402). Комментируя «Три мужика» (см.: И. А. Крылов, Сочинения, т. III — басни, стихотворения, письма. ОГИЗ, гос. издат. худ. литературы, М., 1946, стр. 511), Н. Л. Степанов указывает только лишь на автографы двух вариантов басни, хранящиеся в архиве Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Воспроизводимый нами тартуский список этой же басни поступил в библиотеку Тартуского университета в 1856 г. от хранителя отдела монет и медалей Эрмитажа Фр. Л. Шардиуса, Автограф Крылова входил в собрание автографов, пожертвованных Шардиусом по случаю 50-летия университета.

К стр. 407.

Страница из вышедшей в 1832 г. в Петербурге книги В. И. Даля (Казака Луганского) «Русские сказки (пяток первый)». В эту книгу вошло пять сказок, из которых только одна посвящена сестрам Даля, остальные — его тартуским друзьям и знакомым.

К стр. 468.

Н. В. Закревский. Портрет работы худ. А. Пецольда, 1839, акварель. Дан в виде фронтисписа к рукописи книги Н. В. Закревского «Летопись города Киева» (рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). На портрете надпись: «Amicus amicum piuxit Revalium, 1839». Существование этого портрета до сих пор не было известно.

К стр. 472.

Рукопись книги «Летопись города Киева», написанной в Таллине Н. Закревским. Титульный лист. Рукопись была послана в Петербургскую публичную библиотеку Н. Закревским (см.: «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. 8, М., 1901, стр. 295). В ней 302 листа. Книга тщательно переписана самим автором и его таллинскими учениками. Рукопись содержит большое количество выполненных Н. Закревским рисунков.

К стр. 497—498.

Автограф первоначальной редакции «Сна Обломова» из романа И. А. Гончарова «Обломов». Рукописный отдел фундаментальной библиотеки Тартуского государственного университета. «Сон Обломова» впервые был опубликован в «Литературном сборнике» журнала «Современник» в 1849 году — за десять лет до публикации всего романа. Однако И. А. Гончаров имел уже к тому времени и первую часть «Обломова», и всю последующую сюжетную канву. «Вскоре после напечатания в 1847 году в «Современнике» «Обыкновенной истории», — писал он, — у меня уже в уме был готов план «Обломова» (И. А. Гончаров «Литературно-критические статьи и письма», М., 1938, стр. 157). Хранящийся в тартуской библиотеке отрывок относится к октябрю 1848 года. Эта рукопись отличается от окончательной редакции романа и поступила в библиотеку в 1856 г. вместе с другими автографами собрания фр. — Л. Шардиуса.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭСТОНИИ

СТАТЬИ И КНИГИ

О связях выдающихся деятелей русской культуры с Прибалтикой свидетельствуют многочисленные материалы, в большинстве случаев малоизвестные или вовсе не известные широкому читателю. Ниже мы приводим основную существующую на русском языке литературу о пребывании в Эстонии русских писателей, ученых, музыкантов, артистов, путешественников.

БАРАТЫНСКИЙ Е. А.

Столяров М. «Н. М. Языков в Дерпте» («Сборник учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете», т. II, 1899).

Имеется указание на пребывание одного из виднейших поэтов пушкинского периода Е. А. Баратынского в Тарту (стр. 122).

БЕСТУЖЕВ А. А.

Бестужев А. «Поездка в Ревель», СПб, 1821.

Базанов В. Г. «Очерки фекабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика», М., Гослитиздат, 1953.

В книге дана оценка творчества А. Бестужева, в частности его ливонских повестей.

Голубов С. «Бестужев-Марлинский», М., 1938.

Рассказывается о посещении А. Бестужевым Эстонии.

Измайлова Н. В. «А. А. Бестужев до 14 декабря 1825 г.» («Памяти декабристов», сборник материалов, т. I, Л., 1926).

Опубликовано письмо А. Бестужева матери из Тарма (стр. 23—25).

Степанов Н. Л. «Бестужев-Марлинский» («История русской литературы», т. VI, литература 1820—1830-х годов, изд. Академии наук СССР, М. — Л., 1953).

Автор касается посещения А. Бестужевым Эстонии и написанных в результате поездки произведений (стр. 567—569).

БУРДЕНКО Н. Н.

«Автобиографические записи Н. Н. Бурденко» (С. М. Багдасарьян «Материалы к биографии Н. Н. Бурденко», М., 1950).

В воспоминаниях выдающегося советского ученого Н. Н. Бурденко ряд страниц посвящен его пребыванию с 1901 г. в Тарту, оценке тартуской профессуры, описанию научной работы Н. Н. Бурденко в клинике Тартуского университета.

Багдасарьян С. М. «Николай Нилович Бурденко», М., гос. издат. медицинской литературы, 1954.

В книге имеются разделы: «Юрьевский университет» (о студенческих годах Н. Н. Бурденко, стр. 22—29), «Снова университет, вра-

чебная практика, наука» (о преподавательской и научной деятельности Н. Н. Бурденко в Тартуском университете, стр. 37—59). См. также: Багдасарьян «Николай Нилович Бурденко. Жизнь и деятельность», М., Изд. Академии медицинских наук СССР, 1948.

Лепукалн А. Ф. «Н. Н. Бурденко — ученый, общественный и государственный деятель» («Хирургия», 1947, № 5).

Приводятся личные воспоминания автора о тартуском периоде научной деятельности Н. Н. Бурденко (стр. 9—11).

«Ученые записки имп. Юрьевского университета», 1912, № 3.

Приводятся документальные материалы, связанные с избранием Н. Н. Бурденко профессором Тартуского университета (стр. 1—12).

Б Э Р К. М.

Бэр К. М. «Автобиография», редакция академика Е. Н. Павловского, изд. Академии наук СССР, 1950.

Подробно рассказывается об учебе будущего выдающегося русского ученого-естествоиспытателя К. М. Бэра в Таллине (стр. 79—122) и Тарту (стр. 122—161).

«Записки имп. Академии наук», 1876, т. 28.

На заседании физико-математического отделения Академии наук, 21 сентября 1876 г., было сообщено о получении из Тарту от К. М. Бэра «разыскания по вопросу о том, откуда могло происходить олово, содержащееся в древних бронзовых вещах» (стр. 218).

Кузнецов Н. Д. «Академик К. М. Бэр», 1892.

Рассказывается о проведенных К. М. Бэром в Тарту последних годах жизни, о его напряженной научной работе там (стр. 39—40).

Мирек В. Ф. «Карл Максимович Бэр» («Люди русской науки», очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники, т. II, М. — Л., ОГИЗ, гос. издат. технико-теоретической литературы, 1948).

Коротко рассказывается о детстве ученого, проведенном в Эстонии, о его учебе в Тартуском университете (стр. 647—648).

Овсянников Ф. В. «Краткая биография академика К. М. Бэра, читанная в декабрьском общем собрании Общества» («Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей» т. VIII, СПб, 1877).

Рассказывается о детских и юношеских годах будущего ученого (стр. 97—99).

Овсянников Ф. В. «Очерк деятельности К. М. Бэра и значение его трудов», 1879 (оттиск из «Записок имп. Академии наук», 1879, т. 35).

Павловский Е. Н. «К. М. Бэр и медико-хирургическая академия», изд. Академии наук СССР, М. — Л., 1948.

В книге неоднократно указывается на связи К. М. Бэра с Тартуским университетом.

«Переписка академика Бэра с Крузенштерном» («Первый сборник памяти Бэра. Труды Комиссии по истории знаний», изд. Академии наук СССР, Л., 1927).

Опубликовано письмо К. М. Бэра к жившему в Эстонии выдающемуся русскому мореплавателю, начальнику первой русской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерну (стр. 15).

«Последние часы жизни Карла Эрнста фон Бэра» («Гражданин», 6 марта 1877, № 9, стр. 219—251).

Райков Б. Е. «Последние дни Бэра» («Труды института истории естествознания Академии наук СССР», т. II, 1948).

Автор дает правдивое освещение последних дней жизни К. М. Бэра (умер 16 ноября 1876 г. в Тарту), характеризует его, как честного

свободомыслящего ученого, не изменившего своим взглядам и на смертном ложе (стр. 575—583).

Соловьев М. М. «Путеводитель по выставке в память акад. К. М. Бэра», Л., 1927.

Дается характеристика учебы К. М. Бэра в Таллине (стр. 3—4).

Холодковский Н. А. «Карл Бэр. Его жизнь и научная деятельность», Берлин, 1923.

В книге имеются главы: «Детство и ранняя юность. Родители и воспитатели Бэра. Домашнее обучение и пробуждение любви к естествознанию. Ревельская дворянская школа. Студенческие годы. Дерптский университет» (стр. 7—14), а также — «Бэр на отдыхе в Дерпте. Старость и смерть Бэра» (стр. 51—53).

ВЕРЕСАЕВ В. В.

Вересаев В. В. «Сочинения», т. IV, ОГИЗ, гос. издат. худ. литер., 1948. «Воспоминания».

Глава воспоминаний посвящена студенческим годам писателя в Тартуском университете (стр. 315—361).

ВОСТОКОВ А. Х.

«Поэты-радищевцы», библиотека поэта, малая серия, изд. 2-е, Л., 1952.

Дана биографическая справка поэта-радищевца, родившегося в городе Аренсбурге (ныне — г. Кингисепп) на о. Сааремаа (стр. 205).

ВЯЗЕМСКИЙ П. А.

Беляев А. «Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850», СПб, 1882, стр. 150—153.

Описывается встреча с П. А. Вяземским в Таллине весной 1825 г.

Письма П. А. Вяземского к жене («Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. I, СПб, 1909).

Рассказывается о пребывании поэта в Таллине летом 1825 года (стр. 26, 32, 52—88, 132 и т. д.).

Письма П. А. Вяземского к жене («Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. 2, СПб, 1909, стр. 63).

В письме из Таллина от 31 июля 1826 г. П. А. Вяземский сообщает, что «спал в той же комнате, где за год перед тем спал с несчастным Пущиным (декабристом. — А. Л.)».

«Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского», т. III, СПб, 1880.

См. в этом томе стихотворение П. А. Вяземского «Нарвский водопад» (стр. 408—409). Это же стихотворение — П. А. Вяземский, Ибранные стихотворения, 1935, стр. 171—172.

«Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского», т. IV, СПб, 1880.

В этом томе опубликован ряд стихотворений поэта, связанных с его пребыванием в Эстонии («Ночь в Ревеле», «Балтийское видение», «Поручение в Ревель», «К Языкову»).

ГЛИНКА Ф. Н.

Глинка Ф. «Письма к другу . . .», ч.ч. I и II, СПб, 1816.

В книге имеются заметки о пребывании декабриста Ф. Глинки в Эстонии.

ГОЛИЦЫН Б. Б.

«Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802—1902)», т. I, Юрьев, 1902.

Есть указание на пребывание в Тартуском университете создателя новой науки — сейсмологии — Б. Б. Голицына и чтении им для студентов курса лекций (стр. 426).

«Материалы для биографического словаря действительных членов имп. Академии наук», ч. I, П., 1915.

Сообщается о вступительной лекции Б. Б. Голицына в Тартуском университете, о прочитанных ученым курсах (стр. 207—208).

ГОНЧАРОВ И. А.

Гончаров И. А. «На родине» (И. А. Гончаров «Полное собрание сочинений», т. IX, изд. 3, СПб, 1896).

Рассказывается о пребывании писателя летом 1887 г. в Нарве-Йыесуу (Усть-Нарове), о работе там над воспоминаниями (стр. 137—138).

ДАЛЬ В. И.

«Воспоминания Юрия Арнольда», вып. I, М., 1892.

Автор— русский композитор, музыковед и педагог был студентом Тартуского университета в одно время с В. И. Далем. В своих воспоминаниях о пребывании в Тарту приводит ряд интересных деталей, характеризующих будущего создателя «Толкового словаря» (стр. 113—116).

Мельников П. «Воспоминания о В. И. Дале» («Русский вестник», т. 104, 1873, март).

В этом обширном очерке жизненного пути В. И. Даля рассказывается, в частности, об изучении им в Тартуском университете медицины (стр. 288), о его знакомстве в Тарту с В. А. Жуковским (стр. 295), о связях В. И. Даля с профессором Парротом (стр. 299), о присуждении В. И. Далю Тартуским университетом премии за «Толковый словарь» (стр. 325—326).

Никитский А. В. «Архивная справка о В. И. Дале» («Сборник ученолитературного общества при имп. Юрьевском университете», т. V, 1902, Юрьев).

В справке речь идет об архивных материалах, связанных с поступлением В. И. Даля в Тартуский университет, с экзаменами, получением докторского диплома. Указывается, что В. И. Даль, и после отъезда из Тарту, не забывал Эстонию (см. его статьи в 30-х гг. в «Dorpater jahrbücher für Litteratur», II, IV и V). Приводится сопроводительное письмо В. И. Даля из Москвы ректору Тартуского университета от 16 октября 1867 г. к отправленному им «Толковому словарю». В статье говорится о присуждении за «Толковый словарь» премии Тартуского университета; приводится посланное в связи с этим В. И. Далем в Тарту благодарственное письмо (стр. 165—169).

Сочинения Н. И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, «Дневник старого врача». Н. И. Пирогов вспоминает молодость В. И. Даля, с которым учился в Тарту. По свидетельству великого хирурга, В. И. Даль читал студентам отрывки из своих произведений, в которых «попадалось уже множество собранных им, очевидно, в разных углах России поговорок, прибауток и пословиц» (стр. 425—426).

ДЕЛЬВИГ А. А.

«Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820—1870», М.—Л., 1930, стр. 92.

Автор — двоюродный брат поэта, близкий к литературным кругам пушкинской эпохи, сообщает, что лето 1827 г. А. А. Дельвиг провел

в Таллине (там им написан был сонет «Что в дали...» — см.: А. А. Дельвиг «Полн. собрание стихотворений», библиотека поэта, издательство писателей в Ленинграде, стр. 349).

Семевский М. И. «Прогулка в Тригорское» (в кн.: А. Н. Вульф «Дневники (любовный быт пушкинской эпохи)», М., 1929).

Приводится письмо А. А. Дельвига из Таллина П. А. Осиповой (стр. 88—89).

ДЕРЖАВИН Г. Р.

«Записки Гаврила Романовича Державина. 1743—1812», М., 1860.

Говорится о пребывании поэта в Нарве. Г. Р. Державин прожил там около недели и завершил свою оду «Бог» (стр. 246).

«Поездка в Ревель и Гельсингфорс в 1839 году», СПб, 1840.

Упоминается о том же (стр. 92).

ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М.

«Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», СПб, 1883.

Приводятся выдержки из воспоминаний доктора А. Е. Ризенкампфа о пребывании Ф. М. Достоевского в Таллине (стр. 51).

Гроссман Леонид «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах», М. — Л., Academia, 1935.

В книге зафиксированы поездки Ф. М. Достоевского в Таллин (стр. 36, 41, 44).

Достоевский Ф. М. «Письма», т. I, 1832—1867, Гос. издат., М.—Л., 1928.

Приведены письма писателя к его брату, служившему в ревельской инженерной команде.

ЖУКОВСКИЙ В. А.

«В. А. Жуковский», изд. ж. «Русский библиофил», 1912.

Книга содержит обширный материал, свидетельствующий о многолетних глубочайших связях В. А. Жуковского с Тарту и его университетом. Подробно рассказывается о его занятиях у тартуских граверов, публикуется письмо В. А. Жуковского к А. П. Елагиной по поводу создававшегося в Тарту профессорского института и т. д.

«Василий Андреевич Жуковский в его письмах» («Русская старина», 1883, сентябрь).

В одном из писем, адресованных А. П. Киреевской (1816—1817 гг.), В. А. Жуковский упоминает о своей поездке по Эстонии, сообщает о произведениях, написанных во время пребывания в Тарту (стр. 531).

Висковатов П. А. «В. А. Жуковский и М. А. Протасова» («Живописное обозрение», 1883, № 5).

Упоминается о приездах В. А. Жуковского в Тарту (стр. 67).

«Два письма Н. М. Карамзина к В. А. Жуковскому в Дерпт» («Русский архив», 1869, № 9).

Письма относятся к 1816—1817 гг. (столб. 1383—1386).

«Десять неизданных писем В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу» («Русская старина», 1901, апрель).

Публикуется ряд писем из Тарту, содержащих интересные детали биографии поэта: слушание лекций профессора русской истории Тартуского университета Эверса, ходатайство за местного учителя Мартина Асмуса и пр. (стр. 131—137).

«Дневники В. А. Жуковского» с примечаниями И. А. Бычкова, СПб, 1903.

Имеются указания на пребывание В. А. Жуковского в Тарту (стр. 177, 206, 214, 313—314, 505).

«Жизнь и поэзия В. А. Жуковского (1783—1852)». По неизданным источникам и личным воспоминаниям К. К. Зейдлица. СПб, 1883.

Автор — ближайший друг В. А. Жуковского К. К. Зейдлиц — воспитанник Тартуского университета, доктор медицины, много лет провел в Тарту и там же написал эту книгу. В предисловии к ней указывается, что К. К. Зейдлиц был знаком с В. А. Жуковским более 40 лет. Приводится обширнейший материал о пребывании В. А. Жуковского в Тарту, о его связях с местной профессурой и студентами, о тартуских литературных и художественных занятиях поэта, о посещении им университетских лекций и т. п. Там же публикуются письма В. А. Жуковского к К. К. Зейдлицу.

Змигродский И. И. «Памяти В. А. Жуковского. По поводу пятидесятилетия со дня кончины В. А. Жуковского. 1852. 12. IV. 1902», Юрьев, 1902.

Большой интерес представляет опубликованная в книге «Справка о домах, где жил В. А. Жуковский во время своего пребывания в городе Юрьеве, Лифляндской губернии», а также фото этих домов (стр. 5—20).

Лыжин Н. «Знакомство Жуковского со взглядами романтической школы» («Летописи русской литературы и древности», т. I, М., 1859).

Рассказывается о прослушанных В. А. Жуковским в Тартуском университете лекциях, о встречах поэта в Тарту с Т. Боком (стр. 69—74).

«О В. А. Жуковском. Речь, произнесенная в имп. Дерптском университете 29 января 1883 г. ординарным профессором П. А. Висковатовым. С приложением двух писем В. А. Жуковского к графине Софье Михайловне Соллогуб». СПб, 1883.

Приводится письмо В. А. Жуковского из Тарту в Петербург, в котором поэт призывает друзей спасти сосланного в Сибирь поэта Мещовского (автора нескольких стихотворений, помещенных в журналах начала XIX в., в том числе «Послания к артельным друзьям» — 1817 г., — приведшего в негодование министра просвещения А. С. Шишкова) — стр. 11.

Петухов Е. В. «В. А. Жуковский в Дерпте» («Сборник отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», т. 65, № 7, стр. 1—39).

Плетнев П. А. «О жизни и сочинениях В. А. Жуковского», СПб, 1853 (см. также — «Сочинения и переписка П. А. Плетнева», изд. Я. Грот, т. III, СПб, 1885).

Сообщается о связях Жуковского с Тарту, о его пребывании в Эстонии.

Скрябин Н. А. «Неизданное письмо Жуковского» («Сборник учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете», Юрьев, 1906, т. X).

В этом письме, адресованном директору гимназии в Тарту, поэт просил предоставить учителю А. В. Кларе отпуск для завершения начатых тем художественных работ. Благодаря В. А. Жуковскому, Клара был назначен вскоре гравером Эрмитажа.

Соловьев Н. В. «История одной жизни. А. А. Воейкова «Светлана», П., 1915.

Наряду с другим материалом о пребывании В. А. Жуковского в Эстонии, приводится письмо поэта А. А. Воейковой о его поездке в Таллин (июнь 1816 г.) с описанием города (стр. 59—60).

Сочинения Н. И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, «Дневник старого врача». Н. И. Пирогов вспоминает о встрече в Тарту с В. А. Жуковским, читавшим при нем «Бориса Годунова» А. С. Пушкина (стр. 442).

Троицкий А. «М. А. Мойер в жизни и поэзии Жуковского» («Сборник учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете», т. VI, Юрьев, 1903).

Сообщается о многочисленных посещениях В. А. Жуковским Тарту, о написанных там стихах (стр. 74—79).

ИНОЗЕМЦЕВ Ф. И.

«Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета за истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 года, по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года», ч. I, М., 1855.

Сообщается о пребывании в Тарту одного из виднейших деятелей отечественной медицины первой половины XIX в. Ф. И. Иноземцева (стр. 355—356).

Лушников А. Г. «Профессор Московского университета Ф. И. Иноземцев» («Фельдшер и акушерка», 1949, № 6).

В статье говорится о занятиях Ф. И. Иноземцева в Тарту, в профессорском институте (стр. 38—39).

КАРАМЗИН Н. М.

«Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, М., 1900.

Описывается поездка писателя от Нарвы до Риги, через Эстонию (стр. 5—9).

КОЗЛОВ П. К.

Любарский А. «Свет русской науки», Таллин, Эст. гос. издат., 1952.

Приводятся архивные документы о пребывании выдающегося русского путешественника П. К. Козлова в Тарту (стр. 283—290).

КОЦЕБУ О. Е.

«Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания Северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах иждивением его сиятельства, господина государственного канцлера, графа Николая Петровича Румянцева на корабле «Рюрик» под начальством флота лейтенанта Коцебу», части I—III, СПб, 1821—1823.

Имеются указания на подготовку в Таллине к этому кругосветному плаванию, на комплектование О. Е. Коцебу там же экипажа, сообщается о помощи, оказанной этой экспедиции со стороны жившего в Эстонии Крузенштерна.

КРЫЛОВ И. А.

Степанов Н. «И. А. Крылов. Жизнь и творчество», гос. издат. художественной литературы, 1949.

Указывается на поездку летом 1824 г. в Таллин великого баснописца И. А. Крылова (стр. 123).

КУЗНЕЦОВ Н. И.

«Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802—1902)», т. I, Юрьев, 1902.

В биографической справке рассказывается о научной и педагогической работе в Тарту выдающегося русского систематика и ботаника-географа Н. И. Кузнецова (стр. 367—368).

Бреславец Л. П., Исаченко Б. Л., Комарницкий Н. А., Липшиц С. Ю. и Максимов Н. А. «Очерки по истории русской ботаники», М., Изд. Московского общества испытателей природы, 1947.

В книге дана оценка научным трудам Н. И. Кузнецова за тартуский период его деятельности (стр. 54—56).

«Юбилейный сборник в честь 25-летия научной деятельности профессора Николая Ивановича Кузнецова, директора ботанического сада Юрьевского университета», Юрьев, 1913.

Приводится обширный материал о научной деятельности в Тарту Н. И. Кузнецова.

КУТОРГА С. С.

Пузыревский П. «Краткий очерк жизни и трудов профессора Степана Семеновича Куторги, бывшего директора имп. Минералогического общества» («Записки имп. С.-Петербургского Минералогического общества», вторая серия, часть вторая, 1867).

Имеются материалы об учебе в Тарту одного из первых русских дарвинистов С. С. Куторги (стр. 343—345), об изучении им геологического строения Эстонии (стр. 349).

«Письма с острова Эзеля» («С.-Петербургские ведомости», 1853, № 170, стр. 695—696).

Описана поездка С. С. Куторги с научной целью на о. Эзель (Сааремаа).

«Русский биографический словарь», том Кнаппе-Кюхельбекер, СПб, 1903.

В очерке говорится об изучении С. С. Куторгой в Тарту зоологии и медицины, о его докторской диссертации, о научной экспедиции из Тарту с ученой целью в Крым; приводится высказывание самого С. С. Куторги об огромном значении для него пребывания в Тарту (стр. 622—623).

КЮХЕЛЬБЕКЕР В. К.

«Вильгельм Карлович Кюхельбекер. 1797—1846» («Русская старина», 1875, май, т. XIII).

Имеется материал о проведенном в Эстонии детстве поэта-декабриста (стр. 334—336).

Из неизданной переписки. Письма Кюхельбекера из крепостей и ссылки (1829—1846). — См.: «Декабристы-литераторы», I («Литературное наследство», т. 59), изд. Академии наук СССР, М., 1954.

Публикуются письма из Вышгородской крепости.

Кюхельбекер В. «Адо (эстонская повесть)» («Мнемозина»), 1824, кн. 1).

Отдельные страницы повести связаны с пребыванием В. К. Кюхельбекера в Эстонии (стр. 119—120).

Кюхельбекер В. «К брату», «К барону Розену», «Клен», «Брату (в день его именин)». — См.: В. К. Кюхельбекер «Лирика и поэмы», т. I, Л., 1939.

Поэт вспоминает Эстонию и проведенные там детские годы (стр. 26—27, 58, 127—128, 149).

«Летописи государственного литературного музея. Декабристы». Изд. госуд. литерат. музея, М., 1938.

В книге опубликованы выруские и тартуские письма Кюхельбекера (на немецком яз. и в переводе на русский) сестре Ю. К. Глинке. Датированы 1805—1811 гг. (стр. 156—159).

Орлов В. Н. «В. К. Кюхельбекер в крепостях и в ссылке» («Декабристы и их время. Материалы и сообщения», М.—Л., 1951).

Указывается на пребывание В. К. Кюхельбекера в Вышгородской крепости в Таллине (стр. 42—43).

«Отрывки из путешествия по Ливонии и Пруссии» («Собрание новых русских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1823 по 1825 год», ч. II, СПб, 1826).

Рассказывается о проезде В. К. Кюхельбекера через Эстонию, о посещении им Нарвы и Тарту (стр. 166—175).

Тынянов Ю. «Кюхля», изд. Советский писатель, 1947.

Говорится о намерении В. К. Кюхельбекера переехать в Тарту и стать профессором университета (стр. 75—76).

ЛАЖЕЧНИКОВ И. И.

Лажечников И. «Походные записки русского офицера», СПб, 1820.

Подробно описано пребывание писателя в Тарту в 1815 г. (стр. 286—306).

ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ Ф. Ю.

«Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802—1902)», т. I, Юрьев, 1902.

Подробно излагается научная и педагогическая деятельность в Тарту выдающегося палеонтолога, кристаллографа, минералога и геолога Ф. Ю. Левинсона-Лессинга (стр. 227—228).

Лебедев П. И. «Франц Юльевич Левинсон-Лессинг» («Вестник Академии наук СССР», 1940, № 1—2).

Некролог, написанный учеником Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, касается, в частности, десятилетней плодотворной деятельности ученого в Тартуском университете (стр. 140—141).

ЛЕНЦ Э. Х.

«Вокруг света под русским флагом» — в книге: А. Любарский «Свет русской науки», Таллин, Эст. гос. издат., 1952.

О плавании Э. Х. Ленца — воспитанника Тартуского университета на шлюпе «Предприятие» (стр. 62—77).

Гогоберидзе Д. Б. «Замечательный русский физик Э. Х. Ленц» («Вестник Ленинградского университета», 1950, № 2).

В этой статье рассказывается о детстве и юности ученого, проведенных им в Тарту (стр. 3—4).

Капцов Н. А. «Эмилий Христианович Ленц» («Люди русской науки», очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники, т. I, М.—Л., ОГИЗ, гос. издат. технико-теоретической литературы, 1948).

Даны краткие сведения о рождении Э. Х. Ленца (в Эстонии), о его учебе в Тартуском университете (стр. 105—106).

Ленц, Э. Х. «Избранные труды», изд. Академии наук СССР, 1950.

Имеются материалы о подготовке Ленца, в ту пору — студента Тартуского университета, к кругосветному плаванию О. Е. Коцебу (стр. 18).

ЛЕСКОВ Н. С.

Лесков А. «Н. С. Лесков о немцах» («Знамя», 1945, № 2).

Рассказывается о столкновении Н. С. Лескова с остзейцами в ревельском «Салоне» в 1870 г. и о последовавшем вслед за тем процессе (о разбирательстве этого дела в сенате см.: «Русский мир», 1872, №№ 313 и 323) — стр. 175—176.

Лесков А. «Колыванский случай» («Смена», 1945, № 3—4).

Также — о столкновении Н. С. Лескова с эстляндскими баронами (2-я стр. обложки).

Лесков А. «Жизнь Николая Лескова», М., 1954.

Подробно рассказывается о пребывании писателя в Эстонии.

Письма Н. С. Лескова («Шестидесятые годы», изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1940).

Публикуются письма Н. С. Лескова из Нарвы-Йыесуу (Усть-Наровы) — стр. 362—364, 371—373.

ЛИСЯНСКИЙ Ю. Ф.

Штейнберг Е. Л. «Жизнеописание русского мореплавателя Юрия Лисянского», М., 1948.

Рассказывается о пребывании в Таллине выдающегося мореплавателя (стр. 47—58).

ЛУНИН Н. И.

Заблудовская Е. Д. «Н. И. Лунин (основоположник учения о витаминах, 1854—1937). К 70-летию выдающегося открытия». («Педиатрия», 1950, № 4, стр. 60—62).

В статье подробно рассказывается о тартуских опытах основоположника учения о витаминах Н. И. Лунина. «18 сентября 1880 г. — сообщает автор, — молодой русский ученый Николай Иванович Лунин на заседании медицинского факультета Юрьевского университета блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «О значении неорганических солей для питания животных». В этой диссертационной работе было сделано выдающееся открытие, обогатившее биологию и медицину: Н. И. Лунин открыл вещества, необходимые для жизни животного организма, которые позже были названы витаминами» (стр. 60). Об этом же сообщается и в остальной, посвященной Н. И. Лунину, литературе.

Идельчик Х. И. и Левит М. М. «К истории открытия витаминов и инсулина» («Советское здравоохранение», 1949, № 4).

Краснянский Л. М. «Н. И. Лунин — основоположник учения о витаминах» («Биохимия», 1949, вып. 4, стр. 382—387).

Краснянский Л. «Основоположник учения о витаминах» («Медицинский работник», 4 января 1951).

Краснянский Л. М. «Научная деятельность Н. И. Лунина в Юрьевском университете» («Вопросы питания», 1952, сентябрь—октябрь, т. 11, № 5, стр. 38—41).

Лепский Е. М. «О приоритете отечественных ученых в вопросах витаминологии (работы Н. И. Лунина, В. В. Пашутина и М. В. Савельева)» («Клиническая медицина», 1950, № 6, стр. 85—88).

Медовиков П. «Н. И. Лунин» («Врачебная газета», 1929, № 1, стб. 60—61).

Мартинсон Э. Э. «Семидесятилетие основания учения о витаминах Н. И. Луниным в Тартуском университете», Таллин, Эст. гос. издат., 1951.

МАМИН-СИБИРЯК Д.

Мамин-Сибиряк Д. «Русская заграница. Путевые заметки» («Уральская жизнь», 21 и 28 декабря 1903, №№ 350 и 355).

Рассказывается о поездке писателя по Эстонии.

МАНАССЕИН В. А.

Арсеньев Г. И. «В. А. Манассеин (жизнь и деятельность)», М., гос. издат. медицинской литературы, 1951.

Имеются материалы об учебе и революционной деятельности в Тартуском университете крупного ученого-терапевта и общественного деятеля В. А. Манассеина (стр. 20—26).

МЕНДЕЛЕЕВ Д. И.

«Менделеев и Тартуский университет» — в книге: А. Любарский «Свет русской науки», Таллин, Эст. гос. издат., 1952, стр. 243—258.

«Университетские торжества в Юрьеве» («Рижский вестник», 17 декабря 1902 г., № 275).

Сообщение о пребывании Д. И. Менделеева в Тарту и его выступлении на торжествах, посвященных 100-летию Тартуского университета.

В. Э. Грабарь «Четверть века в Тартуском (Дерптском-Юрьевском) университете» («Учёные записки Тартуского государственного университета. Труды историко-филологического факультета», вып. 35, 1954).

Воспоминания о том же (стр. 55).

НЕКРАСОВ Н. А.

Ашукин Н. С. «Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова».

Зафиксирована поездка Н. А. Некрасова в июле 1846 г. в Таллин (стр. 68). Автор ссылается на источник: Ф. С. Глинка «К биографии Н.» — «Исторический вестник», 1891, II, стр. 586.

Достоевский Ф. М. «Письма», т. I, 1832—1867, гос. издат., М.—Л., 1928.

Указывается на тот же факт (стр. 93).

ОСТРОГРАДСКИЙ М. В.

Арнольд Ю. «Воспоминания», вып. I, 1892.

Автор вспоминает о своей встрече у тартуских профессоров И. М. Бартельса и В. Я. Струве с одним из создателей русской математики М. В. Остроградским (стр. 147).

Языковский архив. Выпуск I-й. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни», СПб, 1913.

Упоминается о пребывании в 1828 г. в Тарту М. В. Остроградского (стр. 356).

ПИРОГОВ Н. И.

Афанасьев В. А. «Из дерптской жизни Н. И. Пирогова» («Труды и протоколы заседаний медицинского общества им. Пирогова при Юрьевском университете», 1912, год 3-й).

Автор освещает учебу Н. И. Пирогова в профессорском институте, указывает дома в Тарту, где жил великий хирург (стр. 237—247).

«Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802—1902)», т. II, Юрьев, 1903.

Дан биографический очерк Н. И. Пирогова, главным образом в связи с его пребыванием в университете (стр. 262—265).

Бурденко Н. Н. «К исторической характеристике академической деятельности Н. И. Пирогова» («Хирургия», 1937, № 2).

Рассказывается о научной и практической деятельности Н. И. Пирогова в тартуской хирургической клинике.

Волынцев Г. «О Н. Пирогове как профессоре и педагоге», СПб, 1897.
Автор дает характеристику профессорской деятельности Н. И. Пирогова в Тарту как воспитателя поколения врачей.

Копылов Н. В. «Исторический очерк преподавания хирургии в Юрьевском университете (1802—1902)», М., 1903.
Значительное место отведено в работе Н. И. Пирогову.

«Лето 1853 г. в Гапсале» («С.-Петербургские ведомости», 1853, № 212).
Упоминается, что летом 1853 г. в Гапсаль (Хаапсалу) на несколько дней приезжал Н. И. Пирогов (стр. 866).

Малис Ю. Г. «Учреждение кафедры госпитальной хирургии в Петербургской медико-хирургической академии» («Врач», СПб, 1896, № 3).
Приведены материалы о переходе Н. И. Пирогова из Тартуского университета в Петербургскую медико-хирургическую академию.

«Молодость великого хирурга» — в книге: А. Любарский «Свет русской науки», Таллин, Эст. гос. издат., 1952, стр. 165—242.

Могилевский Б. Л. «Жизнь Пирогова. Повесть о великом хирурге и педагоге», Детгиз, 1953.
Ряд глав книги посвящен пребыванию Н. И. Пирогова в Тартуском университете.

«Музей-усадьба Н. И. Пирогова, село Шереметка, Винницкой области, Украинской ССР». Путеводитель, Л., 1950.
Дано описание экспонатов, выставленных в двух залах — «Годы учения в профессорском институте» и «Н. Пирогов — профессор в Дерптском университете» (стр. 19—22).

Неезе Э. Н. «Годы учения Н. И. Пирогова в Москве, в Дерпте и в Германии». Речь, произнесенная в соединенном заседании медицинских обществ, Киев, 1907.

Оппель В. А. «История русской хирургии», критический очерк в 2-х частях, Вологда, 1923.
В книге имеется материал о пребывании Н. И. Пирогова в Тарту, о его преподавательской и научной работе (см. по оглавлению).

Письмо Н. И. Пирогова — Лукутиным (Н. И. Пирогов «Севастопольские письма и воспоминания», изд. Академии наук СССР, 1950).
В этом письме Н. И. Пирогов подробно описывает свою первую поездку от Петербурга до Тарту; даны красочные описания Нарвы и Нарвского водопада.

«Письма Н. И. Пирогова к родным» («Русская старина», 1918, № 10—12).
Приводится письмо Н. И. Пирогова, посланное им из Тарту в Москву — матери и сестрам — после защиты докторской диссертации.

Р-ч П. «Экскурсии Пирогова в Ревель» («Ревельские известия», 13 ноября 1910).

Руфанов И. Г. «Николай Иванович Пирогов» («Люди русской науки», очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники, т. II, М.—Л., ОГИЗ, гос. издат. технико-теоретической литературы, 1948).
Дана краткая характеристика тартуского периода жизни и деятельности Н. И. Пирогова (стр. 660—661).

Сочинения Н. И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, «Дневник старого врача».
В записках, написанных Пироговым в последние годы его жизни, подробно рассказывается об учебе и профессорской деятельности в Тартуском университете.

Фробен Л. «О деятельности Н. И. Пирогова в Дерптском университете» («Протоколы и труды русского хирургического общества Пирогова за 1882 и 1883 гг.», СПб, 1883).

Шингарев А. И. «Жизнь и деятельность Н. И. Пирогова» («Николай Иванович Пирогов и его наследие — Пироговские съезды», 1911, СПб).

В очерке имеются разделы: «Занятия в Дерпте, заграничная командировка, возвращение», «Хирургические успехи, профессура в Дерпте» (стр. 17—31).

Штрайх С. «Н. И. Пирогов», 1933.

Ряд страниц книги посвящен пребыванию Н. И. Пирогова в Тарту.

Штрайх С. «Годы учебы Пирогова в Дерпте» («Практический врач», 1916, №№ 42—43 и 44—45).

Штрайх С. Я. «Н. И. Пирогов в борьбе за свою научную свободу» («Русский врач», 1916, №№ 44, 47).

Приводятся документы, связанные с переходом Н. И. Пирогова из Тартуского университета в Медико-хирургическую академию.

Штрайх С. Я. «Повесть о жизни и любви чудесного доктора», изд. 2-е, 1931.

САВИНА М. Г.

Корреспонденция из Юрьева («Рижский вестник», 14 марта 1898 г.).

Сообщается об огромном успехе выступлений в Тарту великой русской артистки М. Г. Савиной.

СЕВЕРГИН В. М.

«Записки путешествия по западным провинциям Российского государства или минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда чрез оные в 1802 году академиком, коллежским советником и ордена св. Анны второго класса кавалером Василием Севергиным», СПб, 1803.

Выдающийся минералог академик В. М. Севергин описывает свое пребывание в Тарту, дает краткую историческую справку города (стр. 17—18).

Севергин В. «Известие о ревельской дымящейся горе» (см.: «Технологический журнал или собрание сочинений и известий, относящихся до технологии и приложения учиненных в науках открытий к практическому употреблению, издаваемое Академией наук», тома пятого часть первая, СПб, 1808).

Приводятся результаты исследования эстонских сланцев (стр. 158—159).

СЕВЕРЦОВ А. Н.

«Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802—1902)», т. I, Юрьев, 1902.

Дана автобиографическая справка выдающегося морфолога и теоретика эволюционного учения А. Н. Северцова, являвшегося с 1898 г. сперва приват-доцентом, а затем — профессором зоологии Тартуского университета (стр. 290).

Корреспонденция из Юрьева. («С.-Петербургские ведомости», 22 ноября 1902 г., № 320).

О прощальной лекции А. Н. Северцова в Тартуском университете.

«Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802—1902)», т. I, Юрьев, 1902.

Дана биографическая справка о выдающемся русском астрономе В. Я. Струве, освещающая его многолетнюю научную и педагогическую деятельность в Тартуском университете (стр. 304—310).

Воронцов-Вельяминов Б. А. «Звездно-статистические работы В. Струве («Труды совещания по истории естествознания ин-та истории естествознания. 24—26 XII. 1946 г.», М. — Л., 1948, стр. 132—144).

В статье речь идет и о работах В. Я. Струве тартуского периода.

«Воспоминания о В. Я. Струве», речь академика А. Н. Савича, читанная в Академии 29 декабря 1864 г. («Торжественное собрание имп. Академии наук 29-го декабря 1864 года», СПб, 1865).

Видный русский астроном А. Н. Савич, ученик В. Я. Струве, рассказывает о научных трудах своего выдающегося учителя в обсерватории Тартуского университета (стр. 65—85).

Левицкий Г. В. «Астрономы Юрьевского университета с 1802 по 1894 г.» («Ученые записки имп. Юрьевского университета», 1900, № 2).

В этой работе, помимо биографических сведений о В. Я. Струве, сделан обзор его научно-педагогической деятельности в Тартуском университете, освещена подготовка им в Тарту поколения русских астрономов (стр. 85—176).

Литвинова Е. Ф. «В. Я. Струве. Его жизнь и ученая деятельность», СПб, 1893.

В обширном биографическом очерке автор подробно останавливается на жизни и научной деятельности В. Я. Струве в Тарту (стр. 8—27).

«Основатель Пулковской обсерватории» — в книге: А. Любарский «Свет русской науки» (стр. 118—164).

«Отчет С.-Петербургской академии наук за 1834 год, читанный в публичном заседании оной 29 декабря 1834 г.» («Журнал министерства народного просвещения», 1835, март).

Сообщается об изучении В. Я. Струве, с помощью приборов тартуской обсерватории, обнаруженных им двойных звезд (стр. 517—518).

Перель Ю. Г. «Выдающиеся русские астрономы», М.—Л., гос. издат. технико-теоретической литературы, 1951.

Автор приводит краткую характеристику научной деятельности В. Я. Струве в Тартуском университете (стр. 19—22).

Пирогов Н. И. Сочинения, т. II, Киев, 1910. «Дневник старого врача».

Н. И. Пирогов приводит свои воспоминания о В. Я. Струве (стр. 544—545).

Симонов И. «О явлениях звездного неба и о важнейших астрономических открытиях» («Журнал министерства народного просвещения», 1835, август).

Дана оценка тартуским астрономическим наблюдениям В. Я. Струве (стр. 265).

Тилло А. А. «О географических заслугах В. Я. Струве» («Известия русского географического общества», т. XXIX, 1893, вып. III).

В речи, произнесенной на объединенном заседании отделений математической и физической географии 5 апреля 1893 г., посвященном 100-летию со дня рождения В. Я. Струве, автор указал на подготовку выдающимся астрономом в тартуской обсерватории ряда видных русских гидрографов (стр. 157).

ТУРГЕНЕВ Н. И.

Архив братьев Тургеневых. Выпуск I-й. «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806—1811 годы», т. I, СПб, 1911.

В этом томе, в «Дорожной белой книге», имеются заметки, сделанные одним из виднейших деятелей декабристского движения во время проезда в 1808 г. по Эстонии (стр. 133).

Архив братьев Тургеневых. Выпуск 3-й. «Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811—1816 годы», т. II, СПб, 1913.

Приводятся записи Н. И. Тургенева об Эстонии, которую он вторично проезжал осенью 1813 г. (стр. 225).

ФЕТ А. А.

А. Фет «Мои воспоминания», М., 1890, ч. I.

Рассказывается о посещении поэтом в молодости Тарту и Таллина.

ФИЛОМАФИТСКИЙ А. М.

«Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета за истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 года по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года», ч. II, М., 1855.

Говорится об учебе в профессорском институте при Тартуском университете одного из наиболее выдающихся представителей экспериментальной физиологии 30—40 гг. XIX в. А. М. Филомафитского (стр. 514—515).

Коштоянц Х. С. «Очерки по истории физиологии в России», изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1946.

Автор указывает на А. М. Филомафитского как на одного из выдающихся воспитанников профессорского института при Тартуском университете (стр. 92, 103).

Коштоянц Х. С. «Алексей Филомафитский, основатель московской физиологической школы» («Физиологический журнал СССР им. И. М. Сеченова», 1945, т. 31, № 3—4).

В статье упоминается об учебе А. М. Филомафитского в Тарту (стр. 110).

«Русский биографический словарь», том Фабер—Цявловский, СПб, 1901.

Упоминается о пребывании А. М. Филомафитского в Тарту (стр. 128).

ЧАЙКОВСКИЙ П. И.

«Дни и годы П. И. Чайковского. Летопись жизни и творчества», составили Э. Зайденшнур, В. Киселев, А. Орлова, Н. Шеманин. Музгиз, М.—Л., 1940.

Сообщается о пребывании П. И. Чайковского в 1867 и 1891 гг. в Эстонии (стр. 49—50, 540—541).

Чайковский М. «Жизнь Петра Ильича Чайковского», т. I, М., 1900.

Рассказывается о поездке П. И. Чайковского в Хаапсалу (стр. 269—270).

ЯЗЫКОВ Н. М.

Анненков П. «Александр Сергеевич Пушкин в александровскую эпоху, 1799—1826 гг.», СПб, 1874.

Сообщается о поездке в 1826 г. Н. М. Языкова из Тарту в Тригорское и Михайловское к А. С. Пушкину (стр. 318).

Е. Бобров «К биографии Н. М. Языкова» («Сборник учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете», т. XI, 1907).

В статье приводится ряд документальных материалов, извлеченных автором из архива Тартуского университета (аттестат Н. М. Языкова из Горного кадетского корпуса, на основании которого его приняли в университет; документы об учебных занятиях Н. М. Языкова в Тарту; свидетельство декана философского факультета о прослушанных лекциях; свидетельство от Совета университета, выданное в связи с отъездом Н. М. Языкова из Тарту и т. п.) — стр. 18—58.

Бычков И. А. «Из неизданных стихотворений и писем Н. М. Языкова» («Русская старина», 1903, № 3).

Приводятся письма Н. М. Языкова из Тарту к А. С. Пушкину, А. Н. Вульфу и А. Н. Очкину (стр. 483—487).

«Воспоминания Юрия Арнольда», вып. I, М., 1892.

Сообщается о встречах автора в Тарту с Н. М. Языковым (стр. 143—149).

К[няжеви]ч В. «Два стихотворения Языкова» («Русский архив», 1871, № 7—8).

Указывается дом в Тарту, где жил Н. М. Языков (стр. 1305).

Николаевский С. «Несколько слов в память Языкова» («Ярославский литературный сборник», 1850, Ярославль, 1851).

Автор дает характеристику тартуского периода жизни Языкова, подчеркивая ту дружбу, которой были связаны окружавшие поэта в Тартуском университете русские студенты; сообщает о поездке Языкова из Тарту к А. С. Пушкину (стр. 75—81).

Орлов В. Н. «Языков» («История русской литературы», т. VI, литература 1820—1830-х годов, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1953).

Освещено пребывание Н. М. Языкова в Тарту, творчество тартуского периода (стр. 431—444).

Поляков А. «Н. М. Языков и Е. А. Баратынский» («Литературно-библиологический сборник», под ред. Л. К. Ильинского, П., 1908).

Приведен материал об отношении Н. М. Языкова в период его пребывания в Тартуском университете к творчеству Е. А. Баратынского (стр. 60—62).

Семевский М. И. «Прогулка в Тригорское» (в кн.: А. Н. Вульф «Дневники (любовный быт пушкинской эпохи)», М., 1929).

Автор рассказывает о литературной деятельности Н. М. Языкова в Тарту; о его связях с «Невским альманахом» Аладьина и «Северными цветами» Дельвига; о поездке поэта из Тарту в Тригорское; о стихах Н. М. Языкова, навеянных этой поездкой (стр. 96—102).

Семевский М. И. «Н. М. Языков. Новые стихи его и письма» («Русский архив», 1867, № 5—6).

Приводятся письма Н. М. Языкова к А. Н. Вульфу тартуского периода.

Смирнов В. Я. «Жизнь и поэзия Н. М. Языкова», Пермь, 1900.

Глава вторая посвящена: жизни Н. М. Языкова в Тарту и поэтической деятельности того периода, пребыванию Н. М. Языкова в с. Тригорском и знакомству с А. С. Пушкиным (стр. 30—113).

Соловьев Н. В. «История одной жизни». А. А. Воейкова «Светлана» », П., 1915, ч. ч. I и II.

Рассказывается о пересылке в Петербург через А. А. Воейкову написанных Н. М. Языковым в Тарту произведений (ч. I — стр. 95, ч. II — стр. 23—24).

Столяров М. «Н. М. Языков в Дерпте», прочитано в заседании учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете 29 апреля

1899 г. («Сборник учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете», т. II, Юрьев, 1899, стр. 121—149).

Столяров М. «Старый Дерпт в жизни и поэзии А. С. Пушкина», прочитано в заседании учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете 23 мая 1899 года («Сборник учено-литературного общества при имп. Юрьевском университете», т. II, Юрьев, 1899).

Автор рассказывает о переписке Н. М. Языкова из Тарту с жившим в Михайловском А. С. Пушкиным, о поездке к опальному поэту (стр. 194—200).

Языковский архив. Вып. I. «Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829)», под ред. и с объяснительными примечаниями Е. В. Петухова, СПб, 1913.

Этот том содержит большое количество писем Н. М. Языкова к братьям, сестре и матери. В «Приложениях» даны воспоминания о Языкове, бывшего студента Тартуского университета А. Н. Татаринова, письма к Н. М. Языкову астронома В. Ф. Федорова, письмо студента, а впоследствии профессора Харьковского университета М. М. Лунина; начало биографии Н. М. Языкова, написанное Д. Н. Садовниковым; отрывки из писем Н. М. Языкова к А. Н. Вульфу; описание четырех альбомов со стихами Языкова; 15 стихотворений из этих альбомов.

Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. Редакция, вступительная статья и комментарии М. К. Азадовского, Academia, 1934.

См. стихи тартуского периода.

ЯКОБИ Б. С.

«Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802—1902)», т. I, Юрьев, 1902.

В биографической справке отмечено пребывание выдающегося русского ученого Б. С. Якоби в Тартуском университете (стр. 441).

«Б. С. Якоби. Исторический очерк изобретения гальванопластики». Составил А. А. Ильин, СПб, 1889.

В книге рассказывается о тартуских опытах Б. С. Якоби.

Вильд Г. И. «О жизни и ученых трудах академика Б. С. Якоби». Речь, читанная академиком Г. И. Вильдом в публичном заседании имп. Академии наук 29 декабря 1875 г. («Записки имп. Академии наук», 1876, т. 28, № 1, стр. 61—82).

Автор касается научной деятельности Б. С. Якоби в Тарту (стр. 63—64).

«Гальванопластическая выставка, в память 50-летия открытия гальванопластики академиком Б. С. Якоби» («Записки русского технического общества», 1889, апрель).

В книге публикуются документы, подтверждающие, что открытие Б. С. Якоби гальванопластики произошло в Тарту (стр. 8—9).

Елисеев А. А. «К столетию открытия гальванопластики» («Природа», 1938, № 11—12).

Приводится ряд документов, подтверждающих, что гальванопластика была открыта Б. С. Якоби в Тарту (стр. 135—137).

Радовский М. И. «Борис Семенович Якоби. Биографический очерк», М.—Л., гос. энергетическое издательство, 1953.

В книге имеется глава — «Профессор Дерптского университета» (стр. 10—31).

«У истоков электротехники» в кн.: А. Любарский «Свет русской науки», Таллин, Эст. гос. издат., 1952, стр. 78—117.

Якоби Б. С. «Гальванопластика или способ, по данным образцам, производить медные изделия из медных растворов, помощью гальванизма», 1840.

Рассказывается об опытах Б. С. Якоби по гальванопластике в лаборатории Тартуского университета (стр. VII—VIII).

Якоби Б. С. «Электромагнитный бот Б. С. Якоби» («Записки имп. Русского технического общества», 1903, № 2).

Документально подтверждается, что работы Б. С. Якоби в области создания электромагнитного бота велись им предварительно в Тарту (стр. 118—121).

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

Поборники великой дружбы (вступление). В дружбе — сила. Свет русской культуры. В борьбе за свободу 7

«И дух поэта жив в моем народе...» Слово Пушкина. Переписка и встречи. Животворный источник. Заветная лира . . 28

Глашатаи вольности. В зарницах победы. Узник шлиссельбургской крепости. Родина поэта-декабриста. «Земледельцы — в каком они положении!..». «Поездка в Ревель». Снова в Эстонии. Благое семя. Восстание в Петербурге. Отзвуки в Таллине и Тарту. Нерасторжимые узы. Спустя десятилетия. Штурманы будущей бури 57

В тисках цензуры. Клеветники и фальсификаторы. «Крамола» и «вольнодумство». Сквозь завесу лжи. «Современник» и Эстония 186

Вольное русское слово об Эстонии. Позорная «свобода». Призрак пугачёвщины. Остзейские «культуртрегеры». Минуя таможенные кордоны. Изгнанники науки 235

«Эстонец и его господин». Правда об эстонском крестьянине. Друзья и враги анонимного публициста. Кто был автором книги? 288

Живые, трепетные нити. В потоке писем. Послание тартуских студентов. Почетный член университета. Пасквиль остзейского публициста. Запрещенные издания. Великая скорбь 331

Судьба одной книги 372

Публицистика писателя-коммуниста 382

Обретенная мечта (заключение) 388

Примечания и приложения 395

Примечания к иллюстрациям 514

Выдающиеся деятели русской культуры в Эстонии. Статьи и книги 519

Любарский Анатолий Владимирович
СЛОВО ДРУЖБЫ

Обложка Э. Лююс

Эстонское Государственное Издательство
Таллин, Пярну маантеэ, 10

*

Редактор И. Саат

Художественный редактор А. Коэметс

Технический редактор Х. Вебер

Корректор В. Михайловский

Сдано в набор 13 IX 1956. Подписано к печати 26 XI 1956. Формат бумаги 60:92, 1/16. Печатных листов 33,75. Учетно-издательских листов 32,7. Тираж 2000. МВ-09064. Заказ № 1598.
Типография «Пунане Тяхт»,
Таллин, ул. Пикк, 54/58.

Цена 10 руб. 20 коп.

6—1

ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строки	Напечатано	Следует читать
29	3 снизу	впоследствие	впоследствии
37	3 сверху	слушателя	слушателях
38	19 сверху	Переписка и встречи	II. Переписка и встречи
38	20 сверху	верять,	верят,
74	9 сверху	верноподданические	верноподданнические
89	9 сверху	Провансстоль	Прованс столь
97	19 сверху	племень,	пламень,
110	6 снизу	Аракчееву —	Аракчееву, —
113	3 сверху	Открывок	Отрывок
119	14 сверху	одержанный	одержанной
121	6 сверху	1219 год.	1219 году.
126	1 сверху	Автограф-письма	Автограф письма
128	2 снизу	прохождении	прохождения
132	1/2 сверху	характеризующие	характеризующую
132	20 сверху	нагробные	надгробные
157	13 сверху	участии	участи
179	7 снизу	предшествовавшие	предшествовавшие
187	19 сверху	большинстве,	большинстве
205	6 снизу	действовать»[56]	действовать» [65]
207	15 снизу	эсты. . ., знали	эсты. . . знали
214	4/5 сверху	содержали	содержала
249	12 сверху	ошибочное,	ошибочное
256	9 снизу	манипуляцией	манипуляций
258	13/12 снизу	обрушились	обрушились,
260	5 снизу	тюрьмы»[51].	тюрьмы» [61].
272	12 сверху	можно	можно было
284	13 сверху	нашумевшего	нашумевшей
288	11 сверху	ее	его
290	16 сверху	наставниками».	«наставниками».
301	13 снизу	будо	будто
351	3 сверху	встретила	встретили
351	1 снизу	науки [16].	науки [46].
360	3 снизу	продано» [91].	продано» [61].
361	16 сверху	брошюры,	брошюры.
377	17 снизу	дожлны	должны
381	6 сверху	Ленигради	Ленинграде
432	22 сверху	книжечка,	книжечки,
433	26 сверху	прибережьи	прибрежьи
482	15 снизу	Владивостока	Владиславовка
488	3 снизу	пришлась,	пришлась
523	13 снизу	Ибранные	Избранные

TÜ RAAMATUKOGU
1030001319269 7

10 р. 20 к.

XIII
А-1784
IV